Борис Полевой

7



Борис Полевой

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
СЕДЬМОЙ

•

ЭТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Из записок
военного
корреспондента

КНИГИ
ПЕРВАЯ
И ВТОРАЯ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Р2
Б49

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

Полевой Б. Н.

П49 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 7. Эти четыре года: Из записок военного корреспондента. Кн. 1 и 2.— М.: Худож. лит., 1984.— 600 с.

Лауреат Государственных премий, Герой Социалистического Труда Борис Полевой в годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом «Правды». Дневниковые записи тех лет и легли в основу тетралогии «Эти четыре года». В первых двух книгах автор рассказывает о тяжелых оборонительных боях поздней осенью 1941 года, о том, как советские войска громили фашистов под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, а затем освободили территорию от Белгорода до Карпат и вышли к Советской границе. Писатель воспевает величие ратного подвига советского солдата, самоотверженность и героизм всего народа.

П $\frac{4702010200\text{-}371}{028(01)\text{-}84}$ подписное

ББК84Р7
Р2

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «лейкой» и блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь жару и стужу мы прошли.

Из песенки военных корреспондентов

К МОЛОДЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

В дни Великой Отечественной войны я был офицером Красной Армии и служил корреспондентом «Правды» на нескольких фронтах. В свободные от репортерской службы часы по старой привычке вел что-то вроде дневников. Когда было время — подробно, когда его не хватало — бегло, конспективно записывал все, что казалось мне на войне особенно существенным, значительным,— случаи выдающегося героизма, свидетелем которого мне посчастливилось стать, красочные сценки, встречи, беседы с интересными людьми — славными полководцами и солдатами, с нашими и зарубежными политическими деятелями. Писать дневники вошло в привычку, и после войны у меня скопилось несколько тетрадей таких записей.

Из этих фронтовых дневников и шагнули потом в литературу герои таких книг, как «Повесть о настоящем человеке», «Мы — советские люди», «Золото», «Глубокий тыл», «Доктор Вера», «Вернулся».

Но дневники оставались дневниками. И вот четверть века спустя я снова взялся за старые тетради и стал литературно обрабатывать то, что когда-то бегло записал на Калининском, Сталинградском, Степном, Втором и Первом Украинских фронтах, а потом на Нюрнбергском процессе. Так появились четыре книги дневников военного корреспондента: «Сокрушение «Тайфуна» — о разгроме фашистской армии под Москвой, «В большом наступлении» — о наступлении войск Второго Украинского фронта от Белгорода до Карпат, «До Берлина 896 километров» — об освобождении Польши и Чехословакии, о капитуляции

гитлеровской Германии и «В конце концов» — книга о суде над главными военными преступниками, которые омыли кровью земной шар, бредово мечтая ликвидировать Советский Союз и покорить весь мир «...по крайней мере на ближайшую тысячу лет».

Готовя эти книги к печати, я лишь литературно обрабатывал давние торопливые записи, оставляя содержание таким, каким оно было, когда записи эти делались по горячим следам событий, с моим тогдашним видением и мироощущением, не переосмысливая их и не приспосабливая к моему сегодняшнему пониманию войны. Конечно, при этом нельзя было не ощущать дистанцию времени, тем более что я имел честь быть членом редакционной коллегии шеститомной «Истории Великой Отечественной войны» и, участвуя в ней, изучил множество документов. Но в сути дневников я ничего не менял. Мне хотелось показать, как видели и воспринимали события фронтовики — солдаты и офицеры в те дни, когда бушевала война. Мне хотелось, чтобы молодые люди новых поколений как бы посмотрели на войну нашими глазами и по-нашему восприняли и оценили и гигантские масштабы сражений, и грандиозность народного героизма, и все величие победы, добытой в этой нечеловечески тяжелой войне Советской Армией и советским народом.

Как это мне удалось — не мне, сегодняшнему, судить. И вот сейчас, когда в преддверии 30-летия нашей великой Победы «Молодая гвардия» собрала эти дневники в одно издание, я мечтаю о том, что сыны и внуки мои, вся наша замечательная молодежь станут читателями и судьями этих книг. Мечтаю, что бесхитростные записи военного корреспондента «Правды» помогут тем, для кого Великая Отечественная война уже история, увидеть ее глазами советского офицера тех далеких и славных дней.

Автор

Москва, апрель 1973 г.

СОКРУШЕНИЕ «ТАЙФУНА»

КНИГА ПЕРВАЯ

В ТУ ТЯЖЕЛУЮ ЗИМУ...

БЛИЗКО И ДАЛЕКО

Тихо падает крупный влажный снег. Коснувшись земли, он сразу исчезает, и земля остается мокрой, скользкой, а трава блестит, точно отлакированная. Но на досках, которыми укреплены стенки окопов и пулеметных гнезд, на камнях развалин, на шапках и ватниках бойцов снег остается лежать белыми валиками. Здесь же, в огромном бетонном подвале, на стенах которого синеет замерзшая плесень и искрится иней, промозглая, затхлая сырость забирается под шинель и проникает до костей.

Выходить днем из подвала рискованно. Вражеские снайперы все тут держат на прицеле. Малейшее неосторожное движение по ходам сообщения вызывает минометный налет, и не дальше как этим утром здесь вот, у входа в подвал, погибли от осколков мины командир батальона и его ординарец. Тела их днем не удалось вынести, они и сейчас лежат в углу подвала, прикрытые шинелями. Командование батальоном принял начальник штаба, старший лейтенант Гнатенко. Теперь он навел здесь такую дисциплину, что боец не может выйти из подвала и до ветру, не доложившись отделенному.

Подвал находится под руинами еще недостроенного, но уже разрушенного артиллерией силикатного завода на восточной окраине Калинина,— это самая западная точка нашей обороны, тут, у областного города. Именно здесь, после тяжелого боя сначала у Волжского, потом у Тверецкого мостов, нашим воинским частям и истребительным батальонам удалось остановить наступление неприятеля, окопаться, создать жесткую оборону и уже отбить множество атак. И хотя десять дней назад стало известно, что город Калинин занят, хотя уже оставлен на пути к Москве Клин и передовые танковые дивизии противника находятся где-то на подступах к столице, этот маленький кусочек города продолжает оставаться в наших руках, и ни немецкие снайперы, держащие здесь на прицеле каждый камень, ни минометная батарея, периодически обрабатывающая все вокруг, ни артиллерийские налеты, которые тоже случаются, ни вражеские стервят-

ники, летающие сюда с недалекого Мигаловского аэродрома, не смогли вырвать у нас этот последний свободный клочок города — улочку сгоревших и разрушенных окраинных домиков, сады и огороды, покрытые сейчас сетью окопов добротного профиля, и вот эти руины завода, которые воля людей превратила в довольно-таки серьезный бастион.

В неприступности этого клочка города мне чудится даже что-то сверхъестественное. Острым клином вонзается он в линию неприятельского фронта. Новые и новые атаки разбиваются о него, как волны о скалу, не принося наступающим ничего, кроме новых потерь.

Впрочем, теперь это уже не просто пепелище — это вполне современный рубеж, укрепленный, оснащенный по последнему слову саперной техники, прикрываемый артиллерией с опушки леска у деревни Змиево и, как разносит солдатская молва, даже той таинственной реактивной артиллерией, которую в армии ласково именуют «катюшами». Среди солдат о ней ходят легенды, и хотя никто здесь еще не слыхал, как «катюша» «поет», само близкое присутствие этих таинственных боевых машин вселяет уверенность.

Подвал, в котором я нахожусь, населен, как сказочный терем-теремок: на полу, прижавшись друг к другу, накрывшись шинелями, вповалку спят бойцы, смененные на передовых постах. В дальнем углу, за занавеской из простыней,— раненые. Возле кипит сверкающий титан, а у двери топится полевая кухня, наполняя промозглое помещение аппетитнейшим запахом лука и бараньего сала.

За занавеской из плащ-палаток — обеденный стол, покрытый, будто скатертью, большим планом города. Над картой склонился комбат, старший лейтенант Гнатенко, сухой, неопределенного возраста человек, который и здесь, в глубине России, продолжает носить зеленую фуражку пограничника. Он тщательно выбрит, сапоги начищены до блеска, свежий подворотничок подчеркивает смуглоту жилистой шеи. Против него над тем же планом склонились высокий, худой, очень штатского вида майор с бледным лицом и разнокалиберными карими глазами и маленькая девушка в старушечьей кацавейке и черной шали. Майор — мой земляк, калининец, и полный тезка: Борис Николаевич Николаев. Он из разведки. Девушку звать Тамара. Она только что вернулась из похода в оккупированный город.

Комбат водил пальцем по плану.

— А здесь у них що? — И старательным, ровным почерком пишет, бормоча про себя: — Так и зафиксируем — тут у них батарея.

Майора интересуют другие вопросы:

— Тамара, а в трамвайном парке у них по-прежнему много машин?

— А то нет? Теперь еще больше стало,— по-тверски частит девушка.— Мастерские у них там, дядя Боря. Они туда подбитые машины тягачами волокут. И еще видели мы там такие здоровенные машинищи, вроде бы трамвайные вагоны, две, а может быть, и больше, пес их знает.

— Это походные мастерские,— говорит майор и делает заметки на своем плане.— Молодец, Тамарочка! Настоящей разведчицей становишься.

— Какая я разведчица, дядя Боря, трусиха я, заслышу их разговор — трясусь как овечий хвост... Ой и зобко у вас тут, как в могиле! Никак и не согреешься.— Она дышит в сложенные ладошки.

Я уже знаю эту маленькую девушку. Это прядильщица с текстильного комбината «Пролетарка», комсомолка, недавно окончила школу ФЗО имени Плеханова. Накануне оккупации добровольно, по ее выражению, «завербовалась» на эту опасную военную работу. И теперь вот смело переходит по ночам Волгу и принесла уже немало важных сведений. Но в душе своей она остается еще прежней «фезеошницей», начальство именует «дядя Боря», как, вероятно, именовала на фабрике своего помощника мастера.

— А вы, Тамара, не выяснили, почему на элеваторе зерно горит?

— А кто же скажет-то?.. Одни говорят, будто немец злобствует. Раньше они разрешали жителям зерно брать, а вот сейчас у них под Москвой что-то не задалось, что ли, вот будто бы по злобе зерно и зажгли. Полили керосином или бензином и никого близко не подпускают, прямо палят без предупреждения... А иные говорят, будто наши партизаны то зерно подожгли. Не знаю уж кто, а что гасить не дают, это мы с Веркой точно знаем.

При имени подруги храбрая Тамара вдруг начинает плакать. Вера — ее напарница. Она полунемка, отец ее из обрусевших немцев. Он был когда-то красковаром на «Пролетарке» и погиб еще на гражданской войне. Она бегло говорит по-немецки. Несколько раз переходила

фронт. День-два жила в оккупированном городе и возвращалась с ценными сведениями. Но сегодня ночью случилась беда. По словам Тамары, уже на берегу, у места перехода, девушки попали под осветительную ракету. Их заметили, обстреляли. Тамаре удалось перебежать, а Вера исчезла. Что с ней? Убита? Ранена? Захвачена в плен? С передовых постов доложили: тела не видно... Тамара, это бойкое, бесстрашное существо, плачет, по-ребячьи кулачком вытирая слезы.

— Так, значит, зерно подожгли и не гасят? — задумчиво, точно взвешивая эту новость, произносит майор Николаев. И вдруг начинает быстро свертывать план города.— Комбат, прошу вас, пошефствуйте над Тамарой. До темноты не выпускайте... Слышишь, Тамара? Твой риск кончился.— И он торопливо исчезает за дверью.

— Убежал как наскипидаренный. Что это он? — удивляется Тамара.

Мы с комбатом переглядываемся. Рачительные немецкие интенданты под метлу выгребают из оккупированных пунктов все ценное, особенно съестное, а тут сами подожгли огромный элеватор. Странно! Совинформбюро уже несколько дней сообщает о тяжелых боях на подступах к Москве... Фантазия, опережая события, забегает вперед: а что, если?.. Может быть, назревает что-то такое, что сулит поворот в ходе войны?

Для меня и этой маленькой, некрасивой, большеглазой девушки Калинин не просто населенный пункт, который после тяжелых боев оставили наши войска. Мы оба выросли там, учились, выходили в жизнь. Мы любим его, знаем каждую площадь, улицу, переулок. Там школа, где я учился, там мое жилье. В редакциях тверских газет я приобщился к профессии журналиста и работал там до самой войны. В роковой день исхода моя жена ушла из города, унося на руках крохотного сына. Где-то они сейчас? Я ничего не знаю о матери, фабричном враче с «Пролетарки». В последний месяц она развернула в Первомайском поселке гражданский госпиталь, там размещали раненых — жертвы бомбежек, обстрелов. Последний раз земляки, покинувшие город, видели ее на Старицком шоссе. Вместе с завхозом госпиталя, пожилой текстильщицей Марией Гонцовой, они останавливали машины, умоляя вывезти раненых... Где она? Удалось ли ей уйти? Она старая коммунистка, и страшно подумать о том, что могла попасть в руки гестапо.

Мой город — вот он, рядом. В нескольких минутах ходьбы по прямой. Он близок и бесконечно далек. Он сейчас как бы в ином мире, отделенном от нас невидимой, но непроницаемой стеной. От Тамары, Веры и других комсомольцев, проникающих по ночам через эту стену, мы знаем, что разрушенный, полусожженный, лишенный воды и света город держится стойко, что оккупантам он не покорился и оккупанты вынуждены вести себя там не как победители, а как гарнизон осажденной крепости.

— Ну хоть какое-нибудь предприятие удалось им пустить? — спрашиваю я Тамару.

— Вы что, смеетесь? Кто же это к ним пойдет-то? Мы с Веркой в прошлый раз принесли эти листки. Помните? «Идите на работу, помогайте армии фюрера и самим себе...» Ну, там жратву всякую, пайки сулили. На «Пролетарке» никто не пошел, не фабрика — кладбище... Да попробуй пойди!

В больших глазах Тамары, еще красных от недавних слез, вспыхивают злые огоньки.

— Мы с Веркой у ее тетки в семидесятой казарме ночевали. Тетка рассказывала: один хлюст, наш, с «Пролетарки», откликнулся было. Собрался в ситцевой фабрике мыло варить. Так бабы поймали его, окунули в барку с анилиновой краской. Вылезть-то он вылез, а краску отмыть не мог. Знаете, какой он, анилин, липучий. Так черный как черт домой и потащился... С голоду дохнут, а на работу не идут.

Я задумал дать в «Правду» корреспонденцию о том, что происходит в оккупированном городе. Как здорово можно показать моих несгибаемых земляков! Сколько уже раз принимался писать, но кто-нибудь вроде Тамары придет с той стороны, расскажет свежие новости — и написанное устаревает. Нет, сегодня, после того что услышал от Тамары и что рассказывал майор Николаев, обязательно напишу. Раскладываю на краешке стола свое журналистское хозяйство, вывожу заголовок: «В непокоренном городе». Подчеркиваю двумя жирными чертами и задумываюсь: с чего начать? С безуспешных призывов оккупантов или с этого окунания в анилин? А может быть, с подожженного зерна?

Тамара, которую клонит в сон, поднимает голову, встряхивает своими жиденькими кудряшками и выходит за занавеску.

Ее окружают бойцы. Они удивленно смотрят на эту хрупкую девушку, почти девочку: ну как же такая кроха ходит во вражеский тыл?

— Что, как там, как они?

— Зверинец,— коротко отвечает девичий голосок.

Дружный смех разносится под промерзшими сводами подвала.

— Зверинец! От утрафила!..

Девушка недоуменно смотрит на бойцов: что она такого сказала? Она еще не знает, что на войне в минуты бо́льших нервных напряжений достаточно порой пустяка, чтобы вызвать такую реакцию. Вдруг смех обрывается, резко скрипят сапоги, сильная рука отбрасывает брезент, и в освещенное свечою пространство вступает комбат в своей пограничной фуражке. На ходу он бросает поспешающим за ним связным:

— Сообщите в первую и вторую роты: поднимать людей, все по постам, по расписанию... К бою!.

Стрельба участилась. Близкие разрывы то и дело встряхивают массивные своды подвала.

— Что-нибудь случилось?

Лицо комбата спокойно, малоподвижно, только скулы напряжены.

— Ничего особенного... Просто противник возобновляет атаку со стороны города. Силами от батальона до двух.

Действительно, ничего нового. Подобное за те три дня, что я нахожусь в этом подвале, уже бывало. Но на этот раз, как мне кажется, неприятельская артиллерия бьет особенно густо. Где-то совсем уже рядом лопается несколько мин. Вдруг артиллерийские голоса смолкают и сменяются частыми пулеметными очередями. Огромный подвал почти пуст. Только постанывают раненые, тревожно прислушиваясь к густеющей трескотне.

— В атаку полез! — определяет повар, снимая колпак.

Его напарник уже взял винтовку и вылез в окоп для усиления охраны штаба. У повара тоже карабин, прислоненный к колесу кухни, а на пустом противне пара гранат. Но он не двигается с места. Лицо его спокойно: нас тут не возьмешь — так закопались.

Зато Тамара, храбрая Тамара, залезающая, можно сказать, в пасть тигра, вся трясется. Бледное маленькое личико ее искажено страхом. Каждый близкий разрыв заставляет ее прижиматься к повару, который вопреки

общему представлению о людях его профессии худ, жилист. Повар отечески смотрит на девушку и набрасывает ей на плечи свою меховую безрукавку.

— Героиня! — говорит он, не переставая, однако, прислушиваться к перестрелке.— На передовой, слов нет, страшно. Однако справа от тебя Иван, слева — Степан, впереди — разведка, а возле — твой командир. Все свои, а на миру и смерть красна. А ты ведь, дурашка, одна на врага-то ходишь. Так чего ж трясешься? — Послушал и не без торжества усмехнулся.— А ведь вроде бы уж он захлебнулся, а? — Еще послушал.— А не думаете, что наши вперед рванули? Нет, серьезно! Бой вроде бы откатил, слышите, слышите?.. Я же говорю, ежели русский человек насмерть стал, только смерть его от той земли оторвать и может.— Но, должно быть, подобно большинству трудовых людей, не терпя высоких слов, он перебивает себя: — Давай-ка, девонька, котелки. Пока суд да дело — раненых накормим, сама поклюешь... Сверху-то самый навар.

Я выбираюсь из подвала. Комбат стоит в глубоком, облицованном досками окопе и в щель меж бревен наблюдает за боем. Он то и дело посылает связных то к одному, то к другому ротному, говорит по телефону с командиром полка, докладывает кому-то постарше, и все это без метаний, без крика. Люди вокруг него так же деловиты, будто, отражая атаку, делают привычное дело. Третьего дня во время такой атаки его предшественник, тело которого в ожидании сумерек лежит в углу подвала, так шумел и бранился, что сорвал голос, даже сгоряча кого-то по шее вытянул. А этот недаром носит свою зеленую фуражку.

— Продолжайте преследование,— говорит он. Именно говорит, а не кричит, в телефонную трубку, вытирая лоб свежим носовым платком. Откуда у него свежий платок в этом заплесневелом, промерзшем подвале? — За отбитые блиндажи держаться. Головой отвечаете. Сосед вас поддержит справа. Сейчас огонек на помощь вызову.

— Вас первый спрашивает.— Связист почтительно протягивает трубку другого телефона.

Комбат докладывает:

— Да, предпринимаем контратаку. Отбили несколько блиндажей... Нет, не скажу, точно не знаю. Уточняю.— В трубке звенит возбужденный голос. Комбат отвечает с достоинством.— Так точно, товарищ генерал... План го-

рода перед вами?.. Да, взяли по самую улицу. Уточню, сколько блиндажей. Уточню и доложу. Пленных?.. Пленных, кажется, нет... Прошу в случае их контратаки поддержать огоньком... Есть. Будет сделано.— Передав трубку связному, он поясняет: — Комдив звонил. Говорит: держите отбитое во что бы то ни стало. Говорит: это первая отбитая у врага земля... А ведь действительно первая.— И комбат с удовольствием удлиняет красную стрелку на плане города, заменяющем ему карту.

Отбитых блиндажей — семь, убитых немцев — десять.

Стемнело. Раненых увели, мертвых вынесли. Понемногу стихают возбужденные после схватки голоса бойцов. Комбат уполз в отбитый у противника блиндаж, перенеся туда свой НП. Тамара заснула, прикорнув рядом с кухней, свернувшись у теплой печки, как котенок. Сажусь наконец писать корреспонденцию, и, когда корреспонденция эта, пополненная сообщением о только что отбитых блиндажах, готова, появляется майор Николаев. С ним две девушки, которых он сегодня переправляет в город, на смену Тамаре и Вере. Погревшись возле кухонного огонька, они отправляются в путь. Возвращается майор уже за полночь. Долго молча греется, прислоняясь к котлу то спиной, то грудью.

— Переправили благополучно?

Он молча кивает и вздыхает. Проснувшаяся Тамара встревоженно смотрит ему в лицо.

— Был я там,— говорит он вполголоса,— сам каждую тропу осмотрел на реке, весь берег исходил—и следка ее не видно.

А я вспоминаю Веру— серьезную белокурую и синеглазую девушку, до войны работавшую на низовой комсомольской работе. Физкультурница. Красавица.

— Ничего не понимаю. Ведь метели не было. Должен же был остаться хоть какой-то след,— говорит майор и тихо добавляет: — Чертова работа! Легче самому туда ходить.

И в самом деле, в первые дни оккупации он бывал в городе, хотя многие его там знают. Уходя, майор обещает сдать на военный телеграф мою все-таки дописанную корреспонденцию. Но для передачи по военному проводу надо, оказывается, знать шифрованный индекс «Правды». Ни он, ни я его не знаем. Решаем, что «Правда» есть «Правда» и, если статье суждено дойти до Москвы, адрес как-нибудь найдут и без индекса. Я проводил

майора и Тамару в звездную ночь. Похолодало, подсушило, стены ходов сообщения густо посолило искристым инеем. Вернувшись, приспосабливаюсь на теплое Тамарино место у кухонного котла и, положив под голову подсумок, в котором заключено все мое оставшееся после эвакуации имущество, засыпаю.

В МОСКВУ!

Проснулся поздно со смутным ощущением чего-то хорошего. Не то видел во сне, не то совершилось наяву. Что? Мало, очень мало хорошего было в последнее время... Ах да, семь отбитых блиндажей, этот крохотный кусочек города, отвоеванный вчера у противника. Его можно за несколько минут обежать, этот кусочек. Но ведь действительно это первая маленькая победа здесь, у стен города. Может быть, о ней даже сообщит Совинформбюро? Ведь не так-то много добрых вестей приходит с фронта.

Кухня все еще на месте, источает благословенное тепло и пресные запахи пшенной каши, но население подвала переменилось. Передовые передвинулись, вероятно, в те семь отбитых блиндажей, а сюда вселились со своим громоздким хозяйством тылы. Половина пространства занята мешками и ящиками. Но свой командный пункт батальонный держит еще тут. В отгороженном плащ-палатками углу комбат усталым голосом, как-то вяло и неохотно рассказывает кому-то о вчерашней контратаке, и с первых же слов его собеседников я угадываю, что там с ним газетчики, даже вроде бы и голоса их кажутся знакомыми.

— Вам, товарищ старший лейтенант, может быть, все кажется обычным: семь блиндажей, несколько сотен метров отбитой территории,— а вот для наших читателей, изголодавшихся по добрым вестям с фронта?..— убеждает молодой, напористый и действительно знакомый голос.— Пленные были?

— Пленных нет. А вам, товарищи корреспонденты, не следовало идти сюда днем. К чему рисковать? Мы сами на этом участке днем не разгуливаем... Обо всем, что произошло, в дивизию уже доложено. Там бы и узнали,— устало говорит комбат.

— А кто в этой схватке отличился? Кто первый ворвался в первый немецкий блиндаж?.. Среди них были

молодые воины-комсомольцы? Вспомните, нам это очень важно.

Ага, это же корреспонденты «Комсомольской правды», неразлучная пара — Федоров и Финогенов, с которыми мне уже доводилось встречаться на нашем молодом фронте. Здороваемся. Финогенов достает из планшета телеграмму.

— Майор Николаев нам о тебе рассказал. Мы видели его на телеграфе. Твоя корреспонденция ушла в Москву... А для тебя хорошая новость, читай.

И протягивает телеграмму:

«Срочно получением сего выезжайте Москву для переговоров работе военным корреспондентом «Правды». Калининским обкомом, Политуправлением фронта выезд согласован. Ильичев».

Вот это новость! Кто из нас, провинциальных газетчиков, не мечтал быть сотрудником «Правды»? Я гордился, что перед войной мне довелось напечатать там несколько очерков. И в войну между делом, отходя с частями Красной Армии по территории Калининской области, послал в «Правду» несколько писем о мужестве моих земляков. Но работать в «Правде» военным корреспондентом — это даже в голову не приходило. У меня будто в ушах звучат призывы «Правды» последних, особенно тревожных, дней, которые я воспроизвожу: «Кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве. Остановить и опрокинуть смертельного врага!..» «Взбесившийся фашистский зверь угрожает Москве — великой столице СССР. С железной стойкостью отражать напор кровавых фашистских псов!..» «Воины Красной Армии! С вами вся страна, весь советский народ. Будьте бесстрашными в бою, деритесь до последней капли крови за каждую пядь родной земли!» И этот последний, самый короткий и выразительный, что я прочел вчера в газете, которая и сейчас лежит в моем планшете: «Все силы на отпор врагу! Все на защиту Москвы!» Эти слова просто-таки врезаются в сердце!..

Стать корреспондентом «Правды»! Здорово! А тут и еще повезло. Спецкоры «Комсомолки» уже немало поездили по фронту и возвращаются в Москву «отписываться и отмываться». У них машина. В машине есть место. Чего же еще, к чему откладывать!

Но не тут-то было. Как я уже писал, при новом комбате здесь по траншеям днем без крайней надобности

ходить не позволяется. Горячую пищу по стрелковым ячейкам разносят в термосах, и термосоносцы двигаются ползком. Как раз сегодня снайпер с той стороны Волги пробил один термос, но сваренный на совесть кулеш оказался таким густым, что не вытек в пробоину. Понимаем, конечно, что для батальона, находящегося на самом острие клина, эти строгости — разумная мера, но мы трое томимся вынужденной неподвижностью: у «комсомольцев» горячий материал, который может остыть, у меня эта телеграмма из «Правды».

— Ну и порядочки вы тут у себя завели! — ворчит Финогенов, круглоликий, веселый парень с узкими хитрыми глазами.

— Точно,— хладнокровно подтверждает комбат.— Точно, товарищи корреспонденты. Передовая — это граница, граница двух миров. На границе и действовать надо по-пограничному.— Слово «граница» он произносит как-то особенно выразительно.

Чтобы не терять времени, начинаем вытягивать из комбата подробности первого боя на границе, который его пограничники вели три дня и три ночи, удерживая участок своей заставы. Сражались яростно. Раненые не выходили из боя. Жены командиров заменяли медицинских сестер, набивали пулеметные диски. А потом, оказавшись уже в тылу фашистских частей, пограничники сумели рассредоточиться на местности, где им была знакома каждая былинка, и не только вышли из окружения, но и вынесли своих раненых.

— А женщины, дети?

— Моя с грудным малышом ушла на второй день боя.— Загорелое лицо комбата спокойно, но скулы так и ходят.— Не знаю, удалось ли им пройти или нет. Не знаю, живы ли. Может, в тылу у немцев. В Селижаровском районе батя у жены лесник. Может, к нему подались.— И комбат, только что неохотно цедивший сквозь зубы рассказ о своей вчерашней боевой удаче, вдруг просит: — Если будете писать и поминать фамилию, напишите уж и имя-отчество: Остап Гаврилович. Может, моя прочтет, узнает, что я жив.

Завязавшаяся метель раскрепостила нас. Порывы северного ветра, который в здешних краях зовут «сиверко», несут снег с такой силой, что он, как песок, сечет лицо.

— Так не забудьте — Остап Гаврилович, а то Гнатенков на Украине богато,— напутствует комбат...

Без приключений добираемся до деревеньки Змиево, где помещается командный пункт дивизии. Тут у друзей спрятан их, как они говорят, «передвижной корреспондентский пункт». Под драночным навесом риги стоит полуторка, на которой большой фанерный ящик с печной трубой. Это маленькая комнатка с жестяной «буржуйкой», с прибитым к полу столиком, с диваном, под которым даже запас дровец. На стене для пущего уюта — красавица в костюме праматери Евы, должно быть, вырезанная из какого-то трофейного журнала. Есть даже вешалка, на которую и пристраиваю свой бушлат, как только печка начинает отдавать тепло.

Политуправление Калининского фронта — на окраине большого села Кушалина. Соответствующие телеграммы здесь уже получены, командировка и пропуск в Москву на мое имя оформлены. Наносим на карту путь. Он лежит через город Кашин, ставший временной столицей области. Едем медленно — то и дело приходится останавливаться и пережидать тянущиеся к фронту войска... Орудия на механической тяге... Подразделения лыжников в маскхалатах. И хотя нам с Федоровым тепло в нашей будочке, где потрескивает печурка, мы завидуем Финогенову, который, как начальник экспедиции, сидит с шофером и может наблюдать столь многозначительное передвижение воинских частей.

— Сибирь пошла,— говорит он, когда мы вылезаем из кювета, где пережидали очередной обстрел с воздуха.

Я мысленно сопоставляю: «Совинформбюро, сообщая о тяжелых боях на Центральном направлении, по нескольку дней уже не упоминает об оставленных с боями пунктах. Немцы в Калинине жгут в элеваторе зерно. Свежие части подтягиваются к фронту. Нет, назревает что-то большое. Где? Да, конечно же, там, под Москвой...

В Кашин въезжаем уже в сумерки. Как и полагается столице, хотя бы и временной, он очень бдителен, этот маленький Кашин. На въезде в город часовые проверяют документы. Квартал спустя машину останавливает патруль истребителей с красными повязками на рукавах. Снова военный и снова штатский патруль. Ни огонька. При свете полной луны, царящей в этой синеватой морозной ночи, четко, будто выгравированные, вырисовыва-

ются старинный собор, маленькие затейливые церкви, деревья бульвара, крыши домов, густо выбеленные инеем. У корреспондентов «Комсомолки» свои интересы и свои дела в обкоме комсомола. Ну а я, конечно же, спешу в «Пролетарскую правду», в редакцию, где я проработал больше пятнадцати лет. Уплотнив районную газету, она расположилась в старом здании на базарной площади. В тесноте, да не в обиде. Небольшой коллектив, отдавший фронту почти всех своих мужчин, под руководством редактора Василия Кузнецова в эти тяжелые дни отлично проявил себя. Он выпустил номер даже 15 октября, в день массового исхода из города. Его набрали ночью, при свете свечей. На ходу, па машинке «американке», водруженной на трехтонный грузовик, сотрудники, в том числе и сам редактор, печатали этот номер, по очереди вертя маховое колесо.

Информацию в этой старой рабочей газете ведет мой друг, подписывающий свои репортажи и фельетоны выразительным псевдонимом «Л. Гур». Он из тех репортеров, про которых шутят, что они знают подробности пожара за несколько минут до его возникновения. При встрече он как бы подтверждает это. Первое, что я после рукопожатий и лобызаний узнаю от него,— это что «под Москвой назрело», что и в наших Верхневолжских краях скоро начнется большое наступление. Конечно, ничего конкретного, но есть верные признаки: областные организации и учреждения готовятся к реэвакуации... Начальники перессорились, деля машины... На карту города нанесены по данным разведки все уцелевшие здания. После горячих прений намечен и утвержден новый план размещения учреждений. Эл. Гуру уже известно, зачем я еду в Москву, известно, что «сосватал» меня в «Правду» секретарь обкома И. П. Бойцов, член Военного совета фронта, и — что уже совершенно невероятно — известно даже, что мне предстоит быть корреспондентом на Калининском фронте.

— Да,— и он звонко хлопает себя по лбу ладонью,— здесь твой друг, Василий Васильевич Успенский. В районной больнице старик развернул хирургический стационар для раненых. День и ночь шпарит операции. Ему дали полковника, к ордену Ленина представили.— И, сделав таинственное лицо, Эл. Гур шепотом сообщает: — Там у него раненый немец лежит. Честное-честное! Первый перебежчик на нашем фронте. Перебежчик, понимаешь!

Шлягер! Сенсейшен! Гвоздь! К нему даже меня не пустили. Охраняют, как Железную маску в средневековом замке. Но тема-то, тема какая пропадает!..

Я с удовольствием повидаю профессора Успенского, нашу калининскую знаменитость. Это один из лучших хирургов страны, его иногда вызывают в Москву для сложных операций. Читает лекции в столичном медицинском институте. Ему не раз предлагали там кафедру, но он остался верен родному городу, где его попечением был организован образцовый Больничный городок. Лишенный ноги, он с трудом передвигается, но может часами не отходить от операционного стола. Все свои, вероятно очень немалые, заработки он тратил на книги и журналы по хирургии. Говорят, у него есть все интересное, что вышло на русском, немецком и французском языках. Выписывал журналы из Германии, Швейцарии, Франции. Стен в его доме не видно — сплошные книги. «Помру — будет мне вместо памятника»,— говорил он врачам, которые широко пользовались этой его личной библиотекой.

Но Эл. Гур, конечно, не может и не посплетничать, и я узнаю, что в трагической суете эвакуации как-то позабыли об этом великолепном старике. Старому врачу вряд ли что грозило, но он не счел возможным остаться с немцами. Связал в узел самое необходимое, взял под руку старушку-жену и влился в общий поток беженцев, выходивших из города под непрерывными бомбежками. Где-то на Волжском мосту профессора обогнала колонна автомашин ассенизационного обоза. Старика узнали, подхватили вместе с женой, устроили в кабину головной цистерны. Да так и вывезли, к вящему стыду штаба эвакуации. И вот, попав в Кашин, профессор снова в трудах и заботах. Ну, конечно же, надо его повидать. Он, может быть, что-нибудь знает и о моей матери.

Проникнуть в госпиталь оказывается непросто: без команды начальника не пускают. Но мой друг был бы плохим Эл. Гуром, если бы запрет остановил его. Через несколько минут мы сидим в крохотной, пропахшей лекарствами комнатушке профессора — в кабинете, одновременно являющемся и жильем. Больничный столик, тумбочка, две табуретки, узенькая койка, а на стене знакомая всем его друзьям старинная фотография: группа мужчин в белых халатах и среди них маленький старичок с аккуратной бородкой в глухом, до шеи застегнутом сюртучке, какие носили в конце прошлого века, и другой,

волосатый, с бородкой и усиками. Это Луи Пастер и Мечников со своими сотрудниками и учениками. И среди них — юный плечистый красавец с мопассановскими усами. Обладатель мопассановских усов — Василий Васильевич, один из сотрудников Института Пастера. В те давние времена он ассистировал великому ученому, но остаться вдали от родины не захотел, вернулся в Россию, на нелегкую работу земского врача...

В коридоре слышится ритмичное постукивание палки. Дверь распахивается сильным толчком, и в проеме, почти заполняя его, плечистая фигура в окровавленном халате и в марлевой повязке, опущенной на подбородок. На миг входящий прислоняется к дверному косяку и стоит, закрыв глаза, тяжело дыша. На широком, мясистом лице усталость. Но вот резким движением он оттолкнулся от косяка, открыл глаза, и в них сразу засияла мальчишеская озорца.

— А-а, вот тут кто, братья писатели! Как же вы сюда просочились?.. Башку вахтеру оторву за то, что он вас в шею не выгнал... Ну, здравствуйте, борзописцы! Можете зафиксировать в своих блокнотах: сейчас старый тверской козел Васька сделал такую операцию, что сам чуть не сдох... Собственные рекорды бью на старости лет... Ты оттуда, что ли? — спросил он меня, махнув рукой в сторону Калинина.— Слыхал, слыхал, чем занимается сейчас сынок почтенной родительницы! Ну рассказывай, что там у нас, в Твери, все с голоду перемерли или кто остался? Домишко там мой стоит? Не знаешь?..

Широко образованный человек, свободно изъясняющийся на французском и немецком, понимающий по-английски, в речи своей он нарочито грубоват и порой прибегает к таким выражениям, что их, пожалуй, и не воспроизведешь на бумаге. Со всеми он на «ты», а город наш упрямо именует Тверью, избегая его нового, давно уже для всех привычного названия.

— У вас тут немец, говорят, лежит? Перебежчик. Первый перебежчик в наших краях,— не вытерпев, спрашивает Эл. Гур.

— Я думал, вы старого земляка навестить зашли, а вы, оказывается, вот зачем... Ну лежит, из кусков его, можно сказать, сшил. Только для вас, газетчиков, его тут нету. Ясно?.. Ни для кого, кроме персонала, его нет... Я ведь теперь военный... Приказ — так точно, кругом марш, и все. Поняли?

— Ну вы хоть расскажите о нем...

— А что рассказывать? Хороший немецкий парень. Толковый. Он инженер. Отец у него антифашист, не то еще сидит, не то уже повешен, он не знает. Когда к нам перебегал, в него свои целую очередь врезали, все у него внутри перемешалось... Вот. Поняли? Больше ничего не скажу.

— Ну а какой он?

— Человек как человек. Мы с ним по вечерам болтаем. Жуткая муть у них в голове, но проясняется, проясняется. Как говорится: если зайца бить, он спички зажигать научится. Вот лупите их на фронте, быстро умнеть начнут.— И, будто спохватившись, вдруг спрашивает: — Ну промочите горлышко, что ли? За этим ведь, чай, и шли, по глазам вижу.— И достает из-под стола аптекарскую склянку с прозрачной жидкостью.

Мы стыдливо переглядываемся: нет, мол, зачем же, не затем прибыли,— а он усмехается:

— Не беспокойтесь, раненых не обопьете. Здесь, в Кашине, спиртзавод. Этого добра хватит.— Он наливает и себе на самое донышко мензурки и, будто оправдываясь, поясняет: — Больше нельзя, сейчас еще одного оперировать.

Выпив, сидит на койке, прислонившись к стене. Отдыхает.

— Да, братья писатели, похоже, что скоро дома будем... А вы знаете, как я эвакуировался? — Глаза его смеются, совсем мальчишеские, озорные глаза.— С шиком эвакуировался. Отцы города знали, на чем старого пьяницу вывозить. На бочке, именно на бочке!.. Э, наплевать! Книг вот жалко! — И вдруг ни с того ни с сего: — А разве плоха наша интеллигенция? Ведь, почитай, все из города ушли. Никто не остался. Актер Лаврецкий у меня с аппендицитом лежал. Ему под семьдесят. Всю свою картинную галерею бросил и уехал... А книг мне все-таки жалко... Какая хирургическая библиотека! Написал я по-немецки на бумажке плакатик: «Господа немцы, берите что угодно, все в вашем распоряжении, но, если вы там не забыли, что были такие Кох и Вирхов, пожалейте книги. Они вам не нужны». Да, так вот написал, прикрепил к двери и ушел. Может, они там не все озверподобились.— И ко мне: — А за мамашу свою не беспокойся, она не из тех, кто теряется. Характер! Уехала или ушла. Коли жива, отыщется, вот увидишь.

Сообщаю ему слышанный от майора Николаева, очень удививший меня слух, будто молодой врач Лидия Тихомирова, его ученица, осталась в городе, работает в немецком госпитале. Да, слух этот дошел и до него. Старик хмурится. Как все хорошие люди, он не любит думать о знакомых плохо.

— Врут, наверное. Мало ли сейчас с горя да с перепугу врут... Я эту Лидку знаю. Ассистировала она у меня и у Зыковой. Руки у нее — дай господи!.. Тут такое дело — муж у нее сидит. Ты его знал. Хороший, между прочим, парень. Но муж — муж, а она — она... Нет, все-таки не верю я этому.— Посмотрел на свои массивные золотые часы, нажал кнопку звонка, скомандовал появившейся хорошенькой, круглолицей сестре: — Вы там готовьте этого грузина. Отдохнул. Сейчас приковыляю.

И, уже уходя, подмигнул мне:

— Так ты, значит, как те самые три сестры у Чехова: «В Москву, в Москву!..» — И уже в дверях обернулся: — Отыщется родительница — кланяйся ей от меня. Место для нее в моем госпитале всегда найдется...

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Нормального пути от Кашина до Москвы от силы часа четыре. Но если бы нанести на карту дороги, по которым двигался фанерный фургончик «Комсомольской правды», этот путь изобиловал бы самыми неожиданными поворотами и затейливыми кривыми. По основным дорогам с наступлением темноты перемещались войска. Перемещались в западном направлении, и регулировщики все время направляли наш глубоко штатский грузовик на обходные проселки.

К Москве мы приблизились с северо-востока уже к ночи. Мои товарищи по путешествию привыкли к виду военной столицы. Они дремлют и просыпаются только у контрольных пунктов, где строжайше проверяются документы. Я же сидел на ящике, приоткрыв дверь, и во все глаза смотрел в лицо этой незнакомой мне Москвы — мужественное, собранное, суровое.

В ночной час она казалась почти безлюдной. Тут и там из мрака затемненных улиц вдруг возникали баррикады, сложенные из мешков с песком, досок, камня, внушительные, скрепленные бревнами баррикады с предпольем

из стальных ежей и бетонных эскарпов. Окна магазинов заложены мешками с песком, на больших перекрестках — массивные бронеколпаки, из которых торчат рыльца пулеметов. В темном небе плавают посеребренные луной аэростаты. По мере продвижения к центру приходилось все чаще останавливаться и показывать документы:

— Из-под Калинина? Ну как там у вас, остановили его? — И тише: — Еще не началось?

И было необыкновенно приятно отвечать этим военным и гражданским патрулям, что действительно остановили, что за две последние недели мы не отдали ничего и что вот совсем недавно контратаковали и даже отбили кусочек земли возле самого города. Я смотрю на эту военную, незнакомую мне Москву — и поражают меня не баррикады, не вереницы ежей, а то, что город этот, оказавшийся совсем рядом с фронтом в нескольких летных минутах от неприятельских аэродромов, цел и, как кажется, спокоен.

Где-то на Верхней Масловке мы попали под тревогу. Проворные, горластые женщины быстро загнали машину в подворотню. И тут я убедился, что тишина и безлюдность ночной Москвы, ее кажущийся покой — все это такое, что бывает на хорошо организованной передовой. В одно мгновение все кругом ожило, загрохотало. Темное небо точно бы разом вспыхнуло, сама темнота затрепетала, пронзенная очередями трассирующих снарядов, в небе скрестились шпаги прожекторных лучей. Вот в центре их скрещения появились три светлые точки. Канонада достигла накала. По замерзшему асфальту застучали осколки, и маленькая девушка с красным нарукавником и большой санитарной сумкой просто затолкала нас в какой-то подъезд. Потом все отошло в сторону, начало стихать, небо погасло, и только погромыхивало издали, как это бывает летом, когда, отшумев, уходит гроза.

Огромный прямоугольник здания «Правды» тоже показался сначала пустым, мертвым. Но за дверью горел неяркий свет, и свет этот как-то особенно подчеркивал безлюдность просторных холлов и длинных коридоров. В них даже поселилось эхо, и, двигаясь, я слышал звук своих шагов где-то впереди. Но и это безлюдье было так же обманчиво, как безлюдье Москвы. В нескольких кабинетах, именно в нескольких из доброй сотни, шла напряженная работа.

Не без труда рассмотрел я в синеватом мраке стеклянную табличку: «Ответственный секретарь редакции Л. Ф. Ильичев». После всего пережитого в последние месяцы обстановка кабинета, сохранившего довоенный облик, показалась прямо-таки фантастической. Невысокий, коренастый человек, читавший на откинутой у стены конторке мокрую газетную полосу, на миг оторвался от нее.

— Вам что, товарищ?.. Вы откуда?..

Я протянул ему телеграмму, подписанную его именем.

— Ах, так! Прибыли?.. Ну здравствуйте. Сядьте вон в то кресло, почитайте пока свежую сводку Совинформбюро.

Он торопливо пожал мне руку и вернулся к недочитанной полосе. Дочитал, вызвал курьера, отправил. Теперь уже внимательнее окинул меня быстрым взглядом. Зрелище я представлял неважное: засаленный бушлат, ватные штаны, мятая пилотка, скорее похожая на чепец,— все это, мягко говоря, несвежее, прожженное в нескольких местах. И вдобавок ко всему вместо обычных армейских сапог высокие ботинки с зашнурованными голенищами.

Очень прочные, очень удобные ботинки, доставляющие мне сейчас столько хлопот, так как из-за них меня останавливает каждый второй патруль, принимая за вражеского парашютиста.

— Н-да,— вежливо обобщил Л. Ф. Ильичев свои впечатления.— Вы хоть сыты?.. Нет? Я распоряжусь, вас накормят.— И опять: — Н-да... Может быть, хотите с дороги принять душ? Очень советую. Отличная горячая вода... А сейчас извините, «Правда» должна выходить вовремя. После подписи номера представлю вас редактору и вашему будущему начальству.

Очень, ну очень хотелось есть. Но, конечно же, прежде всего я ринулся в душ, хотя не было со мной ни мыла, ни запасного белья. В маленьком теплом помещении, где так уютно шумела вода, пришла идея постираться: пока моюсь, белье высохнет на горячих батареях. Запустив душ на полную мощность, принялся за стирку. Тут и услышал, как за спиной кто-то снова, и тоже весьма иронически, произнес: «Н-да».

— Бельецо, скажем прямо, не ай-ай-ай! — сказал жизнерадостный тенор.

— Без мыла его нипочем не одолеть,— рассудительно подтвердил баритон.— Не поддастся...

Я оглянулся. В клубах пара вырисовывались две нагие, высокие, атлетического сложения фигуры.

— Петр Лидов,— отрекомендовался тенор.

— Калашников,— сказал баритон.

Лидов, Калашников! Ну кто же в те дни не знал этих двух правдистов? Лидовские корреспонденции, всегда лаконичные и точные, я бы сказал — мужествено-немногословные, приходили с главного направления немецкого наступления и читались с особым вниманием. А на снимках Михаила Калашникова всегда запечатлевалось самое интересное, что происходило на фронте. Мне был вручен кусок мыла, а по окончании банных неистовств, которым я предавался с полчаса, Лидов от щедрот своих презентовал пару свежего госпитального белья.

Они объяснили, что, пока «не загорится» последняя полоса, то есть пока весь номер не ляжет в машину, ни Ильичев, ни начальник военного отдела полковой комиссар Лазарев, ни, конечно, редактор Поспелов потолковать со мной не смогут. Лидов пригласил зайти к нему «в хату», то есть в один из кабинетов, где он, как и все правдисты тех дней, и работал и жил. В кабинете этом на стене висел трофейный автомат «шмайсер» — мечта разведчиков нашего небогатого трофеями фронта. К письменному столу были привалены два запасных колеса, а в углу стопкой лежали четыре канистры бензина, замаскированные газетными подшивками, как мне пояснили — от пожарной охраны. Лидов и Калашников освещают самое боевое теперь Можайское направление Западного фронта. На заре, еще затемно, выезжают в сражающиеся части, а в сумерки возвращаются в редакцию или, оставаясь в войсках, шлют свои материалы с шофером. Людьми они оказались компанейскими. На стол были положены буханка хлеба, банка немыслимо вкусных консервов и внушительный пузырек со спиртом.

От этих первых правдистов, так дружелюбно меня встретивших, я узнал, что «Правда», над выпуском которой в довоенные дни трудились сотни полторы человек, теперь делается маленькой горсткой. Редакция разделилась на три части. Основной аппарат выехал в Куйбышев, куда в октябре перемещены правительственные учреждения и дипломатический корпус. Там создана параллельная редакция, готовая в любую минуту продол-

жить выпуск газеты. Вторая группа, поменьше, трудится в Казани. Пока оба эти филиала снабжают оставшихся в Москве сотрудников материалами тыловых корреспондентов и печатают «Правду» с матриц, присылаемых на самолетах из Москвы. Здесь же, в почти пустом огромном здании, четырнадцать журналистов во главе с редактором Петром Николаевичем Поспеловым ведут основной выпуск, поддерживают связи со всеми фронтами, со всей страной. Все на казарменном положении — работают и живут в своих кабинетах. В тех случаях, когда вражеская авиация становится слишком уж назойливой, работа переносится в подвальное бомбоубежище, где существует параллельный рабочий центр.

В номере, который верстается, как я узнал, стоит моя заметка о недавних событиях под Калинином и сообщение Совинформбюро о контратаке и отбитых у противника блиндажах. Мои собеседники принялись расспрашивать, что там творится, на молодом Калининском фронте, но что я мог рассказать им, этим асам военного репортажа, приехавшим оттуда, где сейчас, может быть, решается судьба Москвы!

— На Можайском положение тяжкое,— говорит Лидов.— Рвется, сволочь, новые и новые части в бой вводит. Сегодня разведчики две новые моторизованные бригады обнаружили...— И повторяет: — Очень, очень тяжко. Оружия, боеприпасов у них — завались. Еще бы, вся Западная Европа на них батрачит.— Лидов взволнованно встает.— И все-таки, я скажу, дух у них уже не тот, не тот дух... Я от самого Минска, от прежней границы, сюда с частями отступал... Разве они такие тогда были? С песнями шли... Нет, не тот у них дух. Вояки, конечно, умелые, кто спорит, но зубы у них уже крошатся.

— Обескровленные у них дивизии,— вставляет Калашников, рассматривая на свет свежепроявленную пленку.

— Ну нет, Мишель, это не так. Я вчера беседовал с генералом Жуковым. Говорит, солдат у них на нашем направлении больше, чем у нас. Куда больше!.. О самолетах, танках и говорить нечего... Но миф о непобедимости — где он? Фьють... растеряли по дороге, остатки тут, под Москвой, развеиваются.

— Но положение все же тяжелое?

— Кто ж говорит, конечно, тяжелое. Очень тяжелое. Зря не скажут, что над Москвой нависла смертельная

опасность. Таких слов попусту не бросают. Но кризис, я считаю, миновал. Шестнадцатое октября не повторится. Сейчас оборона жесткая и войска прибывают...— Зазвонил телефон. Лидов взял трубку.— Да, здесь, у меня... Последняя «загорелась»? — Он положил трубку.— Тебя к редактору. Ну, старина, ни пуха ни пера.

Кабинет редактора оказался огромной комнатой, тоже имевшей ярко выраженный военный колорит. Правда, запасных колес, канистр и стрелкового оружия в нем не было видно, но зато длинный стол для совещаний мог послужить выставкой корпусов мин в разных стадиях изготовления. По-видимому, подарок какого-то завода. В дальнем конце на фоне большой карты, истыканной флажками, сидел крупный белокурый человек в очках и синей сатиновой блузе.

Редактор вышел из-за стола и стиснул мне руку так, что слиплись пальцы. Издали мясистое его лицо казалось суровым, но улыбка совершенно меняла его.

— Хорошо, что быстро прибыли. Вашему молодому Калининскому фронту придается большое значение. Вы ведь прямо из-под города?.. Товарищ Бойцов мне говорил... Да, позвольте вас сначала познакомить. Начальник военного отдела полковой комиссар Лазарев, ваш будущий, так сказать, командир.

Маленький, коренастый, очень подтянутый военный, сидевший в кресле, поднялся и кивнул большой, наголо выбритой головой.

— Ну рассказывайте, как там, в Калинине? Тяжко, да? Рассказывайте, не стесняйтесь. Впереди половина ночи... Впрочем, может быть, вы хотите спать?.. Ну как там наши земляки держатся? Товарищ Бойцов кое-что мне порассказал. Текстильщики-то наши какие молодцы!..

Редактор вышел из-за стола, сел в одно из глубоких кресел, и по тому, как сразу, точно обмякнув, опустились его плечи, нетрудно было догадаться, что человек этот смертельно устал. Но глаза его сквозь очки глядели внимательно, в них был живой, ненаигранный интерес.

Рассказать было что. Ведь еще у западного края области, на прежней границе, на почти заброшенных укреплениях в районе Себежа, наши части, обойденные танками, обложенные немецкой пехотой, несколько дней вели неравный бой. Люди гибли, но не сдавались, не отступали.

Да разве только на бывшей границе! Кадровые части отходили с боями, обращали порою какой-нибудь безымянный ручей, овраг, холм, лесную опушку, которыми изобилуют наши края, в рубеж обороны. Случалось, что, зацепившись за такую естественную преграду, горстка бойцов с умелым командиром и стойким комиссаром иной раз по нескольку суток отбивались от вражеского авангарда, задерживая его продвижение. Целые рощи молодых березок извели немцы на кресты на реке Ловать и на других водных рубежах в Новосокольническом, в Торопецком, в Селижаровском районах, у Ржева, у Старицы, под Калинином, да и в самом городе.

Я показал редактору снимки таких немецких кладбищ, сделанные нашими воздушными разведчиками. Поспелов и Лазарев долго рассматривали фотографии.

— Да, немалую цену платят,— говорит полковой комиссар.

— Единственное предприятие, которое оккупантам удалось пустить в Калинине,— это столярный цех вагонного завода: он выпускает кресты...

— Да? Это точно? — переспросил редактор.— Обязательно используйте это в одном из своих очерков. Цех крестов — это дойдет... Ну а люди? Как держатся земляки там, на оккупированной территории?

Достаю из подсумка несколько немецких объявлений, переданных мне майором Николаевым.

Редактор внимательно изучает их. Красным подчеркивает в них отдельные фразы: «За партизанскую деятельность расстрел и уничтожение всего имущества...», «За покушение на военнослужащих и цивильных лиц, служащих великой Германии, будет уничтожена деревня (село) и кара всему населению...», «За пособничество партизанам, за укрывательство их, а также коммунистов и евреев наказание по законам военного времени, казнь с помощью виселицы».

— И не помогает?

— Не помогает. Расстреливают, вешают, топят в проруби. Десятками расстреливают... Деревни, села начисто сжигают — не помогает. У нас в Верхневолжье в иных лесистых местах немцы не смеют по ночам сходить с большой дороги.

— Ну не только в Верхневолжье... Великий у нас народ! — говорит редактор. Он снял очки, протирает их.

Лишенные защиты светлые глаза его становятся беспомощными. Но вот очки водружены на место, глаза снова пытливы и требовательны.— Ну а у нас в Калинине? Рассказывайте, рассказывайте. Тут для «Большевика» готовится статья, может быть, что-нибудь пригодится... Город меня особенно интересует. Я ведь, знаете ли, тверяк.

Знаем, конечно. Калининцы — патриоты своего города и ревниво держат на учете всех своих известных земляков. Знаем, что Петр Поспелов еще гимназистом вступил в Тверскую большевистскую организацию, что в первые послереволюционные годы был он агитпропом губкома РКП(б), а у текстильщиц — любимым оратором, умевшим класть на диспутах на обе лопатки меньшевиков и эсеров, коих у нас тоже хватало. Знаю я это и потому рассказываю особенно подробно о том, что творится в городе.

Танковые дивизии неприятеля прорвались к нам по Старицкому шоссе почти внезапно, на плечах наших отступающих частей, не успевших даже развернуть оборону на подступах к городу. Бои завязались уже на окраинах — в Кировском и Первомайском поселках, на улицах так называемой Красной слободки. Да и сам огромный текстильный комбинат «Пролетарка» превратился в передовую. Рядом с частями Красной Армии стали истребительные батальоны рабочих. И пока они у железнодорожной насыпи отбивали атаки авангардов врага, завершалась эвакуация города: потоки людей под обстрелом, под бомбежкой лились по дорогам на восток и на юг.

Тверские текстильщики издавна известны своей привязанностью к родной фабрике. Профессии ткачихи, прядильщицы, банкаброшницы, красильщика, раклиста передавались из рода в род, от дедов к внукам, вместе с комнатой в фабричном общежитии, или, по-рабочему, «в казарме», «в спальне». Огромные эти общежития люди по традиции покидали только, как говорится, ногами вперед — отправляясь на кладбище. А тут рабочие и работницы, даже старики, эти комнаты и свои квартиры в новых поселках бросали со всем нажитым добром и с чемоданчиками, узелками уходили в неизвестность, неся или ведя за руку детей, внуков.

— Узнаю земляков,— говорит редактор и опять начинает протирать очки.— Ну а ваша семья как?

— Жена ушла вместе с сестренкой-школьницей и унесла шестимесячного сына. Где они, до сих пор не знаю... И о матери, и о двоюродном брате, воспитывавшемся в нашей семье, тоже ничего не известно. Не знаю даже, удалось ли им уйти...

Слышится тягучий, вибрирующий рев сирены. Воздушная тревога, третья за эту ночь. Первые две ничем не ознаменовались, кроме этого рева да отдаленного боя зениток. Теперь, кажется, что-то серьезное. Канонада приближается, нарастает, бьют где-то рядом, даже как будто на крыше «Правды». Вся бетонная громадина резонирует на выстрелы, словно огромная гитара. Даже мне, приехавшему с фронта, из того подвала под силикатным заводом, становится не по себе. Но мои собеседники и глазом не ведут.

— Вы рассказывайте, рассказывайте. О людях рассказывайте, только конкретней, мы слишком много говорим общих слов.

Привожу в пример профессора Успенского, рассказываю о старейшем актере Лаврецком, о своих коллегах из «Пролетарской правды», крутивших маховик печатной машины и на ходу тискавших экстренный выпуск своей газеты.

Рассказ неожиданно прерывает человек в полувоенном костюме, с сумкой противогаза на плече.

— Петр Николаевич, нарушаете правила ПВО... Не годится. Спуститесь в бомбоубежище.

— Ну, ну, он прав, конечно. Давайте сойдем,— говорит редактор. На войне как на войне... Пошли в подвал.

И, захватив первую полосу, он выходит из кабинета. Заголовок завтрашней передовой, как я успеваю заметить: «Враг продолжает наступать, все силы на отпор врагу!»

СЕМЬ ДНЕЙ В СТОЛИЦЕ

Вот уже несколько дней живу в «Правде». Жилье мое — чей-то маленький кабинетик на третьем этаже. Зачислен на довольствие в скудном редакционном буфете. Получил комплект белья, госпитальное одеяло. Сплю на диване. Завидую корреспондентам Западного фронта — Лидову, Калашникову, Устинову, Курганову. До фронта им рукой подать. Утром чуть свет выезжают в части, в

сумерки уже в редакции. А меня все еще оформляют. Машина отдела кадров, увы, в военное время вращает свои колеса солидно, медленно, и пока пребываю в подсобниках: правлю солдатские письма с фронта, готовлю к печати заметки военных корреспондентов.

За этими делами как бы физически ощущаешь те сотни нитей, которые связывают газету с фронтом и тылом, с воинскими частями и заводами, с передовой и с самыми дальними городами, живущими в счастливой тишине и не знающими затемнений.

Перезнакомился со всеми, кто делает сейчас «Правду». Кроме тех, кого я упоминал, тут и Михаил Домрачев, ведущий сразу два отдела — партийный и сельскохозяйственный, и «промышленный магнат», как его в шутку зовут, Семен Гершберг, совсем молодой, круглолицый, веселый человек, ведающий вопросами производственными, и Лазарь Бронтман — репортер-ас, известный своими предвоенными репортажами о воздушных рекордах и полярных перелетах, и Миша Шишмарев — «командир отделения стенографисток», держащий связь с корреспондентской сетью, а по совместительству и начальник пожарной охраны редакции. Впрочем, все работают за двоих, а помощник редактора, смуглый, черноволосый, как-то очень весело прихрамывающий и вообще веселый парень Лев Толкунов, кроме своих прямых и очень нелегких в этих условиях обязанностей, ухитряется выполнять на фронте оперативные задания военного отдела и руководить строительством бомбоубежища, которое здесь так и зовется «редут Льва Толкунова».

Больше всех достается, пожалуй, Парфенову — заведующему отделом писем и отделом кадров. Кадры — ладно. Я, кажется, единственный кадр, над которым он сейчас хлопочет, а вот писем в «Правду» приходят тысячи. Их привозят на машинах, в мешках. В них все — и тревоги, и надежды, и печаль, и радость, и гнев на бюрократов, и гордость героями, и душевная боль. Словом, все, чем живет сейчас народ, что его волнует, заботит в эти тяжкие дни.

Сегодня эта почта принесла радость и мне. Где-то в начале рабочего дня, который в затемненном здании начинается поздно вечером, редактор вызвал меня:

— Для вас хорошие известия. Вот прочтите,— и протянул конверт, надписанный крупным, твердым почерком моей матери.

В нем оказались письмо и открытка. В письме: «Глубокоуважаемый товарищ редактор! В Вашей газете напечатана статья моего сына Бориса Полевого. Со дня моего ухода из Калинина я потеряла его из виду и не знаю его адреса. Если адрес его Вам известен, очень прошу переслать по нему открытку, которую я прилагаю к письму. Заранее благодарная врач Л. Кампова». На открытке без адреса было: «Здравствуй, Боря! По статье твоей я узнала, что ты жив, здоров и находишься где-то в наших тверских краях. Я тоже здорова. Живу в Москве, у тети Мани. Работаю в госпитале. Будет время, напиши, пожалуйста, о себе, о своих. Адрес ты знаешь. Мама».

— Сегодня же отправляйтесь к ней,— говорит редактор,— передайте ей от нас привет и...— Он на миг удаляется в заднюю комнату и выходит оттуда, неся початую головку сыра.— И это вот ей передайте.

Я уже знаю скудость редакционного существования и отвожу руки за спину. Но редактор рассердился:

— Берите и ступайте, не теряйте время! Матери — отличный народ, матерей надо беречь и уважать...

В маленькой комнатке ветхого дома где-то на Швивой горке, где в соседстве со своей школой с дореволюционных лет жила моя тетка-учительница, отыскал я мать. Она была все такая же, не по годам бодрая, деятельная, уверенная. Туго ли живется? Ну, конечно же, туго. Всем туго. Такое время. В гражданскую еще туже жили. Пережили, ничего...

Потом она принялась рассказывать о военном госпитале, где по годам своим она, к сожалению, «сверхштатная единица». Уже потом узнал я, что своих раненых она все же ухитрилась погрузить на машины, что партком «Пролетарки» помог ей в этом деле, прислав на помощь людей, но сама она, замешкавшись дома, уходила уже пешком из оккупированного города по проселочной дороге, унося в портфеле лишь свой халат, докторскую шапочку и стетоскоп. Добрые люди довезли ее на попутной машине до Клина. Там она явилась в военный госпиталь. Город бомбили, персонал сбился с ног, и пара рук квалифицированного медика оказалась очень кстати. С этим госпиталем она и приехала в Москву.

— А Андрей? — спросил я о двоюродном брате, пятнадцатилетнем пареньке, воспитывавшемся в нашей семье.

— Где вы все — на войне... Когда немцы подошли к городу, он с ребятами из своего класса пошел в истребители. У меня даже не спросился. Забежал только с ружьем ко мне в госпиталь, крикнул впопыхах, что идет в окопы у Ворошиловки, съел чашку компота и исчез... Говорили, что там немцев удалось задержать... А больше ничего о нем не знаю. Как освободите город, ты его найди. Ладно? И напиши мне, как он.— Говорит, а сама все посматривает на свои старенькие часы с решеточкой на стекле: время ее ночного дежурства в госпитале приближается.

— Ты что, торопишься, что ли?

— Да, мне пора. А ты тоже иди, иди. У тебя, наверное, дела. Знаешь, как наши раненые по утрам вашу «Правду» ждут!.. Сейчас ведь никто сложа руки не сидит...

Среди военных корреспондентов «Правды» немало писателей: Борис Горбатов, Алексей Сурков, Вадим Кожевников. Пишут Илья Эренбург, Александр Фадеев, Алексей Толстой, Михаил Шолохов. Из Ленинграда передают свои репортажи Николай Тихонов, Всеволод Вишневский, Виссарион Саянов. Но больше всех в эти дни пишет Владимир Ставский, с которым мы подружились во время освободительного похода в Западную Белоруссию. Он все время на фронте, в редакции почти не появляется, присылая с разными оказиями длинные листочки, исписанные мелким четким почерком.

И вот сегодня он вломился в мой кабинетик, именно вломился. Большой, шумный, в отлично пригнанной военной форме, с ромбами бригадного комиссара в петлицах и набором сверкающих орденов на груди.

Участник гражданской войны, боевой разведчик, переплывший однажды пролив, чтобы доставить в штаб новые данные о передвижении белых, он на всех войнах чувствует себя как рыба в воде. Во время освободительного похода в Западную Белоруссию он щеголял по Гродно в полной форме кубанского казака: в бешмете с газырями, в хивинковой папахе с красным дном, в сапогах со шпорами, так что ветхозаветные здешние евреи в длинных лапсердаках, помнящие еще царское казачество, завидев его эффектную фигуру, предусмотрительно переходили на другую сторону улицы. Но при всем во-

инственном виде и всем известной храбрости, о которой среди журналистов ходит немало рассказов, это очень отзывчивый человек. До того отзывчивый, что всегда в походе оказывался без денег, ибо все свои раздавал ребятишкам, вертевшимся около гостиниц.

— Ну, поздравляю с правдистским крещением! — с ходу атаковал он меня и стиснул в своих медвежьих объятьях.— Нашего полку прибыло, в бой древняя Тверь пошла... Рад, дружище, рад.— И тут же, чуть понизив голос, он таинственно сообщил: — Тебе предстоит большая работа.— И уже совсем шепотом: — Скоро мы будем в твоем Калинине. Ясно? Можешь не сомневаться, раз я говорю.

Должно быть, он заметил мой иронический взгляд.

— Нет, нет, дружище, я сейчас далек от шапкозакидательства. Переболел этим. Теперь уж не пою «Любимый город может спать спокойно». Устарело. Любимым городам нашим долго еще спокойно не спать... Во что нам эти песенки-то обошлись?.. И все-таки я говорю: скоро мы будем в твоей Твери.— Он сел на диван, и диван застонал под его грузной фигурой. Расстегнул ворот кителя.— У них мощная, закаленная армия, осатаневшая от побед. Они отличные солдаты. У них больше танков, самолетов, орудий... А мы сильней. Да, да... Русский солдат никакому иноземцу в бою не уступал, а теперь он защищает свой социалистический дом. Вот он уперся перед Москвой, и никакими силами его от земли не оторвать.— И вдруг предложил: — Давай пари. Ставлю голову против бутылки водки, что следующую Октябрьскую годовщину мы будем праздновать далеко западнее твоей почтенной Твери.— И, вскочив с дивана, не говорит, а прямо-таки изрекает: — Завтра на Красной площади парад будет! Ясно? Традиционный. И все Политбюро на трибуну поднимется... А сегодня я пойду на торжественное заседание Моссовета. Сам с докладом сегодня выступит. Ну? Как?..

Я вытаращил глаза. Розыгрыш? Немцы рядом — где-то в Химках или Ховрине. Их летчики, едва поднявшись с аэродромов, оказываются над Москвой. Сегодня, 6 ноября, немцы особенно активны в воздухе. Тревога за тревогой, весь день проходит под аккомпанемент зениток — и вдруг торжественное заседание... Парад! Ставский, наслаждаясь моим изумлением, басовито хохочет:

— Пари не будет, зачем наивного ребенка обижать?

Оставляя меня пораженным, этот грузный человек уходит легкой походкой кавалериста. В дверях все-таки оборачивается, многозначительно прикладывает к губам палец — дескать, никому ни слова — и исчезает, оставив в воздухе длинный шлейф коньячного аромата...

Я в полнейшем недоумении. Понимаю, я еще недостаточно правдист, чтобы мне доверяли такие тайны, да и у кого спросишь? Номер вроде бы идет обычный, а поинтересуйся насчет парада, начнут насмехаться: дескать, разыграли как маленького. Только под вечер, проходя по коридору, я вижу, как к лифту спешат Поспелов и Ильичев, оба празднично приодетые. Может быть, и верно Ставский говорил.

Ну, а ночью узнаю: действительно в зале станции метро «Маяковская» состоялось традиционное заседание Моссовета. И. В. Сталин сделал доклад. Калашников и Устинов ночью показывали снимки: аплодирующие люди на фоне стальных полукружий колонн. В президиуме знакомые лица членов Политбюро. Сталин на трибуне...

Засыпаю с чувством взволнованного ожидания, предвидя, какой эффект все это вызовет в народе, за границей, да, наверное, и в немецких войсках, что мерзнут сейчас в лесах Подмосковья от рано наступивших и весьма сердитых холодов.

А парад действительно будет. Утром о нем знают все, даже машинистки, допущенные и не допущенные к государственным секретам. Несмотря на это, счастливые обладатели пропусков с замкнутыми лицами грузятся в редакционный ЗИС, вместительный, как Ноев ковчег. Все с завистью смотрят им вслед.

В этот день брусчатка Красной площади, хранящая столько следов российской истории, как всегда в праздник, содрогается от топота солдатских сапог. Впрочем, «содрогается» — не то слово. Бойцы и командиры в зимнем обмундировании, в полушубках, в валенках. Продефилировав перед трибунами, они сходят вниз на мост, а там колонна делится на несколько потоков, и потоки эти уже по разным улицам идут к местам погрузки в машины, которые доставят их прямо на фронт.

Когда Семен Гершберг написал свой отчет о необыкновенном этом параде и репортаж направили в набор, кабинет его, где на стене висит пижама, у двери стоят

валенки, у дивана — домашние туфли, а на стене прибито многозначительное объявление: «На постель не садиться, минировано!», оказался битком набитым. Волнуясь, автор отчета восстанавливал для нас детали того, что только что видел на площади... Вот маршал Буденный выезжает на коне из Спасских ворот... Принимает рапорт командующего парадом... Объезжает войска, поздравляя их с праздником Октября... Спешивается перед Мавзолеем, отдает ординарцу коня. Поднимается на трибуну... Густо сеет крупный снег. Все этому рады: снег — это прикрытие с воздуха. Сталин подходит к микрофону. Неторопливо, в обычной своей манере ведет речь, разносимую репродукторами по всей площади.

— Вот, я успел записать. Это, мне кажется, особенно важно.— И, полистав блокнот, Семен цитирует: — «Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик,— и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений». Несколько месяцев, годик! Вы понимаете, ребята, что это значит?

Мы понимаем. Все понимают. Как это здорово, как это все-таки здорово: торжественное заседание, парад, эта речь. А ведь именно на этот день Гитлером было запланировано взятие Москвы. В радиоперехватах месячной давности сообщалось, что разработана даже церемония вступления в Москву. Гитлер должен был въехать в столицу со стороны Поклонной горы на белом коне. Генералы, высшее офицерство затребовали из фатерланда парадные мундиры, белые перчатки. От военнопленных мы уже слышали и о намерении Гитлера стереть Москву с лица земли, превратить огромный, многомиллионный город в пустую каменоломню, безлюдное географическое понятие.

А тут в этот день... Да, легко представить себе, как парад этот потрясет мир и какой вызовет всюду отклик.

ПО ОТКРЫТОМУ ЛИСТУ

Ну вот, теперь я настоящий правдист, «старший военный корреспондент «Правды» по Калининскому фронту», как значится в моем командировочном удостоверении. Ни младших, ни каких иных на этом фронте пока нет, но «старший», как мне кажется, все-таки

неплохо, ибо предстоят переговоры с фронтовыми интендантами о вещевом, пищевом и, так сказать, гужевом (если этот термин применим к автомобилю) довольствии. Можно, конечно, оформить все в Москве, но потребуется время, а на нашем фронте и в самом деле назревает нечто серьезное.

В кармане гимнастерки у меня красная сафьяновая книжечка с оттиснутым на переплете магическим словом «Правда». Редакционный гараж выделил мне машину «М-1», как ласково говорят — «эмочку», возившую до сих пор Ставского, подержанную «эмочку», которую тот сменил на новую, особую, с двумя парами ведущих колес. Не беда, что старенькая, ибо шофером мне определен механик правдистского гаража — молодой, коротконогий, медвежеватый парень с румяной и очень хитрой физиономией. По отзыву Лидова, он «машинный бог», за которым, однако, по тому же отзыву, нужен глаз да глаз, ибо бывает шустер не в меру.

Напутствуя, полковой комиссар Лазарев называет ряд интересных тем для начала корреспондентской деятельности. Среди них одна меня особенно заинтересовала: найти и описать экипаж танка, который в двадцатых числах октября ворвался в Калинин почему-то с запада, с боем прошел через весь занятый противником город и пробился к своим на противоположном, восточном его конце. О необычном этом рейде кратко сообщил Оскар Курганов. Но даже фамилии участников этого рейда не были названы.

— Вот расскажете об этом развернуто, интересно — и рекомендуетесь читателям как правдист,— сказал мой новый начальник своим хрипловатым, но тонким голосом.

С рассветом трогаемся в путь. В мирные времена из Калинина в Москву было три часа езды по отличному Ленинградскому шоссе. Теперь, проехав по этому шоссе километров двадцать пять — тридцать, попадешь прямо к немцам, и, для того чтобы добраться до Калинина, надо направиться из Москвы на север и сделать широкую дугу. Петрович, как все называют моего водителя, уже принял на себя обязанности начальника штаба и интенданта экспедиции. Раздобыв у кого-то из военкоров карту, он вечером разложил ее на полу и ползал по ней на животе, пролагая маршрут. Сейчас, умело свернув карту гармошкой, он засунул ее за противосолнечный козырек. Едва мы отчалили от подъезда, как он уже заглянул в

нее, будто и тут, в Москве, заехав не на ту улицу, мы можем оказаться в руках противника.

Но, доехав до Савеловского вокзала, он вдруг чертыхнулся и круто повернул обратно.

— Эх, лопух я, свежие газеты-то забыл!

— А зачем? Утром я прочел «Правду» прямо с барабана.

— Вы! — Он посмотрел на меня с укоризненным удивлением, как старшина-сверхсрочник смотрит на салажонка, задавшего глупый вопрос.— Кто о вас говорит?.. Разве можно правдисту без свежей «Правды» на фронт?

Пришлось вернуться. Петрович вразвалочку сбегал в экспедицию и явился с пачкой свежеотпечатанных, пахнущих краской газет.

— Вот теперь порядок, по открытому листу поедем.

— А что такое открытый лист?

— Не знаете? Увидите.

Осталась позади последняя баррикада на окраинной московской улице, составленная из вереницы ржавых тракторов. Миновали последний пункт противовоздушной обороны, где под сенью здоровенного добродушного аэростата румяные девчата в военном грелись у костра, «эмка» резво выбежала на Дмитровское шоссе, которое волей военной судьбы превратилось в важную фронтовую коммуникацию.

Эх, дороги, дороги, фронтовые дороги, сколько по ним уже пройдено в тяжелые дни отступления! Сколько горя, сколько самозабвенного солдатского мужества, сколько самоотверженности советских людей довелось мне видеть на этих дорогах на пути отступления от Себежа до Калинина! И сколько еще предстоит увидеть на обратном пути, сколько будет интересных встреч, сколько узнаю любопытных историй, рассказанных где-нибудь на пункте обогрева или у костра у дорожного перекрестка. И куда приведете вы меня, военные дороги, или где, на каком километре, оборвется путь? Чем он закончится — репортажем откуда-нибудь из Берлина в день долгожданной победы или фанерной пирамидкой возле кювета, которая два-три года будет напоминать прохожим, что здесь разыгрался эпизод, на ходе боев не отразившийся?..

Пухлые руки Петровича с короткими пальцами небрежно лежат на баранке руля. Машина слушается его, и я уже перестаю пугаться, когда он с шиком проходит

«впритир», обгоняя танк или грузовик с мотопехотой. Снег на дороге вытоптан до асфальта, движение — и этого нельзя не заметить — идет лишь в одну сторону: все на запад. Редкой машине, идущей в противоположном направлении, приходится, съехав с проезжей части, подолгу пережидать этот поток.

В машинах уже не те усталые, небритые солдаты в пилотках, жеваных шинелях, что, засев в наскоро отрытых окопчиках, с неиссякаемой яростью вели бой у калининских мостов. Это крепкие, молодые ребята, и мне всё вспоминается фраза, слышанная ночью по пути к Москве: «Сибирь в бой пошла. Дело будет...»

В лесах и рощах, что тянутся вдоль дороги справа и слева, там и здесь видны дымки костров. На свежем снегу четко отпечатались следы машин и танковых гусениц. Их тоже много, этих следов. И еще примечаю: толпы людей — старики, женщины, дети. Кучатся у дороги, наблюдая поток военных машин. В иных местах, где-нибудь в леске, притулилось пестрое стадо, табор телег. Это колхозники-беженцы, снявшиеся с родных мест. Сейчас, стоя у обочины, они смотрят на бойцов, на машины, идущие в западном направлении, и на истомленных, худых лицах можно прочесть и надежду, и колебание. Уходить дальше вроде бы и не стоит, а назад возвращаться рано. Разъяснить бы им, как поступать. Но что им скажешь, когда гигантские вражеские массы ведут бои у самых стен столицы? Впрочем, подальше от Москвы мы уже начинаем обгонять людей, бредущих на запад по обочинам. Матери с детьми. Старики с чемоданчиками, с баульчиками. Детские салазки, увешанные узлами.

Одну такую женщину с двумя ребятишками мы забираем в свою машину. Петрович устраивает на сиденье их узелок с добром, подсаживает детей. Оказывается, это учительница из села Городня, что на Волге, сравнительно недалеко от Калинина. С детьми она добралась почти до Дмитрова, а сейчас вот решила повернуть назад. Городня на Волге — большое ямское село на древнем тракте между двумя российскими столицами — одно из самых примечательных мест нашего Верхневолжья. О нем писал еще Радищев в своем «Путешествии». На ямской станции Городни останавливался Пушкин по пути к своим тверским друзьям. И есть там, в древнем этом приволжском селе, церковь-крепость, у стен которой наши предки во времена Михаила Тверского отражали набеги татарской

конницы. Ярко, как на экране, встало передо мной это старинное село, где мне не раз приходилось бывать во время корреспондентских разъездов.

— Но в Городне же сейчас немцы и в Калинине немцы.

— ...По радио утром говорили: на Красной площади был парад, как всегда. Товарищ Сталин речь держал... Теперь уж недолго. Пока дойдем, может, Городню и освободят. Жить-то все равно где, а к своему гнезду ближе — лучше... Я ведь поработала месяц на новом месте... няней в госпитале, а сейчас вот домой потянуло, хотя, может быть, и школы-то моей уже нет...

Вот отзвук вчерашнего парада. Едем, а из головы не выходит моя семья. Жена Юлия тоже учительница. Ушла из города в день его эвакуации с малышом, с сестренкой — школьницей седьмого класса, ушла и будто растворилась в потоках людей — ни весточки, ни письма. Толпы эвакуировавшихся обстреливались с самолетов. Пароход с баржами, на которых уплывали по Волге женщины и дети, неприятельская авиация не то сожгла, не то потопила. Железнодорожный состав с эвакуированными тоже был обстрелян недалеко от станции Сонково... А мои? Нет, удлиним путь и обязательно заедем в Кашин, где помещаются областные учреждения,— может быть, туда пришли хоть какие-нибудь вести и для меня.

У поворота на Иваньково я впервые убеждаюсь, сколь предусмотрительно поступил Петрович, запасшись свежими газетами. На перекрестке — шлагбаум, только что сооруженный из источающей золотую смолу сосновой жерди. Два пожилых бойца с красными повязками решительно заворачивают поток машин направо. Узнаем, что дорога здесь приближается к передовой не то на два, не то на три километра. Вчера тут немцы подбили из крупнокалиберных пулеметов две машины.

— А велик ли объезд? Покажите.— Петрович важно развертывает свою карту.

— Ну не больно чтоб велик, но километров десять будет,— говорит боец домашним голосом.

— А не хочешь, дядя, все тридцать пять? — авторитетно заявляет Петрович, уже прикинувший по карте объездной путь.

— А может, и тридцать пять, кто его знает,— покладисто соглашается боец.— Зато от смерти подальше. Чего на тот свет-то торопиться?

— Нам это не годится, у нас бензина не хватит. Давай-ка, дядя, поднимай свою кочергу.

— Что значит кочерга? Это шлагбаум,— вступает в разговор второй солдат, судя по всему, человек суровый и хмурый.— У нас приказ — без специального разрешения не пускать. Давай поворачивай по стрелке.

— Мы ж из «Правды»,— говорит Петрович.— Вы «Правду» читаете? — И показывает на меня.— Это из «Правды» корреспондент. Корреспонденции писать едет. Вот ты его не пустишь, а на фронте, может, что произойдет, а он опоздает и не напишет. Понял?

Бойцы переглядываются, изучают документы. Вытисненное на красной книжечке слово «Правда» производит впечатление. Хитрый Петрович тянет им газеты:

— Вот, служивые, вам свеженькая. Прямо из машины... Видите, парад на Красной площади, товарищ Сталин речь держит.

Бойцы жадно, как голодные хлеб, хватают газету и наклоняются над ней.

— А ну, дяди, поднимайте свою палку.

— Что значит палку?.. Ну уж ладно, раз вы корреспонденты, поезжайте, а молодуху с детишками не пустим. Вылезай, милая.

— Только вы ее устройте на попутную,— заботится Петрович.

— Ладно, не впервой... У меня у самого дома трое.

Шлагбаум поднят. Во весь опор несемся по пустой дороге. Где-то невдалеке постреливают, мелькают две подбитые вчера машины, возле них копошатся люди в промасленных ватниках.

— Раскулачивают,— не без зависти произносит Петрович.— Жизнь есть жизнь.— Вообще он склонен, как я заметил, к философским обобщениям.

Должно быть, мы представляем ничтожную цель — ни одной пули не послано нам вслед. И когда угрожаемый участок пройден, Петрович самодовольно говорит:

— Ну вот, а ты боялась.

По пути к Кашину еще раз убеждаюсь, сколь мудр мой попутчик, и начинаю понимать, что такое ехать «по открытому листу». Где-то на подъезде к городу иссякает бензин. Стрелка указателя судорожно дергается и подолгу застывает на крайней точке. Мотор чихает, машина идет рывками, то и дело приходится останавливаться, продувать бензопровод.

— Только бы до какой-нибудь паршивой заправки дотянуть.

— И что? Ведь у нас все равно нет ни одного талона на горючее...

— А это что, хвост собачий? — Петрович самодовольно хлопает по пачке свежих газет.— Только бы дотянуть, а там не ваша боль, можете и из машины не вылезать.

Наконец-то видим у обочины шест и на нем фанерную стрелку: «Бензин — 50 метров». Решительно сворачиваем в сторону, подруливаем к пирамиде железных бочек, лежащих в леске. У бочек — плотный боец в засаленной и заскорузлой шапке. Какой у заправщика с Петровичем происходит разговор, я не слышу, но, получив газету, боец идет в шалаш, выносит оттуда воронку, шланг, а сам углубляется в чтение, предоставляя Петровичу орудовать насосом. Тот, разумеется, не теряет времени.

Вернувшись, он тщательно вытирает руки и надевает кожаные перчатки.

— Ну вот, а ты боялась!.. Теперь нам до Калинина горевать не придется.— И поучительно добавляет: — Из каждого положения есть минимум два выхода.

В Кашин въезжаем затемно. Древний городок так окутан туманом, что ехать приходится чуть ли не на ощупь. Порой надо идти впереди машины, указывая путь. И снова в бдительном этом городке, исправно исполняющем обязанности временной столицы области, мучают нас патрули. Слава богу, теперь я могу вести с ними разговор из машины. Им не видны мои высокие башмаки. Трое пожилых рабочих с льнозавода со старыми осоавиахимовскими винтовками, задержавшие нас у моста через речку Кашинку, особенно строги. Вертят документы и так, и этак, но, получив свежую «Правду», тоже добреют, становятся разговорчивыми, доброжелательными. Один из них даже идет впереди машины...

В трех комнатках, где разместилась «Пролетарская правда», самая горячая пора — верстают номер. Свежая столичная «Правда», которую я, разумеется, вручил друзьям, была сейчас же изрезана на колонки. Отчет о торжественном заседании, доклад, речь — все это немедленно посылается в набор. В отделенный от общей комнаты шкафом уголок, где теперь «кабинет» редактора Василия Кузнецова, втискиваются все сотрудники, так

что шкаф постепенно отползает к середине комнаты. Сыплются вопросы о Москве, о параде, о положении на фронтах, даже о намерениях советского командования. И хотя я, естественно, знаю не больше того, что печатается и в их газете, приходится отвечать, все время контролируя себя, чтобы не брехнуть лишнего.

Интересное дело — какой-нибудь месяц назад редакция и типография газеты занимали большое трехэтажное здание. Попробовал бы кто-нибудь тогда сказать, что всему коллективу придется втиснуться в три комнатки этого старого купеческого дома на рыночной площади. А вот разместились, работают, живут, по очереди колют и таскают дрова для печек, по очереди встают по ночам крутить маховик печатной машины, когда выключается ток, и при всем том не унывают.

Из обкома возвращается Василий Кузнецов, и первое, что я от него слышу, было:

— Вот когда мы научились работать! Понимаете, вовремя выходим, к семи даем тираж.— И потом, улыбаясь всем своим крупным белозубым ртом, торжественно протягивает мне три письма, на которых адреса надписаны таким знакомым мне почерком жены.— Видите, и ваша нашлась. И мои там же. Они сейчас в городишке Молотовске Кировской области... Живы, здоровы. Моя пишет: чудесно, прелестно, чуть ли не дом отдыха... Врет, конечно. Прочтете свои письма, обменяемся новостями.

Я ушел в пустые сени старого купеческого дома, сел на ступеньки деревянной лестницы и вскрыл сразу все три конверта. Кузнецов оказался прав: «Живем неплохо... Устроилась в школу... Преподаю литературу и русский язык... Мальчуган — прекрасный, тяжелый, осмысленно агукает и вроде бы даже пытается говорить... Повезло — в том же городе разместились эвакуированные из Москвы виднейшие ученые, по книгам которых мы в пединституте занимались... Очень умные, добрые люди. Обещают организовать для нас курсы по повышению квалификации. Словом, о нас не заботься, береги себя, теплей одевайся, не студись...» Ну конечно же, святая ложь. Она таки сквозит сквозь строки, написанные на чистой стороне каких-то школьных сочинений. Но такова уж человеческая натура — инстинктивно тянешься к хорошему, и, зная, что все это неправда, что нелегко им живется, охотно даю себя обмануть и в отличном настроении воз-

вращаюсь в редакцию, в комнату, где морозный ветер, врываясь в форточку, безуспешно пытается побороть тяжелый, прокуренный, много раз пропущенный через легкие воздух.

Потом до поздней ночи сидели с Василием Кузнецовым и под глухой рокот печатной машины, доносившийся с нижнего этажа, под треск пишущих машинок делились впечатлениями.

— И писать стали лучше, ей-богу, лучше. Живее, интересней, честней.— Человек увлекающийся, зубастый, любящий покритиковать начальство, он входит в раж: — Да что там наша редакция, поглядите на областные учреждения. Бюрократизм из них будто бы ветром выдуло. В этом распрекрасном Кашине, в тесноте, в холоде, работают лучше, чем на своих насиженных местах, четче, человечнее. Аномалия, пародокс! А? — И смеется, показывая два ряда ровных белых зубов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУ

Под жилье комендант штаба определил корреспонденту Совинформбюро Александру Евновичу и мне самую маленькую и самую ветхую избенку на окраине штабной деревни Чернево. В избе этой обитают одинокие старики, последние единоличники в селении. Она почти по крышу заметена снегом, в окна задувает. Ветер гуляет по полу, и по утрам у порога выстилается этакий снежный коврик. Но я считаю, что нам повезло: можно сказать, под боком и оперативный отдел, и разведка, и узел связи.

Старики наши днюют и ночуют на печке. Мы же с Евновичем живем внизу, и с нами целое семейство кур во главе с задиристым, крикливым петухом. Коллеге из Совинформбюро еще не прислали машину, и он ездит со мной. Вместе ходим на информацию, разъезжаем по частям, а потом пешком отправляемся по заснеженным полям на телеграф, который размещается в стороне от нашей деревни.

Мой новый товарищ — человек глубоко штатский. До войны работал заместителем Михаила Кольцова по журналу «За рубежом». Знает английский, японский, немножко немецкий. Свой человек в московских журналист-

ских кругах. Выглядит он в военном, мягко выражаясь, странно. Длинная кавалерийская шинель на нем как халат, ремни портупеи ходят, как незатянутая сбруя, на голове вместо обычной военной шапки роскошная пыжиковая ушанка со звездой, какие носят щеголеватые генералы, и вдобавок ко всему этому профессорские очки в золотой оправе. Но при этой своей штатской внешности он легко читает военные карты, умело привязывает их к местности, а с работниками оперативного отдела штаба говорит на равных, отлично разбираясь во всех тонкостях военной терминологии.

Мы познакомились и подружились с ним еще до того, как я стал корреспондентом «Правды», в самые тяжелые дни, когда Калинин был оккупирован, а Калининский фронт еще только организовывался. Очень хотелось мне тогда написать для земляков какую-то ободряющую корреспонденцию. Александр Евнович, только что приехавший в наши верхневолжские края с мандатом Совинформбюро, горел тем же желанием. Вот мы и поладили, как бы сложив его важные полномочия и мое знание здешних верхневолжских мест.

Сейчас на фронте он уже старожил. Вошел в обстановку, завел доброжелателей в штабных отделах и со свойственной ему душевной щедростью помогает мне.

На фронте тихо. Разведки боем... Операции местного значения. То там, то тут небольшие артиллерийские дуэли. Из всего этого для газеты ничего путного не выжмешь. Знаем, что по ночам, в особенности во вьюжные ночи, по всему фронту происходит скрытая передвижка войск. Чувствуем, готовится что-то большое, но расспрашивать о том, что готовится, не полагается. Об этом не говорят, но этого все ждут. Пока это журавль в небе, а довольствоваться приходится синичками, передавать, как говорят корреспонденты, «семечки»: сержант такой-то взял «языка» имярек; в завязавшейся перестрелке подбито столько-то машин с пехотой или убито столько-то солдат противника. Из всего этого настоящего материала не сделаешь. Это меня очень тяготит.

Привык к фронтовому быту. Теперь у меня уже военное звание, и внешне я больше не напоминаю окруженца. На мне белый дубленый армейский полушубок, ушанка, валенки. Сапог мне, правда, подходящих не подобрали, в оттепели приходится довольствоваться моими роскошными ботинками со шнурованными голенищами,

но зима завязалась крутая, снега по пояс, оттепели редки, и валенки — самая подходящая обувь.

Говорят, что командующий фронтом, генерал-полковник Конев, очень требователен к маскировке своего штаба. И в самом деле, за шлагбаумом, у которого спрашивают пропуска, открывается обычная, заметенная снегами деревушка. Два ряда изб уставили свои окна в сугробы, наметенные в палисадниках. Тишина, нарушаемая лишь перекличкой петухов. Изредка женщина просеменит по стежке к колодцу. Даже очутившись на деревенской улице, не сразу заметишь тонкую паутинку телефонных проводов, бегущих от избы к избе, не сразу углядишь, что в тени дворов стоят часовые. Мягко ступая валенками, они возникают из полутьмы, как привидения.

— Стой! Кто идет?

— Свои.

— Пароль?

— «Архангельск». Отзыв?

— «Арбуз». Проходите, товарищ батальонный комиссар.

Мы с Евновичем уже объездили и обходили все дивизии фронта. И в армии генерала Юшкевича, расположившегося на северо-востоке от Калинина, и в армии генерала Масленникова, держащего рубежи северо-западнее. Побывали у танкистов, у летчиков. Я передал несколько корреспонденций о людях фронта и о маленьких текущих событиях, но ни одна не напечатана. Поэтому я оттягиваю представление фронтовому начальству: не хочется идти с пустыми руками. Но Евнович убеждает: порядок есть порядок, тянуть нельзя. И хотя по-прежнему за душой у меня ни одного серьезного материала, я скрепя сердце иду к члену Военного совета дивизионному комиссару Дмитрию Сергеевичу Леонову.

Он оказывается невысоким, худощавым, подвижным человеком, с серебристым бобриком коротко остриженных волос, с живыми глазами, в которых, как кажется, не затухают иронические искорки.

— А-а, явились! Лучше поздно, чем никогда. А то мне докладывают: где-то бродит тут корреспондент «Правды». Бродит, а к начальству не показывается. Ну ладно, будем знакомиться.

И как-то сразу пошла речь о роли печатного слова

на войне. Заговорили о недостатках фронтовой газетной информации, о просчетах в освещении военных событий.

— Правда, правда сейчас нужна. Только правда, неподслащенная, неприукрашенная, дойдет до солдатского сердца. С солдатом надо уметь говорить напрямки... Помните, как однажды в тяжелую минуту Ленин прямо сказал с трибуны: да, мол, возможно, завтра отдадим и Москву. Так и сказал, не побоялся. И это правда, страшная правда, сообщенная народу, как она подействовала на людей, как она всех мобилизовала!.. А у нас часто рассуждения, общие места, восклицательные знаки. А на восклицательных знаках в пропаганде далеко не уедешь. Сразу догадаются, что такая корреспонденция писалась в штабной тиши, далеко от фронта. А издали зови не зови — не услышат, да и слушать не захотят. Корреспондент — он, по-моему, прежде всего политработник, активный участник войны, не наблюдатель, а пламенный агитатор. Он, как комиссар, должен иметь право кликнуть: «За мной, товарищи!»

Говоря все это, член Военного совета расхаживает по избе. Остановился, усмехается:

— Ну я, кажется, сел на любимого конька. Хватит вас-то агитировать... А к командующему вы зря еще не являлись. Что же, что не печатают, придет время — напечатают. Ему о вас секретарь Калининского обкома Иван Павлович Бойцов говорил. Он ведь тоже член Военного совета.— Походил по комнате и вдруг спросил: — А вы биографию нашего командующего знаете?

Ставский, Лидов, Калашников уже рассказывали мне о Коневе. Ну как же, первые добрые вести о контрнаступлении войск под руководством генерала Конева пришли в конце лета с Центрального направления, вести об успешных боях в районе Ярцева и Духовщины, о первых населенных пунктах, отбитых у врага. Как эти сообщения Совинформбюро были тогда дороги! Знаю, что потом Конев командовал Западным фронтом.

— А у него ведь любопытная биография,— говорит Леонов.

И я узнаю, как молодой солдат-артиллерист Иван Конев вернулся с империалистической войны в свои родные края, как юношей вступил в партию, сделался уездным военным комиссаром, как сформировал отряд по борьбе с бандитизмом и, возглавив его, подавил кулацкое восстание. Как потом назначили его комиссаром одного

из легендарных бронепоездов, которому народная молва присвоила имя «Грозный», как на этом бронепоезде он с боями пересек Зауралье, Сибирь до самой Читы, как его, на теперешний счет совсем молодого человека, назначили комиссаром штаба армии, которой командовал легендарный Блюхер.

— Вы своего коллегу Александра Фадеева знаете?

— Лично не знаком, но по книгам...

— Так вот, они оба были делегатами Десятого съезда партии от Дальнего Востока, оба Кронштадт штурмовали, слушали Ленина... Вот какой у нас командующий. Можно сказать, полководец с комиссарской душой. И значение печатного слова он отлично понимает. Обязательно ему представьтесь... А что с пустыми руками — сейчас не беда.

Изба, где помещается штаб-квартира командующего, мало чем отличается от остальных: рубленная из бревен пятистенка, тот же палисадник под окнами, в котором по пояс в сугробе стоят черемухи. За дверью, обитой клеенкой, в крохотной прихожей меня встретил маленький, белокурый, кудрявый майор. Это адъютант командующего Александр Соломахин. Только что говорил с ним по телефону. При моем появлении майор смотрит на часы.

— На разговор вам отведено десять минут, а там принесут разведдонесения.

— Хорошо. Я командующего не задержу.

Майор усмехается, и в усмешке этой читаю: посмотрел бы я на тебя, если бы ты посмел его задержать! Он еще раз проверяет время, одергивает гимнастерку и скрывается за дощатой дверью.

— Войдите. Генерал-полковник вас ждет.

Комната, освещенная лампочкой без абажура, обычная «белая половина», или горница, как говорят в тверских краях. Все хозяйское на месте: и иконы, и фотографические карточки на стенах, и даже излюбленный цветок «ванька мокрый» на замерзшем окне. Но там, где полагается стоять кровати со взбитыми до потолка подушками, небольшой складной стол, на нем рабочая карта, стакан с остро отточенными карандашами. Из-за стола поднимается русоволосый человек и протягивает через стол руку. Голубые глаза глядят прямо в лицо, изучающе глядят, как бы говоря: ну-ка, голубчик, посмотрим, что ты за гусь...

— Садитесь,— говорит командующий, а сам стоит, взглядывая на часы, как бы давая понять, что визит этот — простая формальность.

Чувствуется, он привык приказывать и в людях разбирается, ценит их не по словам, а по делу. И так как хвастать мне нечем и ничего интересного я пока не опубликовал, начинаю рассказывать, где побывал, что написал и что послал в редакцию. Вероятно, получается, что я жалуюсь: мол, плохо печатают, а я не виноват.

Ему это явно не нравится.

— А может быть, сейчас о нас и не надо писать? Это вам не приходило в голову? Может быть, товарищи в «Правде» считают, что не пришло наше время. И может быть, правильно считают.

— А что, готовится что-нибудь?

Командующий смотрит на карту, делает вид, что не слышал этого вопроса. А я понимаю, что сморозил глупость, хотя, разумеется, вопрос этот действительно мучит всех нас, военных корреспондентов.

Взгляд командующего устремлен на то место карты, где обозначен Калинин. Здесь линии противостоящих войск, нанесенные красным и синим карандашами, делают как бы некрутой изгиб.

— ...Будет, будет о чем вам писать, а пока знакомьтесь с частями. Ваш брат любит обитать у летчиков, у артиллеристов. Спокойно, и харч хороший. А вы к пехоте — ей все решать.

— А где сейчас самое горячее место фронта?

— Горячее место? — Генерал насмешливо смотрит на меня.— Только не тут, в штабной деревне Чернево. На передовой, где воюют, даже если сейчас там и нет стрельбы... Ясно, товарищ журналист?

И опять мне кажется, что голубые глаза его смотрят изучающе: дескать, поглядим, чего ты стоишь...

В свою избу возвращаюсь поздно. Евнович сидит у лампы в одних исподних и старательно зашивает шаровары, которые разорвал, перелезая для сокращения пути изгородь. Рассказываю ему о своих визитах и о своем решении покинуть штабную деревню.

— Ну что ж, резон. Пойдем вместе,— спокойно говорит Евнович и вскрикивает, уколовшись иглой.

— Эх, интеллигенция, интеллигенция! — ворчит Петрович и, отобрав у него штаны, начинает зашивать дыру маленькими, умелыми стежками.

А мне вдруг вспоминается фраза, произнесенная Леоновым:

— Что, Ленин действительно говорил однажды, что да, мол, возможно, мы отдадим Москву?

Евнович удивленно вскидывает глаза.

— Говорил... Обосновывая на Седьмом съезде необходимость Брестского мира, сказал, что, возможно, завтра отдадим и Москву. Но добавил: а потом перейдем в наступление. Вы что, полагаете, что нам понадобится эта ленинская цитата? Не понадобится, и, судя по тому, что вы сейчас рассказали, мы действительно скоро перейдем в наступление.— Подумав, повторил:— Перейдем, и скоро. А кстати, вы помните наш первый поход за «настоящей темой»? А?

Ну как же не помнить!

ПОХОД ЗА «НАСТОЯЩЕЙ ТЕМОЙ»

Мы пришли тогда в оперативный отдел штаба, или «в оперу», как для краткости именуют его корреспонденты, чтобы позаимствовать карту-километровку и ориентироваться в обстановке. Пришли и спросили, где сейчас самый острый участок борьбы. На нас посмотрели удивленно и адресовали к полковнику Воробьеву, который по заданию командующего только что организованного Калининского фронта объезжал сражающиеся дивизии. Это очень интеллигентный командир, с тихим голосом и мягким деликатным взглядом. Он тоже посмотрел на нас с деликатным удивлением. Взял карту, обвел на ней овалом виадук, перекинутый через железнодорожный путь Москва — Ленинград и называющийся у калининцев Горбатый мост.

— Здесь,— сказал он.— Тут сейчас бьется танковая бригада полковника Ротмистрова, пришедшая из-под Валдая, тут сейчас многое решается.— И глянул на двух журналистов вопросительно и, как мне показалось, насмешливо.

Он рассказал, что танкисты, устремляясь сюда, совершили за сутки марш-маневр почти в двести километров вместо уставных шестидесяти и сейчас ведут яростный бой, не давая противнику оседлать шоссе западнее Калинина. И кажется, уже нанесли существенные потери авангардам танковой группы генерала Гота, имеющей,

по-видимому, цель, оседлав шоссе, всадить клин между Северо-Западным и Калининским фронтами.

Все это происходило не так далеко, в каких-нибудь двадцати пяти километрах от штабной деревни Чернево, где велся этот разговор, но сведения о боях поступают нерегулярно, так как постоянной проводной связи нет. Донесения носят нарочные, а им не всегда удается пройти через шоссе, на котором неприятельские машины. Неизвестно даже, где сейчас помещается командный пункт Ротмистрова. Кажется, в церкви погоста Николы Малицы, а может быть, в «домике эстонца», что недалеко от шоссе, или в блиндажах в овраге. Наш собеседник помечает на карте эти пункты. Ротмистровцы дерутся великолепно, но надолго ли хватит у них горючего, боеприпасов? Можно ли к ним пройти? Все неясно. Полковник Воробьев настойчиво отговаривает нас от этой вылазки:

— Пехотинцы, наверное, и проводника вам дать не смогут.

— Нам не нужен проводник.

В самом деле, это очень знакомые мне места. Все развертывается в лесу, который тверяки зовут Комсомольской рощей. В детстве мы, мальчишки с «Пролетарки», бегали туда собирать грибы и колоть вилками пескарей на перекатах речушки Межурки. В комсомольские годы ходили в День леса благоустраивать рощу, сажать молодые деревья. В сторожке, которая на штабной карте именуется «домик эстонца», вырос и жил до войны мой товарищ, журналист Август Порк. На погосте Николы Малицы похоронены дедушка и другие родственники моей жены. О каком проводнике может быть речь?

— И все-таки советую хотя бы повременить, пока не прояснится обстановка,— настаивает полковник.

Решили — поедем. И вот, несмотря на неожиданно наступившую оттепель, мы движемся к городу, обозначенному в ночи огромным заревом. Оно не меркнет уже третью ночь. Что там горит? Кто зажигает эти пожары?

Зарево поспешно отвалило в сторону. Город мы огибаем и едем по дороге, которая проложена проходившими здесь недавно частями. В лесу, недалеко от шоссе, дорога будто растаяла, расползлась на несколько колей, проложенных гусеницами. Не успели мы выйти из машины, как из тьмы возникли три неясные фигуры.

— Куда? К немцам в гости? А ну документы!

Два винтовочных ствола уставлены в нас. Старший, прикрыв фонарик полой полушубка, внимательно проверяет документы.

— До противника двести метров. К танкистам связные ночью ходят по ручью... Зайдите к комбату, уточните обстановку, он сейчас тут, в будочке.

В лесу по пояс в снегу стоят затейливые фанерные домики пионерского лагеря вагонного завода. Пестрые постройки расписаны на сказочные мотивы. Нас ведут в одну из них. На стенах лихо отплясывают три веселых поросенка. Чахнет над златом Кощей. Черномор выводит на морской берег вереницу богатырей. Как раз под Черномором и сидят комбат и начальник штаба, оба в зеленых пограничных фуражках. Обстановка у танкистов? Неясная. Воюют они по шоссе то тут, то там... Слоеный пирог... Посыльные от комбрига, верно, проходят, но где-то рядом немцы. Все подходы к шоссе завалены. Вдоль шоссе наши артиллерийские засады... Очень неясная обстановка... То тут, то там на шоссе танковые схватки. Вот и сейчас стреляют, слышите?

Голос у командира батальона хриплый, простуженный, щека вздулась и перевязана платком. Он бережно придерживает ее рукой. Нет, не ранение, зубы. Так дергает, что хуже всякой раны. В глазах у него слезы. И странно видеть здесь, на передовой, эти слезы, выжатые самой прозаической зубной болью.

— Подремлите здесь, а я в штаб полка человека пошлю, узнаем у разведчиков, где у танкистов проходы.

Мы устраиваемся на полу, под Кощеем. Но подремать мы не успеваем. Входит красивый молодой парень, снимает халат, отряхивает его, вешает на стенку.

— Слышал, корреспонденты у нас в гостях... Здравствуйте. Замполит Ярославцев. Нет ли у вас, товарищи корреспонденты, свежей газеты? Старшина, чтобы ему пусто, о харчах заботится, а газет третий день не видали.

Достаем свежий номер «Правды». Замполит развернул газету, пробежал по страницам глазами, сразу нашел что нужно.

Решаем до рассвета побыть тут, в этом игрушечном домике. Рябой старшина приносит соломенные тюфяки. Укладываемся, но заснуть опять не удается. Постепенно помещение набивается разным военным народом. Мы слышим сквозь дрему, как солдаты, только что сменив-

шиеся на передовой, вслух читают газету. Читают всю — и вести с фронта, и вести из тыла.

Нас будит офицер, ходивший в штаб полка. Командный пункт танковой бригады действительно в церкви Николы Малицы. Вчера туда ходили запросто, но утром немцы опять выползли на шоссе. Проход южнее. Командир батальона, мающийся зубами, не советует идти:

— Оставайтесь здесь, расскажем интереснейшие боевые случаи, с героями познакомим. Сегодня вот, например...

— Нам надо побывать у Ротмистрова.

— Ну надо, так надо... Кузьмин!

Из тьмы, в которой, задыхаясь, коптит пламя трофейной плошки, выступает маленький, неказистого вида боец.

— Проводите товарищей корреспондентов. Переведите через шоссе. Там, у мостка, связные танкистов ходят. Переведете и сейчас же вернетесь и доложите. — Нам комбат поясняет: — Кузьмин у нас, как лиса, всюду проскочит...

— Есть перевести и доложить.— И, бросив руку к шапке, маленький Кузьмин стукает валенком о валенок с таким старанием, будто это кавалерийские сапоги со шпорами.

Мы едва поспеваем за нашим провожатым. Он двигается так ловко, что и снег у него под валенками не скрипит. Благополучно минуем опасный участок. Зарево над городом теперь слева. Шоссе позади... Втягиваемся в лесок, под ногами похрустывает лед ручья... Пепелище погоста уже рядом, церковь отчетливо виднеется на фоне светлеющего неба. И вдруг откуда-то сзади, будто выстрел.

— Стой! Руки вверх!.. Ложись!

Что сделаешь, ложимся в снег с поднятыми руками. Приказ дан на чистейшем русском языке да к тому же сдобрен такими словечками, что не остается сомнения: мы у своих. Так и лежим на мокром снегу, пока не приходит командир в танкистском шлеме, в черном комбинезоне и не проверяет наши документы.

— Мы фактически в окружении. Держим круговую оборону,— пояснил он.

Еще раз посмотрев документы, покосился на мои ботинки со шнурованными голенищами, махнул рукой.

Во взмахе этом чуялись и досада и осуждение: вот, мол, не вовремя принесло вас, товарищи корреспонденты!

В полуразбитой, холодной церкви атмосфера грозового напряжения. Пока мы сюда добирались, с шоссе доносились звуки перестрелки: ухали пушки, трещали пулеметы. В притворах постанывали раненые. Один из них пронзительно подвывал. Какие-то люди спали, привалившись к стене и засунув руки в рукава. Под старой иконой девушка в военном дула в трубку и с безнадежностью взывала:

— Незабудка, Незабудка! Я — Тюльпан, я — Тюльпан.

— Где товарищ Ротмистров? — робко спросил я у этого охрипшего «тюльпана».

Девичьи глаза глянули с недоумением, как на выходца с того света. Маленькая рука, должно быть инстинктивно, потянулась к карабину, и, держась за него, девушка кивнула в сторону алтаря, где за резным кружевом царских врат несколько человек склонились над столом. Один из них, с комиссарской звездой на рукаве, отделился от группы и подошел к нам:

— Вы кто такие, товарищи командиры?

Он долго изучал наши удостоверения. Смотрел на фотографии, на наши лица, на мои злосчастные ботинки, снова на лица и, только убедившись, что мы есть мы, отрекомендовался:

— Комиссар бригады Шаталов... Как вас сюда занесло?.. Оружие есть? Нет? Ну, знаете...

Сидя потом на сене в уголке церкви, перетирая старенькие винтовки, какие нам выдали, мы наблюдали жизнь этого окруженного неприятелем штаба. Командир бригады — полковник, в больших очках в золотой оправе, с серым от усталости, но чисто выбритым лицом, на котором выделяются аккуратно подстриженные усики. Обликом своим он напоминал больше научного работника, чем военного. Выслушивал рапорты, хрипловатым баритоном отдавал приказания, кого-то вызывал по ожившему наконец полевому телефону, кого-то распекал, и все это уверенно, спокойно, будто сидел он не в разрушенной церквушке, а в штабном кабинете. Его выдержка, по-видимому, успокаивающе действовала на окружающих. И хотя по облику они были очень разные, этим своим спокойствием напоминал он мне комбата Гнатенко — пехотинца в пограничной фуражке.

В штабе царила такая горячка, что мы долго не решались оторвать его от дела, хотя он сам несколько раз посматривал в нашу сторону. Наконец подошел.

— Ротмистров Павел Алексеевич.— В этой сугубо штатской рекомендации мы угадали великодушное снисхождение к нам.— Пройдемте ко мне.

Командиры подвинулись. Мы уселись на скамье у стола, на котором лежала карта участка.

— Комиссар сказал, что вы корреспонденты. Рад познакомиться, хотя, честно говоря, не понимаю, зачем вас сюда занесло и как вы сюда попали. Отсюда не только корреспонденции посылать, выйти-то отсюда трудно.

— Мне хотелось бы получить у вас интервью,— сказал Евнович.— Для Советского Информбюро.

— Интервью?.. Это вы всерьез?.. Самое подходящее слово для такой обстановки... Впрочем, если угодно.

Он зажал в ладони голову, клонящуюся от усталости, и, глядя на крупномасштабную карту, всю исчерченную овалами и стрелками, медленно, будто с трудом подыскивая слова, начал:

— Наша бригада, за сутки совершив бросок из-под Валдая сюда, к Калинину, прямо с марша вошла в бой... Третий день сражается на участке Горбатый мост — село Медное... Авангарды танковой армии генерала Гота, состоящие из трех танковых частей, усиленные бронетранспортерами с мотопехотой, рвутся, и местами прорвались, на шоссе. Вероятная тактическая цель противника — захватить Медное и Торжок. Его предполагаемая стратегическая цель — захватить железнодорожный узел Бологое, вбить клин между Калининским и Северо-Западным фронтами и таким образом нарушить или, вернее, затруднить их боевое взаимодействие.

Полковник диктовал, будто читал лекцию с кафедры:

— Наша ближайшая задача — срéзать острие бронированного клина, протянувшегося из-за Волги к шоссе, вот здесь и здесь.— Он карандашом показал на карте, где именно.— Наша дальняя цель — вместе с пехотными дивизиями, которые на подходе, содействовать полному срыву всей этой затеи.— Полковник вежливо подождал, пока мы все это записали.— Наши наличные силы... Впрочем, это вам ни к чему. Не записывайте. У меня сейчас девять средних танков, несколько поврежденных ремонтируется. Понятно? У нас раз в десять меньше, чем имеет Гот... Наше решение — сражаться до конца.

— Ну а сколько все-таки у Гота?

— Ну, точно это известно лишь начальнику его штаба, но, по данным моей разведки, он ввел здесь в бой машин восемьдесят. В ходе боев мы немало уже подбили. Из-за шоссе, где стали пограничники, нас хорошо поддерживает артиллерия. Она умно расставлена, а пехота застраховала дороги завалами, зарывается в землю.

— При таком соотношении сил...— начал было мой товарищ.

— Воевать можно при любом соотношении сил. Люди сейчас у меня обстрелянные, с большим опытом, поверившие в свое умение, в техническое преимущество наших танков. Носятся по шоссе как черти, устраивают засады. Выбили Гота из Медного. У него потери растут, а у меня за последние двое суток не было. Гот — умный генерал, боевой, хитрый. Но, кажется, мы заставили его поверить, что тут, севернее Калинина, против него выдвинуты мощные танковые заслоны. Тут мы применили одну хитрость... Но об этом пока рано...

— Моральный фактор?

— И это, конечно, но главное — предки учили нас воевать не числом, а умением... Есть еще вопросы, товарищи корреспонденты? Нет?.. Ну, так теперь я скажу вам: напишите — не напечатают... Всего хорошего.

Через минуту полковник уже уронил голову на руки.

— Незабудка, Незабудка, я — Тюльпан...— упрямо повторял девичий голосок.

Связь, должно быть, снова прервалась. Но вот где-то в отдалении загрохотало, под сводами церкви послышались торопливые шаги, у стола в алтаре возобновилась работа. Прибежавший связной сообщил, что немцы опять заняли «домик эстонца», потеряв на этом деле человек десять — пятнадцать. Положение бригады ухудшилось. Но комбриг, похожий на ученого, отдавал приказы попрежнему спокойным голосом...

Около полутора суток провели мы в этом старом храме, слушая перестрелку, которая то удалялась, уходя за горизонт, то громыхала совсем рядом, на шоссе, так что в окнах начинали дребезжать осколки стекол. Дважды неприятельские танки прорывались к деревне, и штабникам и нам вместе с ними приходилось ложиться с оружием меж могил. Атаки отбивались, боевая жизнь продолжалась. За это время девять уцелевших танков

маневрировали по шоссе, то соединялись в стальные кулаки, то рассредотачивались, то застывали в засадах, то вели на шоссе схватки с прорвавшимися машинами Гота. С помощью артиллерии и бронебойщиков вывели из строя еще шесть машин, и генерал Гот оттянул все, что осталось от его выброшенных за Волгу авангардов, обратно, то ли для того, чтобы зализать раны, то ли вообще отказавшись от мечты вбить клин между двумя нашими фронтами...

Прощаясь, полковник показал на мои ботинки:

— Удобно, конечно... шикарно. Но расстаньтесь-ка вы с ними, пока не случилось беды... Слишком уж вы в них смахиваете на немецкого парашютиста...

Мы покинули церквушку и по пути обратно зашли на кладбище, повидать могилу деда моей жены. Исклеванное снарядами кладбище напоминало лунную поверхность с картинки школьного учебника.

Много поучительного узнали мы в часы нашего пребывания в старой церкви. Учитывая соотношение сил, можно сказать — почти библейский случай: хитрый и умный, верящий в свои силы Давид победил Голиафа. А сколько таких вот сражений развертывается по гигантскому фронту! Интереснейший материал. Вот это-то я и дам в «Правду». Написал. И озаглавил было «Давид и Голиаф». Очень нравилось мне это название. Но Евнович убедил меня, что сейчас не время для библейских сравнений, и, когда я отправил эту статью, у нее было уже другое название: «Крушение генерала Гота»...

Эта была одна из моих первых корреспонденций в «Правду», данная с горячего участка Калининского фронта, которая, однако, так и не пошла в газете...

И все-таки командующий фронтом прав. Место корреспондента там, где идет война.

НАЧАЛОСЬ

Войска Южного фронта выбросили оккупантов из Ростова-на-Дону... Волховский фронт, разгромив воинскую группировку генерала Шмидта, занял город Тихвин и освободил окружающие его районы. Армия Юго-Западного фронта отбила город Елец... Всюду неприятель понес ог-

ромные потери в людях и технике. Захвачены большие трофеи.

Судя по всему, удары наши нарастают. И наконец, сегодня в избу, где мы обитаем, ворвался корреспондент «Красной звезды» Леонид Лось. Он так запыхался, что ничего и выговорить не смог, только протянул свежую газету.

С первой страницы смотрело мужественное лицо командующего Западным фронтом, генерала армии Г. К. Жукова. Передовая была озаглавлена «Славная победа в боях за Москву». Сообщение «В последний час» рассказывало подробности о поражении немецких войск у стен столицы: «6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери...» Сотни уничтоженных и захваченных танков, орудий, автомашин.

А как звучат заголовки корреспонденций: «Контрнаступление», «Удар конногвардейцев Белова», «Части генерала Мерецкова продолжают преодолевать противника»...

Леонид Лось, слывущий среди нас «усатым энтузиастом», вскакивает на лавку и декламирует строфу из напечатанного сегодня стихотворения Алексея Суркова:

...Сынов народ
На бой ведет.
Героям страх неведом.
Вперед, богатыри, вперед!
Отвага города берет,
В атаках — путь к победам...

Вот оно, началось то, о чем мечтали советские люди и, вероятно, все честные люди земли в эти последние трагические полгода. На днях жена Евновича, редактор одной из московских газет, прислала ему с оказией бутылку отличного армянского коньяка с наказом распить ее на Новый год. Какие круги мы ни делали вокруг этой бутылки, он был неумолим: приказ жены — только на Новый год. И даже собственная простуда, которую во фронтовых условиях лучше всего, конечно, лечить спиртным, не заставила его сбить сургуч с заветной бутылки. А тут он без всяких слов лезет в чемодан, на столе пестрой

толпой выстраиваются разнокалиберные чашки и стаканы, и изба наша, обычно благоухающая куриным пометом, наполняется ароматом золотой жидкости. Ветхозаветные старики наши, кряхтя, слезли со своей печки. Пьем за победу и победителей, причем дед, перед тем как выпить, сначала осеняет свой рот, а затем стакан крестным знамением, а бабка, пригубив, плачет и, умильно смотря на смуглое лицо тощенькой сельской богородицы на иконе, шепчет:

— Пошли им, мать царица небесная, новых побед над татями и супостатами, спаси и сохрани их... В боях праведных помоги им, архистратиг архангел Михаил!..

Наш фронт еще не двинулся. Но теперь-то уж и нам ясно, почему все наши корреспонденции пока что наглухо заперты в редакционных столах. Наша очередь еще не наступила, но она вот-вот придет.

Всем наличным корреспондентским составом двигаемся в армию генерала Юшкевича, передовая часть которой и сейчас продолжает держать в руках маленький кусочек оккупированного города, тот самый недостроенный силикатный завод. В его подвалах я писал свою корреспонденцию в «Правду».

Морозный рассвет ясен. Тихо. Редкие артиллерийские выстрелы, доносящиеся из города, лишь обостряют тишину. Тихи и неподвижны леса. Пухлые подушки снега пригибают к земле ветви сосен. Деревья издали похожи на бойцов в маскхалатах, приготовившихся к контратаке. В общем-то это какая-то настороженная тишина.

Вести, принесенные радио и газетами, так всех захватили, что по дорогам по направлению к оккупированному городу уже тянутся люди: старики с узлами и чемоданами на саночках, женщины, ведущие за руки закутанных ребятишек. В детских колясках катят по снегу остатки своего добра. Темные лица, обостренные скулы, глубоко запавшие глаза ребят. Но на всех этих исхудавших лицах какая-то неистребимая вера в то, что кончаются беды эвакуации, что скоро все будут дома. Дома! Существует ли он, этот их дом? Что осталось от торопливо брошенных квартир? Впрочем, это уже и не так важно. Дома! И люди тянутся по военным дорогам, прорубленным сквозь сугробы, по заиндевелым лесам, где под деревьями прячется подтянутая к фронту техника.

Куда они идут? Ведь фронт неподвижен. В оперативном отделе мы сегодня получили самую обыденную информацию. Смелые действия партизан... Удачный ночной поиск южнее Калинина... Захвачены «языки»... Зенитчики подбили пикирующий бомбардировщик... Ничего, ну ничего существенного, но в человеческом потоке, инстинктивно движущемся к оккупированному еще городу, и мы, которым положено быть наиболее информированными, черпаем уверенность, что скоро начнется и у нас.

Это подтверждается на месте. Маскировка соблюдается особенно тщательно. Задолго до прибрежных укреплений нас заставляют спешиться и остановить машину. Глянешь кругом — и бойца не увидишь. Но траншеи и ходы сообщения, несмотря на то что вчера над ними гуляла метель, за ночь плотно утрамбованы сотнями ног.

Пусто кругом, но связисты, утопая в снегу, почти бегом разматывают катушку проводов. На батальонном КП, который помещается все там же, в отбитых у немцев месяц назад блиндажах, знакомый комбат Гнатенко встречает нас словами:

— Вовремя, товарищи командиры, в самую пору... Нюх у вас есть.

На нем та же зеленая фуражка, но в петлицах уже капитанская шпала. Он то и дело смотрит на большие круглые часы. И вдруг земля вздрагивает и начинает ощутительно колебаться под ногами, а уши на мгновение глохнут. Из леса бьет артиллерия. Снаряды с журавлиным курлыканьем летят над нашими головами, и по всему противоположному берегу, в зоне видимости, всплескиваются бурые султаны разрывов. Вскоре весь берег окутывается дымом. Грохот такой, что во рту становится кисло. Но и с того берега летят снаряды. Отдельного выстрела или разрыва уже не различишь, и по тому, как нет-нет да и встряхнет наш блиндаж и меж бревен посыплется на головы песок, догадываешься, что рвутся они недалеко.

— Очухались, дьяволы! — сквозь зубы цедит комбат и все смотрит на свои большие часы.— Товарищи корреспонденты, отойдите от амбразуры.— Он прислушивается к канонаде, как меломан к симфоническому оркестру.— Ага, перенесли огонь на глубину... Скоро... Сейчас.

Со лба у него течет пот.

Вдруг он сбрасывает полушубок, поправляет на голове фуражку, расстегивает кобуру нагана. Потом выбегает в отсек, где, свернувшись клубочком, сидит девушка-телефонистка, и возбужденно кричит в трубку:

— Первая рота, в атаку!

В амбразуру нам хорошо видно, как из окопов повыскакивали бойцы и двинулись по глубокому снегу туда, вниз, на лед Волги.

— Вторая рота, в атаку!

Я не узнаю комбата. Он всегда поражал своим спокойствием, а тут просто хрипит в трубку.

Вторая волна темных фигурок высыпает из окопов и катится вниз с некрутого берега. Она уже на льду, пересекает Волгу. Наша артиллерия продолжает грохотать. Противник, должно быть, совсем оправился. Бьет уже не разрозненно, а расчетливо, бьет по льду Волги, где быстро, бросками, устремились к тому берегу темные фигурки бойцов. Среди них что-то краснеет. Это знамя. Оно то замирает на снегу, то рывками перемещается вперед.

В редкую паузу меж выстрелами и разрывами доносится какой-то очень невнушительный и тонкий крик, и я догадываюсь, что так вот не в кино и театре, а в настоящем наступлении звучит наше знаменитое русское «ура!».

Новые и новые волны наступающих скатываются на лед, передовые начинают карабкаться на противоположный берег, и среди них знамя, которое несет высокий боец в полушубке. На гребне высокого берега обозначается сразу несколько лихорадочно вспыхивающих огней. Теперь, когда наш огонь перенесен в глубину, немцы подтянули на гребень пулеметы. Рядом, в отсеке телефониста, незнакомый тонкий и властный голос кричит в трубку:

— Пушкари, какого черта!.. Огонь!.. Самый интенсивный!.. По пулеметам!

Оказывается, на батальонный КП пришел командир дивизии. Он в бекеше, в папахе, заломленной на затылок. Весь напрягаясь, он смотрит на тот берег, на гребне которого неистовствуют пулеметы. Бойцы, не дойдя до гребня, залегли.

— Эх, боевой порыв потеряли! — досадует генерал и кричит кому-то в трубку: — Поднять атакующих!

Тут совершается то, чего никто из нас не ожидал,

Худая, ладная фигура без полушубка, в одной гимнастерке, вымахивает из передового окопчика на снег. Зигзагами добирается до берега, скатывается вниз. Бежит через реку. У бегущего в руках наган, на голове зеленая фуражка. Генерал застывает у амбразуры.

— Пошел-таки! — И телефонистам: — Пушкарей мне... Чего стихли? Огня, огня!

Зеленая фуражка опередила залегшие цепи атакующих. Размахивая наганом, комбат преодолевает последние метры до гребня. Приходит в движение исчезнувшее было знамя. Его несет уже другой боец. И вот вслед за комбатом, один, два, десятки бойцов проворно карабкаются вверх. И тут же над берегом поднимается шеренга черных разрывов.

— Дали наконец! — ворчит генерал, не отрываясь от амбразуры.— Только бы комбата не подбили.— И опять в трубку: — Огонь, огонь, черт возьми!..

Карабкаются, карабкаются вверх бойцы, скатываются, снова лезут. Вот уже и вторая волна приблизилась к гребню. Знамени уже не видно. Оно, должно быть, в отбитых у врага блиндажах. Зеленая фуражка тоже скрылась в чужих окопах. Пулеметы смолкли. Генерал снимает папаху и, сам не замечая, вытирает ею лицо. Потом обращается к грузному командиру с тремя шпалами на зеленых петлицах:

— Медицину на лед!

На льду реки темнеют фигуры, иные, по-видимому, легко раненные, идут, иные ползут, направляясь к этому берегу. Вон двое ковыляют, поддерживая друг друга. А некоторые лежат неподвижно. Генерал смотрит на часы.

— За сорок минут реку на этом участке форсировали... Волгу, други мои, Волгу!.. Неплохо. Ну что же, лиха беда начало!

Он уходит грузной походкой вместе с командиром полка и автоматчиками из охраны. Из-за леса выплывает напряженное гудение. Девятка пикирующих бомбардировщиков. Сделав круг над рекой, она исчезает за гребнем берега, откуда слышится тягучий грохот. Опоздали, господа хорошие, опоздали! Через реку почти бегом движется целое подразделение. Санитары на льду собирают раненых, ведут, волокут на носилках, тащат на плащпалатках...

Старшина со своими помощниками хозяйственно соби-

рает в подвале батальонное имущество. Он уже получил приказ перебазироваться за Волгу, в отбитые у противника блиндажи. Связисты сматывают провод. Порученец комбата прибежал из-за реки и требует у одного из бойцов охраны снять валенки:

— Давай, давай, ни у кого больше сорок шестого номера нет.

— Как себя чувствует капитан?

— Ругается. Руку у него оцарапало и валенок потерял.

Судя по выстрелам, которые слышатся уже издалека, бой отошел в глубину — по-видимому, атакуют деревню Большие Переметки. Не терпится побывать на освобожденной территории. Решили двигаться вслед за подразделениями. Нужно повидать бойца, который первым ворвался в немецкие окопы, поговорить со знаменосцем. Спускаемся на лед. Давно ли над рекой взлетали султаны воды и льда, подброшенные разрывами, а сейчас это уже тыл наступления. Торопливыми косяками без потерь движутся роты, идут повозки со снарядами. Артиллеристы конной тягой переправляют по льду пушки, над рекой звучит надсадное: «Марш, марш, марш!», которым подбадривают заиндевевших коней.

Должно быть, немецкая разведка прошляпила, удар вышел внезапным. Артиллеристы, хотя и бранил их комдив, поработали на славу. Об этом рассказывают прибрежные блиндажи, разрушенные и перепаханные настолько, что командный пункт батальона разместить в них будет затруднительно.

С каким-то особым, еще неизведанным чувством хожу я по этим искореженным блиндажам и траншеям. Все тут вокруг — тверская земля, родная, знакомая до мелочей. По этому вот крутому берегу гулял когда-то с девушками. На поле, по которому идет наступление, сдавал лыжный бег по комплексу ГТО. Но вот смотрю на пушки брошенной батареи, на завязшие в снегу машины, на трупы немецких солдат и испытываю ощущение человека, очутившегося в лагере марсиан, как то описано у Уэллса в «Борьбе миров»: и интересно, и противно, и, что там греха таить, жутковато.

Бой отошел далеко за деревню, которая сейчас неярко полыхает в свете ясного морозного дня. Встретили комиссара батальона, распоряжавшегося эвакуацией раненых. С его слов записали фамилию бойца, первым ворвавшего-

ся в немецкие траншеи. Это мой земляк, попавший в армию из истребительного батальона, Василий Падерин, коммунист. В гражданской своей жизни слесарь-ремонтник с прядильной фабрики имени Вагжанова. Но поговорить с ним не удается: ранен и уже эвакуирован в медсанбат. Ну а кто нес знамя? Оказывается, трое. Один из них убит, второй ранен, третий и сейчас у знамени. К героическим этим происшествиям добавляется комическое, комбат Гнатенко, когда бежал по сугробам, потерял валенок. Те, что принес ему старшина, оказались все же малы, и он сидел у разбитого блиндажа, обмотав ногу теплой портянкой, пока вестовой не отыскал-таки на льду его потерю.

Начинает смеркаться, огни пожаров, полыхающих в окрестности, становятся ярче. Их уже много, этих огней,— и справа и слева, а город вырисовывается вдали желтым силуэтом на фоне синеющих вечерних снегов. Возвращаемся прежней дорогой и где-то у силикатного завода встречаем Петровича. Он тоже со своей «лайбой» передислоцировался вперед, и, садясь в машину, мы видим в ней какой-то внушительный сверток, обернутый в пеструю, не нашу плащ-палатку. Ну конечно же, предприимчивый наш возница не мог сидеть сложа руки. Он упросил часового приглядеть за машиной, сходил на противоположную сторону, исследовал брошенные немцами блиндажи и автомобили, добыл, по его словам, «мировой комплект» ключей и электрическую грелку, с помощью которой лобовому стеклу не будут страшны никакие морозы.

О том, что еще добыто, он предпочитает умалчивать. Трофеи привели его в наилучшее состояние духа. Вертя баранку, он даже поет из «Пиковой дамы»:

...Пусть неудачник плачет,
Кляня свою судьбу.

Евнович, осенью поработавший на Западном фронте, дает добрый совет: передавать материал о борьбе за Калинин по частям, по мере нарастания событий, чтобы в финале операции в редакции из этих кусков можно было сложить обстоятельную корреспонденцию. Добрый совет! На военном телеграфе, куда я принес этот, так сказать, первый эшелон своей корреспонденции, меня ждет телеграмма: «Из «Тайги» в «Рощу». Корреспонденту «Правды» батальонному комиссару Полевому.

Поздравляем началом настоящей работы! Активизируйтесь. В финале операции ждем статью или беседу с командующим. Полковой комиссар Лазарев».

И ВОТ ДОМА

Вот уже несколько дней все кругом гудит и грохочет. Идут упорные бои. На следующий день враг бросился в контратаку. Одна контратака следует за другой. Немцы не жалеют ни снарядов, ни техники, ни живой силы. Только за три дня отражено более двадцати контратак, яростных, я бы сказал -- отчаянных, поддержанных танками, авиацией. И все же дивизии генерала Юшкевича продолжают наступать. Юго-западнее города они уже перерезали Ленинградское шоссе, железную дорогу у станции Чуприяновка и шоссейную дорогу, ведущую на Тургиново, закрепились тут и таким образом лишили немецкое командование возможности получать подкрепление с юго-востока.

Западнее Калинина, где наступают дивизии генерала Масленникова, нам не так повезло. Перешедшие на правый берег Волги соединения не успели закрепиться и были вынуждены отойти с немалыми, говорят, потерями.

Недавно прилетевший к нам корреспондент «Красной звезды», подполковник Леонид Высокоостровский, уже успевший зарекомендовать себя главным стратегом нашего журналистского корпуса, уверяет, что план освобождения города, осуществляемый генералом Коневым, состоит в том, чтобы перерубить основные коммуникации немцев и создать угрозу окружения. Окружение! Не так-то легко его осуществить. Противник судорожно цепляется за город, подтягивает новые и новые силы. По данным воздушной разведки, подтвержденным наземными наблюдениями и показаниями взятых «языков», перед нашим фронтом появились новые номера немецких дивизий и танковых бригад. Сила боев нарастает...

На заре армии генерала Масленникова все же удалось форсировать Волгу и перерезать, кажется, на этот раз прочно, Старицкое шоссе, по которому два месяца назад немецкие моторизованные части подкатились к стенам города. Охваченная таким образом с флангов,

или, как теперь говорят, «взятая в клещи», немецкая группировка лишилась возможности получать подкрепления. 16 декабря противнику был нанесен решающий удар. Он начал задыхаться в сжимающихся клещах. В его частях наступило замешательство, если не паника, и, побросав орудия, оставив оказавшиеся без горючего танки и машины, он стал поспешно покидать город, прикрываясь, правда, сильными арьергардными боями.

Все это мы узнали вчера вечером, а сегодня с утра мы на нашей «эмочке» двинулись к городу, намереваясь попасть в него с юго-востока, по Ленинградскому шоссе. Пересекли Волгу по хорошему, укатанному, аккуратно обвешенному пути в районе селеньица Власьево, куда, бывало, в комсомольские годы ездили мы на лодках в праздники. В березовой роще стояла здесь маленькая красивая церквушка, и служивший в ней священник, известный в нашем городе как «власьевский поп», был издавна знаменит тем, что перед алтарем брал у алкоголиков, которых водили сюда жены, зарок перед богом и богородицей, и зарок этот будто бы спасал от запоя.

Прекрасная березовая роща оказалась наполовину вырубленной снарядами. Церквушка разрушена. Домик популярного у текстильщиц попа представлял собой пепелище с торчавшей трубой. В леске хозяйничали тылы знакомой нам танковой бригады Ротмистрова: изучали брошенные противником танки, походные мастерские, инвентаризовали пирамиды бочек с бензином, беря на учет все, что могло пригодиться в сложном танковом хозяйстве.

Выехали на шоссе, и оказалось, что по прекрасному его полотну двигаться на скорости нельзя. Его загромождали уже заметенные снегом машинки, машины, машинищи. Всех марок, всех стран Европы: немецкие, чешские, австрийские, французские, даже наши, побывавшие в немецких руках. Выставка трофейной техники. Да, здесь немцы уже не просто отступали, а бежали, боясь полного окружения. У выезда на шоссе девушки-регулировщицы, останавливая красным флажком машины, предупреждали:

— Путь минирован, ехать нужно строго по пробитой колее.

Петровича предупреждать было не надо. Он-то знал, что такое фронтовая дорога на боевых участках. И хотя

мне не терпелось поскорее попасть в родной город, мы двигались будто в похоронной процессии, не покидая протоптанной танками колеи. На наши уговоры Петрович хладнокровно отвечал:

— Тише едешь — дальше будешь... Мне на тот свет путевка еще не выписана.

И как он оказался прав! Нас догнала проворная, этакая костлявая трофейная машина-вездеход, набитая какими-то чересчур веселыми командирами с интендантскими петлицами. Они отчаянно, озорно гудели, требуя пропустить их. Петрович и ухом не повел. Тогда костлявый вездеход выскочил из колеи и, обогнав нас, покатился дальше. Развеселые его пассажиры корчили нам рожи: дескать, вот как ездить надо! И вдруг раздался грохот. Машина исчезла в буром клубе дыма, а когда дым опал, мы увидели металлические обломки и обрывки, именно обрывки человеческих тел, разбросанные по почерневшему снегу.

— Поспешили! — проворчал Петрович, притормозив у рокового места.

Осмотрели, не требуется ли кому помощь. Помощь, увы, никому уже не была нужна.

Следуем дальше. Навстречу тягачи волокут трофейные пушки. Двумя шеренгами, вытянувшись вдоль обочин, движется колонна пленных: мордатые, крепкие солдаты в опущенных на уши пилотках, в касках с подшлемниками. И вид у них не испуганный и даже не удрученный, а какой-то, я бы сказал, недоуменный. После недавнего происшествия мы уже не торопим Петровича, хотя город рядом и глаз жадно рыщет по горизонту, ища знакомые контуры. Всюду следы тяжелых боев. Снег рябой от черных пятен разрывов. Иные воронки похожи на маленькие кратеры. Снова и снова машины, машины, сожженные и целые,— лучшее подтверждение того, что удалось перерезать пути отхода и отступать оккупантам пришлось уже пешком, прямо по снежной целине. Впрочем, они еще огрызаются: откуда-то издалека, из Затьмачья, со стороны фабрик «Вагжановка» и «Пролетарка», доносятся звуки интенсивной стрельбы.

Наконец мы в городе, и глаз никак не может привыкнуть к его новому облику. Огнем истреблены целые улицы деревянных домиков. Каменные строения стоят

без окон, исклеванные снарядами, местами полуразрушенные. За Тьмаку не пускают: там бой, да и не проедешь — мосты взорваны. Не знаю, как там, на фабриках, а город изуродован, искалечен. Сожжено самое красивое его здание — Екатерининский путевой дворец, построенный когда-то Матвеем Казаковым. Главная Миллионная, она же Советская улица, две центральные площади, которые она пересекает: красивейшая набережная архитектуры все того же Казакова — все разрушено, сожжено. Дома смотрят пустыми глазницами выгоревших окон. На площади перед дворцом и на другой, где у пустого пьедестала памятника В. И. Ленину валяется огромная черная свастика,— немецкие кладбища: шеренги одинаковых аккуратных крестов, выстроенных как солдаты на параде.

Петрович вылезает, чтобы сфотографировать это кладбище, и тут же бежит к нам своим развалистым, медвежьим бегом.

— Глядите! Не могилы, а коммунальные квартиры!

И в самом деле, взрыв снаряда раскрыл одну из могил, и там видно не две, а целых восемь ног. Стало быть, в одну могилу, под один крест с одной надписью, клали по нескольку человек.

Рядом, на площади перед сожженным дворцом, красное кирпичное здание школы, где я когда-то учился. Судя по обвисшему над дверью белому флагу с красным крестом, тут был госпиталь. Отворяю тяжелую парадную дверь, ручку которой отполировали поколения школьников. В лицо ударяет отвратительный запах тлений. Справа и слева просторные раздевалки. Там, где стояли вешалки, штабелями, как дрова, лежат замерзшие трупы, раздетые до белья, и на ступнях, будто вырезанных из кости, чернильным карандашом выведены номера. В раздевалке направо последний номер 261-й, в раздевалке налево — 112-й. Этих не успели похоронить даже в «коммунальных квартирах».

Евнович ворчит:

— Можно ли терять время на сентиментальные воспоминания о детстве!

А меня ноги сами несут по маршам широкой лестницы на второй этаж, где был когда-то класс «Б», в составе которого я и прошел через детство. Запах тления сменился острыми ароматами антисептики. Осторожно отворяю дверь класса. Полутьма. Окна забраны карто-

ном. С потолка спускаются к трем столам зеркальные хирургические лампы. Все кругом забрызгано кровью. В углу эмалированное ведро, из которого торчит ампутированная рука. А на стене портрет Тимирязева — как висел когда-то, так и висит.

За рекой Тьмакой редко грохочет артиллерия. Шальной разрыв нет-нет да и встряхнет массивное здание, но что поделаешь, в голову лезет всякая чепуха: вон в том углу я потихоньку ронял слезы, провалившись на школьном спектакле, а вон там, где эмалированное ведро с торчащей из него рукой, я, будучи дежурным, поймал ужа, запущенного к нам каким-то злодеем из класса «А» на уроке математики.

И вдруг по коридору гулко звучат шаги. Рука невольно тянется к пистолету. Черт его знает, кто может появиться здесь сейчас, в городе, на западной окраине которого еще идет бой! Шаги приближаются. Теперь уже можно разглядеть, что идет лейтенант, молодой паренек лет двадцати — двадцати двух. Заметив нас, он настороженно останавливается, потом представляется.

— Вы что здесь делаете?

На молодом его лице явное смущение.

— Я, товарищ батальонный комиссар, здесь учился, это моя школа... Вот не утерпел, зашел...

— В каком году окончили?

— В тридцать восьмом.

Я кончил эту школу на двенадцать лет раньше. И все-таки однокашники. Уже вместе осматриваем классы. В физическом кабинете, под его овальным амфитеатром, находим два трупа — женщины в белых халатах. Халаты в крови. Неужели их пристрелили при отступлении?

Евнович продолжает ворчать: нашли время предаваться воспоминаниям, ведь мы тут ничего путного еще не собрали,— но та же сила влечет меня на бульвар, в дом, где моя семья жила до эвакуации. Он цел, этот большой дом, хотя разрыв снаряда отвалил от него целый угол. И в доме этом жили: из окон торчат черные железные трубы.

Осторожно оглядываемся — во дворе никого. Жили, по-видимому, оккупанты, ибо на стрелках надписи только на немецком языке. В подъезде шибает в нос аммиачный запах мочи. Желтый лед покрывает ступеньки, но в нем аккуратно прорублена дорожка. Вот наш этаж,

наша квартира. Дверь распахнута. Отсюда два месяца назад под бомбежкой уходила жена, унося сынишку. Все оставили, что же тут сохранилось? Ничего. Квартира пуста. В комнатах только койки по стенам, как в больнице. Ага, все-таки сохранился платяной шкаф, на стенке которого я когда-то на радостях в день рождения сына выскреб надпись: «1 мая 1941 года. Ноль-ноль часов 30 минут. Мальчик, 56 сантиметров, пять килограммов. Громко орет. Ура!» Вот она, эта надпись. Как-то очень остро вспоминается сын, маленький, толстый человечек с задорным вихорком на макушке круглой головы. Вспоминается жена, милая деятельная женщина, которая дала мне когда-то проборку за то, что я изуродовал сей надписью славянский шкаф...

— Нет, вы поглядите, чем они шкаф этот набили,— говорит Евнович, отрывая меня от воспоминаний.

На полках шкафа аккуратно упакованные посылки с тщательно выведенными на них немецкими адресами. Петрович тесаком распарывает материю. На пол сыплются салфетки, простыни, женские платья, детские штанишки, ботиночки — все новенькое. Должно быть, «организовано» в каком-то магазине. И кукла — русская кукла «сплетница», каких у нас сажают на чайники. Посылки вскрываются одна за другой — теперь здесь вещи, украденные из каких-то квартир. Петрович начинает яростно пинать наши находки, разбрасывая их по полу. Перед уходом делаем еще одно маленькое открытие, рисующее быт оккупантов в непокоренном городе. Отопление, естественно, не работало, воду жители носили с реки. Бегать за надобностью во двор по скользким, покрытым заледеневшей мочой ступеням было лень. Так вот нашли выход: ходили в ванную, предоставляя морозу схватывать их отходы. За два месяца образовался огромный сталагмит, на котором для удобства с величайшей аккуратностью вырублены ступеньки, а сверху вморожены две дощечки, чтобы на них вставать ногами.

Я, вероятно, никогда не решусь рассказать жене, во что было превращено жилье, которым она очень гордилась.

Прочь отсюда! Тут все еще дышит чужим запахом.

Я знаю адрес двух пожилых людей, оставленных в городе для подпольной работы. Интеллигентная супружеская пара — инженер на пенсии и учительница. Беспартийные люди, они сами вызвались остаться в роли

связных. И храбро работали. Не знаю только, дожили ли они до этого дня.

Их обоих мы находим перед домиком на одной из тихих улочек. Они стоят на крыльце, смотрят на проходящих солдат и, кажется, не могут насладиться этим зрелищем. Они еще не освоились со своей радостью, и, может быть, им даже и не верится, что вернулась родная власть. Бойцам некогда, бойцы спешат туда, в Затьмачье, в район текстильных фабрик, где еще идет бой, и потому почтенные эти люди тратят весь заряд своей радости на нас... Улыбаются, плачут, уговаривают друг друга:

— Ну зачем, ну к чему?.. Все прошло, вот видишь — свои...

Понемногу успокаиваются, зовут к себе. Маленький домик в старой части города. Три комнатки, кухонька. Мягкая дореволюционная мебель в полосатых чехлах. С потолка в столовой свешивается лампа с висюльками из стекляруса. Фарфоровые безделушки в горке и на комоде. Фотография хозяина и хозяйки в овальных рамах — симпатичные молодые люди начала века. Пустые горшки из-под цветов. Цветы померзли: нечем было топить. Хозяева (разведчики называли их между собой «Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович») просто тают от радушия.

— Вот только нечем вас, дорогие, угостить, ничего, ну ничего нет, кроме мороженой картошки.

Петрович, который успел уже вкатить машину во двор, многозначительно произносит: «Эйн момент!» — и исчезает. В немецких блиндажах он, как мы уже знаем, захватил не только технические трофеи, а создал и некоторый продуктовый запасец, который, впрочем, держит в багажнике. Он возвращается с сумкой из-под немецкого противогаза и с охапкой дощечек — остатки какого-то порубленного забора. И пока он орудует на кухне, хозяева рассказывают, как им жилось. Они успокоились, и рассказ течет довольно внятно, причем они как бы дополняют друг друга.

Трудно, очень трудно прожил город эти два месяца. По существу, он был пустым. Все, кто мог и кому удалось уйти, ушли, а для тех, кто остался, эти два месяца были сплошным кошмаром — ни света, ни топлива, ни воды. Поначалу немцы вели себя тихо: говорят, они даже берегли город, думая оставить его на зиму как штаб-

квартиру на пути к Москве. Заигрывали с населением, приглашали его к сотрудничеству, пытались наладить работу коммунальных учреждений. Обещали заработок, пайки, награды. Ничего из этого не вышло. Мало кто польстился на их посулы; пухли с голоду, замерзали, а на работу к оккупантам не шли. Чтобы согреться, разбирали заборы, сараи, а в центре жгли мебель. За водой ходили на Волгу, питались главным образом замерзшими овощами, копали их в брошенных огородах, да зерном, которое сперва оккупанты позволяли брать с разрушенных элеваторов.

В городе с первого же дня начала действовать подпольная организация. Они, наши собеседники, мало что знают о ней. Их дело было представлять собой как бы почтовый ящик, им запрещалось непосредственно общение с подпольщиками. О подпольщиках они судят только по их делам. В районе «Вагжановки» сгорели большие интендантские склады. Три дня горели, много погибло немецкого добра... Поджигались мастерские, где немцы ремонтировали подбитую технику... В офицерское казино, что помещалось в клубе «Текстильщик», бросили бомбу. Ну и двух полицаев как-то повесили ночью в городском саду. Много об этом было разговоров. Впоследствии комендант приказал расстрелять двадцать пять заложников.

— Ну а предатели?

— Были, что греха таить,— вздыхает наш хозяин.— Нашлись. В семье не без урода. Вот бургомистр Ясинский — страшный негодяй. Он, правда, не наш, не калининский. Его немцы откуда-то с собой притащили. Он и по-русски-то говорил с акцентом... Этот организовывал грабеж квартир... Женщин к нему полицаи водили. Понуждал к сожительству, а тех, кто на домогательства его не соглашался, грозил выдать немцам как комсомолок... Мерзавец... Садист...

— Неужели ж его не поймают, этого прохвоста? — восклицает хозяйка.

— Погоди, погоди, дай рассказать по порядку. А полицмейстер, представьте себе, был наш. Бибиков по фамилии. Может, знали, с бородкой такой, вывески расписывал, но называл себя художником. И приказы по городу подписывал: «Ротмистр Бибиков»...

— Представьте себе, какой негодяй! — частит старушка.— Оказывается, все годы хранил в сундуке уланскую форму, царские ордена. Пришли немцы — надел

все это, ордена прицепил и явился в комендатуру: так, мол, и так, настал счастливейший день в моей жизни, ротмистр Бибиков рад предоставить себя в распоряжение великой германской армии...

— Ну откуда ты знаешь? — недовольно произносит старик, не склонный к живописным подробностям.

— Люди, люди говорили.

— Подожди, дорогая, теперь по делу... Так вот, заместителем у него был тип, тоже именовавший себя художником,— Сверчков. Николай Сверчков. Этот подписывался: «Корнет Сверчков»... Раньше сидел за совращение малолетних, может быть, помните, о нем еще в «Пролетарской правде» фельетон был... Вот эта мразь и именовалась у немцев «представителями свободных профессий»,— говорит старик и вдруг взрывается: — Негодяи...

— Еще один был, музейный деятель,— тихим голосом продолжает старушка.— Тоже из бывших. Он у них что-то по культуре пытался делать... Да вы, конечно, помните его. Корректором у вас в «Пролетарской правде» работал. Длинный такой, тоже с бородкой. Чудной. Бывало, идет по улице, мамашу-старушку под руку ведет. А она у него маленькая, щупленькая. Склонится к ней в три погибели. На все церкви крестится — и на те, которые действуют, и на те, которые давно стали музеями, библиотеками, архивами... Да помните, конечно, помните вы его. Его за блаженного считали.

Действительно, вспоминаю странную фигуру человека неопределенных лет. Почему-то сразу возникли в памяти его худые, тонкие пальцы, украшенные какими-то древними перстнями.

— Как? Неужели этот чудак?

— Он был безвредный,— спешит заявить наш собеседник.— Он даже, говорят, защищал перед комендантом интеллигентов, попавших в беду. А потом отказывался упаковывать музейные ценности и картины из галереи, которые гитлеровцы хотели вывозить... Его будто бы даже расстрелять хотели, но он спрятался в какой-то церкви.

Больше всего меня поразило в этом рассказе упоминание о режиссере Калининского театра Сергее Виноградове. Я хорошо знал его. Он частенько писал в «Пролетарской правде» на театральные темы. Статьи его были сверхортодоксальны, густо насыщены цитатами из

речей, постановлений и газетных передовых. В спорах об искусстве он был беспощаден к коллегам. Готов был видеть крамолу в любой ошибке, там, где ею и не пахло, и, что греха таить, в областных организациях пользовался успехом...

— Мне тяжело об этом рассказывать, и я не хочу быть голословным,— говорит наш хозяин.

Он идет к посудному шкафчику, достает оттуда подшивку газетенки «Тверской вестник», издававшейся гитлеровцами. В ней статьи этого самого Виноградова с цитатами из речей доктора Геббельса. Черт знает что! Перед глазами стоит фигура этого человека — сухое, аскетическое лицо, непримиримые глаза. Звучит в ушах менторский, скрипучий голос. Театр, наш славный старый Калининский драматический театр, все его актеры, которых этот тип всегда поучал, покинули город в самые последние минуты эвакуации, бросив в своих квартирах все реликвии, которые так дороги сердцу работников искусств, а этот «ортодокс» остался у врага. И, судя по рассказу, верно служил ему, организуя разные фривольные постановочки для развлечения господ офицеров.

— Не понимаю, как это случилось...

— Тут говорили, будто у него была богатая театральная библиотека. И он будто бы остался ее охранять,— тихо произносит наша собеседница, которая по мягкости души готова искать хоть какое-нибудь оправдание и для этого гада.— Остался — ну и пришлось идти в комендатуру регистрироваться. А там, как говорится, коготок увяз — всей птичке пропасть.

Версия с библиотекой сразу напоминает мне профессора Успенского. Он ведь бросил действительно уникальную библиотеку. По ассоциации вспоминается разговор со знаменитым хирургом о Лидии Тихомировой. Разведчики, проходившие через фронт, не раз говорили, что она работает в немецком госпитале.

— Да не в немецком, не в немецком! — в один голос кричат супруги.— Наш, русский гражданский госпиталь... Просто его не успели вывезти, она с ранеными и осталась. Не знаем, как уж она их лечила и сохраняла. Говорят, женщины с «Пролетарки» ей помогали... Тихомирова святая женщина!

— Однако святая женщина водила же дела с комендантом?

— Ну и что, ну и что?.. А что ей оставалось делать? На руках десятки раненых и больных, кормить и лечить надо. Лекарства на улице не найдешь,— запальчиво заступается наша собеседница.

А я вспоминаю эту самую Лидию Петровну, Лиду, сероглазую девушку с симпатичным строгим лицом, жену друга моей юности Сергея Никифорова, рабочего с Первомайского завода, ставшего секретарем горкома и давшего мне когда-то рекомендацию в комсомол. Его сейчас нет. В 1937 году он был арестован, где он сейчас, я не знаю. Но сердцем чувствую: не может он, слесарек с Первомайки, ставший крупным партийным работником, быть врагом своего народа. Оговор, ложный донос, судебная ошибка — мало ли? А Лидия Петровна?.. Со временем все, конечно, выяснится, но нелегко ей придется...

Пока Петрович вместе с хозяйкой накрывают на стол и все мы, наголодавшись за день, вдыхаем ароматы, доносящиеся из кухни, вспоминаю первое задание, которое дал мне Лазарев в день, когда я выезжал на фронт. Танк! Который будто бы ворвался в город с запада, с боем прошел по улицам и площадям и вышел к своим за Московской заставой. Наводил уже справки в штабе фронта, расспрашивал у ротмистровцев — никаких следов. Так, догадки, предположения, основанные на смутных слухах. Да и был ли этот танк или это один из героических мифов, каких немало распространялось в тяжелые дни войны? Супруги единогласно уверяют: был. Они его не видели, но, по рассказам многих, он действительно появился со стороны «Пролетарки», прошел через весь город, обстрелял комендатуру, помещавшуюся в городской сберегательной кассе, и не то был сожжен, не то действительно пробился к своим. Во всяком случае, переполох у оккупантов он вызвал страшный. Говорили о нем потом несколько дней.

— Был, определенно был,— уверяют супруги.

Убеждаюсь — тема действительно интереснейшая. За обедом торопливо глотаю суп из каких-то трофейных концентратов, ем сардины, жую голландский шоколад. Скорей бы по следам танка.

Хозяева едят не торопясь. Но разве не видно, как они голодны и какое впечатление производит на них,

живших два месяца на мерзлых овощах, деликатнейшая трофейная пища запасливого Петровича? В конце трапезы хозяйка торжественно поит нас чаем, настоящим чаем, пачечку которого супруги сохраняли «до лучших времен». Теперь эти лучшие времена наступили, и они делятся с нами своим сокровищем.

НА РОДНОМ ПЕПЕЛИЩЕ

Договариваемся: коллег я завезу в нашу комендатуру, оттуда они, возможно даже по прямому телефону, передадут в редакции свои корреспонденции. Там и заночуют. Я же поеду искать следы таинственного танка. В уме уже мелькают заголовки: «Легендарный рейд»... «Сквозь вражеский огонь»... «Один против вражеской армии»... Следы приводят меня в Первомайский поселок текстильщиков, откуда танк ворвался в так называемые Хлопковые ворота комбината «Пролетарка». Нужно также выполнить наказ матери — поискать следы двоюродного брата Андрея, ушедшего в истребители. Может, кто-нибудь из соседей матери о нем и знает.

Перед войной мать заведовала здесь амбулаторией. Тут и жила в одном из стандартных деревянных домиков рабочего поселка. Захожу в ее квартиру. Дверь не заперта, стекла выбиты, в комнате снег. Я вижу знакомую с детства мебель, стоящую в снегу. Ничего не тронуто. Портрет отца, умершего двадцать пять лет назад, смотрит на меня со стены, неожиданно поражая молодостью своих черт. Семья ткачей, жившая в квартире напротив, присмотрела за брошенной квартирой и бережно сохранила у себя белье и картины. Подтверждают то, о чем говорила мама: Андрей вместе с двумя товарищами-восьмиклассниками из поселка был в отряде истребителей. Сражались на подступах к «Пролетарке», и он был убит в стычке у железнодорожного виадука. Похоронен в братской могиле неизвестно где.

— Ведь совсем, совсем мальчик... Приемник его и сейчас у нас работает... Москву все время слушали,— печалится соседка.— И велосипед я его сохранила...

Захожу в его комнату. Андрей! Рассеянный подросток, мечтатель, увлекавшийся электротехникой, загромоздивший квартиру радиоприемниками собственного изготовления, боец, еще не успевший даже получить

паспорт... Беру со стены фотографию, где он снят вместе с приятелем, и иду к маминым соседям...

Они тоже слышали о танке. Точно известно, что он прошел здесь, потом через Малую рощу в Хлопковые ворота. Куда пошел дальше — не знают. Надо расспросить во дворе «Пролетарки». Там наверняка найдутся очевидцы.

Едем туда. Невольно волнуюсь. Ситцевая фабрика, где я начинал работать, откуда писал в «Тверскую правду» и «Смену» первые свои корреспонденции, цела. А вот огромный корпус прядильной — самое большое здание в городе — весь выгорел. Стены стоят как декорации. Сквозь проемы окон он просвечивает насквозь. Спешиваюсь. Говорим с одним, другим жителем. Да, действительно, танк прорывался и где-то у так называемых Главных ворот обогнал и раздавил грузовик с солдатами. А оттуда будто бы через Тьмаку прошел в город.

Смеркается. Какая-то сила неудержимо тянет меня к моему бывшему жилью. Вот во дворе так называемый дом служащих № 61. Здесь я жил мальчишкой. Отсюда пошел в школу.

И дом цел, и квартира на первом его этаже тоже цела. Но все перевернуто, распотрошено. От женщины из квартиры напротив узнаю, что жил тут какой-то изменник, пытавшийся по заданию комендатуры наладить на фабрике выпуск мыла и спичек. Не наш, приезжий. Будто бы даже и не русский. Вчера он бежал с семьей. Их увезли на немецкой машине, а погром учинили уже свои, в отместку за предательство жильца, которого не удалось схватить.

Узнаю, что в этом же доме произошла и другая история.

В соседнем подъезде, на третьем этаже, остался старый механик. Семья ушла, а он, прикованный болезнью к койке, не смог. Электростанцию комбината при отступлении не успели взорвать, но важные части, без которых машины не могли работать, были утоплены в речке Тьмаке. И вот на квартиру больного механика приехала депутация от бургомистра во главе с полицмейстером Бибиковым. Привезли продукты, напитки, даже топливо для печурки, обещали лечить и поставить на ноги, только пусть откроет, где спрятаны части. Механик заявил, что не знает. Его убеждали, ему грозили. Кончилось

тем, что дары были отобраны, а возле квартиры поставлен полицай. Бибиков издевательски сказал на прощанье:

— Подумайте. Если вспомните, где спрятаны части, сообщите. Не скажете — замерзнете в нетопленной квартире, подохнете с голоду.

Время подумать у механика было. Пять дней продолжалась его агония. Но он так и замерз в своей постели, не выдав тайны предателям. Устрашения ради труп его был подвешен на козырьке парадного подъезда. Ночью неведомые люди сняли его и похоронили тело, пока неизвестно где.

Вот две истории о жильцах всего только одного дома.

Среди поломанного барахла Петрович отыскал два матраца. «Буржуйку» мы затопили обломками сокрушенной мебели. Отыскался даже старый пузатый будильник. Мы поставили бой па шесть часов и, загородив комодом дверь, улеглись спать. Петрович тотчас же захрапел, а ко мне сон не шел. Вот в эти забитые сейчас досками окна смотрел я в детстве, под этими окнами играл мальчишкой, по вонючей речке Тьмаке, до которой рукой подать, плавали мы летом на плотах, которые сколачивали из досок; зимой из снега и старых ящиков строили с ребятами будки. И в школу отсюда пошел. И заметку тут первую свою написал в «Тверскую правду», как сейчас помню, зимой 1924 года. Теперь все разрушено, осквернено. В квартире моего детства жил предатель, а незаметный беспартийный механик, известный в доме как безропотный подкаблучник, тихий, покорный муж своей красивой жены, совершил подвиг и умер как герой. Как все перепуталось! Что только творится на белом свете!..

И все-таки «Пролетарка», родная моя «Пролетарка», с честью прошла через величайшие испытания. Было больно сегодня ходить по заметенному снегом двору комбината, среди пепелищ и развалин. Комбинат напоминал кладбище. Но как это здорово, что в дни оккупации все станки и машины были мертвы!

«Мы с «Пролетарки»,— любили всегда говорить мои друзья и соседи. «Мы с «Пролетарки» — эти слова звучат сейчас гордо, как никогда.

БЫВАЮТ ЛИ ЧУДЕСА?

Если бы я был верующим, я обязательно решил бы, что тут, в Калинине, совершилось чудо. Речь идет все о том же таинственном танке, что, как игла сквозь масло, прошел через оккупированный город с запада на восток.

Переночевав в разгромленной квартире, умывшись утром снегом и наскоро закусив трофейными деликатесами из мешка Петровича, мы вновь отправились по следам таинственной машины. Переговорили по крайней мере с десятком людей, и все подтверждают — это было. Слышали об этом, а один даже видел машину. Судя по его описанию, это танк новейшей конструкции, Т-34. На броне заметны следы от осколков снарядов, и броня как бы закопчена. Говорит, что даже рассмотрел на башне цифру 3.

На Советской улице, в центре города, мы увидели молодого архитектора Регину Г., писавшую когда-то в «Пролетарскую правду» статьи по вопросам градостроительства. Она побывала в оккупации и, как оказалось, тоже видела этот танк.

— Иду с Волги с бидоном воды — водопровод-то у нас не работал,— рассказывала она,— иду и слышу — стрельба. Совсем рядом. Я — в подворотню. И вдруг вижу — на площади танк. Затормозил, развернулся, навел пушку на здание сберкассы — там у немцев комендатура была, флаг их над дверью висел,— дал два выстрела и понесся дальше по Советской, по направлению к Градской больнице... А в комендатуре начался пожар. Подвезите, я вам покажу, куда попали снаряды,— закончила собеседница.

Это, пожалуй, самое реалистическое свидетельство. А были и такие: «Сотни гитлеровцев передавил...», «По колонне их машин, как по мосту, проехал — одни щепки». И уже совсем фантастическое: «Снаряды у него такие— как даст, на сто частей разлетаются, и каждый осколок горит и все кругом сжигает».

Регина Г. поехала с нами, показала, где стояла с водой, где был танк, а главное — показала следы его снарядов, разворотивших стену массивного здания, возле которого еще валяется вывеска комендатуры.

Более ничего конкретного узнать не удалось. Танк, совершив невероятное свое дело, будто бы испарился.

Стальная махина мало похожа на архистратига Михаила, который, по словам нашей старушки хозяйки, умел, поразив врага огненным мечом, исчезнуть бесследно. С этим танком с цифрой 3 на броне произошло нечто подобное. Что же это было? Плод воображения или правда?

Так, должно быть, и останется задание полкового комиссара Лазарева невыполненным. «Правда» есть «Правда», и писать туда о том, что, может быть, выдумано жителями, нельзя *.

Осталось второе задание — организовать статью командующего Конева о Калининской операции. Может быть, хоть с этим повезет. Но в деревеньке, где его штаб-квартира, сообщили: генерал где-то на правом фланге наступления, в дивизиях Масленникова; выехал на заре, а будет разве что к ночи.

---

* Ровно двадцать пять лет спустя, когда праздновалось четверть века со дня освобождения Калинина, загадка легендарного танка все-таки разрешилась. На юбилейный этот день приехал с Украины уже немолодой человек по фамилии Литовченко, подполковник в отставке, ныне инженер одного из заводов. Он представился как бывший механик-водитель этого танка — «тройки», экипаж которого состоял из командира старшего сержанта Горобца, башнера Григория Коломийца и стрелка-радиста Ивана Пастушина. Легенда объяснилась так. В октябрьский непогожий день их экипаж, посланный в разведку, оторвался от колонны, попавшей под бомбежку. Назад ехать было уже нельзя, и танкисты приняли решение прорываться к своим через оккупированный город. По пути они своими снарядами подожгли на вражеском аэродроме цистерну с горючим, обстреляли два стоявших в капонирах пикировщика; ведя огонь на ходу, прорвались сквозь немецкий артиллерийский заслон. Действительно, через Хлопковые ворота вошли во двор «Пролетарки», далее проследовали в район Больничного городка, догнали колонну автомашин с немецкой пехотой и, не сбавляя скорости, проутюжили ее. Действительно, на Советской площади дали два орудийных выстрела по помещению немецкой комендатуры, даже не зная, что там комендатура, просто стреляли по нацистскому флагу. Недалеко стоял танк охраны, стрельнули и по нему и, двинувшись дальше вдоль Советской улицы, вырвались на Ленинградское шоссе, и, преследуемые огнем немецких батарей неслись на полной скорости, пока не наткнулись на засаду уже своих батарей. От своих им особенно попало, но все-таки танк сохранился. Экипаж отдохнул в селе Эммаус, а потом прибыл в расположение своей части, в танковый батальон, который к тому времени уже вернулся из рейда по вражеским тылам юго-западнее Калинина. Так разрешилась спустя четверть века загадка таинственного танка. Она описана теперь в книге П. Иванова и С. Флигельмана «Ярче легенды».

ЧТО ТАКОЕ «ТАЙФУН»?

Вернувшись в штаб фронта, на узел связи, узнаю, что сообщение Евновича и статья Леонида Лося уже в Москве. Остаются считанные часы. Решаю писать здесь, на узле, а по мере возможности по страничкам передавать в Москву.

Узел связи помещается в двух избах. Правила охраны штабов воспрещают кому-либо без специального разрешения заходить в помещение, где потрескивают и жужжат телеграфные аппараты «Бодо» и румяные девушки в военном отстукивают телеграммы. Они передают в Москву оперативные сводки, разведдонесения, политинформацию. Нашего брата корреспондента в аппаратную обычно не пускают.

Но я побывал и даже ночевал в только что освобожденном Калинине, был свидетелем события, которого весь фронт так ждал, и строгий дежурный связи, ДС, которого наша пишущая братия обычно побаивается, оказывает снисхождение. Он сам забирает у меня листки корреспонденции по мере их написания, сам и относит телеграфисткам. Так и действуем. И пока я пишу, он скрипит новенькой портупеей у меня за спиной, дышит в затылок, заглядывает через плечо. Корреспонденция пишется и передается одновременно и, вероятно, поспеет вовремя. Только бы не оборвалась связь, только бы не замешкался в Москве посыльный.

Передал, принял из «Сокола», как в эту неделю именуется по шифрованному коду узел связи Генштаба, получил подтверждение о принятии и вдруг вспомнил, что не вставил такой эпизод. Когда покидал Калинин, увидел перед зданием Дома Красной Армии, где у немцев был офицерский клуб, длиннейшую очередь, которая даже заворачивала в конце квартала за угол. Что такое? Что там дают или продают? Все разъяснило рукописное объявление на куске обоев: «Сегодня, 17 декабря, с двух часов дня в помещении Дома Красной Армии демонстрируется кинокартина «Ленин в Октябре». Вход свободный...» Этот кусок обоев был налеплен прямо на немецкие афиши, на которых рекламировались прелести каких-то дебелых красоток. Интереснейший штрих! Я тут же додиктовал несколько строк уже прямо на аппарат, поблагодарил связистов и пошел было к выходу, но в сенях меня догнал ДС.

— Товарищ батальонный комиссар, вам из «Сокола». Только приняли.— И передал обрывок телеграфной ленты: «Из «Сокола» в «Синицу», корреспонденту «Правды» Полевому. Очерк, добавление приняли. Срочно ждем статью генерал-полковника Конева. Тема — Калининская операция. Торопитесь. Лазарев».

Срочно! Поди-ка его найди, командующего, когда он все эти горячие дни даже и не заглядывал в свою штаб-квартиру, провел их на своем НП в пригородной деревеньке Змиево. Там саперы врыли в землю небольшой сруб на пригорке, откуда простым глазом можно видеть город, следить за наступающими дивизиями. А сегодня он был вместе с секретарем обкома И. П. Бойцовым в Калинине. Где его взять, командующего? Если он даже и вернулся к себе, то, наверное, сейчас «влезает в обстановку» и разбирается в куче донесений за истекшие сутки. Но приказ есть приказ. Это-то я усвоил.

Иду к члену Военного совета, корпусному комиссару Д. С. Леонову. Показываю ему ленту: как быть? Ничего не ответил, крутнул ручку полевого телефона.

— Это я, здравствуйте. Не разбудил?.. Вот тут у меня сидит Полевой с челобитной из «Правды». «Правда» просит вас срочно написать статью о Калининской операции.

Трубка рокочет. Корпусной комиссар, слушая сердитый ее рокот, смотрит на меня прищуренными глазами.

— Я ему уже сказал, что вы две ночи голову на подушку не опускали... Сказал, сказал... Он? Как и все корреспонденты, нахал страшный, говорит — нужно. Вот я вам прочту телеграмму из редакции.— Читает, но вместо «полковой комиссар Лазарев» говорит «главный редактор Поспелов»... Трубка рокочет уже не так сердито.— Как я считаю? Считаю, Иван Степанович, стоит написать. Ведь, что ни говори, операция интереснейшая. Крупный областной город отбили. Сколько у «Правды» тираж? — спрашивает он у меня. Я отвечаю.— Ну вот видите, миллионы людей читать будут.— Корпусной комиссар уже не скрывает улыбки.— Так, так, хорошо. А я, знаете, ему уже рассказал, что вы еще в юные годы комиссарили и знаете толк в большевистской пропаганде... Хорошо, зайду. Сейчас?.. Выхожу.

Корпусной комиссар кладет на ящик трубку. Он доволен.

— Ну вот, будет у «Правды» статья. В пять ноль-ноль он вас примет.

— Может быть... чтобы не затруднять командующего, мне пока что... написать проект статьи или подробный конспект?

— Вы давно знаете командующего?

— Был у него только раз, перед операцией.

— Вот сразу и видно... Выставил бы он вас как миленького вместе с вашим проектом. С одним из ваших коллег такое уже случилось. Диктовать будет — приготовьтесь записывать...

Глубокая ночь. Сильно морозит. После вчерашнего тумана деревья, кусты, палисадники перед избами покрыты пушистой изморозью, будто оренбургским платком, а в зените сияет луна с размытым, туманным ореолом — «месяц в рукавичке», как говорят наши старики хозяева. По их приметам, это к морозу. А куда еще — мороз и так градусов тридцать. Нет-нет да в тишине раздастся треск — это лопнуло прокаленное морозом бревно сруба, и в треске этом, хорошо слышном в тишине ночи, чудится что-то первобытное, сказочное.

Деревня кажется пустой, мертвой, но в темноте у крыльца похрустывают валенками часовые, а когда в ясном небе, усыпанном звездами, слышится гул самолетов, где-то в конце деревни бьют в рельс и раздается протяжное:

— Воздух!

Точно в пять утра появляюсь в сенях знакомой избы. За ночь ее изрядно выстудило, и белокурый майор топит чугунную походную печурку, пристроенную к большой русской печи. Смотрит на часы.

— Так, вовремя. Сейчас доложу.

Несмотря на поздний, а точнее говоря — на ранний час, командующий выбрит. Китель на нем застегнут на все пуговицы, и ничто, кроме землистого оттенка лица да покрасневших век, не говорит, сколько времени он провел в напряженной работе.

— Бумага с вами? Садитесь к столу. Вот прежде всего прочитайте это. Приняли в последний час.

Он подает отпечатанную на тонкой бумаге радиограмму: «После ожесточенных боев войска Калининского фронта 16 декабря сего года овладели городом Калинин. В боях в районе города Калинин наши войска нанесли крупное поражение 9-й немецкой армии генерал-полков-

ника Штрауса, разгромив 86, 110, 129, 161 и 251-ю пехотные дивизии, входящие в состав этой армии. Остатки разбитых дивизий противника отступают на запад. В боях за город Калинин отличились войска генерал-лейтенанта т. Масленникова и генерал-майора т. Юшкевича. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются. Наши войска преследуют и уничтожают отходящего противника. Совинформбюро».

— Прочли? Тут главное... И, видите, спокойно, без хвастовства.

Командующий стоит по ту сторону длинного походного стола, покрытого картой, его рабочей картой, исчерченной синим и красным карандашами. Толстая красная стрела с городом Калинином у основания, пропзив широкую синюю линию, протянулась на запад, глубоко врезавшись в расположение синих кружочков и овалов. Острие ее уже далеко за Калининым, но, как я ни пялю глаза, не могу разобрать названия пунктов, до которых она дотянулась.

— Село Медное на Ленинградском шоссе,— подсказывает командующий, видя тщетность моих усилий.— На двенадцать ноль-ноль форсировали реку Тверцу и продвигаемся дальше.

Он задумывается над картой. Вместо этих кружочков, овалов, стрел с номерами дивизий он, наверное, видит движение огромных масс войск, видит картину продолжающегося сражения, движение авангардов наступающих, перемещение тылов — огромное, сложное сражение, в котором ему приходится не только направлять свои дивизии, но разгадывать и стараться предусмотреть намерения противника. По сведениям разведки и показаниям пленных офицеров, которых взято уже немало, генерал-полковник Штраус, командующий левым флангом наступавших на Москву войск,— опытный генерал, и он, конечно, сейчас делает все возможное, чтобы локализовать последствия калининского разгрома.

— Ну что ж, начнем,— говорит командующий, отрывая глаза от карты.— Заглавие... Нет, заглавие пусть «Правда» сама даст.— И он начинает диктовать, медленно, точно, делая паузы на запятых и отчетливо отделяя фразу от фразы. Записывая, я вижу, что он, сразу отбросив публицистическую словесность, берет, что называется, быка за рога и с большим, может быть даже излишним,

лаконизмом показывает самую суть только что отшумевшей битвы.

Иногда, взяв со стола боевое донесение или разведсводку, он уточняет по ним ту или иную подробность, иногда склоняется над картой, берет большую лупу и разбирает название того или другого пункта... А он действительно полководец с комиссарской душой, как говорил о нем член Военного совета Леонов. Когда он говорит о том, как в тяжелейшие дни войны фронт и тыл сплотились вокруг большевистской партии и какой небывалый подъем был достигнут в эти дни в войсках, как бурно начали расти именно в эти дни полковые партийные организации, как армейские большевики всегда были первыми в атакующих колоннах, голос его теплеет.

Вот он опустился на стул, крепко трет виски. Китель по-прежнему застегнут на все пуговицы, но теперь уже видно, что это усталый, вдоволь потрудившийся и не успевший отдохнуть после этих трудов человек.

— Вы ведь, наверное, знаете военную историю? Скажите, где и когда народ так объединялся в самые тяжкие минуты испытания? Нет, нет, это вы не записывайте, это не для статьи... Или была ли когда-нибудь такая партия, в которую люди вступали бы десятками, сотнями тысяч в момент, когда все дело этой партии оказывалось под страшной угрозой, когда быть членом этой партии значило первым идти под пули, становиться на самое ответственное, а стало быть, и самое опасное место?.. Вот подумайте над этим... А ведь по-настоящему об армейских большевиках нашего фронта никто из вас еще не написал... «Коммунист Сидоров гранатой подбил немецкий танк». Или: «Коммунист Петров уничтожил из снайперской винтовки трех немцев». Разве это описание? А вот о партсобраниях перед боем или о том, как за эти дни выросла парторганизация того или иного полка,— вот вам темы, товарищи корреспонденты. Ну ладно... За статью, за статью!

Рисуя картину наступления войск фронта, он показывает на карте, как дивизии генерала Юшкевича с юго-востока и генерала Масленникова с северо-запада встречным движением взяли город в клещи, как острия этих клещей, укрепляемых все новыми и новыми вводимыми в бой частями, к 15 декабря почти сомкнулись.

— Мы, по существу, выдавили дивизии противника из города,— говорит командующий.— Нет, пет, «выдави-

ли» — это несерьезный образ. Пишите так: «К концу 15 декабря кольцо вокруг Калинина почти сомкнулось. Враг почувствовал угрозу окружения и начал в панике бежать, бросая оружие, боеприпасы, технику».— И тут же обобщает, диктуя, как нечто уже давно обдуманное и проверенное: — «Борьба за Калинин еще раз подтвердила боязнь немцев окружения: при первой же серьезной угрозе окружения они начинают панически метаться и беспорядочно бежать. Отсюда мы можем сделать вывод, что смелые действия наших войск по флангам и тылам противника должны повсеместно применяться как весьма эффективный способ истребления его живой силы».

Я прошу развить эту мысль. Ведь картина развернувшегося наступления нуждается и в некотором обобщении.

— Теоретизировать будем после войны,— обрывает командующий.— Пишите концовку: «После двухмесячного перерыва советский флаг снова взвился над старинным русским городом Калинином. Наши войска продолжают преследовать отступающего противника». Записали? Пишите дальше: «Взятие Калинина не дает нам основания для самоуспокоения».

Пока статью перепечатывают, командующий работает, говорит с командармами по телефону, выслушивает доклады оперативных офицеров, отдает распоряжения. Я сижу у печки. Сухие березовые дрова разгорелись, огонь ревет в трубе. Чугунный бок печи стал вишнево-красным, даже начинает искристо светиться.

— Красивая штука огонь,— раздается сзади голос командующего.— Недаром ему в древности поклонялись.— Генерал вышел из своей светелки, стоит, прислонившись плечом к косяку.— Я в первую мировую войну фейерверкером был. Бывало, нет большей радости, чем погреться у костра... Горький, говорят, жечь костры любил. Верно это? — Присел на корточки, кочережкой пошуровал в печке.— А вы знаете, как Гитлер свое генеральное сражение за Москву закодировал? «Тайфун». Осенью я командовал Западным фронтом. Помнится, в конце сентября под Ярцевом привели ко мне их аса, сбили его наши летчики. Матерый, заслуженный, грудь в крестах. Но в общем-то разговорчивым оказался. Рассказал о готовящемся наступлении на Москву, о том, что немцы сосредоточили на этом направлении до ста дивизий и что будто бы фельдмаршал Кейтель и рейхсмаршал Геринг прибыли в Смоленск, имея от Гитлера приказ любой

ценой обеспечить успех этого генерального наступления.

— Они листовки тогда кидали о том, что в начале ноября Гитлер въедет в Москву на белом коне и будет на Красной площади принимать парад своих отборных войск.

— Читал я эти листовки. Геббельсовская стряпня. А вот это серьезное, это они для себя писали.— Он вышел в светелку и принес перевод какого-то трофейного документа.— «...Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, ни мог бы его покинуть. Всякую попытку выхода из города беспощадно подавлять силой». Вот какую задачу он ставил. И это не пропаганда. И действительно стянулись на Московском направлении около восьмидесяти дивизий, около двух тысяч танков, около тысячи боевых самолетов. Вот как он выглядел, этот «Тайфун». Никогда, ни в одной битве, не сосредоточивалось таких армий.

— А у нас?

— У нас... Эх, сразу видно, что в душе-то вы еще не военный. Кто ж задает такие вопросы — «у нас»? В этой битве мы количественно не превосходили неприятеля ни в живой силе, ни в технике. Мы были сильнее их духом. Войска горели желанием отстоять Москву. Наша Ставка проявляла мудрую выдержку и искусство скрытного сосредоточения сил и подтягивания резервов. На врага были обрушены сокрушительные удары. И вот это наступление силами трех фронтов, по существу, разгром немцев под Москвой — так, вероятно, его назовут историки.

— А как, товарищ командующий, вступили в войну лично вы? Где приняли первый бой?

— Лично я? Под Витебском.— И снова, помешивая кочергой в печке, глядя на искры, устремляющиеся в гудящую трубу, он задумчиво говорит: — Не очень счастливо, впрочем, вступил. Пришлось даже вспомнить старую свою специальность фейерверкера...

И он рассказывает удивительную историю. В первый месяц войны он, командующий 19-й армией, расположенной на Украине, получил приказ срочно грузить армию в эшелоны и на максимальной скорости двигаться на запад, где положение стало очень тяжелым. Перебазирование происходило в труднейших условиях. Эшелоны ежедневно

бомбили, железнодорожное хозяйство на некоторых узловых станциях оказывалось разрушенным или поврежденным. К месту выгрузки вовремя прибыл только головной состав с управлением армии и полком связи. По пути в штаб фронта машину командующего обстреляли с воздуха и зажгли. Был ранен адъютант, сгорел портфель с документами. Остановив попутный грузовик, командующий добрался на нем до штаба фронта. Деревня, где тот размещался, горела. Командование работало в блиндажах. Связь с Витебском, куда должна была быть направлена армия, отсутствовала.

Командарм решил выяснить обстановку на месте и уже по пути к городу убедился: положение тяжелое. Навстречу, от Витебска, отступали дезорганизованные группы, вереницы машин с военным имуществом, артиллерия, шли отдельные танки, и все это под почти непрерывной бомбежкой.

Еще по опыту гражданской войны командарм знал: нет ничего страшнее неразберихи при отступлении. Он вышел из машины и с револьвером в руках стал останавливать бегущих. К Витебску генерал прибыл во главе немалого уже отряда с артиллерийской батареей и тремя тяжелыми танками. Город горел и был пуст, его покидали жители. Где руководство? Где командование? Генерал вышел на площадь к зданию обкома партии, и тут увидел группу военных с оружием. Подозвал старшего среди них.

— Кто вы? Доложите обстановку.

Тот представился: майор Рожков, из 17-й дивизии. С остатками своего полка с боями отступает от самой границы. Сейчас сколотил отряд и занял оборону у моста на реке. Отряд усилен рабочими из истребительных батальонов. Они вооружены плохо, старыми осоавиахимовскими винтовками, но отличные, стойкие ребята.

— Действия ваши одобряю. Назначаю командовать обороной,— сказал генерал и передал в распоряжение майора Рожкова тех людей, что привел с собой, и три танка КВ, которые в обороне моста могли сыграть роль дотов.

Батарею генерал Конев расположил на холме, чтобы она могла контролировать улицы, ведущие к переправе.

Все это успели сделать до того, как на противоположной стороне реки показались авангарды немцев. Их встретили хорошо организованным огнем, и они откатились. Артиллерия со своей высотки поддерживала отряд майора Рожкова интенсивным огнем. Тогда противник подтянул свою артиллерию, стал обрабатывать высотку. Обрабатывал методично: снаряды падали справа, слева. «В вилку берут»,— понял командарм. Он приказал орудийной прислуге отойти в укрытие, а сам залег неподалеку в какой-то колдобине. Командир батареи не успел этого сделать, осколок срезал его наповал. Командарм принял командование батареей на себя. В нем в эти часы как бы жило два человека — командующий армией, который мысленно набрасывал, обдумывал план обороны этого района, размещал полки, дивизии, тылы, и опытный артиллерист, направляющий огонь батареи...

— Вот как прошел мой первый боевой день на этой войне.— Командующий улыбнулся...

Сейчас, когда дивизии генерала Штрауса под ударами армий Калининского фронта откатывались на запад, увязая в необыкновенно обильных снегах, опытному воину было, наверное, даже приятно вспоминать этот боевой день.

У меня вдруг возникла мысль написать очерк о самом Коневе. Командующий резко встал.

— Чепуху вы выдумали. Кто же в разгар войны пишет о генералах? О генералах уместно будет писать, когда Красная Армия Берлин возьмет... Не раньше.

На том и прощаемся. Надо скорее на телеграф. Еще ночь, звезды сверкают так же остро, так же сияет круглая, мордастая лунища, но во дворах перекликаются петухи и чувствуется приближение рассвета. Где-то в звездной синеве не очень громко, но басовито гудят моторы наших бомбардировщиков. Мы сразу узнаем их голоса. Летят с запада на восток — должно быть, с бомбежки далеких немецких тылов, а может быть, и самой Германии. Они не очень быстры, эти наши тяжелые бомбардировщики. Часами измеряется их путь. Трудно даже представить себе расстояние от этой утопающей в предутренней тишине деревушки в тверских лесах до главной цитадели нацизма. Но мы уже тронулись в этот путь. Мы идем на Берлин по множеству дорог, по лесным тропам, по снежной целине. И радостно думать, что сейчас вот затрещат аппараты Бодо, передавая в «Правду» статью ко-

мандующего фронтом, и еще о том, что, если, черт возьми, буду жив после взятия Берлина, обязательно напишу очерк о генерале Коневе, к которому я сегодня начал собирать интересный материал *.

ИЗНАНКА ИХ ДУШ

У моего друга, корреспондента Совинформбюро, обширные знакомства в кругах московских международников. Он свел меня со старшим батальонным комиссаром Александром Зусмановичем — начальником седьмого отдела Политуправления, бывшим коминтерновским работником, отлично знающим Берлин, подолгу жившим в нем до войны. Это умный и к тому же веселый человек. Его отдел ведет работу среди войск противника, изучает настроение немецких солдат, издает листовки-обращения, организует радиопередачи через линию фронта. Вообще-то работа у этого отдела своеобразная, и наш брат корреспондент там не очень желательный гость, но Зусманович, которого в его аппарате между собой именуют Зусом, делает для нас исключение.

Сегодня мы совершили налет на его отдел, разместившийся в нескольких уютных домиках Кушалинской МТС, и визит этот дал нам многое для понимания того, что сейчас, в дни стремительного сокрушения «Тайфуна», происходит в душах немецких солдат. Много пленных. Их допрашивают и по показаниям не только уточняют сведения разведки о дислокации и вооружении неприятельских частей, но судят и о настроениях в армии неприятеля. Зусманович к этим показаниям относится скептически.

— Многие, и чаще всего самые отъявленные мерзавцы, подняв руки вверх и очутившись у нас, особенно громко кричат: «Гитлер капут!» — Он хитро улыбается своими выпуклыми голубыми глазами.— Только вот в письмах, когда авторы их остаются наедине с собой, они по-настоящему раскрываются. И тут уж не «рус, сдавайсь» и не «Гитлер капут». Сейчас мы захватили три их

* Забегая вперед, могу теперь сказать, что очерк такой я действительно написал. И именно после взятия Берлина. И в нем очень пригодились сведения, полученные в ту ночь в занесенной снегом избе под Калинином.

полевые почты. Кое-что уже успели прочесть. Вот это материал для серьезных раздумий.

Восемь девушек — младших лейтенантов, очень молоденьких, очень интеллигентных московских девушек, выпускниц Института иностранных языков и университета, занимаются здесь не очень веселым делом, читая и переводя эти письма. И, боже ты мой, как красноречивы эти куски бумаги, торопливо исписанные разными почерками!

Мы с коллегой целый день читали эти переводы и выписывали для себя особенно интересные места. Да простят нас адресаты этих недошедших писем — Маргариты, Эрны, Марты, Розхен — за то, что мы без их разрешения предаем гласности предназначенные им слова. Я располагаю письма по времени написания и цитирую отрывки из них без всяких исправлений.

Итак, разгар «Тайфуна». Середина октября. Немецкие части прорвались на самые близкие подступы к Москве.

«...Разговаривал в пункте обогрева с раненым из знаменитой части «Мертвая голова». Он воевал во Франции, Бельгии, Норвегии. Все обходилось хорошо, а вот сейчас ранен в ногу. Очень досадует, что, так близко подойдя к Москве, не сможет быть там, когда наши доблестные части туда ворвутся. Им обещали на три дня отдать город в их распоряжение... Девчонки, выпивки, сласти — всего этого он теперь не увидит и горюет об этом даже больше, чем о своем поврежденном колене, в которое он ранен, и, кажется, серьезно. Впрочем, им хорошо, этим эсэсманам. У них одежда на меху, а мне все это, по правде говоря, перестало нравиться. Мы еще в пилотках, даже подшлемники не всем выдали, а по ночам тут уже морозы. Ну ничего, моя любимая жена. Москва недалеко, в Москве всего много, отогреемся и отоспимся...»

«...Должен сообщить вам, мои дорогие родители, печальную новость. Наш земляк Рихард Вольф, о котором я вам писал, пал смертью храбрых. Он погиб самым нелепым образом. Его послали на мотоцикле к генералу с донесением, а на следующий день его и мотоциклиста нашли мертвыми у дороги, а мотоцикла не было. Партизаны! Это страшное явление, которого мы не знали ни во Франции, ни в Бельгии, ни в Дании. И чем ближе мы к Москве, тем злее они становятся. Нападают на наши

транспорты и даже на наши арьергардные части. Мы сравнительно далеко от фронта, не слышим даже орудийной стрельбы, но в лесах этих бандитов так много, что гарнизонам, оставленным на охране дорог, приходится на ночь баррикадироваться в домах и заваливать окна.

Эти русские — азиаты, они совершенно не соблюдают правил войны. У них опасны даже женщины и дети. Вчера полевые жандармы сожгли две деревни вблизи места, где нашли тело Рихарда, и расстреляли сколько-то жителей. Как это ни грустно, мы вынуждены быть жестокими и наводить страх. Но недолго нам остается терпеть неудобства, дорогие родители. Скоро, говорят, в начале ноября, когда у русских их большой праздник, мы займем Москву. Офицер просвещения говорил нам даже, что уже разработан план нашего парада. В нем, конечно, будут участвовать эти господа из «эсэс», которые всегда со всего снимают сливки. Но Москва — город большой, всего они там не сожрут, и нам что-нибудь останется. Но главное — Москва, Москва. Там уж верный конец этой проклятой зимней войны... Если встретите мать Рихарда, об обстоятельствах его смерти не сообщайте, скажите — пал смертью храбрых, увлекая за собой в атаку наш взвод».

«Дорогая моя жена, благодаря гению фюрера мы уже совсем рядом с русской столицей Москвой. Еще один-два хороших ударчика, какие мы умеем наносить, и этот колосс на глиняных ногах рухнет, и мы одержим самую грандиозную победу из всех, какие мы уже одерживали, вдохновленные гением фюрера. Нам не страшны ни морозы, ни метели. Нам не страшны снега. Наш дух высок, наши намерения непреклонны. Правда, русские сражаются сейчас с особой яростью. Каждая дорога, каждое село, каждый дом стоит нам жизни наших товарищей. Нет уже ни веселого Бернарда, ни обжоры Теодора, ни нашего ефрейтора, о которых я тебе писал. Бедного ефрейтора разорвало на куски. Но люди из нашего взвода, отдавая честь павшим товарищам, рвутся вперед, и ничто их не остановит до самого центра Москвы. Хайль Гитлер!»

«Дорогой Вилли, как я жалею, что ты еще лежишь в госпитале, а мы уже штурмуем Москву. Вот где поживато будет! Говорят, московские девчонки очень красивы и

полненькие, и еды там всякой будет сколько угодно. Вот попируем! А тебя, черта, не будет с нами. Поправляйся скорей и вступай в строй. Москва — город огромный, может быть, и для тебя что-нибудь останется».

Так они писали в октябре, когда рвались к Москве. А вот письма ноябрьские.

«Дорогой брат, я давно не писал тебе. Некогда. Не до писем, столько у нас хлопот. Москва близко. Говорят, наши панцирные части видят ее, но продвижение наше затормозилось. Вот уже около недели мы топчемся на одном месте, возле какого-то озера или водохранилища у селения Завидово. Мне в штабе говорят: все хорошо, все идет по плану нашего обожаемого фюрера. Но вот уже несколько дней мимо нас по большому автобану идут в западном направлении санитарные машины, полные раненых. Это мне тоже не нравится. Словом, нелегкие ждут нас дни. Но все же я не теряю надежды побывать в Москве и привезти моей любимой Соне русскую черную лисицу. Скажи ей об этом, а то что-то она давно мне не писала. Впрочем, почта ходит нерегулярно».

«...Эти русские вздумали нас контратаковать. Атака следует за атакой. Наш полк сражается доблестно. Мои товарищи дерутся, как львы, однако несем ощутительные потери. Мы же бьем их во много раз больше... Все мы удивляемся, откуда у русских берутся силы. Ведь они проиграли войну. Их столица не сегодня-завтра будет наша. Сдались бы по-хорошему, как сделали это парижане и брюссельцы, и, может быть, наш фюрер простил бы их, а эти фанатики дерутся из последних сил, вызывают у нас неоправданные потери, за которые нам придется им мстить...»

«...Представь себе, мой дорогой брат, трое из нашего взвода сдались вчера в плен. Какой позор! Все видели, как эти мерзавцы подняли руки и вышли из кустов навстречу русским. Господин капитан в бешенстве. Он говорит нам, что только наше доблестное поведение в грядущих боях может избавить нашу роту от позорного пятна. Он

говорит, что русские расстреливают пленных, а перед этим мучают, вырезают им свастику на груди и на спине. Так им и надо, этим негодяям, опозорившим высокое звание солдата великой Германии...»

«Любимая Лизхен, я не знаю, когда напишу тебе следующее письмо. Русские атакуют снова и снова, а артиллерия их стреляет по нас уже второй день так, что и головы не поднять. Твой мальчик, как ты знаешь, не робкого десятка, однако и мне порой становится не по себе. Многих наших уже нет в живых. И как это страшно несправедливо — после стольких месяцев войны, после таких походов быть раненным или убитым здесь, в русском лесу, совсем рядом с их столицей. Вижу тебя во сне, целую, обнимаю и прочее, а просыпаюсь от грохота разрывов. Да, для нас наступили дни испытаний. Но фюрер всегда в моем сердце, и я надеюсь, мы переживем эти испытания, как подобает настоящим солдатам великой Германии...»

«...Пишу вам, родные, из госпиталя в городе со странным названием Клин. Меня ранили в какой-то деревне совсем рядом с Москвой и, оказав первую помощь, повезли почему-то весьма далеко в тыл. Боюсь, что это оттого, что русские начали наступление и начальники боятся, как бы мы, раненые, не попали в руки Иванам. Я не верю, конечно, в серьезность их наступления. Ведь мы же столько перебили их и взяли в плен. Говорят, что они бросили в бой каких-то монголов и что те не знают пощады и добивают раненых. Но что там ни будь — на душе у меня не цветут эдельвейсы, как любил говорить дядя Карл. Рана моя, говорят, неопасная, но повреждена кость ноги, и врач боится, что мне будет трудно ходить. А может, это и к лучшему...»

А вот уже декабрьские письма из мешка полевой почты, совсем недавно захваченной в Медновском районе.

«...Эти негодяи красные, которые не знают, что такое совесть и честь, которым неизвестно, что такое воинский долг, оказывается, нарочно заманивали нас в центр своей страны, для того чтобы потом русские морозы расправи-

лись с нами и сделали то, что сами они не могли сделать силою оружия. Ночью я сидел в засаде, по-видимому, заснул, и, слава богу, смена нашла меня еще живым, но руки, лицо и ноги у меня обморожены... Теперь много говорят о том, что так точно поступили русские с Наполеоном. Морозы действительно ужасные, дуют какие-то сибирские ветры, и температура доходит до 40 градусов по Цельсию. По ночам их дома трещат от мороза. Моим товарищам приходится очень тяжело. Но русские просчитались. Наш фюрер — это не французишка Наполеон. По приказу ставки мы, чтобы спрямить фронт, немного отступили, вернув красным несколько малозначительных пунктов. Наш аэродром тоже перебазировался на запад, и мы получили вместо землянок хорошее жилье и удобства. Мои коллеги по-прежнему летают бомбить Москву и издеваются над ней как только им вздумается. Но досадно, что овладение Москвой пришлось все-таки отложить, по-видимому, до весны. Ведь мы настоящие европейцы, не приспособленные к азиатским морозам. А этим Иванам все равно, говорят даже, что они в снегу купаются, как мы в ванне или под душем. Но генерал Мороз, победивший Наполеона, на этот раз столкнется с германским характером. Вот увидишь, не дальше как весной я пришлю открытку из Москвы...»

«...Дорогая Клара, пишу тебе это письмо из госпиталя. Оно, возможно, будет последним. Почерк не мой. Мне отняли руку, и я диктую это письмо товарищу. Случилось так, что меня ранили в бою, но я столько пролежал в снегу в ожидании первой помощи, что раненая рука превратилась в ледышку, и врачи, опасаясь гангрены, удалили ее. Я не виню ни врачей, ни санитаров, которые вовремя меня не подобрали и не оказали помощи. Вероятно, это хорошие люди и хорошие солдаты, но у них столько работы, сколько не было с начала войны. Целую тебя, моя Клара, а ты поцелуй детей от имени их бедного отца, которому здорово не повезло. А ведь мы были совсем близко от Москвы...»

Девушки-переводчицы сами отобрали для нас эти письма. С оперативной и разведывательной точек зрения они ценности не имеют. Но вот для исследования психо-

логии противника, как мне кажется, выбор произведен удачно. По письмам этим можно судить, как в великом сражении за Москву развеивался в прах миф о непобедимости немецко-фашистской армии, без больших потерь завоевавшей всю Западную Европу и не знавшей при этом ни одного даже тактического поражения.

Войска, которые двигались к Москве и мысленно уже грабили московские склады, насиловали московских девушек, обжирались трофеями, сулили своим женам сибирские меха и астраханскую черную икру, эти войска откатываются сейчас под ударами наших войск на запад, обуреваемые уже другими настроениями.

Но младшие лейтенанты в юбках хотят быть справедливыми даже к неприятелю.

— Учтите, товарищи батальонные комиссары, мы эти письма специально для вас подбирали — самые характерные и показательные,— говорит старшая среди переводчиц — полная черноокая Ганна.— А большинство — обычные солдатские дела и заботы. Есть очень трогательные... Учтите.

И она с вызовом смотрит на нас — как, дескать, мы отнесемся к таким ее словам о немцах.

Мы с Евновичем обещаем учесть, благодарим очаровательных лейтенантов и расстаемся дружески.

Девушки эти все добровольно, по комсомольскому призыву, еще в первые дни войны пошли на фронт, но до сих пор никак не могут свыкнуться с фронтовой обстановкой. Они живут тесной стайкой, и домик их среди офицерской штабной молодежи зовется «высота 57». Была такая высота где-то под Калинином, которую не могли взять штурмом два наступавших батальона. Даже самые отъявленные сердцееды из разведки штурмуют эту «высоту» безрезультатно и, хотя потерь в живой силе и технике не несут, отступают ни с чем и делаются мишенью для штабных остряков.

Кстати, узнал от Зусмановича тайну раненого перебежчика, о котором так ничего и не рассказал мне профессор Успенский. Перебежчик — военный инженер в капитанском звании. Не коммунист, но антифашист, и, говорят, убежденный. Сейчас, едва долечившись, уже работает на подвижной радиовещательной станции. Говорят, интересный человек. Надо будет его повидать.

ОСЕДЛАВ «ЧЕРНУЮ СМЕРТЬ»...

Есть в составе наших Военно-Воздушных Сил самолеты-штурмовики «ИЛ-2». Немцы прозвали их «шварце год», что переводится как «черная смерть». Это великолепные машины с бронированным брюхом и отличным вооружением. У них и пулеметы и пушки, а под крыльями подвешивают реактивные снаряды, такие же, какими стреляют «катюши», только иного калибра и назначения.

Всю войну, начиная от границ, над нашими войсками висели немецкие пикировщики «Ю-87», на фронтовом жаргоне «лаптежники», или «ревуны». «Лаптежники» потому, что шасси у них не убираются и колеса, накрытые обтекателями, висят под фюзеляжем так, что снизу кажется, будто это торчат ноги человека, обутые в лапти. Ну а «ревуны» потому, что, кроме отличного вооружения, снабжены они сиренами, которые при пике издают отвратительнейший, выматывающий душу рев. Сколько мы натерпелись от этих «лаптежников-ревунов» и в наступлении и в обороне!

Ну а теперь расквитаемся с неприятелем с помощью великолепных «ИЛ-2». Сейчас, в дни нашего наступления, самолеты эти тройками, изредка шестерками выходят на бомбежку отступающих колонн. Они накрывают их на марше в дорожных пробках, на объездах у взорванных мостов, обстреливают из пушек, осыпают реактивными снарядами, которые, разрываясь на множество пылающих кусков, сжигают все живое. Отсюда и название «черная смерть».

Я замыслил дать корреспонденцию «Над дорогами немецкого отступления», слетав в рейд на таком штурмовике. Получил согласие командующего ВВС фронта, генерала М. М. Громова, знаменитого нашего летчика, известного давней, довоенной дружбой с журналистами. Договорился с гвардейским полком. И вдруг новость: открывается дверь нашей избы, и в облаках пара, как Мефистофель в опере, появляется начальник военного отдела «Правды», полковой комиссар Лазарев.

— Приехал вот посмотреть, как вы здесь воюете..

Передал редакционные приветы, письма от жены и мамы и как-то очень осторожно поставил в красный угол избы, под иконы, маленький походный чемоданчик.

Мы, военкоры, любим нашего начальника, неразговорчивого человека с сердитой внешностью и, как мы в этом

не раз убеждались, с добрым, отзывчивым сердцем. При всем этом, признаюсь, меня появление московского гостя не обрадовало. Вместо того чтобы лететь на штурмовку отступающих вражеских колонн, придется ходить с ним по фронтовому начальству, устраивать ему сносное жилье в штабной деревеньке, и без того переполненной после того, как третьего дня ее бомбили и три избы как языком слизнуло. Но главное — летчики, летчики. Ведь с таким трудом добыто разрешение!

Но Лазарев оказался на редкость покладистым. К летчикам? Отлично, едем к летчикам! Над колоннами отступающих? Отличная затея! Таких корреспонденций в гражданской печати, кажется, еще не было. Вот только если собьют или придется сесть за линией фронта... Корреспондент «Правды» на территории противника — это не подарок для редакции. Какие листовки фашисты будут писать от имени этого корреспондента! Успокаиваю: документы на время полета я оставлю в штабном сейфе, как это делается при переходе линии фронта к партизанам.

Итак, сбывается мечта. Еще в Москве, оформляясь, я донимал Бронтмана, человека, давно связанного с авиацией, просьбами добыть мне разрешение слетать на тяжелом бомбардировщике на бомбежку Берлина или Кенигсберга. Тогда не вышло, а сейчас вот они, грозные боевые машины, стоят на лесной опушке, у края полевого аэродрома. Командир авиаполка, плотный, приземистый человек, в своих унтах и кожаной куртке похожий на медведя, необыкновенно гостеприимен.

— Вылет? Заметано. Через сорок пять минут вылетаете. Приказ генерала Громова получен. А пока что по обычаю полка надо плотно позавтракать и выпить ворошиловскую... Такой уж у нас порядок — на голодное брюхо не летаем.

Настроение в полку самое боевое. Трудно было, когда отступали. У немцев отлично поставлена противовоздушная защита. Несли потери, и немалые. Каких орлов потеряли! И не только при штурмовке, но и на аэродроме от бомбежек с воздуха. Ни маскировка, ни ложные аэродромы не помогли. А вот с начала нашего наступления будто что-то у них там сломалось... Летаем сейчас преимущественно на штурмовку колонн. По три вылета иные летчики в день делают. А потерь почти нет. Почти!.. Есть, конечно, небольшие, без потерь воевать нельзя.

— Чем же вы это объясняете? — спрашивает Лазарев.

Командир полка поводит широченными плечами.

— Психологический фактор. Отступать не то, что наступать. Это ведь мы и по себе знаем. Немец в наступлении — мотор, в обороне — железо. А в отступлении, когда управление расстраивается или ослабевает,— иной раз просто стадо... Ну и аэродромы они теряют, воздушную защиту приходится вызывать издалека... Пока она там подоспеет... И это нам по собственному опыту известно.

Лечу я за воздушного стрелка на штурмовике Ильюшина. Эту бронированную машину наши наземные войска любовно окрестили «воздушной пехотой». Это за то, что самолеты-штурмовики действуют всегда в самой гуще наземного боя. Таких у немцев нет.

По приказу командира полка мне определено место в самолете командира звена — старшего лейтенанта Леонида Ефремова, молодого, тоже коренастого, просто-таки квадратного парня лет двадцати трех.

Шапка с развязанными ушами сидит у него где-то на затылке, по лбу развевается русый вихор, курносое лицо мальчишки-забияки весьма насмешливо. На меня он смотрит, не скрывая иронии.

— Вы, батальонный, пулемет-то от винтовки отличаете?.. М-да!.. А на штурмовку летали когда-нибудь? Нет? Ну тогда захватите с собой побольше своих газет, пригодятся... Завтрак свой, по всей вероятности, в кабине оставите.— И очень задорно добавляет: — Елки-палки.

— Я много раз летал на «У-2», приходилось даже в высшем пилотаже участвовать... Не совру, что испытывал наслаждение, но завтрак оставлял при себе...

— Если вы умеете кататься на велосипеде, это не значит, что можете садиться за руль автомобиля.— И опять добавляет свои «елки-палки». А потом, сразу погасив в серых глазах иронический огонек, говорит своему стрелку: — Покажи, Ваня, батальонному комиссару, как на твоей бандуре играть. А то несподручно мне с голым задом с «мессерами» встречаться. Мало ли, не ровен час, и фитиль вставить могут, елки-палки.— Очень мне понравились его «елки-палки».

Хмуроватый воздушный стрелок толково пояснил, что моей первой обязанностью будет в случае вражеской воздушной атаки с хвоста действовать пулеметом. Пояснил, как это делается и что делает воздушный стрелок при

штурмовке наземных объектов и неподвижных целей. Очень деловито, толково объяснил.

Звено штурмовиков, в составе которого мне предстояло совершить боевой вылет, было выделено для удара по неприятельским колоннам, отступающим на юго-запад, по направлению районного центра Есеновичи. По данным разведки стало известно, что около взорванного партизанами моста создалась большая «пробка». На аэрофотоснимке отчетливо вырисовывались сгрудившиеся у реки неприятельские части с боевой техникой, автомашинами и обозами.

Подходя к самолету, прошу Ефремова пролететь по возможности ниже над отступающими. Умехается:

— Пониже! Что ж, это от нас зависит? А там, может быть, елки-палки, зениток невпроворот. Знаете, какие у них зенитки? А может, «мессера» над ними хороводят? Ты, батальонный, в случае чего крепче пулемет-то держи и гляди в оба. А не то не ровен час и своей машине хвост очередью обрежешь. Командир полка приказал не меньше двух заходов на цель сделать. Так что нам хвост во как нужен.— Он провел ребром ладони по горлу, показав, как нам нужен хвост самолета.

Что там говорить, залезая в кабину, сильно трушу. Даже руки потеют. А тут еще непривычный меховой комбинезон — почти кубометр меха, пудовые собачьи унты донельзя сковывают движения. С трудом втискиваюсь на место воздушного стрелка и изо всех сил стараюсь казаться спокойным.

Летчик уже забрался на крыло. Пристегивая парашют, он иронически поглядывает на меня.

— Ни пуха ни пера! — кричит с земли полковой комиссар Лазарев.

— К черту, к черту! — бормочу я, ибо давно уже заметил, что на войне, когда приходится сталкиваться с новой, еще не пережитой опасностью, невольно становишься суеверным.

Комбинезон — как печка. Несмотря на мороз, рубашка начинает прилипать к спине. Застегиваю шлемофон. С непривычки ларингофоны сдавили горло. В наушниках слышится потрескивание включенной рации. Наконец за спиной будто раздался глубокий вздох какого-то огромного существа. Мотор чихнул раз-другой сизым дымом и зарокотал на высоких нотах. За хвостом самолета поползли снежные ручейки.

Теперь напряженные нервы фиксируют все мелочи. Густо взревев, штурмовик словно нехотя выползает из капонира и, неуклюже переваливаясь с крыла на крыло, катится к старту. Из других капониров вырулили еще две машины. Возле опустевшей стоянки остались фигуры командира полка, полкового комиссара Лазарева, механиков и шофера Петровича. Повизгивают тормозные колодки. Самолет резко разворачивается на старте. Торчащий перед глазами вертикально киль, и руль поворота, словно рыбий хвост виляющий из стороны в сторону, и горизонтальный стабилизатор с задранными кверху рулями высоты описывают большую дугу на фоне заснеженного горизонта... Стоп!

Самолет остановился, будто натолкнувшись на препятствие. Спина моя уперлась в бронеспинку кабины. И в это мгновение мотор буквально взвыл до звона в ушах, так что защекотало барабанные перепонки. Казалось, самолет напружинился, готовый сорваться с места, но неведомая сила все еще продолжала удерживать его на земле. И вдруг...

Мое тело неудержимо потянуло к хвосту. Пришлось опереться руками о борт кабины, чтобы не удариться лбом о пулемет. Снежный покров стремительно побежал от меня, сливаясь в гладкое, однообразное покрывало. Два оставшихся на старте штурмовика скрылись за снежными вихрями. А тем временем хвост нашего самолета отделился от земли, приподнялся на метр. Набирая скорость, самолет продолжал фиксировать неровности взлетной полосы, раз, другой — и повисает в воздухе. Еще несколько мгновений — и земля проваливается, падает вниз.

За потрескиванием в наушниках разбираю голос летчика, он осведомляется:

— Ну как, батальонный, жив еще?

Стараясь подделаться под его шутливый тон, докладываю: пока, мол, жив.

— Ну а жив, так гляди в оба, елки-палки. Где там мои орлы? Оба взлетели?

— Да, да. Оба. Один уже приближается к нам, а второй...

А где же второй? Всматриваюсь в заснеженную землю и не могу отыскать второго. Понимаю, что выкрашенный в белый цвет самолет слился с местностью. Наконец на темном фоне леса взгляд выхватил контуры штурмовика.

— Ага! Вот и второй,— докладываю летчику.— Он тоже приближается к нам.

— Спасибо. Они сейчас как приклеенные подстроятся...

Последовал плавный поворот, мотор, казалось, поутих малость. И оба штурмовика, будто вынырнув из-под крыла, почти вплотную пристроились к нашему самолету. За толстыми бронестеклами кабин можно даже разглядеть сосредоточенные лица летчиков.

— Гляди, батальонный,— оглушил меня громкий голос командира звена,— под нами танки!

Шарю взглядом по стремительно несущейся земле. Заснеженные поля, перелески, большак, и по нему движутся крытые брезентом грузовики, но танков не вижу.

Прижав рукой ларингофон к шее, спрашиваю:

— Где же они, танки?

— Эх, елки-палки, смотри на девятку.

— На девятку? Что значит девятка?

— Эх, не объяснили тебе! Слушай внимательно. Представь часы, циферблат. Представь, мы сидим в центре циферблата. Я смотрю на двенадцать, а раз ты ко мне спиной, стало быть, ты смотришь на шесть. Чуешь? Скажу: на четверке «мессершмитты» — значит, по левой руке чуток сзади заходят «мессера». Если они на шестерке — значит, строго на хвосте. Понятно?

— Понятно. Спасибо.

— То-то. А танки теперь на восьмерке. Значит, от тебя между хвостом и крылом.

Усвоив циферблатную премудрость, я сразу вижу колонну танков. Длинная колонна — машин сорок.

— Атакуете?

— Не спеши, это пока наши. А вот минут через пять его будут, а ты гляди, гляди в оба на небо.

Гляжу. На ведомых самолетах воздушные стрелки уже сняли свои пулеметы со стопора. Вспоминая наставления, делаю то же самое. Неожиданно взгляд выхватывает в небе группу самолетов. Летят много выше нас и в том же направлении. Хватаюсь за рукоятки пулемета и поднимаю ствол, но слышу голос летчика:

— Отбой. Свои бомбардировщики.

В эту минуту вокруг самолета справа, слева, выше, ниже вдруг возникают красивые рыхлые шапки дыма. В наушниках насмешливый голос командира:

— Сумасшедшие, куда стреляете? Тут же люди!

Это, конечно, шутка в мой адрес. Но я уже понял, что красивые шапки — это разрывы зенитных снарядов. Начиная противозенитный маневр, летчик швыряет самолет из стороны в сторону. То же делают оба ведомых. Тяжелые машины начинают походить на дельфинов, резвящихся в морской голубизне. Чертовски противное ощущение. А зенитный огонь между тем как бы разом оборвался, и по серым шапкам, расплывающимся за хвостом самолета, угадывается путь, пройденный нашим звеном.

— Ну как, батальонный, завтрак еще при тебе или отдал богу?

— При мне, при мне. Порядок,— докладываю как можно бодрее, хотя за судьбу завтрака, честно говоря, уже не ручаюсь.

— Не на тех напали, елки-палки. В меня если с первого раза не врежут, то потом уж дудки. Под второй залп машину не поставлю,— самодовольно говорит летчик. На минуту его голос пропадает в наушниках и появляется вновь: — Батальонный, внимание, сейчас пойдем в атаку.— И тут же голосом, сразу потерявшим мальчишеские интонации, очень властным голосом приказывает: — Приготовиться к атаке! — И почти сразу: — В атаку!

На какую-то долю секунды меня приподнимает, и я ощущаю невесомость. Хвост самолета запрокинулся к небу, струйки сизого дыма вырвались из-под крыльев. Ведомые пикируют вслед за нами. Я вижу пламя, и, обгоняя самолет, огненным смерчем устремляются к земле черные сигары. Догадываюсь — реактивные снаряды. Потом всем телом ощущаю встряску. Громадная машина вздрагивает всем корпусом. Догадываюсь — заговорили пушки. Так вот что такое атака штурмовиков. Самолет вздрагивает снова в лихорадке пушечных залпов, рой стреляных гильз несется вдоль фюзеляжа куда-то под стабилизатор, и вдали вижу, как медная россыпь валится из-под крыльев двух ведомых. Весь этот фейерверк устремлен в одном направлении. Но и с земли поднимается навстречу целая гирлянда красных мячиков.

— Внимание. Эрликонами, гады, шпарят,— предупреждают наушники.

Эрликоны? Что такое эрликоны? Самолеты снова начинают противозенитный маневр, но я смотрю вниз: на фоне белого снега отчетливо выделяется скопище грузовых машин, тягачей, пушек на конной тяге. Тут и там

серые коробки танков. Вот в самой гуще вражеской техники сверкнули огни, и несколько ярко-красных шариков будто повисли над этим смятенным стадом. Мгновение кажется, что шарики эти именно висят на месте, и вдруг, будто сорвавшись с привязи, несутся вверх и, мелькнув перед кабиною совсем рядом, вонзаются в небо.

Эрликон? Незнакомое это слово теперь мне ясно. Как хорошо, что этот огненный пунктир прошел мимо самолета. В этот момент как бы из брюха следовавших за нами штурмовиков плашмя вывалились бомбы и, словно туши рыб, сверкнув на солнце черными телами, устремились к земле, постепенно переваливаясь на нос. Не отрывая взгляда, слежу за их падением, пока вся очередь не нырнула в толчею автомашин и танков. Взрывы расплескивают огненные брызги. Теперь обостренным зрением с поразительной отчетливостью вижу и пластающиеся по снегу фигурки солдат, и пылающие автомобили, и дымящийся танк, уткнувшийся пушкой в кювет.

Говорю «теперь», потому что, пока я провожал глазами падающие бомбы, пилот уже вывел самолет из пике, и меня снова прижало к сиденью так, что показалось, будто какая-то неимоверная сила навалилась на плечи. Самолет снова взмывал в небо.

— Эй, батальонный, жив?

— Жив.

— Чего же не стрелял?

— Не успел, так прижало, что и пулемет не сдвинул бы.

— Точно. На выводе из пикирования и не пытайся — по своему хвосту ударишь. Вот сейчас на второй заход пойдем, тогда и стегани. Теперь пониже зайду. Понятно?

— Понятно, попробую.

На высоте самолет делает крутой разворот. Из-под крыльев выплывает панорама скопления неприятельских войск. Теперь отчетливо видно, как горят грузовики. А вот лошади в артиллерийских упряжках рвутся из постромок, бегают люди, а некоторые неподвижно лежат на снегу недалеко от дороги. Похоже на муравейник, в который сунули головню.

Два ведомых следуют за нами как привязанные.

— Внимание, батальонный. Вторично выхожу на цель.— И тут же летчикам другим, властным голосом: — Приготовиться... Идем в атаку... Атака!

И вновь хвост самолета трубой запрокинулся в небо, а меня приподняло с сиденья и бросило на пулемет. Корпус самолета трясется, но я уже понимаю — стреляют пушки. Будто с воздушной горки, скользят штурмовики к земле. Секунда, вторая, третья. Земля близка. Несутся прямо на нас автомобили, танки, немцы в зеленых шинелях, но вот тяжесть как бы сваливается с плеч.

— Батальонный, твое слово — огонь!

Чувствуя облегчение, приникаю глазом к прицелу. В перекрестии окуляра скользят разбегающиеся солдаты, вздыбленные кони, автомобили, тягачи.

— По воронам не шпарь, бей по уткам! Огонь! Огонь!

Большими пальцами нажимаю на гашетку. Длинная трасса стеганула наискось по скопищу вражеской техники. Пулемет рвется из рук. Крепче сжимаю рукоятку и вновь нажимаю на гашетку.

— Молодец! Кроши их...— Конец фразы хотя и очень красочен, но воспроизводить его в печати нельзя.

Под нами проскакивает разрушенный мост через небольшую речушку. Самолет делает плавный поворот. Приподнявшееся крыло сразу открывает панораму какого-то селения. Затейливая церквушка на горке, окруженная хороводом заиндевелых деревьев. Это же Есеновичи, догадываюсь я, ибо приходилось бывать здесь в командировках от своей газеты. Ну да, вон она, площадь, здание райкома, райисполкома. Крест колокольни проносится на уровне моей кабины.

— Захожу на колонну. Приготовьтесь, только короткими, не то ствол расплавите,— говорит мне летчик, почему-то переходя на «вы».

Самолет словно бы привспух, поднявшись над местностью. Опять из-под крыла поползла колонна вражеских войск. Техника на большаке, группы солдат цепочками по обочинам, сейчас разбегаются от дороги, вязнут на снежной целине. Черт его знает, откуда появляется ощущение озорного торжества — ага, не нравится вам, господа хорошие, «черная смерть»! Посылаю одну, две очереди, но хвост опять вознесен к небу, штурмовик вздрагивает от пушечных залпов. Как и все однажды перенесенное на войне, это не удивляет и не пугает. Теперь, зная, что будет дальше, заранее беру рукоятки пулемета и с нетерпением жду, когда летчик переведет машину в горизонтальный полет.

— Перехожу на бреющий,— предупреждают наушники.— Огонь! Огонь! Короткими! Ага, как тараканы, забегали! — И я слышу богатырский хохот.

Земля приблизилась до предела, каких-нибудь пятьдесят метров отделяют от этих чужих солдат, пригнувшихся у машин, пластающихся по снегу. Кажется, вот-вот самолет зацепит за какой-нибудь грузовик или за дерево. И право, это не зрительный обман, макушки высоких сосен проносятся в эти мгновения выше крыльев нашего штурмовика.

Перекрестие прицела скользит по самому центру колонны. С силой нажимаю на гашетку. Пулеметная трасса чертит вдоль колонны пунктирную линию. Трассирующие пули впиваются, жалят. Этого я, разумеется, не вижу, но чувствую. Зато глаз отчетливо разглядел, как один из грузовиков окутался огнем.

— Хватит! Пулемет расплавите.— Это насмешливо мне, а потом уже командирским тоном: — Горбатые, сбор, сбор!

Несколько поотставшие ведомые, видно, прибавили скорость и тут же плотно подстроились к нашему самолету.

— Возвращаемся в курятник,— говорит летчик и тут же серьезно добавляет: — С первым боевым вылетом, товарищ батальонный комиссар!

— Спасибо.

Теперь, когда самолеты идут домой, в командирском голосе вновь слышатся озорные нотки:

— Завтрак цел?.. Беру этот треп обратно. Извините, думал, вы так, обтекатель со шпалами в петлице, а вы, оказывается, ничего. Даже на дырку не среагировали.

— Какую дырку?

— А вон смотрите на одиннадцать.

Теперь уже зная циферблатный секрет, повернул голову и заглянул через правое плечо. Почти на самой середине крыла топорщилась рваными зубьями пробитая металлическая обшивка. В пробоину можно было просунуть большой кулак.

— Это когда же?

— Это эрликон первой очередью. Да мы, елки-палки, за эту дырку с ними расквитались. Пять машин и один танк — это у переправы по первому заходу и еще кое-что по мелочи. Разведчики, елки-палки, уточнят.

И опять слышу добродушнейшие, задорные «елки-палки», которые совсем исчезли было из его речи над целью.

Командир полка доволен: штурмовка была удачной. Зовут обедать. Мои друзья поздравляют, расспрашивают, а я думаю лишь о том, как бы поскорее освободиться из мехового кома — комбинезона и унтов, ибо чувствую, что все на мне просто-таки мокро от пота.

После необычного для меня полета, а может быть, после щедрого гвардейского гостеприимства страшно хочется спать. Чтобы взбодриться, начинаю обдумывать корреспонденцию, которую надо сегодня написать. Примериваю заглавия: «Черная смерть», или «Над дорогами немецкого отступления», или «Штурм вражеской колонны». Так ничего и не надумав, задремал под спор Евновича с Лазаревым о значении морального фактора и о том, как способствуют темпам нашего наступления уверенность и бодрость, появившиеся в войсках после сокрушения гитлеровского «Тайфуна».

— Вот увидите, потом историки обязательно будут писать, что заря нашей победы занялась под Москвой,— своим тонким хрипловатым голосом кричит с переднего сиденья полковой комиссар Лазарев.

А Петрович, гоня машину на предельной скорости, возможной на этой не очень гладкой фронтовой дороге, прервав спор о моральном факторе, прозаически произносит:

— Вот куда надо ездить материал собирать — к летчикам-гвардейцам... Повар у них — бог, и машину заправили под завяз, о талонах никто даже не заикнулся... Вежливые люди... И какой бензин! Высокооктановый! Авиационный!

ЛЕЧЕНИЕ ЛИПОВЫМ ЦВЕТОМ

Не знаю уж, как там подсчитали разведчики, но в штаб фронта было доложено, что звено пикировщиков под командованием старшего лейтенанта Ефремова, вылетавшее на штурмовку отступающего противника, подожгло и повредило девять автомашин с пехотой, два танка, и при этом было убито и ранено сорок два вражеских солдата и офицера. Не сорок и не пятьдесят, а именно сорок два. Как они там подсчитывают? Меня всегда смущает

эта точность сводок, и, передавая корреспонденцию об этой штурмовке, я вообще не указываю цифр.

Когда, положив на пюпитр телеграфиста свою корреспонденцию, а заодно и сообщение моего друга, адресованное в Совинформбюро, я вернулся в наше жилье, мои друзья вели стратегический спор. Лазарев умело перенес на свою карту последние данные о расположении войск фронта. Она получилась многозначительной, эта линия, рассказывающая о двух полуокружениях, осуществленных силами 30-й и 31-й армий в районе Тургинова и силами 31-й и 29-й в районе Калинина. А сейчас, когда наступление продолжает развертываться, 29-я и 31-я армии с разных точек устремились в район небольшого старинного приволжского городка Старица. Похоже, что и там готовятся сомкнуться колонны этого движения, что и там назревает нечто вроде, используя немецкую терминологию, «котла».

— Окружение — высшая форма наступления,— академическим тоном говорит Лазарев.— И теперь вот мы ею овладеваем. Вот и разгадка того, что они сейчас откатываются, бросая технику. Видите, как воевать стали!

И действительно, необыкновенно интересно после каждого нашего визита в «оперу» отмечать на карте новые и новые отвоеванные пункты, которые еще недавно с такой болью мы отмечали как потерянные, и синие стрелы вонзались на картах в красную линию фронта, кромсая ее, отодвигая на восток, а в сводках Совинформбюро мелькали названия городов и поселков, оставленных после тяжелых боев.

Вечером мы разгадываем тайну чемоданчика полкового комиссара Лазарева, столь бережно поставленного им под божницу в час приезда. У запасливого московского гостя, знающего характер своих подчиненных, там оказался отличный армянский коньяк из праздничного пайка. Его было достаточно, и мы послали машину за звездовцами. Приехал один Леонид Лось. Его напарник Леонид Высокоостровский оказался в наступающих частях. Пока наши шоферы сооружали нехитрый ужин, на огонек подъехал Зусманович. Сели за стол, налили и провозгласили тост за победу войск Калининского фронта.

— За победу советского оружия! — строго поправил Лазарев.— Не будьте местниками. Великую победу под Москвой добыли три фронта. Западный, ваш и Юго-Западный.

— И за то, чтобы нам больше не знать поражений,— добавил Зусманович.— Задирать нос рано. Они уже оправились от удара. Тащат подкрепления из Западной Европы. Еще будут нелегкие дни.— Он взял карту и показал: — Вот здесь, под Ржевом и у Великих Лук, обозначились новые свежие части. На Нелидовском направлении появились даже части испанской Голубой дивизии, «Голубая дивизия в тверских сугробах»!.. Каков заголовок для корреспонденции!.. Продаю.

— А пленные? Что говорят ваши подопечные?

— Их уже и не так много, пленных, в последние дни. Убитых больше. А новые, что подходят из Западной Европы, у них психология летних фрицев: «Дранг нах остен» — и все тут. Третьего дня я говорил с лейтенантом-танкистом. Какой-то аристократишка, «фон», из прусской офицерской семьи. Прибыл из Норвегии. О разгроме под Москвой слышал, конечно, но не очень над ним задумывался. Держится нахально. Поражение объясняет морозами и тем, что интенданты, ориентировавшиеся на блицкриг, не заготовили зимнего обмундирования. Словом, «генерал Мороз»... Это очень употребительное у них, у свеженьких,— «генерал Мороз». Из Голубой дивизии тоже есть несколько пленных. Эти совсем растерянные, бормочут невесть что и действительно обморожены изрядно. Рассказывают, что обмороженных у них сотни... Кстати, братья писатели, любопытнейшее явление: в наших диверсионных группах действуют испанские республиканцы. Добровольцы. Отличные ребята, храбрецы. Прекрасно действуют. Особенно отличаются астурийские горняки на подрыве мостов и железных дорог. И вот их мороз не берет. Видите, что значит идея... Ну а как заголовок «Голубая дивизия в тверских сугробах», покупается?

Между Евновичем и гостями завязывается спор о современном этапе войны. Полковой комиссар Лазарев — кадровый военный, человек с академическим военным образованием, Зусманович — опытный коминтерновец, но и мой глубоко штатский друг из Совинформбюро тоже вдруг обнаруживает недюжинные познания в военном деле.

Пока они спорят над картой наступления, мы с Лосем толкуем о делах профессиональных. Я помню его довоенные впечатляющие очерки о новаторских починах, о людях рабочего класса, серьезные, глубокие очерки с проникновением в душу героев, в рабочую психологию. Я и

сам до войны любил те же темы и, честно говоря, всегда завидовал Лосю. А вот на фронте он как-то еще не нашел себя. Огорчает своего редактора Вадимова, который по неистовству своего характера не терпит, когда кто-нибудь из корреспондентов других газет «вставляет фитиль» его работникам.

За то, что статья Конева появилась в «Правде», а не в «Красной звезде», бедному Лосю был учинен разнос.

— А теперь этот ваш вылет на штурмовку... Наверное, опять будут взрываться петарды...

Человек простодушный, деликатный по натуре, он откровенно жалуется на свои беды, так сказать, представителям «конкурирующей державы» и делится мечтой, что, заранее узнав об освобождении какого-нибудь особенно важного пункта или об интересном происшествии, добудет самолет, слетает туда, даст развернутый очерк и, по журналистскому выражению, «всех обштопает».

— Ну и что ж, намерение доброе, искренне желаем успеха. Коньяк еще есть, давайте за это и выпьем.

— За что? За что? — спрашивает Лазарев, отвлекаясь от обсуждения вопросов нашей и немецкой стратегии.

— За то, чтобы звездовцы на нашем фронте обштопали «Правду».

— Гм... Ну что ж, если один раз — можно.— Полковой комиссар произносит это совершенно серьезно и, чокнувшись, продолжает спор.

А коньяк уже действует... Как-то сама собой возникает песня. Евнович запевает приятным тенором, Зусманович ведет вторую партию, мой и лазаревский шоферы оказываются хорошими подголосками. Мы с Лосем, не обладающие слухом, чтобы не испортить песню, только открываем рты.

Потом, развеселившись, Лось берет освободившуюся от картошки кастрюльку и, пристукивая по ней деревянными ложками, усилив свой, вообще-то едва заметный, кавказский акцент, сдавленным голосом тбилисского кинто поет:

На Кавказе есть гора
Очень большая,
Под горой течет Кура,
Быстрая такая.
Если на гору залезть,
Сверху вниз бросаться,
Очень много шансов есть
С жизнию расстаться.

Грохот в оконницу обрывает песню.

— Воздух! — доносится сквозь раму грубый голос.

Бросаемся гасить трофейные стеариновые плошки. Окна зашторены. Вряд ли снаружи что видно. Но третьего дня немецкий ночной бомбардировщик, вероятно случайно, опростал свои кассеты над нашей деревенькой, разнес три крайних избы, и, хотя, по счастливой случайности, никто не пострадал, комендант штаба ввел такие суровости, что и лесного светлячка заставили бы погасить свой фонарик.

Так в темноте и расстаемся, и Зусманович увозит Лося на своей машине, как говорится, на ощупь, не включая фар. Мы же при свете хозяйской лампадки, красный огонек которой высвечивает худосочные лики святых, стелемся и укладываемся спать. Мы с Лазаревым и шоферами — на полу, на тюфяках, набитых душистой колючей соломой. Евновича, которого уже не первый день мучит простуда, хозяйка, напоив взваром из липового цвета, укладывает на теплую печку, где у нее на просушку рассыпано зерно.

— В пшеничку заройтесь и пропотейте. Это при простудах куда как пользительно.

Знала бы добрая старуха, на что она обрекла нашего коллегу! Посреди ночи мы просыпаемся от какого-то грохота. Инстинктивно хватаем одежду... Обстрел? Бомбежка?.. В темноте слышим приглушенный стон, возню, дрожащий голос хозяйки:

— Свят-свят-свят!

Первым, как всегда, у нас от неожиданности оправляется Петрович. Его фонарик высвечивает в темноте район катастрофы. Оказывается, наш дорогой совинформбюрист, непривычный к крестьянскому ложу, свалился с печки, упал на стоящую под ней деревянную хозяйскую кровать и вместе с ее обломками оказался на полу. Так закончилось для него лечение липовым цветом. В общем-то, все это не страшно. Но боюсь, что на несколько дней Совинформбюро лишилось своего корреспондента, весьма серьезно повредившего ногу. Впрочем, оно не должно этого почувствовать. Корреспондентский корпус у нас на редкость дружный, «взаимная выручка в бою» стала традицией. Совинформбюро без новостей не останется и даже, вероятно, и не узнает о трагическом происшествии с его работником на Калининском фронте.

М. И. КАЛИНИН НА КАЛИНИНСКОМ ФРОНТЕ, В ГОРОДЕ КАЛИНИНЕ

На дворе лютые январские морозы. От «генерала Мороза» достается и нам. По утрам вся дверь в избе индевеет. Чтобы согреться, мы, проснувшись, занимаемся гимнастикой.

Наступление на нашем фронте продолжается. Несмотря на то, что немецкие контратаки становятся все яростнее, уже освобождены Емельяновский, Тургиновский, Высоковский, Луковниковский районы. Как и предусматривали наши доморощенные стратеги, анализируя карту наступления, параллельное движение на запад 31-й и 29-й армий зажало в клещи старинный русский городок Старицу, жители которого когда-то сыграли немалую роль в сопротивлении татарскому нашествию. Как доносили партизаны и докладывали разведчики, отступая, немцы хотели создать в Старице крупный узел сопротивления, спешно возводили на крутом берегу Волги серьезные укрепления, согнав для этого жителей Старицкого и соседнего Луковниковского районов. Построили на гребне крутобережья дзоты, преградили дороги эскарпами, продолбили в мерзлой, крепкой как камень земле ходы сообщения. Все добротное, прочное, рассчитанное на жесткую оборону. И все это вынуждены были бросить, и именно потому, что были взяты в клещи.

Да, мы сейчас начинаем воевать по всем правилам передовой военной науки, бьем неприятеля тем самым оружием, которое он недавно успешно применял против нас. Мне хотелось побывать в Старице, тем более что во времена оны там заправлял комсомолом мой друг Андрей Гвоздев. Чудесный парень, журналист, поэт, знаток и любитель русской старины, которой в этом древнем городке отмечена каждая улица. Он привил мне интерес к своему городу. Я совсем было уже собрался в путь, но сегодня на узле связи мне передали телеграмму Лазарева: «На ваш фронт выезжает Михаил Иванович Калинин. Обеспечьте оперативное освещение пребывания. Попытайтесь взять беседу».

Михаил Иванович Калинин? Это новость! Мы, тверяки, любим чудесного нашего земляка. И не только как «всесоюзного старосту», но и как человека, в котором как бы сфокусировались лучшие качества большевика. Он сам из крестьян небольшого села Верхняя Троица, что

совсем недалеко от Кашина, того самого Кашина, который недавно исполнял обязанности временной столицы области. В селе этом имеется старый, дореволюционной постройки, крестьянский дом, точнее — пятистенная изба с мезонинчиком. Там живет и ведет хозяйство пожилая сестра Михаила Ивановича, крестьянка, а он, президент страны, богатой самыми различными курортами, предпочитает отпуск свой проводить в родном краю, за крестьянской работой: пахать, косить, отбивать косы, копаться на огороде или ловить рыбу в неторопливой, неширокой, но полноводной реке Медведице. Портреты Михаила Ивановича висят во всех колхозных избах. У большинства Иванов в деревне сыновья зовутся Михаилами. Биография народного любимца широко известна. Многие из моих земляков встречали Калинина, беседовали с ним, бывали у него на приемах, слушали выступления и могут дополнить его и без того богатую биографию какой-то новой черточкой из своих собственных наблюдений.

И меня, тверского журналиста, профессия не раз сталкивала с удивительным этим человеком. И вот, двигаясь теперь по фронтовой дороге в город, вспоминаю, как в начале колхозного строительства газета наша получила от кашинского собкора сообщение, что Михаил Иванович, отдыхая после болезни, одним из первых записался в колхоз, что на него заведена трудовая книжка и что он уже отработал первые трудодни. Наш неутомимейший на разные выдумки редактор срочно снарядил фотографа и меня на самолете с заданием приземлиться где-нибудь на поле около Верхней Троицы, повидать Михаила Ивановича, выяснить подробности, взять беседу, сфотографировать трудовую книжку, бухгалтерский фолиант, куда вписаны трудовые дни нашего Калинина. Немедленно! Вылетайте немедленно! Из Москвы наверняка уже выехали туда корреспонденты. Опередить! Забрать материал, привезти в завтрашний номер!

Прилетели. С грехом пополам сели на пойменном лугу. От первых же встречных узнали: ну как же, как же, здесь наш Калиныч! В Тятькове живет, а сегодня дома был. С утра покосил, ну а теперь вроде бы на Медведицу пошел, рыбу там ловит. Двинулись прямо на реку. Берега были пусты, только двое пожилых дядек, сидя в приткнутой к берегу лодке, смотрели на неторопливое течение. Не увидев нигде Михаила Ивановича, мы

подбежали к ним и спросили, не знают ли они, где он. Тот, кто был помоложе, неприязненно, даже подозрительно посмотрел на нас:

— А кто вы такие будете?

Второй же, что был постарше, с седоватой стриженой головой, с широким носом, посмотрел на нас веселыми глазами и спросил:

— А на что он вам?.. Может, я за него пригожусь? — И тихо, но очень весело рассмеялся.

В самом деле, это был он, Калинин, остриженный, без бороды и усов. Посмеиваясь, он тут же, в лодке побеседовал с нами, а потом пригласил нас с летчиком в свой дом попить чайку. Босой, в косоворотке без пояса, возвращался он домой. Посмотрел на наш самолет-стрекозу, на следы, оставленные им на лугу, покачал головой и сказал с укоризной:

— Такая уж у вас спешка?.. Луг-то зачем было мять?..

За нами шел тот, помоложе, человек, неся в руках увесистую насадку с рыбой. У околицы Михаил Иванович отобрал насадку и понес сам.

— Это чтобы знали, что не зря я на реке-то торчал... Тут ведь народ зубастый... засмеют.

Рыбу он сдал сестре, распорядился, что в уху, а что на жарку. Поднялись в прохладный мезонин, где стоял массивный стол с чисто выскобленной столешницей. Вскоре на нем появились самовар, сахарница, щипцы, а в корзиночке груда сушек. Потом сестра принесла большую сковороду, в которой шкварчали и брызгались салом толстые ломти чайной колбасы. Появился графинчик мутного стекла и очень красивые стопочки, на каждой из которых была дарственная надпись: «Михаилу Ивановичу от рабочих завода «Красный Май».

Словом, мы отлично поели и почаевничали в этой патриархальной обстановке, сделали снимки с колхозных документов, где, между прочим, значилось в графе «Профессия»: «Крестьянин-середняк села Верхняя Троица. Рабочий-токарь»; а в графе «Род занятий в настоящее время»: «Председатель ЦИК СССР». В графе «Выборные должности»: «Депутат Верхнетроицкого сельсовета, Московского городского Совета, член ЦИК СССР». В графе «Какие профессии известны»: сельское хозяйство, слесарное, а также токарное дело. Анкета была заполнена его рукой всерьез, по всем правилам.

Мы улетели полные уважения к этому пожилому, умному, добросердечному, очень простому человеку. Немного опечален был фоторепортер: Михаил Иванович наотрез отказался сниматься.

— Я, как пушкинский Черномор, без бороды существовать не имею права. Без бороды Калинин не Калиныч.— И утешил фоторепортера: — Вот растительность восстановлю, прошу ко мне в Москву — снимайте на здоровье... Не забуду, не забуду, не беспокойтесь... У меня должность такая, ничего забывать мне нельзя.

Через несколько лет, сопровождая делегацию калининцев — зачинателей движения за сдачу норм на значок «За овладение техникой», я имел случай в этом убедиться. Делегацию возглавляла знаменитая Анна Степановна Калыгина, в те дни секретарь Калининского горкома партии. Встретил нас Михаил Иванович радушно. В кабинете тотчас же был накрыт стол с самоваром, с пузатым чайником, с баранками, с вазочками, в которых лежали сахар и щипцы.

Беседа завязалась необыкновенно сердечная. Расспрашивал о новаторских починах, интересовался работой яслей, детских садов, заработком: хватает ли на жизнь, что есть и чего нет в лавках, за что землячки бранят Советскую власть? На столике, за которым я сидел, стояла небольшая металлическая скульптура — токарный станочек, а за ним рабочий с широким носом, в очках, с усами и бородкой. Судя по серебряной дощечке, подарок того самого ленинградского завода, где Михаил Иванович работал токарем.

По скверной своей привычке я взял скульптурку в руки, стал рассматривать, поворачивать, и вдруг, к ужасу моему, голова отвалилась и упала на стол. Похолодев от страха, я поставил фигурку на место. Слава богу, все заняты беседой, и происшествия этого, кажется, никто не видел. Сделав вид, что тоже увлечен разговором, я попробовал приставить голову к туловищу. Минутку она подержалась, но малейшее движение стола — и она, на этот раз уже со стуком, покатилась на пол. Я обмер, ощутив на себе свирепый взгляд нашей предводительницы.

И тут послышался негромкий смех Михаила Ивановича:

— Ведь вот какой землячок нынче пошел! Только зазевайся — он хозяину и голову оторвет.— И тут же успокоил: — Ничего, ничего, голова эта давно отваливается.

все никак не соберусь отправить в ремонт. Положите мою голову на стол, и продолжим беседу.— И опять усмехнулся: - А вот ваш журналист однажды меня не узнал, стал меня расспрашивать, где ему найти Михаила Ивановича.— И снова послышался его негромкий, дробный и очень веселый смешок...

На войне всегда с особым удовольствием вспоминаешь всякие случаи из мирной жизни. Вот и теперь, пока машина, обгоняя воинские части, катила к городу, я рассказывал друзьям об этих смешных происшествиях.

Повезло. Секретарь обкома, он же член Военного совета нашего фронта, И. П. Бойцов выезжал навстречу гостю. Мы присоединились к нему, и целый день я наблюдал, как Михаил Иванович, опираясь на палку, преодолевая одышку, семенящей походкой ходил по цехам фабрик и заводов, посетил детские ясли, зашел в театр на репетицию, побывал в воинских частях. И всюду с живым интересом разговаривал с рабочими, с бойцами, с командирами, внимательно слушал жалобы пожилой учительницы на то, что школу не топят и ребята сидят в одежде. Это в нашем-то лесном краю!.. А старую ткачиху в стеганке, в ватных штанах, работающую теперь за станком в сохранившемся чудом 13-м зале фабрики и попытавшуюся было поклониться до земли, обнял и, по старому обычаю, трижды расцеловал.

И конечно же, среди земляков у него оказались знакомые. Он их помнил, узнавал в лицо.

— Вот этот товарищ мне однажды голову оторвал,— сказал он Бойцову, хитро посверкивая очками в мою сторону.— Как это вышло?.. А это уж он сам вам на досуге расскажет.

Потом он участвовал в работе калининского партийного актива. Задумчиво слушал выступления. Парадную словесность в речах иных ораторов, какой у нас, увы, бывает немало, всяческие славословия, клятвы и здравицы он слушал с нескрываемой скукой, смотрел на часы, всякий раз извлекая их из жилетного кармана, протирал очки и даже морщился в особо пафосных местах. Зато, когда приводились примеры стойкости тыла, рассказывалось о партизанских делах, о сегодняшних подвигах на восстановлении города, лицо его оживлялось, глаза за очками загорались, рука начинала довольно поглаживать бородку. Заявление слесаря с «Пролетарки», сказавшего,

что через месяц они дадут бязь для солдатских подштанников, вызвало его аплодисменты.

Я заранее поспорил со своими коллегами, что он ни разу не произнесет ни в разговоре, ни в речи наименований: Калинин, Калининская область, Калининский фронт. Город он называл Тверью, земляков тверяками и говорил «ваша область», «ваш фронт».

Но с беседой у меня получился, как говорят журналисты, прокол. Отказался дать беседу наотрез: экое дело, Калинин приехал к землякам! Светская хроника, кому она нужна?

— Вы бы лучше вот о них обо всех,— он повел рукой в сторону зала,— написали. Вон как, можно сказать, прямо по-гвардейски работают. Голодные, холодные, при голодных ребятишках. Вот о чем писать сегодня надо! Вы ведь, кажется, с «Пролетарки»? О «Пролетарке» напишите, как она в оккупации себя показала. Настоящая пролетарская цитадель!

А потом, уже прощаясь, снова напомнил:

— ...Напишите, напишите о всех этих ткачихах и прядильщицах. На видном месте напечатают. Редактор-то ваш Петр Поспелов тоже, как говаривалось встарь, наш, тверской козел... Землячку порадеет, поместит.

— Вот вам задание президента,— пошутил Бойцов,— и обком вполне поддерживает.

В ПРОЛЕТАРСКОЙ ЦИТАДЕЛИ

Что ж, задание отличное! Тут же, на партактиве, отыскал своего старого комсомольского дружка Федю Сладкова, одного из славной династии текстильщиков Сладковых, весьма известной на «Пролетарке». Отыскать его было нетрудно. Когда-то в шутку его звали самым длинным комсомольцем города Твери. И в самом деле, крупная его голова всегда возвышалась над толпой, будто ее несли на шесте.

Обнялись, облобызались.

— Федя, ты теперь кто?

— Начальник строительного отдела «Пролетарки».

— Вот ты-то мне и нужен.

Я отправил Петровича домой, в штаб фронта, вручив ему свою информацию для передачи на телеграф, а друг мой на какой-то странной машине, которую сам в шутку

называл автомобилем десяти лучших марок, повез меня в родные края. Было уже поздно. Однобокая луна, похожая на мающегося зубной болью человека с раздутой щекой, обливала все холодным светом, и в ее мертвенном сиянии с грубой четкостью вырисовывались зияющие раны города. Целый район улочек с деревянными домиками, так называемая Красная слободка, площадь, носящая имя Калинина, но всегда именовавшаяся здесь по-старому Птюшкиным болотом,— все это представляло собой поле. Да и самого двора гигантского комбината не было. Заборы растащили на топливо, фабрики и уцелевшие дома сливались с пепелищами слободки.

— Ведь все сожгли проклятые гитлеровцы,— рассказывал Сладков.— Когда вы там Волгу форсировали, на улицах появились их солдаты. Опрыснет бензином дом, гранату бросит — и к следующему. Все кругом пылало. Зачем? Почему?.. Чем им помешали эти домишки?

Действительно, на большом пространстве, почти до самой Волги, виднелись ряды закопченных печей да кое-где сохранились заборы, калитки, ворота, которые ничего не огораживали и никуда не вели.

— Ну а с рабочими общежитиями как дела?

— С казармами-то?.. Из них несколько дней покойников и больных выносили. Иные помирали от голода и холода, а на заработки к немцам не шли. Ни кнутом, ни пряником не заставил их немец на себя работать. Знаешь же наших текстильщиков? Кремень!

Да, я их знал, вырос среди них. Семья Сладковых — одна из коренных здесь, ведет свой род чуть ли не со дня строительства первых фабрик комбината. Три сына — три гиганта, три красавца. Когда-то, в мальчишеские времена, три первых кулачных бойца. По обычаю на рождество на льду реки Тьмаки морозовские ходили стенкой на стенку на берговских и ребят «для затравки» выпускали вперед. Потом — три комсомольца, три активиста молодежного Ленинского клуба. Потом — три студента, а перед войной — три коммуниста, занимавших в городе ответственные посты. Федя, кажется, среди них средний. И, став строителем, он не изменил родной «Пролетарке», возглавил ее строительный отдел, а теперь вот, оказывается, руководит восстановлением.

Ночевать иду, конечно, к нему. Благо это недалеко от не существующих теперь Красных ворот, возле которых я на завтра назначил свидание Петровичу. Усаживаемся,

и под шипение холостяцкого примуса я слышу повесть о том, как в эти лютые морозы начинают подниматься из сугробов фабрики сожженного комбината. Водолазы уже отыскали в речке части разобранных электромашин, тайну которых механик так и не сообщил врагам. Один из приделов прядильной уцелел. По странной случайности на ткацком остался цел зал автоматов. Сейчас осуществляется невероятный, просто-таки фантастический проект: над взорванной котельной сооружается огромный шатер, под ним будут топиться котлы, давая фабрике пар, тепло и энергию. Бригады старых механиков и подмастерьев, которые вернулись к труду с пенсии, лазят по пожарищам, выискивают более или менее уцелевшие станки, разбирают их по частям и снова собирают. Иногда из двух-трех собирают один. Уже десятки машин таким образом собраны. Поскольку цехи отделочной, так называемой «ситцевой», фабрики уцелели, из клочков хотят составить полный производственный цикл. Как говорил сегодня, выступая на активе, слесарь, к 1 Мая, а то и раньше комбинат начнет выпускать бязь для солдатского белья.

— При немцах все было мертво. А сейчас, видишь, скоро хоть малое, да пустим. Чуешь? — говорит мой друг.

— Чую, Федя, чую! Не хуже тебя знаю свою «Пролетарку» и не меньше тебя ее люблю. Только как же им сейчас тяжело, женщинам! Все на их плечах. Несут и не ропщут. Вспомнилось, как сегодня старушка Михаилу Ивановичу кланялась. Вспомнилось, и в горле защекотало.

— Ты бы в механическом цехе побывал, кто там работает — мальчишки, росту им до станка не хватает. Ящики сколотили, под ноги им поставили... А ведь не хуже взрослых работают.

— А проблемы?

— Всякие есть проблемы. Ну хоть бы конфликт между теми, кто уходил, и теми, кто оставался. Еще какая проблема-то! Всем теперь известно, как они без нас жили, как героически держались. Однако ж дома были, барахлишко у них сохранилось, а те, кто уходил, все потеряли. В пустое жилье пришли. Ну вот и антагонизм. Парторганизации разъясняют. Однако же ссоры, даже до драк дело доходит. Люди ж... Ну утрясем помаленьку и это.

И тут неожиданно я узнаю историю Веры, той самой маленькой и отважной разведчицы-полунемки, которую мы засылали в занятый врагом город. Она тогда пропала на обратном пути. Но, оказывается, было не совсем так, как об этом рассказывала Тамара. При переходе линии фронта их действительно обстреляли. Веру ранили. Тамара, испугавшись, бросила раненую подругу и убежала одна. Немецкий патруль нашел Веру. Она заговорила с солдатами на их родном языке, рассказала жалостную историю, что тетка умирает с голоду, что она пошла в деревню обменять платьишки на картошку — и вот подстрелили. Солдаты посочувствовали ей, вызвали санитара. Тот в люльке своего мотоцикла отвез ее к тетке, сделал перевязку, стал навещать. Парнем этот санитар, по-видимому, оказался неплохим. Она открылась ему, уговорила перейти к нашим, и он как будто даже и перешел к нам, во всяком случае обещал перейти. А вот теперь все «спальни» гудят от ненависти: «Немецкая овчарка!» Никакие резоны не действуют.

Рассуждают так: ходил к ней немец? Ходил. Гостинцы носил? Носил. Любовь с ним крутила? Крутила. Все видели. И тетке бедной, которая, говорят, подпольщикам помогала, проходу нет: «Подложила под немца племянницу?» Подложила... Тут и отца Вериного вспомнили, что он немец. И хотя этот немец-красковар был довольно известным в фабричном районе коммунистом, погибшим в гражданскую войну, и числился в героях фабрики, все равно, говорят, немецкая кровь.

И еще конфликт, о котором мне когда-то, еще в Кашине, говорил профессор Успенский: Лидия Тихомирова, молодой хирург, оставшаяся с ранеными в госпитале, который не успели эвакуировать. Хотя всех раненых она выходила и сохранила, окрестили ее изменницей, предательницей, и сейчас вот, пожалуйста,— сидит. Следствие по ее делу ведется.

— Это жена Сереги Никифорова... Мы с тобой их обоих как облупленных знаем. Раненые за нее горой. Тут намедни в обкоме страшный шум устроили — костылями трясли. И мы, старые комсомольцы, за нее слово сказали. Ну что поделаешь? Следствие идет... Сложно, брат, это, сложно... Однако руку отдам на отсечение, если Лидку с Серегой не оправдают и не выпустят... Ты бы там подсказал кому из военных, этому Борьке Николаеву,

что ли... Он ведь знает и что тут делалось, и кто чего стоит...

— Ну а настоящие предатели были?

— Да, были,— вздыхает Федя. Человек он добрый, на жизнь смотрит светлыми глазами, и вижу, что тяжко говорить ему о человеческой подлости. И он рассказывает о бургомистре Ясинском, и о режиссере Виноградове, и о ротмистре Бибикове, о которых я уже слышал...

Харчи у заведующего строительством огромного комбината весьма тощие. Он делит пополам пайку мохнатого от остей хлеба и кусочек масла. Вскрываем банку консервов, которую на прощание Петрович успел сунуть мне в карман полушубка. Кое-как заморив червячка, не раздеваясь, ложимся спать. Но сон не идет. Все рассказанное оживает, люди из рассказов обретают облик. Невольно как-то начинаешь представлять себя на их месте, а за окном в голубоватом лунном свете вырисовываются контуры фабрик, неузнаваемо изуродованных. Там простирается на десятках гектаров одна из старейших и крупнейших пролетарских цитаделей страны. Цитадель, выдержавшая чудовищную осаду, не покорившаяся врагу и сейчас вот начинающая оживать, приходить в себя.

А рядом, по-богатырски развалившись на кровати, во всю мощь недюжинных своих легких храпит один из славных сынов «Пролетарки», мой старый комсомольский товарищ Федор Сладков.

ЧТО ЕСТЬ ЗОЛОТО?

Остатки сокрушенных под Москвой гитлеровских войск продолжают откатываться на запад. Сегодня, зайдя в оперативный отдел, мы видели общую картину наступления трех фронтов. Наш дальше всех отогнал противника в западном направлении. От врага очищено Верхневолжье, взято село Селижарово, освобождены Кировский, Ленинский, Сережинский, Плоскошский, Нелидовский районы. Освобождены город Торопец и районный центр Пено. При освобождении этих пунктов весьма существенную помощь Красной Армии оказали тверские партизаны.

Только сейчас, в ходе наступления, выясняются истинные масштабы партизанской деятельности. Большие территории находились в партизанских руках. На-

пример, районный поселок Кунью да и весь Куньинский район партизаны освободили за пятнадцать дней до прихода Красной Армии. И когда авангарды подошли к поселку, там на домах развевались уже красные флаги. Работали райком партии, райисполком, действовали почта, телеграф, телефон. В кинотеатре крутили даже какие-то старые фильмы.

Как было бы интересно побывать в этих тверских партизанских краях, пожить у отважных лесных воинов, среди которых, наверное, есть знакомые... Но части фронта продолжают наступать, нужно передавать информацию, и редакция не разрешила мне вылет за линию фронта. Вот и приходится довольствоваться сведениями, полученными из третьих рук.

От майора Николаева, державшего связь с тверским подпольем и партизанами, узнал интересные новости. Пришел рассказать ему о невеселой судьбе разведчицы Веры и посоветоваться, чем помочь девушке. Да, все, что рассказал Федя, правда. Об этом, оказывается, знал и мой собеседник. Действительно так все и было, и действительно этот санитар перешел фронт, сдался в плен и будет, вероятно, работать в отделе у Зусмановича. И все, что рассказывает Вера, подтвердилось. И райком принял меры для ее реабилитации в глазах горожан. Попытались даже выдвинуть ее на комсомольскую работу. Но слухи, что с ними поделаешь, на чужой роток не накинешь платок! Обещал доложить начальству. Посоветуются, что-то предпримут. Потом рассказал печальную весть.

В лесном поселке Пено погибла юная партизанка Елизавета Ивановна Чайкина, оставшаяся для подпольной работы.

Я знал Лизу и даже видел ее за несколько дней до того, как оккупанты ворвались в этот лесной край. Она была там на комсомольской работе. Ее и оставили секретарем подпольного райкома комсомола. Из молодежи она организовала партизанский отряд, но сама она была в своем районе слишком известна, а по характеру слишком прямолинейна, чтобы стать настоящей подпольщицей-конспиратором. Собственно, эти черты ее знали и не хотели ее оставлять. Она настояла. Работала активно. Боевую партизанскую деятельность совмещала с неутомимой агитационной. Накануне Октябрьских праздников она, не маскируясь, ходила из деревни в деревню и проводила беседы о двадцать четвертой годовщине Октября.

Провела четырнадцать или пятнадцать таких бесед. Не знала отдыха, не знала, что такое осторожность. После этого похода по окрестным селам местный полицай выдал ее полевым жандармам, когда она остановилась на ночлег на одиноком хуторе. Ее схватили, пытали. Лиза погибла, не выдав ни одной фамилии. Когда ее привели на расстрел, поставили у стенки сарая, она плюнула в лицо палачу, подошедшему завязать ей глаза, и запела «Интернационал»...

Лиза Чайкина! Она так и стоит у меня перед глазами такой, какой я видел ее в последний раз. Самолет при бомбежке поселка поджег школу в Пено. Она руководила комсомольцами, тушившими пожар. Лицо ее было потно, возбужденно, мокрые, коротко остриженные волосы спадали на лоб. Она резким движением головы отбрасывала их назад. Такой она и осталась в памяти: коренастая, широколицая, с грубоватыми, мужскими чертами лица.

Тело ее бросили на площади для устрашения, но его унесли партизаны и похоронили с воинскими почестями.

— Памятники таким надо ставить,— сказал майор Николаев, и в голосе этого много видавшего, много пережившего на войне человека послышалось волнение *.

— Как добраться до Пено и сколько это отнимет времени?

— На автомашине трудно, там сейчас такие снега. Наступают лишь лыжники и пехота. Тебе их не догнать.

— А на самолете?

— Ты не смотрел сегодня на градусник?.. Около сорока. Поднимаются, конечно, но только при крайней боевой надобности. Вряд ли командир эскадрильи рискнет машиной для корреспондента.

Видя, что я не на шутку опечален сообщенной мне вестью, старый друг сказал:

— Ладно, не грусти, я тебе сейчас расскажу такое, чего ваш брат корреспондент и не слыхивал.

И рассказал действительно поразительную вещь.

Вчера, наступая, боевое охранение батальона лыжников на склоне глубокого лесного оврага натолкнулось на трех партизан: парня, оказавшегося железнодорожником,

---

* После войны в поселке Пено был поставлен памятник Елизавете Ивановне Чайкиной, а в городе Калинине молодежь построила Музей комсомольской славы, присвоив этому музею ее имя.

девушку лет восемнадцати, машинистку по профессии, и подростка — ученика школы ФЗО. Они были без сознания, почти занесенные снегом. Их бы и не заметили, если бы не услышали автоматную очередь. Думая, что это вражеская засада, лыжники со всеми предосторожностями спустились в овраг и увидели полузамерзшую троицу. Рядом с девушкой лежал немецкий «шмайсер». Оказывается, она стреляла в волков, вокруг на снегу было много волчьих следов. Первое, что спросила девушка, когда ее привели в сознание: где здесь ближайшее отделение Государственного банка?

Оказалось, что она и ее спутники уже несколько месяцев от самой границы несут по немецким тылам целые сокровища из хранилищ Рижского госбанка. Собственно, несла она, Мария Медведева. Сначала со старым кассиром, принявшим эти ценности. Но он умер в дороге. Потом ей помогала какая-то колхозница из Пушкиногорского района, а затем вот эти два парня из партизанского отряда железнодорожников.

Как попали ценности в отделение уже эвакуированного банка, майор еще не знает. Но факт есть факт. Майор прикидывал их далеко не прямой путь по карте — вышло что-то около пятисот километров. И шли они не по дорогам, а по лесам и болотам... Поразительная история! Узнать бы подробности. Евновичу хорошо, он тут же написал краткое сообщение для Совинформбюро, ну а мне сообщения мало. А как об этом можно бы было написать! Ведь подумать только: поминутно рискуя жизнью, несут принадлежащие государству ценности. Один погибает, на его место встает другой, а главное — ведь донесли и сдали законной власти.

Сколько, начиная с античных времен, написано в мировой литературе о роковой роли золота! Брат убивал брата; дети отравляли родителей; молодые женщины продавались старикам; нежные, совестливые юноши становились прохвостами и убийцами; друг доносил на друга. Убийства, измены, подлые сделки с совестью и кровь, кровь... И вот какие-то обычные люди получают сказочную возможность обогатиться. Ведь они на земле, где хозяйничают фашисты, где парализованы советские законы... В этом мире золото мерило всего — и совести, и чести, и доблести. Девушки-переводчицы рассказывают, что, разыскивая в карманах убитых гитлеровцев документы и письма, они иногда находят там кольца, серьги,

броши, золотые и серебряные крестики, зубные протезы и коронки или иные ценности, происхождение которых совершенно ясно.

И вот среди людей того мира движутся на восток несколько советских, чтобы вернуть своей стране, своему народу то, что ему принадлежит. Прав майор Николаев, прав: о таком, наверное, еще ни одному корреспонденту писать не приходилось...

Еду в штаб связной эскадрильи. Самолеты еле видно — так они заметены снегом в своих капонирах. Аэродромная прислуга и десятка три закутанных в шали женщин лопатами расчищают взлетную дорожку. Командир бесшумно мечется по избе, мягко ступая в своих мохнатых унтах. На носу у него темная лепешка: он его на днях отморозил и, нервничая, все время колупает болячку. Мы с ним друзья.

— Тебе самолет? Да? А это ты видел? — И, сняв рукавицу, он показывает изрядного размера кукиш. У него в петлице шпала, у меня — две. Видимо, вспомнив об этом, плаксивым голосом, который так не идет к его массивной фигуре, говорит: — Я связника, который по приказу начальника штаба должен летать к Юшкевичу, никак не могу выпустить. Вон расчищают полосу... А ему дай самолет!

Я хорошо знаю характер этого человека. Пилоты так и зовут его — «Горячка», «Наш Горячка». Расстреляв обойму своего гнева, он успокаивается, становится рассудительным и дружелюбным. Устало опускается на лавку. Сажусь рядом с ним и рассказываю ему о гибели Чайкиной и об этих троих, что вынесли золото. Слушает, просит показать на карте и поселок Пено, и место, где найдены, как он выражается, «твои золотари».

— Да мы туда еще и не летали... Неизвестная нам еще трасса... Вот проложим, тогда, может быть...— Подчеркивает: — Может быть.

— Ну а если я принесу распоряжение от начальника штаба?

— Распоряжение кому? Деду-морозу? Чтобы он скинул хоть градусов двадцать? — И опять взрывается: — Ты, батальонный, на градусник смотри! — И сердито: — Эх вы, писатели!

Чувствую, что, в общем-то, он прав, конечно, и что не может он в такой мороз без крайней надобности рисковать жизнью пилота и машиной. Ни с чем возвращаюсь

на узел связи и передаю наскоро написанную информацию для сведения редакции.

Весь вечер обсуждали с Евновичем это происшествие. Случай с ценностями не идет из головы.

— Ну чего вы раздумываете? И удивительного в этом ничего нет,— говорит мой друг.— В гражданскую войну целый поезд с золотом у беляков отбили. И притом, заметьте, ничего не пропало, а Ленин вон говорил, что настанет время, когда из золота будут делать общественные отхожие места. Что такое золото? Красивый металл, довольно-таки бесполезный для больших человеческих целей. Эквивалент богатства, миф, условность... Тут разве в золоте дело?

НАШЕГО ПОЛКУ УБЫЛО

Я только вернулся с самого западного участка нашего фронта. Побывал у сибирских лыжников, собрал материал о партийной работе в условиях наступления. Вернулся в самом приподнятом настроении. И вот будто удар прикладом по голове: пропал корреспондент «Красной звезды» Леонид Лось. Вылетел на самолете куда-то в западном направлении, неизвестно точно даже куда, и не вернулся. Ни о нем, ни о летчике ничего не слышно вот уже третьи сутки.

Евнович, несмотря на то что поврежденное колено не дает ему свободно ходить, все это время мотался по штабным деревням, занимался организацией розысков, добился соответствующих распоряжений от члена Военного совета Д. С. Леонова. Тот разослал по армиям приказ немедленно сообщить, как только что-нибудь станет известно о пропавших. По просьбе Евновича секретарь обкома И. П. Бойцов через рации, державшие связи с партизанами, отдал соответствующие команды лесным воинам. Командира эскадрильи и просить не надо было: ведь пропал его самолет и его летчик, один из лучших его пилотов.

Самое скверное, что вылетел, не оставив маршрута. Даже напарнику Лося неизвестно, зачем он полетел. Улетел — и будто растворился в морозной мгле, стоящей сейчас над лесами и полями.

Мы смотрим на карту. Везде, где идет сейчас интенсивное наступление,— и в Пеновском, и в Нелидовском,

и в Торопецком районах — леса, леса. Замерзшие озера, реки и леса. Карта сплошь затушевана зеленой краской. Мороз в день вылета был не очень большой, не превышал двадцати градусов, но легко представить себе: что-то портится в моторе, самолет теряет скорость и падает в эту сплошную зелень. Ведь ни связных, ни воинских постов — ничего. На этих маленьких чудесных самолетиках «У-2», которые наши дружески зовут «огородниками», а немцы насмешливо — «кафе мюле», то есть кофейная мельница, пилот и пассажир летят без парашютов... Ну, допустим, если все-таки сели на вынужденную удачно — уцелели, не сломали шеи. Кругом лес, сугробы по грудь, мороз. А ведь «неаттестованный» Леонид Лось до последнего дня ходил в бушлате третьего срока.

И почему-то вспомнилось, как однажды, развеселившись, он пел шуточную грузинскую песенку:

...Если на гору залезть,
Сверху вниз бросаться,
Очень много шансов есть
С жизнию расстаться.

Так и стоит он перед глазами, Леонид Лось, тихий, деликатный, такой городской, не приспособленный к военной жизни человек. Что мог сделать при вынужденной посадке этот милый москвич? Впрочем, в оценке одного москвича я уже здорово ошибся. И именно в Александре Евновиче. Как-то, не помню уже, после какого случая, я, рассердившись, под горячую руку брякнул ему, что зря, мол, таких посылают на фронт: сидеть бы ему в аппарате Совинформбюро, переваривать приходящие с фронта сводки — и ему и делу лучше. Неожиданно этот покладистый, терпимый в общении человек, хорошо понимающий юмор, вдруг обиделся. Достал свой старый наган, положил на стол, положил перед ним отвертку, шомпол и, придвинув его мне, потребовал:

— Вот, Аника-воин, разберите и соберите свое личное оружие. Давайте, давайте, не отлынивайте... Петрович будет арбитром.

Не понимая еще, что все сие значит, я принялся за дело, но, сколько ни пыхтел, дальше отъема барабана дело не двинулось.

— Видали! Старый солдат, гроза тверских лесов!.. А теперь, Петрович, завяжите мне глаза.

И, к нашему удивлению, револьвер вслепую был разобран, причем тонкие, интеллигентские пальцы действо-

вали с такой солдатской уверенностью, что мы стояли, приоткрыв рты. Евнович снова собрал револьвер, положил в кобуру.

— Будь я старшиной в вашей роте, я бы вас с таким знанием оружия даже на кухню не допускал бы картошку чистить... Вы бы у меня сортиры мыли...

И оказалось, что этот москвич в годы гражданской войны был комиссаром бригады на юге России, чекистом на Дальнем Востоке и сменил эти профессии на журналистскую лишь из-за болезни глаз. Но Лось в гражданской войне по возрасту участвовать не мог, по слабости здоровья не был взят в армию. Лишь веление сердца заставило его, человека, забракованного медицинскими комиссиями, пойти на фронт, чтобы воевать силой своего профессионального оружия.

И вот замечательный этот парень пропал. На все лады прикидывали, как и чем можно ему помочь, если он жив и вместе с летчиком бродит по лесам из-за неудачного приземления. Разослали телеграммы в армейские дивизионные газеты. Журналистская солидарность не раз выручала нас в трудных случаях. Есть, есть еще надежда.

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА

Штаб наш перебазировался на этих днях значительно западнее, в село Сафонтьево, что недалеко от поселка наших тверских бумагоделателей Кувшиново, где когда-то у здешних владельцев бумажной фабрики, людей странных и необыкновенно для купеческого звания прогрессивных, подолгу живал Алексей Максимович Горький. Тылы, редакция фронтовой газеты комфортабельно разместились в этом обойденном войной поселке. Штаб фронта — километров на десять западнее, в просторном, красивом селе.

Под прессу расщедрившийся комендант штаба отвел большую пятистенную избу. Нас тут как семян в тыкве: корреспонденты всех центральных газет, радио, Совинформбюро и ТАСС. Сами сколотили для себя нары в два этажа. Евнович, избранный нашим парторгом, во избежание тяжб и недоразумений делил жилплощадь по справедливому солдатскому способу: кому — кому. Мне досталась нижняя койка слева. Хорошо и плохо. Хорошо

потому, что ночью не надо слезать с верхотуры, плохо потому, что, когда пресса в редкую свободную минуту рассаживается у стола играть в преферанс, два партнера садятся на мою постель, и к тому же, когда партнеров не хватает и они играют с «болваном», роль этого «болвана» отводится мне, что для меня, не знающего правил игры, все-таки обидно.

О Леониде Лосе так до сих пор и не удалось ничего узнать. Теплится еще надежда, что, может быть, однажды откроется дверь — и появится он, усталый, заросший густой щетиной, и тихим голосом скажет: «Добрый вечер... Ну вот и я... Привет честной компании».

Такие случаи в военной практике бывали. Но только что его редакция закрепила для постоянной работы на нашем фронте Леонида Высокоостровского — молодого подтянутого командира с усиками а-ля французский киноактер Адольф Менжу. Он кадровик, у него военное образование и в отличие от нас, ходящих с комиссарскими звездочками, он носит на рукаве золотые шевроны и имеет строевое звание подполковника. Между собой мы зовем его архистратигом, как по христианским святцам именуется архангел Михаил, который опять же, как известно по тем же святцам, был самым большим военным специалистом среди небожителей. В напарники архистратигу редакция придала лейтенанта Дедова, огромного дядю с добродушным, детским лицом, необыкновенно усердного, посылающего в свою редакцию каждый день по информации, а по ночам храпящего так, что сотрясаются оба этажа наших самодельных нар.

Живем мы хотя и в три этажа, так как шоферы наши размещаются на печке и на полатях, но дружно. И хотя к утру воздух в избе становится таким густым, что его, кажется, можно резать на куски, как студень, существованием своим довольны. В довершение к этим удобствам нам удалось исхлопотать полевой телефон, очень облегчивший нашу работу.

Сегодня утром зазвонил этот телефон. Позвали меня. Голос майора Николаева осведомился:

— Ты все еще интересуешься судьбой Веры, нашей землячки? Приезжай... Она у нас.

Я сейчас же отправился на другой конец села. Был отличный февральский денек, один из тех морозных деньков, когда от холода на ветру щиплет уши, а в за-

тишке солнечное тепло нет-нет да и коснется лица, да так коснется, что невольно подумаешь о весне.

Часовой охранял нужный мне дом. Но я знал пропуск, и он без канители открыл передо мной дверь. В первой половине избы, где стояли столы с канцелярскими бумагами, никого не было — час обеда, все в столовке. Но из второй, из светелки, слышалась... немецкая речь. Два голоса — мужской, раскатистый, басовитый, и женский, почти девчоночий. Я кашлянул. Голоса смолкли.

— Простите, мне майора Николаева.

— Он сейчас придет,— ответил женский голосок.

— Айн момент,— сказал мужской.

Как раз в это мгновение вошел мой тезка Борис Николаев.

— Пришел? Здравствуй... Сейчас позову.— И громко: — Вера, Готфрид!

Из-за переборки появилась Вера. Я еле узнал ее. В военной форме — хорошенький мальчишка, да и только. Эдакий сын полка: коротко подстриженные волосы и огромные голубые глаза на бледном лице. За ее спиной стоял молодой военный, тоже в форме. Обычная наша командирская форма, но в дверях он так вытянулся, так щелкнул каблуками кирзовых сапог, что нетрудно было догадаться — это немец-солдат.

— Честь имею рекомендоваться, ефрейтор Готфрид Гешке,— произнес он по-русски и еще раз звонко стукнул каблуками.

Почувствовалось, что он уже привык рекомендоваться на нашем языке.

Я провел с этой парой весь день и уверенно могу теперь засвидетельствовать, что известный шекспировский сюжет не ограничен ни эпохой, ни местом действия, ни барьерами социальных систем.

Интересный был разговор. И поучительный, очень поучительный.

Мне уже не раз приходилось встречаться на фронте с убежденными немецкими антифашистами, эмигрировавшими из гитлеровской Германии, работающими теперь у нас, ежедневно выезжающими на передовую с ПГУ — передвижными громкоговорящими установками. С риском для жизни, порой под артиллерийским обстрелом, они стараются довести до своих сограждан в военной форме правду о гитлеровской Германии, о целях этой войны, о том, чем грозит война немецкому народу.

Это настоящие, убежденные коммунисты, революционеры-бойцы. Готфрид, как выяснилось из его рассказов, совсем другой. Отец его коммунистом не был. Он был социал-демократом, даже видным социал-демократом. В семье Гешке воспитывалась неприязнь к Эрнсту Тельману, к его делу, к «Рот фронту» и Юнгштурму... Но то, что Готфрид увидел, вступив на территорию Советского Союза, заставило его, недоучившегося студента медицинского факультета, всерьез задуматься об этой войне, о ее целях, о том, что несет она и русским и немцам. Да, и немцам. Но всеми этими сомнениями он ни с кем не делился. Да и с кем делиться? Как поделишься? Он знал о вездесущем глазе гестапо.

И только любовь к этой белокурой, голубоглазой девушке, русской девушке, свободно излагавшей свои мысли на его родном языке, помогла ему осознать свои сомнения, наблюдения, колебания. А ее убежденность, святая убежденность, звучавшая в самом тоне ее, сломила его сомнения и привела к решению. Он преодолел страх перед вездесущим гестапо, перед репрессиями, которые могут обрушиться на его мать и сестер, на всю родню. Рискуя жизнью, он решил перейти линию фронта.

И вот он с нами, среди тех, кто сражается с гитлеризмом, с нацистскими порядками. Маленькое происшествие, случившееся на Калининском фронте, может быть, даже выразительней переживаний шекспировских влюбленных. И то, что юноша и девушка не из двух враждующих семейных кланов, как у Шекспира, а из двух миров, находящихся в смертельной схватке, придает всему происшедшему особую остроту. И фоном были не мраморные дворцы средневековой Вероны, а громадное полупустое здание, погруженное в холод и тьму, и действующие лица в ней не блистали пышными, пестрыми нарядами, а, напялив на себя все теплое, что у них было, лежали на своих кроватях, ожидая смерти от голода и мороза, лишь бы не служить врагу. Это еще больше обостряло трагическую ситуацию.

Тетка Веры, старая ткачиха, даже и не старалась скрыть свою неприязнь к парню во вражеской форме, которого в разговоре с Верой именовала «твой фашист». А у обитателей общежития появление немецкого ефрейтора, повадившегося ходить в комнату Вериной тетки да

еще приносившего хозяевам какие-то свертки, возбуждало острую ненависть.

Вера с храбростью отчаяния пренебрегала угрозами, раздававшимися в ее адрес. И с Готфридом ей было нелегко.

Поначалу они совсем не понимали друг друга. Чем откровеннее говорили, тем чаще возникали споры, иногда ссоры. Готфрид еще помнил, как юные спартаковцы шагали по Берлину в своей форме. Помнил, как иронизировали над ними отец и старший брат. Но потом отец, механик с оптического завода, профуполномоченный своего цеха, попал в тюрьму. За ним последовал брат, бывший всего-навсего организатором рабочего хора. Семье Гешке так и осталось неясно, за что на нее обрушились эти кары. Семью не преследовали, но печать отчуждения лежала на ней. В положенный срок Готфрида даже не призвали в армию. И только когда на Востоке началась война, его, студента третьего курса медицинского факультета, взяли в качестве брата милосердия. Он и тогда не очень задумался над происходящим, просто по мере сил выполнял свой долг. И вот на пути его встала эта русская девушка, говорящая по-немецки, которой он случайно оказал медицинскую помощь. Так в сырой, промозглой комнате вымирающего общежития расцвела любовь молодых людей из диаметрально противоположных миров. В беседах, спорах многое из того, что смутно жило в Готфриде, о чем он начинал только догадываться, прояснялось и оформлялось. Искренняя убежденность Веры увлекла, захватила его. Он начинал понимать и трагедию своего народа, и весь антинародный смысл войны. И он дал любимой слово выйти из этой чужой войны, перейти на сторону Красной Армии.

Расставаясь в последний раз, молодые люди обещали друг другу встретиться по ту сторону фронта. Вера уже поднималась, начинала ходить с палочкой, когда Готфрид однажды не приехал в обычное время. Не пришел ни на второй, ни на третий день. Вера мучилась, гадала: перешел ли он фронт или его куда-нибудь перевели? А может быть, подстрелили при переходе? А может быть, он ее забыл?

Потом началось наступление Красной Армии. Пришли свои. На дверях сохранившихся домов, с которых еще не были сорваны немецкие приказы и распоряжения,

появились сделанные мелом надписи, заменявшие вывески вселившихся сюда советских организаций. В первый же час освобождения Вера приковыляла в райком партии. Все чистосердечно рассказала — и о своем ранении, и о дружбе с Готфридом, и об их обоюдном обещании встретиться по ту, по нашу сторону фронта. О ней знали, приняли ласково, определили долечивать рану к тому же Василию Васильевичу Успенскому, уже переместившему свою хирургическую клинику обратно в Калинин, в одно из уцелевших зданий Больничного городка. Все вроде бы было хорошо, но женщины с «Пролетарки» не могли забыть и простить ей дружбы с вражеским ефрейтором. В разные адреса сыпались письма, жалобы: почему бабенка, у всех на глазах путавшаяся с гитлеровцами, ходит на свободе?

И хотя им разъясняли, что некоторые люди были оставлены в оккупированном городе специально, что Вера вела здесь работу по заданию разведки, ничего не помогло. Девушка то и дело слышала у себя за спиной: «немецкая овчарка»...

— Поймите мое положение,— тихо рассказывала мне Вера, теребя и комкая носовой платок.— Это же хуже, страшнее, чем на передовой. Там убьют — убьют, жива останешься — будешь жить, а тут — «немецкая овчарка»... Хоть в петлю. И тетка зудит: «Откажись ты от своего фашиста проклятого...» А я? Как я от него откажусь? Я же знаю, что он не фашист, не гитлеровец, и он мне жизнь спас... Тетка кричит на всю казарму: «Дура, он давно драпанул со своими и думать о тебе забыл!..» И ведь верно, я о нем ничего не знаю. Исчез... Но ведь верю, верю ему.

Ее синие глаза смотрят на Готфрида. Тот тоже нервно теребит пилотку, нашу, советскую военную пилотку, только без красноармейской звезды. Не знаю, все ли он понимает в ее рассказе.

— Ведь я ж не знала, что он перешел фронт! — почти кричит девушка.

Майор Николаев, присутствующий при разговоре, тихо выходит в другую комнату. Возвращается со стаканом воды. Девушка жадно пьет, и зубы ее стучат о стекло.

— Тут варится вся эта кутерьма вокруг меня, носа на улицу показать нельзя, а ведь он-то действительно перешел. Еще до нашего наступления перешел. Ему

здорово досталось от нас. Знаете, как тогда на передовой к немцам-то относились... «Хенде хох» было мало...

Нет, Готфрид, несомненно, понимает ее взволнованный говор. Он, улыбаясь, обнажает зубы, и я вижу, что передних на верхней челюсти у него нет. И все-таки ему чертовски повезло.

Оказавшись лицом к лицу с нашими военными, знавшими по-немецки, он рассказал им свою историю. И вот теперь, когда данные, представленные порознь и им и Верой, сошлись, политорганы фронта, как мне кажется, нашли неплохой выход из тупика. Веру мобилизовали в армию. Теперь она будет работать там же, где и Николаев, по самой опасной воинской специальности...

Вот что я узнал от молодых людей, которые все время переглядывались и даже не пытались скрыть это переглядывание от посторонних.

— Будут работать вместе и много пользы принесут,— сказал начальник майора Николаева и прибавил: — Помните, у Шекспира: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»? Ну а мы, может быть, допишем к этой повести иной конец...

— А вот поглядите, в каких условиях ей работать приходилось,— задумчиво говорит Николаев.

Достал из планшета афишу, по-видимому, сорванную с какого-то забора. Он любит подкреплять доводы документами.

Я прочел афишу:

«Объявление населению.

...С сегодняшнего дня вступает в силу нижеследующее усиленное постановление:

1. Кто укроет у себя красноармейца, или партизана, или снабдит его продуктами, или чем-нибудь ему поможет (сообщив, например, ему какие-нибудь сведения), тот карается смертной казнью через повешение. Это постановление имеет также силу и для женщин. Повешение не грозит тому, кто скорейшим образом известит о происшедшем ближайшую германскую воинскую часть.

2. В случае если будет произведено нападение, взрыв или иные повреждения каких-либо сооружений германских войск, как-то: полотна железной дороги, проводов, складов, и т. д. то, виновные, начиная с 16.X.41 г., будут в назидание другим повешены без суда на месте преступления. В случае же если

виновных не удастся на месте обнаружить, то из населения будут взяты заложники. Заложников численностью, установленной ближайшим военным начальником, повесят, если в течение двадцати четырех часов не удастся захватить заподозренных в совершении злодеяния или их соумышленников.

3. Если подобная мера также не даст результатов, то там же, на месте совершения преступления или вблизи него, будет взято и повешено двойное число заложников.

Командующий армией, генерал-полковник Штраус.
На фронте 12.X.41».

— Убедились, по какому острию ходила вот эта девица,— говорит Николаев, указывая на Веру, которая, сидя в сторонке, шепталась с Готфридом.

— Ну а дальше? Что вы им предложите? — тихо поинтересовался я.

— Дальше? Спросите-ка что-нибудь полегче, как говорят школьники... Видите ли, мы предложили ей отдых, подлечиться. Но она ни в какую: «Назад в Калинин не поеду. И не хочу даром хлеб есть...» Вот какие дела... Есть, между нами говоря, в отношении их обоих одна задумка, но... И вообще писать о них нельзя. Они не погашены... Понимаете?

Понимаю... Но как можно было бы написать об этой любви двух юных сердец из двух сражающихся армий! Любви честной, чистой, которая и привела солдата гитлеровского вермахта в наши ряды. Может быть, рассказ этот стал бы где-то рядом со знаменитым очерком Петра Лидова «Таня», раскрывшим для мира подвиг московской школьницы Зои Космодемьянской. Вырезки с этим очерком бойцы носят в карманах... Но понимаю, сейчас нельзя. Может быть, когда-нибудь потом... *

---

* Уже после войны мне привелось узнать дальнейшую историю этой молодой пары, которую на Калининском фронте звали Ромео и Джульетта. Мы с женой ездили по ГДР, остановились в Берлине в отеле «Иоганнесгоф». В воскресенье утром в номер позвонил портье и сказал, что меня хотел бы видеть мой знакомый, приехавший специально для этой встречи из Саксонии.

— Знакомый? Вроде бы не было у меня в Саксонии знакомых.

Спустился в холл. Навстречу мне шагнул коренастый, средних лет человек с лобастой лысой головой. Он улыбнулся.

— Не узнаете? — спросил он по-русски. Достал очень старую

ВОТ И НЕ ВЕРЬ В ПРОВИДЕНИЕ!

На фронте нет человека желаннее почтальона. Обычно это пожилой боец в старой облезлой шапке, в шинели третьего срока. Но ждут его в окопе куда более нетерпеливо, чем термосоносца с горячей кашей. И нет у бойца большей радости, чем получить скромный треугольник с вестями от родных и близких.

Жена пишет мне регулярно. Так как письма иногда теряются, она их нумерует. Последний номер был тридцать два. Письмоносец, приходящий к нам раза два в неделю, заносит то письмо, то открытку, и не буду скрывать — весь корреспондентский корпус знает, какой очередной зуб прорезался у моего Андрейки, как он агукает, а в день, когда мне было сообщено, что он, кажется, уже отчетливо выговорил «мама», мы выпили свои ворошиловские именно за это выдающееся событие.

В начале февраля пришло письмо с фотографией. На ней изображен крепкий, глазастый, незнакомый мне мальчишка с толстыми щеками, прямо-таки стекающими на воротничок, и черными глазами-пуговками. И надписано было почерком жены: «Мне сегодня исполнилось девять месяцев». Теперь этот молодой человек, пришпиленный кнопкой к стене, висит над моим топчаном и сердито смотрит на представителей прессы.

фотографию, порыжевшую и совершенно потрепанную, с которой на меня смотрел солдат в немецкой форме. Я сразу его узнал.

— Готфрид?

— Да, я есть Готфрид.

Мы сели за столик, заказали кофе, и он рассказал мне свою дальнейшую судьбу. До конца войны он был в Советской Армии, в отделе по работе среди войск противника. Писал листовки, выступал на громкоговорящей установке. Сейчас заместитель бургомистра одного из крупнейших городов республики.

— А Вера?

Его лицо стало грустным.

— Она была смертельно ранена, когда мы с ней, возвращаясь с задания, переходили линию фронта в районе Ржева. Мне удалось вынести ее на руках из-под огня, она умерла у своих.

— Ну, а вы?

— Я женат, у меня двое детей, обе девочки, и старшую мы назвали Верой. Вера-маленькая, она сейчас кончает гимназию, а портрет Веры-большой висит у нас в детской.

Вот что я еще счел необходимым добавить к этой истории через тридцать шесть лет.

Письма, приходящие из неведомого мне города Молотовска, как и прежде, полны оптимизма. В них сплошь добрые вести: «Живем хорошо...» «В нашей школе дружный коллектив и прилежные ученики...» «Андрейка растет крепенький и здоровенький...» «С Урала приехала мама, ведет теперь наше хозяйство, и мы вздохнули свободно...» Но я-то знаю секрет писем на фронт и знаю милого автора этих писем, маленькую мужественную женщину, которая, в одиночку перенося все свои тяготы, сообщает мне только безоблачные новости.

И вот на днях пришло с оказией пересланное мне из «Правды» письмо, адресованное редактору П. Н. Поспелову, в котором жена сообщает, что сын тяжело заболел и врачи не ручаются за его жизнь. Жена просит редактора вызвать меня, хотя бы на несколько дней, с фронта. Вместе с письмом пришло разрешение редакции на выезд и обещание доброго Лазарева устроить самолет до Молотовска.

В этот день в противоположную от Москвы сторону, в верховьях Волги, как раз туда, куда партизаны вынесли свой золотой груз, выходил трофейный вездеход с офицерами связи. После гибели Леонида Лося корреспондентам запрещено давать самолеты без специального на то разрешения. Февральские метели совсем замели дороги. О том, чтобы добраться в те места на нашей «лайбе», не может быть и речи. А тут такой случай — комфортабельный вездеход на гусеничном ходу. С вечера договорился с офицерами связи, молодыми, веселыми ребятами, в военторге заправил горючим флягу на дорогу — с рассветом выедем.

И вот это письмо, привезенное мне фотокорреспондентом... Общественное сшиблось лбом с личным, да так, что искры полетели. С одной стороны, добраться до такого интересного материала, а с другой — опасная болезнь сына...

Личное, увы, возобладало. Я забрал письмо жены, вызов редакции и отправился к корпусному комиссару Д. С. Леонову с просьбой дать в эскадрилью связи распоряжение срочно доставить меня в Москву...

Офицеры связи чуть свет выехали на вездеходе без меня. А пока я хлопотал, из редакции пришла телеграмма, подписанная Лазаревым: «Жена сообщает, что сыну лучше, опасность миновала. Работайте спокойно, вызов отменен. Привет товарищам».

Шел с узла связи, радовался и горевал. Радовался, что сын поправляется, а горевал, что не удастся побывать у своих, которых не видел с начала войны.

А вечером пришло известие — мурашки побежали по спине. Оказывается, совсем недалеко от деревни Сафонтьево, при выезде с полевой дороги на большак, немецкие пикировщики прямым попаданием разнесли вездеход.

Вот и не верь после этого в провидение!

СМЕРТЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА

Так до места, куда партизаны вынесли свое золото, добраться мне и не удалось. Впрочем, их я бы там уже и не застал. Всех троих на самолете эвакуировали в тыловой госпиталь. Живы, все трое сильно обморожены но, говорят, поправляются. Мне только удалось прочитать их письмо, написанное в записной книжке, которую они в последнюю минуту прикололи тесаком к дереву. Они не имели сил идти, но знали, что Красная Армия приближается. И вот ей-то эту записку и адресовали.

Мы с Евновичем и Высокоостровским до того, как она была переслана в Москву, с ней ознакомились. Вот она:

«Товарищ, который найдет эту книжку! К тебе обращаемся мы, три советских человека... Когда вы найдете эту книжку, нас, может быть, не будет в живых... Мы просим тебя, товарищ, взять спрятанный под корнем у нас за спиной мешок с ценностями, принадлежащими государству, и доставить его в ближайшую партийную организацию... Мы сделали все, что могли, и не выполнили задания, потому что заболели, ослабли. Просим передать наш последний привет доблестной Красной Армии, Ленинскому комсомолу и большевистской партии».

Хорошо бы записку эту передать куда-нибудь в музей. Она этого заслуживает...

А на другом, на Великолукском направлении нашего наступления произошло еще одно примечательное событие. Немцы устроили у околицы деревни Дорохово укрепления, чтобы прикрыть отступление и дать отходящим частям оторваться от наших лыжников. Завязался

бой. В разгар его немцы услышали со стороны деревни крики «ура!». Решив, вероятно, что их обошли и атакуют уже с тыла, они, побросав укрепления, отступили с дороги к лесу, где лыжникам было легко их преследовать. Большинство, увязнув в снегу, подняли руки.

Лыжники решили, что помощь им оказал партизанский отряд, но выяснилось, что помогло население деревни Дорохово.

Житель этого селения, фельдшер, участник гражданской войны, потерявший на ней ногу, увидев, что на дороге у подходов к селу строятся укрепления, ночью собрал подростков и женщин, вооружил их охотничьими ружьями, вилами, косами, и, когда подошли наши лыжники и завязался бой, за спиной у немцев грянуло «ура!».

Так старый красный воин помог без потерь ликвидировать узел немецкого сопротивления. Фамилия его Горшков, а звать Степан Филаретович.

Могло ли быть что-нибудь подобное, когда гитлеровский «Тайфун», воплощенный в семьдесят пять отлично вооруженных дивизий, рвался к Москве? Нет, конечно. А вот сокрушение этого «Тайфуна», разгром немцев под Москвой, «котел», устроенный им под Калинином, так подорвали дух в отступающих войсках, что они боятся даже призрака окружения. И в то же время наши победы последних месяцев пробудили в оккупированных краях и привели в движение такие народные силы, что теперешнее немецкое отступление временами, правда, пока лишь временами, изредка и лишь на отдельных участках начинает напоминать отступление армии Наполеона из-под Москвы.

— Безногий старик... Женщины с вилами... Да это уже прямо из кутузовского похода. Денис Давыдов... Василиса Кожина... Разве не похоже? — кричал наш энтузиаст Дедов, обсуждая вечером этот случай.

— Сходство чисто внешнее. Частный случай, не переросший в явление. Гитлер еще оправится и еще будет наступать,— охлаждал горячие головы рассудительный Евнович.— Немцы задумываться стали, это верно. Верно и очень для нас важно... И не от наших листовок, и не от громкоговорителей милейшего нашего Зуса. Действует сила, которую мы показали и показываем. Но до бегства еще далеко... Бегство когда-нибудь будет, однако не скоро, очень не скоро.

Но что там ни говори, как сдержанно ни относись к оценке происходящих событий, примеры из истории русских народных войн, когда стар и млад приходят на помощь солдатам, все чаще повторяются. Вчера утром в политдонесении с западного участка нашего наступления мы прочли, что старый крестьянин из колхоза «Рассвет» вывел немецкий горнолыжный батальон альпийских стрелков на нашу засаду и погиб при этом смертью храбрых.

Евнович тотчас же передал сообщение в Совинформбюро, а я через час был в пути. Нет, не на нашей «пегашке». Какие уж тут легковые машины — на грузовике полевой почты. В этот день мне здорово повезло. Преодолев всеми видами транспорта больше полутораста километров, я прибыл в колхоз «Рассвет» как раз когда гвардейцы, похоронив старого патриота на крутом берегу реки, давали траурные залпы.

Колхоз с таким поэтическим названием оказался беспорядочным скоплением изб, будто из горсти высыпанных на поляне на берегу реки. Здесь, в стороне от дорог, и располагался до недавнего времени штаб немецкого горнолыжного батальона, который командование, видимо, берегло и до поры до времени держало в резерве. Очевидно, это была какая-то привилегированная часть. Ее солдаты имели надпись «Эдельвейс» на рукавах, ни в боях, ни в карательных операциях они не участвовали. С жителями были вежливы и, по словам колхозников, никаких бесчинств не совершали.

— Не охальничали, даже девок не трогали, будто и не фрицы вовсе,— не без удивления говорила председательница колхоза, крупная, костистая женщина.

И вот три дня назад эта часть получила приказ выступать. Ей была поставлена задача — ночью выйти в тыл нашим частям и, внезапно атаковав их, пробить брешь для сил контрнаступления. Советская авиация сейчас эффективно контролирует с воздуха дороги, и, видимо, поэтому егерей решили вести в рейд лесами. Нужен был проводник. Эту роль командир батальона, уже успевший приглядеться к населению, и предоставил Матвею Кузьмину, старому охотнику, последнему в деревне единоличнику, человеку замкнутому, слывшему среди односельчан «контриком».

Командир вызвал Кузьмина и, как водится,— в этом техника вербовки предателей мало изменилась со времен,

когда офицер шляхетского отряда, пытаясь подкупить костромича Ивана Сусанина,— посулил ему златые горы. Кузьмин согласился. Это стало известно деревне, и деревня не удивилась,— такой уж он человек, недаром Бирюком зовут. Но никому не было известно, что, узнав по карте маршрут колонны и место, куда ему надлежало вывести егерей, Кузьмин послал своего внука Васю по кратчайшему пути в нашу часть предупредить о готовящейся вылазке.

Сам он повел колонну, долго кружил с нею по лесу и к утру вывел усталых, замерзших егерей прямо па нашу пулеметную засаду. Ну, разумеется, батальон «эдельвейсов» полег на месте, а тех, которым удалось бежать, догнали и переловили в лесу наши лыжники. Но командир батальона успел застрелить старика до того, как его самого настигла пуля...

С похорон мы с корреспондентом дивизионной газеты лейтенантом Лопуховым заехали в колхоз «Рассвет», не очень от войны пострадавший. И тут за яичницей, поданной нам в большой глиняной миске, председательница с грубоватым, выдубленным холодными ветрами лицом, рассказывая о Кузьмине, вдруг расплакалась.

— ...Ну как же, товарищи начальники, все виноваты мы перед Матвеем! За человека его не считали, не верили ему. Бирюк — больше и имени ему от нас не было. По гроб жизни себе этого не прощу...

Председательница, у которой и муж и сын воюют неизвестно где, неизвестно, живы ли еще, теперь берет внука Матвея Кузьмина, четырнадцатилетнего курчавого парня, к себе в дом. Уплетая за обе щеки вместе с нами яичницу, этот самый Вася, поджарый, смугловатый, цыганистого вида паренек, смущен общим вниманием. Он не понимает значения того, что с его помощью совершилось.

— Дедя приказали, и я пошел. Что ж тут такого? — говорит он, почему-то называя деда на «вы».— Мы с ними вместе все эти леса обшарили... А там, куда они этих фрицев вывели, там береговой такой лесок, туда мы с дедей ходили весной засадки на глухарей устраивать... Места мне очень знакомые. Глухарей там весной навалом.

— А ты не боялся?

— Вы что? Кого бояться? Кто в лесу тронет?.. А на зверя у меня ружье...

Командир дивизии сообщил, что представляет Матвея Кузьмина к ордену, а Василия Кузьмина — к медали «За отвагу». Парень, услышав эту весть, усмехнулся.

— Медаль! А за что? По лесу ночью прошелся — всего и дела... Вот дедя, они заслужили.

— Дикой он, как дед, дикой,— говорит председательница и вытирает глаза большой ладонью.

Впрочем, здесь все будничо. Никто не видит в подвиге Матвея Кузьмина ничего особенного. Будь на месте старика кто другой, сделал бы то же. Разве только хитрости бы не хватило так немцев обдурить. Даже смерть, принятая старым охотником, не произвела на односельчан впечатления: пожил, вволю пожил, ему сильно за семьдесят было, а умер правильно, дай бог каждому такую смерть.

Командир, руководивший похоронами Кузьмина, отдал мне неотправленное письмо, извлеченное из кармана убитого командира егерского батальона. Но, увы, ни я, ни мой коллега из дивизионной газеты лейтенант Лопухов по-немецки не понимали.

С Лопуховым на саночках добрался я до штаба дивизии. Там командир расщедрился на вездеход. Он должен был довезти меня до штаба армии, но не довез — что-то случилось в моторе. Шел пешком, а остаток пути завершил в будке артиллерийского трактора, тащившего в ремонт тяжелое орудие. До узла связи все-таки в темноте добрел. Написал корреспонденцию. Через узел связи фронта передал в Москву. Получил извещение о получении. И вдруг почувствовал такую усталость, что тут же заснул за печкой в каморке дежурного. Он разбудил меня утром и сообщил, что утреннее радио в очередной сводке Совинформбюро передало о подвиге Матвея Кузьмина, а потом была прочтена из свежего номера «Правды» моя корреспонденция.

Ну что же, здорово. Не зря старался.

ОРДЕН

...Вечером позвонил порученец члена Военного совета, неопределенного возраста капитан по фамилии Юношев. Шепотом, точно это могло обеспечить сохранение тайны, он сказал, что решением Военного совета «за активное

участие в боях и отвагу, проявленную при освобождении города Калинина», меня наградили орденом Красной Звезды.

— Завтра командующий будет вручать награды отличившимся в борьбе за Калинин военным и штатским лицам. Вручат и вам, готовьтесь.

Признаюсь, известие это я принял не без сомнения. Розыгрыши, и иногда самые жестокие, процветают в журналистской среде. Но Юношев, как мне кажется, человек, вообще лишенный умения улыбаться. На всякий случай об этом известии я никому из коллег не сказал. Мало ли что... Береженого бог бережет.

Однако сообщение подтвердилось. На следующий день утром адъютант генерала Конева, майор Соломахин, поздравил меня с Днем Красной Армии и передал приказание в двенадцать ноль-ноль прибыть в штаб-квартиру командующего фронтом в полной форме. Полная форма! Это хорошо сказать! Валенки, ватные штаны, гимнастерка с сопревшим воротничком. Больше у меня ничего нет. Но, как говорится, с миру по нитке — голому рубашка. Коллеги пришли на помощь. Евнович снял с себя новехонькую скрипучую портупею, корреспондент «Красной звезды» одолжил щегольские хромовые сапоги. Подшили свежий подворотничок. Напутствовали в шутку и всерьез.

— Вы там от переживаний язык не проглотите.

— Получив награду, надо стать по стойке «смирно» и четко произнести: «Служу Советскому Союзу»,— поучал наш архистратиг из «Красной звезды».

Порадовало меня, что среди прибывших получать награды было много знакомых, в том числе и мой друг майор Николаев, тоже награжденный звездочкой. От него я узнал, что в этот день в другом месте Вера получает орден Красного Знамени.

— Ну теперь-то землячки оставят ее в покое.

— Им этого не придется делать. Она готовится к новому заданию.

— Вместе с ним?

Майор кивнул. Спрашивать, к какому заданию и куда, было бы и бесполезно и бестактно...

Награды вручил сам командующий. Передавая коробочку с орденом, крепко тряхнул руку. В ответ на поздравление я так рубанул: «Служу Советскому Союзу», что он удивленно глянул на меня.

Ну а вечером изба наша трещала от переполнивших ее друзей. Чтобы, по обычаю, обмыть награду, мы по общему согласию слили наше трехдневное водочное довольствие в хозяйский самовар. Гости — майор Николаев, подполковник Зусманович — добавили туда свое подношение из фляг. Получилось весьма прилично. А на закуску был вывален на стол целый котел вареной картошки, выставлена миска с солеными груздями и тазик с огурцами, выменянными Петровичем у хозяев на пару моего теплого белья. Был и лук, нарезанный кружочками. И пайковая селедка, замоченная в молоке и приготовленная «по способу Петровича».

Роскошнейшая еда, которой могли бы позавидовать и маршалы Советского Союза. По фронтовому обычаю орден, «чтобы он не облупился», положили на дно большой кружки, и каждый отпил из нее, сколько мог за один глоток. Ну а потом начались тосты, и все, конечно, перелилось в песни.

Пели старые волжские песни, пели новые комсомольские. Но с особым энтузиазмом исполнялись военкоровские, неведомо кем сочиненные, неведомо кем снабженные музыкой, нигде не опубликованные и неизвестно какими путями разошедшиеся по фронтам.

С особым старанием спели элегическую песенку, совсем недавно занесенную к нам, кажется, с Южного фронта:

Погиб репортер в многодневном бою
От Буга в пути к Приднепровью.
Послал перед смертью в газету свою
Статью, обагренную кровью.
Товарищ редактор статью прочитал
И вызвал сотрудницу Зину,
Подумал, за ухом пером почесал
И вымолвил: «Бросьте в корзину».
И только один старичок метранпаж,
Читая тот опус, заметил:
«Остер был когда-то его карандаш,
И славно он смерть свою встретил».
Наутро обычная жизнь началась,
Как будто ничто не бывало.
И новый товарищ поехал туда,
Где пламя войны бушевало.

Допев это, мы, старожилы фронта, невольно посмотрели на Дедова, присланного к нам взамен Леонида Лося. Посмотрели, вздохнули. Простодушный Дедов, ничего не подозревая, уплетал горячую картошку. Это был

настоящий солдат, и грустные аналогии ему были чужды...

— Да, потери цех военных журналистов несет немалые,— после молчания проговорил Зусманович.— Если брать в процентном отношении к наличному составу, наверное, они даже выше, чем у разведчиков... Ведь так, Николаев?.. Давайте, други, выпьем за то, чтобы снизить этот процент.

Все переглянулись, смотря на пустые стаканы. Из самовара, сколько его ни наклоняй, больше уже ничего не текло.

Тогда Зусманович вышел в сени, где висел его полушубок, и вернулся с флягой, обшитой немецким зеленым сукном.

— Плох тот командир, который, ведя наступательное сражение, не заботится о резервах,— сказал он под общее ликование.

На прощанье он перевел мне неотправленное письмо командира егерей, застрелившего Матвея Кузьмина. Судя по тексту, адресовано оно было брату в Верхнюю Саксонию.

Вот оно:

«...Милый Вилли, вот уже месяц, как я собираюсь тебе написать. Нет, времени, как это ни странно, у меня сейчас больше чем достаточно. Чтобы убить это время, мы, сидя в этих страшных лесах, снова и снова повторяем все те же учения, которые нам, вероятно, никогда не пригодятся, потому что красные перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких уставов и правил. Но сегодня мы выступаем на ответственное задание, и я решил тебе написать до того, как снова испытаю судьбу...

Можешь поздравить меня. Я, кажется, сегодня одержал большую и, признаюсь, неожиданную для меня победу: нашел ключи к этой загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот и неприятностей... Нет, нет, дорогой брат, ничего нового. Это старый добрый ключ, который безотказно открывал нам сердца по всей Европе. Деньги, мой милый Вилли, обычные, умело преподнесенные деньги, которые мы, к сожалению, в этой стране мало предлагаем, предпочитая действовать страхом, так как думаем, что эти русские — народ особенный и что они лучше понимают язык пистолета. Ты помнишь, я тебе писал в последнем письме о местном патриархе-

охотнике с внешностью короля Лира. Сегодня я проэкспериментировал на нем, и эксперимент этот, представь себе, мой дорогой брат, удался. Для вида поколебавшись и поломавшись, он согласился за ружье марки «Золинген», которое мне здесь абсолютно не нужно, потому что, охотясь в здешних лесах, легко самому стать дичью партизан, так вот, за это ружье и деньги он согласился провести мой батальон по лесным тропам в нужный нам для этой операции пункт... Ну вот, Клаус докладывает: мои люди готовы выступать. Прощай пока, Вилли! Письмо придется дописывать в другой раз, после операции».

Оно так и осталось недописанным, это письмо. И адрес не был проставлен. Под диктовку Зуса я записал перевод, а само письмо он у меня отобрал, заявив, что оно показалось ему интересным и, может быть, пригодится для изучения психологических процессов, происходящих в неприятельской армии. Я жалею, что вовремя не имел перевода, ибо корреспонденция о Кузьмине с этим документом была бы куда богаче.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ САФОНТЬЕВА В МОСКВУ

Получил из редакции поздравление с наградой и вызов в Москву. Может, удастся хоть на несколько дней слетать к моим, в этот самый благословенный Молотовск, где, по письмам жены, им живется так хорошо, что не хватает только меня... Мечты, мечты! Наступление-то продолжается... Как бы там ни было, еду. Мне в Москве дали квартиру: две комнаты в правдинском доме на Беговой, куда уже вселилась мама. Надо хотя посмотреть, как она устроилась. У Петровича свои планы и свои интересы в столице. Он катается вокруг машины колобком, добывает бензин, масло и даже... запасные части.

Мутным от изморози февральским утром трогаемся. Путь наш лежит по дорогам недавнего наступления, и хотя снега нынче на редкость глубоки и машина порой идет в прорубленной в сугробах траншее, справа и слева видишь свидетельства недавних боев. То тут, то там виднеются вытаявшие из снега немецкие трупы, торчат остовы сгоревших машин, стволы брошенных орудий, побуревшие от огня танки и самоходки. Нет, что там ни говори, война моторов — это не публицистический образ.

И все же пейзажи занесенной этой дороги напоминают картины наполеоновского отступления, запечатленные Верещагиным.

Тут и там толпы крестьянских женщин с лопатами. Какие-то ветхие дядьки управляют ими. Несмотря на крепкий мороз, работают усердно, весело, шутками провожают машины с бойцами, движущиеся в сторону фронта. Но дорога в одну колею. Чтобы разминуться со встречными, приходится ждать на разъездах. Краснощекие регулировщицы в полушубках, напоминающие кукол-матрешек, строго командуют движением, и ни мандат «Правды», ни карие очи и сладкие речи Петровича не действуют на них. Ждите, и никаких разговоров!

Подъезжаем к Калинину уже на закате. Все в снегу. Белыми пирамидами стоят старые ели Комсомольской рощи. Фанерные домики пионерского лагеря, где нам пришлось когда-то заночевать по пути к Ротмистрову, заметены по самые крыши. Они походят на игрушки, оставленные убежавшими ребятишками. Вон слева стоит так называемый «домик эстонца», старенький, деревянный. За него несколько дней шла борьба, хуторок переходил из рук в руки. А домишко на вот тебе — без окон, без дверей, но целый... А дальше обезглавленная церковь погоста Николы Малицы, где мы с Евновичем просидели самые трудные для нас сутки за все время войны.

Ну как не остановиться и не осмотреть это памятное место! Теперь это глубокий тыл. Над уцелевшими избами вьются мирные дымки. Обезглавленные артиллерией деревья как бы уже смирились со своими ранами, затянули их смолой. У самого шоссе из толпы хвойных выступает высокая строевая сосна. Подкалиберный снаряд расщепил пополам золотой ствол, расщепил, но не пробил. Так и остался торчать в расщепе. И подумалось, что было бы хорошо сохранить сосну в таком виде, как напоминание о славной битве, которую провели здесь танкисты-гвардейцы, разгромившие с помощью девяти оставшихся машин авангард 3-й бронетанковой группы генерала Гота. Кстати, мне говорили, что вчера полковнику П. А. Ротмистрову, командиру, похожему на ученого, за это сражение был вручен орден Ленина.

Двигаемся дальше. С вершины Горбатого моста открывается вид на город. Он ожил, и если металлические громады цехов вагонного завода еще заметены снегом, то над «Пролетаркой» поднимаются в безветрии клубы дыма,

да и над городом, над уцелевшими домами, торчат оранжевые дымки, похожие на лисьи хвосты.

Ну конечно же, засветло до Москвы нам не добраться. Да и нельзя миновать родной город, как нельзя, будучи рядом, не посетить тяжело раненного друга, у которого дела пошли на поправку. Ночлег? Для солдата это не проблема, тем более что с 1 января, как я знаю, «Пролетарская правда» находится уже в городе. Большое трехэтажное, выходящее окнами на площадь здание, которым мы, тверские журналисты, так гордились, сожжено и стоит теперь как старая театральная декорация, за ненадобностью вынесенная на улицу. Редакция же разместилась в первом этаже жилого дома, заняв в нем всего две квартиры. Но работа кипит. Сотрудники, напялив на себя все, что у них сохранилось из одежды, дуя от холода в кулаки, выпускают в общем-то неплохую газету, отражающую и военные и тыловые заботы своего Верхневолжского края, над которым совсем недавно проносились смертоносные, сокрушительные смерчи гитлеровского «Тайфуна».

Василий Кузнецов встречает своего бывшего сотрудника улыбкой во весь рот. Едва дав снять полушубок и прислониться спиной к печке, кричит:

— А знаете, что мы тут надумали?

Этой газете всегда везло на редакторов-выдумщиков. Одна из старейших рабочих газет в стране, она славилась тем, что умела заметить любое доброе начинание, подсмотреть любую хорошую инициативу рабочих, колхозников, интеллигентов в самый момент ее рождения, умела раздуть искру почина в пламя, которое порой обнимало уже не только город, но распространялось по всей стране. Производственные смотры... Договоры тысяч... Показательные процессы над лодырями, прогульщиками, разгильдяями... Всесоюзная кампания за овладение техникой и сдача норм на значок ЗОТ... Митинг машин... Сквозные стахановские бригады... Моляковское движение льноводов... Все, что рождалось в умах и сердцах тружеников Тверского края, газета умела вовремя подсмотреть, приподнять, подхватить, понести.

И вот теперь в кабинетике с окнами, забитыми фанерой, греясь у печки, Василий Кузнецов бурно развивал новую идею:

— «Пролетарская правда» для партизан!.. У нас сейчас десятки отрядов, сотни разрозненных групп.

Формируется еще один батальон, полк, не знаю уж, как и сказать,— «За родную землю». Перебросим воздухом в самые западные районы... Нужна же им газета. Представляете: в отрядах собкоры. Заметки будут передавать по радио, очерки — со связными... Что, плохо? Вы сами когда-то редактировали «Пролетарскую правду для начинающих читать», адресованную малограмотным текстильщикам... Помните? Вот такого же формата. Газета-листовка, газета-призыв. Ну, что вы скажете? *

Закрыв дверь на задвижку, он достает из недр письменного стола поллитровку, чайный стакан и, порывшись в бумагах, извлекает из них окаменевшую ватрушку. Видя мое приятное удивление, он поясняет:

— Не улыбайтесь. Порядок прежний. В редакции сухой закон. Это я для вашего брата военных и для партизан держу. Вы ведь не можете без ворошиловской дозы?

В редакции встречаю Алексея Лазарева — своеобразную калининскую достопримечательность, с незапамятных времен директорствующего в местном театре. Теперь он по военному времени командует всеми музами области. Он известен в городе не меньше, чем собор XVI века Белая Троица, и является как бы живой историей местных театров, филармоний и хоров, историей и самым точным справочником о людях искусства.

Да, Калининский городской театр, которым земляки так гордились, сожжен. Но только коробка, коробка. А театр живет и здравствует. Да еще как здравствует-то! Труппа играет в сохранившемся помещении бывшего ТЮЗа. Играет на двух площадках — основной и гастрольной. Создали две концертные группы — своеобразный «театр на колесах», который кочует по фронту, ставит скетчи даже на передовых. Компактной группой труппа уходила в эвакуацию, но на второй день после освобождения уже играла в помещении Дома Красной Армии.

Лазарев так гордился всеми этими людьми и их делами, что не хочется задавать ему вопрос, который у меня на языке:

— А Сергей Виноградов?

Энтузиазм на лице собеседника гаснет. Он мрачнеет.

---

* В конце 1942 года действительно стала выходить «Пролетарская правда для оккупированных районов». Газета имела за линией фронта своих собкоров. На самолетах доставлялась во вражеский тыл. Очень интересная была газета, и вышло ее до полного освобождения области около семидесяти номеров.

— Сволочь! Законченная сволочь... Был я на суде. Мерзавец. Все сам рассказал: и как немцы его купили, и за сколько, и как он для офицерни всяческие танцеплясы, голых баб организовывал, и... Ну ладно, противно говорить... Во всем признался, а в заключение попросил сохранить ему жизнь, чтобы дать возможность — что бы вы думали? — написать работу о драматургии Чарли Чаплина, которую он, видите ли, обдумывал в тюрьме... А? Каков?

— Ну и как?

— Что как? Десять лет... Считаю — мало, таких надо на гребешке давить...

С минуту молчим, потому что оба знаем этого местного суперортодокса. Помним его «сверхпринципиальные» статьи об искусстве, о театре, об исполнителях. Вероятно, чтобы сгладить тяжелое впечатление, Лазарев говорит:

— А Лиду Тихомирову, Лидию Петровну, которая тут при немцах наш госпиталь вела и восемьдесят раненых сохранила, так ее выпустили... Проверили все и выпустили... Ей, говорят, сам Иван Павлович Бойцов предлагал любую работу в любой нашей больнице. Хорошие хирурги, ты знаешь, как сейчас нужны...

— Ну а она?

— На фронт — и все. Как ни уговаривали, ушла на фронт. Где-то там в одном из медсанбатов раненых зашивает... *

С нашего жесткого ложа из газетных подшивок поднимаемся чуть свет и продолжаем путь. Теперь уже по отличной дороге, описанной когда-то Радищевым: проплывают знакомые по его «Путешествию» селения. Деревня с библейским названием Эммаус... Село Городня на Волге... Я никогда не мог проехать мимо этой самой Городни — одного из старейших русских поселений в Верхневолжском краю. Есть здесь великолепная старинная церквуха, как бы вознесенная на вершину холма.

---

* Лидия Петровна Тихомирова и сейчас живет в городе Калинине. Служила в армии до конца войны. Награждена несколькими боевыми орденами и медалями. Заслуженный врач республики. Сейчас на пенсии, воспитывает внуков, и мы с ней иногда видимся, когда я заезжаю в родной город. А на основе ее подлинной одиссеи написан роман «Доктор Вера», поставлен фильм и идет пьеса того же названия.

Чудесная панорама открывается от ее подножия. Но это не просто древняя церковь. Это передовой крепостной форпост российский. Вал... Старый, заросший ров... Стены форпоста этого сложены из массивных известняковых плит. Они могли когда-то противостоять не только стрелам татарской конницы, но и пушечным ядрам. И нам, тверским, кажется, что это самый старорусский уголок на древнерусской нашей земле.

Каждый раз, бывая здесь,— и весной, и летом, и как вот сейчас зимой,— не могу отказать себе в удовольствии посмотреть на окрестности с вершины холма, господствующего над Волгой, над старинным селом. Река... Бескрайние луга и поля, отороченные на горизонте зубцами леса, открываются с обрывистой кручи... Русь. Коренная верхневолжская Русь...

Вспоминаю, что, выехав в первую правдистскую командировку, подвозили мы с Петровичем учительницу из этого вот села с ее ребятами. Она под впечатлением парада на Красной площади уверенно шла сюда, хотя село еще было занято немцами. Где они сейчас? Школы нет. Дом учителей разбомблен. А вот эта церковь-крепость, сложенная нашими далекими предками, уцелела и в Смутное время, и в дни наполеоновского нашествия. Устояла, сохранилась и при гитлеровском нашествии, хотя Городня, стоящая на древнейшей русской «большой дороге», была местом ожесточенных боев. Вот и сейчас церковь продолжает стоять над Волгой, как при Радищеве, как при Пушкине, останавливавшихся здесь когда-то, чтобы сменить лошадей на ямской станции, сохранившейся и до сих пор. Стоит, как века назад, и из приоткрытой ее двери, как и в радищевские времена, слышится дребезжащий голос старого дьячка, а перед иконами мигают огоньки свечей. Только свечи эти не из пчелиного «ярого воска», а трофейные картонные плошки немецкого производства.

Постояли мы с Петровичем на холме над неоглядными просторами занесенной снегами Волги и двинулись дальше.

Интересно: раньше, когда я проезжал по этому шоссе, которое в Москве зовут Ленинградским, а в Ленинграде Московским, все время вертелись в голове сравнения с радищевскими описаниями. Сейчас опаленная войной дорога рождала уже иные мысли, иные сравнения...

Глаз жадно ищет ростки возрождения на опустошенной войною земле. Нет, деревни по-прежнему стоят изуродованными. Пожарища лишь слегка запорошило снегом. Но дорога уже в порядке, расчищена. На обочинах в сугробы воткнуты таблички с названиями колхозов, шефствующих каждый над своим участком. Они, колхозы, как бы из рук в руки передают это фронтовое шоссе: «Заря» — «Первой пятилетке», «Первая пятилетка» — «Красному богатырю»... Это один из их вкладов в военные усилия. Взорванные мосты подняты, заштопаны. Только большой мост через реку Шошу, словно оборванное кружево, свисает на лед, и мы едем по льду, в то время как саперы уже строят новый. В большинстве изб окна забиты фанерой, избы слепы, но из труб поднимаются уютные, совсем мирные дымки.

Приметы отшумевшего сражения видишь на каждом шагу: те же скелеты машин, торчащие из сугробов, стволы орудий, коробки танков. Где-то у Завидова, в лесу, виднеется хвост нашего «ястребка» со звездой на горизонтальных рулях. Чуть дальше — сгоревшая туша немецкого бомбардировщика. А у Клина попался навстречу целый санный обоз в шесть-семь подвод, на которых рядком, как дрова, лежат окоченевшие трупы в темно-зеленой форме. Рядом с подводами с вожжами в руках идут закутанные в шали женщины, идут неторопливо, понукая лошадей и переговариваясь между собой, совсем не обращая внимания на необычный груз.

— ...Их тут по полям да по овражкам много лежит,— прокомментировал наш попутчик, командир, которого к нам в машину подсадили девушки-регулировщицы.— Тогда, в горячке наступления, всех не собрали. Где ж соберешь? Снегом их замело, а теперь вот, как оттепель, они из-под снега и вытаивают. Так и зовут их — «подснежники». Приходится собирать, хоронить. Сколько людей для этого от работ на дорогах отрываем: и рабочую силу, и подводы... У Шоши по крутому берегу трупов двести — двести пятьдесят так-то в прошлую оттепель вытаяло... И наших тоже находим... Что поделаешь — война...

Только километров за двадцать пять до Москвы, где-то у переезда через железнодорожное полотно, кончаются эти верещагинские картины, и шоссе обретает как будто мирный вид. Но баррикады на перекрестках московских улиц не разобраны, а лишь раздвинуты, сурово

щетинятся ржавые массивные ежи, торчат из снега бетонные зубы эскарпов. И бдительность прежняя: то и дело весьма тщательно проверяют документы...

УРОК

Редакция «Правды» мало изменила свой военный облик. То же небогатое существование, тот же холод в кабинетах и коридорах. Те же тщательно зашторенные окна, которые не расшториваются и днем. Только кабинеты уже не пустые. Из Куйбышева вернулись те, кто составлял там редакцию-дубль. Людей стало больше, и эхо, которое так поразило меня когда-то в коридорах, просто-таки горное эхо, когда слышишь впереди себя звук своих шагов, не то чтобы вовсе исчезло, а стало повежливее, потише.

На житье меня разместили в маленьком кабинетике Ивана Кирюшкина. Товарищ, что привел меня сюда, предупредил:

— Поосторожнее, у него тут всякое оружие понапихано.

— Оружие?

— Ну да. Он ведь опять ушел в рейд с партизанами, ну, а от прошлого оружие осталось... Он бывший чапаевец.

И действительно, стеля постель на диване бывшего чапаевца, я обнаружил в уголке дивана три гранаты в брезентовом мешочке, а за столом в углу — карабин и коробку с патронами.

Я уже знал, что в декабре редакция посылала Кирюшкина написать корреспонденцию о Московском истребительном полке особого назначения. Полк этот должен был быть заброшен в ближайшие тылы врага группами по тридцать — сорок человек для диверсионной работы на ближайших подступах к Москве. Старый воин решил, что лучший способ собирать материал — это самому отправиться в операцию. Так он и заявил командованию полка, состоявшего из московских коммунистов. Такое же заявление сделал и фотокорреспондент Сергей Струнников. Они позвонили в редакцию, получили разрешение и тут же отправились на вещевой склад переобмундировываться. Когда трогался в путь первый диверсионный отряд, чапаевца Кирюшкина, как имеющего военный опыт, назначили комиссаром. Он участвовал в рейде, в ночном налете на немецкую тяжелую батарею, в минировании дорог, в схватке с минометчиками. Отряд выполнил зада-

ние, вернулся, вынес всех своих раненых. Так и родилась корреспонденция Ивана Кирюшкина, которая своей насыщенностью обратила тогда на себя внимание не только читателей, но и строгой редакционной «летучки».

А вот с другим корреспондентом «Правды», комната которого тоже оказалась пустующей, получилось еще интересней. Начинающий, вроде меня, правдист, он получил корреспондентское удостоверение в начале августа и писал о падении Гомеля, об обороне Тулы. Писал аккуратно, часто и вдруг... пропал. Замолчал — и все. Ну пусть «тихий» фронт, но, если нечего писать для газеты, держи хоть отдел в курсе своей деятельности. Все удивлялись, стали на него сердиться: так хорошо начинал... Решено было поставить вопрос о его работе на редакционной коллегии. И тут он появляется, загорелый, с облупившимся носом, с исхлестанным ветрами лицом, и кладет на стол пять «Писем из партизанского края». Кто из читавших «Правду» тех дней забудет эти необыкновенно интересные письма, впервые рассказавшие советским читателям о том, что в глубоком немецком тылу есть целые районы, как бы закрытые для глаз врага, районы, куда немец не смеет сунуться, где сохраняются советские порядки...

Оказалось, что Михаил Сиволобов узнал о существовании таких районов, понял, какой интересный материал может он дать, и, особенно не задумываясь, с группой партизан перешел линию фронта. Он сделал одну существенную ошибку — не уведомил об этом редакцию. Рации в партизанском крае не было. И он исчез. Мне рассказывали: когда он докладывал об этом на редколлегии, все сидели взволнованные, а Емельян Михайлович Ярославский вытирал слезы:

— ...Это же как град Китеж, скрытый от глаз врага. Живет своими обычаями, в привычной атмосфере живет, и нет туда ходу врагу и супостату...

Холодно, очень холодно в редакции. Большинство сотрудников, в том числе и женщины, щеголяют в полной партизанской справе — в валенках, стеганых штанах, ватниках. Особенно шикарно выглядит известный международник Яков Викторов — высокий, седой, красивый человек с внешностью лорда Невиля Чемберлена, которому к лицу были бы сигара, монокль в глазу. Только кадровый военный полковой комиссар Лазарев ходит, поскрипывая сапогами, в отлично пригнанной форме, как бы подчеркивая этим необычность одежды остальных.

В Москве относительно спокойно. Бомбежки уже редки, да и те мало кого загоняют в подвалы. Редакционное бомбоубежище по ночам превращается в кинозал, где демонстрируются старые, преимущественно английские и американские фильмы. Окинув глазом этот маленький зальчик, можно сразу увидеть весь цвет «Правды»: и старых уже знакомых, из тех, кто вынес на своих плечах «Правду» в тяжелые дни,— Поспелова, Ильичева, Шишмарева, Толкунова, Парфенова, Штейнгарца, Гершберга, Бронтмана,— и вернувшихся из Куйбышева Ярославского, Рябова, Заславского, Колосова, Елену Кононенко, и самых боевых фотомастеров — Калашникова, Устинова, Струнникова, Коршунова...

И вот смотрим на экране что-то из приключений Чарли Чаплина, и два знаменитых журналиста, Заславский и Викторов, по очереди переводят тексты, иногда даже в два голоса, передавая один мужские, другой женские реплики. Изредка из зала вызывают то одного, то другого сотрудника, понадобившегося для работы над номером. А фильм продолжает крутиться, и в этой атмосфере деловой, хорошей дружбы, которая, вероятно, и есть правдистская атмосфера, я отдыхаю от фронтовых треволнений.

Еще вечером Лев Толкунов сказал, что после номера со мной хочет поговорить Петр Николаевич Поспелов.

— В чем дело, не знаешь?

— Там увидишь. Не бойся — очень ругать не будут.— Толкунов известен среди правдистов как человек веселый, шутник, мастер розыгрыша. Наверное, розыгрыш. За что меня ругать?

После номера, когда «загорелась» последняя полоса, я появился у редактора. Эта ночь почему-то выдалась беспокойной. Начались налеты, и где-то то далеко, то близко громыхали бомбы. Большинство сотрудников в эту ночь все-таки работало внизу, в бомбоубежище. Редактор оставался у себя. Он сидел за просторным своим столом в той же стеганке и в тех же ватных штанах, как и остальные. И в самом деле, по «климату» кабинет напомнил мне подвал силикатного завода под Калинином, где началась моя правдистская деятельность.

Я сразу заметил, что на просторном столе редактора поверх еще влажного оттиска лежит номер газеты с корреспонденцией о Матвее Кузьмине, которой я так гордился. Заметил и взыграл духом: наверное, будет хвалить.

Но редактор начал разговор не с этого. Он вынул из какой-то папки копию письма, адресованного Алексею Суркову, и протянул мне:

— Прочтите.

В письме были подчеркнуты следующие строчки:

«Дорогой товарищ Сурков! Вчера на переднем крае, где расположены подразделения нашей части, пуля немецкого снайпера убила коммуниста Снежко. В меткости немецкому снайперу не откажешь. Пуля попала в самое сердце бойца. Когда мы достали из кармана его гимнастерки партийный билет, из него выпал кусочек бережно хранимого листка газетной бумаги, залитого кровью. Сквозь яркие капли крови виднелись строки стихотворения Алексея Суркова, вашего стихотворения, товарищ Сурков, напечатанного в «Правде»...

Многие из нас в этот миг подумали о любви советского бойца к Родине и к родной литературе... Мало того, у многих огрубевших на фронте людей под влиянием вашим появилось страстное желание писать...»

Письмо было подписано: «Зам. командира по п/ч Вл. Брагин».

— ...Видите, что такое литература в дни войны,— сказал редактор, и каждое слово в холоде кабинета вырывалось у него изо рта облачком пара. Потом он взял газету с моей статьей о Матвее Кузьмине.— Это интересный материал и своевременно передан. На редколлегии его отметили, но считаю долгом сказать, что я сам об этом думаю. Разве так надо было об этом написать? Ведь вы *литератор*! Как вы *могли* бы рассказать об этом интереснейшем случае!

Зенитки снова принялись кудахтать, как куры в птичнике, куда забрался хорек. Стекла за бумажными шторами мелко звенели, на столе редактора посверкивал, вздрагивая, стакан с недопитым чаем. Бледный человек у стола, протирая очки, пережидал грохот. Потом, когда бой зениток отвалил в сторону и стало тише, он опять водрузил очки на нос и спокойно, я бы даже сказал— академическим тоном обобщил:

— Я и вам, и всем военным корреспондентам постоянно советую: записывайте подробнейшим образом все выдающиеся события, свидетелями которых вы становитесь. Записывайте с деталями, с фамилиями, с точным

обозначением места действия. Это ваш долг. Если угодно, ваша партийная обязанность.

Редактор вышел из-за стола, подул в сложенные ладони, мягко ступая валенками, бесшумно прошелся по комнате и сел в кресло напротив.

— В этой войне народ наш встал во весь рост. Мужество его превосходит мужество героев древней, средней и новой истории. Вот этот ваш Матвей Кузьмин — он же выше Сусанина. Тот жизнь за царя отдал, а этот — за социализм. Не знала еще земля такого героизма, который мы теперь наблюдаем каждый день. Народ — герой. Это ведь не громкая фраза, не заголовок передовицы... И как важно, чтобы в сумятице этой нечеловечески трудной войны ничего не затерялось. Чтобы дети, внуки, правнуки наши знали, как мы защищали и защитили социализм... Записывайте, все записывайте. Некогда сегодня записать — запишите завтра, некогда завтра — запишите послезавтра, пока свежо в памяти... Вот увидите, какую все эти записи приобретут цену.— Собеседник снова подышал в согнутые ладони.— Ваш Кузьмин! О нем еще когда-нибудь и песни запоют, и улицу назовут его именем, и памятник ему поставят *, а вы... заметку на полтораста строк дали!

Я мог бы, конечно, пуститься рассказывать редактору, как далась мне эта заметка, как добирался я до места всеми видами транспорта, как я ее написал на узле связи. Но говорить это было ни к чему. Он был совершенно прав, редактор, старый наш тверской большевик. Я учел этот урок, один из добрых уроков, полученных мною в «Правде», и по фронтовым записям, которые когда-то вел, по старым, пожелтевшим тетрадкам сейчас стараюсь восстановить картину сокрушения гитлеровского «Тайфуна» такой, какой я видел ее на Калининском фронте, на правом фланге нашего первого грандиозного наступления.

Ведь в те дни в великой битве под Москвой действительно забрезжила заря нашей победы!

Калининский фронт.
Октябрь 1941 г.— февраль 1942 г.
Москва, 1970 г.

---

* К двадцатипятилетию со дня начала Отечественной войны Матвею Кузьмину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, поставлен памятник и одна из улиц в Великих Луках названа его именем.

ПРИ ШТУРМЕ ВЕЛИКИХ ЛУК

БАЛЛАДА О СИНЕМ ПАКЕТЕ

В юности я увлекался стихами Николая Тихонова.

Особенно нравилась мне «Баллада о синем пакете». Мужественная, романтическая, она повествовала о том, как верный своему воинскому долгу боец, отправленный со срочным донесением в штаб, преодолевает всяческие невероятные препятствия и вручает пакет с донесением... когда надобность в нем отпала.

Я и теперь помню это произведение наизусть, может быть, еще и потому, что однажды в афише самодеятельного концерта в комсомольском клубе родного мне текстильного комбината «Пролетарка», извещавшей о том, что в числе других я буду читать это произведение, художник то ли по рассеянности, то ли из озорства в слове «баллада» пропустил второе «л» и второе «а», что немало повеселило аудиторию, весьма охочую до шуток и розыгрышей.

Но мог ли я думать, читая эту балладу лет пятнадцать назад, что сейчас вот, в ноябре 1942 года, придется мне в жизни сыграть на романтический сюжет этой поэмы, увы, довольно комическую роль...

Сегодня сюда, в Сталинград, из-за Волги, с фронтового узла связи, в дивизию, где я в последние дни пребывал, доставили телеграмму. В ней был категорический приказ редакции: «Немедленно вылетайте в Москву с письмом-клятвою и подписями бойцов-сталинградцев тчк Срочно тчк Летчики имеют приказ быстрой доставки». Слова «немедленно» и «срочно» кто-то из работников Политуправления подчеркнул синим карандашом да для верности изобразил над ними три жирных восклицательных знака! Телеграмма была дана вечером предыдущего дня, а вручена только утром. Но впереди был еще целый день.

Последнюю неделю я провел на самом остром участке Сталинградской обороны, в расположении дивизии Александра Родимцева. Впрочем, те, кто меряет военные

термины сегодняшнего дня довоенными мерками, плохо представляют, что такое здесь, в сражающемся Сталинграде, означают слова «дивизия» и «фронт ее обороны». Фронт едва насчитывает три километра, глубина его до реки в отдельных местах менее километра. В полках насчитывается активных штыков... Впрочем, оставим для историка возможность называть количество этих активных штыков в разгар борьбы за город.

Успехи атак и контратак с той и другой стороны штабисты фиксируют здесь не в десятках километров, даже не в километрах, а в метрах, и успех наступления на каком-нибудь участке означает не освобождение какого-либо населенного пункта, а взятие одного дома или даже одного этажа этого дома — верхнего или нижнего, в зависимости от того, кто ведет наступление.

Да, дивизия обескровлена, зато в ней сейчас каждый боец стоит десятка. И вот уже больше месяца бойцы эти стоят насмерть, и, несмотря на новые и новые контратаки и немалые потери, противнику не удается занять не только улицу, но даже дом или этаж этого дома, что в условиях Сталинграда тоже было бы немалым успехом

Удивительные люди в этой дивизии, и прежде всего их командир Александр Родимцев, совсем еще молодой человек. По возрасту он мой погодок, крестьянский сын, окончивший замечательную военную школу имени ВЦИК. Побывал добровольцем в войсках республиканской Испании. Заслужил там добрую славу под псевдонимом Павлито. Сражался на Дальнем Востоке. С первого дня участвует в этой войне и теперь вот как командир одной из самых обстреляппых и закаленных дивизий. И хотя над его командным пунктом, размещенным в гранитном водоводе под железнодорожной насыпью, летают снайперские пули, хотя в редкую тихую минуту сталинградской ночи сюда иной раз доносится немецкая речь, он спокоен, не по годам рассудителен и твердо верит, что за Волгу врага не пустит и что — и об этом он нам не раз говорил — именно здесь, в Сталинграде, немецко-фашистская армия и понесет самое крупное свое поражение. Впрочем, таково мнение не только этого молодого комдива. В это верят все, кто сейчас обороняет Сталинград. Об этом и написали в своем послании партии и правительству защитники Сталинграда, в том самом послании, которое мне по приказу редакции и предстоит сейчас

доставить в Москву вместе с тяжелым тюком подписей.

Провожая меня, командиры, с которыми я успел подружиться, бешено завидуют: ну как же, вечером человек будет далеко от этого неумолчно грохочущего фронта, всласть вымоется в настоящей бане, наденет чистое белье. Завидуют и снабжают телефонами своих родных и близких, по которым я должен позвонить. Заверяю, что сразу же по прибытии в Москву непременно обзвоню всех, опущу в столичный ящик письма, передам приветы. В том, что сегодня меня доставят в Москву, нисколько не сомневаюсь: есть на то указание члена Военного совета и распоряжение командующего воздушной армией генерала Хрюкина...

Наивный человек, я даже представить себе не мог, чем может обернуться эта несложная и даже приятная миссия. Нет-нет, и солдаты, и командиры, словом, все воины-сталинградцы, чьи подписи стояли под этим письмом-клятвой, делают все от них зависящее, чтобы открыть мне зеленую улицу. И все-таки путешествие это вылилось в пародию на героическую поэму Николая Тихонова.

Первым препятствием стала переправа. Отрезок Волги, которая здесь, у Сталинграда, очень широка, весь простреливается прицельным огнем неприятельской артиллерии и минометов. Днем переправа ведется ограниченно и то лишь с помощью быстрых катеров, которые, ловко маневрируя, проскакивают через огневую завесу. Но последнюю неделю из-за реки дует острый степной ветер, здесь почему-то его зовут «калмыком». Молодой ледок схватил берега белыми закрайками. По стремнине густо идет ледяное месиво — шуга, и катера, лишенные возможности маневрировать, стоят на приколе в ожидании темноты.

Пришлось лезть в земляную нору, выдолбленную в глинистом берегу, и, лежа на перетертой соломе, коротать время, забивая «козла» с двумя ранеными и пожилым сибиряком-понтонером, оказавшимся интереснейшим дядей. В свободное от вахт время этот немолодой, пятидесятипятилетний человек уходит по ходам сообщения в город, забирается в стрелковую ячейку на передовой и терпеливо, иногда часами, выжидает, пока у противника, что укрепился через улицу, не высунется наблюдатель или не мелькнет голова солдата. Таежный охотник, он может

лежать часами в полной неподвижности, и горе зазевавшемуся неприятелю! Свои снайперские победы он отмечает зарубками на прикладе старенькой, но отлично пристрелянной винтовки, как когда-то отмечал на прикладе охотничьего ружья убитых медведей. По его словам, на совести у него больше двадцати «медвежьих душ», ну а немцев, конечно, поменьше, еще поменьше, но он уверен, что наверстает. От Сталинграда до Берлина далеко, будет время.

Я с удовольствием записываю его рассказ, очень какой-то обыденный, бытовой, записываю и при этом все время поглядываю в прорезь ходка, на берег, где острый ветер несет тучи песка и дыма. Когда ветер стихает, становится видна широкая водная гладь, по которой густо идет ледяная крошка, а дальше густой лес Ахтубинской поймы и какое-то большое село, разбитое начисто, в щепки.

И все-таки повезло — к полудню «калмык» улегся. Потеплело, со стороны поймы стал наступать туман. Контуры окружающего как бы стали стираться, и сразу же послышалось нетерпеливое урчанье катерных моторов. Под прикрытием тумана без всяких приключений переправились через реку. Даже обстреляны не были. На том берегу, как было условлено, меня уже ждет мой коллега по «Правде», фотокорреспондент Яков Рюмкин, неистовый, как он говорит про себя, «ловец моментов истории». На этом героическом фронте он стал известен тем, что, полетев на самолете-штурмовике за воздушного стрелка снимать сверху панораму исторического сражения, при атаке «мессершмиттов», по его же словам — «со страху», стал отстреливаться из пулемета и один из атакующих самолетов сбил. Даже успел сфотографировать, как тот дымным факелом, перевертываясь через крыло, полетел вниз. Так вот этот неистовый исторический Рюмкин сунул меня и мой тючок в свой костлявый, голенастый «газик», построенный на заре советского автомобилестроения, и без особых приключений доставил на маленькую лысину в чаще Ахтубинской поймы, где ухитрялись приземляться на несколько минут связные самолеты, именовавшиеся в этих степных краях «кукурузниками».

Молоденький пилот с лицом сильно побитым оспой тревожно посматривал на небо. Одним броском вскочил он в кабину самолета, как казак в седло, и в следующее

мгновение мы уже летели над густыми, как баранья шкура, лесами, почти цепляясь за вершины деревьев. Сражающийся Сталинград отплывал назад отмеченный дымами своих незатухающих пожаров. «Ну наконец-то»,— подумал я с облегчением и, устроившись поудобнее па сиденье, закрыл глаза, решив по фронтовой привычке выспаться на всякий случай. До станицы со странным названием Верхняя Погромная, где мне предстояло пересесть на дальний самолет, было еще далеко. В воздухе, как известно, хорошо спится. Уснул и, проснувшись, увидел, что самолет, как-то странно накренясь боком, устремляется вниз, на пески, покрытые перламутрово отливающими пластинками соли.

— Прилетели? — спросил я, сладко потягиваясь.

— Черта лысого! — выругался летчик.

— А чего же сели?

— Не видите? — И он показал назад — часть хвостового оперения отвалилась и болталась на каких-то проволочках.

— Как? Немцы?

— Свои... Так уж технари после того, как меня «мессера» поклевали, залатали.

На рябом мальчишеском лице отразилась настоящая ярость, и в холодную тишину песчаной солончаковой пустыни штопором взвился такой набор ругательств, что я с невольным уважением посмотрел на воздушного возницу. Но письмо-клятва сталинградских воинов, но тючок с тысячами их подписей... Эти слова телеграммы: «немедленно», «срочно»...

— Как же быть?

— А я знаю?.. Тут недалеко, в километре, по песку машины дорогу протоптали — бензин на Погромную возят. Голосните... А доберетесь — присылайте помощь, мне одному этот драндулет не залатать.

Ну что ж, дельный совет. Взваливаю на спину свой солдатский сидор наперевес с тючком подписей и бреду по солончакам, как верблюд, оставляя на слюдяной пленке глубокие темные следы. И опять везет — обгоняет колонна бензовозов, идущих на Верхнюю Погромную. Остальной путь не без удобства продремал в шоферской кабине. Приехал, даже не очень запоздав против обусловленных сроков. Но самолета на Москву уже не было. Ждал, сколько можно, не дождался и только-только вот ушел.

Здесь известен приказ командующего. Сочувствуют, но... Словом, советуют лететь на город Энгельс, где базируется гвардейский женский авиационный полк знаменитой летчицы Марины Расковой. Как раз через несколько минут туда уходит маленький двухмоторный самолет, из тех, какие на фронте зовут «дугласятами». Внешне эта машина, снабженная двумя слабенькими моторчиками, несколько напоминает известный самолет «дуглас», но вообще-то у него неважная слава. Но «дугласенок» так «дугласенок», лишь бы не сидеть, лишь бы не жгли журналистскую душу эти слова «немедленно», «срочно».

Спутниками до Энгельса оказываются милейший, очень образованный подполковник из 7-го отдела Политуправления фронта и командир знаменитого в Сталинградской битве полка истребителей, летчик с очень известной фамилией — молодой коренастый полковник с лицом, густо осыпанным веснушками, с шалыми зеленоватыми глазами. На беду нашу, перед рейсом он тут встретил друзей и не терял время, а в воздухе, как говорится, начал доспевать. Сначала обругал самолет, назвав его собачьей будкой, а затем обрушился на пилота за то, что он не умеет эту собачью будку водить. Потом решил продемонстрировать нам, как надо вести этот самолет, недолго думая полез в кабину пилотов и потребовал передать ему управление. Пилот воспротивился, начался спор. Спор перерос в возню, самолет закачался, мотор зачихал. Мы легко представили себе, как в воздухе рассыпается это фанерное сооружение, и тогда подполковник из Политуправления дал мне спасительный совет:

— Отвлеките его от штурвала, иначе гроб. Возьмите у него интервью, ей-богу... Ведь он действительно интересный парень, и ребята у него орлы.

Разумно. Достал из подсумка блокнот и, держась за спинки кресел, с трудом добрался до пилотской кабины в этом прыгающем и качающемся самолете.

— Интервью?.. Вы что, серьезно? Парень, садись за штурвал... Что же вас интересует?

И началось интервью. По-настоящему, всерьез, тем более что в ходе его мой собеседник трезвел. Ответы становились связнее, и к моменту, когда за волжским крутоярьем, на ровном поле, открылись аэродромные постройки, он уже стал интересным собеседником, влюб-

ленным в авиацию и в своих летчиков. Уже на земле он попросил прощения у пилота и по всем правилам извинился перед нами. И я по профессиональной привычке даже пожалел, что не успел все выспросить.

— Ну, майор, подтянемся,— сказал он.— Мы ведь у воздушных амазонок. У них законы строгие, шутить нельзя.— Застегнул на шее крючки кителя и даже пощупал пальцами, высунут ли белый подворотничок на положенный миллиметр.

Приказ командарма о моем грузе и «сопровождающем его лице» был передан и сюда. Нас встретил начальник штаба полка — круглоликая, златокудрая летчица в чине капитана. Встретила и тут же, у самолета, ошарашила известием, что последний борт на Москву ушел экстренным рейсом полчаса назад. Должно быть, чтобы подсластить горькую пилюлю, круглоликий, златокудрый капитан в лихо надвинутой набок пилотке сообщил, что для меня приготовлен ночлег и в офицерском собрании — она так и сказала: «в офицерском собрании» — нас ждет гвардейский обед.

В военторговской столовой, носящей здесь такое непривычное для слуха название, мы были представлены командиру полка — майору Марине Расковой. Сколько раз видел я на страницах газет ее фотографии, но никогда не думал, что в жизни знаменитая летчица так красива. Высокая, стройная, в отлично пригнанной летной форме, с бледным лицом, прямо-таки классического овала, с точно выведенными бровями, она была хороша той строгой красотой, которая возбуждает у мужчин уважительное удивление. На нее хотелось не смотреть, а именно созерцать, и наш беспокойный спутник, который доставил нам на коротком пути до Энгельса столько хлопот, притих, замкнулся и стал держаться с официальной осторожностью, как, впрочем, по старинным легендам, и следовало держать себя мужчинам, оказавшимся в стане амазонок.

— Прошу вас, товарищи командиры, пообедать с нами,— произнес серьезно, без улыбки, этот необычный командир полка.

В ожидании обеда я достал блокнот. Затеялась интереснейшая беседа. Но в этот момент в комнату вбежала крепко перетянутая армейским поясом, пышущая здоровьем, краснощекая девица с сержантскими треугольниками, вся как бы состоящая из шаров и полушарий.

Бросив пухлую руку к пилотке, она по всем правилам вытянулась перед своим командиром, а потом что-то по-девчоночьи зашептала, кося в мою сторону смешливые, козьи глаза.

— Понятно,— сказала Марина Раскова и повернулась ко мне: — Вот что, товарищ майор, сейчас на Москву пролетом проходит самолет «Р-5», на котором возят па фронт газеты. Экипаж — двое. Пассажирских мест нет. Но ваш груз — письмо сталинградцев и тюк с подписями — они могут доставить. К вечеру, в крайнем случае к ночи, все будет вручено в Москве.

Телеграмма-вызов лежала у меня в кармане. В ней было «немедленно», «срочно», но были и слова: «Вылетайте в Москву». Нет, такое предложение меня не устраивало. Ведь мне приказапо самому доставить документы.

— Может быть, удастся втиснуться во вторую кабину вдвоем?

— Исключено.

— Товарищ командир полка, а если майора запихать в газетный «пенал»? Возят же так раненых.

Точно очерченные брови Марины Расковой на мгновение сошлись. Не понимая, о каком «пенале» идет речь, я с надеждой уставился на нее. На спокойном лице командира полка отразилось раздумье. Кажется, в ней боролись два чувства — поскорее выполнить приказ командарма и выпихнуть в Москву необычного курьера с его грузом, а с другой стороны, возможно, понимание неудобства, а может быть, и риска, связанного с полетом в этом «пенале».

— Ведь и челюскинских баб со льдины так вывозили,— подливает масла в огонь златокудрый капитан.— Ничего, долетели. Через «Правду» потом летчиков благодарили...

А что, в самом деле, если женщины с «Челюскина» пользовались этим неизвестным мне «пеналом», чем я, возвращающийся с самой горячей точки Сталинградской битвы, хуже их?

— Товарищ Раскова, очень прошу, к ночи я с материалом должен быть в Москве... Вы же знаете, что это за письмо и как его ждут читатели.

— Знаю. Наш полк его тоже подписывал. Тут вопрос в том... Да вы же замерзнете в дороге. Зима, а там дует во все щели.

— Но женщины с «Челюскина» летели над Арктикой...

— Ну, если вы так настаиваете, мое дело было предупредить.

И вот, лишь вдохнув аромат гвардейского обеда в «офицерском собрании», я в сопровождении веселого сержанта, состоящего из шаров и полушарий, бегу по аэродрому, сожалея лишь о том, что не было времени познакомиться с делами и днями необыкновенного этого полка, о котором я уже немало слышал.

Самолет стоит на старте. Летчики не удивились. На Сталинградском фронте, как мне кажется, вообще отучились чему-нибудь удивляться. Летите в «пенале»? Пожалуйста. Приказ есть приказ. Штурман деловито переоделся в шинель и бросил мне свой комбинезон: дверцы неплотно закрываются, в щели дуть будет. Сверх того посоветовал мне завернуться в брезент из-под газет. И когда я с их помощью уже закутался в этот брезент, сержант сунула мне сверток с бутербродами и аптекарскую склянку, содержание которой не вызывало у меня никаких сомнений...

— От командира полка... На дорогу... Греться будете.

В «пенал», оказавшийся такой фанерной сигарой, прикрепленной болтами снизу к крылу самолета, меня, окутанного брезентом, просто засунули. Лег, подмостил под голову мягкий тюк с подписями. Дверцы подо мной закрыли на засов, и, когда самолет оторвался от земли и лег на курс, вдруг стало жутко. А ну, если этот засов выскочит, брюхо «пенала» раскроется и лететь мне вниз, как живой торпеде... Но на войне быстро ко всему приноравливаешься. Ощущение страха постепенно прошло, а в щели, где было видно, как далеко внизу плывет земля, я просто перестал смотреть. А тут еще вспомнил про прощальный дар командира полка, отпил полсклянки, закусил бутербродом и закрыл глаза.

И все-таки уснуть удалось не сразу. Страшно гудело. Ветер, задувавший в щели этой продолговатой, висящей над бездной сигары, свистел и завывал. А в памяти одна за другой вставали картины великой битвы на Волге. Вставали одна за другой, будто бы перебирал я листки с записями, еще не превращенными в корреспонденции.

Вот сталинградская передовая, лежащая вдоль улицы, и массивный купеческий особняк, оказавшийся меж линий фронта. Два солдата — русский и цыган. В тече-

ние нескольких дней обороняются с пулеметами, не выходя из подвала, превращенного их волей в крепостной редут... Вот жилой дом, небольшой трехэтажный. Он, как заноза, врезается в тело немецкой линии фронта. До сих пор противник не смог взять этот дом. Снаряжение и питание доставляются его гарнизону по ночам каким-то невероятным способом... Мамаев курган. Здесь сражается сейчас полуэкипаж морской пехоты из Волжской флотилии, эти «шварце тейфель» — «черные дьяволы», как уважительно именуют их немецкие пленные... Командный пункт Родимцева под железнодорожной насыпью, где можно в иной час слышать доносимую ветром немецкую речь, да и сам Родимцев, этот молодой комдив в обшитой серым мехом венгерке, каждый вечер обходящий свои передовые... А сегодняшний мой новый знакомый, сибиряк-охотник, зарубками отмечающий на прикладе убитых врагов... И сам гордый город, окутанный дымами незатухающих пожаров,— сплошная руина, превращенная в крепость, перед которой ничто и линия Зигфирда, и линия Мажино, десятилетиями строившиеся и укреплявшиеся самыми крупными империалистическими государствами Европы...

Боже ты мой, какие песни когда-нибудь запоют, какие книги напишут об этом великом сражении! И наконец, письмо, которое я везу, эта коллективная клятва десятков тысяч сталинградцев, в которой они, вспоминая былой подвиг своих отцов и дедов, совершенный здесь в дни гражданской войны, обещают партии и народу отстоять волжскую твердыню. Разве это письмо не удивительный штрих небывалой битвы, развернувшейся сейчас в низовьях Волги?..

Холодно, однако. Очень холодно. Зубы выбивают противную дробь. Допиваю все, что осталось в склянке, с головой завертываюсь в брезентовое полотнище и... просыпаюсь, когда самолет уже бежит по ровной бетонке. Неужели Москва? В темноте «пенала» даже время на часах не разглядишь. Да, вероятно, Москва. Потом, раз-другой отфыркнувшись, мотор стих. Слышатся голоса. Среди них один очень знакомый. Ну да, это хрипловатый голос заместителя начальника военного отдела «Правды», в мирном прошлом знаменитого авиационного репортера Бронтмана. Меня за ноги, так сказать, выдвигают из брезентовых пут. Так все затекло, что еле стою, и, хотя от холода зуб на зуб не попадает, радуюсь. Все-таки здорово

после стольких дорожных приключений, в которых одна нелепость громоздилась на другую, в тот же день оказаться на московском аэродроме, в нескольких кварталах от редакции.

Прямо с летного поля, не заезжая домой, на Беговую, где матери, очевидно, ничего и не известно о моем прилете, едем в «Правду». Не без удовольствия докладываю своему начальнику, полковнику Лазареву: «Задание выполнил». Передаю пакет с письмом, тюк с подписями. Очень при этом горжусь: и вылетел немедленно, и доставил срочно. Но тут-то и повторяется последняя сцена из «Баллады о синем пакете». Гонец, преодолевший все трудности, узнает, что донесение, доставленное им, попросту не нужно. Поблагодарив меня, как положено, полковник кивает в сторону стола, на котором лежит только что оттиснутая, еще мокрая полоса «Правды». И в ней уже заверстано... письмо воинов-сталинградцев, с которым я так спешил.

Все очень просто: Главпур, естественно, получил этот документ по телеграфу и, не дождавшись тюка с подписями, разослал письмо сталинградцев редакциям центральных газет.

— Ну а подписи — что ж, подписи не пропадут... Подписи передадим в какой-нибудь послевоенный музей,— утешают меня коллеги.

Мне же предлагается сделать врез строк на сорок, рассказывающий о том, как письмо это родилось и как по всему фронту — в окопах, в блиндажах, на артиллерийских позициях, в пещерах, врытых в крутой волжский берег, в каменных норах, расположенных под домами, словом, на всей сталинградской передовой, рядом с позициями противника писалось и подписывалось это письмо-клятва.

С ВОЛГИ НА ВОЛГУ

Ночью, когда была отправлена в машину последняя полоса номера «Правды», все те, кто работал над номером и сейчас освободился,— словом, весь ночной народ собрался в кабинете редактора П. Н. Поспелова. Слушают. Расспрашивают. Вопрос за вопросом. Ну конечно же, всё в редакции известно по корреспонденциям Куприна, Акульшина, по снимкам Рюмкина, по моим заметкам. Но

тут действует, так сказать, фактор присутствия: одно дело — прочесть, а другое — услышать от только что прилетевшего очевидца. Чувствую — Москва живет известиями из Сталинграда, и это как бы утверждает ощущение, что в битве на Волге решается судьба войны...

Уже очень поздно, вернее рано, но не расходятся, редактор требует подать чай. Для меня какая-то добрая душа, вероятно даже тайком от редактора, ибо в этих отношениях он всегда строг, наполняет стакан жидкостью того же цвета, но покрепче. Чтобы не выдать неизвестного мне доброхота, прихлебываю коньяк маленькими глотками и даже для маскировки прикусываю сахаром. А потом, когда беседа оканчивается, уведя меня в свой кабинет, Лазарев говорит:

— В Сталинград сейчас мы вас больше не вернем. Там Куприн, Акульшин, Рюмкин. А вас...

— Как же так?..— начинаю я.

Но он твердо продолжает:

— Самая острота в Сталинграде миновала... А так, что же вы думаете, эта тройка не справится?

— Справится, конечно. Отличные ребята, хорошо знают фронт, и фронт знает их. Но я...

— А вас редакция возвращает на ваш родной, Калининский. Там сейчас никого нет.

— Но там ничего особенного и не происходит.

— Сегодня — да. Сегодня не происходит.— Лазарев кадровый военный, журналистская болтливость ему не свойственна. Но по тому, как он дважды повторил и как бы подчеркнул слово «сегодня», я понял, что ожидается что-то интересное, и, вероятно, скоро.— Словом, даем вам утро на приведение в порядок личных дел,— продолжает мой начальник.— Днем вы выезжаете в свой разлюбезный Калинин. Ваша машина готова. Штаб фронта на прежнем месте, под Торопцом, а пишущая братия, кажется, по-прежнему обитает в Новобридине, в школе, которую вы все изволите называть «Белым домом».

— Но как же со Сталинградом?..

— Когда возникнет необходимость, вернем в Сталинград. Обещаю.

До того как явиться к себе на Беговую, бужу маму телефонным звонком, чтобы не свалиться ей прямо на голову. Моюсь. До утра сплю младенческим сном, без всяких сновидений. С утра выполняю поручения сталинградских друзей, обзваниваю их семьи, причем, как у нас

водится, вру отчаянно, описывая коллег румяными, цветущими, а обстановку в городе чуть ли не курортной. Мама из всех своих, вероятно месячных, пайковых запасов стряпает торжественный обед, и мы с шофером Петровичем съедаем его за беседами о делах уже Калининского фронта. Жена с сыном еще в эвакуации. В далеком и неизвестном мне северном городке Молотовске. Забираю их фотографии — и в путь.

Но, боже мой, что сделал Петрович с машиной! Какой камуфляж навел на нашу бедную «эмочку». Она оказалась небрежно выпачканной какими-то масляными красками и стала по цвету походить на новорожденного пегого жеребенка.

— Мотор весь до последней гаечки перебрал — шепотом работает... А краска — где ее возьмешь, из пустых банок пенки собирали. Как говорят французы, такова селяви,— оправдывается он тоном бравого солдата Швейка и утешает пословицей: — Ничего, по одежде встречают, по уму провожают...

Мотор действительно «работает шепотом», машина идет отлично!

Засветло мы уже в Калинине. В дни наступления Калининский фронт дальше других продвинулся на запад. И теперь город — уже глубокий тыл войны. Ценой больших усилий противнику удалось в дни нашего первого наступления оставить за собой большие города Ржев и Великие Луки. Города и крупные железнодорожные узлы. Линия фронта осенью как бы застыла. За летние, осенние и зимние месяцы неприятель провел большие инженерные работы, отгородился от армий Калининского фронта системой мощной, жесткой, глубоко эшелонированной обороны.

В Калинине останавливаем машину возле областного комитета партии. Секретарь обкома Иван Павлович Бойцов — член Военного совета фронта. Опытный партийный деятель, он умеет держать руку на пульсе области. Много ездит и потому всегда отлично информирован. Мне говорят, что сегодня он заперся в кабинете, готовит доклад, но мне, как «сталинградцу», делается снисхождение.

— Ну вот, с Волги опять на Волгу,— шутит секретарь обкома, поднимаясь из-за стола и откладывая в сторону очки.— Как там? Здорово сражаются? Ну а, по совести говоря, страшно?.. Да, на Нижней Волге сейчас многое решается. Весь мир на Сталинград смотрит.

Он вышел из-за стола, зябко потер руки, бесшумно прошелся по кабинету. За время войны этот плотный, коренастый человек осунулся, постарел, но голубые глаза смотрят по-прежнему ясно и молодо.

— Ну а у нас тихо... П о к а. — И снова, как мне кажется — многозначительно, повторяет: — П о к а. Это на фронте, конечно. Так сказать, равновесие сил. Ну а за линией фронта — там все кипит. Десятки партизанских отрядов. Свободные территории. По советским законам люди живут. Коммунистическую бригаду партизанскую из городского партактива организовали, перебросили в тыл... Газету для оккупированных районов издаем, регулярно выходит, через фронт бросаем... Вот так... Словом, земляки ваши на высоте. Ну да сами увидите.— А в конце беседы опять возвращаемся к тому, с чего начали: — П о к а ничего. П о к а тихо.— И улыбается мягкой своей улыбкой, которая живет у него не столько на губах, сколько в голубых глазах.— Езжайте прямо на фронт, не задерживайтесь.

На стене кабинета карта Европы, и флажками отмечена на ней линия фронта, тянущаяся через всю страну, от Белого до Черного моря. В двух местах линия эта уперлась в голубую артерию Волги. В низовьях, у Сталинграда, и в самых верховьях, тут, у Ржева, в наших, тверских краях. Здесь флажки даже пересекли реку.

Секретарь обкома улыбнулся и повторил:

— С Волги уехали — на Волгу приехали. Великая река, историческая ось России, сколько событий на ней решалось... Ну ни пуха ни пера,— и пожал на прощание руку своей пухлой, мягкой, но сильной рукой.

НАКАНУНЕ

Этот разговор в кабинете секретаря обкома как-то сразу припомнился мне морозной декабрьской ночью, когда вслед за командиром разведроты капитаном Щегловым мы поднимались по вздрагивающим, обледенелым ступеням замаскированной лестницы на наблюдательную вышку.

Части Калининского фронта клином врезались здесь в расположение вражеских дивизий. Теперь они уже явно готовились к новому броску на запад. Об этом все еще не говорят. В ответ на наши вопросы друзья из оперативного отдела подчеркнуто равнодушно пожимают плечами. Но журналистский глаз по тому, как напряжен-

но работают штабы, по тому, какими укатанными, точно бы фарфоровыми, стали все прифронтовые дороги, по тому, как истоптан, изъезжен в лесах снег, и по многим другим подобным признакам безошибочно видит: стянуты силы удара... Скоро начнется.

Маленькая деревянная площадка, укрепленная меж ветвей старой развесистой сосны и замаскированная хвоей, вознесена высоко над землей. Когда льдистый кусок луны выскальзывает из-за быстро несущихся облаков, отсюда далеко видно. Линия фронта в этом месте неровная, извилистая. Невидимой чертой вьется она меж холмов, опускается в неглубокие овражки, пересекает их, еле видно уходит в заснеженные поля, бежит по опушкам сверкающих инеем лесов.

Если смотреть на нее на карте большого масштаба, она тупым мысом вдалась здесь в немецкие расположения, как бы нависла над вражескими позициями, создавая противнику постоянные причины для беспокойства. Такой она стала тут еще в памятные мартовские бои, когда части, действующие на этом участке, рванувшись вперед, форсировали по последнему, уже посиневшему льду неширокую в этих местах Волгу, отбросили немцев и закрепили за собой этот плацдарм на восточном берегу. Тупой клин врезался в самое уязвимое место вражеских позиций. Врезался и застыл — маленькое предмостное укрепление.

Сколько раз и ранней весной, и летом, и осенью пытался противник срезать под корень этот клин и оттеснить наши части за реку. Сотни солдат положил он на этом совсем небольшом участке. Ну и мы потеряли немало. Много разбитых орудий, сожженных машин и танков ржавеют в сугробах извилистых оврагов. Но участочек этот мы сохранили и ждали, терпеливо ждали подходящего момента, чтобы использовать этот, как торжественно заявил мне разведчик, тет-де-пон. Ожидание в общем-то было деятельное. Разведчики щупали неприятельскую оборону. Иногда то тут, то там вспыхивали короткие и жаркие стычки. В свободное от боев время части, отведенные с передовых на отдых, учились воевать.

Бойцам не терпелось:

— Когда же вперед?

— Как лешие какие сидим по оврагам. Сталинградцы вон кровью исходят, а мы зря вшей кормим.

От таких вопросов в последнее время житья не было

политрукам и ротным агитаторам. И может быть, только вот сейчас, когда, не зная ничего конкретного, все, до поваров и обозных, чувствуют назревание событий, это настойчивое нетерпение угасло. Всем стало ясно: время не потеряно даром.

— Мы знаем теперь немецкие укрепления как свои собственные,— говорит, отворачиваясь от острого ветра, капитан Щеглов, похлопывая меховыми варежками, которые у него, как у мальчугана, привязаны на веревочке, продетой в рукава.— Вот по тому берегу у них окопы с пулеметными гнездами в блиндажах. Оттуда и отсюда каждая точка предполья прикрыта двух-трехслойным огнем, а потом укрепления второй линии. Вон, по опушке. А возле топографической вышки — ее сейчас не рассмотреть — пушечные дворики. А видите деревню? Он тут все деревни на сорок километров в глубину пожег, а эту оставил. Думаете, почему? Пожалел? Нет. Это у него узел: укрепленные дома, пулеметные точки в каждом сарае. Вон на том скотном дворе — видите длинное здание? — минометная батарея... Хитрит — ну и пусть хитрит. Мы тоже этому делу научились...

Глухая ночь. Холодный ветер нет да и шумнет внизу, в молодом соснячке. С шелестом метель тянет сухой, колючий снег, но льдистый воздух чист, и, когда луна вырывается из облаков, далеко видно. Враг не спит. Трепетные огни осветительных ракет время от времени взмывают тут и там. Они как бы приподнимают синеватую тьму ночи над полями и перелесками и снова бессильно гаснут, после чего синеватая мгла становится плотнее.

— Беспокоится. Нервный стал,— усмехается Щеглов. Ракеты взлетают снова и снова.— Теперь он каждую ночь так. Если б этой иллюминации у него не было, тогда бы...— Что было бы тогда, он не договаривает.

Спускаемся с вышки и будто бы окунаемся в лесную тишину. Тишина! Когда на грохочущем и полыхающем разрывами Сталинградском фронте появляется хотя бы ненадолго тишина, всем становится не по себе. Тишина — это значит: близится контратака. Где он атакует? Куда обрушит огонь своих, вероятно, уже подтянутых на новое направление батарей? Когда нанесет удар?.. Тут тишина другая. Тих лес, погруженный в глубокие снега. Слышно даже, как сыплется снег с ветвей, потревоженных белкой. Но во мне еще живут, так сказать, сталинградские инстинкты, и с невольной настороженностью

я то и дело оглядываюсь в сторону неприятельских позиций.

По обледенелой траншее долго идем к передовым укреплениям. Тут под прикрытием завязывающейся к утру метели идут работы. Лопаты, кирки долбят смерзшуюся, окаменелую землю. Даже в те моменты, когда поблекшая перед утром луна выбирается из облачной тесноты, издали ничего и не разглядишь, кроме однообразного заснеженного пейзажа,— так ловко замаскированы ветками места работ. Но, приблизившись, можно видеть, как саперы в строжайшем молчании копают по направлению к вражеским позициям штурмовые ходы, врубают в грунт новые пулеметные точки, мастерят мостки для орудий. Все сложное штурмовое хозяйство передвигается к неприятельским укреплениям.

Здесь все живет. И все-таки тишина. Шумят под ветрами верхушки сосен, шелестит снег. Лишь изредка звякнет о камень лопата или послышится негромкий звук винтовок, задевших одна за другую, и сейчас же шепот:

— Тише, туды вашу через туды!

— Эх, покурить бы, братцы, разок единственный затянуться!

— Ишь чего захотел! Может, тебе чаю-кофею?..

Мягко ступая белыми валенками, появляется командир дивизии полковник Бусаров, высокий, крепко сбитый человек, в котором все — и по-особому, набекрень, надетая кубанка, и отороченная мехом венгерка, туго перетянутая ремнями,— выдает природного кавалериста. С группой старших командиров осматривает он вновь проложенные штурмовые ходы, огневые точки, над какими трудятся саперы.

Он очень внимателен к мелочам. Хрипловатым голосом расспрашивает у саперов, только что приползших от самых неприятельских позиций, как сняты мины, как расчищены и обвешены проходы для танков. Суховатый, строгий, в обычное время очень придирчивый по части субординации, сейчас он дружески советуется с саперами, как лучше наметить проходы.

— Солома — она, конечно, для фашиста приметна больно. Откуда взялась в лесу солома? Это фриц сразу сообразит. Однако танкисту солома виднее.

— А по-моему, лапник еловый не в пример ловчей,— говорит сапер, онемевшими, плохо слушающимися пальцами добывая папиросу из протянутого ему полковничье-

го портсигара.— Лапник, если его, скажем, на колышке приподнять, немцу в глаза не бросится, а танкисту на снегу такой маячок виден.

Осмотрев вновь отрытые ходы, комдив приказывает сверху выбить большие ступеньки, чтобы пехотинец, не оскользнувшись, одним прыжком мог вымахнуть из окопа. Не оскользнуться и не упасть, ибо оскальзываться и падать в начале атаки — плохой признак. Полковник очень придирчив к маскировке. Кого-то выбранил за глину, выброшенную на снег, за кирку, оставленную на виду. Загустевшая поземка несколько успокаивает его. Шевелящиеся снежные тучи тянутся над окопами, сухими иглами снег сечет лицо, руки.

— Помогает нам природа. Самый лучший маскировщик,— говорит полковник.— В Сталинграде, поди, об этом заботиться некогда было... Да, Сталинград, Сталинград...

Вчера, когда я только что представился ему, он, угощая нас, корреспондентов, чаем с малиновым вареньем, долго и дотошно выспрашивал, какая там обстановка. Слушал, хрустел суставами пальцев, много и нервно курил, а прощаясь, сказал:

— Может, и мы им, сталинградцам, маленько поможем...

— Как именно?

На это он не ответил. Но само молчание прозвучало весьма многозначительно.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

Большое красное солнце медленно вылезло из-за лесистого холма. Оно позолотило привычный пейзаж, и, хотя метель улеглась, ничто не говорило, что уже третьи сутки здесь вокруг по ночам кромсают мерзлую землю и что пушки и пулеметы, продвинутые вперед и замаскированные хвоей, стоят под самым носом у часовых противника. А может, что-то и сказало. Как знать? Он ведь очень бдителен, сегодняшний немец. Может быть, он тоже под покровом той же метели производит свои приготовления.

С опушки густого соснячка, сбегающего с холма, полковник производит рекогносцировку. Командиры батальонов и приданных частей знакомятся с местностью и на местности со своей боевой задачей. Пехотинцы договариваются о взаимодействии с артиллерией, танкистами, саперами. Устанавливают, какие из разведанных враже-

ских огневых точек должны быть сняты в первую очередь, какие потом, когда двинутся в бой танки, чтобы поддержать штурмовые роты, и где именно они должны прорывать оборону.

Все это делается с будничной дотошностью, будто готовятся к военной игре, где предстоит блеснуть воинским мастерством и «красным», и «синим», а не идет самая кровавая из войн, решая судьбы человечества. Я был свидетелем, как год назад, тоже на Волге, у города Калинина, готовилось наше первое зимнее наступление против сил гитлеровского «Тайфуна». Теперь другое дело. Небо и земля. Именно в этой дотошности, с какой сейчас вот командиры разрабатывают на местности наступательную операцию, ощутимый признак роста нашего военного искусства.

Полковник необыкновенно придирчив. Как учитель на экзамене, требует ясности решений. Он сердится, когда какой-нибудь комбат произносит «как-нибудь» или «обстановка покажет», и даже как-то странно это желание, чтобы наступательный бой с первых же залпов артиллерийской подготовки решался чуть ли не как алгебраическая задача, в которой, увы, много неизвестных.

— Если еще раз услышу «в бою разберемся», наложу взыскание. Понятно?

Потом мы едем с ним по завьюженной полевой дороге в тыл передовых батальонов. Едем порядочное время — и вдруг... что такое? Начинает казаться, что прибыли на то же место, которое покинули час назад. Такой же лесок, сбегающий с холма стайками невысоких сосен. Извилистая балочка, за ней поле, а за полем, на горизонте, деревня, только не целая, какую мы видели, а пепелище, сожженная уже в прошлом году.

Комдив усмехается:

— Что, похоже? Ну вот и хорошо. И отлично. Этого мы как раз и добивались.

Оказывается, готовясь к наступлению, к самой тяжелой его фазе — прорыву передовых укреплений оборонительной полосы, командование отыскало в окрестности местность, схожую с той, на которой штурмовым батальонам придется действовать. Вот здесь-то батальоны — в какой уже раз, не знаю — снова и снова отрабатывали свою задачу: бросок из окопа, подтягивание к линии прорыва, бросок за огневым валом, продвижение по-пластунски по местности, находящейся под условным огнем.

По глубокому голубому снегу бегут пехотинцы. На лотках тянут станковые пулеметы. Несут противотанковые ружья, даже минометы, разобранные на части. Несут на себе потому, что ни мотор, ни лошадь не пройдут по этим обильным верхневолжским снегам. И вот особенность этого передвижения. Белое поле то кажется пустынным и безлюдным, то вдруг оживает множеством темных движущихся фигур.

Опять вспоминается наш первый прошлогодний прорыв, который довелось мне видеть под Калинином, на волжском берегу. И опять приходит мысль: как закалилась с тех пор армия и как отточилось мастерство ее командного состава.

Наступает рота старшего лейтенанта Смоленцева, которой в прорыве предстоит стать ударной. В серый, мглистый воздух взвилась красная ракета. Стрелки вырвались из укрытой лощины на поле и короткими перебежками врассыпную двинулись туда, к пепелищу деревни. Тишина. А люди, как в настоящем бою, перебегают, льнут к снежной целине, пережидают, снова срываются с места. Как в настоящем бою, пулеметные и минометные расчеты двигаются, чередуя свои броски с пехотой. Как в настоящем бою, скопившись на рубеже атаки, бойцы с криком «ура!» рванулись по направлению к деревне со штыками наперевес, щелкая затворами, миновали короткий отрезок огородов и ворвались в село.

Все это было сделано, на мой взгляд, напористо и умело. Но лейтенант Смоленцев, человек, побывавший на Хасане, воюющий с первого военного воскресенья, выходивший из войны лишь по случаю ранений и сейчас же возвращавшийся в строй, понимает, что в настоящем бою все будет сложнее, что бой изобилует неожиданностями и что чья-нибудь оплошность может грозить жизни нескольких людей. Он недоволен. Пулеметчики отстали. Кое-кто из бойцов лениво окапывался в снегу. Резкий свисток.

— Вернуть людей на рубеж атаки.

Рота медленно возвращается на исходные позиции, а Смоленцев растолковывает взводным ошибки. Усталые бойцы тяжело дышат, вытирают пот, жадно курят. У многих сердитые, недовольные лица, но взмывает ракета, и все повторяется снова.

В этот день мы делаем немало километров вдоль линии фронта, и везде до самых сумерек — на полях, в

лощинах, на опушках лесов — мы видим солдат, отрабатывающих задачи наступления.

— Семь раз отмерь, один отрежь,— говорит комдив и к этой старинной русской пословице добавляет суворовское: — Ничего, тяжело в учении — легко в бою.

В эту пору зимы, в особенности в ненастье, темнота наступает рано и внезапно, почти без сумерек.

Как только солнце опустилось за заснеженные поля, сразу же по дорогам, по тропам, протоpенным в оврагах и балочках, по тоненьким стежкам, которые во мгле едва нащупывались ногой, по направлению к передовым двинулись части.

Двигаются скрытно. Колонны тянутся молча, только снег скрипит под валенками. Но и этот едва слышный скрип люди стараются умерить. Артиллеристы обвязали копыта коней тряпицами и шепотом понукают их:

— А ну ходи... Марш... марш... марш!..

В сгустившемся мраке тоже шепот:

— Тише ты, салага, топаешь, как слон!

— А слон разве топает?

— Ну тем более. А то дробит, как у тещи на именинах... Эй, гаси папиросу!

Орудия тяжело скользят на полозьях. В трудных местах десятки заранее знающих свое место людей подхватывают со всех сторон тяжелые пушки и, помогая коням, тянут их, толкают вверх по скользким косогорам. Есть какая-то торжественная необычность в этой беззвучности движений, в этом тихом шепоте, в молчании всей этой массы перемещающихся людей. Когда нам приходится обгонять молчаливые колонны или в узких горловинах дорог съезжать в сторону и пропускать их, начинает казаться, что все это движение видится в кинокартине, где вдруг отказал звук.

Всю первую половину ночи штурмовые батальоны накапливались в леске, примыкающем к блиндажам передовой, в овраге, вливающемся в лощину, западный склон которой источен неприятельскими окопами. Ходим по ротам. Настроение приподнятое, настороженное. Даже словесный пропуск сегодня особенный. Часовой выступает из мглы:

— Пароль?

— «Смерть фашизму». Отзыв?

— «Смерть»... Проходите.

Боевой приказ еще не зачитан. Слово «наступать» еще не произнесено. Но все понимают, что ночные приготовления уже не репетиция.

Новобранцы, пришедшие в последних пополнениях, хорохорятся. Они возбуждены, шумны. Их то и дело одергивают: «Тише!» Те же, кто побывал в боях, понимают, что наступает особый час, представляющий целый жизненный этап. Они задумчивы, тихи и как-то внутренне подтянуты. Об опасности, о предстоящих трудностях, о возможности смерти никто не говорит.

— Эх, ребятки, покурить бы в самую пору! — вздыхает пожилой боец, проводя ладонью по длинным, опущенным вниз усам.

Достает кисет, нюхает табак и убирает обратно в карман стеганых шаровар. Курить строжайше запрещено. И это, пожалуй, самое тяжкое лишение в эту ночь. Ведь даже мне, некурящему, хочется вдохнуть едкий махорочный дым.

Вот молодой, худощавый, остроскулый красноармеец, присев на снегу, что-то пишет, приспособив на прикладе лист бумаги. Должно быть, письмо домой. Человек пять молча стоят возле него, вспоминая, вероятно, в эту минуту своих близких.

В лощине под курчавой, раскидистой сосенкой, ветви которой поникли под тяжестью снежных подушек, группа бойцов сбилась вокруг круглолицего крепыша красноармейца. На вид ему двадцать — двадцать один. Он, должно быть, слывет в роте ветераном. У него три нашивки за ранение и медаль «За боевые заслуги», которые он подчеркнуто выставил напоказ, распахнув ватник.

В эту морозную ночь он вспоминает другую ночь, год назад, под Калинином, и окружающие жадно ловят его слова.

— ...И вот как мы рванем на Волгу, я аж кубарем скатился на лед, а он со своих позиций как примется нас минами глушить, да из пулеметов, из пулеметов. Сперва-то мы сдуру залегли, а он пуще... Тогда, видим, это ему нравится, что мы залегли. Сверху-то, с крутоярья, он по нас, как по куропаткам, постреливает. И тут: «Вперед, товарищи!» Мы как рванем «ура!», и будь здоров... Главное — это его оборону прошибить. Самое важное дело. А там все пойдет. Там, если ты его возьмешь как следует за жабры, он сам попятится. Смерть как

боится окружения.— Обстрелянный ветеран вздыхает.— Воп там, на Волге, меня в первый раз осколком и приложило.

— Сильно?

— Да как сказать, не очень чтобы сильно, но в самый раз в ногу.

— А убитых много было? — тут же спрашивает кто-то.

— Убитых? Были убитые. Да что об этом! Тут главное — смелость. Важно не растеряться. Ты думаешь, залег в снег и спасся, как же, тут тебя пуля как раз и найдет. А если ты смелый, тебя и пуля облетит, и мину перехитришь. Ну а струсил, рот разинул — на себя пеняй.

— Эх, курнуть хоть разок...

ХРОНИКА НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ

К исходу ночи части скопились у переднего края. Артиллеристы расчехлили орудия. Им здорово пришлось поработать, артиллеристам. Это ведь чертовски тяжело, тащить пушку по ходам сообщения. Пулеметчики обжили новые позиции. Пехота сбилась в овражках.

Горизонт уже начинал на востоке светлеть, когда по ротам стали читать боевой приказ. Легко представить себе, какую бурю чувств могут поднять в душе человека два коротких, много месяцев ожидаемых и в эту ночь произнесенных вслух слова: «Приказываю наступать!» Они подействовали точно сильный электрический разряд. Они возбудили какой-то неопределенный гул приглушенных голосов. И в гуле этом, взволнованном и нетерпеливом, нашло разрядку все напряжение последних дней и ночей.

«Приказываю наступать!»

Эти два слова поняли не только русские, но и казахи, узбеки, татары, которых немало среди бойцов пополнения. Поняли, хотя переводчики и не начали переводить. Кто-то одиноко, не очень громко, почти шепотом выкрикнул: «Ура!» — но ему заткнули рот ладонью: «Тихо!» — И над головами замелькали в воздухе поднятые вверх винтовки.

По ходам сообщения пехотинцы бегом потекли к штурмовым лазейкам, уже расчищенным даже от снега.

Замечаю, что, проходя мимо замполита роты, молодой боец, тот, кто недавно писал, положив бумажку на приклад винтовки, сунул ему в руку какой-то конверт.

В предутренней мгле стал падать крупный снег. Пухлой подушкой ложился он на плечах, на шапках бойцов, точно бы желая замаскировать их.

Ах, как медленно рассветало в этот морозный день. В отдалении, в леске, тихо гудели моторы заведенных танков. Артиллеристы снова и снова осматривали свое хозяйство, подтягивали ящики со снарядами поближе к орудиям.

— ...Эх, покурить бы!

Тишина, стоящая над позициями, кажется такой густой, что почти физически ощущаешь, когда в лесу трескается от мороза какая-нибудь старая сосна. Тут уж ничего не поделаешь — инстинкт, даже опытный воин вздрагивает и оглядывается. Звук телефона, зазуммерившего вдруг в землянке, заставляет всех застыть.

— Проверьте часы... Сейчас ровно семь сорок пять.

Начальник артиллерийского дивизиона подвел часы на полминуты вперед. Стрелка медленно, очень медленно ползла к восьми. Я вышел из блиндажа. По дорожке, прото供енной в снегу между двумя соснами, за которыми притаилась рогатка стереотрубы, нетерпеливо прохаживался командир артиллеристов.

— Только раз в жизни, когда оперировали жену — у нее были трудные роды, а я мотался по больничному коридору и не знал, выживет она или нет,— время тянулось так подло.

И, недоговорив, остановился, крепко схватил меня за плечо и уставился куда-то в прогалок между сопками. Над лесом неторопливо взвилась ракета. Дорисовав в светлеющем небе пологую дугу, она стала падать, но, прежде чем она коснулась снежного горизонта, командир уже хрипло выкрикнул:

— По цели номер один — огонь!

Лес вздрогнул. Тяжелые снежные подушки стали сползать с сосен. Облегченные ветви выпрямлялись, разбрасывая иней, весь лес ожил.

— Цель названная — огонь!

Огневой вал артиллерии. Страшный грохот разных калибров. Отдельные выстрелы теряются в нем, сливаясь

в один сплошной раскат. Бурые и белые разрывы поднялись над неприятельскими укреплениями, по полю мечутся седые смерчи. Само поле из утренне-голубого сразу стало рябым и пятнистым, его уже заволакивало дымом.

— Огонь, огонь!..

Какие-то мгновения ошарашенный неожиданным артиллерийским ударом противник молчит. Потом начинает отстреливаться. Выстрелы и разрывы сливаются в общем грохоте. Их и не различишь в густых раскатах, сотрясающих лес. Но несколько стремительных снежных смерчей, возникших рядом, говорят, что немцы оправились от неожиданности и огрызаются.

— В укрытие, в укрытие! Чего мотаешься... как рыбка в прорубке! — хрипло кричит часовой, вталкивая меня буквально в шею в блиндаж наблюдательного пункта, и уже вслед я слышу осуждающее: — А еще командир! Пришибет, как зайца, попусту.

В блиндаже полутьма. Песок сыплется меж бревен накатника так, что кажется, будто там возится стая мышей. Стараясь перекричать гром пушек, надрывается у трубки связист наблюдательного пункта:

— Фиалка, Фиалка... Я — Роза.

У Розы возбужденный, встопорщенный вид, и капли испарины покрывают широкий, картофелевидный нос.

— Фиалка? Да куда ты к дьяволу... Я — Роза, Роза... Очухался? Давай живо к телефону седьмого. Первый просит... Первый у аппарата, слышишь?

Связист тянет кому-то трубку, и я вижу рядом ладную фигуру комдива. Как его занесло сюда, на наблюдательный артиллерийский пункт?

— Седьмой? Огоньку, огоньку подкинь...— хрипит он в трубку.— Правый фланг ему пропарь. Не скупись на огурцы.

В какие-то доли секунды канонада достигает наивысшего напряжения, такого, что начинают ныть зубы. Плотное облако дыма совсем затянуло вражеские позиции. Красноватые огоньки разрывов мечутся в нем. Лишь вдали виднеется над дымом вершина леска, она еле прорисовывается, как вершина горы под утренним туманом. Земля гудит, трясется. Это уже похоже на Сталинград. Да и не просто на Сталинград, а на Сталинград в минуты настоящего горячего боя.

И вдруг все смолкает. Несколько мгновений невероятной тишины, такой тишины, что звенит в ушах, и потом

откуда-то из бурых клубов дыма доносится негромкое «ура!». Поначалу оно совсем жиденькое, но звук его быстро нарастает. Теперь оно несется уже с разных концов, и его не в силах уже заглушить ни хлопки винтовочных выстрелов, ни пулеметные очереди.

Ах, это наше «ура!»! Старый боевой клич русских воинов! Как громко и раскатисто гремит оно в спектаклях и кинофильмах! Здесь же, где идет настоящая война, за пестрыми звуками боя его едва можно угадать. Но для того, кто несет его, наступая, оно звучит как гром, в котором тонут все звуки, в старом кличе этом черпает наступающий и боевую ярость, и презрение к смерти, и веру в успех, и чувство неразрывной связи с боевыми товарищами, самое важное и дорогое чувство на войне.

Пехота хлынула из штурмовых ходов на поле, развернулась и несет с собой это свое «ура!». Его подхватывает вторая волна, третья. В тот миг, когда боец делает по земляным ступенькам три шага, ведущих его из укрытия в чистое поле, над которым шипят снаряды и зло посвистывают пули, в этот короткий миг, такой значительный и важный, когда одним мгновением проверяется настоящее качество человека и воина, «ура!» помогает ему погасить в себе естественный страх и уже расчетливо применить свое малое или большое боевое искусство.

Волны «ура!», накатываясь одна на другую, начинают удаляться. Теперь уже и без стереотрубы отлично видно, что первые цепи пехоты достигли колючей проволоки, порванной и разметанной артиллерией. Несколько живых потоков как бы текут по трем заблаговременно проделанным саперами проходам, но некоторые бойцы, раздеваясь, бросают на проволоку шинели, вещевые мешки и по ним перескакивают колючую железную паутину.

Пулеметы противника бьют уже из глубины. Неужели он отошел? Да, отошел. Передние из наступающих уже рядом с немецкими окопами. Скрываются в них. Снова появились. Зачем? Неужели отходят? Нет же, нет! Они бегут вперед, преследуя одинокие фигурки отступающих. Наступление продолжается. Несколько цепей мелкими перебежками обходят еле видные на снегу, но изрыгающие огонь и дым холмики дзотов.

Теперь уже можно подняться на наблюдательную вышку. Командир дивизии направляется к ней.

— У немцев великолепная разведка. И войсковая, и воздушная, и агентурная, черт ее возьми. А вот здесь все три прозевали, ей-богу, прозевали,— довольно говорит он, адресуя эти слова не мне, а куда-то в пространство, может быть, убеждая самого себя.

И в самом деле, удар артиллерии был не только могуч, но и внезапен, потому что на передних линиях противник не оказал даже сколько-нибудь серьезного сопротивления. Зато пушки и пулеметы, скрытые им на второй линии обороны, в еще не разрушенных блиндажах, продолжают неистовствовать, преграждая путь наступающим. Пехота залегла. Цепи неподвижно застыли на снегу. Серенькие облачка разрывов пляшут, танцуют по полю. Ведь вражеским артиллеристам отлично видны темные фигурки, застывшие на снегу. Что же будет? Ага, снова берут слово артиллеристы. Увлеченные зрелищем наступления, мы как-то проглядели момент, когда они вытащили свои орудия из укрытий на открытые позиции. На довольно-таки широком участке, что просматривается с наблюдательной вышки, хорошо видно, как они тянут несколько небольших пушек вслед за пехотой. Сзади, из леса, басистые гаубицы, перенесшие свой огонь в глубину, стараются заткнуть глотку немецким дзотам.

И кажется, довольно удачно. Вот трижды ударило орудие справа. Еще и еще. И дзот, замаскированный копной, обвалился и замолчал. Но их еще несколько, живых вражеских дзотов. Они лают то здесь, то там. Они сотрясают воздух короткими рыкающими очередями. Те артиллеристы, что успели вытащить свои пушки на открытые позиции, начинают бить прямой наводкой. На поле прорыва артиллерийская дуэль. Бьют кинжальным огнем. Ага! Это действует. Один за другим смолкают вражеские дзоты. У нас тоже разбито несколько орудий. Одно из них накрыли невдалеке от нас. Мы видели, как полыхнул огонь взрыва, а когда дым осел, орудие стояло боком, припав на разбитое колесо. Возле него темнели неподвижные фигуры расчета. Убиты? Конечно... Но что это? Две из неподвижных фигур зашевелились, поднялись, засуетились около орудия, и вдруг подбитая пушка опять заговорила.

— Орлы! — опуская бинокль, прохрипел командир дивизии.

Ни на минуту не отрывал он взгляда от картин боя.

Даже нитку телефона провели ему сюда. И два телефониста, Фиалка и Роза, оказались рядом.

Полковник подозвал одного из связных.

— Доползешь вон до тех артиллеристов, видишь, у кустов, у хромой пушки. Узнай фамилии. Скажи: к ордену их представляю.

Так в первый час боя были представлены к наградам наводчик Степан Морковин, заменивший в бою убитого командира орудия, представлен за то, что, раненный осколком мины в ногу, он продолжал вести огонь из подбитой пушки. Помогал ему в этом ездовой Серафим Иванов...

Немецкие пушки отлаиваются все реже. Наши их одолели. Но это еще не все. Откуда-то издали начинает бить вражеская тяжелая артиллерия. Снаряды летят через головы отступающих и наступающих, но артиллерийская разведка, по-видимому, уничтожена или убежала, прицельность плохая, и тяжелые снаряды, не принося особого вреда, рвутся в лесу, калеча и обезглавливая осколками сосны.

Передовые цепи уже скрылись за деревней.

— Коробочки? Где коробочки? Пора. Передайте приказание наступать. Быстро! Аллюр три креста! — командует полковник.

Танки, как допотопные животные, начинают выбираться из леса. Осторожно покачиваясь, минуют свои окопы, фырча и дымя, проходят по разминированным полосам и вдруг, зарычав, показывая неожиданную при их комплекции резвость, рвутся вперед, стреляя, строча из пулеметов, оставляя парные следы гусениц на израненной, вздыбленной земле.

Наступление перевалило за дальний холм. Поле, густо пропаханное снарядами и минами, пестро и пусто. Лишь одинокие фигурки движутся по нему. Это связисты тянут линии на новые командные пункты батальонов. Это санитары делают свое благородное, нелегкое дело, хлопоча около тяжелораненых. И это легкораненые. Поддерживая друг друга, они бредут на батальонный пункт первой помощи. Но видно и тех, кто неподвижно застыл на снегу. В траурных письмах, которые завтра пойдут с фронта, будет сказано: «Пали смертью храбрых». Да, смертью храбрых. Открывая нашим частям путь в это новое, еще неизвестно что сулящее наступление. Вечная

память и вечная слава вам, людям разных краев страны, павшим в тверских лесах, в одном из бесчисленных боев, что гремят сейчас по всему лику нашей земли.

Удаляясь, стихает бой. В землянку, где полковник устало пьет принесенный ему в термосе чай, вваливается связной в разорванном и грязном маскхалате. Дрожащей потной рукой он протягивает пакет. «Прошли передовые укрепления. Перенес командный пункт в глубину»,— докладывает командир правофлангового полка. Снова связной. Уставший. Еле стоящий на ногах. «Разбил три дзота. Взял два орудия среднего калибра. Запас снарядов. Много всякого барахла. Подсчитывать некогда, наступаю. Ориентир прежний»,— написал на листке, вырванном из полевой книжки, командир головного штурмового батальона.

И снова связной. «Вышли на рубеж атаки на деревню Пастухово. Понес существенные потери. Прошу поддержать артиллерией, танками» — это уже от командира левофлангового полка.

Комдив сдвинул на затылок кубанку. Вытирает пот со лба ладонью, как человек во время тяжелой, напряженной физической работы и, отодвинув стакан с чаем, надевает очки и склоняется над картой.

Вечером лейтенант Собачкин, у которого левая рука, по словам его, «так, поцарапана», висит, однако, на бинте, устало рассказывает о подвиге сапера-красноармейца Евгения Лапина. В первую же минуту артиллерийской подготовки Лапин, как и было предусмотрено, подполз к проволоке и стал ее резать. Его ранило в плечо. Он продолжал свое дело. Осколок мины ранил его вторично. На этот раз в кость ноги. Его товарищи видели, как он, волоча окровавленную ногу, продолжал резать проволоку. Так он и работал, пока жизнь не покинула его. И нашли его уже по ту сторону проволочных заграждений. Лежал в снегу, сжимая кусачки в уже окоченевших руках.

— Вот перед атакой мне дал. Прочтите,— сказал лейтенант Собачкин, протягивая смятый листок бумаги. И мне показалось. что хрипловатый голос при этом странно дрожит. На клочке бумаги, вырванном из

школьной тетради, косым почерком, расплывающимся чернильным карандашом было написано:

«В партбюро полка. Заявление. Идя в наступление, прошу принять меня, комсомольца Лапина Евгения Михайловича, по социальному положению колхозника, бойца Красной Армии, в родную непобедимую партию большевиков. Обещаю в бою вести себя коммунистом. А если убьют, прошу считать, что погиб Лапин Евгений Михайлович коммунистом за Родину, за Сталина. Прошу рассмотреть мое данное заявление. К сему Лапин Евгений, красноармеец».

Читал заявление, рассматривал фотографию в комсомольском билете. Худое, остроскулое, совсем мальчишеское лицо владельца билета вдруг почудилось знакомым. Где я его видел? Ах да, он похож на того бойца, что ночью, при лунном свете, что-то писал, положив бумагу на приклад винтовки. Он или нет? Как теперь проверишь? Вполне может оказаться, что именно он. Но как бы то ни было, это письмо перед атакой интереснейший документ, а красноармеец Евгений Лапин действительно погиб как настоящий коммунист. Евнович тщательно переписывает в свой блокнот текст заявления. Может быть, завтра или послезавтра Совинформбюро и процитирует его заявление в сообщениях о боях, развернувшихся теперь «северо-западнее Ржева».

В этот день, как я узнал потом, в парторганизацию дивизии, которой командует полковник Бусаров, было подано семьдесят шесть таких заявлений.

В «МЕРТВОЙ ЗОНЕ»

Фронт двинулся. Фронт наступает. Сразу в трех направлениях. И вот беда: именно сейчас, когда для журналиста все дороже связь с редакцией, провод Генштаба загружен круглые сутки.

Капитаны и майоры из оперативного отдела, или, как мы для краткости говорим между собой, из «оперы», не отходят от телеграфных аппаратов. Один из них, наиболее упорный, даже и спит в аппаратной, сидя на ящике за кубом с кипятком. Так и следуют одна за другой разведсводки, оперативные шифровки, политдонесения. Пробиться к проводу, чтобы передать в Москву материал

о наступлении,— никакой возможности. Даже магическое слово «Правда», обычно размягчающее самые суровые сердца, в этих обстоятельствах не действует.

Начальник узла связи, славный, жизнерадостный москвич, театрал, любитель искусства, обычно не пренебрегающий возможностью потолковать и поспорить о литературе и всегда охотно помогающий нам, корреспондентам, разводит руками:

— Родные мои майоры, даже сам господь бог, назначь его дежурным связи, ничего не мог бы для вас сделать.

Приходится ночью по занесенным метелями дорогам ехать за добрую сотню километров в соседнее, как говорится, хозяйство, где сейчас еще тихо и московский провод не очень загружен. Зато, когда через два дня я вернулся обратно, на прежних местах никого из знакомых уже не было. Штабные землянки занимали вторые эшелоны. На вопрос, где штаб, интендант показал на запад, куда-то за бывшие немецкие укрепления,— оттуда сейчас едва доносятся звуки отдаленной артиллерийской пальбы. На машине ехать не советую: много мин. Езжайте на лошадке. Пошли навстречу, дали сани. Прикрепили повозочного — дюжего пожилого украинца со странной фамилией Конопля. Вот с ним-то мы и отправились догонять линию фронта.

— Был я там — скаженные места. Пусто, як на тим кладбище. Что там фашист понаделал, крещеному человеку и смотреть на то погано.

Конопля старый солдат. Немцев он называет германцами. И говорит, что в третий раз встречается с ними.

— В третий?

— Так точно, в третий.

Оказывается, в первую мировую войну он воевал с ними у Мазурских болот. Второй раз в гражданскую в эскадроне червонного казачества изгонял немцев с родной Черниговщины. Сейчас у него воюют три сына. Сам пошел в Красную Армию добровольцем после того, как оккупанты разорили родной его колхоз «Днипростан», где он был бригадиром полеводческой бригады и считался специалистом по выращиванию кукурузы. Дважды его ранило в империалистическую войну. Один раз в гражданскую. И в эту пуля не обошла, повредив ему коленную чашечку в бою за город Клин. Охромел. Хотели уволить по чистой, но он пошел с рапортом по началь-

ству: «Ну куда я пойду, когда моя хата под оккупацией? А в военном хозяйстве сейчас и ржавый гвоздь к делу». Теперь вот он ездовой.

— ...Я этой самой минуты, когда мы его тут попятим, будто праздника Христова ждал. Все думал: доживу до того светлого дня или раньше убьют, старого черта? А шибко ведь хочется жить,— говорит он, теребя вожжи и слегка поощряя кнутом своего тяжелого, упитанного, явно трофейного коня, которого он и зовет Гансом. Потом вдруг поворачивает ко мне свое красное, выдубленное здешними лихими ветрами, морщинистое солдатское лицо: — А вот, товарищ майор, и дожил. Вперед пошли. Может, пуля помилует и Черниговщину свою увижу. Хотя и глядеть там, наверное, нечего, все занищено. Смерть-то что! Я с ней третью войну под одной шинелькой сплю. Бабу кулаком, а солдата смертью не испугаешь.

Мне бы только глазком глянуть, как он, германец, третий раз от нас почешет. А там хоть выписывай старшина мне наряд прямо в ад.

Конопля точно бы думает вслух. И мне ярко вспоминается вдруг, что то же самое слышал я не однажды — и от пожилого летчика, с которым на связном самолете летал через фронт к калининским партизанам, и от того сталинградского солдата-сибиряка, что ходит в свободную минуту на передовую «пощелкать» немцев, и от женщины-врача, что умирала у нас на руках на катере, бежавшем через Волгу. Общая, можно сказать, национальная наша мечта.

Конопля вздыхает глубоко, с шумом. И начинает обрывать сосульки с длинных, обвисших, совсем шевченковских усов.

— Только вот, как задумаюсь о своем колхозе, мерещатся мне пепелище да трубы. Страшная, товарищ майор, после фашиста земля остается. Одни головни. Да что там головни, кладбище — оно и то веселее. Вот увидите сейчас.

С каким-то особым, тревожным нетерпением ждешь встречи с этой только что освобожденной из более чем годового плена нашей тверской, верхневолжской землей. Немало уж довелось мне походить по фашистским следам, но везде, откуда мы до сих пор неприятеля выбивали, они пробыли, месяца два-три, много — пять. Здесь же, в этих местах, они сидели больше года. Что увидим

мы за этой изорванной, сбитой артиллерией проволокой? Какие следы оставил отступивший враг?

Умный конь осторожной рысцой спускается с холма, откуда мы наблюдали бой прорыва. Сани, раскатываясь на утоптанной дороге, съезжают в лощину, минуют проход, прорезанный в проволоке красноармейцем Евгением Лапиным. Теперь проход этот расширили. Сотни ног прошли по этой дороге. Ее протоптали, накатали, она стала твердой и сверкающей, как стекло.

Знакомые, очень знакомые края. Не раз заносила сюда меня журналистская профессия. А сейчас вот гляжу и ничего не узнаю. И какая-то звериная тоска заползает в душу. У историков древностей встречаются описания краев, выкошенных повальным мором, разрушенных, обезлюдевших, заносимых песками городов. Вот эти-то картины далекого прошлого невольно приходят на ум, когда разбитые и развороченные неприятельские блиндажи и окопы остались позади. Кажется, что за неширокой полосой земли, лежащей между нашими и неприятельскими укреплениями, которые конь наш пробежал за пару минут, кончилась жизнь и мы как бы перепрыгнули сразу на много столетий назад, когда целые края оказывались обезлюженными.

За два дня метель уже затянула снегом воронки, выбоины, битую технику. Куда ни глянешь — пусто. А ведь это были удивительно красивые края Верхневолжья. Земля здесь никогда не была особенно щедра, но люди с любовью возделывали ее, и льны здешних мест славились на всю область длинным, тонким, шелковистым волокном, а льноводы — умением и мастерством взращивать их. В последние годы колхозы здешние богатели, обрастали новыми избами, обзаводились добротными хозяйскими постройками. Молодые сады начинали давать первые и еще робкие урожаи, появился племенной скот.

И вот пустыня. Ни дома, ни амбара, ни риги, ни даже колодезного журавля. Ни одного теплого дымка. Ничего, что хоть чем-нибудь напоминало, что тут работали и строились люди. По карте я уже наметил для себя колхоз «Первая пятилетка». Знал я этот колхоз. Три года подряд участвовал он в Сельскохозяйственной выставке, получал какие-то призы, был предметом законной гордости района. На карте возле названия «Сидоровка» цифра 52. Значит, пятьдесят два двора. Но знаю —

карта устарела, дворов уже было около семидесяти. И еще были водокачка, мельница, родильный дом. Колхоз достраивал собственную школу. Года полтора назад ходил я по усадьбе этого колхоза, и председатель правления, пожилая женщина, радостно поверяла мне колхозные планы и собственные свои задумки.

Да, вот здесь, у развилки дорог, и помечена Сидоровка. Развилка есть, а Сидоровки нет. Ровное поле. Какие-то холмики, занесенные снегом. Сухой бурьян торчит из-под сугробов. Обгорелые метелки мерзлых ветел. Только развалина силосной башни, да торчащие из снега заржавленные седловины льняных комбайнов, да прибитая к колу аккуратная дощечка с немецкой надписью «Сидорофка» — вот и все, что напоминает теперь о сильном, богатом хозяйстве.

— От то, товарищ майор, и есть фашизм,— обобщает Конопля, бросая в сани длинный конец скрученной в кольцо веревки. Он только что отвязал эту веревку от двух обезглавленных берез. Вероятно, когда-то на ней сушили белье, теперь она болталась над снежным полем. Война. И веревка пригодится.

Вообще, как я заметил, Конопля человек хозяйственный. Подкову на дороге увидел — подобрал, сунул под сиденье. Забытая саперами лопата торчала из снега — забрал лопату. С убитого коня снял седло. Долго ходил с ним вокруг маленьких санок, выискивая, куда бы его пристроить. Но было некуда, седло пришлось оставить. И он аккуратно положил его на дороге, на видном месте.

— Авось кому сгодится. У власти расходов нынче много. Гвоздь — он и то в дефиците...

Едем уже не первый час. Но канонада все еще слышится вдалеке. На пути следующая деревня — Шестопаловка. По карте полагается быть здесь тридцати шести домам. Сохранилось лишь семь, да и те погружены в сугробы. Снег замел их по самые оконницы. Нахальный жирный бурьян пророс сквозь доски крылечек, и теперь метелки его шелестят под ветром.

— Ай-яй-яй, ай-яй-яй! — качает головой Конопля.

В этой деревне, по-видимому, долгое время была размещена какая-то воинская часть противника. Но солдаты и офицеры в домах почему-то не жили. У околицы для них сооружен целый подземный городок, городок блиндажей, облицованных с внутренней стороны бревнами и

досками разобранных домов. Он был построен с величайшей аккуратностью. Блиндажи похожи один на другой, как патроны в одной обойме. Входы украшены крылечками и перильцами, сделанными из стволов молодых березок. Вдоль стен двух- и трехэтажные нары. И повсюду репродукции нагих красавиц, на все вкусы, вырезанные, вероятно, из каких-то журналов. И острый запах дуста, преследующий тебя по пятам, который невольно начинает мниться особым, «фашистским» духом, как определяет Конопля.

Старый воин, держа наготове винтовку, задумчиво ходит из блиндажа в блиндаж, и на обветренном лице его явно борются два противоречивых выражения: хозяйственное одобрение добротности работы и прямо-таки лютая ненависть к тем, кто ее проделал. Пока я фотографирую блиндажи, он исчезает, и уже откуда-то издали слышится его ликующий крик:

— Товарищ майор, гляньте, што тут нароблено!

В сторонке от блиндажного городка он обнаружил целый склад крестов, сколоченных все из тех же молодых березок с белой, неободранной корой. Крестов много. Все они одинаковые, абсолютно точные по размерам, будто отштампованные. Их, по-видимому, заблаговременно заготовляли и складывали под брезентами. Наш снаряд раскидал штабель, разбросал кресты.

— О смерти-то они, видать, день и ночь думают,— торжествующе говорит Конопля.— Тут им не Франция. С мадамами под ручку по бульварам не погуляешь... Як те кроты, под землю лезли. И крестом запаслись богато. Только вот кто те кресты ставить будет?.. Есть нам на то время?..

Да, ставить некому. Части наши, стараясь не потерять темп наступления, ходом миновали деревню. Тела убитых немцев не успели даже убрать. Они валяются тут и там в окаменевших позах, похожие на старых кукол. И только милосердная метель покрывает их снежным саваном.

Тут же, поодаль, брошенная прислугой батарея. Аккуратно сложенные стопки снарядов в плетеных корзинах. И опять несколько убитых. По-видимому, их накрыл снаряд. Конопля постоял возле этих растерзанных тел, вертя в руках немецкую алюминиевую фляжку с привинченным стаканчиком, зашитую в зеленое сукно.

— Добрая работа,— говорит он и вдруг, размахнувшись, закинул флягу далеко в снег.— А, нехай пропадает...

Мы продолжаем ехать, по-прежнему не видя ни одного местного жителя. Это и есть «мертвая зона». Так она официально и именовалась в приказах неприятельского командования. Создание таких «мертвых зон» в районах, прилегающих к фронту,— одно из самых изощренных злодеяний фашизма. Зоологический страх перед партизанской местью заставляет немецкое командование сгонять тысячи и десятки тысяч мирных жителей с родных мест и гнать их в чужие края без всяких средств к существованию. После этого деревни сжигаются, а дома разбираются на бревна для блиндажей. Сады у дорог вырубаются, брошенные поля зарастают сорняками и бурьяном, которые в обычной жизни были некрасивой, но в общем-то безобидной травой, скромно ютившейся на задворках, и которые сейчас, будто в фантастическом романе, под влиянием инопланетных злых сил, вдруг выросли чуть ли не до размеров кустарников и за одно лето затянули все следы человеческого труда, превратив столетиями обжитые места в дикий край.

Но интересное дело! Создание «мертвых зон», эта мера, рассчитанная на то, чтобы вызывать у населения страх, трепет, покорность, и, может быть, действительно где-то помогавшая Гитлеру, у нас неизменно возбуждает обратную реакцию. Именно за счет несчастных, лишенных крова, выселенных из «мертвых зон», бурно растут сейчас партизанские отряды. Именно зрелище этих обезлюженных мест, по которым идет наступление, и заряжает бойцов ненавистью, а ненависть перерастает в энергию преследования и позволяет людям почти без сна, не снимая с лиц пороховой гари, закусывая на ходу, рваться вперед, ломая сопротивление врага.

Чем дальше увозит нас мохнатый конь по кличке Ганс, тем больше видим мы на полях, на опушках лесов, в развалинах бывших деревень неприятельских трупов, брошенных орудий. Наступаем все напористее. И когда санки наши проезжают очередной промежуточный узелок обороны противника, явно накрытый залпами «катюш», добродушный Конопля аж краснеет от удовольствия.

— Добре, хлопцы, добре! О це работка! А чем тот, ихний Гитлер, за все это платить будет? Шкурой своей поганой чи еще чем? — И обобщает: — Да нема такого на свете, чтоб ему с нами за все это сквитаться.

НАСТУПЛЕНИЕ ПОД УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Низенькая избенка в одной из недавно отбитых деревенек. Проемы окон, стекла которых вылетели при обстреле, заткнуты соломой. По стенам рядом висят выгоревшие хозяйские фотографии в черных рамочках. Между цветистыми дореволюционными фирменными объявлениями, рекламирующими пиво Калинкина и шоколад Сиу, висят плакаты Сельскохозяйственной выставки. Диплом этой выставки в дубовой рамке.

В этой обычной избе течет сейчас необычная для нее жизнь. Люди в меховых жилетах, надетых на гимнастерки, сгибаются над раскладными походными столами, трещат пишущие машинки, зуммерят полевые телефоны. Сизые клубы папиросного дыма стоят в воздухе, и, удивленно приподняв тонкие брови, печально смотрит с божницы на эту необычную обстановку тусклый лик богородицы незатейливого сельского письма.

В избе размещен отдел информации Пуарма. Сюда ежедневно в 20.00 всеми средствами связи — по телефону, по телеграфу, с нарочным, с попутной оказией из наступающих дивизий — стекаются сообщения о самом интересном, что произошло за минувшие сутки, с тем чтобы потом войти в политдонесение, попасть в сводку Совинформбюро, в статьи, зарисовки и очерки корреспондентов. Как говорит мой друг Александр Евнович, здесь можно смотреть на ход наступления как бы через увеличительное стекло, разглядывать тот или иной интересный случай во всех деталях, что, разумеется, находясь в наступающих частях, не сразу и разглядишь. Обычно, узнав здесь о каком-нибудь особенно интересном событии, мы спешим на место происшествия, чтобы там собрать уже «настоящий материал».

Но сегодня мы поставили перед собой другую задачу: как бы взглянуть через увеличительное стекло на один из дней наступления. Попросили маленького веснушчатого капитана, инструктора отдела информации, рассказать, что произошло за один минувший день, за один

закончившиеся сегодня сутки. Тонкими пальцами музыканта (потом выясняется, что наш собеседник действительно до войны играл на виолончели в Днепропетровском симфоническом оркестре) капитан быстро перебирает последние политдонесения.

Вот что произошло.

Коротким сильным ударом во фланг дивизия сбила в этот день противника с глубинных укреплений. Не выдержав напора, он отошел под прикрытием огня к сильно укрепленной высотке, находившейся в глубине обороны. Беспорядочный и поспешный отход этот, должно быть, напугал тех, кто сидел в прочных оборонительных сооружениях. Это дало возможность авангардному подразделению младшего лейтенанта Романова ворваться в немецкие доты, опередив при этом свой батальон. Захват высотки не входил в боевую задачу взвода, но горстка бойцов с винтовками и гранатами, внезапно появившаяся перед самыми амбразурами блиндажей, обратила противника в бегство. Высота была занята без потерь.

Но прошло время, отступившие опомнились. Они поняли, что имеют дело не с крупной частью, а с горсткой храбрецов, оторвавшихся от основных сил. И решили вернуть высоту. На опушке леска появился неприятельский батальон и стал наступать, полукольцом охватывая высотку. Для операции этой был выделен даже легкий танк. Сидевшие в блиндажах бойцы Романова отчетливо слышали стрекотание его мотора. Романов прикинул соотношение сил. Под его командой было всего двадцать с небольшим человек. Усталые, потные после долгого и утомительного марша по снежной целине. Против них наступал батальон, да еще поддержанный танком.

— Ребята,— сказал лейтенант,— нам эта высота досталась даром. А сколько наших ляжет здесь, если пустим сюда немцев и нам снова придется ее брать?

Бойцы молчали. Толкались, грелись, дышали в ладони, жевали хлеб.

— К бою! — скомандовал лейтенант.

Так началась схватка горсточки храбрецов с вражеским батальоном. Схватка, завязавшаяся около полудня и продолжавшаяся до темноты.

Противник снова и снова бросался в атаку. Его под-

пускали на предельно допустимую дистанцию, а потом умело организованным огнем заставляли откатываться. Особенно успешно действовали бронебойщики, которые с двумя противотанковыми ружьями сползли к самому подножию высотки. После первой же атаки танк загорелся.

С каждой новой атакой наступающие действовали упорней. Но и выстрелы с укреплений гремели не так уже дружно. Не стало любимца роты, весельчака Гаврилова, бросившегося со связкой гранат навстречу танку и погибшего под гусеницей. Действуя у ручного пулемета и отражая пытавшегося зайти с тыла противника, погиб инструктор политотдела Данилов, случайно оказавшийся вместе со взводом. Было ранено и еще несколько храбрых ребят. Но оставшиеся бились за себя, за павших и за выбывших из строя. Легкораненые продолжали стрелять. Раненые потяжелее заряжали диски. Наконец осколок мины ранил командира. Лейтенант велел посадить себя у амбразуры, из которой видно было поле боя, и продолжал через связного отдавать команды, а один раз даже лег к ручному пулемету. Наш наступающий полк все время слышал впереди гул этой схватки. И когда стемнело, передовой батальон приблизился к высотке. У подножия ее догорали танки. Наступавшие обтекли высоту и, оставив на ней санитаров и походную кухню, двинулись вперед.

В тот же день и приблизительно в тот же час, когда бойцы лейтенанта Романова вели в глубине вражеских позиций бой за высоту, на другом участке наступления лейтенант Джура, командир тяжелого танка, пробив на своей машине вражескую оборону, прокладывал путь пехоте. Благополучно обойдя минное поле, потоптав проволочное заграждение и несколько попавшихся на пути вражеских блиндажей, он ворвался в центр деревни, которую неприятель превратил в укрепленный узел, и начал, как говорят танкисты, «совать снаряды» в амбразуры дзотов. Надо прямо сказать, танкисты погорячились, оторвались от пехоты, но отходить, не израсходовав боекомплекта, не захотели или не сумели. Продолжали сражаться.

Тяжелый танк — машина, не приспособленная для боя среди вражеских укреплений. Изловчившись, немец-

кий сапер без труда прилепил к борту танка магнитную мину. Правда, в следующее мгновение машина раздавила его, как червяка, но мина уже присосалась к телу танка. Раздался взрыв, и перебитая гусеница лесенкой распласталась на снегу. Самое скверное, что боекомплект был расстрелян и у танкистов не оставалось ничего, кроме их личного оружия. Неприятельские солдаты подползли к парализованной и онемевшей машине. Стали стучать прикладом в броню, предлагая сдаться. В ответ услышали фразу, которая при всей ее выразительности и цветистости, увы, невоспроизводима в печати. Тогда началась осада машины. Подвезли тол, укрепили шашки на корпусе. Ухнул взрыв. Машина не поддалась. Перед тем как произвести второй взрыв, танкистам снова предложили сдаться. И опять был получен сочный и выразительный ответ. Новый взрыв окутал машину дымом, но, когда дым осел, танк продолжал стоять на месте.

Тогда, видимо, отчаявшись получить машину целой, неприятели решили сжечь ее вместе с экипажем. Натаскали хворосту, соломы. Облили все газолином. И когда уже были готовы поджечь, в танке раздалось несколько пистолетных выстрелов. Решив, что экипаж покончил с собой, машину оставили в покое. Так он и стоял весь день без внимания. Но когда наш полк начал штурм этого укрепленного узла и бой перекинулся в глубину обороны, немцы, оборонявшие деревню, вдруг услышали выстрелы и «ура!» у себя за спиной. Это экипаж танка во главе с Джурой, выбравшись из нижнего люка, наносил неприятелю удар в спину.

— И представьте, трое из них живы... Двое даже не ранены, так, слегка опалены... Между прочим, находятся на пути сюда, к нам, в штаб армии,— сказал нам офицер, дававший информацию.— К вечеру сможете их увидеть. О них уже доложено командующему фронтом,— сказал и сейчас же перешел к следующему.

После длительного, утомительного марша, продолжавшегося почти сутки, пулеметчик-сержант Куделин в одном только бою сразил двенадцать вражеских пехотинцев, пытавшихся контратаковать. Один — двенадцать! И это не преувеличение. Политрук, приславший донесение, пишет, что в подлинности его убедился на месте сам. А вот еще случай.

Разведчики-лыжники Завидов и Сидякин отправи-

лись ночью в поиск за «языком». Идя лесом, увидели отступающую вражескую часть. Их не заметили. Они углубились в лес и долго бежали по сугробам, обгоняя отступавших. Обогнали, замаскировались в снежной засаде и при приближении противника открыли огонь из автоматов. Вместо «языка» они принесли офицерскую сумку с картой и документами и четыре новеньких «шмайсера».

— Нет, подождите, это еще не все,— сказал офицер, видя, что мы уже складываем блокноты.— Вот тут еще любопытный случай... Офицер связи Романенко должен был доставить в батальон важный приказ. В начале дороги его ранили. Ранил из засады снайпер. Ранил дважды: в плечо и в руку. А Романенко все же прошел еще два километра, догнал батальон и вручил командиру приказ.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Все это произошло в одной армии и за одни только сутки наступления. Повторяю: за одни сутки. Мы шли сюда с тем, чтобы дать хронику одних суток, но подвиг взвода лейтенанта Романова так нас поразил, что мы тут же решили отправиться на место происшествия.

На лубяных саночках все того же старого солдата Конопли мы едем в район только что отшумевшего боя, где сражались храбрецы, с тем чтобы поговорить если и не с самим Романовым, то хотя бы со свидетелями этого боя. Как сказал Евнович, это надо дать крупным планом.

Чем ближе передовая, тем у́же и труднее становятся дорожки, протоненные в сугробах какой-нибудь наступающей ротой. Наконец мохноногий Ганс, весь взмокший и заиндевевший от трудной езды, останавливается под какой-то торчащей среди поля ветлой.

— Приехали. Дальше пеше придется,— категорически заявляет многоопытный Конопля.

Он привязывает Ганса к ветле, бросает ему сена. Подумав, снимает с себя шинель и, оставшись в ватнике, накрывает вспотевшую спину коня. Потом перекидывает через плечо винтовку, и мы втроем идем через поле к

перелеску. Здесь уже можно слышать не только артиллерию, но и говор пулеметов.

Все чаще навстречу попадаются раненые. Тяжелых везут в санях, тащат на лотках. Те, что ранены полегче, бредут сами. Вот танкист в комбинезоне, но без шлема, с забинтованной головой. Ведет под руку щуплого, тоже раненого казаха, всячески стараясь умерить при этом свой шаг.

— Ну как там? — спрашиваем мы их, кивнув в сторону, откуда доносятся звуки боя.

— Да жмем, товарищ майор! — белозубо улыбается танкист.— Не совру. Не скажу — бегут. Но пятятся, однако, ходко. Вчера вот тут, у опушки, зацепиться пытались. Мы ка-ак танками дадим, как они чесанут... Так, парень?

Казах согласно кивает головой и улыбается, морщась от боли.

— Не найдется ли покурить, товарищ майор?

И казах кивает головой: покурить, покурить...

Александр Евнович достает жестяную табакерку. Примечательную красную табакерку, на которой изображен какой-то пышный король или герцог. Черные от пороховой копоти пальцы опускаются туда. Танкист ловко завертывает папиросу и экономно стряхивает табачные крошки обратно. Потом завертывает цигарку для казаха.

— Все бы ладно, табачку нет. Подвода с табаком, проклятая, где-то заблудилась. Вторые сутки старшина морду отворачивает.

Подходят еще раненые. Табакерка с королем или с герцогом идет по рукам. Евнович лезет в полевую сумку за новой пачкой. Раненые жадно затягиваются. Иные уже присели на снегу.

Хотя есть среди них и серьезно раненные, и раны у них, конечно, болезненные, все они великие оптимисты. Всем развитие операции представляется в самых радужных красках. И любопытно, что каждому обязательно кажется — из боя он выбыл в тот самый момент, когда оставалось только нанести последний удар.

Наступаем! Снова наступаем! Этот оптимизм, уверенность в победоносном исходе боя, из которого их вырвали вражеская пуля или шальной осколок, даже само это их желание приукрасить результаты отображают тот дух,

который с каждым отвоеванным километром нарастает в войсках.

Вокруг табакерки собралось уже немало народу. Должно быть, неприятель засек это: несколько мин лопнули где-то рядом. Седые кисточки снега хлестнули в небо.

— Заметил. Расходись, ребята,— командует танкист. Он снова подхватывает под руки своего казаха и ведет его, как будто он санитар, а не раненый, которому тоже требуется помощь.

Бой здесь шел совсем недавно. Снег не успел замести следов. Вот на этой опушке враг, видимо, и пытался остановиться: там и тут лежат убитые. Золотеют кучки стреляных гильз. На сучке сосенки клеенчатая сумка, из нее торчат деревянные ручки немецких гранат. Жестокий, должно быть, был бой. У самой тропки в снегу смуглый красавец узбек. Даже мертвый, он в позе своей запечатлел порыв. В оледеневшей руке граната, которую смерть помешала ему метнуть. На тонком, будто выточенном из слоновой кости, лице окаменело выражение воли. Ветер перебирает его черные волосы, вплетая в них снежную седину. А справа в глубокой воронке трупы противников. Они организовали, наверное, здесь огневую точку. Вон на бруствере ручной пулемет. Двое немцев погибли от пуль. А у одного голова размозжена страшным ударом чем-то тяжелым. Чем? Кто его так благословил? С тыльной стороны воронки лежит, разметав руки, рослый красноармеец. Рядом винтовка с прикладом, выпачканным в крови.

Воображение быстро восстанавливает картину того, что здесь произошло. Этот русский парень вместе с узбеком атаковали вражеских пулеметчиков. Видимо, с тылу, из кустов. Погиб узбек, не бросив своей гранаты, а русский с винтовкой ринулся на врагов. Двоих застрелил, и, не имея времени сменить обойму, третьего прикончил прикладом, и сам свалился рядом, истекая кровью.

Кто-то идет. Хрустит снег. На тропе невысокий сержант. Прихрамывая, он ведет девушку. На ней не по росту большая шинель. Обе руки у нее забинтованы. На миг они задерживаются около тела узбека с гранатой. Девушка смотрит на него, и в глазах у нее удивление и страх.

— Знакомый?

Отрицательно крутит головой — нет. А слезы так и текут.

— Вот, плачет,— удивляется сержант.— Только что двух наших из самого, можно сказать, пекла вынесла. А вот, нате вам, плачет. Мертвых, что ли, не видела... Пойдемте, Женечка, еще путь немалый... Разрешите идти?

И они продолжают путь, раненый сержант и тоже раненая девушка-военфельдшер, как мы успеваем узнать, восемнадцатилетняя ткачиха из города Иванова, ушедшая на фронт в первые дни войны по комсомольскому призыву.

А вот наконец и знаменитая высота, которую отметил на нашей карте капитан-информатор из Пуарма,— маленький, зализанный ветрами холм, чернеющий шрамами развороченных артиллерийских окопов. Да, видно, бой тут был нелегкий. На склонах холма и в особенности у его подошвы тут и там серые неподвижные точки на снежной белизне.

Так вот оно, это место, где в неприятельском тылу сражалась горсточка бойцов во главе со своим храбрым лейтенантом. Пройдет зима, сойдет снег. Зелень затянет на земле раны, нанесенные войной. Окопы, блиндажи, ходы сообщения — все это зарастет, а потом и вовсе оплывет. Но хочется верить, что когда-нибудь учительница приведет сюда деревенских школьников, покажет им на этот холмик и кто-нибудь расскажет ребятам историю боя лейтенанта Романова и его боевых товарищей. И тогда, в мирном, послевоенном будущем, предстанут перед ними все эти бойцы и их командир, как настоящие сказочные богатыри...

Верю, так будет. А пока что на высотке солдаты в грязных длинных шинелях возле блиндажа варят концентраты на отвоеванных у неприятеля спиртовых таганках, чинят разорванную одежду, спят на прелой соломе. Да, точно, они из подразделения Романова. Но лейтенант в медсанбате, а им приказано отдыхать. Старшина не поскупился, отвалил продуктов, и водочки отпущено. Жить можно.

Просим рассказать об обороне высотки. Один из бойцов, Сергей Воробьев, маленький, шустрый, с узкими плутоватыми глазками на круглом, монгольского склада личике, отшучивается:

— А что рассказывать? Вросли в землю, как та репка у дедки, тянули-тянули нас немцы и не вытянули. За танкистами послали — опять ни шиша не вышло. Усидела репка. Вот и все. Вы нам лучше расскажите, что на свете делается. Как там Сталинград? Политинформации у нас третий день не было. Где еще немца лупят?

А другой, пожилой, зевает, тянется так, что хрустят кости.

— Какие мы рассказчики, товарищи начальники, наше дело — воевать. Да и что рассказывать? Воюем помаленьку.— И опять потягивается.— Спал-спал, а все спать хочется... Почему бы это?

МОСКОВСКИЙ ГОСТЬ

На фронтовом телеграфе, разместившемся теперь основательно в глубоких, многонакатных блиндажах под шатрами могучих сосен, меня ожидала телеграмма из Москвы.

Вот она:

«Из «Гранита» в «Аметист» корреспонденту «Правды» майору Полевому. К вам, «Аметист», в качестве нашего спецкора выехал писатель, бригадный комиссар Александр Фадеев тчк Встретьте тчк Устройте тчк Познакомьте с людьми тчк Представьте начальству тчк Обеспечьте срочную передачу его корреспонденций тчк Полковник Лазарев».

Вручил телеграмму сам начальник узла. Очень культурный, серьезный, но в отношениях с нашим братом корреспондентом суровый человек. Но вручил и вдруг с мальчишеской интонацией в голосе признался:

— Подумать только — Фадеев! — И вдруг попросил: — Когда приедет, разрешите, я к вам заеду, ну будто бы телеграмму привезу. А? Можно? Очень хочется на него хоть посмотреть, на Фадеева.

Признаюсь, меня это известие в восторг не привело. Фронт только что развернул направление, Совинформбюро каждый день передает свои сообщения. Есть что писать, а связь скверная, то и дело рвется. Наши сочинения ворохами лежат на пюпитрах перед девушками-телеграфистками, а тут, вон видите, встречай, представляй начальству, устраивай, обеспечивай срочную переда-

чу. Есть мне время возиться со знаменитым московским визитером!

Нет, нет. Фадеева как писателя я люблю. Книжки его читал, перечитывал и даже познакомился с ним однажды у нас в Твери, в педагогическом институте, где он вместе с Юрием Либединским выступал, довольно-таки остроумно разъясняя суть рапповских ошибок. Очень он всем нам тогда понравился. И запомнился: высокий, красивый, в длинной рыжей кавказской рубашке со множеством пуговиц, с умной, смело вылепленной головой, гордо сидящей на длинной шее. Все это так. Но отрываться сейчас от горячих фронтовых дел... Да и где я его разыщу, Фадеева? Штаб фронта помещается в деревне Новобридино, недалеко от города Торопца. Вернее, в блиндажах возле этой деревни. Для прессы комендант штаба отвел на этот раз начальную школу дореволюционной постройки, которая почему-то именовалась в его расписании «Белый дом». Дом этот вовсе не белый, а серый, обшарпанный, старый. Он состоит из большой холодной кухни и двух огромных классов, один из которых мы и занимаем, деля, однако, это помещение с семьей колхозного конюха Егора Васильевича и с больной учительницей, которой гестаповцы отбили легкие и которая сейчас, постоянно кашляя и харкая кровью, медленно угасает, отделенная фанерной переборкой от шумной нашей комнаты.

Койки наши, как в партизанской землянке, стоят по стенкам, одна к одной. Стекол в окнах нет. Окна забиты фанерой и заткнуты тряпьем. В щели дует. Ну где тут приютишь столь известного московского гостя?

Словом, не разделяя энтузиазма начальника узла связи, я снова перечитал телеграмму и установил, что дана она была три дня назад. Где же гость? Несмотря на частые метели, наиболее опытные и энергичные корреспонденты добираются машинами из «Гранита» в «Аметист» за сутки. Любители комфорта, ночующие в Калинине,— за полтора суток. А тут начинаются третьи сутки, а Фадеева нет. Что случилось? Стал звонить во второй эшелон. Подтвердили: да, еще третьего дня Фадеева видели. Прибыл. Заправил бензином машину и, отказавшись переночевать, проследовал дальше, на Торопец. Словом, прибыл в зону активно действующих войск и исчез. Тут я не на шутку встревожился. Да и вся корреспондентская братия всполошилась. В прошлом

году так же вот в лютый декабрьский морозный день пропал наш товарищ Леонид Лось из «Красной звезды». Вылетел из штаба фронта, а на место назначения не прибыл. Исчез вместе с пилотом и самолетом. И судьба его так и осталась неизвестной. А тут еще немецкая авиация, которая сейчас, в дни нашего наступления, буквально висит над дорогами.

Как это не раз уже бывало, корреспондентский корпус, и без того на нашем фронте дружный, сразу еще больше сплотился. Корреспондент Совинформбюро взял на себя обязанность разослать телеграммы по армиям и дивизиям. Представитель «Комсомольской правды» Сергей Крушинский вызвался обзвонить редакции дивизионных газет, поднять тревогу, начать розыски. Мне помогли добыть трофейный вездеход, великодушно заправили его «под завяз», слив в него бензин из своих машин, и наперекор метели я выехал навстречу — расспрашивать у дорожников, наводить справки в прифронтовых госпиталях, куда в те дни частенько попадали водители и пассажиры с разбомбленных машин.

Ничего я не узнал. Бригадный комиссар Фадеев среди жертв дорожных катастроф не значился. Пришлось повернуть назад. Со дня его выезда шли четвертые сутки. Только на рассвете, подмяв гусеницами последний сугроб, вездеход подвалил наконец к ветхому крыльцу «Белого дома». Наш класс был еще погружен в сон, и со всех топчанов раздавался сочный, разноголосый храп. Но на большом продолговатом столе, стоявшем между рядами топчанов, горела, задыхаясь в тяжелом воздухе, трофейная стеариновая плошка. Блеклый ее огонек высвечивал в темноте высокого человека в бязевой нательной рубашке. Накинув на плечи шинель, он что-то усердно писал, изредка вытирая лоб тыльной стороной руки.

— Товарищ Фадеев?

— Полевой?.. Говорят, вы меня искать отправились?.. Какая чепуха! Что ж я, иголка? Тут мне, так сказать, страшно повезло. На тракторных санях, так сказать, тащили снаряды. Прямо на передовую, в наступающий артдивизион. В кабине место было, ну я, так сказать, сразу и пересел. Разве иначе при таких метелях до передовой доберешься? Вот три дня там и провел. Горячо. Порой до рукопашной, так сказать, доходит. Да-да-да! Масса интересного. И вы знаете, совсем другие люди,

чем в начале войны. Преобразились, у всех уверенность... Вот тут пишу...— И озабоченно перебил себя: — Говорят, у вас со связью туго, а мне нужно будет это завтра в «Правду» отправить, чтобы там к вечеру было. Да-да-да! Это очень важно. Как это у вас говорится, хочу вам вонзить всем фитиль.

И тут я услышал его смех. Знаменитый фадеевский смех. Тоненький, рассыпчатый, очень веселый.

— А ведь мы с вами еще и не познакомились. Александр Александрович, можно Саша. Лучше Саша. Какие тут условности! И на «ты». Обязательно на «ты».

— Вы, то есть ты, хоть сыт?

— Все, все в порядке. Не заботься, пожалуйста.— В голосе уже слышалось нетерпеливое раздражение.— Меня хлопцы отлично устроили. Ради бога, ложись спи и не мешай.— Потом смягчился: — Ты понимаешь, мне, кажется, повезло. Такие встретились люди. Да-да-да! И этот дух наступления. Он у них, так сказать, в крови... Так спи, спи! К утру допишу и всем вам вставлю фитиль... Дух наступления! Тема. Да-да-да...

И, как-то разом забыв обо мне, отключившись от обстановки, он согнулся над столом, должно быть, уже ничего не видя, не слыша ни храпа моих товарищей, ни надсадного кашля несчастной учительницы, ни доносящегося из-за перегородки покряхтывания Егора Васильевича, который, мягко ступая в валенках, уже возился на кухне с каким-то хозяйственным делом.

«ПАЛЕВЫЙ ЭСЭСМАН»

Действительно, к утру корреспонденция Фадеева была готова. И мы с ним уже шагали по лесу к блиндажам узла связи. Его появление в аппаратной произвело сенсацию. Дежурный связи, нарушив все инструкции, даже не прочтя фадеевских листков, поставил на них свой индекс. Девушки покинули свои аппараты. Ленты, мягко скручиваясь, текли на пол, а телеграфистки, сгрудившись в дверях, глазели на писателя. Тот будто бы и не замечал произведенного впечатления. Не радовался и не досадовал — во всяком случае, не показывал ни того, ни другого. Видимо, к бремени своей славы он давно привык и нес его как-то очень легко. Только попросил поскорее передать его, как он выразился, «опус» и, откозыряв, покинул блиндаж. Было ясно, что корреспонден-

ции дадут зеленую улицу и беспокоиться за нее не приходится...

А вот выполнить указание редакции и представить гостя фронтовому начальству не удалось: с утра заседал Военный совет. Впрочем, самого писателя это нисколько не огорчило. Он рвался поскорее «туда, где идет война». К счастью, случайно мне позвонил по телефону начальник 7-го отдела подполковник Александр Зусманович, сообщил, что среди пленных, сдавшихся за последние три дня, оказался интереснейший, небывалый еще экземпляр. Эсэсовец из дивизии «Адольф Гитлер» — тип, несомненно, достойный журналистского внимания.

Сам подполковник Зусманович, в недавнем прошлом коминтерновский работник, живший в Германии, знающий чуть ли не все диалекты немецкого языка, обладает удивительным чутьем на интересное. И если что-то рекомендует, это всегда оказывается нужным для наших читателей. Фадеев знает его еще по Москве.

— Там и сотрудники и знакомые звали его Зус... Да-да-да — Зус,— вспоминает он.

— Тут тоже — за глаза, конечно.

— Так, хлопцы, в чем дело? Други! Так скорей же выполним указание многомудрого Зуса. Да-да-да! Едем. Зачем терять золотое время? Ведь жизнь так коротка! — И весело частит: — Да-да-да! Коротка. Сейчас же едем.

И через полчаса моя машина, которую теперь, к стыду Петровича, все именуют «пегашкой», подкатила к просторной, утопавшей в снегах избе лесника, возле которой топталось десятка полтора пленных. Они уже свыклись со своим положением и как-то по-домашнему сидели рядками на завалинке, на бревнах, а конвоир, пожилой боец в шинели третьего срока, приставив винтовку к перилам, сидел на крылечке и сосредоточенно строгал какую-то щепочку.

В избе была полутьма. Три девушки-лейтенанта работали у стола над грудой писем и трофейных документов. В углу, у печки, сидел на корточках массивный детина в эсэсовской форме. На рукаве его черного кителя серебрилась вышитая надпись: «Адольф Гитлер». У детины было толстое красное лицо, маленькие глазки с белесыми, свиными ресницами. Палевая прямая челка крышей нависала над низким лбом. Он сидел неподвижно и походил на волка, попавшего в капкан. В его глазах одновременно уживались и явная трусость, и скрытая

злоба. Возле него на табуретке лежало нечто малопонятное, похожее на брезентовые вериги, состоящие из матерчатых мешочков.

За спиной эсэсовца стоял часовой. И вид у него был далеко не такой мирный, как у того, что строгал во дворе щепочку.

— Вот видите, что с него сняли при обыске,— пояснила нам старшая из переводчиц, показывая карандашом на странный предмет, лежащий на табуретке.— Он, видите ли, носил это на теле. А в мешочках лежало вот это.— И карандаш, удерживаемый тонкими, брезгливо оттопыренными пальцами, указал на две миски, стоявшие на подоконнике. В одной топорщился ворох денег — франки, гульдены, шиллинги, датские марки и еще какие-то купюры. В другой — ювелирные изделия: кольца, серьги, кулоны, дамские часики, просто драгоценные камешки, несколько зубных протезов и целая грудка непонятных металлических комочков, которые при ближайшем рассмотрении оказались золотыми и платиновыми зубными коронками.

— Этот тип таскал все это на себе.— И девушка скомандовала по-немецки: — Встать!

Детина сразу вскочил, вытянулся, взял руки по швам.

Фадеев смотрел на него как на редкого, невиданного зверя.

— Он довольно болтливый,— пояснила девушка-лейтенант.— Все сведения, какие нам были нужны, сразу высыпал. И ведь действительно кое-что знал. В особенности о войсках, которые они срочно сейчас подтягивают из Западной Европы. И все скулит и просит его не расстреливать. Сохранить ему жизнь. У, мразь! — Но девушка сдержала себя: — Хотите взглянуть на протокол допроса?

Нет, Фадеева это не интересовало. Он рассматривал денежные купюры.

— А почему нет советских денег?

— Мы только три дня назад прибыли сюда из Франции, господин генерал.

— Вы это отобрали у живых или собрали с мертвых? — Фадеев указал на ценности. Детина молчал, видимо, соображая, как выгоднее ответить.— Ну а зачем вам все это надо было? По нашим сведениям, части СС хорошо обеспечены.

— Но война не всегда будет продолжаться. Я бедный. Я очень бедный человек. Моя семья — крестьяне, не имеющие земли. Я думал о том, как мне жить после войны, господин генерал.— И он повторил: — Я очень бедный человек. Я пролетарий.

— Имеете награды?

— Так точно. Железный крест и медаль за храбрость.— И вдруг плаксивым голосом: — Господин генерал, я все сказал. Фрейлейн обер-лейтенант может подтвердить, я дал очень ценные для вас сведения... Мне будет сохранена жизнь?

— Я бы этого гада застрелил сейчас собственной рукой,— сказал сквозь зубы Фадеев.— Нет, нет, не переводите ему, ну его к черту.— И он быстро вышел на крыльцо.— Вот ведь какую породу гитлеровцы вывели.— И он расстегнул шинель, хотя на дворе было весьма морозно.

— Вчера на допросе его присутствовал один венгерский товарищ, наш работник Иллеш Бела. Так того чуть не стошнило,— сказала девушка-лейтенант.

Фадеев чуть не подпрыгнул.

— Как? Бела здесь? Бела Иллеш? Писатель? «Тисса горит»?

— Да... Он работает у нас в армейском отделе. В той армии, где этого монстра взяли...— Девушка с удивлением смотрела на писателя.

— Боря, да что же ты молчал? — несколько театрально всплеснул руками Фадеев.— Мы с тобой должны обязательно и сейчас же повидать Белу. Ну как так, Бела здесь, а ты с ним даже и незнаком. Какой позор! И это называется репортер, газетчик...

— А где они сейчас помещаются? — спрашиваю я, доставая карту из планшета.

— На «Вавилонской башне»,— отвечает девушка.

Отыскивает на карте село со странным названием Зеленое и очень толково вычерчивает на карте маршрут до этого села.

НА «ВАВИЛОНСКОЙ БАШНЕ»

Маршрут нанесен так точно, что меньше чем за час мы доехали до этого самого Зеленого. Всю ночь перед этим Фадеев писал, да и мы с Петровичем не выспались как следует после поисков. Поэтому, чтобы не клевать носом

и побороть дрему, всю дорогу распевали, как говорится, прикуривая одну песню от другой. А у Фадеева этот, как он говорил, «палевый эсэсман» не выходил из головы. Поет-поет — и вдруг:

— Это же не человек. Это явление. Да-да-да, именно явление... Боря, ты меня понимаешь, это символ... Да-да-да, символ, символ нацизма.

Въехав в село Зеленое, легко находим седьмую от края избу, обычную избу, отличающуюся от других разве только тем, что в окно ее бежит проводок полевого телефона. Открываем дверь.

— Можно войти?

В полутьме возвышается, именно возвышается, огромный толстый человек, едва не касающийся лысой головой потолочной перекладины. Близоруко щурясь, он смотрит на Фадеева, как бы не веря своим глазам. Фадеев тоже смотрит на него и улыбается. Потом они бросаются навстречу друг другу, начинают друг друга мять, тискать, бороться. И наконец оба с веселым криком валятся на топчан.

— Саша! Откуда ты? Саша! — вопит, именно вопит венгр.

— Бела? Вот уж кого не думал здесь встретить. Да-да-да! Вот уж, так сказать, именно тебя, Бела!

Оба сидят на топчане, тяжело дыша после дружеской потасовки, с любовью посматривая друг на друга. Потом начинается обмен новостями и, конечно же, разговор об иностранных друзьях: Вилли... Людвиг... Иоганнес... Фридрих... Сижу в сторонке, не мешая разговору старых друзей, и от нечего делать расшифровываю для себя мелькающие в разговоре имена. Вилли — это, конечно, Бредель, немецкий романист, которого я две недели назад видел под Сталинградом тоже среди работников 7-го отдела. Иоганнес наверняка Бехер, знаменитый поэт. И его тоже видел на берегу Волги напротив горящего города. А кто же Фридрих? Наверное, Вольф — драматург, автор антифашистских пьес, широко шедших в нашей стране перед войной. Я с ним незнаком, потом он станет одним из организаторов комитета «Свободная Германия».

А в разговоре друзей мелькают новые и новые имена. Анна Зегерс... Людвиг Ренн... Бертольт Брехт. Они в Мексике. Лион Фейхтвангер? Кажется, он в Соединенных Штатах...

— Бела, друг, ведь ни один порядочный писатель с Гитлером не остался! — возбужденно кричит Фадеев.— Все с нами! Все борются. Да-да-да! И это аксиома.— И вдруг:— Милый Бела, боже, на кого ты похож... Ты, знаешь, напоминаешь мне одного владивостокского гимназиста, который всегда просто-таки торчал из своего мундира. Не сердись, честное слово.

В самом деле, по-видимому, деятели армейского АХО не смогли подобрать форму подходящих размеров для этого большого, толстого человека. И для меня Иллеш похож на огромного ребенка, одетого в тесный костюмчик: руки торчат из рукавов, гимнастерка натянулась на груди так, что вот-вот посыплются пуговицы.

— А что ты тут делаешь, Бела?

— Как что? — запальчиво отвечает тот.— Против нас воюют и мадьяры. Пишу листовки, пробуждаю их совесть. Я ведь и грумкуговоритель,— говорит он с милым венгерским акцентом, и «о» у него звучит как русское «у».

— Грумкуговоритель? — шутливо передразнивает Фадеев.— Да-да-да. Что это значит, Бела, громкоговоритель?

— Эту значит, чту в местах расположения венгерских частей я через установку МГУ беседую су свуими суутечественниками...— продолжает мило картавить Иллеш.— Саша, как эту будет пу-русски: сулувей не нуждается в агитации?

— Соловья баснями не кормят?

— Именно не кормят. Да-да, именно не кормят... Вас же надо угостить. У бедного венгерского эмигранта есть чем встретить таких гостей... как эту есть пурусску?.. Ах да! Заветная бутылочка...

Оказывается, «бедный венгерский эмигрант» не так уж и беден. Есть и бутылочка, и консервы «второй фронт», и хозяйская картошечка, которая тут же ставится в котелке в печь. И друзья у него есть. Это бывший польский издатель и редактор прогрессивных газет, веселый огненно-рыжий человек. Это задумчивый словацкий писатель, бежавший к нам от режима Глинки. Это два немецких интеллигента, хорошо говорящих по-русски. Немцев на «Вавилонской башне» больше, но то молодежь. А в избе Иллеша собрались только заслуженные ветераны, антифашисты, давно знакомые друг с другом и по борьбе в Испании, и по участию в различных антифашистских

конгрессах интеллигенции. Оказавшись среди этой разноплеменной публики, Фадеев как бы сразу расцвел. Все его понимают, и он понимает всех. Весело звучит его голос. Его речь особенно обильно оснащается «так сказать» и великолепным «да-да-да». Щедро рассыпается звонкий фадеевский смех.

Мой водитель Петрович, разбитной москвич, умеющий приспосабливаться к любой компании, всегда и везде оказывающийся своим человеком, тоже отлично чувствует себя в этом разноплеменном обществе. Пополнив запасы «бедного венгерского эмигранта» нашим сухим пайком, предусмотрительно взятым на дорогу, он проворно хозяйничает у печки и у стола. При этом головы не теряет. В самый разгар задушевных бесед вдруг звучит его трезвый голос:

— Товарищ бригадный комиссар, разрешите доложить: темнеет, дороги обвешены плохо. Пора бы...

— Да-да-да, друзья, старшина Петрович совершенно прав.— Фадеев решительно поднимается.— Наши восточные народы говорят: гость нужен хозяину, как воздух легким, но, если воздух входит в легкие и не выходит оттуда, хозяину угрожают крупные неприятности.— И снова звенит рассыпчатый смех, наполняя эту русскую избу, действительно говорящую сегодня языками Вавилонской башни.

— Как ты, Александр Александрович, ухитряешься их всех понимать?.. Неужели знаешь все их языки? — спрашиваю я его.

— Знаю и не знаю. Я, старик, как умный пес: все понимаю, а говорить не могу. Да-да-да, Вавилонская башня в тверской избе. Чудесно.— И совсем уже лирически: — А здорово, старик, сегодня посидели! Правда?.. Со мной ведь можно дело иметь? А какой народ! Ах, какой народ! И ведь ни один из них в стане гитлеровцев не остался. Заметьте это себе, друзья. И интеллигенция, вся интеллигенция с нами. А наша интеллигенция — это высшее достижение Советской власти.— И совсем уже задумчиво, я бы даже сказал лирически, добавляет: — Владимир Ильич тоже был русский интеллигент... Российская интеллигенция была дрожжами во всех наших истинных революциях. Да-да-да... Бродильным началом...— И вдруг: — Вы знаете, хлопцы, я ведь страшно горжусь тем, что я русский интеллигент. Да-да-да!

ГДЕ САМЫЙ ОСТРЫЙ УЧАСТОК?

А ведь мне велено представить гостя начальству. Да и нельзя иначе. Руководитель Союза писателей СССР, член Центрального Комитета партии, депутат Верховного Совета... Но весь первый день прошел у нас в езде, и сделать это удается лишь глубокой ночью. Впрочем, в штабе фронта в дни наступлений ночь и день понятия условные. Работа идет круглосуточно. И член Военного совета генерал Дмитрий Сергеевич Леонов, которому я позвонил, счел, что время самое подходящее.

Да, ночь. Голубая холодная луна в синевато мерцающем небе. Иглисто сверкают снега. Крыши изб придавлены сугробами. И так тихо, будто это не штабная деревня, где день и ночь идет напряженная работа, а декорация из «Снегурочки» до начала спектакля. Звучно скрипят ступени обледеневшего крыльца. Часовой, предупрежденный заранее, молодцевато берет перед Фадеевым на караул. И вот мы в маленькой комнатке. Походный складной стол. Три складных стула. А к стене пришпилена карта, задернутая занавеской, и полка для книг, названия которых я не могу разобрать.

За столом невысокий худощавый человек в кителе, на ворот которого вывернут вязаный свитер так, что знаков различия не видно. Это и есть член Военного совета. Фадеев представился. Говорит, что хотел бы проинформироваться насчет наступления войск Калининского фронта и получить совет, куда бы ему лучше поехать.

— Да вы уж, кажется, сами выбрали направление,— отвечает генерал, поглаживая ладонью серебряный бобрик на своей коротко остриженной голове. И глаза его при этом довольно иронически щурятся.— Мы тут о вас немного наслышаны. Как говорится, разведка работает. Ну как вам понравился этот экземпляр из «Адольфа Гитлера»? Вот ведь каких они сейчас воспитывать стали... Выдающееся достижение гитлеризма.

— А куда бы мне теперь поехать? Ведь меня отпустили только до конца месяца. Хочется увидеть самое интересное. Каждая минута дорога.

— Ну что ж, об этом поговорим,— соглашается генерал.— Только сначала вы мне расскажете о Москве. Как она живет? Я ведь ее с осени не видел. Не очень вроде бы и далеко, но вырваться все не удается...

На фронте люди узнают друг друга быстро. А я уже убедился, что Фадеев легко сходится с незнакомыми. Он отличный рассказчик. У него удивительный дар через какую-нибудь остро подмеченную частность, через занятную историю, порой даже через анекдот раскрыть суть явлений. И он рассказывает Леонову об удивительной жизни Москвы, не прибегая к общим пафосным словам и совсем не употребляя восклицательных знаков:

— ...Фронтовики, не снимая полушубков, понимаете ли, сидят в креслах Большого театра. Да-да-да... От танцующих лебедей, если приглядеться, валит парок, как от лошадей на морозном перегоне... Вот получаю телеграмму от приятеля-фронтовика: «Перебазируясь, проезжаем Москву. Будем сутки. Ради бога, умоли Лину * на сорок контрамарок во МХАТ...» Чувствуете? Враг во Ржеве, в Великих Луках, а московские издательства передрались из-за бумаги. Каждое хочет увеличить план издания книг. Да-да-да. Книг. Книжный голод, разве это не знамение времени?.. И вот еще. В приемной Наркоминдела английский корреспондент буржуазных газет Ральф Паркер, дуайен корпуса иностранных корреспондентов в Москве, влепил в ухо какому-то американскому коллеге, заявившему, что битву под Москвой выиграли не русские воины, а «генерал Мороз». Просто вульгарно подрались в приемной товарища Молотова. Да-да-да. Разбили очки. И в таком виде и были приглашены в кабинет наркома для получения интервью... Понимаете? Или еще... женщина в очереди сдающих кровь для раненых падает в обморок. Что такое? Врачи волнуются. Отвезли ее домой. А через полчаса увидели ее в той же очереди. Почему? Оказывается, единственный сын ее недавно был тяжело ранен и умер потому, что не нашлось крови. Ну вот, хочет помочь другим, чужим сыновьям.

Такие примеры в рассказе Фадеева легкой чередой следуют один за другим. А рассказчик сам увлечен не меньше слушателя. И хотя речь его все время пересыпается его привычными «так сказать» и «да-да-да», от этого она приобретает лишь какую-то особую задушевность. Из отдельных штрихов вырисовываются картины жизни затемненной, настороженной, суровой сегодняшней Москвы. И подвиг москвичей

---

* Жена А. А. Фадеева — Ангелина Степанова, известная артистка МХАТа.

— Какой народ! С таким народом любую войну выиграть можно,— задумчиво говорит собеседник, проводя ладонью по серебристому своему бобрику. И сам принимается рассказывать нашумевшую у нас на фронте во время битвы за Москву историю о том, как машинистка, обычная учрежденческая машинистка, восемнадцатилетняя девушка, и старик кассир, беспартийный человек, от старой границы, от самого города Себежа, и до фронта несли по вражеским тылам случайно попавший к ним мешок с государственными ценностями на огромную сумму. Несли, сберегли, преодолели множество опасностей и самым обыденным образом сдали органам Красной Армии. Рассказывает о бурном притоке заявлений о приеме в партию, начавшемся как раз в трагические дни, когда враг был под Москвой.

— Да-да-да. И это не только на фронте, это и в Москве,— подтверждает Фадеев.— Полуголодные рабочие не выходят из цехов по две смены, спят у станков. А партия растет. Общее, всесоюзное явление.— Рассказывает и вдруг спохватывается: — Позвольте, мы ведь пришли вас слушать.

Наш собеседник подходит к карте и расшторивает ее. На ней нанесена обстановка фронта. Острые красные стрелы на карте пронзили синюю границу вражеской обороны и в нескольких местах глубоко вклинились в нее.

— Скажите, товарищ Леонов, где сейчас самое острое направление? Где решаются результаты борьбы?

— Сейчас это здесь.— Генерал показывает место западнее Ржева, где две стрелки, врезавшись во вражеский фронт, как бы имеют тенденцию соединиться, образовав таким образом клещи, в которые будут зажаты немецкие дивизии.

— Вот сюда-то мы и поедем с вашего благословения,— говорит Фадеев, стараясь перенести местоположение частей на свою карту.

— Не рекомендую,— заявляет член Военного совета.— Там наши части еще недостаточно закрепились. И потом, видите, восточнее и западнее у немцев танки. Они могут попытаться подрезать этот клин под самый корень. Во всяком случае, будут к этому стремиться. У них и выхода другого нет. И эти тенденции вчера уже явно наметились.

— Но ведь здесь леса, овраги. Как тут пройдут танки? — говорит Фадеев, указывая пальцем на острие нашего клина.

— Кроме того, весь этот клин противник простреливает и с востока, и с запада. Я не говорю, что прицельно простреливает. Бьют по квадратам. Но это тоже ведь очень неприятная вещь.

— А вы, что же, полагаете, бомбежки Москвы были приятней? — возражает Фадеев. И раздается его дробный веселый смех.— Война вообще очень неприятная штука, но нам, писателям, надо видеть ее в самых интересных выражениях.

НА ОСТРИЕ КЛИНА

Мы идем гуськом по тропинке, протоптанной на заметенных улицах штабной деревни. Все еще ночь. Льдистая луна отбрасывает нам под ноги синие тени. Фадеев вдруг останавливается, оборачивается.

— Как вы хотите, хлопцы, но я еду на этот самый клин.

Мы, так сказать, кадровые военные корреспонденты, уже постигли простую истину, что, находясь в атакующей части, ровно ничего не увидишь. Что видел я несколько дней назад, задавшись целью написать хронику развития нашего наступления? Да, в сущности, ничего. Ну там разрывы, вздыбленные на снежной равнине, черные комья земли, несколько темных фигур, то двигающихся по снегу, то застывающих на нем, чтобы через мгновение сделать новый бросок. Даже «ура!», наше славное русское «ура!» доносится сквозь завывание ветра и разрывы как очень негромкий, едва уловимый ухом клич.

Фадеев опытный воин. Почти мальчишкой он комиссарил в партизанских отрядах на Дальнем Востоке. В числе боевых делегатов X партийного съезда он штурмовал форты мятежного Кронштадта. Да и в зимней войне на Карельском перешейке участвовал. Он просто не может не знать того, что знаем мы, литераторы с гораздо меньшим военным опытом. Но никакие наши резоны на него не действуют.

— Я туда поеду. Не дадите машину — пойду пешком. Да-да-да,— сердится он.— Я должен видеть настоящую войну, и видеть не через какие-то там сводки и донесе-

ния, а собственными глазами. Я ни строки не напишу, пока все это не увижу. Как вы этого не понимаете! Я для вас не столичный гость, слышите? Я к вам сюда не за трофейными зажигалками и флягами приехал...

Разубедить его невозможно. Да и как-то стыдно разубеждать. Черт его знает, а вдруг подумает, что мы трусим или хотим отсидеться в тылу.

И вот четверо журналистов — Фадеев, корреспондент Совинформбюро Александр Евнович, наш общий давний друг, корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Крушинский и я — оказались на острие того самого клина, что глубже других вонзился сейчас в расположение противника. Машину, конечно, оставили еще за Волгой, ибо все тут простреливается, и даже не из орудий, а из минометов. С утра до вечера над лесом, в котором сосредоточились войска, висит двухфюзеляжный немецкий корректировщик, который уже получил у нас в частях два прозвища — «старшина» и «очки». «Старшина» — потому что стоит зазеваться и развесить уши, как он сейчас же вызывает на зазевавшихся огонь артиллерии, а «очки» — так сказать, по зрительному сходству. И стоит какой-нибудь машине высунуться из леса, немецкие артиллеристы со свойственной им аккуратностью начинают класть в этом квадрате свои снаряды. Тщательно, расчетливо так класть. Бьют по группам людей, бьют по машинам, а снайперы не брезгуют и отдельным бойцом, если он развесит уши на открытом месте.

Передвигаемся только по лесу. Это странный, марсианский какой-то лес. Всюду торчат обезглавленные стволы, иссеченные артиллерией. Лишь по ночам, со всеми предосторожностями, без огней, по дорогам, проложенным по дну оврагов, сюда подвозят боеприпасы. Продукты же бросают с самолетов, но из-за малого размера этого клина, сказать по совести, большинство из них попадает к немцам, и они злорадно орут нам скверными голосами через репродукторы:

— Рус Иван! Данке шён! Спасибо за угощение! Едим твою свинину с горохом. Очень вкусно! Зер шмект!

Сами же мы, откровенно говоря, больше питаемся «конницей генерала Белова», то есть трупами лошадей кавалерийского корпуса, которых немало валяется здесь с дней первого нашего наступления. Лошадиные туши эти не раз попадали под оттепель и, мягко говоря, очень несвежие. Мы режем конину на тонкие куски и стараемся

глотать их замороженными, пока не растаяли. Фадеев же научил нас приготовлять из них особое блюдо, как это делают удэгейцы на Дальнем Востоке. Большой камень-валун обкладывается костром. Когда валун накаляется, на него бросают тонкие кусочки конины. И запекают то с одной, то с другой стороны. Хлопотно это. Но мясо такое есть все-таки можно. Мы так и называли его — мясо по-фадеевски. А что станешь делать, весь рацион здесь — по сухарю на брата или половина пачки горохового концентрата, который варить некогда и приходится грызть. Ну а если повезет, то по головке чесноку. Чеснок привозят нам по земле вместе с боеприпасами. Началась цинга. И продукт этот приобрел чисто стратегическое значение. Если удается натереть им кусок запеченной конины, то получается просто шикарное блюдо.

— Чеснок — как юмор, великая вещь! — возглашает Фадеев.— С ним всякое дерьмо съешь, да еще и оближешься. Кстати, удэгейцы сдабривают свои блюда диким чесноком — черемшой. Тоже великое растение, открытое человечеством еще на заре его истории.

Разместились мы все не то чтобы в блиндаже, а в этакой земляной пещерке, которую сами и выкопали в откосе лесного оврага, застелили и утеплили еловыми ветвями. Наступление прекратилось. Части залегли в обороне, окапываются. Наступать им незачем, да и некем. В полках до сотни активных штыков, а то и меньше. И писать нам отсюда не о чем. Да если и найдешь что написать, как отсюда передашь корреспонденцию? Поэтому мы тоже, так сказать, окопались и в нашей земляной норе укладываемся спать один к одному, как шпроты в банке. А вечером под руководством изобретательного Крушинского устраиваем литературные викторины. Это получило у нас не только образовательный, но и чисто практический смысл. Набравший меньшее количество очков без разговоров отправляется в лес заготовлять хворост для костра и, увы, вынужден наблюдать за этим костром всю будущую ночь.

И вот однажды, когда на небе луна оказалась окутанной мглистым ореолом, что по-народному называется «месяц в рукавичке» и что, по той же примете, предвещает особенно морозную ночь, Сергей Крушинский самодовольно заявил:

— Ну сегодня я всех вас уконтрапуплю. Прочту такие стихи, что вы пропадете как мухи. Условия такие: уга-

даете, кто автор, я один приношу три охапки хвороста и всю ночь наблюдаю за костром. Не угадаете — каждый из вас принесет по охапке. И ночь разделится на три части, а я буду во сне смеяться над вашим невежеством. Каковы условия? Идет? — И, услышав в ответ изумленное молчание, он распорядился: — А ну кто-нибудь достаньте фонарик, посветите.

Рискованный это был ход. Мы-то что, мы — ладно. Мы журналисты. Но Фадеев великий знаток советской поэзии. Он может читать главами по памяти целые поэмы авторов, и имена-то которых мы знаем лишь понаслышке.

Фонарик выхватил из полутьмы круглую ухмыляющуюся физиономию нашего друга. Даже Фадеев, который выходил неизменным победителем в таких викторинах, заметно заинтересовался.

Привстав на локте и держа перед собою какую-то, судя по формату, фронтовую или армейскую газету, Крушинский начал читать:

Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни, не забыть вовек
Визга умирающих телег.
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог...

Крушинский читал неважно, лающим каким-то голосом. А мы прикидывали в уме наиболее активно действующих в дни войны поэтов. Кто бы это мог быть? Твардовский? Нет. Тихонов? Нет. Сурков? Нет, пожалуй. Симонов? Вроде бы непохоже. Может быть, Александр Прокофьев, стихи которого прорывались порою в большую прессу из блокированного Ленинграда? На Прокофьева, может быть, немножко и похоже, но нет, все-таки не он.

Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед.
Поднимались нивы и стога,
И с востока двинулась пурга.
Ночью партизанили кусты
И взрывались, как щепа, мосты.
Била немцев каждая клюка,
Их топила каждая река.
Их закапывал, кряхтя, мороз,

И луна их жгла, как купорос.
Шли с погостов деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли.
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада.
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел худой, зазубренный топор,
Шла винтовка, верная сестра,
Шло глухое, смутное «ура!»,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля...

Дочитав, Крушинский свернул газету в трубочку и потряс перед нашими носами.

— Ну как, хлопцы, хенде хох?

Мы переглянулись, помолчали и подняли руки.

— А вы, Александр Александрович?

— Капут! Иду за хворостом. Но кто же это все-таки?

— Эренбург,— произнес, будто выпалил, Крушинский.

И все мы разноголосым хором переспросили:

— Как? Эренбург?

— Да, господа офицеры, видите, вот газета. Вы привыкли верить советской печати. А тут подпись — Илья Эренбург. Видите? И отправляйтесь немедленно за хворостом. А то, как вы изволите заметить, сегодня луна в рукавичке, и все мы бездарно превратимся в ледяные статуи, если вы честно не расплатитесь за свое незнание советской литературы...

Александр Фадеев больше других переживал наше поражение. Он первым выполз из нашей норы, сделал несколько гимнастических упражнений, чтобы согреться, и бодро сказал:

— Хлопцы, во Франции говорят: «За удовольствие надо платить». Ну и добавим: за невежество тоже...

Умываемся мы все эти дни снегом. Плавить снег для умывания хлопотно, да и небезопасно. И потому на бронзовых от копоти костров лицах наших как бы надеты белые маски. Лицо Евновича обметала густая, прямотаки арестантская щетина. У Фадеева обозначились бородка и усы. И он как-то сразу стал похожим на партизана Вершинина из ивановского «Бронепоезда» в постановке нашего Калинского театра. Он все время

ходит от артиллеристов к саперам, от саперов на передовую, в пехотинские засады. Все время в движении, в поиске. Стыдно от него отставать. И мы бредем за ним, еле волоча ноги, ибо знаем, что путешествия эти ничего для наших читателей не дадут, да и до читателей-то мы не скоро доберемся из-за отсутствия связи.

До всего, что касается душ человеческих, Фадеев ненасытно жаден. Готов по нескольку раз возвращаться к особенно поразившей его сцене или ситуации.

— ...Вы понимаете, хлопцы, бледный, худой, глаза провалились, колючие, злые. Ведет он этого дюжего, раскормленного гитлеровца в очках. Очень, кстати, похожего на того «палевого эсэсовца», которого мы с вами видели. Ведет и сам на него старается не смотреть,— рассказывает он о своей встрече с разведчиком, конвоировавшим захваченного «языка».— Да-да-да. Ведет и смотреть на него ну просто не может... У него вся родня на Смоленщине уничтожена. А сам он должен этого типа доставить в штаб живым и невредимым. Да еще так, чтоб его, сукина сына, случайно свои не подстрелили. Шекспировская трагедия. Да-да-да. Шекспировская и по глубине и по психологичности...

Иногда мы объявляем забастовку и застреваем в нашем шалаше у костра.

— Просто поражаюсь вашему нелюбопытству,— с гневом говорит Фадеев и уходит, мягко ступая валенками, которые ему почему-то очень не идут. Как-то не создан он для этой уютной обуви.

СИБИРСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ

На острие клина мы без всякой пользы для наших редакций пробыли больше недели. До того самого дня, когда клин этот, как и предсказывал член Военного совета, начал превращаться в «мешок». Когда «мешок» этот противнику оставалось только, так сказать, завязать и связь дивизий, держащих этот клин, осуществлялась лишь одной дорогой, проложенной в овраге по руслу замерзшего ручья, да и то только по ночам, из штаба фронта пришел приказ, чтобы «бригадный комиссар Фадеев и сопровождающие его лица немедленно вернулись в «Аметист». Под приказом этим стояла другая,

неизвестная мне подпись. Но за этим псевдонимом мы сразу угадали заботливую руку генерала Леонова.

Признаюсь, «сопровождающие лица» обрадовались. Но и сам Фадеев сопротивляться не стал. Приказ есть приказ. Да к тому же и он убедился, что пребывание наше на острие клина совершенно бесплодно. Нам вручили по автомату, каких на фронте еще маловато, прикомандировали к нам четырех лихих ребят из разведки, и в туманную, оттепельную ночь мы двинулись в путь. Собственно, туман наполнял только овраг, по которому мы шли. А над нами в зените, как прилепившаяся к небу осветительная ракета, сияла луна, обливая все магниевым светом. Над клубами тумана был виден черный гребень деревьев, склонившихся к оврагу, и противоположный, прихотливо отороченный сугробом откос. Оттого, что наверху в морозном воздухе все время раздавалась стрельба, овраг, как казалось, был наполнен тишиной, такой тишиной, что, хотя шли мы в валенках и старались при этом ступать мягче, звук наших шагов мы слышали где-то впереди.

Вдруг боец-разведчик, двигавшийся бесшумным, скользящим шагом, остановился и точно бы застыл. Дал предостерегающий знак. Где-то и, как нам показалось, совсем близко два человека переговаривались на немецком языке. Хорошо натренированные разведчики замерли, приподняли уши шапок. Мы все нетвердой рукой стали снимать автоматы. Нет, что там ни говори, скверное это ощущение, когда слышишь неприятельскую речь, может быть, и издали занесенную ветром. Только Фадеев стоял, как всегда, спокойный, прямой, высокий, может быть, еще более высокий оттого, что вытягивал шею. На лице, освещенном луною, было что угодно — любопытство, охотничий азарт, возбуждение,— но только не страх. Страха определенно не было.

Переждав, мы двинулись дальше. И никаких приключений, никакой опасности больше в пути не было. Дошли благополучно. Миновали узенькую в этих краях Волгу. Наш старый знакомый полковник Юсим, к которому нас доставили, увидев Фадеева и «сопровождающих его лиц», вздохнул, не скрывая облегчения. Изба, в которой он размещался, одиноко стояла на крутоярье на самом берегу. Может быть, это была изба бакенщика или какого-то хуторянина. Из окон можно было видеть деревню, находившуюся уже на той стороне. Остаток

ночи мы досыпали на соломе, в прекрасном сосновом тепле.

Проснулись поздно. И разбудил нас... пленительный запах пельменей. Пельмени после того, как мы столько времени питались «мясом по-фадеевски», стараясь сдабривать его юмором и чесноком. Пельмени? Не может быть. Но миска с пельменями действительно стояла на столе, и Юсим, высокий, жизнерадостный, краснощекий человек, уже успевший спозаранку объехать батальоны и потому еще больше раскрасневшийся, весело смотрел на наши сонные физиономии. Ему приятно было видеть наше удивление.

— Господа офицеры, пельмени, как и начальство, не любят ждать...

Я калининец. Так сказать, тверской козел. Нашим фирменным блюдом является мурцовка — этакая холодная похлебка из кваса, натертого в него зеленого лука, размоченных черных сухарей и постного масла. Ну а в идеальном варианте, разумеется, всяческой крошки из колбасы, ветчины и сала. Но и я знаю, что сибирские пельмени великая вещь. А после «мяса по-фадеевски» — просто-таки фантастическое блюдо. Мгновенно оделись, умылись и оказались за столом. Едим. Едим по всем правилам. И вдруг слышим удары в рельс и глухие крики: «Воздух!»

Видим в окно, как, будто летом перед грозой, разом пустеет улица штабной деревни. Слышим глухой, нарастающий гул. Вибрируя, он приближается. Рюмки начинают позванивать на столе. В дверях появляется порученец Юсима.

— Товарищ полковник, авиация противника в количестве двенадцати самолетов «Ю-87» показалась с западного направления.

Хозяин вопросительно смотрит на Фадеева. Тот будто не слышит, неторопливо ловит пельменину на вилку, поливает уксусом, окунает в сметану и с подчеркнутой неторопливостью отправляет в рот, продолжая при этом рассказывать хозяину историю про «палевого эсэсовца». Мы все делаем вид, что с интересом слушаем эту уже здорово поднадоевшую нам за эти дни историю. Но сами при этом прислушиваемся к вибрирующему, нарастающему гулу, ибо каждому из нас уже ясно, что вражеские самолеты разворачиваются на бомбежку. Юсим, в недавнем прошлом московский партийный работник, хотя

военная форма на нем уже отлично прижилась, вопросительно смотрит на нас, мы — на Фадеева. Тот вновь невозмутимо повторяет всю операцию с очередной пельмениной и, прожевав, говорит:

— Чудовищно! Вы, товарищ полковник, понимаете, столько времени носить на себе, на теле, брезентовые вериги со всякой золотой и платиновой дрянью, вырванной из чьих-то ртов или ушей. Сколько же ртов надо было, чтобы обеспечить этому мерзавцу столько коронок, протезов... Сколько же преступлений он совершил, чтобы набить двенадцать мешочков этой чепухой из благородных металлов...

...Мы машинально слушаем. Машинально, без всякого вкуса, будто траву или хлопок, жуем чудеснейшие пельмени. А между тем вибрирующий гул уже перерос в рев: идут в пике. Заговорили зенитки. И вот на том берегу в бурых разрывах летят вверх бревна, драночные крыши, печи, вспархивает колодезный журавль. Над льдом реки взрывы подбрасывают зеленоватые фонтаны воды. Взрывной волной выносит в нашей избе стекла, и иконы срываются с божницы и падают на пол, словно бы и святые ищут спасения от взрыва.

Мороз, ворвавшийся в избу, как бы сразу отрезвляет нас.

— Все-таки уцелели,— сквозь зубы цедит Юсим. Он внешне спокоен, но бледен. Отлично владея собой, все же вытирает платком высохшие, запекшиеся губы.

И вдруг мы слышим возбужденный, рассыпчатый смех Фадеева:

— Хлопцы, какие же мы все идиоты! Да-да-да. Штафирки, играющие в закаленных воинов. А ну все в бомбоубежище! Есть у вас здесь такое? Второй раз жизнь по старому банному билету не выиграешь.

Уже в мерзлой земляной щели, когда все вновь грохочет и гудит, после второго налета он философически, я бы сказал — академически, поясняет свою мысль:

— Все-таки сколькими глупейшими условностями мы еще связаны. Легче, видите ли, показать себя полным дураком, что только мы сейчас с вами и сделали, лишь бы, упаси бог, чтобы кто-нибудь не подумал, что ты трус. Страх — естественная функция организма. Страха не испытывает только клинический идиот. А храбрость — это умение подавлять страх, подчинять его усилиям воли... Братцы, а пельмени?.. Уцелели ли наши пельмени?

Возвращаемся в избу. Стекла выбиты, но еще горят трофейные стеариновые плошки. Пельмени еще на столе. Но они остыли. Остыли, но как они вкусны! Проворно орудуя вилкой, Фадеев еще как бы переживает минувший конфуз.

— Да-да-да, полковник. Мы все под прикрытием больших воинских званий, но сколько еще в нас штатского. Я ведь знаю вашу биографию... А вот там третьего дня при обстреле настоящий солдат не постеснялся в таком же вот случае сшибить меня в снег лицом, да еще и обругать предпоследними словами. Вот это настоящий русский воин, которого и пуля боится, и штык не берет.

ЗА КАЗАХСКИМ ЭПОСОМ В ТВЕРСКИЕ ЛЕСА

Мы привезли с собой добрую охапку корреспонденции. Она лишь прибавилась к тому, что без движения уже лежит на пюпитрах телеграфисток. Бушуют продолжительные злые метели. Связь то и дело рвется. В редкие часы, когда ее удается восстановить, одна за другой идут оперативные информации, разведсводки, политдонесения. Сочинения наши до редакций не доходят. Ну а в телеграммах, идущих из «Гранита» в «Аметист», мой начальник, теперь полковник Лазарев, не без иронии интересуется, почему я молчу в такую горячую пору и как я провожу свои досуги.

Досуги! Ему бы такие досуги!

Я-то привык, а Фадеев нервничает: ну как можно так вот работать, так сказать, на свое будущее полное собрание сочинений?

— К черту такую работу! И вообще я не понимаю, как вы можете с этим мириться?

Даже наш начальник узла связи, слывущий другом литераторов, влюбленными глазами смотрящий на расстроенного, рассерженного писателя, в ответ на его энергичные сетования разводит руками и приводит веселую галльскую пословицу: «Даже самая красивая девушка Франции не может дать больше, чем она имеет».

— То есть как это не может? Что это за разговоры, майор? — бушует Фадеев.

— Позвольте доложить, товарищ бригадный комиссар. Сутками не имею «Гранита». Сообщения идут верхом, шифровками.

— Тогда верните мне мои корреспонденции,— заявляет Фадеев.

Знаю: у него созрел план самому отвезти их в Москву.

— Черт с вами, буду вашим фельдъегерем... Давайте все ваши сочинения...

Ну что ж, неглупо. Коллективно снаряжаем в путь Петровича, которого Москва притягивает всегда, как магнит. Заправляем ему машину, снабжаем их на дорогу сухим пайком. И наш «фельдъегерь» отправляется в путь.

А мы, проводив Фадеева, влезаем в текущие корреспондентские заботы. Вот теперь-то, узнав, что такое Фадеев, я и начинаю по-настоящему жалеть, что его с нами нет. Даже сейчас, когда с некоторых пор у меня появился на фронте правдистский напарник, майор Павел Кузнецов, жалею. У Кузнецова интересная биография. Русский поэт из Казахстана, хорошо известный своими переводами Джамбула и других казахских акынов, он в начале войны, когда генерал Панфилов формировал в Алма-Ате свою Коммунистическую, знаменитую теперь 8-ю гвардейскую дивизию, пошел в нее добровольцем.

Вместе с другими алма-атинскими интеллигентами — учеными, врачами, учителями, инженерами — он стал в дивизии этой простым бойцом. Потом его назначили редактором дивизионной газеты. В качестве такового он и проделал весь боевой путь дивизии. Участвовал в битве за Москву, отличился, награжден. Сейчас его пригласили работать в «Правду». Ну кто ж от этого откажется? Его оформили и отправили на наш фронт. Но, представившись начальству, он сразу же исчез. Уехал. Куда — неизвестно. И вот только теперь мне удалось обнаружить его у его земляков, где он и провел это последнее время и откуда и посылал свои корреспонденции...

Так вот он наконец прибыл к нам в «Белый дом», и уже несколько дней мы слушаем его рассказы о делах этой славной казахстанской дивизии, о бойцах, командирах, политработниках, которые сражаются сейчас в калининских лесах, о комбате Боурджане Момыш-Улы, прирожденном военном и мудреце, о котором писатель Александр Бек, оказывается, даже пишет книгу, о майоре Малике Габдулине, человеке удивительной храбрости, в честь которого в Казахстане, по словам Кузнецова, джерши слагают уже песни.

Человек щедрой души, Кузнецов своими рассказами смутил наши умы. И вот мы с Александром Евновичем решили завтра выехать к гвардейцам-панфиловцам, подвиг которых так здорово описали Петр Лидов и Александр Кривицкий в дни, когда Панфилов был жив и Красная Армия в битве под Москвой сокрушала несметные полчища гитлеровского «Тайфуна». Решили, приказали готовить машину и залегли спать. Проснулись и поразились. «Белый дом» пуст. Все исчезли вместе со своими машинами. Куда? Неизвестно. Никому ничего не сказали. Не было ни тассовцев, ни корреспондентов «Красной звезды», майоров Павла Арапова и Александра Анохина. И даже наш верный товарищ по фронтовым путешествиям «комсомолец» Сергей Крушинский испарился, не оставив даже записки.

Ну что ж, уехали и уехали. Их дело. На машине Евновича и мы двинулись в свой еще с вечера намеченный и прочерченный по карте путь в дивизию Панфилова. Здесь мы отыскали майора Малика Габдулина, того самого, о котором, по словам Кузнецова, казахские джерши слагают песни. Этот молодой ученый-фольклорист, вырастающий теперь сам в героя казахских легенд, только что вернулся из полков в деревеньку, где он сейчас обитает. Его мы, как говорится, захватили с ходу. И ведь действительно его удивительное мужество в боях под Москвой, за которые он получил звание Героя Советского Союза, его боевые дела, которые так необыкновенны для ученого-лингвиста, работающего над историей связей русского, казахского, узбекского, татарского языков, да и сама его личность кажутся мне необыкновенно интересными и характерными для этого этапа войны.

Воюет весь советский народ. И что удивительного в том, что рядом с советскими солдатами, вооруженными новейшей техникой, как бы встали с мечами и луками герои казахских легенд, грузинского эпоса, северных сказок и украинских преданий? Малик Габдулин сейчас инструктор политотдела по работе с бойцами нерусской национальности. Зная наши тюркские языки, он ездит по дивизиям и разносит по частям многонациональной нашей армии слово большевистской правды.

Впрочем, он в его сегодняшнем облике все-таки действительно напоминает героя среднеазиатского эпоса. Молодой, стройный, с красивым, будто бы из бронзы отлитым лицом.

Знает ли он, что о нем сейчас в казахской степи слагают сказы?

Да, знает. Его земляки романтики. В своем творчестве они склонны все преувеличивать до легендарных масштабов. Уж кому-кому, а ему этот процесс хорошо известен. До войны он сам опубликовал несколько работ о возникновении казахского эпоса. А где же и возникать эпосу, как не на этой гигантской войне?

— Как ученый вы, наверное, могли бы получить броню и не ехать на фронт?

— Да, конечно. А я пошел добровольцем, когда генерал Панфилов формировал у нас в Алма-Ате свою дивизию. Впрочем, конечно, не я один. Сотни людей пошли. И ученых было немало. Многие из них куда как постарше меня. Коммунистическая дивизия... Людям хотелось воевать именно в ней.

— Вы пошли рядовым?

— Да, конечно. А как могло быть иначе? Я ведь до этого никогда и винтовки в руках не держал.

— Звание Героя Советского Союза вы получили за героизм в битве под Москвой?

— Ну не я один, конечно... У нас многие получили. Ведь читали, наверное,— двадцать восемь героев-панфиловцев на разъезде Дубосеково?.. Вся дивизия стала героической.

Он не очень разговорчив, этот красивый казах. И лишь с некоторыми усилиями удается мне выдавить из него подробности боя на реке Рузе, где он, политрук роты, заменил убитого командира. Человек, мало понимавший в военном искусстве, встал во главе роты, держащей оборону на реке Москве, и, находясь уже в тылу врага, продолжал сражаться, подбил несколько танков, уничтожил и ранил немало вражеских солдат, а потом вывел свою роту в расположение дивизии. Даже вынесли трех раненых и принесли с собой четырехлетнего мальчугана Вову, найденного возле хаты, где погибла его мать. В этом походе солдаты-казахи несли русского мальчугана на закорках. Хотели даже принять его в сыновья полка, но для этого он оказался слишком мал. Сдали в Москве в детдом.

А вот генерал Панфилов, когда в начале войны собирал свою теперь славную дивизию, с сомнением столь опытного воина смотрел на пришедшего к нему с путевкой райкома щеголеватого, элегантного ученого. Когда

ему потом рассказали, как этот ученый воюет, пожелал его видеть. Суровый, хмуроватый генерал с некоторым удивлением смотрел из-под седых кустистых бровей на тонкого, худого Малика, на котором еще как следует и не улеглась военная форма.

— Ай да собиратель сказок! Ай да ученый муж! Хорошим солдатом будешь...

Впрочем, все эти подробности мы узнали не от самого Габдулина, а от его товарищей по политработе. Сам же он, застенчиво улыбаясь, рассказывал нам историю, завершение которой он только что наблюдал, историю, которая для него, человека, работающего с бойцами нерусской национальности, кажется особенно дорогой.

С его слов я записал эту историю. Вот она.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Когда Кафий Галиулин, по национальности татарин, и Нафтангов Юлдаш, по национальности казах, впервые попали на передовую, боец Петр Ступин считался уже в разведроте старым солдатом, хотя от роду ему было всего двадцать три года. Он воевал с первого дня, дважды со своим полком выбивался из окружения, познал и горечь отступления, а потом, наступая, проделал с боями славный, почти пятисоткилометровый марш из Подмосковья сюда, в верхневолжские края. Он имеет три ленточки за ранения, медаль «За отвагу», и кажется, на войне не может уже произойти ничего такого, чего бы он еще не видел, не знал. И на какую бы военную тему ни заходила речь по вечерам на отдыхе, он всегда находит что порассказать из собственного боевого опыта.

В роте любят этого невысокого широкоплечего паренька со скуластым смуглым лицом, отмеченным теперь синим шрамом на лбу, с большими беспокойными черными глазами. Он из тех, кто крепко врос в войну, и даже уже, вероятно, перестал вспоминать, что когда-то был трактористом на Сувинских торфоразработках под Ленинградом. Война стала для него бытом. Он так применился к ней, что не замечает тягот ее. В роте он авторитетен, и бойцы стараются подражать его молодцеватой выправке, его подтянутости, четкости, с которой он рапортует начальству, даже его манере носить шапку, надвигая ее на лоб

и набекрень. Его привычке туго перепоясываться, чтобы ни одной складочки не лежало на гимнастерке. А когда Ступин вдруг отпустил усы, в роте сразу же появилось несколько усачей.

Полроты считает себя его друзьями. Когда Кафий Галиулин, в недавнем прошлом механик казанской меховой фабрики, пришел в эту роту, он сразу же очутился среди них. Произошло это просто. Как-то в морозный декабрьский день, сидя у костра, он надраивал маслом свою полуавтоматическую винтовку, которая ему в прошлом бою отказала. И чуть не подвела. Что-то не ладилось с затвором. Проходивший мимо Ступин остановился, посмотрел на тщетные старания молодого бойца. Потом взял у него оружие, в одно мгновение собрал и разобрал затвор и, любуясь своим мастерством, сказал Кафию:

— Видал работку? То-то! Забыл ты, брат, про наш русский мороз. От мороза смазка густеет. Ты не думай, у меня такой же случай под Клином был. Лежим в цепи, атаки ждем. А винтовка отказала. Раз-раз, а она не стреляет. Что такое? Тогда сосед мой кричит: «Дура! Затвор-то остыл! Погрей за пазухой». Погрел. И что же? Раз-два — пошло... А когда хороша винтовка, ничего, брат, не страшно... Табак есть? Ну, нет — не беда, давай моего закурим.

Ступин присел возле нового знакомого и, поглаживая рукой вороненый винтовочный ствол, стал рассказывать о винтовке и, как он выразился, о ее «нраве». О ее преимуществах, капризах и о том, как вообще ловчее воевать. Рассказ звучал у него сочно. К концу у костра скопилось уже немало желающих послушать...

С Нафтанговым Юлдашем, овечьим пастухом и охотником, человеком пожилым, малоразговорчивым, Ступин познакомился при других обстоятельствах. Поначалу Юлдаш чувствовал себя отчужденно. Все у него как-то не ладилось, все валилось из рук. На войне не любят таких вот неумелых. И на Юлдаша стали посматривать косо. И это еще больше отдаляло его от людей.

Однажды старшина послал нескольких бойцов под командой Ступина в тыл за продуктами. По дороге Ступин разговорился с молчаливым казахом. Угостил его табачком. Потолковали о том о сем. И неожиданно выяснилось, что казах вот уже третий месяц не знает, как у него там дома. Письма почему-то не идут, ну а сам он не пишет потому, что, во-первых, плохо знает русскую

грамоту, а во-вторых, стесняется попросить других, ибо письмо-то задумал он слишком уж личное.

Ступин ничего не ответил ему. А на складе, где им пришлось дожидаться интендантского офицера, разложил на бочке листок бумаги и просто-таки приказал Юлдашу:

— Ну что ж, парень, говори, чего писать.

Под диктовку Юлдаша он написал в Казахстан письмо о фронтовом житье тут, в сугробах верхневолжских лесов, обычное солдатское письмо с упоминанием всех родственников и знакомых, с бесчисленными поклонами в конце. Письмо на обратном пути занесли на полевую почту. А когда через месяц пришел ответ, Юлдаш сразу повеселел. Он весь как-то выпрямился. В фигуре появилась подтянутость, глаза стали смотреть живее. Словом, встряхнулся человек. К Ступину, который отныне писал ему время от времени письма, он так привязался, что и в бою и в обороне все время стремился быть около него.

Дружба связала этих трех таких разных людей. Когда Ступина посылали в разведку или в поиск с заданием пройти во вражеский тыл, добыть «языка», он всегда старался взять с собой сметливого Галиулина и пожилого, рассудительного Юлдаша, который на поверку оказался человеком выносливым да к тому же еще хорошим стрелком. При перебазировании они селились рядышком, в одном углу землянки. Спали вместе и ели из одного котелка. Но настоящая дружба, как известно, проверяется лишь в трудные минуты. И такая минута для них недавно наступила.

Прорвав оборону, их полк продвигался в западном направлении, к реке Ловати. Шли с боями. И вдруг, когда основные вражеские укрепления остались уже позади, на пути полка обнаружил себя немецкий дзот, построенный на высотке и державший под обстрелом местность. Полк попытался с ходу силами боевого охранения взять этот дзот. Но огонь трех пулеметов оказался таким плотным, что авангарды вынуждены были залечь. Движение остановилось. Предоставили слово артиллерии. Около часа пушки утюжили высотку. Когда бурое облако разрывов, одевшее высотку, осело, на месте дзота виднелись лишь бревна и комья мерзлой земли. Но стоило пехоте подняться, эти обломки ожили, и плотный огонь снова заставил залечь наступающих.

Сгущались сумерки. Терялись в бездействии минуты,

цена которым хорошо известна тем, кто бывал в наступлении. Командир полка сам пришел в разведроту и вызвал охотников под покровом ночи взять вражеский дзот.

— Ночью не выйдет, а утром этот прыщ сколупнем,— задумчиво отозвался Ступин.

— Почему утром?

— Ночью немец пуглив. Караулы утром поуморятся, побеспечнее станут, да и туман к утру падет... Видите? — И он показал командиру рукав шинели, топорщившийся заиндевевшими ворсинками,— верный признак приближающегося тумана, по солдатским приметам.

К утру у Ступина был готов план. Галиулин должен был пробраться к дзоту справа, залечь в кочках, укрыться. Ему предстояло вести стрельбу по амбразурам, с тем чтобы отвлечь внимание гарнизона и вызвать огонь на себя. Тем временем, пользуясь туманом, Ступин с казахом, вооруженные гранатами и штурмовыми ножами, должны без выстрела подобраться, зайти дзоту в тыл и, ворвавшись в него со стороны входа, с незащищенной стороны, снять часового и уничтожить гранатами гарнизон.

План остроумный. И поначалу казалось, что развертывается он хорошо. Галиулину без особого труда удалось привлечь внимание и огонь немцев. Друзья поползли и были уж близко к цели. Но тут произошла случайность, которую никто не мог предусмотреть. Шальная пуля, отскочив рикошетом от камня, ранила Ступина в шею. Без чувств, захлебываясь собственной кровью, он повалился на снег.

Пришел в себя, когда Юлдаш, привязав его к себе ремнем, двигаясь ползком, как ящерица, нес в тыл. Между друзьями возникла ссора.

— Брось меня, Юлдаш. Брось и выполняй задание. А то туман сядет, поздно будет.

— Молчи, Петр, молчи,— задыхаясь, хрипел Юлдаш, продолжая ползти.

— Я командир и приказываю тебе бросить меня. Выполняй задание!

— Молчи, Петр, я не слышал твоего приказа. А задание выполню. Клянусь аллахом.

И он вынес друга из зоны огня. Но туман действительно стал рассеиваться. А на востоке, за темным гребешком леса, разгорался оранжевый восход. И вот степной охотник Юлдаш пополз к дзоту, как бы прорывая

в снегу траншею. Он двигался как крот. И действительно, незаметно подполз. В последнюю минуту он шапкой посигналил Галиулину. Тот дал пару пулеметных очередей. Немцы взяли его на прицел. Вот под звук этой перестрелки Юлдаш скатился в ходок сообщения и бросил в дзот две гранаты...

Задача была решена. Полк возобновил наступление. На основе рассказа Малика Габдулина, который и сам немножко писатель, мы без труда восстановили картину этой маленькой операции.

— У Сельскохозяйственной выставки скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница». Помните? Ее из Парижа, что ли, привезли? — сказал Малик.— Так вот это, так сказать, второй герб Советского Союза. А вот этот случай с ребятами — это, так сказать, третий наш герб: дружба народов.

Под вечер, когда Малик Габдулин уехал куда-то в полк, которому предстояло форсировать немалую реку Ловать, его друг, тоже алмаатинец, но русский, отвел нас в одну из выведенных на отдых рот. Горел костер, около него, по-восточному подобрав под себя ноги, сидел пожилой казах. Маленький, рябоватый, неказистый. Сидел, смотрел на огонь, а потом резким, пронзительным голосом стал напевать какую-то степную песню.

— Знаете, о чем он поет? — спросил наш спутник.— О Малике Габдулине поет.— И, прислушиваясь, начал переводить: — Он поет, что Малик-батыр силен и смел. Что он хитер, как степной лис. Что у него ухо джейрана, что у него глаз беркута, что у него стальная рука, которая не устает убивать фашистских гадов.— Лейтенант послушал, усмехнулся.— А вот теперь он поет, что от одного вида Малика враг обращается в бегство. Видите, как у нас.

Ей-богу, наверное, этот маленький лейтенант хитрюга и сам организовал для нас, корреспондентов, это самодеятельное выступление. А может, свой перевод приладил на потребу слушателей. Но как бы там ни было, материал интереснейший. Все-таки панфиловцы — знаменитая дивизия, столько уже страниц вписавшая в историю Великой Отечественной войны...

В заключение все столь таинственно исчезнувшие обитатели «Белого дома» встретились... в землянке начальника политотдела дивизии. Случайно встретились. Встретились и принялись хохотать.

— Ей-богу, мы как золотоискатели с Клондайка,— говорил Крушинский.— Пашка Кузнецов закрутил нам голову своими рассказами о золотых россыпях. Мы ринулись заявочные столбики ставить. Помните, у Лондона? Только кто ж из нас Смог, а кто Белью?

МЫ ТЕРЯЕМ ТОВАРИЩА

А теперь о новом печальном событии в жизни нашего «Белого дома». Эта страница открылась для нас внезапно и всех нас поразила.

Мы задержались у панфиловцев и там узнали, что их соседи справа прорвали линию обороны, сооруженную противником на подступах к реке, крепкую, обжитую такую линию, с ходу по льду форсировали Ловать, а сейчас штурмуют уже вторую, заречную, линию вражеских укреплений. Это, несомненно, событие.

Год назад немцам удалось остановить на этой линии наше наступление. Они воздвигли на ней весьма крепкие фортификационные сооружения. Штурм этих сооружений, неоднократно уже предпринимавшийся, до сих пор не приносил нам ничего, кроме весьма значительных потерь. И вот Ловать форсирована. Мало того — наступление, хотя и медленно, продолжается. Событие? Несомненно, событие. Тем более что даже на Сталинградском фронте, к которому приковано сейчас внимание мира, ничего существенного сейчас не происходит.

Разумеется, все мы выехали туда.

Все — и машины с боеприпасами, которые нам приходилось обгонять, и госпитальные автофургоны, двигавшиеся нам навстречу, и активность немецкой авиации над дорогами, заставлявшая нас не раз выскакивать из машин и отлеживаться в кюветах,— словом, все говорило о том, что борьба завязалась нешуточная.

Командный пункт дивизии расположился в блиндажах немецкого штаба полка. Очень удобных, добротных, даже обставленных разнокалиберной мебелью, которую неприятельские интенданты за год натащили и навезли неизвестно уже откуда. Словом, расположились с комфортом, и даже под прессу комендант великодушно отвел один свободный блиндаж. Но наш совинформбюрист Александр Евнович, бывший еще в гражданскую войну комиссаром кавалерийской бригады где-то на юге России, этот уютный и теплый блиндаж, стены которого оклеены изобра-

жениями очаровательных пышнотелых Гретхен, сразу же сурово забраковал.

— Если вы можете обойтись без созерцания этих голых девок, советую сюда не въезжать,— заявил он.— Ведь блиндажи эти своими амбразурами обращены на восток, то есть в наш тыл, и открыты на запад для немецкой артиллерии. Кроме того, я плохо верю, чтобы, отступая, они не успели их взорвать. Может быть, это ловушка для нас? Ведь им тут каждый ходок известен. Нет, нет, паны офицеры, я в эту мышеловку не полезу и вам не советую...

Мы послушались голоса разума и расположились в леске в своих машинах. И правильно сделали. На вечерней заре немецкая авиация начала концентрированный налет на эти блиндажи. Что тут только началось! Земля и бревна летели вверх. Мы смотрели на все это из леска — впрочем, смотрели не очень точно сказано, тоже ползали по снегу, ибо, опустошив свои кассеты над высоткой, самолеты на выходе из пике на прощанье пулеметным огнем били и по лесу.

Потери большие. Раненых долго выволакивали из-под земли и бревен. Был и курьез. Небольшая бомба, пробив накатник в блиндаже начальника оперативного отдела, не взорвалась. Пробила стол, пол и ушла в землю, оставив за собой аккуратную дыру. Так расплатились офицеры штаба за стремление к удобствам и комфорту. Когда мы уезжали, у контрольно-пропускного пункта нас догнал комендант штаба, совсем молодой парень, сразу както постаревший за одну эту ночь.

— Товарищи корреспонденты, а у вас все целы?

— Нет только корреспондента «Красной звезды» майора Анохина. Он уехал...

— Он никуда не уехал. Он убит,— печально сказал комендант.— Идемте.

На дороге, покосившись, стояла знакомая черная «эмка». Стояла без стекол. Вся изрешеченная пробоинами. Возле нее на плащ-палатке лежал майор Александр Анохин, а рядом его шофер-татарин. Должно быть, они хотели выехать из-под обстрела и осколочная бомба разорвалась рядом с их машиной.

— Мы нашли их, когда майор был еще жив...— рассказал комендант.— Он говорил о каких-то своих корреспонденциях, лежащих на телеграфе. Просил почему-то их протолкнуть. А потом все звал жену или дочку.

— И ничего нельзя было сделать?

— А что сделаешь? Около сорока осколочных ранений. А шоферу голову оторвало. Будто саблей обрубило. Это уж мы ее сейчас приставили...

В разбитой машине нашли раскрытый блокнот большого формата. В нем тщательно, как мы это делаем для телеграфа, было выведено: «Ловать форсирована. (От нашего военного корреспондента.) ...Утром на правом фланге Калининского фронта произошло примечательное событие. Наши войска после...» На этом корреспонденция обрывалась. Оставалось предположить, что Александр Анохин, пережидая бомбежку, чтобы не терять время, начал писать в машине корреспонденцию. Писал и не дописал. Осколочная бомба, разорвавшаяся рядом, поставила последнюю точку, оборвав незаконченную фразу...

На следующий день мы хоронили нашего товарища. На том самом берегу русской реки, где его настигла смерть. На пригорке, с которого открывался широкий вид, саперы ночью выдолбили ломами могилу. На дно мы постелили еловый лапник, положили на него тела наших товарищей, закрыли им лица простыней, а поверх ее изорванными шинелями. Отобрав у саперов лопаты, мы, товарищи Анохина, засыпали могилу комьями мерзлой земли, соорудили над ней продолговатый холмик. Две сестрицы из медсанбата положили на него венок, сплетенный из хвои и украшенный стружечными цветами, оранжевыми и ядовито-желтыми, окрашенными с помощью акрихина и стрептоцида...

Начальник политотдела дивизии и наш корреспондентский парторг майор Евнович сказали короткие речи. Комендантский взвод дал три залпа. Мы отметили на крупномасштабной карте место последнего упокоения наших товарищей и сориентировали это место относительно топографической вышки, стоявшей неподалеку. Все расписались на карте. Траурные залпы вызвали из-за реки со стороны противника тревожную, беспорядочную стрельбу. Что уж там они подумали, не знаю, но дальше задерживаться не было уже смысла...

А на обратном пути в наш «Белый дом» из ума у меня не выходила печальная песенка журналистов, которую кто-то завез к нам в тверские снега с Южного фронта:

Погиб репортер в многодневном бою
От Буга в пути к Приднепровью.
Послал перед смертью в газету свою
Статью, обагренную кровью.

А вот майор Александр Анохин не послал. Даже не успел дописать. И от этого на душе становилось как-то особенно грустно.

НА ЗАПАД!

Вернулись из Москвы Фадеев с Петровичем. Внимание столицы, по их словам, по-прежнему сосредоточено на Сталинграде. Наши события тоже вызывают интерес. Но Сталинград у всех на устах.

— Мне кажется, хлопцы, там назревает грандиозное окружение,— высказал предположение Фадеев.

Мы снова сидим с ним в избушке члена Военного совета Д. С. Леонова. Генерал слушает рассказы о Москве, улыбается одними глазами, но говорит, как кажется, не без обиды:

— Сталинград, конечно... Это грандиозно. Кто об этом спорит? Но ведь и мы сейчас воюем помаленьку. Видите? — Он расшторивает на стене карту, на которую нанесена обстановка, и показывает на самый дальний участок фронта: — Видите? Мы в самой западной точке наступления. Ближе всех, так сказать, к Германии прорвались. И Великие Луки, видите, уже охвачены с трех направлений. А Луки — это самый большой в этих краях железнодорожный узел... Словом, друзья, советую вам сейчас отправляться к Великим Лукам.

И смеется:

— Нет, нет, я вам ничего не сказал. Полевой вон здешний, знает — это отличный старый город. Один из западных форпостов земли российской. Фашисты там более полутора лет хозяйничали. Страшные сведения нам оттуда разведчики приносят.— И потом добавляет: — Об этом еще не сообщалось, но могу вам сказать — город сегодня полностью окружен. Поезжайте в 357-ю стрелковую дивизию. Там командир полковник Кроник. Он зашел в тыл Великих Лук, прошел километров пять, повернул на север, перехватил пути Луки — Новосокольники и, соединившись с 381-й дивизией, действовавшей с севера, завершил окружение... Чуете, что там такое? Пока, конечно, окружение неустойчиво. Немцы рвутся на выручку с

запада. Подтягивают силы. Но что есть, то есть. Окружение завершено.— И опять повторил: — Чуете?

Он закрывает карту, таким образом давая понять, что разговор закончен, и проходит в приемную, где его уже ждут другие.

Рано утром выезжаем на запад, к Великим Лукам.

Ночью бушевала метель. Наш старый «Белый дом» под ее ударами кряхтел и скрипел, и ветер завывал в щелях плохо забитых окон. А вот сейчас стихло, снег ослепительно сверкает в косых лучах только что поднявшегося солнца. Ели и сосны точно бы окаменели, отягченные тяжелыми снежными подушками. В воздухе покой, неподвижность. Все это очень красиво. Но ехать по дороге, пересеченной косыми сверкающими сугробами, трудно и было бы совсем невозможно, если бы не женщины-крестьянки, быстро орудующие лопатами. Они работают тут и там, освобождая дорогу, и лица у них, нахлестанные северным ветром, такие же красные, как шерстяные платки местного производства, которыми укутаны их головы.

К десяти часам дорога уже очищена. Прибавляем скорость.

— Порядок. Вот и везде бы так,— довольно бурчит Петрович. Ему недавно присвоили звание старшины, и в качестве такового он теперь по-хозяйски относится ко всей многообразной жизни фронта, постоянно поучает своих собратьев и склонен при случае воспитывать и нас.

В самом деле, эта основная магистраль, ведущая к Великим Лукам, всегда в приличном состоянии. Колхозы поделили ее на участки и шефствуют над ними. На обочинах поставлены тесаные столбики с названиями колхозов. Люди как бы передают фронтовую дорогу из рук в руки, и каждый колхоз при этом старается, чтобы его участок был не хуже, чем у соседей.

Петрович нажимает. Обгоняем длинные колонны машин со снарядами, горючим, с мешками сухарей. Теперь немцы потеряли здесь превосходство в воздухе. Колонны сравнительно безопасно идут и днем.

Противник был выбит из этих мест еще год назад, в дни прошлогоднего зимнего наступления. Это видно по разбитым, сгоревшим избушкам, по какой-нибудь обезглавленной взрывом березе, по исклеванной церквухе да по серым, ржавым остовам неприятельских машин, торчащих из снега то там, то тут. Но неприятель отступал

по этим местам, судя по всему, торопливо. Ему некогда было уничтожать селения. За год колхозы кое-как залечили раны. В срубах старых изб белеют венцы новых бревен. Кое-где поставлены новые избушки, отличающиеся от общего уличного порядка своими малыми размерами и крохотными окнами, что объясняется отсутствием стекла. Да велика ли беда, окна ведь можно увеличить и после войны, главное — было бы в чем и кому их прорубать. Скудно, тяжело живут эти колхозы. Но уже вернули из эвакуации скот. Обгоняем вереницу розвальней, груженных навозом. Ребятишки, размахивая связками книг, бегут из школы, футболя мороженые конские яблоки вдоль дороги.

И вдруг у совхоза, носящего следы недавнего боя, эта прифронтовая, но все-таки уже налаженная жизнь разом обрывается. Дорога, уходя к пологим холмам, пересекает запущенные поля с торчащим из-под снега бурьяном, и ничто, только небольшие холмики пожарищ, не говорит о том, что здесь когда-то было человеческое жилье.

— «Мертвая зона»? — спрашивает Фадеев. Он опустил запотевшее стекло и, почти высунувшись из машины, смотрит на тоскливую картину запустения, видную всюду, куда хватает глаз.

В молчании огибаем широким полукругом Великие Луки, которые вчера, как это уже сегодня объявлено, были полностью блокированы. В сумерки, объехав окруженный город, приближаемся к нему с запада и останавливаемся у холма, именуемого на карте высота Воробецкая. Она вплотную примыкает к городской окраине. Только вчера под вечер, после многодневного, трудного боя, этот холм, господствующий над западной частью города, был отбит у противника.

Судя по данным разведки, это был самый сильный западный бастион города. Высота точно вся кротами изрыта. Мы долго поднимаемся по путаным ходам сообщения, минуем концентрические ярусы глубоких траншей, опоясывающих холм, проходим мимо блиндажей с пулеметными гнездами, где земля, точно ковром, покрыта стреляными гильзами. Еще курится на вершине блиндаж наблюдательного пункта. Но сама высота из неприятельского бастиона уже превратилась в плацдарм для нашего наступления. Ее пулеметы, орудия наведены на город, за укреплениями которого скрывается враг.

Ныряем в земляную, прикрытую плащ-палаткой щель. Спускаемся вниз тесным коридорчиком, и вдруг перед глазами открывается освещенная электрическим светом, довольно просторная комната, выдолбленная в глинистом теле холма. Из-за стола поднимается коренастый брюнет с орлиным носом, с темными, ровно подстриженными усиками. Он протягивает большую, пахнущую одеколоном руку и представляется:

— Александр Кроник, командир стрелковой дивизии.— И тут же шутит, блеснув черными глазами: — Отыскали? Ну, значит, опыт имеете. Видите, какую нору себе отвоевал? Живу теперь, как Соловей-разбойник, в горе, над всеми дорогами. Ну здравствуйте, товарищи корреспонденты! Мне о вас уже звонили.

Полковник Кроник литовец по рождению. Один из организаторов литовского комсомола. Он аккуратно пострижен, но на затылке почему-то торчит этакий задорный вихор, может быть, как память о комсомольской юности.

— Фадеев — «Правда», Евнович — Совинформбюро, Полевой — «Правда»,— рекомендуемся мы.

— Знаю, знаю. У меня разведка хорошо поставлена. Давайте введу вас в обстановку. Тут ведь она каждый час меняется. Вот план города. Впрочем, план ни к чему. Давайте выйдем из блиндажа, все своими глазами увидите.

Вышли и в последних закатных лучах, сквозь вечерний оттепельный туман увидели город, окутанный дымами. В нескольких концах его полыхало. Старый русский город, раскинувшийся в излучине Ловати, не раз отбивавший у своих стен и ливонских псов-рыцарей, и литовских баронов, и польских воевод. И в Великой Отечественной войне он успел уже сыграть свою особую роль. Здесь вот, на рубеже этого холма, летом 1941 года бронированные авангарды фашистского нашествия, тогда еще полные силы, получили один из первых могучих контрударов Красной Армии.

И в боях этих вместе с частями Красной Армии участвовали истребительные батальоны великолучан — рабочих паровозоремонтного завода, железнодорожного узла, колхозники, агрономы. Мне, тогда еще корреспонденту «Пролетарской правды», довелось видеть эту борьбу за город. И никогда не забыть, с каким горьким чувством отходили мы.

— Скоро вернемся,— утешали себя.

Вернулись, но не скоро. Полтора года город находился в руках врага. Он и сейчас в его руках. Отсюда, с высоты Воробецкой, смотрю на знакомые улицы, площади, на постройки и валы древней крепости, видные из-за деревьев городского парка, на церкви и собор, каждый из которых бастион.

Полковник Кроник очень радушен. Но почему-то слишком уж настойчиво рекомендует нам лечь отдохнуть с дороги. Впрочем, его понять нетрудно. Завтра начинается штурм города. У него, командира стрелковой дивизии, масса работы. Ему не до гостей. И то, что он нас не выставил из своего роскошного блиндажа, одно это можно считать признаком великодушия и гостеприимства.

Располагаемся на нарах, двумя параллельными полками опоясывающих землянку. Засыпая, я вижу: три фигуры, невысокая, крепкая — полковника, грузная, плечистая — начальника штаба и худая, сутулая — начарта дивизии, с трех сторон склоняются над планом города. Они давно уже позабыли о непрошеных гостях. Целиком погружены в свои заботы и расчеты. Слушаешь, как продумывается штурм каждого квартала, как устанавливается взаимодействие различных родов оружия, которое должно быть достигнуто при этом штурме, с каким упорством, трудолюбием разрабатываются задачи буквально для каждой штурмовой группы, и как-то особенно ощущаешь, что война — это не только героика, не только искусство, но и большой будничный труд, требующий и от бойца и от командира знаний, предусмотрительности, находчивости и трудолюбия. Трудолюбия прежде всего.

Это просто удивительно, с каким упорством полковник вникает в детали и мелочи и как настойчиво добивается, чтобы каждый подчиненный знал свою задачу. По-моему, он хочет, чтобы все случайности были предусмотрены и предвосхищены. И чтобы каждый командир знал, что ему делать, если возникнет нечто непредвиденное, то есть чтобы он умел это непредвиденное предвидеть. В этом трудолюбии сказывается человек, который, не пропустив ни одной ступеньки служебной лестницы, поднялся от красногвардейца первых революционных лет до комдива Великой Отечественной войны.

ВЫСОТА ВОРОБЕЦКАЯ

Разбужены мы неожиданно и довольно энергично: где-то, по-видимому, совсем рядом с нашим блиндажом, разорвался тяжелый снаряд, посланный из крепости, и все кругом так ощутительно встряхнул, что со стола полетела чернильница и залила белые фадеевские бурки, лежавшие на полу. Фадеев лишь одним глазом огляделся спросонья, повернулся на другой бок и продолжал спать. Ни неожиданный разрыв, ни урон, нанесенный его имуществу, не произвели на него никакого впечатления. Впрочем, и на остальных тоже. Комдив продолжал работать у стола, отрабатывая завтрашнюю задачу все с новыми и новыми командирами.

Ну а я заснуть уже не мог. Оделся, вышел в морозную тихую ночь. Вовсю сияла огромная луница, и в свете ее город вырисовывался, как на четком негативе. Древний русский город. Вот он, рядом. Рядом — и в то же время еще далеко. Там враг. Он, этот город, не очень даже и поврежден. Если, конечно, сравнивать его ну хотя бы со Сталинградом. Но тих, будто вымер, хотя мы знаем, что там осталось немало жителей и много неприятельских войск. Ни огонька, ни дымка.

Кто-то кладет мне руку на плечо. Это полковник Кроник. Он не в полушубке, как все мы, а в складной, отлично сшитой шинели и потому, вероятно, кажется большим, хотя ростом он невелик. Несколько мгновений тоже смотрит на город. Для него это крепость, которую нужно атаковать. Я вижу пустынные улицы, площади, парк, старинные церкви. Он видит, вероятно, разветвленную систему укреплений, купеческие особняки, превращенные в узловые бастионы, артиллерийские позиции, систему оборонительных сооружений всех видов. Все это уже нанесено у него на карту, обо всем этом он уже подробно говорил со своими подчиненными.

— Вы слышали, разведчики уже перехватили приказ фельдмаршала Клюге во что бы то ни стало удержать Великие Луки. Город именуется в нем то «поворотным кругом» всей сети их железнодорожных коммуникаций, то «западным редутом фюрера». Так они зовут цепь своих укреплений, тянувшихся от Великих Лук через Оленино — Ржев на Гжатск и Вязьму. Горячие предстоят дела... Воп они, полюбуйтесь.— Полковник протягивает мне сильный артиллерийский бинокль.

И в самом деле, при свете луны видно, как по улице движется какая-то немецкая воинская часть. Что-нибудь до роты, не меньше. У подножия высоты грохает выстрел... другой... третий. Стреляют легкие пушки. Но высота вздрагивает. Снаряды падают в расположение этой роты. Значительный перелет, близкий недолет. Ага, вилка! Третий попал в цель. Взрыв. И один из солдат упал, двое других тащат его в подворотню, и улицы снова мертвы.

От пленных, которых взято уже немало, известно, что при прорыве наших частей немецкое командование, чтобы заштопать дыру, двинуло сюда дивизию под началом генерал-лейтенанта Шерера. Гитлеровская ставка не раз уже бросала его туда, где немцам становилось туго. При приближении наших частей к Великим Лукам Шерер очень толково перетасовал стянутые к городу части, развернул строительство укреплений. Стал готовить даже оборону вокруг города и железнодорожного узла. Но то ли времени не хватило, то ли случилось что-то, чего мы не знаем, на этот раз Шерер не преуспел.

Наше командование спланировало обходный маневр. Связи частей, оказавшихся в районе города, с основной группировкой были перерублены, город окружен, и Шерер — тут уже трудно понять, почему именно он это сделал,— улетел на самолете, оставив начальником гарнизона окруженной группировки подполковника барона фон Засса.

О Зассе пленные рассказывают, что это опытный боевой офицер, человек железной воли и необыкновенной жестокости. На его совести много расстрелянных. И не только советских людей, на которых он вымещал свои неудачи в борьбе с партизанами, но и немецких солдат. По показаниям тех же пленных, Зассу дан наказ держаться до последнего. В случае удачи обороны каждому из участников ее обещана особая награда. В случае капитуляции — военный суд. Этот приказ уже попал к нам в руки. Его передал какой-то немецкий полковой писарь, не знаю, уж как оказавшийся среди пленных.

Да, нелегко будет брать этот город. Должно быть, об этом и думает комдив, рассматривая сейчас Великие Луки в артиллерийский бинокль... Удивительная ночь. Говоря словами песни Исаковского, «...и такой на небе месяц, хоть иголки подбирай». Но это здесь, на возвышенности,

а город, пока мы стояли, уже окутался серебристым туманом, из которого теперь торчат лишь колокольни да крыши наиболее высоких домов.

— Нет таких крепостей, каких бы не взяли большевики,— громко произносит комдив. Этой знакомой фразой он, видимо, отвечает на свои мысли. Так сказать, убеждает сам себя.

ЗЕЛЕНАЯ РАКЕТА

Мы уже знаем час штурма и незадолго до его начала вместе с артиллерийским командиром, стремительным, подвижным, в туго перепоясанном ватнике и ватных штанах, в ушанке, сдвинутой на одно ухо, сходим по обледенелым траншеям, почти соскальзывая, к командному пункту одной из передовых батарей, за ночь подтянутой почти к городской окраине.

Артиллеристам час штурма тоже известен. Даже орудия зарядили и теперь, нетерпеливо поглядывая на город, пританцовывают возле них, похлопывая рукавицами, притопывая, как ямщики около застоявшихся лошадей.

— Здорово, орлы! — слышится возбужденный голос их начальника.

— Здрас! — весело, но приглушая голоса, отвечают артиллеристы.

Командир делает ужасные глаза и, показывая в сторону противника, шутливо грозит подчиненным кулаком.

— Ничего, товарищ майор, в оттепель голос на губах гаснет,— отвечает один из стоявших возле орудия.

И в самом деле, тишина такая, что слышно гул боев, идущих северо-западнее Великих Лук, слышно, как где-то в городе прогрохотали по мосту колеса повозки и как весело перекликаются воробьи, суетящиеся в навозе возле артиллерийских коней, с философской невозмутимостью похрупывающих овсом.

Майор, поглядывая на часы, сам выходит на батарею. Прислуга подтягивается к орудиям. Стоят, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Даже ватники на себе одернули, подтянули ремни, будто предстоит рукопашная схватка. Майор смотрит на часы, потом взглядывает на небо. И вот справа, вниз по Ловати, где расположены боевые порядки дивизии под командованием Героя Советского Союза Дьяконова, взмывает в небо зеленая ракета. Вырвавшись из туманной мглы, она очерчивает

параболу и еще не успевает упасть, как рядом звучит голос майора:

— По фашистским гадам... прямой наводкой... фугасным...— Он привстал на носки, на минуту застывая с поднятой рукой, ожидая, по-видимому, когда секундная стрелка на часах завершит круг, и вдруг отчаянно вскрикивает:— Огонь!

Точно рокот горного обвала сразу обрушивается в тишину. Земля вздрагивает. Орудия отскакивают. Бьет не только эта подтянутая к самому городу батарея. Бьют не десятки, а может быть, сотни стволов больших и малых пушек, притаившихся меж холмами, в складках местности. Тяжелые и легкие снаряды то с журавлиным курлыканьем, то с напряженным свистом, то с этаким комариным писком летят через наши головы в город. В сером, оттепельном воздухе вдали, вспыхивая, перебегают огни разрывов. Их так много и они так густо накрыли пригородные пустыри, что снежная равнина начинает напоминать пузырящуюся под градом поверхность воды.

— По гитлеровским сволочам — огонь!.. По палачам человечества — огонь! — командует майор.

Бледное лицо его раскраснелось, глаза горят. И невольно вспоминается одна из страниц военной биографии этого человека, с которым нас вчера познакомили. В начале войны, раненный, он был взят в плен. Перенес все тяготы нечеловеческого существования. Ему удалось бежать. Избитый, с не зажившими еще следами палки надсмотрщика, прошел он десятки километров. Замерзал, отогревался, чуть не умер от голода и все-таки догнал линию фронта, пробрался через нее, вернулся к своим. На здоровье его плен не отразился. Но до сих пор не может он равнодушно слышать немецкую речь, и, когда вчера под вечер мимо высоты Воробецкой тянулась под конвоем группа пленных, он повернулся, ушел в блиндаж и долго сидел у стола, поскрипывая зубами и стиснув ладонями голову.

Говорили его друзья и о том, что, когда батарея совершает огневые налеты, как вот сейчас, он, в общем-то человек характера спокойного, нервничает, становится придирчив. А отдавая обычные команды, обязательно снабжает их сочными прилагательными и присказками, вроде бы как вот сейчас.

Гул канонады густеет. В грохочущий концерт вплета-

ются басы дальнобойных. Откуда-то из-за высоты с раскатистым, похожим на вешний гром грохотом бьют гвардейские минометы. Их неторопливые снаряды летят пучком, как брызги, стряхнутые с кисти. И видно, как огненные стрелы рвутся над немецкими укреплениями. И вот воздух начинает дрожать. Это присоединились к артиллерийскому хору большие эрэсы, которые только что появились здесь, под Великими Луками, но уже получили в войсках прозвище «Иван-долбай» и даже еще одну, более выразительную кличку, которую, к сожалению, уже не приведешь в печати.

Но недаром пленные рассказывали, что подполковник Засс опытный и дальновидный офицер. Наша артиллерийская подготовка его врасплох не застала. На нашу канонаду противник отвечает организованно, хотя и негусто. Снаряды рвутся то там, то здесь, и в общем-то прицельность неплохая. Вот где-то в центре города, наверное в крепости, застонало новое немецкое оружие: шесть стонов подряд, шесть следующих один за другим грохочущих разрывов на наших позициях. Это бьют их шестиствольные минометы, поименованные у нас «скрипухами». Тоже весьма серьезное оружие. Из них противник ударил, и довольно прицельно ударил, по лощинкам, где скапливались силы атаки.

Теперь наша артиллерия перенесла огонь с передовых укреплений в глубину, к самой окраине города. И под прикрытием этого огненного вала наши штурмовые роты, не ожидая конца артиллерийской подготовки, ринулись в наступление. Идут широким фронтом: один батальон, другой, третий... За сплошным грохотом артиллерии не слышно, разумеется, ни криков «ура!», ни ружейной, ни пулеметной пальбы. Но отсюда, с наблюдательного пункта артиллеристов, отчетливо видно, как, перебегая, и не по прямой, а зигзагообразно, движутся по направлению к окраине солдаты, как красновато посверкивают огоньки их винтовок и автоматов и как зло дрожат пулеметы, выбрасывая на снег золотистые гильзы.

Кажется, что движутся медленно. И в самом деле, с каждым броском перебежки становятся все короче. Почему? Это становится ясным, когда разом смолкают пушки и мы слышим уже, как густо, короткими очередями дробят на окраине города неприятельские пулеметы. Пули залетают и сюда, взвизгивают над головами, а раз-

рывные с негромкими хлопками рвутся за спиной в кустах, и с непривычки кажется, что кто-то стреляет по нас сзади.

Особенно энергично движется штурмовая группа справа от нас, от огромного железного бака, нелепо торчащего среди снежного поля, там, где когда-то был сгоревший теперь смолокуренный завод. Она ближе всех к окраинным домам. И поразительно — артиллеристы на руках тянут за этой группой две небольшие пушки. Вот остановились. Засуетились вокруг них. Два выстрела. Бьют, по-видимому, прямой наводкой. Еще два. Еще. Теперь явно стреляют вдоль улицы, по которой, очевидно, отходят немцы. И по расчищенной их снарядами территории штурмовая группа бросается вперед и скрывается за окраинными домами.

— Зацепились, слава тебе господи, — говорит артиллерийский майор.— Главное — зацепились. Теперь пойдет.— И, присев на корточки, начинает скручивать себе цигарку. Руки у него дрожат, и махорка сыплется на колени.

Как раз в это время над крепостью в центре города поднимаются синие дымки. Возле тех артиллеристов, которые теперь катят свои пушечки по пути прошедшей пехоты, уже на улице, взметывается бурое облачко. Когда оно рассеивается, одно орудие оказывается лежащим на боку. Но другое артиллеристы продолжают двигать к окраине.

Укрепления у Великих Лук оказались, по-видимому, солиднее, чем докладывали наши разведчики. Подполковник Засс не только принял дела, но и успел организовать оборону. За минированным предпольем, за двойным кольцом дзотов, охранявших подходы к городу, за проволочными заграждениями в шесть колов укрепления не кончались.

Бой показал, что на окраинных улицах укреплены многие каменные дома. Пулеметы установлены в подвалах, держат эти улицы под огнем. И штурмовым группам приходится наступать параллельно этим улицам— по садам и огородам. Но штурм продолжается, и бой распался на несколько отдельных очагов. Теперь требуется большая ловкость связистов, чтобы командир дивизии мог руководить этими изолированными друг от друга подразделениями, дерущимися уже в глубине неприятель-

ской обороны. И связисты отлично показывают себя. Можно видеть, как, наступая вместе с пехотинцами, они ползком тянут катушки проводов, под огнем чинят разрывы, организовали целую цепь хитроумных переключений, с помощью которых комдив или командир полка могут дозвониться до наступающего батальона уже окольным путем, через его соседей.

С наблюдательного пункта Кроника пришел к нам Фадеев.

— Как человек может перевоплощаться...—рассказывает он.— Помните, как вчера комдив спокойно, трудолюбиво весь вечер разбирал с офицерами будущую операцию? Ни одного бранного слова, ни одной даже громко сказанной фразы... А вот сейчас, во время прорыва, просто рычал и хрипел в телефонную трубку. Бранился последними словами, грозился. А сейчас вон стал опять прежним — спокойным, рассудительным, только голос сорвал, хрипит.

Фадеев рассмеялся рассыпчатым своим смешком.

— Успокоился, даже историю вспомнил. Да-да-да, историю. Говорит, с суворовских войн русские были непревзойденными мастерами уличных боев. Раз, говорит, зацепились за окраины, теперь дело пойдет.

ПАРЛАМЕНТЕРЫ ИДУТ К ВРАГУ

В два часа, когда неяркое декабрьское солнце уже начало валиться к лесистым холмам за высотой Воробецкой, а у наступающих обозначился уже явный успех и на северной и на западной окраинах города, стрельба на нашей стороне неожиданно прекратилась. Стало странно тихо, как бывает в заводской кузнице, когда возьмут да и выключат молоты и прессы.

— Что случилось? Почему?

— Сейчас пойдут в город парламентеры,— говорят нам.

— Парламентеры?

Мы по очереди припадаем к окулярам стереотрубы... Пойдут парламентеры? Как же это мы прозевали? С опозданием узнаем, что член Военного совета генерал Леонов уже здесь, что он сам инструктировал парламентеров. Никто из нас, даже Фадеев, немало повоевавший в гражданскую войну на Дальнем Востоке, штурмовавший

в числе делегатов X съезда партии мятежный Кронштадт, никогда не видел, как в стан врага идут парламентеры.

Вот в наступившей тишине, нарушаемой негустой перестрелкой с вражеской стороны, во всю мощь своих стальных легких заговорила по-немецки передвижная громкоговорящая установка. По ней сразу же открыли огонь. Смолкла. И опять заговорила. Так повторялось несколько раз. Потом огонь все-таки прекратился. Мы направили стереотрубу в сторону совхоза, откуда звучал этот радиоголос. И отчетливо видели, как две фигуры в армейских полушубках поднялись на гребень окопов. В руках белый флаг. Размахивая им, они двинулись в сторону немецких укреплений. Немцы не стреляли. Стояла такая тишина, что перекличка воробьев в конском навозе звучала в ушах, как канонада. Парламентеры продолжали идти по снежной целине. Шли осторожно, очевидно боясь напороться на мины, которыми, как мы знали, утыкано все предполье. Немецкие укрепления молчали. Вот двое с белым флагом приблизились к ним. Поднялись на бруствер, исчезли — вероятно, спрыгнули вниз. Потом появились вновь. В сопровождении четырех немцев они двигались к городу.

— По-моему, им глаза завязали. Может это быть?

— Ну конечно, так всегда и делают,— говорит Евнович, который для всех нас служит точнейшим справочником по боевым уставам и по всем пунктам Гаагской конвенции.

По мере того как стрелки двигались на часах и росло наше нетерпение, тишина становилась все более угнетающей. Солдаты, видевшие за войну множество смертей, сами только что подвергавшиеся смертельной опасности, все волновались за тех двух, что сами отправились, так сказать, в пасть зверя.

— Черт побери, все пленные показывают, что этот Засс зверь. Это ведь он установил норму: за одного убитого партизанами немца расстрел двадцати пяти заложников. За второго пятьдесят и т. д. И своих не щадит. Укокошит он этих парней.

— Не посмеет. Гаагская конвенция...

— Да идите вы подальше с этой конвенцией!

Прошло уже почти два часа. Очень ясно представляю себе состояние этих двух советских парней, что пошли туда, к немцам, прямо на стволы пушек и пулеметов,

чтобы попытаться спасти от бесполезной гибели сотни врагов, окруженных в городе.

— Придумали тоже, с кем разговаривать! — Я оглядываюсь. Это сказал майор-артиллерист.— Поглядеть бы вам всем, как они с нашими пленными разговаривают. А мы... парламентеров посылаем. Эх, погубили ребят! — И, безнадежно взмахнув рукой, майор скрывается в блиндаже.

Его, узнавшего, что такое немецкий плен, легко понять. Но я вижу, с каким интересом, с какой надеждой смотрят туда, где скрылись два наших человека с белым флагом, бойцы-артиллеристы. У каждого из нас, конечно, есть с гитлеровцами и личные счеты: убиты близкие, сожжено жилье, сёмья, горюющая где-нибудь в эвакуации... Кого не затронула, кому не изломала жизнь эта война? И все же, как мне кажется, все явно одобряют этот шаг командования.

— Ежели, скажем, на тебя пес полаял, что ж ты, человек, станешь на четвереньки и будешь на него лаять? — говорит пожилой сержант-наводчик, тот самый, что утром хорошо сказал, что оттепель «гасит на губах голос».

Он явно полемизирует с только что ушедшим майором. И все понимают этот туманный образ.

— Мы Красная Армия, мы и с фашистами должны по-советски воевать,— отзывается курносый боец, на котором шапка сидит как бабий чепец.

Второй час на исходе. Фронт молчит. Начинает смеркаться. А парламентеров все нет. Что с ними?

На наблюдательном пункте тишина. Появляется комдив со своими ординарцами. Все дружно приветствуют его, но он даже и не замечает. То и дело смотря на часы, он быстро разгуливает по дорожке вдоль позиции, и его ярко начищенные сапоги остро скрипят. До отведенных на возвращение двух часов остается минута. Полминуты. Наконец на одной из улиц города, выходящих прямо на совхоз, показывается группа людей. Один из них машет белым флагом. Теперь можно отличить две знакомые фигуры в полушубках. Глаза у них развязаны. Парламентеры торопливо идут по улице, выходят в поле, немецкие конвоиры едва поспевают за ними. Потом от немецких окопов до наших через поле они идут одни. Как кончились переговоры? Принял ли Засс предложение о капитуляции?

Это остается неизвестным. На наблюдательном пункте артиллеристов зуммерит телефон.

— Это вас, товарищ полковник,— говорит телефонист, высовываясь из ходка.

Кроник берет трубку и хмурится все больше и больше.

— Отказались? Ну пусть пеняют на себя... Есть, будет сделано.— И, вернув трубку, поясняет: — Капитуляцию не приняли, оружие не сложили. Стойкий, черт, ведь безвыигрышную игру ведет... Ну что ж, если враг не сдается, его уничтожают. Так, товарищи литераторы, говорил Горький?

И через мгновение повеселевший майор, вылезший из блиндажа, уже командует:

— По гитлеровским гадам — огонь!

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ

На ночлег располагаемся в пещерке, недурно обжитой офицерами связи, людьми молодыми, веселыми, с энтузиазмом встретившими Фадеева и великодушно уступившими ему единственный широкий, сплетенный из ветвей лежак. Жарко. Отличный воздух. Мы уже предвкушаем, как хорошо заснем, но едва успеваем сбросить валенки и вытянуть к огоньку усталые ноги, как влетает порученец командира дивизии.

Вытянулся перед Фадеевым, звонко стукнул каблуками.

— Товарищ бригадный комиссар, приказано срочно привести вас и ваших товарищей к командиру дивизии.

— Что случилось? Почему такая спешка?

Молчит, но вид у него такой многозначительный, что мы безропотно начинаем одеваться.

— Есть там у комдива кто?

— Так точно, есть.

— Кто?

— Там увидите, товарищ бригадный комиссар,— произносит порученец каким-то особым, благоговейным шепотом.

По обледеневшим ходам сообщения двигаемся все к тому же блиндажу на высоте Воробецкой. Докладывают. Входим. От карты, лежащей на столе, поднимаются две головы: черная, цыганистая, с хохолком на затылке —

командира дивизии и седоватая, с высоким шишковатым лбом — его гостя.

— Ах вот тут кто пришел! Здравствуйте, Георгий Константинович,— произносит Фадеев и крепко жмет руку невысокому плечистому человеку в вязаном шерстяном свитере. На спинке складного стула висит генеральский мундир. Я сразу же узнал генерала армии Жукова, хотя видел его всего один раз, в Сталинграде. Но разве спутаешь с кем-нибудь эту характерную лобастую голову, это мужественное лицо, на котором каждый мускул говорит о твердости, о воле? Эти глаза, зорко смотрящие из-под нависающего на них лба, и, наконец, эту продолговатую ямку на подбородке, добродушную ямку, которая так контрастирует со всеми остальными чертами этого сурового, собранного лица...

Первый раз я увидел это лицо в жаркий и ясный день степной осенью на артиллерийской позиции под Сталинградом. В высокой фуражке, в плаще, Жуков шел по ходу сообщения в сопровождении стайки командиров. Как раз в это мгновение над степью появилась вереница «хейнкелей», шедшая журавлиным строем. Вдали раздалось тягучее: «Воздух!» Жуков только посмотрел па небо и продолжал идти, а на ходу что-то спокойно говорить сопровождавшим его командирам. Шел как ни в чем не бывало. И действительно, вереница «хейнкелей» прошла севернее и сбросила бомбы где-то за горизонтом.

И вот теперь, в решающую минуту штурма Великих Лук, он здесь, представитель Ставки, заместитель Верховного Главнокомандующего. Жмет руку Фадеева.

— А что делает здесь автор «Разгрома»? Вы садитесь, садитесь, товарищи. Мы с комдивом тут все уже обсудили, поспорили и обо всем договорились. Сейчас вот как раз ужинать собираемся. Воюет он неплохо, посмотрим, какая у него кухня.

Кухня у полковника Кроника оказывается хорошей. И напитки имеются в достаточном количестве, хотя к ним почти никто и не прикасается. Тут выясняется одно почти невероятное, прямо кинематографическое соединение разных обстоятельств.

Командир дивизии Александр Кроник, оказывается, служил когда-то в кавалерийском эскадроне, которым командовал комэск Георгий Жуков. Фадеев же знал его еще по боям на Дальнем Востоке. Вот они и встретились как старые друзья, старые советские воины и старые

большевики. А на Руси, там, где встретятся три старых друга, без песни уже никак дело не обойдется.

Выясняется и еще одно, совершенно уже невероятное обстоятельство. Полководец, оказывается, играет, и хорошо играет, на баяне.

Где-то в охране штаба отыскали старенький инструмент. Ремень привычным движением кладется на плечо, пальцы делают молниеносную пробежку по ладам, широко развернуты мехи, и возникает тихая, задумчивая и печальная мелодия. Два голоса — тонкий фадеевский и хрипловатый баритон полководца — переплетаются, как бы обгоняя друг друга:

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки.

И когда дело подходит к припеву, в приятный этот дуэт вплетается хриплый после вчерашних телефонных разговоров бас комдива:

Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою...

Грустит баян. Три голоса ведут задумчивую песню о разлуке, о несчастной любви, о девичьем горе. Согласно, дружно поют и славный полководец, и знаменитый писатель, и командир дивизии, которой с рассветом предстоит развернуть решающий штурм немецкой группировки, отказавшейся сложить оружие в окруженном городе...

И мне вдруг на ум приходит дикая мысль. А что, если кто-нибудь из гитлеровских полководцев соответствующего ранга, ну, скажем, фельдмаршал Браухич, или фельдмаршал Кейтель, или еще кто-нибудь из тех, кто с фашистской стороны руководит войной, увидел бы эту сцену, услышал бы эту песню, поверил бы он своим глазам и ушам и что бы он при этом подумал?

Песня сменяет песню. А там, за скрытой плащ-палаткой дверью, обдуваемая сырым, почти весенним ветром, обливаемая лунным светом, затаилась высота Воробецкая. Изрытая, источенная ходами сообщения, ощетинившаяся в сторону крепости стволами орудий. В теплеющей тьме фырчат моторы. Лязгают гусеницы. Войска готовятся для нового, может быть, решающего, штурма.

После необыкновенного этого концерта я уснул каменным сном, но проснулся рано. Окошко блиндажа, выходившее на обледенелую стену земляного колодца, было еще темно. На столе догорала стеариновая плошка, и при ее свете я увидел, что две койки пусты. Комдива и полководца в блиндаже не было.

Набросив полушубок, вышел на свежий воздух. Внезапный ночной мороз убил оттепель, и все кругом оказалось покрытым мохнатым кристаллическим инеем. Часовой, греясь, пританцовывал у входа.

— Вчерашнего гостя видели?

— Так точно, видел. Они еще ночью в трусиках вышли, сделали гимнастику, потом снегом обтирались... А сейчас вместе с нашим по батальонам пошли,— часовой подул в озябшие ладони.— А здорово это они — в такую стужу снегом...

«ПРИ ШТУРМЕ ВЕЛИКИХ ЛУК»

Кроник перепес свой наблюдательный пункт уже на самую окраину города, в просторный деревянный блиндаж, откуда только что вынесли трупы убитых неприятелей. Лучистую дыру на потолке — след попадания нашего снаряда — затянули плащ-палаткой, сверху для тепла и маскировки засыпали снегом, с пола собрали и вынесли ведра три стреляных гильз. Печь затопили обломками мебели, принесенными сюда еще прежними обитателями, и оперативная группа штаба дивизии начала работать на новом месте.

Мне здорово повезло. С офицером связи, отправившимся в штаб армии, удалось послать на телеграф первую часть моей корреспонденции, о начале штурма Великих Лук. Теперь на свободе нужно выспаться на два дня вперед. Кто знает, когда еще в эти горячие дни доведется уснуть...

Забрался на нары, пристроился к кому-то из спящих, натянул полушубок, и последнее, что запечатлелось в мозгу, это черная голова полковника Кроника, покусывающего карандаш над планом города, какие-то командиры, греющиеся у печурки, огонь, который освещал их усталые, обросшие лица. И фигура Фадеева в углу.

Сидя на стопке цинок*, разложив свои блокноты и бумаги на каком-то фанерном ящике, он при мигающем свете трофейной плошки пишет корреспонденцию для «Правды». Весь поглощен этим занятием. Ничего, должно быть, не видя и не слыша. Изредка оторвется от бумаги, посмотрит в темный угол, что-то пробормочет про себя, сделает жест, точно бы взвешивая нечто на руке. И снова, наклонившись, принимается скоро-скоро писать.

...Разбужен я был чьим-то криком. Как всегда на фронте, вскочил и сразу пришел в себя. Что такое? Все так же горит в углу фадеевская коптилка, но и сам он и все присутствующие смотрят в центр блиндажа, где полковник во все горло и очень раздельно кричит в ухо усатому командиру, поражающему каким-то особым бледным цветом лица:

— Как дела? Слышите меня, Беложилов?.. Я спрашиваю вас, как дела?

Капитан Беложилов смущенно улыбается и растерянно разводит руками. Он не слышит. Я вспомнил его историю.

В самом начале штурма Великих Лук, когда он повел в атаку свой учебный батальон, его взрывом тяжелого снаряда, вернее воздушной волной, отбросило метров на пять. Ран не было. Он был лишь оглушен, контужен. Придя в себя, догнал батальон. Снова принял управление. Командовал жестами. Его понимали, ибо за грохотом стрельбы ведь все равно ничего не слыхать. Сейчас его батальон один из первых рассек западную часть города и дерется уже в центре, на подступах к реке Ловати.

— Не слышите?.. Ладно, буду писать. Дайте бумагу.

Дальнейший разговор между командиром дивизии и командиром учебного батальона происходит уже на листке бумаги, который они по очереди передают друг другу. Я не знаю, о чем они переписываются. Но вот полковник встал.

— Ну ладно, упрямый вы человек. Коли так, ступайте.

И он обеими руками крепко пожимает капитану руку. Тот молодцевато козыряет, делает налево кругом, щелкает каблуками и скрывается в щели ходка.

---

* Так на фронте назывались оцинкованные ящики для патронов.

Все деликатно делают вид, что ничего особенного не заметили. Я поднимаю с пола брошенную бумажку, на которой шла переписка. Вот этот беззвучный разговор полковника с командиром учебного батальона:

«Приказываю, сдайте батальон начштаба и отправляйтесь в санбат».

«Разрешите остаться до конца штурма. Чувствую себя хорошо».

«Идите в санбат».

«Разрешите остаться».

«Где вы сейчас сидите? Далеко от реки? Что мешает движению?»

«В крайнем доме квартала сорок. Река рядом. Мешает сильный огонь из желтого дома, что наискось. Прикажите артиллеристам накрыть его».

«Люди кормлены?»

«Ели горячее, настроение боевое».

«Немедленно ступайте в санбат. У вас хороший заместитель. Раненые не воюют».

«Я не раненый. Оглох только. Разрешите остаться».

Я прячу эту бумажку, одну из маленьких реликвий Великой Отечественной войны.

В это время из города вернулся заместитель командира по политической части. Шумный широколицый человек с трубкой в зубах и самодельной клюшкой в руке, о которую он опирается. Он тоже был ранен. Рана еще не вполне зажила. Хромает. Но о госпитале тоже слышать не хочет. Так и ходит, опираясь на самодельную клюшку.

— На реку вырвались, к мосту,— объявляет он и начинает рассказывать, как штурмовой батальон прорвался к мосту, как сначала комбат Яковлев вместе с шестью бойцами перебежали мост. Под пулеметным огнем закрепились. За ними последовали остальные. Сейчас они уже образовали небольшой предмостный плацдарм, засели в руинах домов, отстреливаются, не подпуская врагов к мосту. К ним уже послано подкрепление.

— Молодцы! — говорит полковник. И с удовольствием наносит на план города отвоеванный кусок.

Вижу, что Фадеев подробно записывает все происходящее, и уже начинаю жалеть, что поторопился передать корреспонденцию, которая будет лишена этих красочных деталей сражения. Но дрема одолевает. Сквозь

нее слышу, как снаряжают в город первого советского коменданта Великих Лук, капитана с певучим украинским выговором, как вручают ему красный флаг и обязывают повесить его повыше, чтобы он реял над отбитыми у оккупантов кварталами.

— Ну, господин бургомистр, не ударь лицом в грязь. Охраняй по-гвардейски жизнь и имущество советских граждан,— шутит замполит.— Да чтоб порядок в городе был. Настоящий, советский.— И уже вслед уходящему кричит: — Чтоб большевистский порядок!

Снова просыпаюсь, на этот раз от грохота, и не сразу могу понять, что случилось. Блиндаж в дыму, в пыли. Новые и новые разрывы, ощутительно встряхивающие землю, окончательно отгоняют сон. Вот пыль осела. Желтые лучи солнца, как пучки медной проволоки, пронзают мутный, пыльный воздух. На столе, на полу можно рассмотреть осколки стекла. Разбитые рамы выбросило прямо к нашим топчанам. Раздается напряженный, нарастающий, холодящий свист падающей бомбы, от которого невольно хочется вжаться в дерево нар, вдавиться в него, слиться с ним.

Сейчас, когда глаз уже привык к дымной полутьме, отчетливо видна в дальнем углу блиндажа коптилка и фигура Фадеева, склонившегося над длинными полосками бумаги. Он пишет... Бум! Бум! На этот раз на пол летит железная печурка, разбрасывая во все стороны дымящиеся угли. Фадеев удивленно смотрит на нее, мотает головой, будто бы отгоняя надоедливого комара, недовольно морщится, разминает пальцы правой руки и сейчас же, точно бы забыв обо всем, а может быть, даже и не вникнув в суть происшедшего, снова пишет что-то, бормоча себе под нос. И как-то невольно задумываешься о профессии военного корреспондента. Великолепная все-таки профессия. С каким нетерпением люди наши, да и не только наши, а и за рубежом, ждут сейчас каждую весточку с фронта, читают ее, перечитывают, иногда по тону корреспонденции стараются угадать: а что там стоит за этой строчкой?

Военный корреспондент — глаза, уши народа на войне. И как важно, чтобы эти глаза были зоркими, уши хорошо слышали. Высокая честь и ответственность. И тут уж невольно вспоминается и корреспондент «Красной

звезды», седовласый юноша Леонид Лось, погибший в конце прошлого года, и Александр Анохин, которого мы похоронили совсем недавно. Читателю, конечно, неважно знать, как добывается и чего иной раз стоит строка военной корреспонденции. Мы тоже никогда об этом между собой не говорили. Но, что там греха таить, каждый из нас все-таки втайне гордится, что в его военной книжке в графе «Воинская специальность» написано: «Военный корреспондент».

Везет, очень везет. Очерк, написанный Фадеевым ночью, в таких необыкновенных обстоятельствах, успеваем еще до рассвета отправить на узел с офицером связи. Автор доволен. Потирает руки. Насвистывает что-то бравурное, ходит по блиндажу.

— Хлопцы, а ведь, кажется, ничего получилось. Да-да-да, знаете, как я назвал этот опус? «При штурме Великих Лук». Как? А? Так сказать, по старинке, так сказать, традиционно. Но в этом и сила. Неплохо ведь, а?

ПОД КОМЕНДАНТСКИМ ФЛАГОМ

Рано утром Фадеев и я выезжаем вместе с замполитом в Великие Луки. Выезжаем. Одно это слово о многом уже говорит. Хотя нам настоятельно рекомендуют идти пешком. На полном газу Петрович, однако, благополучно проскакивает кусок шоссе, который держат под обстрелом пулеметы крепости, и мы опрометью влетаем в город, дрожащий от канонады и одетый дымами пожаров.

Дальше ехать нельзя. Обломки разбитых домов. Два обгорелых танка. Подкошенные телефонные столбы. Все это преграждает дорогу. Спрятали машину в развалинах кирпичного дома и дальше продолжали путь на своих двоих.

Проходим несколько кварталов. Отсюда враг не бежал. Нет, он пятился, цепляясь за каждый дом и используя любую возможность удержаться. Дело здесь было жаркое. Врага приходилось вырывать, так сказать, с корнем. Вот почему, вероятно, на этой окраине, среди разбитых и искрошенных артиллерией домов, лежит немало неубранных трупов с восковыми, окаменевшими лицами. Особенно много на перекрестке. Один мы видим

даже в окне — как бы переломившись, он свешивается через подоконник на улицу. Из домов неприятеля выкуривает артиллерия. Вот и сейчас на боковой улице мы видим тяжелый танк КВ, который бьет в упор, возможно, именно в тот приземистый массивный дом, о котором докладывал ночью капитан. Но и танку нелегко. В него бьют из минометов, бросают гранаты. Это-то, впрочем, напрасно. Что может мина или граната сделать колоссальной машине? Подкалиберный снаряд или бутылка с горючим — иное дело. Но бьют именно из миномета. И это можно воспринять как акт отчаяния.

Вот и дом двадцать девять по улице Садовой. Впрочем, он и единственный совершенно почему-то сохранившийся в шеренге разбитой, обгорелой, а местами еще дымящейся улицы. Он стоит между двух старых, обглоданных разрывами тополей. На воротах рукописная фанерная вывеска:

СССР
Военный комендант
западной части города Великие Луки

Есть и флаг. Сначала было его прикрепили на крыше. Но он оказался слишком видной мишенью. Неприятель сразу же открыл по нему огонь из крепости. Теперь флаг висит во дворе, над крыльцом. И хотя бой за город не затихает, хотя снаряды той и другой стороны летят над домом и шальные пули, цвикая, как воробьи, нет-нет да и склевывают со стены штукатурку, сюда, под защиту этого флага, сходятся жители, на которых тяжело смотреть. Не только приемная коменданта, не только прихожая, но и просторные сени набиты людьми. В большинстве окон нет стекол. Они кое-как заделаны. Ветер гуляет по помещению. Несмотря на это, в комнате тяжелый смрад.

Военный комендант, капитан Приходько, крепкий человек с красными от недосыпания глазами. Он и военком медсанбата Сметанников получили задание навести порядок в этой отвоеванной у врага части города и наладить медицинскую помощь населению. Ох и нелегко это сделать в городе, где полтора года хозяйничали нацисты.

Мы усаживаемся в приемной Приходько, смотрим, слушаем. Сколько сцен можно увидеть здесь, сидя в сторонке, в темном углу, в маленькой комнатке этого первого советского коменданта. Люди приходят, уходят, снова приходят. И общее количество их не убывает даже в минуты артиллерийских дуэлей, когда от близких разрывов дом ходит ходуном и пол дрожит, как листок на осине.

В сенях на узлах группа граждан, ожидающих эвакуации. Фадеев, всегда жадный до всего, что касается душ человеческих, уже среди них. Он говорит с женой паровозного машиниста из великолукского депо Клавдией Смородиной, женщиной до того истощенной, что истинный возраст ее сейчас трудно определить. У нее в ногах на полушубке, подстеленном часовым, четырехлетний сынишка. Как только он оказался здесь, в относительном тепле, он приладился на полу в ногах у матери и тотчас же уснул. Полушубок под него подложили уже потом. Женщина гладит бледный лобик сына и монотонным голосом ко всему привыкшего и ничему не удивляющегося человека рассказывает о жизни в оккупации... Да, это правда, на вокзальной площади стояли четыре виселицы, и на них висели люди. Разные люди. Их меняли — то одни, то другие. Хоронить было запрещено, и, куда увозили тела, она не знает... Первые месяцы после занятия города немцы по ночам прямо с постели хватали мирных граждан, куда-то их уводили, куда — никто не знает. И видеть их больше не видали... Когда весной тронулась Ловать, меж льдин всплывали покойники. Женщины выходили на перекат смотреть, не их ли мужья. Иные находили.

Женщина рассказывает о пяти девушках, которые были расстреляны во дворе гостиницы за то, что отказались идти в солдатский бордель, организованный в здании школы, недалеко от госпиталя. Потом было написано, что расстреляли их за неподчинение военным властям.

Сейчас в городе голод. Голод и холод. Печи нечем топить. Мебель, наверное, уже всю сожгли. А есть квартиры, где месяцами лежат замерзшие тела хозяев. Замерзли, и никто их не убирает. Только крысы над трупами измываются.

Клавдия Ивановна рассказывает об этом равнодушным голосом. А сидящий возле нее раненый артиллерист

то постанывает, то скрипит зубами, и не поймешь — от какой боли, от физической или от душевной.

Дверь с треском распахивается. На пороге женская фигура в темном пальто.

На мгновение вошедшая застывает в неподвижности, как человек, попавший из мрака в светлую комнату, а потом с рыданиями бросается к стоящему в дверях красноармейцу, зарывает лицо в его шинель и начинает эту шинель целовать.

— Пришли... Милые вы мои! Пришли. Все-таки вот пришли...

Часовой смущенно переступает с ноги на ногу.

— К чему это вы, гражданка?.. Я часовой, мне не положено.

— Пришли... Голубчики вы мои! Как мы вас ждали-то! — плачет женщина. Потом, будто бы вспомнив цель прихода, бросается к коменданту и начинает сбивчиво рассказывать, как они, пять женщин с ребятишками, не дожидаясь, пока наши войска окончательно очистят город, «под туман» решили по льду перебежать Ловать. Как пулеметчики открыли по ним огонь. Как некоторые из переходивших пали на льду. А те, кому посчастливилось добежать до этого берега, забились в подвал ближайшего дома. И ее, как она выражается, «красноармейку» Марию Кудрявцеву, послали разыскивать Советскую власть. Просить подмогу. Ведь в том подвале и у нее тоже двое ребят.

Комендант посылает вместе с женщиной двух автоматчиков из взвода охраны. Им поручается отыскать и вывести через дворы перебежавших.

Не успевают они уйти, как в комнате появляются два подростка, очень толково рекомендующиеся: Володя и Вася Кошкины, когда-то учились в седьмом классе. Они тоже перешли с той стороны, занятой противником. Им четырнадцать и пятнадцать лет. Но с серьезностью вполне взрослых людей оба они, оглядевшись, требуют, чтобы все гражданские немедленно покинули комнату. Они должны говорить только с военными.

Комендант удивленно посматривает на них, но отдает приказ. Остаются военные. Тогда Володя деловито вынимает из-за пазухи тетрадку с грубо начерченным планом города и начинает рассказывать о вражеских укрепле-

ниях, огневых точках, складах, расположенных у немцев на той стороне. Оказывается, поняв, что город окружен и предстоит штурм, они, братья Кошкины, собрали все возможные для них сведения о расположении немецкого гарнизона. Этим делом они занимались трое. Но третий в последнюю минуту струсил переходить реку. Хороший парень, но вот что сделаешь, струсил. И братья пренебрежительно говорят о нем:

— Дерьмо.

Капитан рассматривает этот самодельный план. Ребятам дают еды, провожатого и направляют в тыл. Кто знает, может быть, и окажется полезным этот мальчишеский разведплан.

— Смотри, осторожней, не погуби орлов,— напутствует комендант выделенного для них провожатого.

Уходит в тыл несколько подвод с эвакуированными. При этом происходит заминка. Смородина отказывается уезжать без «бабушки», ее матери, оставленной в городе, в укрытии. Долго и шумно торгуются. Женщина непреклонна. Наконец комендант посылает за старухой, и потом уже увозят всех.

В маленьком домике под красным флагом наконец настает тишина, если, разумеется, может настать тишина в городе, где не прекращается артиллерийская перестрелка. Веки капитана начинают смыкаться. Голова клонится к столу. Но на улице шаги, и вот он уже снова сидит на своем месте, деловитый, официальный.

«КОЛЛЕГА»

На этот раз конвоиры вводят маленького человека в меховой тужурке. Увидев коменданта, он как бы инстинктивно отпрянул. Среди других жителей, которых мы сегодня повидали, он выделяется приличной одеждой и даже благоухает одеколоном. Но на маленьком личике его застыло выражение страха. Узенькие, подвижные глаза так и зыркают по комнате, будто ищут, куда бы это можно было спрятаться. А острые, торчащие уши выглядят настороженными.

Оказывается, это предатель, задержанный жителями при попытке выбраться из города. Его фамилия Горский. Глеб Вениаминович Горский. Он редактировал у немцев

газетку «Великолуцкіе известия». Так и писалось через «ц» и «і», ибо клише заголовка было, видимо, заблаговременно сделано в германской цинкографии, и редактор так и не посмел до конца исправить в нем грамматические ошибки.

Когда начались бои за город, Горский пытался выбраться и сегодня ночью тоже перешел через Ловать. Но жительницы заметили его, узнали, схватили, поколотили, поцарапали, а потом сдали патрулю. И вот он тут, в приемной коменданта.

В свое время мне не довелось глянуть в глаза изменникам Родины, которые так же вот помогали врагу в моем родном городе Калинине. Те бежали. А этот попался. И вот он сидит перед нами, онемевший от страха, с блудливо бегающими глазками и отвалившейся челюстью.

Сознавая безвыходность своего положения, он угодливо рассказывает, как за солдатский паек и денежные подачки продался оккупантам, как согласился издавать «свою» газету — собственно, не издавать и даже не редактировать, а подписывать, так как пять шестых материалов, в том числе и большинство городской хроники, он получал уже в готовом виде в немецкой комендатуре, у специально на то уполномоченного зондерфюрера Гуслана. А примерно одну шестую материала писал сам по указанию того же зондерфюрера.

Узнав, кто мы, он оживляется и начинает смотреть с надеждой.

— Так приятно в эти ужасные минуты встретить коллег. Вы интеллигентные люди, госпо... това... Вы интеллигентные люди, граждане. Вы меня поймете.— И он всплескивает руками.— Фадеев, боже мой, сам Фадеев! «Разгром», «Последний из удэге» — это же мои любимейшие книги. Я любил их с детства... То есть я хочу сказать, что дети мои, дочь моя их любила с детства.— И тянет Фадееву руку.

У Фадеева каменное лицо. Он смотрит куда-то сквозь этого человечка. Не видит его, будто тот прозрачен.

— И большой тираж был у вашего листка?

— Никак нет, госпо... това... гражданин майор. Только тысяча экземпляров. Потом пятьсот, а теперь вот триста. Смехотворный тираж. Так, баловство. Эту газету никто не читал-с.

— Почему?

— Не покупали. Такой народ. Ничем не интересуются. И эти триста не раскупались. — Он наклоняется и как бы сообщает доверительно: — Постоянных подписчиков я имел всего сорок семь. А остальное — так, всякие учреждения немецкой комендатуры.

В процессе допроса выясняется еще один штришок, дорисовывающий портрет этого человека. Оказывается, он продал немцам не только свою шкуру, не только растленную свою душонку, но и сбыл небезвыгодно немецкому офицеру свою единственную восемнадцатилетнюю дочь. Об этом он сообщает как о чем-то совершенно естественном. Девушка молодая, красивая, отлично окончила среднюю школу. Язык немецкий знала. Не умирать же ей, единственной его дочери, с голоду. А офицер не какой-нибудь там солдафон или полевой жандарм, военный инженер, очень приличный и воспитанный человек с хорошей профессией.

Да и что поделаешь, нужда. Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет.

Это так омерзительно, что требуется большое усилие, чтобы подавить в себе жгучее желание тут же, на месте, уничтожить это гнусное существо.

Капитан вскакивает из-за стола и долго, нервно ходит взад и вперед. Потом высовывается в коридор.

— Убрать. И караулить. Глаз не спускать, караулить.

Горского уводят. И сейчас же в комнате появляется женщина в сопровождении бойца в широком маскхалате, который весь выпачкан в копоти и глине. На руках бойца ее дети — двух и четырех лет. Боец ставит их на пол и рапортует:

— Товарищ комендант, ваше приказание выполнил. Группа граждан в количестве четырех женского пола и пяти детей доставлена в целости.

Получив разрешение, часовой выходит, возвращается с краюхой мерзлого хлеба и, сдув с нее махорочные крошки, отдает женщине.

— Извиняйте. Больше нечего. Оторвались от своих. Где он, наш старшина-то?

Женщина как-то почтительно принимает мерзлую краюху и, отправив в рот несколько крошек, ломает ее надвое и отдает детям.

— Голодно жили. Летом-то ничего, трава была, а вот зимой...— И, найдя еще одну крошку у себя на подоле, бросает ее в рот и сосет, как леденец.

— Как это можно — траву? Почему траву? — спрашивает комендант, поднимая глаза на женщину.

— Еще как ели-то! Весной была кислица. В неделю ее всю вокруг города выщипали. Потом из жигалы суп варили. Ну из крапивы, что ли. А что, щи вкусные, особенно если посолить. А там лебеда пошла. Эту толкли, с картошкой мешали. А то с мучицей, у кого мука была. Клеверные головки еще. И их стригли и ели. Эти полезные и сытные, но горькие. Их надо прежде ошпаривать... Хэх, да с солью-то все ничего, да вот соли не было.

— Эй, которые на эвакуацию — на погрузку! — объявляет, влетев в комнату, чумазый шофер.— Живей, живей! А то машину на прицел возьмут, как раз снаряд и схлопочешь.

Канонада усиливается. Уличный бой разгорается с новым напряжением. И в связи с этим, видимо, приток посетителей в комендатуру затихает. Капитан достает безопасную бритву, наполняет тазик кипятком из котелка и начинает бриться.

Где-то рядом рвется нечто весьма внушительное. Лампа гаснет. Но, оказывается, уже светло и можно без лампы. Капитан завертывает маскировочную штору и снова берется за бритву. На этот раз мешает звонок телефона. Из штаба батальона сообщают, что через Ловать перешла еще группа граждан. Командир спрашивает, куда их направить.

Новый звонок. Это комдив. Начиная новый боевой день, он интересуется, как дела в уже освобожденной части города. Вваливаются двое бойцов. Привели мародеров, пойманных в пустых квартирах с награбленным добром. Куда их девать? Может, на месте прихлопнуть, чтобы не возиться? Капитан, смахнув полотенцем мыло с лица, так и не добрив щеку, начинает свой новый трудовой день.

НАЙДЕНЫШ

Вторая ночь в комендатуре Великих Лук, где мы временно обосновались, проходит до странности тихо. Если не считать, что через определенные интервалы город начинают встряхивать разрывы. Это дальнобойная артил-

лерия противника. Бьет откуда-то издалека, с запада, ведет, как говорится, беспокоящий обстрел. Ведет с немецкой педантичностью. Но никого обстрел этот не беспокоит, все стали фаталистическими оптимистами: двум смертям не бывать. Ну а комендант, у которого его круглые настенные часы шалят, по обстрелам этим проверяет их ход.

Словом, в эту вторую ночь мы отлично выспались на полу, на полушубках, в жарко натопленной комнате. Но под утро где-то на Ловати, должно быть, вдруг завязалась пулеметная перестрелка, да такая, что комендант, подняв с полевой сумки свою чубатую голову, стал поспешно одеваться.

— Он бьет,— определил комендант по звуку.— Не иначе атаку готовит.— И решительно сунул ноги в валенки, еще хранящие ласковый уют печного тепла.

Но, хотя в определении стреляющей стороны он оказался прав, это была не атака и не вылазка. Стрельба стихла так же внезапно, как и началась, а малое время спустя появился запыхавшийся боец. Доложил, что только что по льду Ловати на нашу сторону снова совершила переход большая группа, как он выразился, «цивильных». Это по ним и били немецкие пулеметы. На льду есть убитые, есть раненые. Тех, кто благополучно перешел, удалось попрятать в подвалах домов на набережной.

Комендант засуетился. Принялся крутить ручку телефона. Вызывал машины, подводы, требовал медицину. Мы же решили вместе с посыльным по безопасной от пуль дороге, проложенной сквозь проломы домов, сходить на место происшествия. Ведь мы получили возможность узнать, что́ вот сейчас, сегодня, делается у противника там, за рекой.

Солнце поднялось, но морозный туман еще не рассеялся, цепляясь за дома, за руины, за поломанные деревья. Как завеса, закрывал он израненный, побеленный инеем город, и мы без особых происшествий, проходя сквозь проломы в домах, добрались до набережной. Это односторонняя улица, последняя перед рекой. А за рекой уже позиции неприятеля. Чтобы попасть в подвал, где прятались беженцы, нужно перебежать улицу. Наш провожатый, маленький, проворный боец в полушубке, таком грязном, точно его протянули только что через пушечный ствол, показывает нам, как добраться до нуж-

ного дома, чтобы не быть обстрелянным. И тут мы вдруг видим — по этой улице, не маскируясь, в полный рост движется танкист в шлеме, в комбинезоне. Идет, пошатываясь, и тащит под мышкой какой-то объемистый сверток.

— Вот дурила, нашел время надраться! И еще трофеил чего-то,— осуждающе говорит наш провожатый.— Так вот подстрелят, как глухаря, и пропадет ни за что, а потом напишут домой: «Погиб смертью храбрых».

Чувство солдатской дружбы, однако, побарывает в нем досаду. Боец выскакивает из укрытия, бросается к танкисту, тащит, попросту заталкивает к нам его в подворотню.

— Иди, черт! Натрескался, сукин сын! — ворчит он на дюжего парня со странно бледным, просто-таки зеленым лицом.

Танкист смотрит на него сверху вниз как-то покорно-равнодушно и даже не отругивается.

Увидев нас, он вытягивается и обращается к Фадееву:

— Товарищ бригадный комиссар, ранен я... рука... Прикажите взять вот это.

Он поворачивается боком, показывая глазами на сверток, что держит под мышкой. И вдруг начинает не валиться, а точно бы оплывать. Фадеев едва успевает его подхватить. Сверток оказывается у меня в руках. И тут, к ужасу своему, я чувствую, что держу живое существо. Танкист лежит на снегу. Снег под ним медленно краснеет и заметно па́рит. Втаскиваем его поглубже в укрытие.

Недаром полковник Кроник предусмотрительно назначил заместителем коменданта комиссара своего медсанбата. Быстро появляются санитары с носилками. Да и передовой перевязочный пункт оказывается рядом. Танкиста раздевают, разрезывая комбинезон. Рука его оказывается раздробленной, на нее накладывают жгут. А пока врач занимается им, мы разматываем сверток. Там оказывается... ребенок. Он завернут в желтый шелк немецкого опознавательного флага. На нем плешивенькая шубка, меховой капор, а поверх всего еще спорок лисьей шубы. Это девочка лет полутора-двух. Мы ее развернули, а она не просыпается. Меж одежд находим записку. На ней имя девочки. И все...

Стоим пораженные. Девушка-санинструктор отбирает у нас нашего найденыша и заботливо в том же порядке закутывает его. И узнать нельзя, откуда он взялся,— танкист лежит без сознания...

С разрешения врача девушка-санинструктор вызывается отнести ребенка в медсанбат. Вслед за носилками, на которых несут танкиста, шагает и она, таща в руках этот живой трофей, неведомо откуда попавший к нам.

КТО ОН?

Немало страшного довелось уже каждому из нас повидать на войне. Сначала все удивляло, пугало, потом привыкли. Постепенно врасли в суровый быт, и зрелище крови, истерзанных тел, сожженных сел, разрушенных городов возбуждает уже только одно чувство — чувство ненависти. Должно быть, в тот самый момент, когда врастешь в военный быт и перестанешь думать, что тебя может ранить или убить, и становишься настоящим солдатом.

Да, ко многому мы привыкли, но живой сверток, принесенный танкистом, не выходит из головы. И все мы трое — Фадеев, Евнович и я, освободившись от текущих корреспондентских дел, отправляемся разыскивать медсанбат, раненого танкиста и его находку.

На след напали к вечеру, когда солнце, большое и тусклое, уже клонилось к высоте Воробецкой. В палатке, куда ввела нас военврач третьего ранга Галина Сергеевна, стоял медово-желтый полумрак.

Сначала нас подвели к танкисту.

— Трудная была операция... Потерял много крови,— шепотом сообщила Галина Сергеевна, и доброе лицо ее не может скрыть растерянности и печали.— Не знаю, выживет ли... Руку пришлось ампутировать, но поможет ли?..

Танкист лежит в полузабытьи. Большой и беспомощный. Нас он не узнает.

Откуда взялась у него эта девочка в самом пекле битвы? Как очутилась она в руках танкиста? Почему так странно закутана? Почему не проснулась, даже когда мы на морозе так неосторожно размотали ее кокон?.. Вопросы, вопросы... Мы гадали об этом целый день. И хотя штурм Великих Лук продолжался, энергичный,

напористый штурм, и мы стали свидетелями интересных боев, эта мысль не покидала головы.

Перед нашим уходом танкист все-таки пришел в себя и узнал нас. Зеленоватые губы тронула даже улыбка. Он сделал глазами знак, чтобы наклонились к нему.

— Думали небось, выпил?.. Какая тут пьянка? Откуда?

А потом, спотыкаясь на каждой фразе, рассказал, что их танк подошел к Ловати, чтобы ворваться на мост. Его подожгли. Из экипажа, кажется, он один и успел выползти через задний люк. Тут его ранило.

— Отняли ее, руку-то,— говорит он и, виновато улыбаясь, пошевелил культей, лежащей на одеяле.

Дальше дело развертывалось так. Он пополз в переулок и вдруг услышал детский плач. Плач? Откуда? Что такое? На мостовой лежал мальчик лет пятнадцати. Мертвый. А возле сверток. Мальчик был уже холодный. Плач слышался из свертка. Танкист понял — ребенок.

— Вот так, товарищ бригадный комиссар,— сказал он Фадееву, точно бы оправдываясь,— так я ее и нашел.

Фадеев — старый солдат. На этой войне он не впервой. Это полуокружение у Ржева, события на Ловати, сибирские пельмени... Его спокойствие и выдержка служат для нас примером. А тут не узнаю Фадеева. Кусает губы, отворачивается, и даже руки у него дрожат.

Галина Сергеевна показывает нам спорок шубы, в которой был завернут ребенок, желтый немецкий опознавательный флаг, шубку, капор и, наконец, записку, где твердым почерком написано имя найденыша. Только одно имя.

— И это все?

— Все.

— А где же она?

— Да вот же, как вы не видите!

Врач показывает в дальний угол большой палатки, где уже совсем сгустился полумрак. Раненые, что полегче, теснятся в этом углу. Оттуда слышатся такие странные в суровом госпитальном помещении голоса. Кто-то хрипло напевает детскую песенку. Кто-то, сюсюкая, ведет разговор.

На койке сидит девочка, маленькая, черненькая, как галчонок. На ней бязевая солдатская рубаха. Вернее, нечто наскоро и неумело перешитое из рубашки. Лицо и ручонки того бледно-зеленого оттенка, какой бывает у

побегов картофеля, проросших без света. Особенно поражают глаза. Угольно-черные, большие, миндалевидные. Серьезные и какие-то равнодушные. На одеяле перед девочкой трофейная губная гармошка, зажигалка, сделанная из патрона, сложенный перочинный ножик с блестящей никелированной колодкой и еще что-то подобное.

Ясно, что раненые вынули из мешков свои заветные сокровища, чтобы порадовать малышку.

Девочка сидит, заложив за щеку кусок печенья. И не ест, а просто держит во рту или сосет.

— Странный ребенок,— говорит Галина Сергеевна.— Молоко не пьет. Дали шоколад — отталкивает ручонками, точно ей хину предложили. А вот картофельное пюре ела с жадностью. Обеими ручками в рот запихивала.

Фадеев называет девочку по имени. Она только поворачивает в его сторону голову, но черные глаза смотрят равнодушно. Я тоже стараюсь привлечь ее внимание, называю ее как можно ласковее. Тот же странный, равнодушный взгляд в мою сторону.

— Она хотя бы говорит?

Галина Сергеевна поводит плечом.

— Не знаю. По-видимому, должна бы говорить. Ведь все понимает, но не произнесла ни слова.— И тихо добавляет: — Я пробовала заговорить с ней по-немецки. Что тут вышло! Сама не рада. Истерика, настоящая истерика!

— Что собираетесь делать?

Галина Сергеевна вопросительно смотрит на нас. Потом с убеждением говорит:

— Мне... нам очень хочется оставить девочку здесь. Знаете, как нам, женщинам, нелегко на войне. А это был бы у нас маленький теплый лучик... звоночек...

Врача отозвали к раненому танкисту. Не дождавшись ее, мы почему-то на цыпочках выходим из госпитальной палатки.

СЮЖЕТ, ДОСТОЙНЫЙ ГЮГО

Армейская связь так забита сводками и донесениями, что для того чтобы передать в Москву все, что было написано за эти дни, пришлось добираться до фронтового

узла, имеющего несколько каналов. Выехали от Великих Лук в штаб фронта.

На верной нашей «пегашке» отправились в путь Фадеев, Евнович и я. И разумеется, первый Петрович у руля. Но ехали, можно сказать, впятером. Все время был с нами маленький человечек с миндалевидными черными глазами, которого мы оставили в палатке медсанбата. Он занимал наши мысли. И о чем бы мы ни заговорили, разговор неминуемо сворачивал на него.

Обычно, чтобы скрасить дорогу и чтобы усталый Петрович не задремал за рулем, мы все время поем. А тут и петь не хотелось. Кто он, этот наш найденыш? Почему в эту ночь его перенес через реку не отец, не мать, а подросток, может быть, брат? Кто написал на бумажке имя и почему только имя? Почему не фамилию, не адрес? Ведь это было бы правильнее, целесообразней. И наконец, почему такую реакцию вызвали в девочке слова, произнесенные по-немецки?

Версии строились и рушились одна за другой. Было ясно, что за всем этим какая-то трагедия, но мы знали слишком мало, чтобы из множества возможных выделить хотя бы сколько-нибудь правдоподобную версию.

По мере наших разговоров количество вопросительных знаков все прибывало. Почему ребенок так жадно ест картошку, хлеб и почему просто пугается шоколада?

Так, в этих раздумьях и спорах, проехали мы сто двадцать километров от Великих Лук до нашего «Белого дома».

— Хлопцы, столблю тему: я напишу об этом рассказ! — воскликнул Фадеев в конце нашего путешествия.— Обязательно напишу. Тема огромной внутренней силы. Да-да-да. Представляете — ночь, эти мертвые ракеты вместо звезд, выстрелы... Бой. И этот ребенок в своем меховом коконе рядом с убитым мальчиком... А потом раненый танкист. Друзья, это же сюжет, достойный самого Викто́ра Гюго. Обязательно напишу. И какой это может быть рассказ...

В этот момент машина наша и уперлась радиатором в последний легкий сугроб, наметенный перед ветхим крыльцом нашего «Белого дома».

ВОЛНЕНИЕ В «БЕЛОМ ДОМЕ»

Как я уже писал, «Белый дом» — название очередного корреспондентского бивака, отведенного нам нашим другом, комиссаром комендатуры штаба фронта. Писал я и о том, что он не бел, а сер, ветх, тесен. И напоминает он не традиционную резиденцию президента Соединенных Штатов Северной Америки, которой, разумеется, из нас никто не видал, а сказочную рукавицу Терем-Теремок в последней стадии заселения ее зверями.

Весь наличный состав «Белого дома» был потрясен историей нашего найденыша. Пока мы отписывались, ходили на телеграф проверять прохождение наших корреспонденций, история эта была всесторонне обсуждена. Вернувшись, мы узнали, что общественность «Белого дома» в результате долгих прений пришла к заключению, что оставлять ребенка в медсанбате нельзя. И не потому, что это было бы вопреки воинским правилам. Когда речь идет о человеческой жизни, мы, к счастью, умеем нарушать и самые строгие правила. Но как бы добра и внимательна ни была милейшая Галина Сергеевна, она военный врач действующей армии. Да еще в период бурного наступления. И потом фронт. Полевой госпиталь отнюдь не застрахован от трагической случайности. Сколько раз только на моей памяти фашистские асы опорожняли кассеты прямо и точно на красный крест, который мы изображаем на госпитальных палатках и на крышах вагонов санитарных поездов.

Нет, девочку надо взять на воспитание. Кому? И тут как-то открылась по-настоящему душа всех этих очень разных людей, которых, как мне казалось, я знал очень хорошо. Корреспондент ТАСС, холостой парень, жениховское положение которого всегда служило у нас предметом шуток, вдруг заявил, что он готов отвезти ребенка к своей матери в Тулу. Конюх колхоза Егор Васильевич сказал, что, хотя изба у него спалена и жить он вынужден вот здесь, на печке в «Белом доме», он готов взять ребенка на воспитание. Девчонки его невесты, вот-вот замуж выскочат, а им с женой будет на старости лет о ком заботиться. Даже наша соседка, учительница с отбитыми легкими, которой жилось особенно туго, сказала: «Племянницу воспитываю, а где есть два рта, там и в третий что положить найдется...»

Нет, мы никому не отдадим нашего найденыша. Мы сами удочерим его. Мы уверены, что жены наши, хотя им тоже несладко живется в эвакуации или в военной Москве, поддержат такое наше решение. Но нас трое. Девочка одна. Кому ее брать, если права у всех у нас одинаковые? И тут дернул меня черт предложить положить в шапку три патрона, два обычных, а один зажигательный, и тащить жребий.

— Вы пошляк, Бэ Эн! — возмущенно выкрикнул Евнович.— Речь о человеческой судьбе, а вы какую-то тут гнусную лотерею затеваете... Ребенка возьму я. Понятно?.. У нас с женой больше на него прав. Вам это ясно?

Да, это было ясно. Евнович — старый большевик, участник гражданской войны, спокойный, мужественный человек, которого мы, корреспонденты, уже не первый раз единодушно избираем парторгом нашей группы. Мы знаем также, что недавно в бою под Керчью погиб его пасынок Володя, которого он любил как сына. О смерти пасынка он никогда с нами не говорит, но, с тех пор как телеграф принес ему это известие, мы слышим по ночам, как до утра скрипит его раскладушка, и видим, как над ней негасимо сияет огонек его папиросы.

— Ребенка беру я, решено?.. Согласны?

Все согласились. Евнович написал телеграмму, и еще ночью кто-то снес на узел связи это послание, адресованное в хозяйство полковника Кроника, врачу Галине Сергеевне. В ней мы извещали о его решении.

У ГВАРДЕЙЦЕВ ПОЛКОВНИКА ДЬЯКОНОВА

Бои в городе продолжались. Теперь центр тяжести перешел в северную и северо-восточную часть, где с первого же дня ведет сражение, напористо и энергично ведет, дивизия Героя Советского Союза А. А. Дьяконова.

Чтобы попасть туда, надо сделать дугу вокруг города. Удалиться от него, спуститься на лед Ловати и по корыту русла двигаться к городу под защитой крутых берегов.

Когда-то по этой реке проходил один из маршрутов древнего русского пути «из варяг в греки». В те времена в глубокой излучине Ловати, где приставали к острову

Дядлинка купеческие караваны и где славяне брали с торговых гостей дани и пошлины, и возник этот город, получивший отсюда свое название. Великие Луки, Великая Лука — речной изгиб.

Сейчас замерзшая река вновь превратилась в магистральный путь, по которому войскам, сражающимся уже в городе, подвозят боеприпасы, продукты, снаряжение. Здесь, на местности, где каждая точка пристреляна, из крепости по глубокому ложу реки, ловко лавируя между полыньями, и бежит по ровному, накатанному льду наша «пегашка». Петрович доволен. После бесконечных ухабов, подъемов, спусков по обледенелым склонам холмов, где лощины заминированы и свернуть в сторону нельзя, мы выбрались наконец на настоящую дорогу.

— Порядок полный, как по Садовому кольцу,— довольно говорит он и, как всегда в этакую минуту самодовольства, начинает напевать себе под нос из «Пиковой дамы»: «...Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу», при этом ловко проскакивая между убитой лошадью и курящейся парко́м, мохнатой от инея полыньей.

Крутые берега в подпушках ивняка довольно густо населены. С севера подступы к городу — ровное, чистое поле, на котором из крепости видна каждая точка. Поэтому-то тылы дивизии и разместились по Ловати, образовав в глинистых берегах целый поселок, растянувшийся не на один километр. Едешь по льду — и перед тобой панорама пещерного городка. Кухни выглядывают из-за кустов. Из-под маскировочных сеток видны заиндевелые зады артиллерийских коней... Мелькают склады ДОПа, расположившегося со своими мешками и ящиками прямо на льду, подвесившего бараньи тушки на колышках, вбитых в крутой берег... Синенький флажок полевой почты... Проносятся и уползают назад звуки духового оркестра. Они рвутся откуда-то из земляной дыры. Наконец машина останавливается у плоского, заросшего ивняком острова.

Здесь в тесной землянке расположил свой командный пункт гвардии полковник А. А. Дьяконов, Герой Советского Союза, слывущий в войсках своей армии культурным, даровитым командиром, умеющим ловко маневрировать, организовывать остроумные демонстрации, неожиданно заходить врагу в тыл и бить его в самом уязвимом месте.

Военное дело, как мы теперь это видим, одно из самых творческих искусств. Казалось бы, все здесь проходит по приказу, все подчинено уставу, обобщившему лучшее, что выкристаллизовалось в традициях армии. Это так, конечно. И в то же время, пожалуй, не представишь более широкое поле для проявления инициативы, индивидуальных способностей и дарований. Кроник и Дьяконов — соседи. Оба командиры советской военной школы. Оба, и каждый по-своему, яркие люди. Но мы вот тут, в Великих Луках, убеждаемся, сколь различны их военачальнические характеры. Стиль, методы вести бой.

Я наблюдал их обоих. И более разительный контраст трудно себе представить. Хладнокровный, расчетливый Кроник решает операцию как алгебраическую задачу. Он отлично учитывает свои силы, хорошо знает своих командиров, их особенности, тончайшим образом изучает плацдарм боя. Его разведка одна из лучших. В бою, по-видимому, для него нет неизвестных величин, и если он в разгар сражения срывается, начинает браниться, рвет телефонную трубку, то это уже скорее от характера, от темперамента.

Дьяконов, наоборот, в своих операциях — и это мы видели здесь, у Великих Лук,— делает ставку на внезапность, на неожиданность, на быстроту маневра. И он умеет выжать все до капли из таких неожиданных и привходящих факторов, как туман, оттепель, метель.

Но оба они, эти индивидуальные дарования соседей-комдивов, воспитанников советской военной школы, по-своему ярки, и каждое из них по-своему очень содействует успеху сражения.

Верный своей всегдашней тактике, остроумно используя хитрость, маневренность, напор, Дьяконов первым привел передовые батальоны на окраину города. Сейчас они энергично ведут уличный бой, вырывая у противника один квартал за другим, искусно заходя ему в тыл и порой заставляя его бросать свои довольно солидные укрепления. Дьяконовцы смело прорываются в глубину занятых немцами кварталов и, действуя инициативно, самостоятельно, уже взяли несколько сильно укрепленных узлов. При этом и потери у них невелики. Действуя этим способом, они быстро расчистили северо-западную часть города, под прикрытием утреннего тумана форсировали Ловать, вышли к противнику в тыл и сейчас,

отрезав изрядный кусок сопротивляющейся группировки, ведут бой уже близко от центра города.

Мы уже слышали от члена Военного совета генерала Леонова о военном искусстве полковника Дьяконова. И на основе всего этого услышанного как-то сам собой возник в воображении образ маститого, убеленного сединами воина из ветеранов гражданской войны. А оказался он совсем молодым. Высоким, ширококостным, по-юношески ясноглазым, с улыбкой на полном, типично русском лице, с улыбкой радушного человека, который умеет слушать других, а сам предпочитает молчать. И одет он был под стать своему солдатскому жилью — ватник, ватные штаны, меховая безрукавка и шапка, которая сдвинута у него на лоб. В землянке у него холодно, как на улице, и землянка эта, как и он сам, как весь стиль его жизни, очень напомнили мне Александра Родимцева, одного из героических комдивов Сталинграда, который, как явствует из сводок последних дней, продолжает и сейчас успешно сражаться, отстаивая узкую полоску земли на Волге.

Так же как и Родимцев, Дьяконов коротко и неохотно говорит о себе. А когда мы впрямую попросили его рассказать свою биографию и спросили, за что он получил Золотую Звезду, он увел разговор в сторону:

— Ну это дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... Насчет биографии — это вы уж в отдел кадров штаарма. Там обо мне знают больше, чем я сам...

Зато он отлично знал людей своей части. И не только командиров полков, батальонов, рот, но даже взводов, отделений и отдельных, наиболее отличившихся бойцов. Рассказывая о них, оживляется. Вероятно, именно это знание людей, умение использовать каждого и позволяет ему сейчас смело бросать в город, в тыл неприятеля, штурмовые группы, полагаясь и на инициативу командира, и на смекалку и взаимовыручку солдат. Управляет боем он легко, без надсады, совершенно не прибегая к изящной словесности и угрозам, и даже в самых трудных положениях, как мне кажется, не повышает голос.

Думается, что именно это и вливает в подчиненных уверенность, спокойствие. Но и на похвалы он, как я заметил, скуп, и если уж кого похвалит, то за дело, и человек расцветает от этого его поощрения.

Хотя этого он вслух ни разу и не произнес, но по всему чувствуется — он убежден, что в дивизии у него хорошие ребята, и, когда рассказывает о них, куда только деваются его сдержанность и молчаливость.

— ...Пойдете в город — обязательно посмотрите угловой дом в тридцать шестом квартале. Вот он на плане... Не ждите ничего особенного. Двухэтажное здание, узкие окна на север и северо-запад. Стены в метр толщиной. Какой-нибудь Кит Китыч на века строил. Снаряд среднего калибра такую стену, пожалуй, не возьмет. И вот в доме этом неприятельский узелок. Что делать? В окнах у них там пулеметные, минометные амбразуры. И торчит этот дом, извините, как чирей на определенном неназываемом месте. Приказ армии — надо брать. Послал батальон. Жали-жали — не дожали. Огонь. Потери. Пришлось откатиться. Послал роту. Жала-жала — не дожала. Огонь. Потери. Залегла рота и лежала до темноты... Ладно. Посылаю взвод. Опять огонь. Опять потери. И у взвода не вышло... Что будешь делать? Тогда вызываю трех разведчиков. Запишите фамилии: Сосновский, Никифоров, Лесин. «Вот,— приказываю им,— орлы, подберитесь с тыла, проникните в здание — да из автомата или лучше гранатами. Понятно?» — «Так точно, понятно».— «Выполняйте».— «Есть выполнять». Пошли. Что же вы думаете? Двух часов не прошло, слышим — в доме стрельба, взрывы. Ну мы с фронта нажали, гарнизон и раскорячился. То ли с фронта атаку отбивать, то ли свое мягкое, неназываемое место защищать. Тем, кто в живых остался, ничего другого и не осталось, как хендочки-хохочки сделать... Вот это и есть уличный бой. А в лоб только дурака бьют, да и то только с перепугу. Вы понимаете, товарищи корреспонденты, дом — скала, подвалы страшенные, из ледниковых валунов, перед домом траншеи с подземными ходами, а взяли трое, и притом, запишите это особо, ни одного из них даже не оцарапало. Проверьте фамилии: Сосновский, Никифоров, Лесин.

Опять пытаемся перевести разговор на жизненный путь самого рассказчика. Ну хоть о звездочке своей может он рассказать?

— Давно было, забыл,— отшучивается он.— Я вам вот лучше про артиллеристов моих расскажу. Даже вот и сам хочу написать в «Красную звезду» статью «Артиллерия в уличном бою». Не сейчас — какие сейчас

статьи,— когда-нибудь... когда до Берлина доберемся. Так вот, артиллеристы наши научились наступать вместе с пехотой. Вот и сейчас не раз уже шли вместе со штурмовыми батальонами. Бьют противника чуть ли не в упор. У нас командиры смеются: осталось только к пушкам штыки приделать, и будут в атаку ходить. Есть у нас сержант Косолапов. У нас несколько Косолаповых, так это Федор Косолапов. Чудный парень, весельчак, гитарист, вот некогда ему, а то бы мы его сейчас сюда пригласили. Играет и поет. Так вот он наступал вместе со штурмовым батальоном, и случилось у него горе: сам-то цел, а пушку разбило. У смелого солдата правильное решение всегда в кармане, его в тупик не загонишь. Разбили пушку? Ладно. Высмотрел он, откуда бьет по ним пушка из тех, что немцы «длинными максами» называют, подобрался. Один — заметьте себе, один с двух гранат со всем расчетом покончил. Тут его собственный расчет подоспел. Пушку против ее хозяев повернули, а орудие серьезное. У немцев пушки хорошие. Как из него по неприятелю ахнет... И опять беда. Осколком, что ли, у этого орудия прицел и панораму снесло. А стрелять надо выборочно, прицельно. В уличном бою по квадрату не дернешь, как раз в своих влепишь. Так он, Косолапов, по стволу стал орудие наводить, как винтовку. И били. И наделал этот «длинный макс» своим хозяевам дел... Я еще когда-нибудь статью напишу «Инициатива красноармейца в бою». Это важнейший фактор. Инициативный солдат десяти механических исполнителей стоит...— Комдив, как видно, сел на своего конька. Он любит потеоретизировать.— Немецкий солдат, слов нет, для войны хорошо обучен — стоек, дисциплинирован... Это вы все не пишите, это пока еще нельзя писать. Но насчет боевых качеств немецкого солдата худого не скажешь... Но автомат лишился управления — всё, «цурюк» или «хенде хох»... Инициатива солдата и любого командира — это ведь один из самых крепких наших козырей. Она всем строем нашей жизни воспитана. Ударничество, соревнование, стахановское движение... Ее и в армии беречь и лелеять надо. Чудная тема для статьи, но не сейчас, не сейчас. Сейчас пока что не описывать инициативу, а в бою проявлять надо. А пока что советую вам, товарищи, напишите-ка вы о моих артиллеристах.

КРАСНЫЕ КНИЖЕЧКИ

Ночью по Ловати пробираемся к центру города.

Круглая холодная луна с припухшей щекой и страдальческой физиономией стынет в черном бархате неба, залитого льдистым мерцающим светом каких-то очень ярких в эту ночь звезд. Снег хрустит под ногами. Сугробы сверкают искорками. А Ловать дремлет под снегом в красивых обрывистых берегах. И тени лежат под берегами такие черные, что невольно кажется, что тут или там кто-то притаился и подстерегает тебя.

На островке остатки легкого деревянного домика с кружевной терраской. Вывеска: «Лыжная станция». И невольно думаешь: как это здорово, должно быть, в такую вот морозную лунную ночь пробежаться на лыжах по упругому насту, по реке, вдоль набережной этого старого города, пробежаться, вдыхая прокаленный морозом воздух, а потом вот в этом узорчатом спортивном домике снять лыжи, съесть бутерброд, выпить с морозцу кружку горячего кофе или чего покрепче... Над городом подскакивает осветительная ракета и, описав пологий полукруг, начинает падать, разбрызгивая искры. Идет ленивая перестрелка... Лыжная прогулка. Это что-то очень далекое, почти нереальное. Шагаем по реке.

— Стой. Кто идет?

— Свои.

— Пароль?

— «Миномет». Отзыв?

— «Минск». Проходите.

Часовой в маскхалате, выступивший из заиндевелых кустов, скрывается в них бесшумно, как привидение. Он сразу становится невидным, точно бы превращается волшебством в один из этих сугробов, посверкивающих под луной. Лыжи — мечты, а вот действительность, реальность — израненный город, где и свои и чужие. Еще раз при свете однобокой луны уточняем по карте нужную нам точку. Да, вот она, эта старинная церковь. Должно быть, когда-то красивая, но теперь как бы изгрызенная снарядами. Лезем в пролом.

Нам нужен командный пункт штурмового батальона. Он помещается где-то здесь, в этой церкви, откуда сегодня выкурили противника. О нем рассказывал нам полковник Дьяконов. Где же вход? Ага, вот дорожка,

Она ведет в обход церкви. Дорожка — это уже хорошо. Значит, на мину не напорешься. Осторожно движемся по этой дорожке. Окрик сзади:

— Стой. Кто идет?

— Свои.

— Пароль?

— «Миномет».

— «Минск». Проходите.

Да, в сторону от тропинки сворачивать нельзя. Часовой говорит, что давеча тут подорвался комсорг полка, тоже искавший штаб батальона: «Не сильно подорвался. Но унесли на носилках».

Отыскали дверцу. Спускаемся куда-то под церковь с тыльной стороны. Ну да, теперь ясно, это одно из подземных гнезд, созданных и вооруженных оккупантами в городе, когда война приблизилась к нему, одно из проявлений хитрости фашистского генерала Шерера. Несколько таких подземных нор расставил он по городу. Рыли с двойным расчетом: в лоб их не взять, но и отступить из них нельзя. И снаряд их не возьмет, разве что самый тяжелый. В таком укреплении небольшой гарнизон может долго продержаться, отбивая атаки весьма крупных сил.

Но увеличение артиллерийских калибров, как известно, всегда вызывало утолщение брони. На яд находится противоядие. И наши части здесь, в Великих Луках, научились действовать против таких вот подземных гнезд. Их не штурмуют. Их блокируют, превращая в мышеловки. Так вот, вероятно, и было здесь. Блокированному гарнизону, отрезанному от своих, не имеющему ни связи, ни снабжения, не оставалось ничего, как сдаться.

Засветив фонарик, спускаемся по узкой, обшитой тесом щели.

И опять вспоминаем случай, рассказанный полковником Дьяконовым, который мог бы, пожалуй, показаться парадоксальным, но который отражает и специфику сегодняшнего уличного боя, и особые черты, присущие Красной Армии: батальон не взял, а три инициативных бойца взяли и сами оказались целыми.

Спустившись в подвал, выясняем, что командного пункта батальона здесь уже нет. Он передвинулся глубже, в центр города. А тут теперь канцелярия полкового штаба и дивизионная партийная комиссия. Перед секре-

тарем парткомиссии на столе пара граната, котелок с остывшей кашей и две стопки партийных билетов и кандидатских карточек. В стопке, что поменьше, красные и коричневые книжечки, потрепанные и потертые. Это документы коммунистов, погибших в боях за город. С каким-то особым чувством берешь эти маленькие книжечки. С фотографий смотрят лица, разные лица — красивые, некрасивые, открытые, замкнутые, простодушные, с хитринкой. Люди. Воины. Коммунисты. Некоторые книжки новешеньки, не уплачен еще ни один членский взнос. Таких книжечек четыре. Люди вступили в партию уже тут, у Великих Лук, и погибли, едва успев получить партийные документы. Но они пали как настоящие большевики у стен этого старого русского города.

Мне вспоминается давняя беседа с командующим Калининским фронтом генералом Коневым в маленькой избе в деревеньке Чернево под Калинином.

— О коммунистах пишите. Они всегда впереди, коммунисты,— говорил генерал.— Тяжкое время. Враг в стены столицы ломится, а партия растет. Что значит сейчас быть в партии? Какие выгоды это людям сулит? Это значит — первым идти в атаку, впереди других рисковать собой. Вот что это значит. А партия растет. Об этом надо вам, писателям, все время думать.

С тех пор я напечатал очерк об армейских большевиках Сталинградского фронта и передовую для «Правды» — «Коммунисты в бою», которую летом передал в редакцию по телеграфу прямо с фронта, из-под Ржева. Но, перебирая вот эти партбилеты, чувствую себя все-таки виноватым за то, что мало писал на эту, по-видимому, совершенно неиссякаемую тему, и как бы физически ощущаю, в каком долгу перед коммунистами страны мы, журналисты и писатели...

Во второй стопке, лежащей перед секретарем парткомиссии, новые кандидатские карточки. Их значительно больше. Потери партии восполняются сторицей. На место погибших встают те, кто отличился при штурме города, кто мужественным подвигом своим доказал, что дело социализма и родная земля для них дороже жизни.

Секретарь парткомиссии рассказывает, что в эти дни парткомиссия работает непрерывно. Вот сейчас он как раз готовится идти в город, в штурмовую роту, где через полчаса будут разбирать девять заявлений. А я вспоминаю, что такая вот беседа с секретарем полковой

парткомиссии была у меня месяц назад в Сталинграде в массивном подвале под разрушенным домом. Стало быть, явление, типичное явление. В тяжелую пору советские люди повсюду сплачиваются вокруг своей партии.

«ХЕНДЕ ХОХ!»

Штаб батальона мы находим уже в самом центре города, недалеко от Ловати, в здании городской больницы, когда-то, по-видимому, просторной, благоустроенной, а теперь полуразрушенной.

Тут стоит сказать пару слов о медицинской помощи в оккупированных Великих Луках. Из развернутой сети лечебных учреждений, которыми полтора года назад располагал город, в сущности, сохранилась только эта больница. Первые два этажа больницы были отведены для немцев. И лишь подвалы, где раньше помещалась прачечная, и этаж, где были служебные помещения, были предоставлены населению. Девятнадцать коек. Когда город был осажден нашими частями и оказался под обстрелом, нацистский комендант приказал эти койки вместе с больными перевести в верхний этаж, а немецких больных и раненых — на первый и в подвал. Отопление верхнего этажа в целях экономии было отключено. В эти последние дни те больные, у кого в городе было жилье, были родичи и кто мог ходить, разбрелись. Оставшихся предоставили самим себе. Они могли умирать не только от болезней, а от холода и голода.

Вот в этом-то больничном подвале в нескольких десятках метров от линии уличных боев и расположился командный пункт батальона. Впрочем, комбат и начальник его штаба занимают в подвале лишь каморку истопника. Сам же довольно большой подвал отведен для новых и очень важных в условиях сегодняшних боев целей. В эти последние дни наступающие части живут новым явлением: противник начинает сдаваться... Нет-нет, до массовой сдачи, о какой рассказывали когда-то кинофильмы вроде «Если завтра война...», дело не дошло и вряд ли когда-нибудь дойдет. Воевать в фильмах и песнях куда легче, чем на поле боя. Я уже видел, как сражались немецкие части, очутившись в полуокружении во время штурма Калинина. Видел Сталин-

град, где бой и сейчас идет не за километры, а за метры, где в победной сводке отмечается не освобожденный населенный пункт, даже не улица, а один-единственный дом номер такой-то. Немцы — крепкие солдаты. Но лишь до той поры, пока не потеряно управление боем, пока действует сила приказа, пока существует организация. А вот когда управление парализовано и солдат остается один на один с собой, со своими мыслями, со своей совестью, вот в этот-то момент, вероятно, разум его светлеет. И, очутившись в такой безнадежной ситуации, как в Великих Луках, он начинает искать выход.

Наш друг, начальник 7-го отдела Политуправления штаба фронта Александр Зусманович, склонен приписывать это действию своих листовок-пропусков, которыми он буквально засыпал сейчас немецкий гарнизон, окруженный в Великих Луках. Ну что ж, листовки, вероятно, имеют значение. Радиопередачи через линию фронта, в которых выступают и немецкие антифашисты, и кое-кто из пленных, тоже. Но Фадеев, помнящий еще «штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни», посмеивается: нет-нет, идеология нацизма — империалистическая идеология. Сила нацизма — сила страха. Лишь когда страх неминуемой смерти в бою нейтрализует силу этого административного страха, солдат, оставшись наедине с самим собой, получив возможность думать, начинает понимать, что сражаться ему не за что, и поднимает руки.

Так думает Фадеев. А я, прилетевший сюда из Сталинграда, могу сказать лишь: не знаю. Пока не знаю. Там, где сражение идет за метры замороженных руин, увы, еще не действуют ни листовки, ни радиопередачи, ни возможность солдата подумать наедине со своей совестью. Там действует, как мне кажется, лишь сила оружия. И конечно, наше моральное превосходство.

Как бы там ни было, но мы с Фадеевым очутились в промерзлом подвале, среди военнопленных... Какие они все разные! Дни осады, разумеется, изменили их обычный облик. Где тот бодрый, уверенный в себе, вдохновленный своей безнаказанностью солдат, который осенью прошлого года рвался по дорогам Верхневолжья к Москве? Помнится, еще в Калинине, после его освобождения, записал я песенку, которую они в те дни распевали. Текст ее в буквальном переводе нам, советским людям,

вероятно, покажется странным, диким, но я записал его добросовестнейшим образом:

...Мы будем шагать до конца,
Пусть все летит в преисподню.
Сегодня наша Германия,
Завтра — весь мир...

Этот текст продиктовала мне в родном городе знакомая девушка, архитектор по профессии, происходящая из немцев Поволжья и отлично знающая язык. Мне даже подумалось, не подшутила ли она надо мной. Могла ли быть такая песня? Но Зус подтвердил: есть, и очень распространенная.

Ну что ж, это быль тех, теперь уже давних, дней. А вот тут, в этом подвале старинного русского города, еще не вполне освобожденного, у немцев другие разговоры и, вероятно, другие песни. Ни один из них не говорит о покорении мира. Мой старый знакомый, наш калининец, майор Борис Николаев, человек, которому по его военной профессии приходится все время быть в курсе того, что делается по ту сторону фронта, как мне кажется, наиболее точно понял, что происходит сейчас в окруженных Великих Луках.

— Немцы задумываются,— говорит он.— Страх смерти проясняет им мозги. Перед страхом гибели все наносное уходит, испаряется... Нет-нет, тут не только вульгарный страх — убьют иль нет. Просто в момент, когда смерть стоит за спиной и дышит в затылок, человек начинает размышлять о жизни, о своем народе, о стране — они ведь тоже любят свой фатерланд и думают, конечно, о его будущем. Но речи доктора Геббельса, все эти их факельцуги и «хайли» тоже сразу не выветриваются... И все-таки они начали поднимать руки. Поднимают, несмотря на то что им вдалбливают, что мы не берем пленных, что мы мучаем и расстреливаем тех, кто сдался... Нет, просто побеждают разум и опыт войны. И притом, друзья мои, не имеем мы с вами права забывать, что когда-то пять миллионов немцев проголосовали за Тельмана.

И он, мой тезка, усталый и небритый, вдруг начинает напевать:

...Заводы, вставайте,
Шеренги смыкайте,
На битву шагайте, шагайте, шагайте...

Марш Коминтерна. Знакомый с юности мотив. Как странно звучит он тут, в промерзлом, пропахшем карболкой подвале, где сидят на койках, на полу, лежат в проходах вдоль стен чужие немецкие солдаты. Фадеев с интерессом посматривает на Николаева.

— Черт возьми, а вы, майор, пожалуй, правы. Да-да-да, правы. Лозунг «Смерть немецким оккупантам!» сменил на грифах наших газет «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Но этот наш старый лозунг, он, конечно же, живет... Ну ладно, все это пленные. А перебежчики есть?

— Есть перебежчик... Один,— усмехается майор Николаев и рассказывает его историю: — Бой тут шел через улицу. Сражающиеся сидели в противоположных домах. Улучив минуту затишья, четверо немцев, бросив оружие, с листовками в руках сиганули из подворотни и побежали через дорогу. Троих скосил их собственный пулемет, ударивший им в спину. Четвертый добежал до окна дома, находившегося напротив, и, пока наши стрелки, схватив за шиворот, втаскивали его в окно, свои успели ранить его, как говорит полковник Дьяконов, в деликатное, неназываемое место.

— Вот он,— Николаев показывает на щуплого солдата, лежащего на койке под шипелью.

Подходим к нему. Он со страхом смотрит на ромб в фадеевской петлице и начинает бормотать, что он в нас не стрелял, просит учесть, что он добровольно перебежал к нам, а потом что-то говорит о старушке матери, которая ждет его, единственного сына, в Баварии.

Он уже рассказал все, что знал о немецком гарнизоне Великих Лук, рассказал об укрепленных точках, о складах, даже об убежище начальника гарнизона, которое, по его словам, помещается где-то недалеко, в районе железнодорожного депо, в подвале. Сам он там не был, но посыльные туда ходили, и туда же вел провод. По-видимому, он уже не в первый раз повторяет все эти слова, и младший лейтенант, хорошенькая девушка-переводчица, передает нам эти сведения, брезгливо посматривая на того, кто их сообщал.

— Странный тип. Все просит не расстреливать его.

— Так мы же не гитлеровцы, мы пленных не расстреливаем, откуда вы это взяли? — произносит Фадеев, рассматривая этого щуплого солдата.

— Нет-нет, господин генерал, не говорите так. Я знаю,

Я понимаю, что иначе вы не можете. Ведь мы такого тут у вас натворили. Но меня, пожалуйста, не надо. Я же сам перебежал и все рассказал.— И вдруг, привскочив на койке, говорит: — Гитлер капут! — А потом добавляет, по его мнению, по-русски: — Гитлер тшерт!

Свои тоже смотрят на него с презрением. Подходит пожилой немец и, спросив разрешения говорить, заявляет:

— Если бы у нас знали, что вы действительно не расстреливаете пленных и даже кормите их, все бы переменилось.

Тут вдруг выясняется любопытная деталь. Чтобы поддержать дух окруженного великолукского гарнизона, генерал-фельдмаршал Клюге после того, как посланные им танки, таранившие извне кольцо окружения, были отбиты, на самолете прислал ящик с железными крестами. Именем фюрера каждый участник боев за Великие Луки получал Железный крест II степени. Каждый офицер — крест I степени. А начальник гарнизона фон Засс был награжден Рыцарским крестом.

— Мы спросили вот этого перебежчика, где его крест,— рассказывает девушка-переводчица.— Он полез в карман, неудачно вывернул его, и на пол упали... целых три креста. Смутился. Постарался наступить на них ногой. А потом объяснил, что два из них принадлежат его товарищам, что он просто взял их у убитых, чтобы, по его словам, видите ли, переслать их матушкам. Врет, наверняка врет.

Что-то очень знакомое померещилось мне в этом егозливом, заискивающем типе. И Фадеев разрешил эту загадку:

— Бэ Эн, помнишь того мародера? Того «палевого эсэсовца» там, под Ржевом? Да-да-да... одного поля ягоды.

Я помнил, конечно. Но у того была идея обогащения. А этот, содравший со своих мертвых товарищей боевые награды и отличия, уличенный в этом, смущенно бормочет в свое оправдание:

— Поверьте мне, я хотел послать это их родителям на память.

— Вот гад! — Эти слова вырываются у девушки в армейском полушубке. Совсем юной девушки с румяным лицом и усталыми глазами много пережившей, много

повидавшей женщины. Это Тамара Портнова, здешняя комсомолка, около года партизанившая в лесах, не раз ходившая в город на разведку, а сейчас принимающая участие в боях в качестве проводника штурмовых групп...

Обратный путь мы совершаем молча. Перед глазами у меня стоят почему-то картины, виденные в начале этого наступления. Красавец узбек с точеным смуглым лицом, застывший на снегу с гранатой в руке... Русоволосый русский богатырь, распростертый возле, рядом с врагами, которых он уничтожил. И эти простые, такие разные лица на фотографиях погибших в бою коммунистов, тех, кто уже здесь, в Великих Луках, вступил в партию... И где-то возле перепуганной физиономии этого мародера с выпуклыми глазами, просящего его не расстреливать, и рыжий лобастый эсэсовец в брезентовых веригах, начиненных золотым ломом. Ведь все они примерно одного возраста: года двадцать два — двадцать три. Вот люди социалистического мира и вот она, «раса господ», которую успел вывести Гитлер в великой Германии, Германии Вольфганга Гёте, Людвига Бетховена, Карла Маркса, Рудольфа Дизеля. Раса «северных бестий», для которых он мнит построить свой «новый порядок» на всей земле.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ИЛИ ЗАССЕНШТАДТ?

Вернувшись на командный пункт, узнаем, что, по показаниям нескольких пленных, взятых в самые последние часы, в штаб окруженного великолукского гарнизона прибыла шифрованная радиограмма Клюге, адресованная начальнику гарнизона подполковнику фон Зассу. От имени фюрера командующий северной группой немецких войск ставил в известность начальника гарнизона, что в случае, если ему удастся удержать город до прорыва кольца окружения и подхода подкреплений, город будет назван его, барона фон Засса, именем — Зассенштадт.

Среди наших радиоперехватов такой радиограммы нет. Но, судя по показаниям пленных, или она действительно была, или выдумана командованием окруженного гарнизона, чтобы теперь, когда, в сущности, исход борьбы уже ясен, вдохнуть в сопротивляющиеся войска если и не уверенность, то хотя бы бодрость.

— Камфара, — цедит сквозь зубы офицер разведки,

показавший нам соответствующие места из протоколов допроса, где это утверждается.

— Поможет она им, как мертвому припарки,— добавляет другой, отмечая на разведкарте появление перед нашим фронтом новых частей и соединений противника.

— Много обозначилось подкреплений?

— Да не очень... Вот свежая танковая дивизия. По нашим сведениям, они тащили ее из-под Ленинграда на юго-восток, вернее всего — к Сталинграду. Но вчера остановили эшелон. Сгружаются. Это тут недалеко. Наша авиация это место уже проутюжила.

— Опасно?

— Да, дивизия полнокровная. Это как прошлогодние летние немцы. «Дранг нах остен» — и все тут... Только поздно. Город-то уже почти наш. Видите?

— Можно посмотреть на план?

— Пожалуйста. Немцы этот секрет знают лучше нас.

Рассматриваем план. Потертый, исчерченный рабочий план. Занятые части заштрихованы красным карандашом. Только старинная крепость на берегу Ловати, только несколько изолированных кварталов в центре да большой кусок на восточной окраине, в районе паровозоремонтного завода имени Макса Гельца и железнодорожного узла, остаются еще в неприятельских руках. Тут немецкие части, даже разобщенные между собой и вряд ли имеющие между собой даже радиосвязь, продолжают сражаться, все туже сжимаемые нашими частями. Питание и боеприпасы им бросают с воздуха.

— Не поможет! Никогда Ловати не течь вспять, никогда русскому городу Великие Луки не быть Зассенштадтом! — с пафосом восклицает корреспондент ТАСС, наблюдая очередной прилет вражеских транспортных самолетов.

«НОВЫЙ ПОРЯДОК» В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

Утром узнаем, что в центре города ликвидированы еще несколько немецких опорных пунктов. Вся борьба сосредоточена в двух противоположных концах — в крепости и у железной дороги.

Правда, шальные снаряды, посланные с внешнего кольца неприятельской группировки, еще порою рвутся на улицах, и Клюге, выполняя свое обещание, активизировал атакующее кольцо дивизии. Но все это имеет

больше моральное, нежели действительно военное, значение.

В газетенке Горского, комплект которой мы нашли, прочли мы передовую, озаглавленную «Благотворный новый порядок в Великих Луках». Новый порядок, установленный гитлеровцами. Теперь вот мы получили возможность посмотреть, что же это такое, «новый порядок». Увидеть это собственными глазами. Это статья помогает понять, что грозило нашим селам, городам, всей нашей земле, если бы гитлеровская затея удалась.

Вчера на ночь я сделал себе в блокнот выписки из книги профессора А. Н. Вершинского «Города Калининской области». Судя по этой книге весьма серьезного автора, до войны Великие Луки были бурно отстраивающимся окружным центром. Каждый год город обогащался новыми предприятиями, культурно-бытовыми учреждениями. К моменту оккупации у него было девятнадцать школ, шесть из них средние, три техникума, восемь библиотек, шесть клубов, три больницы, восемь детских учреждений, музей, театр с постоянной труппой и Дом Красной Армии, какому мог бы позавидовать и областной центр.

Медленно идем по городу. Где все это?

Разрушенные дома, занесенные снегом до оконниц. Таблички вывешены на двух языках. Крупно — на немецком, помельче, внизу,— на русском. «Городская управа»... «Комиссионый магазин»... «Ломбард»... «Антикварный магазин»... «Скупка старых бытовых вещей»... «Полицейское управление»... «Гражданский комендант»... «Районый комендант»... «Полицейский участок»... И снова «Полицейский участок»... Наконец, «Ресторан». Это крупно. Написано на русском, а внизу маленькая табличка по-русски и по-немецки: «Только для германцев». И опять «Полицейский участок».

На весь город только, кажется, одна школа, да и ту потом закрыли: здание потребовалось под госпиталь. Для граждан оставались лишь те девятнадцать коек в подвале больницы. Не было ни одного настоящего магазина, ни одного бытового или культурного заведения.

На заборах и стенах домов во множестве вариаций повторялись красивые, многокрасочные плакаты: «Германская армия несет свободу, счастье и процветание народам Европы». Это по-русски. Для нас предназначалось. На плакатах цветные фотографии. Румяные старички,

читающие немецкие газеты на садовой скамейке на фоне Эйфелевой башни... Группа плечистых красавцев в гитлеровской офицерской форме кормит курчавых босоногих мальчишек возле величественных развалин Парфенона... Немецкий врач, похожий на фокусника, протягивает склянку с лекарством оборванной и босой польской крестьянке... Румяные немецкие солдаты отплясывают возле церкви с девушками в старинных чешских костюмах. Эти плакаты так и лезут в глаза со стен, афишных тумб, телеграфных столбов.

Зато в паршивенькой типографии, где издавались «Великолуцкіе известия», среди опрокинутых касс, рассыпанных шрифтов майор Николаев нашел засунутый за реал сверток корректур приказов городской комендатуры и градской думы. Сами приказы, по-видимому, насколько это оказалось возможным, были собраны и сожжены. Но вот корректуры уничтожить забыли. Николаев дал мне ознакомиться с этими корректурами. Вот выписки из них:

«...В связи с временным сокращением светового дня срок хождения гражданских лиц установить до 16 часов по берлинскому времени... За нарушение кара вплоть до расстрела».

«Каждый, кому по личной надобности возникнет необходимость выйти за пределы городской черты, обязан подать предварительное заявление районному коменданту и получить на сие особое, печатью удостоверенное разрешение... Нарушивший сие распоряжение и появившийся за чертой города без разрешения, скрепленного соответствующей печатью, будет наказан по законам военного времени...»

«Гг. обыватели города Великих Лук обязаны зарегистрировать в градской думе всех наличествующих у них домашних животных, а также птиц и других зверей, в виде собак, кошек на предмет получения соответствующего разрешения на владение ими и уплаты установленного думой налога... Лица, уклонившиеся от сего, будут рассмотрены как умышленно нарушившие приказы и покараны по законам военного времени...»

«Комендатура сим объявляет регистрацию лиц как мужеского, так и женского пола от восемнадцати до тридцати лет включительно на предмет вербовки на работы в Германии и западные области России. Лица, игнорирующие этот приказ, подлежат привлечению к

ответственности как саботажники, чинящие препятствия немецкой армии со всеми последствиями, из сего вытекающими...»

«...В случае обнаружения эпидемического заболевания в семье глава семьи, коим является старший мужчина, а за отсутствием такового старшая женщина, обязан сообщить об этом в соответствующий отдел городской управы. Невыполнение оного будет рассматриваться как умышленное распространение эпидемии и помощь партизанам, вследствие чего глава семьи, определенный выше, будет предан военно-полевому суду...»

«...Участились случаи, когда покойники остаются в доме не преданными земле. В случае обнаружения таковых фактов домовладелец или домовой человек, а также самый близкий из родственников покойного будут рассматриваться как саботажники-провокаторы и будут предаваться суду в соответствии с законами военного времени...»

— А посмотрите вот это.— Майор Николаев, который привел нас в эту типографию, достал из подсумка листы объявлений, топорщащиеся от сухого клейстера.

Это он снял, по-видимому, со стен. На одном из них красным карандашом были очерчены строки: «...В ответ на гнусное убийство из-за угла военнослужащего Вермахта мною приказано расстрелять 25 заложников. Предупреждаю гг. обывателей, что в случае нового покушения на военнослужащих количество подлежащих к расстрелу будет удвоено.

Начальник гарнизона Великие Луки фон Засс, подполковник Вермахта. Дано на фронте...»

— Это в его дело,— говорит Николаев, аккуратно складывая объявление.

— Как? Начальник гарнизона сдался?

— Нет еще. Но мы знаем, где он находится, и никуда он от нас не уйдет. Разве что на тот свет. Но то, что мы о нем знаем, говорит, пожалуй, о том, что туда он не стремится.

ОТОГНУТЫЕ УГОЛКИ

Возвращаемся «домой», на высоту Воробецкую, уже ночью. Тихо. Шаги гулко раздаются в мертвых коридорах пустых кварталов. Только что выпавший снег присыпал рябины выбоин на мостовых, закрыл пушистыми

подушками раны домов. На этом чистом, незапятнанном фоне сами дома выглядят особенно мрачными. И вдруг вдали брезжит огонек. Не очень ясный. Он то разгорится, то потухнет.

Провожающие нас автоматчики останавливаются и быстро снимают свое оружие. Может быть, засада? Может быть, кто-то с земли наводит вражеские самолеты на цели? Все может быть в этом еще не отвоеванном городе, в квартале, где сегодня утром или вчера вечером еще находился неприятель.

Бойцы, мягко ступая валенками, крадучись, точно охотники, ныряют в темный провал двора. Мы за ними. Находим крыльцо, подъезд, ведущий внутрь дома. Подобрались к квартире, где виделся огонь. Осторожно открываем дверь. Странная картина перед нами. Эдгар По, да и только. Посреди комнаты на железном листе небольшой костерик, возле сидят старик, завернувшийся в одеяло, пожилая женщина, полная нездоровой, отечной полнотой, с лицом, точно бы отлитым из стеарина. Кучкой под большим одеялом дети. Спят, и не поймешь, сколько их. А рядом вытянулась на диване, стоящем в снегу на полу, молодая женщина с лицом, пылающим пятнами румянца, и влажными от жара веками.

Все они, должно быть, дошли до такой степени отчаяния, что неожиданное появление четырех вооруженных военных их даже не взволновало. Оглянулись и продолжают сидеть у огня в равнодушных позах.

Здороваемся, тянем озябшие руки к их огоньку. Ходить не могут. Больная совсем не поднимается. Один из бойцов отправляется к коменданту за повозкой. Другой принес со двора обломки разбитой военной фуры. Костер разгорается жарче, и в выбитых окнах уже не видно холодных звезд. Люди отогреваются не только физически, но и душевно. Начинается какой-то осторожный разговор. Оказывается, это бывший машинист великолукского депо, пенсионер Иван Аристархович Воронин. Мать техника котельного цеха завода имени Макса Гельца, Анастасия Васильевна Черницына, с внучатами. И Клавдия Ивановна Седых.

Не родственники. Нет. Просто нацистская комендатура выселила их из квартир на окраине. В домах их организовали пресловутые огневые точки. Встретились вот в этой брошенной квартире и, хотя проживать в чужом доме без прописки запрещалось, осели здесь. Жгут кос-

тер и вот уже пятый день живут, по существу, под открытым небом. Старики еще держатся, ходят за дровами, поддерживают костер. А вот ребятишки совсем захирели. А Клавдия Ивановна к тому же расхворалась. Грипп ее прихватил, что ли.

Здесь, у костра, удается узнать кое-что о судьбе тех великолучан, которых оккупанты еще прошлой весной мобилизовали и подобру или насильно увезли в Германию. У Ивана Аристарховича увезли двух дочерей — Надю и Веру. У Клавдии Ивановны — младшую сестру Зинаиду.

— Какие девочки-то были! — рассказывает старик.— Бывало, прибегут из школы — только и слышишь смех. Обе в мать пошли,— вспоминает Иван Аристархович. Он говорит о дочерях в прошедшем времени. Тоном, каким говорят о покойниках. Почему? Да разве не так? От старшей, Нади, он получил только два письма. С мая как в воду канула. Вера писала до июля.

— Вот ее письма. Полюбопытствуйте, если интересно. Берегу.— Порывшись, старик достает из-за пазухи несколько замусоленных открыток с красивыми немецкими видами. Последняя из них датирована 19 июля.— Больше не писала, — говорит он и кулаком вытирает глаза.

Читаю и не понимаю, почему он так расстроился. Письмо, посланное из деревни или села Вайсфельд, что в окрестностях Кенигсберга, правда, несколько странное, но ничего, что могло бы вызывать слезы, в нем нет. Говорится, что давно не писала, ибо писать некогда, так как свободного времени нет и после работы приходится ложиться спать. Говорится, что никого из великолукских девушек не видит, хотя знает, что некоторые работают на соседних фольварках. Правда, просит, если можно, прислать чего-либо вкусненького. Но есть и такие слова: «Нам здесь хорошо живется», «О нас заботится фюрер и великая Германия», «Я рада, что меня сюда привезли, и мои опасения теперь развеялись и кажутся мне самой смешными».

— Видите эти фразы... Чего же вы плачете?

— А уголки?.. Вы посмотрите на уголки,— говорит старик, проглотив подступающие к горлу рыдания.

Действительно, уголки письма почему-то загнуты внутрь.

— Видите? Я ведь знал, правду-то в письме разве пропустят. Вот и уговорился с девочками на прощанье:

«Если худо будет, загните один уголок. Если очень худо — два. А если совсем невтерпеж, загибайте все...» Поняли теперь?

Да, загнуты четыре уголка.

— ...Она у меня крепкая, хара́ктерная была, Вера. Она попусту терзать бы нас не стала. Видно, терпела, да терпение кончилось... Господи боже, хоть бы жива осталась... Дойдете туда, выручите.

— А я ему все говорю: нечего вам мучиться. Ведь ничего вам толком неизвестно. И зачем они девушку убивать станут? Она не боец. Она сейчас на них работает,— с некоторым раздражением говорит Клавдия Ивановна со своего дивана, стоящего по колено в снегу.

— Нет-нет, кабы не крайность, Вера бы нас волновать не стала,— мотает головой старик.

Внизу слышен цокот копыт и скрип полозьев. Это, должно быть, боец пригнал подводу за эвакуируемыми.

ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ФРИЦЫ

Группы пленных стали на улицах города уже обычными. Сбившись в беспорядочную толпу, согнувшись, втянув головы в плечи, засунув руки в рукава, оскальзываясь подкованными сапогами на отполированной метелью дороге, движутся они под конвоем двух-трех плотно одетых красноармейцев в валенках, стеганых штанах, в ушанках и полушубках. Ведут их группами. Под вечер повстречалась целая рота. Эта шагала бодро, шеренгами, четким шагом, возбуждая иронические улыбки у встречных красноармейцев и весьма красноречивые взгляды жителей. Но это исключение. Чаще всего пленные не идут, а бредут, плетутся, опустив глаза и стараясь не смотреть по сторонам.

Есть тому, конечно, своя причина. Ведь Гаагская конвенция Гаагской конвенцией, а идут они по городу, который разрушили и сожгли, в который принесли столько несчастий. Идут мимо жителей, которых оставили без крова, и провожают их тяжелые взгляды. И не только взрослые, но и ребятня, которой в силу ее возраста несвойственно быть злопамятной.

Теперь они убедились, что вопреки геббельсовским прокламациям, вдалбливающим им, что у русских нет плена, плен есть. Увидели, что Красная Армия блюдет международные законы и соглашения, поняли, что никто их ни убивать, ни мучить не собирается. Может быть,

теперь до их мозга, отравленного годами гитлеровской пропаганды, дошла вся изуверская суть отказа от капитуляции и вся бессмысленность бесчисленных жертв, понесенных в бесцельной их стойкости, верности приказу, с которыми они сражались в последние дни в этом чужом и ненавидящем их городе.

Большое сердце у советского человека. Добр и отходчив он в гневе. Но гнев, который подняли оккупанты Великих Лук, все ж таки иногда побеждает и эту исконную русскую доброту. Мы видели сегодня на углу улицы, возле сожженного танка, как старая женщина рванулась к пленным и, прежде чем конвоир успел ее удержать, плюнула в лицо высокому пожилому солдату в очках. Тот отскочил, опасливо закрываясь руками, должно быть, полагая, что его будут бить. Конвоир взял старушку за плечи и отвел ее на тротуар.

— Нельзя, мамаша. Пленные.

— А им можно? Они у меня дом спалили. Им можно?.. Сына увели. Им можно? Они...— Старушка снова рванулась к пленным, крича: — Куда, дьяволы, дели моего Женьку? Куда? Говорите!

— Отставить, мамаша. Нельзя. Пленные,— повторил конвоир, удерживая старушку, и вдруг, должно быть сам не сдержавшись, сорвался: — Думаешь, мне мед их тут охранять, когда наши ребята вон крепость берут?.. В бою бы они мне попались... А тут — приказ.

Пленные шли озябшие, согбенные, молчаливые, втягивая головы в воротники шинелей, пряча глаза...

Количество пленных растет. Но сопротивление еще не сломлено. Отдельные огневые точки держатся, и довольно стойко. Их гарнизоны часто сражаются до последнего. Громкоговорящие установки орут во все горло. По радио выступают те, кто уже сдался. Агитируют. Листовки суют чуть ли не в амбразуры огневых точек, а в ответ звучат пулеметные очереди.

В городе остались еще два серьезных очага организованного сопротивления. Древняя крепость, у стен которой когда-то великолучане отбивали атаки войск Стефана Батория, и район вокзала, где, по утверждению майора Николаева, в подземном каземате добротно построенного еще нами бомбоубежища отсиживается фон Засс.

Куда же уходят корни этого фанатического упорства, которое стало просто бессмысленным?

Пообедав, идем пешком на маленький пригородный полустанок, где в просторных дворах совхоза пленные ожидают отправки в наш тыл. Тут оборудована баня с дезкамерами и вошебойкой. А в доме служащих совхоза расположен госпиталь для обмороженных.

Запах нестираного, сопревшего белья шибает в нос прямо на пороге.

— ...И моем, и стрижем, и свежее белье даем. Черт его знает! Никак эту вонь не выведу,— смущенно говорит комендант лагеря, капитан с саперными петлицами, немолодой уже человек, строевой командир, который все еще никак не может смириться с этим своим новым положением. В детстве он жил среди немцев Поволжья. Хорошо знает язык. Вот это-то его, по его словам, и «погубило». Новая должность ему не по душе.

Собственно, «погубило» его, как мне кажется, не только знание немецкого языка, но, вероятно, и то, что в анкете его значилось, что был он когда-то воспитателем в коммуне беспризорников под Харьковом. В знаменитой коммуне имени Феликса Дзержинского, которую организовал знаменитый Антон Макаренко.

— Сам член Военного совета генерал Леонов со мной разговаривал. «Немецкий язык знаете?»—«Знаю».—«Беспризорников с Макаренко воспитывали?» Что было ответить? Говорю: «Точно, воспитывал».—«Ну и быть вам в лагере комендантом». Вот какой был разговор. А я саперный инженер. Разве саперам сейчас мало работы?

Фадеев смеется:

— Так не нравится?

— Кому понравится! Видали, что они с городом сотворили? А тут возись с ними, Гаагскую конвенцию соблюдай. Мне Гаагскую конвенцию в Политуправлении армии сразу вручили. Дескать, изучай... Ну изучил, конечно...

Но человек капитан острый. Политически воспитанный. И неприязнь к порученному ему делу не мешает ему исполнять его хорошо. Сразу же, попав в лагерь, замечаешь, что «герр комендант» пользуется уважением. Нет, не напрасно генерал Леонов остановил выбор на нем.

— Вот мы привыкли говорить: фриц, фриц... А ведь все они очень разные, эти фрицы и гансы,— говорит нам «герр комендант» задумчиво.— Молодежь — это в большинстве своем или фанатики, или головорезы. Идешь мимо — тянутся, козыряют, каблуками щелкают. А чуть

конвоир зазевался — драка. Я им умывальники за тридцать километров на лошадях тащил. И что ж вы думаете? Вижу — не умываются. Почему? Забастовка? Нет. Никому неохота за водой идти, спорят, друг на друга сваливают, а колодец-то у нас далеко. Обтирают морды снегом и ходят как в белых масках... А вот постарше — те люди, с теми можно и по душам поговорить. У них чувство товарищества и солдатская честь. Стеклом, да побреются. Золой, да умоются. Возле раненого и больного ночь просидят... С этими лажу.— И тихо, будто сообщает Фадееву бог весть какой секрет, говорит: — Крепко они мне, товарищ бригадный комиссар, в деле моем помогают.

— Каким образом?

— А вот тех, кто постарше годами да посерьезнее, я начальниками назначил. Должностей для них повыдумывал. Старшина барака. Старшóй десятки. Ведь у немца дисциплина — первое дело. Раз «герр комендант» в начальство определил, стало быть, начальник. Подчиняются. Ну вот с помощью их и навел порядки. Может, вам это смешно — самоуправление. А ведь действенная штука. Теперь попробуй кто из них в очередь за водой не сходи. Или пайку хлеба у товарища сопри. Герр старшина или герр десятник такую трепку зададут...

Капитан хитровато усмехнулся. Чувствуется, что хотя этому русскому командиру должность его неприятна, может, даже тягостна, однако он доволен, что сумел сориентироваться в совершенно необычной обстановке и организовать дело.

— Так вы с ними, значит, по Макаренко действуете?

— Ну не совсем так. Антон Семенович в нужных случаях и кулаки в ход пускал. А у меня руки связаны. Гаагская конвенция. Мне генерал Леонов строжайше наказал: каждую букву соблюдать.

Ходим по баракам, служебным помещениям. Пленным тесно. Но всюду порядок. Соломенные тюфяки, даже если они и лежат на полу, подбиты и застелены старенькими госпитальными одеялами. Заплатанные наволочки и простыни чисто вымыты. Над каждой постелью на гвоздике шинель, пилотка, подшлемник с каской или фуражка. При нашем появлении вскакивают, становятся навытяжку перед своей постелью. Стоят в струнку, не дыша, и провожают глазами.

— Это уж не от меня. Это они сами такое завели,—

говорит несколько смущенно комендант.— А я не мешаю. Пусть, раз к такому привыкли.

— Ну а настроение?

— Разное. Гитлера своего, можно сказать, каждый второй вслух ругает. Но думаю, что некоторые, особенно молодежь, эти больше по подлости, чем от души. А вот те, что постарше...— И он опять начинает говорить тихо, будто сообщая тайну: — Хорошие люди, доложу я вам, среди них есть. Даже, я бы сказал, мыслящие... Один из них — он обмороженный, в госпитале лежит,— так он нашему врачу сказал: «Чувствую теперь, будто тринадцать лет смотрел страшный сон, а теперь проснулся...» И ведь вы знаете, такому верить можно.— И совсем тихо, будто признаваясь в вине: — Я вот верю...

— Побегов не было?

Капитан даже свистнул.

— Какие побеги! — И смеется.— Прошлой ночью четверо сами пришли. Как они там сквозь наши порядки просочились, не знаю. Но так вчетвером вооруженные и притопали. Суют часовому у барака листовку-пропуск. И говорят по-русски: «Плен, плен». Это русское слово у них теперь известно.— И опять, наклоняясь, капитан доверительно говорит вполголоса: — Их армия, я так полагаю, машина.

Отлаженная машина. Она страшна на ходу, а останови ее, вынь колесико — она и встала... У них как руки поднял, стало быть, не воин...

Сколько же раз слышал я подобное от наиболее мыслящих наших командиров!

Просим познакомить с интересными пленными.

— Интересными? — Он несколько удивлен. Потом приказывает солдату, сопровождающему нас: — Позовите Альфреда из третьего барака. Ну того, лысого, очкастого.— И поясняет: — Его фамилия Шуберт, как у композитора. Занятный дядька. Говорили мне, будто один несколько часов защищал полуразбитый дзот. Ловко орудовал двумя ручными пулеметами. Стрелял то из одного в одну сторону, то из другого в другую... Едва его взяли...

Шуберт — высокий костистый солдат с длинными руками и неподвижным лицом. Появившись на пороге, он щелкает каблуками, вытягивается и так, вытянувшись, и стоит до конца разговора, игнорируя предложение сесть на табуретку. На вопросы отвечает шаблонно: «Так точно», «Никак нет». Требуется немало времени,

чтобы из-за этого безликого автомата проглянул Шуберт-человек, крестьянин по социальному положению.

— Имеете награды?— спрашивает Фадеев.

— Так точно, господин генерал. Награду получил в этом месяце, и не одну. Две. Сначала Железный крест, потом нашу роту всю наградили медалями.

— Вы довольны?

Смотрит, явно не понимая вопроса.

— Ну вот вы сражались до последнего из-за Железного креста?

Ирония вопроса до него не дошла. Понял всерьез.

— Его с собой на тот свет не возьмешь, крест. Вот расписка — это другое дело. Расписка — документ. У нас от каждого здесь расписки взяли, что ни при каких обстоятельствах не сдадимся. Сдашься — семья ответит... Да, я женат. Трое детей. Неплохое хозяйство — три лошади, шесть коров. Расписка — документ. Хранится она в штабе полка. Поднимешь руки — по расписке этой семью найдут, а знаете, что произойдет, если в это вмешаются господа из гестапо? Вот я и стрелял, пока мне ваш солдат на голову не прыгнул.

Молчание. О расписках этих нам уже говорили. Но в них ли секрет стойкости?

— Разрешите идти?

— Ступайте, Шуберт.

Сделав налево кругом и так при этом стукнув каблуками, что зазвенели стекла, однофамилец композитора выходит из комнаты, и в окно мы видим, как бредет он через двор, что-то бормоча про себя и даже жестикулируя при этом.

Другой солдат — Герман Бурш. Минометчик. Маленький, остроносый, остролицый человек. Лицо его, слегка обмороженное, передергивается нервным тиком. Тоже говорит о расписках, об ответственности семьи за поведение солдат, о длинных руках гестапо. Произнося само слово «гестапо», он переходит на шепот и оглядывается, будто и впрямь эта вездесущая организация может протянуть свое ухо даже сюда, в пересылочный пункт военнопленных...

— Офицеры нам говорили, что у русских нет плена. Я верил. Я здесь, в России, с двадцать второго июня прошлого года, будь он проклят, этот день. Мне говорили: нет плена — и я понимал: наверное, действительно нет. Я ведь почти до Москвы дошел и видел, что мы натво-

рили. А ваш солдат, как он в бою разберет, кто поднял руки — Энни, который жег и грабил, или Фред, который был честным солдатом? Как подумаешь об этом, хоть сам пулю глотай. Мельницу завертели, а теперь сами в ее жернова попали...

— Ну а вы-то лично убедились сейчас, что все это выдумки доктора Геббельса?

Бурш поднимает черные, усталые, но все еще колкие глаза. На остром лице кривая усмешка.

— Я вчера листовку об этом написал. Герр комендант говорит, что ее отпечатают и бросят нашим, которые сражаются в крепости. Только, наверное, не поможет она... Будут держаться: ведь расписки давали. Да и не поверят.

— И вы давали расписку?

— И я давал... Но я холостой, у меня в Германии никого нет. Ни родителей, ни жены, да и дома уже, наверное, нет.

Расписка. Гестапо. Страх за судьбу близких. Так они говорят. Но только ли в этом источник боевого упорства всех этих очень, по словам коменданта, разных фрицев, гансов, эрихов, фредов и вилли? Саперный капитан, последователь Макаренко, пытающийся применять его методы в таких необычных обстоятельствах, тоже не может ответить на этот вопрос.

Сидим, поглядывая сквозь мутные стекла во двор, где бродят пленные. И Фадеев задумчиво повторяет то, что уже говорил нам однажды:

— Листовки, пропуска, радиопередачи — все это полезно, конечно. Но главный довод все-таки, по-моему, наши победы. Так сказать, довод оружия. Да-да-да. Это самое понятное для неприятеля.

НУЖНО ЛИ ВЫНИМАТЬ БЛОКНОТ?

Удивительная обстановка сложилась в середине декабря тут, в Великих Луках.

Город обложен плотным кольцом наших дивизий. Похоже, что тут утверждается в чистой форме принцип окружения, известный в военном деле со времен сражения у древних Канн. И сейчас, в век моторов, в век, когда все чаще на поле боя разговаривает реактивная артиллерия, окружение продолжает оставаться высшей формой военного искусства. Уже больше двух недель назад дивизия полковника Кроника, прорвав фронт не-

приятеля, вышла ему в тыл западнее Великих Лук, перехватила железнодорожные пути, ведущие из этого города на Новосокольники, перерубила шоссейные дороги и соединилась из Ловати с дивизией полковника Дьяконова, проделывающего ту же операцию с противоположной стороны. Плотное кольцо окружило город. Все коммуникации оказались перерезанными. Значительная группа войск — какая, точно пока неизвестно, разведчики называют разные четырехзначные цифры — оказалась отрезанной от своих основных сил.

Кольцо окружения непрерывно атакуется и с востока и с запада. Но атаки отбиваются. А вот окруженная территория с каждым днем как бы обтаивает, точно льдина на солнце. Уменьшается. Дробится на части. И сейчас вот сопротивление идет в двух основных очагах: в старой крепости, в центре города, и в другом весьма мощном очаге — на железнодорожном узле, где по сведениям наших разведчиков, перекрытых показаниями пленных офицеров, сидит командир окруженного гарнизона подполковник фон Засс. Теперь мы уже все знаем об этом человеке. Похоже, что это типичный гитлеровский военачальник. На счету у него немало преступлений против человечности. Уничтожение евреев в Великих Луках, расстрел заложников, расправа с нашими военнопленными из лагеря, помещавшегося в постройках совхоза... Но в воле и упорстве ему не откажешь.

Несмотря на безнадежность положения, которая, вероятно, ему сейчас ясна, он отклонил и второе предложение о сдаче. А теперь вот довольно толково руководит по радио обороной обеих окруженных групп.

Мы уже знаем, что Гитлер наградил его Рыцарским железным крестом. И должно быть, это правда, что ему посулили в случае, если он не сдаст город до прорыва подмоги с запада, будут наименовать это стариннейшее русское поселение Зассенштадтом. И ведь рвутся, каждый день рвутся с запада на выручку окруженного гарнизона. За высотой Воробецкой не смолкает канонада. Тяжелые снаряды с журавлиным курлыканьем летят через командный пункт полковника Кроника и ухают в городе. По вечерам, когда садится солнце, со стороны, где догорает полосками вечерняя заря, на бреющем полете несутся транспортные самолеты и, окунувшись в вечернюю мглу, бросают окруженным на парашютах питание и боеприпасы. Но окруженные нами очаги теперь уже так малы,

что большинство этих даров попадает нам в руки. В полках шутят: «Дополнительный паек от Гитлера».

Иногда и нам, корреспондентам, перепадает кое-что из этих даров. Едим норвежские рыбные консервы, бельгийский шоколад, датскую ветчину.

Едим, вспоминаем свое недавнее окружение под Ржевом, когда мы ели туши лошадей, побитых еще в октябре, тухлое мясо, запеченное на костре по удэгейскому способу, разрекламированному Фадеевым: «мясо по-фадеевски».

— Весьма логично,— говорит Александр Александрович.— Логика истории. Теперь немецкие интенданты отдают нам долг... И еще долго придется им нас угощать...

А мой водитель Петрович, большой охотник поесть, вскрывая банку сардин с острова Сардинии, неизменно начинает напевать арию Германа из «Пиковой дамы»:

Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу...

По-прежнему неутомим бригадный комиссар Александр Фадеев. Единственный среди нас, теперь уже носящих строевые звания, он остается при не существующем уже звании политическом. И очень смущается, когда немцы, видя ромб в его петлице, адресуются к нему: «Герр генерал...»

С утра до вечера Фадеев в ходьбе. Все, все ему нужно видеть, знать. С одинаковым интересом беседует он с представителем Ставки, знаменитым полководцем, и с мальчуганом пионерского возраста, перебежавшим вчера через фронт в железнодорожном районе и принесшим офицерский планшет с картой, который ребята сняли с какого-то немецкого капитана, убитого при бомбежке. С девушкой-снайпером, дочерью известного местного охотника, уже подстрелившей из засады трех неприятелей, и со стареньким священником одной из великолукских церквей, показавшим офицерам разведки расположение неприятельской обороны за стенами крепости.

Покаюсь, мы этим попом пренебрегли.

— И напрасно, напрасно,— поучал нас Фадеев и насмешливо адресовался ко мне: — Вот ты, предаваясь воспоминаниям, с энтузиазмом рассказывал, как вы на комсомольской маевке на какой-то там текстильной фабрике жгли на костре старые иконы и как старуха тебе богоматерью голову проломила. Правильно сделала. Жечь иконы — вандализм. Бог богом, нам нет до бога дела, ре-

лигия сама себя изживет, а вот патриотизм есть патриотизм. Да-да-да... Монахи Пересвет и Ослябя, совершив сейчас такое, получили бы от Советской власти звание Героев Советского Союза... Да-да-да... И этот старик — он ведь единственный, кто мог рассказать, что там у них в крепости... А ведь он еле ноги волочит.— И по привычке все обобщать Фадеев добавляет: — Когда такие вот р-р-революционеры, как наш Бэ Эн, жгут старые иконы, получаются не атеисты, получаются безбожники. Да-да-да! Безбожники, которые не верят ни в бога, ни в черта ни во что не верят...

С интересными людьми Фадеев может толковать подолгу, не уставая. И что характерно— беседы эти не носят у него, так сказать, прикладного, репортерского характера. Никогда он не вынимает ни блокнота, ни карандаша. Просто собеседник, а не корреспондент.

Впрочем, все мы уже не раз убеждались, что цепкая его память отчетливейше запечатлевает все интересное. И когда для составления оперативной корреспонденции я начинаю вдруг путаться в дебрях своего мелкого скверного почерка, он без труда по памяти подсказывает и факт и ситуацию и, что особенно ценно, двумя-тремя меткими словами восстанавливает облик действующих лиц.

Насчет орудий журналистского производства у него, оказывается, есть даже своя теория.

— Неужели, хлопцы, вы ни разу не замечали, что, как только в ваших руках появляются блокнот и карандаш, ваш собеседник сразу тупеет, теряет естественный облик и начинает лепить штамп к штампу? — Фадеев смеется.— Да-да-да. И ничего с этим не сделаешь. Сами мы, так сказать, приучили людей говорить штампами. Разве не так?.. Вот почему, хотите увидеть человека таким, как он есть, говорите ему, что вы саперы, пехотинцы, артиллеристы, интенданты, но не журналисты. Нет, нет...

Все мы смущенно улыбаемся, ибо каждому из нас в разных обстоятельствах приходилось убеждаться в этом явлении.

АТАКУЮТ ЭСТОНЦЫ

Вот эта неистребимая жажда Фадеева быть всегда на самом остром месте событий, говорить с самыми интересными людьми и привела нас сегодня в эстонский корпус

генерала Лембита Пэрна, действующий в восточном секторе окружения. При штурме Великих Лук этот уже закаленный во многих боях корпус провел, и отлично провел, несколько удачных операций, и эстонцы заслужили в наших частях уважение. От комдивов Кроника и Дьяконова, опытных воинов, мы уже слышали, что эстонцы отличные бойцы, храбрые, стойкие, дисциплинированные, очень квалифицированные в военном деле.

Сегодня мы отлично выспались на роскошных каких-то кроватях, которые завел для гостей комендатуры капитан Приходько. Позавтракали трофейными харчами, а после завтрака Фадеев решительно объявил:

— Сегодня у нас на повестке дня эстонцы. Да-да-да. И никаких отговорок. Хоть на четвереньках, хоть вплавь, но до них доползем.

Дело в том, что сейчас, в декабре, ударила внезапная для этого времени оттепель. Черный от пороховой гари снег стал таять. Между развалин образовались грязные лужи. А все мы, давно уже оторвавшиеся от своего жилья, в валенках. Но делать нечего, пошли месить талый снег и, сделав в своей жмыкающей обуви изрядный полукруг, оказались в расположении эстонского корпуса. Сразу угадали это.

Та же форма. Тот же устав. Те же порядки. И все же, оказавшись у командно-пропускного пункта первой попавшейся на пути эстонской части, по каким-то внешне почти незаметным признакам мы поняли, что очутились в хозяйстве генерала Лембита Пэрна.

И тут нам здорово, прямо-таки фантастически повезло. Нашим спутником стал мой старый товарищ, тверской эстонец, капитан Август Порк, с которым до войны мы работали в «Пролетарской правде». Потомок династии тверских вагоностроителей, бывший электромонтер, рабкор, ставший журналистом, парень широкой души, весельчак, гитарист и певун, он в начале войны стал политработником в эстонском корпусе. Вступив в войну «в стране отцов», он продолжает ее на родной верхневолжской земле. С довоенных дней не виделись мы с ним. И я был рад рассказать ему, что деревянный домик в пригородном лесу под городом Калининым, где он родился, где жила его семья, в дни боев за город на картах именовался «домик эстонца». Этот дом несколько раз переходил из рук в руки. Какое-то время в нем помещался наблюдательный пункт командира танковой бригады

полковника Ротмистрова. А в результате дом, хотя побитый и поцарапанный, чудом уцелел.

— А я знаю,— сказал Август.— Получил от матери письмо. Она вместе со своей коровой уходила от немцев на восток. А потом, когда немцев прогнали, вернулась и привела с собой корову. И даже, пишет, нашла в подполе, под домом, свою картошку и свою старенькую скрипку, которую, уходя, там спрятала. То и другое оказалось невредимым... Ведь вот как бывает: город разрушен, завод взорван, а деревянный домишко цел, и даже скрипка цела. А?

— Откуда взялась скрипка? Кто на ней играл?

— А мать и играла. У нас был семейный оркестр,— отвечает мой друг и повторяет: — Вот ведь как бывает.

— Познакомь нас с самым интересным человеком в вашем корпусе.

— Обязательно с самым интересным? — Мой друг иронически смотрит на меня своими светлыми веселыми глазами.— Ты по-прежнему охотишься за самым интересным? Ну ладно, пойдемте. Я познакомлю вас с действительно интересным человеком.— Поглядел на часы.— Кстати, мы, кажется, вовремя к нему и попадем.

ИОГАНН МЯЭ — ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР

Август Порк ведет нас в привокзальный район, во двор небольшого домика, почти по соседству с кварталом, где сейчас окружена последняя в этом районе группировка противника. За домиком блиндаж. Спустились по узенькому ходку вниз, в подземелье, и застали такую сцену.

Невысокий седой подполковник в больших роговых очках стоял, вытянувшись в струнку, как солдат у знамени. Заместитель командира корпуса по политической части передавал ему маленькую коричневую книжечку:

— От души поздравляю вас, Иоганн Юрьевич. Все мы рады видеть вас в наших сомкнутых большевистских рядах.

Подполковник берет карточку кандидата партии. Смотрит на нее. На лице волнение. Он, должно быть, хочет ответить чем-то таким особенно значительным и наконец произносит:

— Прошу вас передать товарищам, что старый российский солдат Иоганн Мяэ этого вот документа,— он поднимает вверх новенькую книжечку,— не запятнает...

Очки у него в руках. Он протирает их, а заодно не-

заметно вытирает платком глаза. Без очков лицо его становится похожим на лицо пожилого учителя. Он повертывается к крупной белокурой, очень красивой девушке в форме красноармейца, стоящей навытяжку у него за спиной, и домашним голосом говорит:

— Валерия, поздравь отца... Теперь вот он коммунист.

Так вот он какой, Иоганн Юрьевич Мяэ, весьма известный на этом участке фронта артиллерист. Бесстрашный и, может быть, даже слишком бесстрашный, командир, о действиях батарей которого мне приходилось уже читать в армейской газете.

У человека этого необыкновенная биография. Он начал военную деятельность в последние годы первой мировой войны. Прапорщиком-артиллеристом русской армии. Участвовал во многих сражениях. В дни прорыва он со своей батареей, выражаясь современным языком, «очутился в окружении» и целый день отбивался от наседавших германцев. Выстоял. Не сдался. А вечером был выручен казачьей частью, предпринявшей контратаку. Награжден офицерским крестом Святого Георгия с мечами и бантом.

Потом он был одним из создателей артиллерии эстонской буржуазной армии. Командовал. Преподавал тактику в военной академии. Писал учебники по артиллерийскому делу. После воссоединения Эстонии с Советским Союзом он одним из первых эстонских старших офицеров перешел в Красную Армию. С первых дней войны он в рядах эстонского корпуса.

Вместе с корпусом Иоганн Юрьевич с солдатской стойкостью пережил горечь отступления. В составе корпуса наступает сейчас. Артиллеристы, которыми он командует, и бойцы и офицеры, его воспитанники. Они любят подполковника Мяэ и гордятся им. С Иоганном Юрьевичем с первого дня войны служит его дочь Валерия. Когда над Таллином нависла опасность и немцы подходили уже к стенам города, девушка пришла в военкомат и попросила, чтобы ее взяли в Красную Армию. Военком критически осмотрел ее стройную фигурку и спросил, чем она занимается, какая у нее специальность. Девушка сказала, что окончила гимназию, увлекается музыкой и сейчас готовит себя к карьере преподавателя музыки. Военком отказал. Девушка проявила настойчивость. Отец помог ей. И вот теперь красноармеец Валерия Мяэ ординарец подполковника Мяэ.

В самую жару артиллерийского боя, под минометным, а иногда и под пулеметным огнем, появляется подполковник на своих батареях. Не отставая от него, с автоматом на груди следует за ним его ординарец — высокая стройная краснощекая девушка с русыми кудрями, выбивающимися из-под красноармейской шапки. Так часто их вместе и видят — отца и дочь.

Подполковник обращается с дочерью сурово, требовательно. Как командир с бойцом. Но, говорят, оставшись наедине, когда за ним никто не наблюдает, он смотрит на Валерию как на маленького, требующего ухода: «Детка, на улице сыро, не простуди горло, замотайся шерстяным шарфом...»

— Ну как наш Мяэ? — спрашивает нас Порк, когда мы покидаем маленький аккуратный блиндажик, куда уже сходятся друзья-офицеры, чтобы по фронтовому обычаю, так сказать, «обмыть» кандидатскую карточку нового коммуниста.

— Очень, очень интересный человек. Да-да-да. Великолепный человечище,— отвечает Фадеев.

ВОЛК ВЫХОДИТ ИЗ ЛОГОВА

В тот же день, вернее в тот же вечер, нам довелось увидеть другого старого кадрового офицера, тоже участника первой мировой войны, встреча с которым, скажем прямо, не оставила приятных воспоминаний.

Попрощавшись с Иоганном Юрьевичем и Валерией, мы неожиданно для нас узнаем, что недалеко, совсем рядом, наступающему батальону эстонцев удалось прорваться на территорию железнодорожного депо, где в помещении бетонного бомбоубежища находится штаб начальника великолукского гарнизона подполковника барона фон Засса. Бомбоубежище блокировано. Зассу предъявлен новый ультиматум сдаться. Саперы готовятся взрывать эту нору в случае, если последует отказ.

И от жителей города, и от пленных офицеров мы уже немало слышали об этом бароне.

Рассказывают, что он приказал без суда расстрелять двадцать три солдата, заподозренных в недостаточной устойчивости духа и будто сговорившихся между собой о сдаче в плен. Это не проверено, но говорят, что Засса знает Гитлер. И именно потому ему как особо доверенному офицеру вверен пост начальника осажденного гар-

низона Великих Лук, считавшихся «самым сильным форпостом» германского северо-восточного фронта...

Разное рассказывают о нем пленные. Но все сходятся на том, что человек этот живым не сдастся.

Мы поспеваем к подземной норе, когда оба входа в этот глубокий, отлитый из бетона подвал уже блокированы. Саперы укладывают ящики с толом. Эстонцы, они молчаливо, старательно, буднично проделывают эту работу.

Что такое? У входа в каземат мы видим группу наших командиров, и среди них сразу же бросается в глаза молодой немецкий офицер в фуражке с высокой тульей. Он что-то возбужденно говорит командирам. Это эстонцы. Они слушают его немецкую речь, видимо зная язык, но по лицам их видно, что они не очень его понимают. Но вот старший из командиров, подполковник по званию, пожал плечами и что-то ответил. Немецкий офицер откозырял, повернул было обратно к входу в каземат, но остановился и вдруг громко сказал по-русски:

— В том случае, если господин подполковник Засс сочтет ваши условия для себя неприемлемыми, я объявляю, что я лично уже сдался в плен без всяких условий. Прошу запомнить. Я уже в плену,— и принялся нервно отстегивать кобуру пистолета.

Теперь подполковник-эстонец, даже не скрывая иронической улыбки, отвечает по-русски:

— Мы это учли. Передайте господину барону: если наши условия о безоговорочной сдаче его не устраивают, прошу не задерживать с ответом. Я не могу надолго отвлекать саперов от их дела.— И он показал на бойцов, которые уже уложили толовые ящики и теперь, не обращая внимания на ведущих переговоры, деловито тянули от них в сторону бикфордов шнур.— Впрочем, господин обер-лейтенант, сообщите барону, что в случае добровольной сдачи личные вещи, о которых он так хлопочет, останутся при нем.

Когда офицер, опасливо косясь на горку толовых ящиков, соскальзывает в ходок каземата, подполковник произносит по-эстонски какое-то, видимо весьма выразительное, ругательство.

— Рыцарь! — говорит он Фадееву.— Вы знаете, какие он предъявил условия? Чтобы ему сохранили лично принадлежащие ему вещи. В такую минуту думает о том — как это будет по-русски? — о барахле. А? — Опять

выбранился по-эстонски, а по-русски добавил: — Вот какая сволочь.

Несколько минут проходит в молчании. Все гадают: сдастся начальник гарнизона или нет? В дни боев за Луки мы видели примеры удивительной стойкости и солдатского упорства. Теперь всем кажется совершенно невероятным, чтобы сейчас, когда в центре города еще идет борьба, когда за Ловатью стойко держится гарнизон крепости, начальник этого сражающегося гарнизона, дважды отвергший предложение о капитуляции и положивший после этого в явно бесполезной борьбе не одну сотню солдат, вдруг вот так взял и сдался.

Идут минуты. Саперы сделали свое дело. По-эстонски доложили начальству, что к взрыву готовы. Из лаза никто не показывался — видимо, решили погибнуть. Время истекает. Командир нетерпеливо смотрит на часы, а саперы смотрят на него. Ведь зажечь шнур — нехитрое дело.

Но вот из ходка выскакивает тот же разбитной обер-лейтенант, говорящий довольно чисто по-русски. Он становится перед выходом во фрунт, и оттуда мимо него размашистыми шагами проходит низенький человек в длиннополой шинели, с седоватой бородкой, торчащей из-под низко надвинутой на лоб каски. Вышел, осмотрелся. Выглядел, кто по званию старше, и шагнул было к Фадееву, но тот показал ему пальцем на подполковника-эстонца. Откозырял, неторопливо снял пистолет. Сделал несколько попыток отстегнуть от пояса офицерский кортик, запутался, в сердцах оборвал ремень и протянул нашему командиру.

— Начальник германского гарнизона города Великие Луки подполковник барон фон Засс говорит, что он вместе со своим штабом и личной охраной сдается русскому командованию,— перевел разбитной адъютант его отрывистые слова.

В угрюмом молчании и отнюдь не так охотно отстегивают свои пистолеты остальные офицеры, вышедшие из подвала. Они явно подавлены. Лица мрачные, растерянные. Да, не сладко у них на душе. Убеждали своих солдат, что у русских нет плена, расстреливали за само слово «плен». Но ведь сами-то, наверное, знали, что плен существует, и, когда приперло, весьма прозаически подняли руки. Но это бог с ними. Это предположения...

Самое невероятное происходит дальше. Из недр каземата наши солдаты начинают выносить личные вещи

офицеров. И этот самый барон следит, как их грузят на машину. Вдруг он оборачивается и начинает о чем-то озабоченно говорить. Нам переводят, чемоданчик!.. Чемоданчик крокодиловой кожи. Нет чемоданчика... Солдат идет вниз и выходит с маленьким чемоданом. Засс успокаивается. Пленные офицеры лезут в грузовую машину. По углам усаживается конвой. Машины трогаются, стараясь идти по своему следу, ибо все кругом заминировано. Саперы с явным неудовольствием сматывают бикфордов шнур.

— Чемодантшик... Мой бог, в такой момент чемодантшик из крокодиловой коши,— говорит подполковник-эстонец, рассматривая лежащие у его ног немецкие пистолеты.— Ах, как же это будет по-русски?— И вдруг отчетливо выговаривает: — Шкура.

На минуту спускается посмотреть, так сказать, логово зверя. Это основательно построенный нами на случай войны бетонный каземат, бомбоубежище с газовой защитой. Просторное, хорошо вентилируемое. Его не оскальпировал бы и взрыв, хотя саперы, как мы видели, тола не жалели. Телефонная и радиосвязь. Все на ходу. Даже движок тарахтит. Крутятся вентиляторы. Горит электричество. Но бумаги, по-видимому, сумели уничтожить. Весь пол шелушится пеплом. В углу пианино, хорошо настроенное пианино, на котором наш офицер уже наигрывает какую-то эстонскую песенку. А у пианино елка. Настоящая елка, украшенная настоящими блестяшками, канителью, флажками.

Почему елка? Откуда пианино в этом волчьем логове? Кто тут плясал у елки и кто играл? И играли не какого-то там немецкого чижика-пыжика, а, судя по стопке нот, Баха... Бетховена... Вагнера. Много вещей Вагнера... В углу на вешалке из рогов оленя — три охотничьих ружья и зеленый охотничий костюм. Шляпа с тетеревиным перышком. Кто же из них охотился? Когда? И где?

— Глядите, хлопцы, да тут старый знакомый! — вскрикивает Фадеев и показывает на самовар, пузатый русский самовар с надраенной грудью, разукрашенной медалями.

Откуда он взялся? Зачем его сюда притащили? Дотошный Петрович снимает крышку.

— А ведь недавно ставили... Еще теплый, потрогайте. Вот комики! Расскажешь кому в Москве — не поверят...

Поднимаемся наружу. Саперы грузят на машины ящи-

ки с толом. Прощаемся с офицерами-эстонцами, принявшими капитуляцию начальника гарнизона. Подполковник дарит нам на память трофейные офицерские кортики. Мне достается кортик фон Засса — Фадеев этот «сувенир» не берет. Брезгливо отвертывается от него...

Из центра города доносятся звуки негустой перестрелки. Начальник гарнизона капитулировал вместе со своим штабом, отбыл в плен, а в древней крепости еще продолжается сопротивление.

НАЙДЕНЫШ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

Утром, как о том было договорено, должна начаться, по выражению Фадеева, «операция Найденыш». Наша девочка отправляется в дальний путь в Москву, к своей названой маме. Мы все встали затемно, хотя подготовка к экспедиции была закончена еще вчера.

Шофер Евновича Володя, умный, спокойный парень, готовил машину к этому путешествию с особой тщательностью. Вместе с Петровичем они ее всю осмотрели, заправили «под завяз». Петрович, вообще-то натура широкая, но во всем, что касается новой автомобильной техники, страшный скряга, отдает Володе два запасных колеса с особыми выпуклыми протекторами, которые он бережет и в которые обувает нашу «пегашку» лишь в дни опасных распутиц. А тут отдал, да еще сунул Володе под сиденье жестяную коробку с великолепными трофейными инструментами, являющимися его любимой игрушкой.

Сопровождать девочку выделена медицинская сестра, сама находящаяся, как нам сообщили, в команде выздоравливающих.

На заре все мы во главе с Фадеевым торжественно явились в знакомую госпитальную палатку. В отгороженном простынями отсеке увидели такую картину: малышка сидела на койке, заваленной всякими блестящими предметами госпитального обихода, выполнявшими роль игрушек. А возле нее на табурете увидели крупную, круглоликую, пышногрудую девушку в военном, с петлицами сержанта медицинской службы. С малышкой у этого бравого сержанта, должно быть, уже установились отличные отношения. Они обе играли всеми этими мензурками, пузыречками, головками от шприцев, ей богу, с одинаковым интересом. При виде старших офицеров девушка

вскочила, вытянулась и с видом старого служаки бросила руку к пилотке.

Галина Сергеевна уже рассказала нам об этой девушке. Зовут ее Оля. Ей восемнадцать лет. Сирота. Воспитанница детского дома. Когда началась война, ей едва минул шестнадцатый год. Вместе с подружкой-одноклассницей они пошли в военкомат и попросились добровольцами на фронт. Перед этим обе они окончили курсы Красного Креста и вместе с заявлениями положили на стол военкома свидетельства об окончании. Военком заявлений не принял. Посоветовал подрасти и явиться года через полтора. Подружка осталась подрастать, а Оля что-то там схитрила с документами, снова пришла в военкомат, уже другого района, и, по ее словам, «просочилась»-таки в армию и тут же была направлена на фронт. Теперь ей восемнадцать, она уже ветеран. Около двадцати вынесенных с поля боя раненых. Медаль «За отвагу». На груди три нашивки — две за легкое и одна за тяжелое ранение. После тяжелого она еще не оправилась. Находится в команде выздоравливающих, но тяготится вынужденным бездельем и помогает медсестрам. Вот ее-то и прикомандировали к нашему найденышу для доставки его в Москву.

Галина Сергеевна сама закутывает малышку, Оля помогает, а мы торчим возле и мешаем им своими советами. Наконец, завернув ребенка в свое собственное, личное верблюжье одеяло, врач торжественно вручает сверток Оле.

Наш бравый сержант не менее торжественно принимает его и прижимает девочку к себе. Чудная группа — два лица, круглое, юное, девичье, и смуглое личико ребенка с огромными черными миндалевидными глазами.

— Фронтовая мадонна,— говорит Фадеев.

— А ведь и верно, на икону смахивает,— произносит кто-то из раненых, толпящихся у занавески.

Оля несет ребенка, и со всех сторон ее провожают взволнованные взгляды...

— А танкист? Тот, кто ее спас... Пусть она с ним простится,— волнуется названый отец.

Галина Сергеевна опускает голову и поясняет почему-то шепотом:

— Нет танкиста. Этой ночью умер. Большая потеря крови, мы ничего не могли сделать.

Перед посадкой в машину ребенка берет на руки названый отец. Все мы знаем его обычное спокойствие, хладнокровие. Ни разу за всю войну я не видел его нервничающим. Однажды в лесу под Ржевом он брился, поставив тазик с мылом на шину запасного колеса, привинченного к задку машины. Над лесом шел воздушный бой, с земли совсем не страшный и даже не очень слышный. И вот шальная пуля ударила в шину, тазик с мылом подскочил и упал на траву.

Евнович обернулся, и на лице его была досада.

— Бэ Эн, за такие шутки в приличной компании морду бьют,— обидчиво заявил он, решив, что это я все наделал, бросив шишку или камешек.

Я указал ему на небо, где негромко, как швейные машинки, стрекотали пулеметы. Он понял, что произошло. Пробормотал лишь: «Ужасное свинство с их стороны» — и стал как ни в чем не бывало добривать незаконченную щеку.

Спокойнейший человек, а тут мы его просто не узнавали.

— Володя, сделайте большой объезд. Городом чтобы ни-ни. Мало ли, шальной снаряд или пуля... Вы за ребенка головой отвечаете. А вы, Оля, не давайте ему рисковать в дороге. Понимаете? Вы тоже отвечаете.

Сержант Оля в форменном бушлате, туго перетянутом ремнем, в ушанке, лихо надетой набок, жадными затяжками докуривала толстую самокрутку, отдувая дым в сторону.

— В машине никоим образом не курить,— волнуется названый отец.— Я очень вас прошу, Володя, не давайте ей курить в машине. Девочка слабенькая, ей это вредно.

И единственно, кто не волновался, кто не принимал участия во всех этих хлопотах, была малышка. Она спала и не проснулась даже, когда из рук названого отца ее передали в руки Оли.

Машина тронулась. Она осторожно, будто крадучись, съезжала вниз по обледенелой дороге и наконец скрылась за высотой Воробецкой, источенной ходами и переходами, наподобие старого муравейника. Мы долго молчим, смотря ей вслед.

ПАДЕНИЕ КРЕПОСТИ

Сегодня с рассветом что-то уж очень грохочет артиллерия. Не на внешнем кольце окружения, а в центре города. Направились туда. По дороге мы встретили нашего друга комдива Александра Кроника. Он в сопровождении офицеров своего штаба куда-то торопился. Так торопился, что, откозырнув, прошел было мимо, не справившись по обыкновению о нашем самочувствии, не задав традиционного вопроса: «Сыты ли вы, товарищи командиры?» Но все-таки не прошел. Вернулся. Сказал торопливо:

— Вовремя, вовремя.— И, по военной привычке снизив голос до шепота, хотя рядом, кроме нас и его офицеров, посторонних не было, сообщил: — Сегодня решающий штурм крепости, не прозевайте... Через полчаса мы будем там.

Крепость, находящаяся в центре города, все еще в руках противника. Гарнизон яростно сопротивляется. Не знаю уж почему, но ни листовки, которыми их буквально засыпают, ни выступления по радио немецких солдат и офицеров — ничто не действует. Сопротивляются. Сопротивляются яростно, хотя стрельбы по городу уже несколько дней не ведут, по-видимому, экономя боеприпасы.

Итак, сегодня штурм. Это, несомненно, событие, которое заинтересует наши газеты, тем более что на других фронтах ничего выдающегося не происходит. Великие Луки — один из старейших городов. Крепость, как и сам город, возникла в середине XII века. Ее поставили на крутом берегу. Вначале это был огромный земляной прямоугольник, окруженный дубовым частоколом, с деревянными бастионами, башнями, стрельницами и воротами надо рвом. С годами дубовые изгороди заменялись белокаменными стенами. Не раз русские воины и горожане скрещивали здесь свое оружие с войсками Польши, Литвы, с рыцарями Ливонского ордена. Победоносно скрещивали. Ибо крепость эту врагу ни разу не удалось взять.

И вот теперь волею военной судьбы крепость эта в центре стариннейшего русского города оказалась последним бастионом обороны врагов народов российских. Мы уже издали изучили ее. Знаем ширину ее валов, которые не берет и тяжелый снаряд. Знаем исключительно

выгодное расположение башен на берегу, знаем массивность построек во дворе, которые вряд ли возьмет и мощная авиационная бомба.

Да, крепкий орешек приходится сегодня разгрызать частям дивизии полковника Кроника. Командный пункт полка, которому предстоит штурмовать крепость, расположен в массивном купеческом особняке, отделенном от крепости рекой. Отсюда можно хорошо видеть весь этот вознесенный над рекой прямоугольник размером триста на четыреста метров, имеющий своим восточным основанием крутой берег реки. Этого не видно, но мы-то знаем, что в десятиметровый земляной вал заделана толстая кирпичная стена с подземными ходами сообщения. Лобовым штурмом даже в суворовские времена трудно было такое сооружение взять. А теперь пулеметы, минометы, а может, даже и огнеметы, которые уже не раз применялись немцами в этом городе. Ну а по сведениям, сообщенным священником, подтвержденным снимками воздушной разведки, немцы укрепили стены и валы. Ходы сообщений, построенные ими, дадут им возможность при обороне легко маневрировать своими силами.

Но, как уже сообщил нам начальник штаба полка, медлительный украинец с умным, веселым лицом, лобового штурма и не будет. Задумана весьма хитрая операция. Меньшей частью сил полк ударит по самому уязвимому месту крепости — по западной ее части, укрепления которой уже разбиты нашей артиллерией. Естественно предположить, что и враг ожидает нападения именно с этой стороны. Тем более что ночью в том районе, за рекой, была предпринята демонстрация передвижения войск, которая не могла не быть засеченной крепостными дозорами. Предполагается, что, как только начнется артиллерийская подготовка, сюда, на этот слабый участок обороны, неприятель и стянет свои основные силы.

Вот тогда-то главные силы полка, батальоны, подготовленные к штурму, под шум боя, но сами без выстрела пересекут по льду Ловать и пойдут на штурм высокого, хорошо сохранившегося вала, который просматривается из окон наблюдательного пункта полка. Риск?

— Без риска ведь и щуку из воды не вытащишь,— говорит начальник штаба, заканчивая свои комментарии.— То добрый риск. Без разумного риска на войне не обойдешься.

Фадеев с интересом рассматривает план города, крепости, план, на который нанесено и расположение атакующих батальонов.

— Ну, желаю удачи,— говорит он командиру полка, замкнутому, угрюмоватому человеку, участия в разговоре не принимающему.

И тот вдруг неожиданно рычит:

— К черту, к чертям собачьим! — И, вскочив, выходит из комнаты.

Мы не удивляемся и, конечно, не сердимся. Сколько уж раз довелось нам встречать на войне серьезных, храбрых людей, которые искренне верят во вредность добрых пожеланий в такую вот предштурмовую минуту. Да и начальник штаба заметно волнуется. Покусывает рыжий ус, нервно почесывается и каждую секунду смотрит на часы.

И вот за рекой, в западной части города, загрохотала артиллерия.

— Начали! — говорит командир полка. Он уже подтянутый, собранный. Быстро поднимается на верхний этаж, в комнату, из которой, будто из театральной ложи, будет видно все, что произойдет на том берегу.

Это очень странно — наблюдать настоящую войну будто с трибуны стадиона. Событие происходит так близко, что все видно даже без бинокля. Хитрый замысел, по-видимому, все-таки удался. Действительно, немцы оттянули свои силы к западной стене, к ее проломам и воротам. Мы видели, как в том направлении двинулись несколько танков и самоходок.

— Клюнули? От це добре, це дюже добре,—говорит начальник штаба.

И вот уже наши бойцы в белых полушубках скатились на лед Ловати, этакой прибойной волной бегут к тому берегу, без потерь подобрались к подошве земляного вала, карабкаются. Срываются, скатываются, карабкаются опять. Вот один из них уже на стене. Покажется и как-то сразу исчезает. Не то спрыгнул вниз, не то убит. Вот другой бросает гранату за гранатой... Ага, это, видимо, в пулеметчика, который сейчас начал бить по реке.

На стене борьба, а тем временем волна за волной скатываются на лед силы штурмующих. Пулемет на стене уже молчит. Наши бойцы, вдохновленные успехом передовых, бегут через реку, карабкаются, помогая друг другу. Бой явно перенесен куда-то внутрь крепости.

Командир полка вытирает вспотевший лоб. Подходит к нам.

— Вы уж простите, товарищи корреспонденты, что я тут под горячую руку вас обругал.

— Нас обругали?

— Да к черту послал. Отзываю того чертягу и извиняюсь.

Ему некогда. То и дело прибегают гонцы от командиров штурмующих батальонов, рот. Зуммерит телефон. Чего-то настойчиво добивается от него человек в интендантских погонах, с висящей на бинте рукой. Но он уже успокоился. Успех штурма определился. И вот, видите ли, вспомнил, что послал нас ко всем чертям.

А успех штурма уже несомненен. Нет, в крепости еще стреляют, но бой, как видно, распался на мелкие очаги. И выстрелы слышатся все реже.

— Пора! Пошли, пошли, хлопцы! — торопит Фадеев.

Мы понимаем, что для наших корреспондентских дел идти сейчас в крепость бессмысленно. Это ничего не даст, кроме ненужного риска. Но мы знаем Фадеева. Впрочем, и он знает нас. Ни слова не говоря, мы вслед за ним покидаем дом наблюдательного пункта, обходим крепость и появляемся около ее западных ворот. Тут бой кончился. Дорога за стеной просто-таки запружена танками и самоходками. Не знаю, может быть, видя безнадежность сопротивления, экипажи этих машин в последнюю минуту мечтали вырваться из ворот, пробить наши боевые порядки и через город устремиться к своим, которые не так уж и далеко. Такое наш танк проделал однажды в Калинине. Или, может быть, командование согнало их сюда как подвижную артиллерийскую поддержку для отпора штурмующих. Завтра в беседе с пленными обязательно надо выяснить значение этого маневра. Ну а пока что приходится пробираться сквозь эти тесно сбившиеся в кучу машины. Уже нестрашные, хотя моторы их еще не остыли.

В центре крепости, где возвышается искрошенная артиллерией массивная церковь, стоят наши солдаты и, задрав головы, смотрят вверх. Какой-то боец в полушубке, забравшись под самый купол, пытается приладить там красный флаг. Флаг над освобожденной крепостью... Отличная затея. Но он не очень ловок, этот боец. И стоящие внизу кричат ему:

— К балке, к балке прикручивай!

— Нет, вон к той железяке, что пониже!

Раздается одинокий, не очень громкий выстрел. Флаг поник, и тот, кто пытался его приладить, начинает сползать с церковной крыши и падает в снег. Кто стрелял? Ага, вон там, у звонницы колокольни, расплывается сизоватое облачко. Добрый десяток бойцов бросается к колокольне. Скрываются в ней. Беспорядочно звучит несколько выстрелов. Слышатся крики, и вот сверху вниз, как кулек, перевертываясь в воздухе, летит тело немецкого снайпера.

Тот, кого подстрелили, жив. Стонет. Просит о помощи. Как на грех, кругом ни одного санитара.

— Ребята, кто знает, где тут медики?

— А вон там флаг с красным крестом. Над подвалом. Только это не наши, то немецкие медики.

Э, все равно! Спешим за помощью. И тут дорогу преграждает нам толпа пленных, которую ведут к западным воротам. Просто тяжко смотреть на них, такие они обросшие, грязные. Им, видимо, только что выдали еду, и они на ходу вгрызаются зубами в мерзлую хлебную мякоть. За дни осады, видать, здорово наголодались. Теперь им не до падения крепости. Не до размышлений о погибших однополчанах. Хлеб. Только хлеб. Едят с такой жадностью, что, думается, открой по ним сейчас огонь — и то не выпустят из рук краюшек...

Ага, вот он, немецкий госпиталь! Он в центре крепости. В помещении крепких петровских времен, пороховых погребов. И флаг с красным крестом полощется над входом. Ну здесь-то найдем помощь. Все равно, нашу или немецкую. Медицина везде медицина. Вбегаем и, к нашей радости, видим здесь... нашего милого врача Галину Сергеевну. Она тотчас же посылает санитаров с носилками за раненым. И тут же убегает от нас — столько работы.

В этом подвале оказалось свыше тридцати раненых. При них немецкий врач в окровавленном халате, надетом прямо на шинель. Два молоденьких санитара и неопределенных лет женщина в серой с белым форме сестры милосердия. Раненые лежат прямо на кирпичном полу на шинелях. Умерших тоже, видимо, не выносили. Их складывали в уголке подвала. Так они и лежат штабелем, прикрытые желтым полотнищем парашютного купола. Лица и руки трупов заиндевели— видно, проле-

жали они здесь уже долго. В подвале холодно, как на улице.

Сейчас в госпитале этом уже хозяйничает Галина Сергеевна. В халате, шапочке, с разгоряченным лицом, она в этой страшной обстановке кажется просто красивой. Вместе с немецким коллегой проворно меняет повязки. Немецкие санитары и сестра в сером платье помогают ей. В другом конце подвала работает вторая группа медиков.

Тут же меж ранеными топчется курносый, совсем молодой боец с лицом, пестрым от крупных веснушек. Возбужденным голосом он рассказывает двум бойцам, притащившим на палке огромный термос с горячей едой:

— Знаешь-понимаешь, вбегаю сюда, сигаю прямо вот в эту дыру. «Хенде хох, туды те растуды!» Я, знаешь-понимаешь, думал — у них тут оружейный склад. «Хенде хох!» — ору. А у самого в левой руке автомат, а в правой граната. И вдруг — мать честная, из тьмы вот та ихняя тетка, как мышь летучая, и на меня. Встала передо мной, руки растопырила — дескать, не пущу до раненых. И кричит что-то по-ихнему, и плачет. И тот вон врач ихний тоже тут колбасится, бормочет что-то, показывает на красный крест.

Курносый боец жадно затягивается самокруткой.

— Ну я, понятно, знаешь-понимаешь, уже пригляделся. Вижу — не оружие у них тут и не боеприпасы, а, знаешь-понимаешь, госпиталь. Опустил автомат, гранату в карман, а тетка эта все стоит передо мной и загораживает их, как клушка цыплят. «Отойди,— говорю ей,— мать. Мы не вы, раненых не трогаем». А она все не отходит, трясется, а не отходит. А я этих самых бабьих слез, знаешь-понимаешь, не переношу. Мне легче на вражеский пулемет, чем на бабьи слезы... «Ладно,— говорю,— фрау, сиди тут со своими ранеными, сейчас начальство приведу».

— А как вас звать?

— Рядовой Бобров Николай, товарищ бригадный комиссар,— рапортует Фадееву веснушчатый боец.

С улицы слышится «ура!». Громкое, заливистое, веселое. Раненые, что полегче, тревожно приподнимаются. Прислушиваются. Бинт начинает явно дрожать в руках немецкого врача. Сестра в сером решительно бросается ко входу. И по всему ее виду можно заключить, что она опять готова, «как клушка», защищать своих раненых от

зверств красных солдат, о которых она столько слышала. Немецкий врач раздраженно приказывает ей вернуться к своим обязанностям.

Но в самом деле, что же происходит? Почему там кричат «ура!»? Кого или что штурмуют? Выходим на воздух. Шум ликования доносится все от той же церкви. Оказывается, другому, более удачливому бойцу удалось закрепить там, наверху, красный флаг. И он развевается теперь, громко щелкая на ветру, как пастушечий кнут.

На улицу вышла Галина Сергеевна. Она только что перевязала бойца, которого снял с крыши немецкий снайпер.

— Ничего, рана пустяковая. Только вот ушибся падая. Товарищи, нет ли закурить?

Увы, у нас не оказывается. Но боец Бобров с пестрым, как яйцо кукушки, лицом тянет ей кисет. Она ловко скручивает толстую цигарку, прикуривает и, затянувшись, точно бы приходит в себя.

— Интересно. Вот с начала войны слышу и читаю в ваших корреспонденциях: немцы такие да немцы разэтакие. А вот этот их доктор благороднейший человек. Я ведь немного говорю по-немецки. Учила в институте. Ну и без этого моего дохлого знания языка как-то сразу поладила с ним. Отличный специалист и храбрый. Ведь не ушел, не бросил раненых... А эта их сестра... Она немножко чудная. Он говорит — монахиня. Эта и вовсе ничего не боится. За этих своих раненых готова в глаза вцепиться.

— Точно. Это точно. Мне чуть было и не вцепилась,— поддерживает ее боец Бобров.—Вам, доктор, еще цигарочку свернуть про запас?

— Сверните. Я свои папиросы этому врачу отдала.— И снова задумчиво: — Очень, очень разные эти немцы.— И вдруг усталое ее лицо теплеет.— А ведь знаете, наш найденыш сейчас, наверное, уж к Москве подъезжает. Как вы думаете?

БАЛ В «БЕЛОМ ДОМЕ»

«Великие Луки наши!» Так озаглавил я свою корреспонденцию. Она, кажется, удалась. Во всяком случае, победоносное течение битвы на этом самом западном участке

великого фронта, несомненно, заинтересует читателя. Ну а для того чтобы корреспонденция попала в номер и весть эта своевременно дошла до читательских ушей, надо, чтобы она была своевременно передана в редакцию. А уже завечерело. Поэтому, оставив Фадеева и машину у крыльца «Белого дома», мы с Евновичем, даже не зайдя в жилье, несем наши сочинения на телеграф.

Морозная ночь. Бледный лунный диск окружен белесым ореолом. Опять «месяц в рукавичке». И это к морозу. Хотя какой еще там мороз, когда сейчас и без того плевок на лету застывает! Снег хрустит под ногой, как картофельная мука. Нет-нет да и треснет какое-нибудь старое дерево, иней посыплется с потревоженных ветвей. Раз морозобой в лесу, это, значит, уже градусов под сорок. Но ветра нет, тихо, легко дышится, на душе, как говорится, поют соловьи: что там ни говори, а Великие Луки-то уже наши!

На узле связи тоже праздничное настроение. Официальные документы, извещающие Генеральный штаб о победе, уже прошли, и корреспонденции наши тотчас же ложатся на пюпитры аппаратов Бодо.

А когда мы поднимаемся из блиндажей на мороз, нас догоняет девушка-рассыльная, которая обычно приносит нам телеграммы.

— Товарищи майоры, я столько уж раз к вам ходила, столько ходила, что ходить больше мочи нет... Вас все нет да нет. А вам вот из «Гранита» телеграммы. Распишитесь.— Она тяжело дышит, и дыхание ее вылетает изо рта клубочками пара.

Мы развертываем телеграммы:

«ЕВНОВИЧУ... Жена сообщает: «Девочка прибыла жива и здорова, она прелестный ребенок. С шофером выслала запас подворотничков...»

«ПОЛЕВОМУ. «...Получением сего немедленно собирайтесь Москву. Решением редколлегии возвращаетесь на Сталинградский фронт. Вместо вас остается майор Павел Кузнецов. Полковник Лазарев».

Вот это новость!..

Бодро шагаем гуськом по тропинке, проложенной через лес и четко очерченной лунным светом в голубовато мерцающих снегах.

...Вы сегодня бледны,
Вы сегодня грустны.
Вы сегодня бледнее луны...

Это напевает мой друг. Он долго был на чекистской работе на Дальнем Востоке. Там и пристрастился к ариеткам Вертинского. И когда приходит в хорошее настроение, начинает мурлыкать его песенки.

Ну а я, естественно, думаю о своей телеграмме. Вся зимняя операция нашего фронта и в особенности битва за Великие Луки были интересными. Но Сталинград! И вдруг оживает в памяти этот огромный волжский город, окутанный дымами пожаров. И четко, будто я рассматриваю рюмкинские фотографии, проходят в памяти и лицо генерала Родимцева, с которым я успел подружиться, и лица людей из его штаба... Мамаев курган, «черные дьяволы» в матросских бушлатах... лица неразлучных журналистских Аяксов — Васи Куприна и Мити Акульшина, аборигенов Сталинградского фронта... Неистовый Рюмкин колбасится перед глазами, потрясая своими фотоаппаратами... Вспоминается неоконченная беседа с авиационным полковником с шалыми глазами и так и не состоявшийся разговор с холодной красавицей Мариной Расковой, «командиром воздушных амазонок»...

Сталинград. Ничего особенного, выдающегося в сводках с того фронта в последнее время в газетах не было. Но раз посылают, стало быть, что-то назревает. Предстоит интересная работа. А друг мой поет что-то там о таинственных, экзотических морях, о кораблях-привидениях, о мертвецах-капитанах, и снег весело поскрипывает под его ногами. А у меня в голове только одно: Сталинград, Сталинград, Сталинград...

Первое, что поражает нас на пороге нашего, обычно такого шумного жилища — это просто-таки невероятная для него тишина, нарушаемая лишь воем огня в печурке да шелестом сухого снега за окном. Сидят, почему-то не зажигая света, сумерничают, и как-то грустно так сумерничают...

Нам как вернувшимся с мороза молча уступают место у печи, и, поддавшись общему настроению, мы тоже молчим, протягиваем к теплу окоченевшие руки. Сообщили им две наши новости. Но и телеграммы эти как-то были пропущены мимо ушей, не подняли настроение. Я знаю такие минуты на фронте. Они возникают, когда проходит боевое напряжение, наступает затишье, появляется время подумать. Вот тогда-то настроение и садится, на плечи наваливается усталость.

Мягко ступая валенками, Фадеев молча расхаживает по комнате. О чем он думает? Может быть, о своих — о жене и сыне, обитающих в эвакуации? Может быть, о нашем найденыше, который в эти дни не выходит у нас из ума? Грустная тишина начинает навевать дрему.

С треском лопается в печке отсыревшее полено. Комната на миг освещается. Фадеев стоит, как-то по особому смотря на колхозную детвору, тоже молча теснящуюся у нашего огонька. И вдруг раздается его бодрый голос:

— Идея, хлопцы!.. Вот мы спускались в подвал к этому самому Зассу — и там елка. Рождественская елка. А что, если и нам учинить елку?

Мгновение все изумленно молчат. Потом сразу поднимаются, точно бы встряхнувшись.

— Елку?.. Гигантская мысль! Здорово... Учиним!..

Засветили лампы — и дохленькую керосиновую в десять линий, и ту, что Петрович сделал из сплющенной снарядной гильзы. Она служит у нас за люстру, и зажигаем мы ее, лишь когда требуется большой свет: уж очень много от этой «люстры» копоти. Тут же обобществили всю снедь, какая у кого оказалась. Повытряхнули из чемоданов все, что могло блестеть и сверкать. Фадеев, зажженный своей же затеей, начал собирать бритвенные лезвия и стаканчики, пробки от одеколона, пузырьки, форменные пуговицы, звездочки от погон, гигроскопическую вату из индивидуальных пакетов. Оказалось, что гипосульфит и бертолетова соль из запасов фоторепортеров могут отлично изобразить блестящий снег. Масса телеграфных лент с нашими волнующими произведениями всех жанров легко превращается в гирлянды.

За елкой ходить недалеко. Лес рядом. Скоро врубленное в тяжелую колоду дерево стоит посреди комнаты, блестя и сверкая всеми странными, но издали просто-таки прекрасными украшениями. Под елкой есть даже дед-мороз, изготовленный одним умелым фотокорреспондентом из нескольких офицерских ушанок. И этот дед-мороз важно сидит на пакетиках с подарками. Наконец Фадеев еще раз окидывает полководческим взглядом «плацдарм предстоящего сражения».

— А что, так сказать, неплохо получилось, старики? Да-да-да. Неплохо и даже хорошо.— Он подходит к дверям, за которыми томятся, плющa носы о стекло, наши маленькие друзья, и важным, торжественным голосом

церемониймейстера произносит: — По поручению товарища деда-мороза прошу сюда...

Боже, какое начинается веселье! Танцуют, поют, бегают, играют в «жгутики», в «третьего лишнего». Думаете, одни ребятишки? Ошибаетесь. Вместе с ними, на одинаковых правах, шумят, веселятся, пляшут весьма известные журналисты, знаменитые фоторепортеры, их верные друзья — водители фронтовых машин. И среди них шумнее всех, веселее всех, затейливее всех — писатель с мировым именем. А степенные колхозники сидят за столом, пьют чай и то, что покрепче чая, и с удивлением, с любовью посматривают на него.

Потом самодельный медведь, изготовленный нами из вывернутого овчинного тулупа и корреспондента Совинформбюро Евновича, на четвереньках вползает в комнату, наделяет ребят подарками, катает самых маленьких на себе и начинает хоровод, напевая что-то несуразное на мотив ариеток Вертинского.

В разгар торжества, когда мы надышали так, что с потолка стало капать, я вышел на крыльцо. Луна все еще была «в рукавичке», но мороз сдал. Метель полировала сухим снегом косой сугроб, протянувшийся к крыльцу. А я уже мысленно был далеко и от этого фронта, и от родной тверской земли... Сталинград! Как-то там, в Сталинграде? Мороз или оттепель? Бои или поиски разведчиков?..

Позади хлопнула дверь. Это хромой колхозник Егор Васильевич вышел покурить. Красный огонек, то разгораясь, то затухая у него в щепоти, освещал распаренное лицо.

— Дорогой товарищ,— произнес он задумчиво.

— Как? Кто? — не понял я.

— Да бригадный ваш. Фадеев Александр Александрович. Ценный человек...

С тех пор безликое обращение, которое часто, даже не вдумываясь в его звучание, мы употребляем в своих письмах, навсегда обрело для меня яркий, конкретный облик.

Калининский фронт, 1941—1942 гг.
Москва, 1971 г.

В БОЛЬШОМ НАСТУПЛЕНИИ

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕОЖИДАННЫЙ ПРИКАЗ

Август 1943 года, душный, жаркий август!

Я только что вернулся с Орловско-Курской дуги, где Красная Армия завершила одно из самых победных своих сражений. Работать нам, корреспондентам, пришлось там в трудных условиях, много, и вот редколлегия «Правды» дала мне отдых.

Он особенно желанен, этот отдых, ибо с тех пор, как мои вернулись из эвакуации, мы почти не виделись. Жена похудела, кажется совсем девочкой. Сынишка, которого она выносила из Калинина на руках, превратился в смешное курчавое существо, егозливое, разговорчивое и мне очень мало знакомое. При всем том он такой хрупкий, что боишься как следует, по-мужски с ним повозиться, кажется, обязательно сломаешь ему руку или ногу.

Мы с женой уже составили программу отдыха, куда входит и посещение театра, и поход в гости, и даже художественная выставка. Все как в лучшие, мирные времена. Во исполнение этой программы мы сегодня и побывали в гостях. С отвычки это нам очень понравилось, и, довольные собою, мы поздно легли спать.

Но глубокой ночью зазвонил телефон. Нет уж, дудки: отпуск. Звонят снова и снова. Звонят с каким-то тревожным упорством. Жена не выдержала и, накинув пестрый халатик, отправилась в коридор.

— Тебя из редакции,— позвала она упавшим голосом.— Говорят, срочно.

— Слушаю.

— У вас машина в порядке? — спросил из трубки хрипловатый тенор моего начальника полковника И. Г. Лазарева.

— Ремонт закончен... Сегодня, кажется, красили.

— Ваш отдых придется отменить. Части Степного фронта на подступах к Харькову... Понимаете? Редакция решила срочно направить вас туда. Срочно!.. Понимаете?..

Это «понимаете» звучало весьма многозначительно. Я понял, что мои столь тщательно продуманные планы

летят вверх тормашками... Но Красная Армия подступает к Харькову. Разве можно прозевать такое событие? Я повторил полученное приказание и тут же позвонил моему шоферу Петровичу.

— Сегодня в семь? — переспросил Петрович упавшим голосом: очевидно, и тут рушились какие-то великолепные планы.

А перекрашивать машину когда же?.. Она что ж, так и будет у нас «пегашкой» на смех всей Красной Армии?

С машиной нашей, унаследованной когда-то от коллеги по «Правде» писателя Владимира Ставского, у нас была давняя история. После того как на дороге нас дважды обстреляли с воздуха, Петрович, решив навести на нее камуфляж, покрасил ее домашним способом, используя остатки красок, обнаруженных на дне банок. От этого машина наша, отличная, между прочим, машина, стала дико пестрой, за что и была прозвана в корреспондентском корпусе «пегашкой». Мы все время собирались вернуть ей приличный вид, добывали наряд на рембазу, договаривались о сроках, и всякий раз события, назревшие то тут, то там, ломали наши благие планы, и мы неслись на новый фронт, пугая лошадей и вызывая иронические реплики регулировщиц.

— А как мотор?

— Порядок полный. Часы.

— Ну так, в семь к подъезду.

— Есть к семи ноль-ноль к подъезду, товарищ майор.— Потом послышался длинный вздох.— Ну что ж, такова сельави, как говорят французы.

И вот мы опять на фронтовой дороге.

Москва осталась позади, сверкая крышами в прозрачном, прохладном воздухе занимающегося летнего дня. Видавшая виды «пегашка» со следами многочисленных царапин и вмятин на своих боках бойко несет нас на юг, сама постепенно одеваясь в мохнатую шубу пыли.

Молоденький сержант, проверявший документы на последнем подмосковном контрольном посту, на вопрос: «Куда ведет дорога?» — ответил, весело сверкнув большими карими глазами из-под выгоревших золотистых бровей:

— На Украину, товарищ майор!

Рыженькая регулировщица отсалютовала флажком. Она стояла у только что вкопанного указателя: «Мо-

ква — Харьков». Ей, видимо, было приятно открывать машинам столь длинный и знаменательный путь.

Отплыли назад, растворились в золотистых просторах полей последние заводы Подмосковья, и машина понеслась по прямому шоссе, рассекающему поля, лески и рощи.

ДОРОГА НАСТУПЛЕНИЯ

Сколько воспоминаний, тяжелых и радостных, связала Великая Отечественная война с этой дорогой!

Машина несется меж убранных полей с громадными золотыми стогами, мимо городов, хранящих мирный, тыловой облик, мимо уютных деревенских домиков с резными расписными наличниками.

В бурой мгле заводского дыма встает из котловины Тула — старинный город русских оружейников, не переставших производить оружие даже в те тяжелые недели, когда враг был на пороге и рвался к баррикадам на улице Коммунаров. Только что изготовленными и еще не отвороненными минометами вооружались ополченческие батальоны. Туляки, не снимая рабочей одежды, тут же, в окопах, вырытых у ворот родных заводов, отражали натиск противника из винтовок собственного производства, отражали с упрямством, верой и злостью. В ту трудную пору, когда под угрозой была Москва, здесь было немного войска. Но рабочие люди, до сих пор державшие оружие лишь как свою продукцию, совершили невозможное. Сплоченные своей партийной организацией, тульские металлурги, машиностроители, оружейники не пустили врага. Они выстояли до подхода частей Красной Армии, и враг покатился назад.

Раны быстро заживают на здоровом теле. Тула работает на оборону с двойным напряжением. Это сразу видно по облакам дыма и пара, висящим над ее заводами и обволакивающим весь город серой пеленой. Город выметен, подтянут, деловит. Девушка-милиционер в белых перчатках ловко управляет потоком пыльных фронтовых грузовиков; на окраине достраивают какой-то дом... Гудят воздуходувки у домен Косой Горы... Новенькие дома, краснея свежими кирпичами, вырастают в деревнях взамен тех, что почти два года назад сжег, разрушил и разбомбил противник.

За городом Чернь дорога поворачивает на запад, на Мценск. Здесь с точностью повторяется все, к чему мы уже привыкли за годы наступления. За какой-то невидимой гранью обрывается привычный наш мир, исчезает приволье полей, только что отягощенных копнами сена, красневших спеющей гречихой, зеленевших ботвой овощей. Неоглядная равнина, заросшая высоким сухим и пыльным бурьяном, тянется от недавно занятых нами укреплений вражеской оборонительной линии до Мценска и на много десятков километров за ним. Несколько часов мы едем по «мертвой зоне», где точно бы истреблено все живое, выжжены деревни, вырублены сады, где поля и дорога заросли сорными травами, огромными и наглыми, смахивающими на молодые деревья.

Еще недавно я был свидетелем того, как обходным маневром войска Брянского фронта взяли мценские укрепления. Мценск казался вымершим городом. Немало пришлось поколесить по проселочным дорогам, чтобы найти в выкопанных в речном берегу норах нескольких уцелевших свидетелей фашистских злодеяний в Мценске.

Давно ли это было? А сейчас город оживал. Еще робко, но уже ощутимо жизнь появлялась среди его развалин. В зарослях гигантского бурьяна, этого неизменного спутника гитлеровских орд, символа мерзости запустения, на улицах и площадях Мценска уже протоптаны широкие дороги. На стенах наиболее сохранившихся домов мелькают вывески: «Продовольственный магазин»... «Городская больница»... «Редакция»... «Парикмахерская»... «Библиотека». Худые, оборванные ребятишки, забравшись на ржавеющий у дороги танк, важно машут флажком проходящим машинам: путь открыт!

Все дальше и дальше в глубь отвоеванной территории, к центру Курской дуги, уводит нас эта неровная, изъязвленная воронками дорога. То и дело объезжаем взорванные мосты и заминированные места. Навстречу потоку фронтовых машин бесконечной чередой движутся оборванные люди, группами и в одиночку. Это население возвращается в освобожденные от врага родные места. Женщины с бледными, завернутыми в тряпье детьми на руках. На спинах людей небольшие узлы — все, что осталось от годами нажитого добра. Но возвращающиеся полны деятельного оптимизма, которым искони славится русский человек.

— Были бы руки целы, да голова, да родная Советская власть, а там все у нас будет, все наживем, — услышал я на одной из стоянок от старой крестьянки, которая, сидя на каменном порожке сгоревшей избы, поила водой солдат в выгоревших, просоленных пóтом гимнастерках.

Да, крепок, непобедимо крепок наш советский человек.

Едем мы по сожженной, разоренной, еще очень малолюдной Орловщине, и у меня перед глазами все время стоит молодое, чернобровое, смуглое, татароватое лицо, открытое, сосредоточенное, волевое. И вспоминается встреча, происшедшая вот здесь, совсем недалеко от этой дороги, месяц назад.

В ту пору битва на Орловско-Курской дуге вступала в свою решающую фазу. Измотав и обескровив пытавшиеся наступать немецкие дивизии, сломив их боевой дух, наша армия переходила в наступление. Недалеко отсюда свежие танковые части входили в прорыв, и авиация работала без устали, прикрывая над ними небо. Вот в эти-то дни по фронту и прогремела слава одного гвардейского авиационного полка, который сбил больше двух десятков вражеских самолетов. Сам же полк потерял в боях всего несколько машин. Сюда на связном самолете и прилетел я под вечер, чтобы собрать материал для корреспонденции.

Но летчикам в этот день было не до меня. Командир, слушавший по радио ход боя, отправил меня к замполиту. Замполит оказался сам в воздухе. Начальник штаба, совершенно охрипший, с красными, как у кролика, от бессонницы глазами, поначалу было огрызнулся, а потом, рассмотрев мои погоны, спохватился, произнес какие-то скомканные извинения и заявил:

— Вот вернется из боя Алеша Маресьев. Он только что второй самолет за сегодняшний день сбил. Ступайте к нему. Он на девятке. Сядет девятка, вы прямо на него и пикируйте.

Девятка села, подрулила к своему капониру на опушке леса, и я «спикировал» на молодого коренастого парня, что с какой-то особой медвежьей грацией выбрался из самолета. Он еле стоял на ногах. Еще бы: шесть боев, два сбитых противника. Говорить он отказался, сослав-

шись на усталость, и, должно быть, для того, чтобы подсластить пилюлю, а может быть, просто по доброте душевной, улыбнувшись, вдруг предложил:

— У нас правило в полку хорошее. В дополнение к наркомовским ста граммам за каждый сбитый самолет добавлять еще по двести. У меня выйдет сегодня поллитра. Многовато на одного. Пойдемте-ка мы с вами, майор, с устатку в столовку. На двоих как раз выйдет впору.

От такого предложения трудно было отказаться. Мы пошли в военторговскую столовую, пообедали, выпили положенное, и мой новый знакомый, к которому все время подходили разные люди поздравлять его с победой, предложил ночевать у него в землянке. Летчик, с которым он вместе жил, в этот день не вернулся на аэродром. Он был сбит. Койка его пустовала, и я согласился занять ее, ибо уже стемнело и улетать было поздно.

Мы долго проговорили, поедая из котелка лесную малину. Маресьев и его невернувшийся друг собрали ее утром. Перед отходом ко сну летчик, со вкусом умываясь, долго крякал и фыркал. Я стал уже дремать и был разбужен странным звуком — что-то тяжелое увесисто ударялось о земляной пол. В землянке было темно, но луч луны падал в ходок, и мне показалось, что из-под нар, на которых лежал мой знакомый, торчат чьи-то ноги в офицерских начищенных сапогах. Я инстинктивно сунул руку под подушку. И вдруг послышался смех, да такой здоровый, веселый, раскатистый, что мне стало не по себе. Смеялся хозяин землянки.

— Это же протезы, мои протезы,— пояснил он.

— Что, что?

— Обыкновенные протезы, и больше ничего. У меня же нет ног...

Для убедительности он хлопнул рукой по одеялу.

Безногий летчик? И не просто летчик, а человек, сбивший в этот день два истребителя? Нет, этого не может быть! А между тем все было именно так. Сна как не бывало. Вскочив в трусах с постели, я схватил первую попавшуюся под руку бумагу. Летчик уселся на койке. И так мы просидели до утра — он рассказывал, а я записывал его необыкновенную и в то же время такую типичную для этих дней историю, историю, в которую трудно поверить, и тем не менее правдивую с начала и до конца.

Алексей Маресьев, тогда еще лейтенант, был сбит в воздушном бою, упал в болотистом районе Калининской области, в глубоком тылу противника, в вековом, девственном лесу. При падении у него были раздроблены обе ступни. Идти он не мог и в течение шестнадцати суток полз, потом даже катился на восток. Совершенно обессиленного, дошедшего до крайней степени истощения, его подобрали крестьяне сожженной деревушки Плав. Они связались с аэродромом. Раненого, у которого начиналась гангрена, вывезли на самолете в Москву, в Первый коммунистический госпиталь. Тут ему ампутировали ноги, и вот теперь путем долгих, поистине нечеловеческих тренировок он, безногий, научился летать, вернул себе искусство высшего пилотажа, сел на истребитель. Сейчас он командир звена и в день нашего знакомства сбил два самолета...

Черт знает что! Какие поистине богатырские небывалые, ни с чем не сравнимые черты вызывает к жизни эта война в самых обыкновенных людях. Под утро пошел дождь. Крупные теплые капли его звучно били по разлапистым лопухам, и казалось, что там журчит без устали быстрый горный ручей. Я благословлял непогоду. Она сковала авиацию, и я смог целый день выспрашивать у Маресьева все подробности необыкновенного его подвига. Понимая, что это за материал, я записывал все с протокольной точностью, с названием мест, фамилий и адресов всех, кто имел отношение к этой истории.

А потом, отложив в сторону все другие дела, я единым духом, за сутки, написал в «Правду» очерк о подвиге безногого героя, а к очерку приложил проект передовой «Советский воин Алексей Маресьев».

Сейчас у нас входят в моду такие передовые, обобщающие на примере конкретных людей большие политические явления. Всякий раз, когда мне в руки попадала свежая газета, я с жадностью раскрывал ее. Но шли другие, менее значительные и менее интересные материалы. А этого не было. Почему?.. Только потом я понял, что тогда, после нового разгрома немецко-фашистских армий на Курской дуге, когда доктор Геббельс, стремясь смягчить удар этого нового страшного поражения, врет, что Советы воюют из последних сил, что в армию у нас призваны старики и дети, опубликовать

эту необыкновенную историю значило дать гитлеровскому лейб-вралю новый материал: безногие на самолетах...

Вместо всего, что я написал в «Правду», был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении старшему лейтенанту Маресьеву Алексею Петровичу звания Героя Советского Союза. Мне же редактор Петр Николаевич Поспелов сказал третьего дня:

— Не огорчайтесь. Это не пропадет, кончится война, издадим целую книгу... Пишите... Это стоит книги.

Да, это стоит книги. Я везу с собой сейчас тетрадку, в которой недавно подробно записал все, что мне рассказал этот обыкновенный и удивительный парень с Волги. Может, выкроится время и для книги...

...Мимо машины бегут поля Орловщины, пустынные, красные от высушенного солнцем бурьяна. И этот обычный вид фронтовой дороги, израненные осколками телеграфные столбы с обрывками проводов, скрученные как штопор, ржавые остовы машин, торчащие из бурьяна то там, то тут воронки и минные выбоины — все это почему-то напоминает мне ту ночную беседу, потрясшую меня до глубины души. А образ летчика, которого я встретил однажды в жизни, так врос в память, что кажется, и сейчас вот он сидит в нашей машине, и что стоит оглянуться, как увидишь его смуглое скуластое лицо, его бровь, густую и чуть рассеченную, его черные глаза, в которых прочно угнездилась хитроватая усмешка...

А вот и Орел, многострадальный Орел, которому фашисты нанесли, отступая, столько тяжелых ран, но и он тоже уже оправляется. Двадцать пять дней назад мы с Петровичем приехали сюда на своей «пегашке», когда на западной окраине города еще шел бой и нас чуть не засыпало обломками здания, подорванного миной замедленного действия. Сейчас город уже в глубоком тылу. Толпы людей у радиорупоров, у расклеенных по заборам газет. На досках объявлений — афиши кино и концертного зала и маленькие рукописные объявления о том, что после двухлетнего перерыва начинают работать неполные средние и средние школы.

Девушки гуляют с ранеными бойцами под желтеющими тополями бульвара. Старичок садовник высаживает на клумбы астры. Освещенный косыми лучами заходя-

щего солнца, в этот спокойный вечер ранней осени город кажется тихим.

Ночуем мы в деревне Кóтовке, невдалеке от Кром. Жителям этой деревни повезло. Наши танки стремительно ворвались в нее, и фашистские факельщики бежали, не успев поджечь домов. Деревня, одна из немногих на этом шоссе, осталась цела. Зато сейчас она битком набита и жителями, и путниками — военными и гражданскими. Вот уж поистине — сельди в бочке.

Ночуем в машине. Петрович сам переоборудовал ее нутро, приспособив его к нашей кочевой жизни. Спинка переднего сиденья отгибается на кронштейнах и образует вместе с задним сиденьем постель. Не очень комфортабельную, но вполне пригодную на двоих. На ней мы и спим, опустив стекла. И до самой зари слышим сквозь сон, сквозь душистую предрассветную прохладу, льющуюся со двора, пиликанье гармошки и девичьи голоса, выкрикивающие частушки...

Проезжаем некогда уютные, зеленые, а теперь черные, обугленные Кромы, минуем Курск, где сожжены и взорваны лучшие здания.

Город, всего несколько месяцев тому назад освобожденный, восстанавливается. Залитый обильными лучами августовского солнца, пахнущий яблоками и резедой, Курск восстанавливается. Огромные афиши объявляют о гастролях Московского Художественного театра. Девушки-штукатуры, вися в люльках высоко над землей, заделывают следы снарядов на стене старого дома. Девушки в синих комбинезонах тянут провод воздушной трамвайной сети. Старушка в чепце продает в фанерной будке букетики гвоздики и резеды. Сама мысль о том, что здесь были фашисты, кажется уже странной...

За Курском чувствуется приближение Украины. Деревянные избы Подмосковья, кирпичные домики тульских деревень, тесовые избы Орловщины сменяются постепенно глинобитными, крытыми соломой хатками. Меняется и самый пейзаж. Редкой становится наша сосна. Мы проезжаем березовыми и дубовыми лесками, седыми от дорожной пыли. К Прохоровке леса кончились, и вокруг простерлась холмистая степь. Когда машина въезжала

на вершину холма, степь можно было видеть на десятки верст. Вот эта желтая холмистая степь и была совсем еще недавно местом гигантского танкового сражения — одного из самых больших и жестоких сражений в этой войне.

Прохоровке, некогда большому, утопавшему в зелени селу, славившемуся своими садами и особым, «прохоровским» сортом яблок, дважды суждено было оказаться в центре великих битв. В первый раз это было, когда армия кайзера, оккупировавшая Украину, двинулась на север, к Москве. Здесь, у Прохоровки, армия эта была остановлена, а потом основательно побита частями Красной Армии. Отсюда начала она свое бесславное отступление в Германию.

Через двадцать с лишним лет Гитлер направил свои бронированные орды к Москве. И снова в этой холмистой, выжженной солнцем степи путь немецким дивизиям был прегражден нашими танковыми частями. Среди них было широкоизвестное теперь танковое соединение генерал-лейтенанта Ротмистрова, того самого Павла Алексеевича Ротмистрова, с которым я познакомился еще в тяжелейшие дни боев на Калининском фронте.

Вот здесь, в этом изобильном крае, где сейчас все дышит знойным предосенним покоем, и завязался напряженный встречный танковый бой. Взамен выведенных из строя и сгоревших машин командование противника бросало все новые и новые танковые дивизии из своего наступательного резерва. Танки генерала Ротмистрова, маневрируя между холмами, внезапно выскакивали из засад и били вражеские машины с фланга. Бой гремел трое суток день и ночь. Напряженнейший танковый бой, может быть, еще и невиданных даже в этой войне масштабов. Были моменты, когда в сражении одновременно участвовало две и даже две с половиной тысячи машин.

Ночью над степью колыхалось темно-багровое зарево, потрясаемое вспышками разрывов, пронизываемое молниями трассирующих снарядов. В этих беспримерных танковых боях противники мерились не только упорством и боевым мастерством, но и качеством боевой техники, проницательностью полководцев. Против Ротмистрова сражался один из известнейших танковых генералов Гитлера. Упорно, умело сражался. Но на четвертый день не выдержал, скомандовал отходить. Бой стал стихать,

и к вечеру остатки вражеской танковой армады покатились обратно, не переступив этого, отныне ставшего дважды историческим, рубежа.

Именно отсюда и началось наступление войск Степного фронта под командованием генерала И. С. Конева, которые, на широком участке прорвав вражескую оборону, вступили на земли Украины и сейчас осадили Харьков...

На фронте бывают самые неожиданные встречи. Заехав, чтобы пополнить радиатор машины водой, в более или менее уцелевший домик на южной окраине Прохоровки, мы встретили тут хорошо мне знакомого по Сталинграду инженер-полковника из соединения Ротмистрова, очевидца и участника прохоровского сражения, занимавшегося здесь эвакуацией подбитых танков. Живой, веселый человек, полковник сейчас же повез меня на поле битвы. Танков было так много, что с одной высотки, на которой мы стояли, я насчитал свыше двухсот и сбился. И все поле, видное с этого поросшего седой полынью холма, золотое пшеничное поле, было избито снарядами, исполосовано, искромсано, взлохмачено ими, как будто в смертельном страхе по полю метался гигантский табун неведомых животных.

Около танков возятся чумазые люди в ржавых, пропитанных маслом комбинезонах. Это люди полковника — ремонтники — залечивают раны танков, порой собирая по частям из двух, а то и из трех и даже четырех машин одну.

— Работенки им хватает,— шутит полковник, запуская свои крупные крепкие зубы в сочное яблоко.— Под Сталинградом мы по этому делу, можно сказать, университет окончили, под носом у врага танки по ночам ремонтировали... Здесь что!.. Курорт.

За Прохоровкой шоссе вдруг обрывается. Оно настолько исклевано снарядами и минами, что стало непроезжим. Мы сворачиваем на окольную дорогу, которая вьется по полям, то сбегая в лощины, то поднимаясь на гребни холмов, и с каждого такого гребня почти до самого Белгорода мы видим неприятельские и наши танки, самоходки и просто орудия, то красновато-рыжие — сгоревшие, то подбитые, с развороченной броней или снесенной и далеко отброшенной взрывом башней. Совершенно очевидно, что битва здесь не прекращалась. Неприятель не терял надежды остановиться.

НА ПОРОГЕ УКРАИНЫ

И вот перед нами на фоне голубоватых меловых холмов встал Белгород — исходная точка летнего вражеского наступления. Даже отсюда, не съезжая с дороги, можно различить несколько мощных оборонительных поясов, концентрическими полукольцами прикрывающих город с севера. Это сильные инженерные сооружения, на которые не пожалели ни времени, ни средств, ни материалов. Кажется, что гигантские кроты источили землю на много километров вокруг.

Мы останавливаем машину и долго ходим по этим пустым укреплениям, среди которых городские мальчишки, пасущие коз, играют сейчас в войну.

Внешнее кольцо белгородской вражеской обороны состоит из сильно укрепленных высот с разветвленной системой огневых точек, имеющих широкое поле обстрела, с густой сетью траншей, часто крытых, с дзотами для пулеметов и пушек, с погребками и ровиками для хранения снарядов. Подходы к этим высотам густо опутаны проволокой. Танкопроходимые места были заминированы на большую глубину, а самые высоты прикрыты противотанковыми рвами.

Верный своей тактике, противник рассчитывал в случае краха своего летнего наступления отсидеться за этими укреплениями. Лобовой штурм или длительная осада этих позиций стоили бы, вероятно, больших жертв и не дали бы результатов. Но командование Степного фронта противопоставило этой тактике тактику широкого, смелого маневра на охват, основанную на быстроте напора и инициативе. Вот так же генерал Конев в первый год войны освобождал Калинин.

Искусно выбрав момент, когда вражеские дивизии израсходовали, пробиваясь к Прохоровке, свой наступательный порыв, измотались, истекли кровью, обессилели от потерь людей и техники, части Степного фронта, тесно взаимодействуя со своими соседями, перешли в наступление. Могучим комбинированным ударом, в котором сочетались энергия и напор пехоты, мощь артиллерии, искусство летчиков-штурмовиков и сила танковых соединений, части Степного фронта опрокинули вражеские дивизии, сразу в нескольких местах прорвали созданные немцами укрепления и в пробитую брешь устремились к Белгороду с севера.

В этом прорыве и в наступлении на Белгород сказалась возросшая тактическая смелость наших генералов и офицеров, вобравших нелегкий опыт этой войны. Наступающие находили слабые места врага, били именно по ним, устремлялись в созданные таким путем прорывы, смело оставляя у себя за спиной вражеские узлы, нависали над неприятельскими укреплениями с флангов, атаковали их с тыла, сводя на нет оборонительную мощь этих заботливо созданных рубежей. Мощные бастионы порой, как это было в меньших масштабах у Великих Лук, превращались в ловушки для вражеских войск, и часто, вместо того чтобы оборонять их, враг принужден был думать, как из них выбраться.

Мы сходим вниз, к берегу Северного Донца, и идем по разветвленным траншеям. По тому, как рассыпаны уже позеленевшие от сырости ружейные гильзы, как отпечатались на земле разрывы мин и гранат, сразу видно, что штурмовались эти укрепления не с севера — со стороны Донца, а с юга, то есть с их тыла.

Вот тут-то и сказалась слабость немецкой тактики, на которую указывал И. В. Сталин: «Немцы становятся беспомощными, когда обстановка усложняется и начинает «не соответствовать» тому или иному параграфу устава, требуя принятия самостоятельного решения, не предусмотренного уставом».

Вражеские дивизии отступали, неся потери, а части Красной Армии с боем преследовали их, вырывали у них одно укрепление за другим, не давая им остановиться, окопаться, блокируя обходными маневрами многочисленные попытки врага осесть на том или ином укрепленном узле.

Так были сломлены три линии вражеских укреплений, прикрывавших Белгород. Тогда противник сделал отчаянную попытку удержаться в самом городе. Городские здания были им подготовлены к уличным боям. В угловых каменных домах мы видели замурованные окна с пробитыми в них амбразурами. Из этих своеобразных дотов простреливались основные улицы. Но наши правофланговые части обошли город, вырвались на вражеские коммуникации. Обороняющиеся растерялись. Их оборона на окраинах была дезорганизована. Передовые

батальоны наступающих устремились в город и коротким штурмом заняли его.

Так был освобожден Белгород. Так был разгромлен и очищен белгородский укрепленный район, который враг именовал «северным бастионом Украины».

Так части Степного фронта прорубили себе ворота на Украину.

В армейской газете танкистов, подаренной мне полковником, я увидел письмо унтер-офицера немецких танковых войск Отто Рихтера к его брату Курту. Оно было найдено нашими разведчиками в полевой сумке убитого.

«Дорогой Куртхен, ты знаешь меня,— я никогда не хватался за голову и не был паникером. Я всегда твердо верил в наши цели, нашу победу и нашего фюрера. Но сейчас я хочу с тобой попрощаться. Не удивляйся, брат,— именно попрощаться и, весьма возможно, навсегда. Недавно мы наступали. Если бы ты знал, какое это было отвратительное и страшное наступление. Наши солдаты, по обыкновению, храбро шли вперед, но русские дьяволы не хотели подчиниться обстоятельствам, каждый метр стоил нам жизни наших лучших товарищей. Но все-таки это было наступление, и можно было терпеть. А потом эти дьяволы обрушились на нас, и мы стали пятиться. Началась настоящая свистопляска! Вчера мы оставили Белгород. Нас остались единицы. Нет уже ни Курта, ни Фреда, ни Германа, о которых я тебе писал. Людвигу оторвало ногу, и его потеряли на поле боя. Господина капитана Ритергофа разорвало на куски, так что не удалось их даже собрать. В нашей роте осталось восемнадцать человек. Это еще хорошо, так как во второй роте всего девять. Полк хотели расформировать, но потом свели его в одну роту. Господи, чем это все кончится! Солдаты не хотят слушать о победах. Им теперь все равно. Я убеждаю их и сам со страхом чувствую, что перестаю верить. Разве их сломишь, этих русских дьяволов! Я почему-то чувствую, что меня убьют, прощай! Но мне все равно: зачем жить, если война проиграна, а будущее для нас черно...»

Ну что ж, с этим можно согласиться, хотя немецко-фашистская армия еще очень сильна, и черт его знает, какие у нее резервы...

За Белгородом шоссе улучшается. На полной скорости

мчатся по нему пыльные автоколонны. Но как бы ни торопились шоферы, как бы ни был важен их груз, они обязательно притормаживают у маленькой дубовой рощицы справа от дороги.

«Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!» — гласит надпись на массивной доске, укрепленной между двумя дубами.

Тщательно убраны могилы. Памятники из снарядов. Оградки из заботливо собранных снарядных гильз. Вокруг несколько скамеечек. Тут похоронили гвардейцев-танкистов, героев прорыва. На медной гильзе крупнокалиберного снаряда выгравированы надписи: «Гвардии майор Петров», «Военфельдшер Мария Михина», «Башенный стрелок гвардии сержант Цветков»... На могилах не успели увянуть васильки и красные маки, которые, вероятно, еще сегодня положила сюда чья-то рука.

У СТЕН ХАРЬКОВА

Штаб войск Степного фронта я нашел в небольшой, утопающей в садах деревушке Малые Проходы, хатки которой сбегают с пологого берега оврага к узенькому, мутному, журчащему в камышах ручью. Тут все, что положено классическому украинскому пейзажу: небольшой ставок, гребля, ивы, склоненные в омут, и даже домики ульев на южном склоне. Белые хатки под толстыми соломенными, ровно подстриженными шатровыми крышами, спускающимися до самых окон, серые плетни, горшки, макитры, сохнущие на кольях, тяжелые головы подсолнечников. Три ветряка на пригорке лениво машут своими ощипанными крыльями. Деревенская тишина, нарушаемая только редким пением петухов и басовитым звоном мух, вьющихся во дворах.

Такова эта деревня, лежащая в стороне от большака. Если глядеть на нее сверху, вряд ли отличишь ее от сотен подобных ей украинских деревушек.

Отсюда отлично слышны громы артиллерийского боя, а вечером, когда воздух особенно чист и тих, сюда доносится стук пулеметных очередей. Вражеские бомбардировщики проплывают над ней строем на небольшой высоте. Во всем этом узнаю повадку генерала Конева. Как и всегда, он расположил свой командный пункт невдалеке от самого горячего участка боя, в обыкновенной,

малоудобной деревне, расположил с почти безошибочным расчетом на то, что противнику никогда и в голову не придет, что штаб фронта может размещаться так просто и так близко от переднего края.

Корреспондентский корпус живет на северной окраине деревушки, в тихом проулке, у самых бахчей, где на земле, в выгоревшей траве, как будто случайно высыпанные из торбы, лежат огромные серые и желтые с зелеными полосами тыквы, которые здесь зовут гарбузами, и полосатые, приплюснутые с полюсов, небольшие, но очень сладкие арбузы, именуемые здесь кавунами.

У хаток, прикрытые сверху пучками камыша, толпятся видавшие виды корреспондентские машины, а на улице, которую кто-то успел шутя уже окрестить «Корреспондентенштрассе», много знакомых лиц. Сюда слетелись и съехались и тихий, вежливый Евгений Кригер в неизменных своих очках и пилотке, которую он носит как-то слишком по-штатски, и загорелый улыбающийся Виктор Полторацкий в солдатской выцветшей и пропотевшей гимнастерке, и военный публицист Леонид Высокоостровский, старый друг по Калининскому фронту, усики которого очень помогают ему продвигать без очереди свои материалы через быстрые руки девчат с военного телеграфа, и молодой, чрезвычайно степенный корреспондент Совинформбюро капитан Власов, столь же солидный, как и организация, которую он представляет. Много других специальных и фронтовых корреспондентов, сосредоточение которых всегда означает назревание какого-нибудь выдающегося военного события с такой же точностью, с какой утреннее пение петухов предсказывает наступление дня.

— Старик, ты здесь! Надолго? До Харькова?

— Нет, всерьез. До самой границы.

Некоторые журналисты любят менять фронты, появляясь в предвидении важных событий то в одном, то в другом месте. Я придерживаюсь другой точки зрения. Война требует не только статей об отдельных выдающихся победах. Война — это прежде всего тяжелые боевые будни. И военный журналист, если он хочет хорошо делать свое дело, должен стать своим человеком среди военных людей, должен научиться жить их повседневными интересами, радоваться их радостями и делить их печали на всем трудном боевом пути.

Правдисты размещаются в маленькой хатке на самой окраине. Дома из них никого не оказалось. Все в частях. Но это не беда. Петрович, нисколько не смущаясь отсутствием хозяев, загнал во дворик свою «пегашку», прикрыл ее камышом. Сделав несколько снимков нашей хозяйки тетки Гапки — сердитой женщины могучего сложения, он сразу завоевал ее симпатию, и она расщедрилась не только на два тюфяка, набитых свежей соломой, но и на простыни.

Давно замечено, что в дни войны люди как-то особенно любят фотографироваться. Старенькая редакционная «лейка» в ловких руках Петровича служит ключом, открывающим самые суровые интендантские сердца и души хозяек, к которым нас определяют на постой. Словом, пока я с дороги осваивал свой колючий и шуршащий тюфяк, Петрович под руководством тетки Гапки, сняв рубашку и обливаясь потом, орудовал у печи, овладевая искусством готовить украинский борщ.

Борщ у него получился на славу, красивый, красный, жирный, но есть его было нельзя — так он был переперчен, и даже пар, который шел от него, казалось, обжигал рот...

Среди офицеров штаба этого недавно организованного фронта, начавшего свою боевую деятельность с боев за Белгород, оказалось много знакомых по другим фронтам. Как всегда бывает, люди, с которыми ты когда-то встретился в боевой обстановке мимолетно, при новой встрече, на другом фронте, кажутся уже старыми, испытанными друзьями.

На штабной улице прямо передо мной на полном ходу с визгом затормозил вездеход. Из него выскочил коренастый офицер в развевающейся плащ-накидке и шагнул мне навстречу.

— Простите, мы где-то виделись.

— В Сталинграде? Под Орлом? Нет? Под Торопцом? Под Великими Луками? — начал я перечислять, старательно вглядываясь в открытое, очень знакомое лицо офицера.

— Постойте, постойте! Под Калинином — вот где! Вы Полевой? Да?

— А вы Вилюга? Батюшки мои!.. Помнишь Чернево? Снег под самую крышу и волчьи следы на дороге?

Так встретил я здесь своего старого друга — офицера оперативного отдела подполковника Вилюгу, осторожного, умного, вдумчивого белоруса, снабжающего и здесь журналистов оперативной информацией. Мы вспомнили общих знакомых, вздохнули об убитых и умолчали о том, что оба мы за эти годы поизносились и постарели.

Да, время идет.

У ГЕНЕРАЛА И. С. КОНЕВА

Смыв с себя дорожную пыль, побрившись и приодевшись, я позвонил адъютанту командующего и через него попросил разрешения прибыть на прием к генералу армии И. С. Коневу. Через минуту адъютант ответил:

— Командующий просит вас зайти в четырнадцать ноль-ноль.

Зная генерала, точность которого вошла у него в штабе в поговорку, я на всякий случай сверил с адъютантом часы. За пару минут до назначенного срока был на крыльце квартиры командующего.

Небольшая хата отличалась от других разве что железной крышей. Она была в переулке, в глубине фруктового сада, отгороженная от улицы старыми яблонями, отягощенными большими наливающимися плодами. Мой старый знакомый, маленький кудрявый майор Александр Соломахин, взглянув на часы, сказал: «Еще минута». Чуть подождав, он скрылся за дверью и тотчас же вышел.

— Войдите. Командующий ждет.

Командующий поднялся из-за стола и крепко пожал руку своей большой, сильной рукой.

— Приехали? Ну здравствуйте. Сколько не видались? С год? Правильно. С самого Ржева, что ли?

Я напомнил деревушку Холм, собственно, не деревушку, а ряд огромных земляных нор, вкопанных в берег оврага на месте, где когда-то была деревушка. Тут, километрах в трех от передовой, в зоне вражеского артиллерийского огня командующий поместил тогда свою оперативную группу.

— Да, помню. Тяжелые были бои,— подтвердил он.— Ну а вы сейчас из-за Орла? Читал ваши статьи... Интересная была операция... Ну рассказывайте, что нового в Москве?

Это был знакомый вопрос, который любой встречен-

ный на фронте человек адресует приехавшему из столицы.

Зазвонил телефон, командующий взял трубку. Его басовитый, с хрипотцой голос звучал, как всегда, ровно, спокойно. Я огляделся.

Рабочий кабинет генерала Конева — это просторная комната обычной крестьянской хаты. На стенах вперемежку со старинными выгоревшими олеографиями стайками висели фотографии родственников хозяев. В углу, обрамленные рушниками с затейливой вышивкой, старые иконы в фольговых ризах, с заткнутой за них уже посеревшей вербой. Все это, как всегда у Конева, осталось таким, как было у хозяев, подчеркивая тем самым временность бивачного жилья.

В комнате самый строгий порядок. Раскладной стол, как скатертью, накрыт картой, исчерченной синим и красным карандашами. Сбоку лежал телефон в кожаном футляре и другой, белый, блещущий полировкой и никелем, по которому генерал связывался со Ставкой и с командармами. Тут же с правой руки пачка остро отточенных карандашей, большая лупа и роговые очки — ничего лишнего, что не нужно для работы.

Два складных походных стула для посетителей. Деревянная полочка в углу, а на ней книги, иные пухлые, иные с закладками. Я успел различить свежие военные и литературные журналы, русско-немецкий словарь. Толстый том генерала Драгомирова — о Суворове, который я и начал листать, чтобы не мешать разговору.

Дверь налево ведет в личную комнату командующего. Она открыта, и можно видеть его жилище, обставленное с тем же солдатским аскетизмом. Узкая койка, застланная грубым госпитальным одеялом. Возле, на стуле, пепельница, папиросы, раскрытая книжка. В углу небольшой обеденный столик и тумбочка с радиоприемником — единственной дорогой вещью в этом жилье генерала-солдата, известного своей суровостью, непреклонностью, требовательностью к подчиненным и прежде всего к себе.

За год командующий почти не изменился. Он все такой же весь и внутренне и внешне собранный.

Давно, еще со времен подавления Кронштадтского мятежа, он дружит с Александром Фадеевым, с которым они вместе как делегаты X партийного съезда ходили на подавление эсеровского восстания. Фадеев мне много рассказывал о нем. Самородок. Крестьянский парень,

вернувшийся с первой мировой войны фейерверкером. Организатор первой партийной ячейки в своем уезде. Уездный военный комиссар, направленный в свое время М. В. Фрунзе вместе с организованным им большевистским отрядом на подавление кулацких восстаний, комиссар легендарного бронепоезда-102, действовавшего на Дальнем Востоке. И наконец, комиссар штаба Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Потом, уже в зрелом возрасте, он получил военное образование в Академии имени Фрунзе. «Хотите видеть образец советского военного профессионала — смотрите на своего командующего»,— говорил нам на Калининском фронте Фадеев об этом своем давнем друге. «Военная косточка.— И уточнял: — Советская военная косточка».

Да, с дней нашего летнего наступления под Ржевом командующий мало изменился. Его скуластое лицо лишь загорело и обветрилось. Узкие голубые глаза смотрят проницательно, твердо. Хрипловатый голос так же властен и спокоен. Только вот разве седины в светлых и мягких волосах да морщинок вокруг глаз прибавил этот трудный военный год.

Наконец командующий положил трубку. Взял лупу, что-то пристально рассмотрел на карте и привычным движением остро отточенного карандаша слегка удлинил красную стрелку.

— Ну мы тут, как вы знаете, тоже немного повоевали...

И просто, образно рассказал о наступлении у Белгорода, отдельными характерными чертами проиллюстрировал развитие операции до сегодняшнего дня.

Говорит он короткими фразами. Часто они звучат как военные афоризмы:

«Неожиданность — половина удачи», «Хитрый в бою и сильного пересилит», «Обстрелянный боец десяти новобранцев стоит», «В лоб только дурака бьют, да и то с испугу», «Рубить — так с плеча, на полувзмахе не останавливаться».

Рассказывая о новой решающей фазе харьковской операции, он определил ее так:

— Сейчас мы их взяли за горло и душим так, что они хрипят.

Он показал на карте, как силы взаимодействующих фронтов зажали Харьков в широкие клещи и как войска, наступающие теперь на город с севера и с юга, сво-

дят эти клещи. Сейчас остались у противника только пути на Мерефу и Люботин, и те находятся под обстрелом артиллерии. Это действительно походило на богатырские пальцы, сжимавшие горло. Противник бешено контратакует, стараясь разжать эти пальцы. Контратакует и задыхается.

Командующий посмотрел на часы и прервал беседу.

— Соломахин! — крикнул он адъютанту.— Приготовить карту и машины. Сейчас едем...

Заканчивал беседу он, уже собираясь в дорогу.

— Сейчас война сложная. Все роды войск взаимодействуют в каждой серьезной операции. Война моторов, война широкого быстрого маневра. Война стратегической науки. В ней надо разбираться, вдумываться в нее надо,— говорил он, влезая в дорожный комбинезон.— Тут один ваш собрат-корреспондент, не скажу уж в какой газете, написал на днях об одном бое,— дескать, правый фланг наступал справа, левый заходил слева, а фронтальная группа била в лоб... Оперативники мои потешались... Военный корреспондент на войне должен быть прежде всего военным, а не штатским созерцателем, вроде Пьера Безухова. Такие мудрецы только газеты свои смешат перед солдатами. Для того чтобы быть сейчас настоящим военным корреспондентом, нужно уметь все видеть — раз, знать — два, думать — три. Обязательно думать.

Командующий надел фуражку.

— Желаю успеха.

УКРАИНСКИЕ КОЛЛЕГИ

Когда я возвращался по улице, в обгон стремительно, на бешеной скорости пронеслись две машины. Командующий фронтом уехал туда, где враг, задыхаясь, пытался разжать клещи и где решалась судьба Харькова.

Мой напарник по «Правде», фотокорреспондент с многозначительной фамилией Рюмкин, впрочем известный на украинских фронтах среди офицеров просто как «Яшка с «лейкой», сам с Украины. Харьков — город, в котором он вырос и работал. Вероятно, поэтому, прибыв сюда, я вижу всюду, у разных штабных хат, следы стертых шин его старенького «газика». Но самого Рюмкина удалось увидеть лишь поздно вечером.

Уже в сумерки он появляется наконец, зеленый, мохнатый от пыли. После бурных лобызаний, при которых часть пыли перекочевывает на мои щеки, он прямо из котелка выхлебывает наш переперченный борщ. При этом из его набитого хлебом рта не перестают вырываться разные фронтовые новости.

— ...Между прочим, отбили знаменитую детскую колонию, о которой писал Антон Макаренко. Ого! Колония! Целый городок. Фабрика ФЭД, между прочим, при ней. Аппараты там делали... Аппаратов, конечно, и следа не осталось. Но немцев возле колонии набито видимо-невидимо. Сфотографировал. И еще в другом месте танки подбитые снял. Много. Штук пять в кадре. Вот если бы смонтировать танки и трупы, получился бы снимочек... Но разве у нас позволят?

В потоке исторгнутых им новостей есть и такая. В соседней деревне, оказывается, ждут освобождения Харькова известные украинские писатели Микола Бажан, Юрий Яновский, Максим Рыльский, Павло Тычина.

— Даже Александр Петрович Довженко,— сообщает Рюмкин, большой любитель ошеломлять слушателей новостями.— Говорят, у них горилка есть. Ух, какую тут горилку жинки из буряков гонят... Ведь действительно горит, подлая.

Горилка, вероятно, напиток достойный. О ней еще у Гоголя читано. Но заинтересовывает другое: цвет украинской литературы. Как будет здорово в день освобождения Харькова передать в «Правду» их статьи, стихи или очерки.

Немедленно гоним в соседнюю деревню. Я ведь еще провинциал. Знаменитых этих людей знаю лишь по их книгам. Но, по словам Рюмкина, все это его друзья, «гарные хлопцы» и вообще «Правде» не откажут.

И действительно, сразу оказываемся в очень интеллигентной компании доброжелательных, интересных людей. Готового, конечно, ни у кого нет. Откуда же? Все мысли заняты Харьковом. Но как только город освободят, все будет — и стихи будут, и статьи будут, и очерки будут. Ах, как я понимаю всех этих славных писателей! Долгие месяцы провели они вдали от родной Украины, довольствуясь глухими вестями, доносившимися до них,— жуткими, страшными вестями.

— Словом, договорились: в день, когда Харьков будет взят, приезжайте вечером к нам. Все будет,— обе-

щает Микола Платонович Бажан, на котором военная форма и даже полковничьи погоны сидят как-то глубоко по-штатски.

— У Александра Петровича Довженко пьеса есть,— таинственно сообщает Рюмкин.— «Украина в огне» называется. Упроси его почитать. Он лихо читает.

Но чтение пьесы тоже откладывается «до после Харькова».

Новые знакомства оказываются такими интересными, что о горилке как-то само собой забылось. Этого Рюмкин не может себе простить и шумно казнит себя до самых наших Малых Проходов, которые у засидевшихся здесь «в ожидании Харькова» корреспондентов уже носят однозвучное, но иное, более содержательное название.

НАКАНУНЕ

Ночью подполковник Вилюга рассказал, что положение под Харьковом острое. Командующий фронтом решил брать город обходным маневром. Харьков обложен с трех сторон. У врага осталась небольшая отдушина, но сейчас он подвел сюда несколько танковых дивизий, усиленных артиллерийскими полками, и непрерывно контратакует наши головные части, составляющие острие клещей, а авиация бомбит наши боевые порядки. Я подумал про себя — это как раз тот участок, на который поехал командующий.

Привели новую партию пленных.

— О, это не те пленные, каких с трудом удавалось брать год назад в дни решительных боев за Ржев,— рассказывает подполковник.— Из тех, бывало, пока слово вытянешь, несколько потов сойдет. Эти словоохотливы. Успевай только записывать. Все они, между прочим, твердят, что дней десяток назад в Харькове побывал Адольф Гитлер. Говорил будто бы с высшими офицерами, требовал умереть, но Харьков не сдавать.

Интересная новость! Впрочем, скорее слух...

— Может быть, хочешь сам поговорить с пленными? — спросил подполковник.

— Разумеется, было бы интересно.

И вот мы в маленькой хатке, в бывшем жилище церковного сторожа. Передо мной на стуле, засунув

пилотку за погон и положив на колени руки,— огромный, неврастенического вида ефрейтор-эсэсовец.

Лающим, срывающимся голосом он говорит:

— После Белгорода мне стало ясно, что победить мы можем только чудом, а я верю в артиллерию, танки, самолеты, но не в чудеса. Фюрер был в Харькове и говорил: «Харьков — замок, запирающий украинские земли. Умрите, но сохраните этот замок замкнутым». Так передавали нам офицеры. У нас еще немало дураков, но я после этой белгородской передряги подумал, что меня наверняка убьют... «Ценой своих жизней сохраним этот замóк». А если его вышибут вместе с дверью?.. Хватит! Я рад, что вышел из игры, в которой для нас, кажется, каждый номер пустышка.

Его дивизия «Адольф Гитлер» была сильно потрепана еще в боях на Калининском фронте, в дни летних боев за Ржев. Именно из этой дивизии был пленный мародер в брезентовых веригах, набитых золотыми коронками, содранными с чьих-то зубов, которого мы с Фадеевым видели на Калининском фронте. Значит, они сунули эту дивизию теперь сюда. Значит, дела у них неважны.

Потом приходит затянутый, точно запеленатый, в скрипучие ремни командир батальона гренадерского мотополка. Он сын генерал-майора, профессиональный военный и держится с достоинством.

— Я не политик, но как военный отлично понимаю значение Харькова. Харьков — это безопасность Донбасса; Харьков — это Левобережная Украина. Есть приказ генерал-полковника Гота удержать Харьков любой ценой. Есть сильные части, техника, укрепления. Мы имеем приказ драться за Харьков до последней возможности.

— И вы думаете, вам удастся его удержать?

— Ну это трудно сказать. Наша беда в том, что по дороге от Белгорода наши части заразились грибком неверия, а в таких условиях трудно поднять боевой дух. Я все же думаю, что нашему командованию это удастся сделать.

Дальше он рассказывает, что за спиной войск выставляется заслон из подтянутых из тыла эсэсовских частей, что у солдат отбирают «расписки стойкости», то есть каждого солдата заставляют расписаться в том, что если он отступит без приказа командира, то этим самым он изменяет присяге. На обратной стороне этой расписки солдат

обязан записать адреса и имена своих ближайших родственников. И это знакомо нам по Великим Лукам.

Был ли в Харькове Адольф Гитлер, пленный не знает. То есть не видел его. Но об этом говорят. Приказ об обороне Харькова за подписью Гитлера читали в частях.

Все это, конечно, мало поможет, но красноречиво свидетельствует о том, что противник решил держаться в Харькове твердо и что бои предстоят жестокие.

Под вечер отправил на телеграф две корреспонденции. Надо хорошенько выспаться. Скоро, верно, будет не до сна...

Долго и нетерпеливо звонит телефон. Вскакиваю. Хватаю трубку. Тенорок Вилюги предупреждает:

— Торопись, майор, пора ехать...

Это значит, что исхода битвы за Харьков надо ждать в ближайшие часы. И вот, выбравшись по большаку на асфальтированное шоссе Москва — Харьков, мы осторожно едем в сгущающихся сумерках. Чем темнее становится, тем ярче разгорается багровое зарево, разлившееся уже на половину неба. Оно как бы наплывает на нас, зловещее, тяжелое. В свете его и асфальт дороги, и деревья пригородных парков, и развалины дачных домиков кажутся облитыми кровью.

В нескольких километрах от города регулировщик заставляет нас свернуть на боковую дорогу. Извиваясь в кустах, она приводит машину... на кладбище. Здесь, в непосредственной близости от передовых, наблюдательный пункт командира той дивизии, которая сейчас ближе всех подошла к Харькову и уже зацепилась за его окраину.

Всю ночь мы сидим у могил, слушая нарастающий шум боя и наблюдая сквозь резные листья акаций, как пылает огромный город. Наши батареи стоят где-то сзади. Снаряды со свистящим шелестом летят в вышине. Изредка мины шлепаются среди могил, но никто не поворачивает даже головы. Все внимание поглощено пылающим городом и звуками боя, которые, как кажется, нарастают и крепнут по мере приближения рассвета.

Иногда оттуда, из гремящей тьмы, выскакивает мотоциклист. Он прыгает с машины, подбегает к командиру и протягивает пакет с донесениями из наступающих полков. Начальник штаба, разложив свои карты на большой мраморной плите, красным карандашом заштриховывает на плане города отвоеванные кварталы.

Командир, седой, с суровым, энергичным лицом ста-

рого русского воина, перечеркнутым по лбу и по щеке несколькими шрамами, коротко объяснял по карте обстановку:

— Противнику не удалось разжать концы наших клещей. Днем мы еще больше сдвинули их. Видите, здесь они почти смыкаются. Последняя дорога под минометным обстрелом. У него два выхода — уходить или драться в окружении. Они, кажется, начинают уходить. Сейчас получен приказ командующего — штурмовать город с трех сторон. Мы штурмуем с севера и, надеюсь, первыми войдем в Харьков.

Ночь медленно тянется в грохоте канонады, багровая от зарева, пронзаемая огнями вспышек. Начинает рассветать. Зарево меркнет и теряет свои зловещие тона. Сквозь резную ограду кладбища становится видна окраина, окутанная черным дымом пожарищ. В дыму мелькают багровые искры шрапнельных взрывов. Город горит в десятках мест. Отсюда, с высотки, ощетинившейся крестами и пирамидками, отлично видно, как взлетают смерчи кирпичной пыли и, рассыпаясь, рушится какой-нибудь дом.

Хочется скорее туда, в Харьков. Но не пускают: рано. Наконец, когда начальник штаба заштриховал на своей карте городской центр и бой перекинулся на южную окраину, командир говорит:

— Ну теперь в добрый путь! Желаю удачи! Осторожнее только, там еще горячо...

В ХАРЬКОВЕ

Петрович недоволен. Мы слишком долго засиделись у излишне осторожного комдива, не выпускавшего нас.

— К чему поперлись в дивизионный штаб? Ехали бы в полк или прямо в батальон. Впервой, что ли! — ворчит он.

Моросит мелкий дождь. Сквозь его шевелящуюся кисею мы видим стоящую у обочины «эмку», прихромнувшую на спущенное колесо. Водитель возится с баллоном. На подножке «эмки» стоит пишущая машинка. Перед ней на двух кирпичах сидит коренастый человек в полувоенной гимнастерке с расстегнутым воротом. Не обращая ни на что внимания, он что-то печатает...

Крушинский! Ну да, Сергей Крушинский из «Комсомольской правды». Он поворачивает к нам свое широкое

лицо, почти зеленое и мохнатое от покрывающей его пыли, и спокойно, как будто мы встретились на лестнице редакции, говорит:

— А, здравствуйте... Вы куда?

— В Харьков.

— А я из Харькова. Доехал почти до Дома промышленности. Дальше нельзя. Да вот черт — баллон прокололи... Как там, связь есть?

Узнав, что провода военного телеграфа исправили, он отворачивается и продолжает печатать...

— Вот как люди-то работают. Мы еще будем в городе колбаситься, а он корреспонденцию передаст,— брюзжит Петрович, который терпеть не может уступать дорогу и первенство в любом деле.— А теперь вот тащись, как за покойником.

Где-то у самого въезда в город навстречу нам несется во весь опор допотопный «газик», построенный на заре советского автомобилестроения и напоминающий почему-то мальчишку в засученных штанах.

В этом «газике», опустив ремешок фуражки под подбородок, чтобы не содрало ветром, сидит... конечно же, Рюмкин. Должно быть, не разглядев нас, он проносится мимо и исчезает в клубах пыли, поднятой танковой колонной.

— Люди с базара, а мы на базар,— ворчит Петрович.

Впрочем, дело тут, как мне кажется, не только в корреспондентской чести, но и в кое-каких меркантильных надеждах по части бензина, канистр и запасных частей. Большой город — большие трофеи.

Мы едем в колонне машин мотопехоты, которая устремляется к Холодной Горе, где сейчас идет бой. Снаряды еще рвутся на улицах, но уже редко. Видно, как наши бомбардировщики плотным строем, несколькими волнами, проходят над городом и пикируют на немецкие артиллерийские позиции на холме. Обстрел почти прекращается. Авиация, должно быть, накрыла батареи.

Петрович, с которым мы въезжаем уже в двенадцатый по счету освобожденный город, дает полный газ. Обгоняем военные грузовики, колонны пехотинцев, пушки, танки.

Здравствуй, многострадальный Харьков! Мы помним тебя таким, каким ты был до войны: жизнерадостным, красивым, гостеприимным. Жизнь твоя била ключом. Твоими гигантскими заводами гордилась страна.

А теперь! Мы едем по улицам, и сердце холодеет. Лучшие здания сожжены, взорваны, обезображены. Целые кварталы смотрят мертвыми глазницами пустых окон. Вот площадь Дзержинского. Это была одна из самых красивых и просторных площадей в мире. А теперь ее архитектурный ансамбль превращен в каменный пустырь. Выгоревшие коробки огромного шестнадцатиэтажного здания просвечивают, как кружева.

Обычно, въехав в только что занятый город, мы ищем в толпе встречающих какого-нибудь почтенного старожила, сажаем его в машину и с ним продолжаем путь. На этот раз долго не удается подыскать такого человека. Бой еще гремит на заводской окраине, и жители не появляются на улицах.

Наконец среди бесстрашных энтузиастов, которые по своей инициативе чинят мост в центре города, нам удается найти подходящего человека — Василия Мусиевича Кочета, сына харьковского профессора, до войны преподававшего в технологическом институте, а в дни оккупации добывавшего себе средства к существованию... изготовлением спичек.

Василий Мусиевич последние пятнадцать дней просидел в погребе, прячась от полевых жандармов, которые, рыская по городу, ловили мужчин, чтобы угнать их в Германию. Он еще не видел свой город после последнего погрома и теперь печально рассматривает его свежие раны. Всюду следы самых бессмысленных разрушений.

На Университетской горке, где были сосредоточены научные учреждения, не сохранилось ни одного целого здания. Двери Музея имени Шевченко выбиты. На лестницах и в коридорах — затоптанные сапогами обрывки рукописей, черепки уникальных сосудов, обломки исторической мебели. Ветер крутит вместе с пеплом какие-то бумаги — быть может, рукописи и документы великого украинца, хранившиеся тут как реликвии.

Едкий дым еще окутывает здание городской библиотеки и валит из окон ее правого крыла. Какие-то люди под руководством маленькой, худенькой старушки в пенсне и рослого сержанта отстаивают здание от пожара.

Разграблен Музей украинской культуры имени Сковороды. Правда, наиболее ценные вещи музейным работникам удалось припрятать и сохранить. Но немногое. Музейный сторож, обитающий в здании, рассказывает нам, как живший во флигеле фашистский офицер упаковывал

свои посылки в гобелены, как его денщик рвал на портянки образцы чудесных украинских вышивок и,ставя самовар, колол лучину саблей времен Богдана Хмельницкого.

Страшный слух, уже переданный нам Кочетом, приводит нас к зданиям, где в дни нашего первого вступления в Харьков был госпиталь. Сейчас это место пустынно. Черные, закопченные стены мрачно обступают заросший травой двор. Фашисты никого сюда не пускали, и эти коробки еще хранят следы злодеяния, совершенного здесь десять месяцев назад. Обгоревшие двери подперты снаружи колом. Ставни, прикрывавшие окна нижних этажей, сгорели, остались лишь железные засовы. В грудах шлака и угля железные койки, и среди них обугленные кости. Иные хранят на себе следы гипсовых повязок. У самой лестницы скелет с загипсованными плечами.

Когда фашисты вторично заняли Харьков, людей из госпиталя не удалось вывезти. Остались сотни тяжело раненных бойцов. Врачи остались при них. И вот ночью эсэсовцы оцепили госпиталь. Вооруженные автоматами, они заперли окна, двери и подожгли корпуса. Раненые сгорели. Тех, кто пытался спастись, прыгая из окон, пристреливали. Тут же в садике были вырыты ямы, в которые и зарыли их трупы.

— Вот здесь,— говорит нам медсестра Клавдия Душкина, оставшаяся в живых свидетельница этого преступления, показывая на ровную, посыпанную песочком волейбольную площадку, над которой висит прорванная сетка, а затем на клумбу, где цветет свернувший свои белые венчики душистый табак.— И вот здесь. Они потом засыпали это место и, чтобы его не нашли, поставили столбы с сеткой и цветы посадили.

Действительно, земля на волейбольной площадке непрочная, легко оседает под ногой, а к тягучему запаху цветов, заглушая его, примешивается тяжелый, удушливый, знакомый каждому солдату запах. Наш проводник отходит в сторонку, опирается головой в забор, плечи его начинают судорожно вздрагивать, и мы поскорее уводим его с этого страшного места.

Солнце уже поднялось высоко над старыми кленами Сумской улицы. Пустые окна серой громады Дома промышленности пронзаются насквозь золотыми лучами.

Бой перешел на юг, за Холодную Гору. Обстрел горо-

да прекратился. Население высыпало на тротуары, Люди ненасытно смотрят на небритых, еще не смывших с себя копоть боя солдат, на усталых, счастливо улыбающихся офицеров, шагающих во главе подразделений. На углу женщина обнимает танкиста в черном ребристом шлеме. Девушка в беленькой кофточке сбегает с тротуара на мостовую, по которой идет рота красноармейцев, и бежит вслед за ней, раздавая бойцам помидоры. На стенах кое-где уже появились бог весть как и кем сохраненные красные флаги. Человек в толстовке, забравшись на табурет, путая от волнения украинский и русский языки, пишет на стене дома красной краской: «Хай живе Червоная Армия, освободившая Харьков!»

А по улицам, по бульварам бесконечной, непрерывной чередой тянутся автоколонны артиллерийских полков, шагает пехота, тракторы тащат огромные пушки большой мощности, и насмерть усталые солдаты в темных от пота гимнастерках и разбитых сапогах, шагая в колоннах, улыбаются широко и счастливо...

Чтобы поскорее передать материал в Москву, диктую телеграфистке прямо из блокнота. Это не первая корреспонденция из Харькова, проходящая по военному проводу, и все же свободные бодистки, и начальник смены, и дежурные техники, и контролеры вслушиваются в каждое слово. А когда на несколько минут связь прерывается и, восстанавливая ее, техники, как здесь говорят, начинают «гонять точки», меня атакуют:

— Сильно ли пострадал Харьков?

— Есть ли жители? Как они выглядят?

— Много ли трупов на улицах?

Два техника из соседней аппаратной — харьковчане, дотошно выспрашивают, цел ли дом на такой-то улице, не вырублены ли клены около университета.

Я с мольбой поднимаю руки.

Но связь с Москвой налажена, и я продолжаю диктовать под треск аппаратов, под шум разговоров, с удовольствием замечая, что так легко мне никогда еще не писалось, вернее, не диктовалось.

До встречи с харьковчанами, которых обещал нам вчера собрать к себе Василий Мусиевич Кочет, мы заехали в Университетский городок, некогда самый живой и

веселый район города. Сейчас он мертв и пуст. Оставшиеся дома молча смотрят пустыми окнами на безлюдную улицу. До памятника Василию Каразину мы не встретили ни души. Только войдя в университетский двор, теперь густо заросший травой, мы во флигельке с трудом отыскали живого человека — университетского служителя Платона Даниловича Банько.

Уразумев, кто мы, он молча повел нас через дворик мимо сожженного корпуса во внутреннее сохранившееся здание. Рывком отворил дверь с какой-то сделанной мелом немецкой надписью, еще дверь, внутреннюю, и из затхлой тьмы в нос ударил острый и кислый запах запущенного свинарника.

В просторных залах с окнами, забитыми досками, действительно был свинарник. На паркетном полу еще лежит мокрая солома и свиной кал, валяется опрокинутая кормушка, стоит чан с прокисшими помоями, источающими отвратительный запах.

— Они откармливали тут каких-то боровков для военной части, а помои сюда возили из ресторанов,— поясняет Платон Данилович и добавляет: — В храм науки!

Пояснять нечего. Свинарник, устроенный в университетской аудитории, говорит сам за себя.

С легкой руки основателя Харьковского университета Василия Каразина, памятник которому стоит сейчас перед сожженным зданием, Харьков более ста лет назад стал крупным университетским центром и одним из мест сосредоточения украинской культуры. После революции рост культурных учреждений пошел особенно бурно, и перед войной в городе было много высших учебных заведений, работали научно-исследовательские институты, десятки техникумов, средних школ, сотни самых разнообразных культурных учреждений, вокруг которых группировались многочисленные кадры интеллигенции.

Большинство работников умственного труда в дни второго немецкого наступления эвакуировались в тыл вместе со своими учреждениями и предприятиями. Но было немало таких, кто почему-либо не успел сделать это, и для них с оккупацией города началась жизнь, которую один видный харьковский хирург на беседе у Кочета назвал «мучительным бредом».

Да, действительно, жизнь походила на бред.

Вот что рассказали мне сегодня люди, с которыми я встретился на квартире Кочета.

С первых же дней своего вступления в Харьков фашисты цинично заявили, что русские и украинцы не настоящие люди, что это люди второго сорта, это «остменшен», которым уготована роль сельскохозяйственных рабочих Германии. А батракам нового порядка науки ни к чему. Для того чтобы сажать брюкву, не нужно знать высшую математику и астрономию.

Высшие учебные заведения, институты, техникумы были закрыты. В научно-исследовательские институты были назначены так называемые «зондерфюреры», которым положено было в дальнейшем направлять научную работу.

Один такой «зондерфюрер» начал свою деятельность в химическом институте с того, что повелел снести в одно место микроскоп, аналитические весы, спектроскопы и другие оставшиеся приборы и расставить их вдоль стен, а потом развлекался тем, что подряд расстреливал эти приборы из парабеллума. Он называл это «уничтожением большевистской культуры».

Некоторые «зондерфюреры» оказались более практичными людьми. Один из них, используя оставшиеся в Харьковском институте прикладной химии ступки и лабораторные мельницы, организовал там... мукомольное производство и молол муку для офицерских посылок в Германию. Другой наладил производство спичек, клопомора, расфасовку зубного порошка. В химико-технологическом институте в институтских сушильных шкафах даже пеклись какие-то коврижки для солдатских кафе. И наконец, в Украинском физико-техническом институте, прогремевшем на весь мир своими работами по расщеплению атомного ядра, изготовляли гуталин, штамповали солдатские пуговицы и тайно гнали самогон, который «зондерфюрер» не без выгоды сбывал через подставных людей из-под полы на местном базаре.

Но в основном все эти «зондерфюреры» занимались тем, что забирали все, что не удалось вовремя эвакуировать, запаковывали в ящики и отправляли в Германию.

Двери культурных учреждений были забиты. Тысячи людей оказались в буквальном смысле слова на улице, без всяких средств к существованию, даже без надежды получить хоть какую-нибудь работу. Началась трагедия интеллигенции, продолжавшаяся почти два года и привед-

шая к тому, что люди умственного труда начали вымирать в прямом, буквальном смысле слова.

Мне рассказывали сегодня, что особенно страшен был Харьков в первую зиму немецкого хозяйничанья, когда на заметенных снегом улицах находили замерзшие трупы. Умер с голоду известный харьковский врач Н., погибли инженеры Р., П., В., О. Вымерла вся семья профессора Н. На улице, у подъезда своего дома, замерз инженер-химик Д., один из знатных людей города. Он был так истощен, что не смог взобраться на три ступеньки.

— Но смерть от голода была, пожалуй, не самым плохим исходом,— рассказывает нам за столом Василий Мусиевич.— Умершему не надо ни есть, ни пить, он может не бояться, что за какую-нибудь провинность против правил штадткомендатуры он будет арестован, избит или отправлен в Германию.

Это не фраза. Люди, десятки лет посвятившие науке, искусству, организации промышленности, технологии, медицине, добывали средства к существованию самыми странными способами.

Архитектор-художник К., хорошо известный харьковчанам и москвичам, вынужден был... малевать вывески.

Старейший харьковский архитектор, профессор П. делал таблички с обозначением номеров домов. Скульптор М. работала в качестве пуцфрау (уборщицы).

Старые инженеры Г. и С. на ручных тележках развозили овощи по солдатским кафе. Кандидат наук, доцент химического института продавал средство против блох и клопов.

Престарелая актриса Р. мыла посуду в солдатском кафе, а известная в библиотечном мире Н. продавала прохладительные напитки. Инженер-технолог З. был носильщиком на вокзале.

Многие известные деятели культуры, продав все, что можно было продать, впадали в настоящее нищенство и, не желая служить врагу, добывали себе средства к существованию, прося милостыню на базарах. Так, инженер-химик Г., автор многих научных работ, с утра занимал место у рыбных рядов. Кандидат технических наук С. побирался на вокзале и, говорят, умер от голода. Начальник лаборатории одного из заводов З., у которого отнялись ноги, ездил по улицам на деревянной тележке и просил подаяние.

«ОСТМЕНШЕН»

Сегодня день интересных встреч.

Ведь Харьков — первый украинский город, освобожденный нашими войсками. Более двух лет, с коротким перерывом, он был под нацистским игом. На примере Харькова можно видеть, что несет жителям оккупированных стран пресловутый «новый порядок», в который, по словам немецкой печати, была включена Украина.

Заборы, афишные тумбы, стены в Харькове заклеены цветистыми крикливыми плакатами, в которых на все лады изображается и рассказывается, как хорошо живется тем, кто был отправлен в Германию. Плакаты самодовольные, но безграмотные и наивные до глупости. Надо видеть, с какой яростью срывают их харьковчане, смывают, отскребывают даже и следы.

Чтобы понять эту ярость, надо знать, что у многих семей один-двое близких в Германии. Инженер Ф., сам перенесший ужасы фашистской каторги, дал несколько адресов людей, вместе с ним вернувшихся из Германии. Они жили в городе, в районе заводов, и я решил сегодня же с ними повидаться.

Я попрощался со своими новыми знакомыми, и мы поехали.

Район заводов некогда был самым оживленным. Здесь городом внутри города располагался гигантский Харьковский тракторный завод — младший брат знаменитого Сталинградского, превосходивший его по размерам и мощности.

А возле этого гиганта выросли десятки средних и сотни мелких предприятий. Сейчас этот район мертв. Ни одного дымка не поднималось над ним. Около часа мы колесили по заводским дворам, видя все одну и ту же унылую картину: огромные серо-красные груды битого кирпича и взорванного бетона, из которого торчали согнутые, свернутые в штопор, оборванные железные балки. Собственно, это гигантская каменоломня, в которой трудно угадать, где кончалось одно здание и начиналось другое.

В довершение всего район безлюден — за час мы не встретили и десятка людей. И адреса пришлось отыскивать по уличным табличкам, написанным на двух языках: сверху крупно — по-немецки и снизу мелко — по-украински.

Вот здесь мне и пришлось встретиться с тремя харьковчанами, вернувшимися с фашистской каторги, с живыми свидетелями, которые когда-нибудь на будущем процессе фашистских мерзавцев смогут рассказать миру о том, как гитлеровцы мучили и умерщвляли миллионы людей.

Их трое. Всем вместе им едва шестьдесят лет. Но выглядят они как пожилые люди, и у младшей из них, семнадцатилетней Вали К., по-старчески трясется голова, а в волосах поблескивают седые ниточки.

Впрочем, несмотря на это, в поселке Харьковского тракторного завода их все же считают счастливцами: они вырвались, они дома.

Валя вернулась из Германии с искалеченной нервной системой. Рассказывая, она все время плачет тихо и жалобно, как ребенок.

— Вы думаете, я всегда была такой? Я была здоровая, я была физкультурница. Училась в седьмом классе и думала: окончу школу, поеду в Москву, в Институт физкультуры. Правда, мама, она работала бухгалтером на тракторном, почему-то хотела, чтобы я училась в медицинском, но я про себя твердо решила: иду в Инфизкульт. Но тут Харьков оккупировали. Мы не уехали с заводом, болела бабушка, ее нельзя было увезти. Остались. Думали, ничего, как-нибудь перебьемся, а получилось очень, очень плохо. В первую же зиму умерли сначала бабушка, потом мама, потом тетя Груша, потом маленький братик Женя. Я их сама на кладбище отвозила, здоровая еще тогда была. Есть было нечего. Я подумала — все равно умирать и решила: поеду в Германию. Сама и завербовалась. Дура.

Привезли нас в город Франкфурт-на-Майне. Всем щитки такие пришили с надписью «ост». Это значит «остменшен», то есть человек с востока, с которым ни знакомство водить нельзя, ни разговаривать, ни встречаться. Я это все после поняла. Так вот, привезли нас во Франкфурт как раз в воскресенье. Велели всем пообчиститься, приодеться. Потом отвели в особое помещение, там раньше гараж был. Выстроили всех: стойте! Потом пришли немецкие барыни и стали меж нас ходить, выбирать, которая какой по вкусу. Ходят, осматривают, руку пробуют, есть ли мускулы, некоторые в рот рукой залезают, не шатаются ли зубы, нет ли цинги. Я стою и плачу, а меня какой-то фашист сзади по ногам плеткой ударил, говорит

по-русски: «Не плачьте, такую никто не возьмет». Одна девушка, Катя из Полтавы, мы с ней вместе ехали, познакомились в вагоне, когда барыня пальцами ей в рот полезла, не далась: «Я,— говорит,— не лошадь, а человек». Так барыня раскричалась, а потом ее, Катю, избили.

Меня выбрала фрау Гертруда, по фамилии Штейн. Муж у нее служил кем-то в трамвайном управлении, а потом, этой весной, был мобилизован в армию. Фрау Гертруда сколько-то за меня заплатила, что ли, не знаю уж, только приказала идти за собой. Я было пошла рядом, но она рассердилась, раскричалась. Оказывается, рядом с ней я ходить не имею права, а должна идти сзади.

С тех пор я день-деньской была на ногах. Фрау Гертруда только командовала: сделай то-то и то-то. Мне только хлеб давали. Фрау сказала, что я должна питаться тем, что остается от их стола. Я собирала объедки, все, что оставалось на тарелках, и ела. За четырнадцать месяцев, наверное, и четырнадцать раз сыта не была по-настоящему. Но и это не самое страшное, самое страшное, что меня не считали человеком. Хозяйка, чуть что не по ней, хлопала по щеке, да руку-то жалела, а била мухобойкой. Потом, когда на Восточном фронте убили ее брата, а затем старшего сына, она совсем взбесилась. Только и думала, к чему бы придраться. Через два дома от меня жила Катя Г. из Полтавы, о которой я уже говорила. Эта тоже ходила с синяками и однажды убежала. Мы ее больше не видели, а хозяйка сказала мне, что ее поймали на станции и будто отрубили ей голову. Так это или не так, не знаю. Я не знаю, может, она и соврала, чтобы меня попугать, но может быть и так, потому что еще в распределительной конторе нас предупредили, что за побег от хозяина нас будут судить.

Так прожила я у фрау Гертруды год. Потом, когда ее мужа забрали по тотальной мобилизации и написал он, что попал на Восточный фронт и что ему у нас туго приходится, мне житья вовсе не стало. Хозяйка била каждый день. Она завела поросенка и запретила мне даже доедать объедки, остававшиеся от их стола. Я ела только хлеб да варила себе отдельно суп из брюквы. У меня начались головокружения, заболели ноги, расшатались зубы. Врач сказал, что у меня цинга и что я больше не смогу работать. Меня отправили обратно. Возвращалось нас трое. Еще один паренек, заболевший чахоткой и харкавший

кровью, и пожилая женщина из Ковеля, с колтуном на голове. На границе нас отвели к специальному чиновнику, и тот сказал, что мы должны всем рассказывать, что в «третьей империи» жилось нам хорошо и обращались с нами культурно и что, если мы будем говорить правду, нас гестапо найдет и повесит.

У Никифора Б., бывшего строгальщика-стахановца с тракторного завода, участь тоже печальная. Немецкая оккупация застала его в больнице на койке, когда он начал ходить, фронт был уже далеко. В одну из первых облав, которые фашисты периодически устраивали в городе, Б. был пойман, объявлен военнопленным и отправлен на строительство дорог в Верхнюю Силезию. Зиму и лето он прожил в лагере, где узников поселили в фанерных бараках, не укрывавших ни от ветра, ни от холода. Нары были построены вдоль стен в три этажа, и люди спали на них, прижавшись друг к другу. Лагерь был окружен проволокой и рвом, залитым раствором извести для того, чтобы тиф, не прекращавшийся среди обитателей лагеря, не проникал за его пределы. Работали лагерники по семнадцать — восемнадцать часов. На работу ходили под конвоем старых немцев, вооруженных винтовками и палками. Конвоиры, не задумываясь, пускали в ход и то и другое.

— Кое-кто, в особенности в последнее время, не выдерживал, накладывал на себя руки,— рассказывал Никифор.— Однажды у нас один опрокинул тачку и раздробил себе ступню. Его вылечили, но работать он уже не смог, и его отпустили домой, в Одессу. У меня мелькнула мысль: а что, если я, как и он, стану инвалидом, чем работать на фашистской каторге, черт ее побери. И я сунул руку в шестерню камнедробилки. Так мне удалось уйти с немецкой каторги. Видите,— он показывает обезображенную руку,— это мой пропуск домой.

Третья моя собеседница, чернобровая украинка, работница пригородного совхоза «13 лет Октября», Клавдия Даниловна Б. не хочет казаться лучше, чем она есть. Да, она сама пошла в комендатуру. Она поверила этим посулам. Ей и ее матери тогда казалось, что в культурной стране девушка сможет неплохо заработать и устроить свою судьбу, тем более что в оккупированном Харькове нечего было есть. Так она и сказала в комендатуре.

Но ее там почему-то задержали. Не отпустили даже домой. Потом с транспортом таких же, как и она, ее отправили на сельскохозяйственные работы в Восточную

Пруссию, в село Грюн, что близ Кенигсберга. Ее передали в распоряжение бауэра, который поставлял сельскохозяйственные продукты сверх плана. Вместе с Клавой Б. у него работали две украинки из Днепропетровска, Галя и Тося, и белоруска Женя. Бауэр и его жена с первого же дня заявили девушкам, чтобы они выкинули из головы, что есть слова: «не хочу», «не могу», «нет», что хозяева вольны в их жизни и смерти, что правительство на стороне хозяев и что от «ост» велено требовать абсолютного повиновения.

Девушек разместили в пустовавшем скотном дворе. При этом «во избежание бунта» им было наказано «жить по разным углам». Фермер запирал их на ночь на замок и сам по нескольку раз появлялся в их помещении посмотреть, не сидят ли они вместе, не ведут ли между собой «подрывные» разговоры.

Таков был их быт. Работать же приходилось по четырнадцать — шестнадцать часов и делать все, что до войны делали работники-мужчины.

— Русские коммунисты не хотят сдаваться и вынуждают моих рабочих воевать с ними, вот вы и отдувайтесь здесь за ваших, которые отвлекают моих людей от их дела. В этом виноваты ваши,— говорил фермер.

На поле фермер появлялся с арапником. В начале каждой работы он давал нормы и предупреждал, что, если они не управятся, он церемониться не будет: когда однажды Клавдия не успела прополоть несколько грядок свеклы и они заросли травой, он сам их прополол, но вечером, собрав всех чад и домочадцев во дворе, приказал Клавдии снять кофту и отстегал ее так, что синие рубцы до сих пор видны у нее на шее. После этого ночью подруги вынули ее из петли. Мысль о том, чтобы покончить с этой каторгой, не выходила у нее из головы. Но бежать было трудно. Перед глазами был живой пример: с соседней фермы бежали девушка Настя и какой-то батрак француз. Фермеры всей округи устроили на них облаву. Спустили охотничьих собак, организовали настоящую травлю и, когда их поймали, набросились на них и избили до полусмерти. Хорошо, что за беглецов заступились сами немецкие батраки. Они пригрозили полицией и отняли девушку и юношу едва живых...

— Там ведь не все такие, как наш хозяин. Он-то наци. Его и свои не любят, боятся. А есть и хорошие, только им не велено с нами разговаривать, боятся. Влетает им за

это. И все-таки одна тамошняя тетка пальтишко мне дала. И доктор был, старик,— он к этой Насте и к французу даром на велосипеде ездил, лечил... Даже лекарства свои давал. Но все они дрожат: гестапо. Оно все знает. У них сын на отца, а отец на сына доносит...

Обманувшись в своих надеждах, Клавдия Б., девушка, добровольно завербовавшаяся в фашистскую Германию, убедилась, что дальше так жить ей невмоготу, и нашла выход, страшный, но освобождавший от неволи. Она опрокинула чан с кипящим свиным пойлом себе на ноги. Сейчас она инвалид, но она дома, на родной советской земле.

Такова судьба трех харьковчан, вырвавшихся живыми из гитлеровского ада.

Никифор Б. некоторое время смотрит на меня вопросительно, как, мол, этот майор отреагирует на слова Клавдии о немцах. Майор записывает. Тогда он добавляет:

— По этим, по нацистам, обо всех немцах судить нельзя... Несправедливо будет. У нас двое стариков конвоиров были. Из фольксштурма. Это военные и не военные, ни то ни се... Добрые дядьки. Со своими из-за нас ругались. Только верно вон Клавдия сказала: боятся они. Ух как боятся...

Много страшного довелось уже повидать на войне.

Кажется, пора бы привыкнуть. А вот не привыкается. Беседа с тремя молодыми харьковчанами снова разбередила душу. Три человека. Три судьбы. А ведь сколько наших еще там! Теперь уж можно не сомневаться, что мы освободим их. Но когда? Сколько им еще мучиться? Сколько их к тому времени уцелеет?

Союзники пока что весьма неторопливо воюют в Африке, застенчиво высадились в Италии. Им спешить некуда. Ждут, пока мы тут вконец измотаем немцев. И воюем-то мы, в сущности, сейчас один на один со всем фашизмом. Где он, второй фронт?.. Третий год войны, а им и не пахнет. Мы миллионы людей потеряли, а Черчилль все еще пришивает последнюю пуговицу к шинели своих солдат. А люди наши там, в Германии, гибнут. Ведь вот подлая какая штука: с пленными союзников иное обращение. Еда. Медицинская помощь. Даже право переписки через Красный Крест. А наши — «ост» — унтерменшен, «недочеловеки». Есть даже у гитлеровцев закон, что солдат, убивший русского, вернее, советского человека — штатского мирного жителя или военнопленного,— ни

перед кем за это не отвечает. «Недочеловеки подлежат истреблению...» Надо же очищать «жизненное пространство» для расы господ...

Словом, с самыми тягостными раздумьями возвращаюсь через Харьков. И вдруг — что такое? Большое, явно театрального типа здание. И толпа. Большая толпа. Что тут происходит? Петрович притормаживает «пегашку». Читаю плакат, написанный наспех: «Фронтовой филиал Театра имени Евг. Вахтангова дает в помещении Театра русской драмы пьесу «Наш корреспондент». И выставлено число — 24 августа.

Харьков еще горит тут и там. По городу ездят похоронные команды — собирают тела убитых... Противник, закрепившись на Холодной Горе, время от времени начинает беспорядочный обстрел улиц... А тут такое... Нет, этого, конечно, нельзя пропустить. Но откуда они взялись здесь, вахтанговцы? Когда успели?

— А это же те, помните, что под Ржевом?..— напоминает шофер.— Ну в сарае у Кошмарихи, помните?..

Ну как же не помнить! Калининский фронт. Лето 1942 года. Страшная непогодь. Размытые дороги. Расстроенное движение. Парализованный подвоз. Тяжелые бои у так называемого Ржевского языка, где противник, атакуя превосходящими силами, стремится расширить этот «язык», а наши из окопов и блиндажей, полных воды, отбивая эти атаки, держат фронт.

Темной промозглой ночью мы с корреспондентом Союзрадио Павлом Ковановым пробираемся на участок деревни Космарихи, которую солдатская молва перекрестила в Кошмариху — столько здесь погибло наших и немцев. За сеткой холодного дождя дрожат холодные огни осветительных ракет. Сквозь шелест воды, хлюпанье грязи с недалекой передовой доносятся очереди автоматов. Деревни нет. Она осталась только на карте. Это две цепи холмиков, заросших бурьяном, да остатки русских печей, торчащие там и тут.

Идем, едва выдергивая из грязи ноги. И вдруг нас пригвоздил к месту такой странный и неожиданный для этих печальных мест звук. Смех. Человеческий смех. Громкий, дружный смех, то вспыхивающий, то затухающий.

Сворачиваем с тропы и тянемся на этот смех. Сарай. Огромная, как говорят в наших, калининских, краях, шоха с замаскированными плащ-палатками воротами. Она

битком набита бойцами, командирами. Сидят прямо на полу, поджав ноги, и так тесно, что не знаешь, как и ступить. Стоят вдоль стен. Как куры насест, обсели потолочные балки. А в конце сарая, на воротах, положенных на ящики из-под снарядов,— сцена, освещенная ацетиленовыми лампами. На ней идет спектакль. Спектакль тут, в этой самой Кошмарихе, в километре от передовой. Смешной, задорный, веселый. Я даже вспомнил название пьесы — «Свадебное путешествие». Немудрящая пьеска. Но по мастерству исполнения, по увлекательности игры ясно — это настоящий театр. Отличный театр.

Спросил шепотом стоявшего впереди меня батальонного комиссара:

— Кто такие? Откуда они у вас?

— Вахтанговцы! Из Москвы. Уже вторую неделю гастролят. Хорошие ребята. С концертами до передовых доходят.— И тут же перебил сам себя: — Тихо... Сейчас самое интересное...

— А вы откуда знаете?

— Третий раз смотрю...

Мы, разумеется, досмотрели этот спектакль, а потом познакомились с актерами — молодыми, веселыми, как только что отштампованные гривеннички. Я писал об их гастролях в «Правду». Но хотя они еще долго ездили потом по нашему фронту, снова встретить их тогда не привелось...

И вот эта афиша в только что освобожденном Харькове. Наверное, они. Конечно, надо бы посмотреть, тем более что аппетиты моего начальника, полковника И. Г. Лазарева, вчера удовлетворены двумя солидными корреспонденциями, стихами Миколы Бажана, Павло Тычины, публицистической статьей Юрия Яновского, и сегодня он меня на провод не позовет.

Но как попасть в театр? Около дверей плотно толпятся военные и штатские. Среди тех, кто не попал, есть старшие офицеры. Как тут проберешься с майорскими погонами?

— Применим хитрость?— спрашивает Петрович, весело посверкивая своими плутовскими глазами. Есть у нас один такой способ проникать на различные фронтовые концерты и киносеансы. У шофера, по званию всего-навсего старшины, внушительная внешность. И отличное пальто из желтого хрома, какие носят на фронте любители покрасоваться из высшего офицерства. Он надевает

это пальто. Чуть опускает на лоб щегольскую свою фуражку с напруженной тульей и входит в толпу так уверенно, что она расступается. Я поспешаю за ним. Так беспрепятственно мы добираемся до дверей, где пожилой капитан проверяет билеты.

Шофер спокойно проходит мимо него и, небрежно показав назад, на меня большим пальцем, внушительно говорит:

— Со мной...

Ну кому придет на ум спросить билеты у этого военного в столь роскошном генеральском пальто, имеющего в адъютантах майора? Капитан, пошарив глазами по пустым плечам кожаного пальто, говорит, извиняясь.

— Только вот с местами... Нет мест. Попробуйте в ложу...

— Найдутся места,— безапелляционно говорит Петрович и снисходительно добавляет: — Благодарю.

Итак, мы в зале, где, конечно, мест не находится. Стоим в нише за колонной. Театр набит, как московский трамвай в часы «пик». Публика необычайно добра. Аплодисментами встречают самые незатейливые остроты. Эти аплодисменты врываются в действие и очень тормозят его. Но ни актеры, ни зрители не в претензии. Для харьковчан это больше чем спектакль. Это символ включения их в советскую действительность после долгого пребывания в фашистской неволе.

В ходе спектакля случается происшествие, чрезвычайно, на мой взгляд, характерное для этих «боевых вахтанговцев», которые, как я слышал, вот уже третий год скитаются по фронтам. Неприятель начинает обстрел. Снаряды рвутся близко. Что там? Может быть, контратака? Даже контрнаступление? Ведь все помнят, что Харьков сдавали дважды. Все гудит, ухает. Сыплются стекла. Штатская публика уже теснится у дверей.

— Эге, это мне перестает нравиться,— констатирует Петрович.— Це треба разжуваты,— добавляет он, ибо успел уже подцепить и взять на вооружение несколько украинских пословиц.

Действительно, в проходах образуются целые водовороты. Офицеров, которые пытаются водворить порядок, этот поток просто смывает.

Но актеры продолжают играть. Действие развертывается как ни в чем не бывало. И это понемножку гипно-

тизирует зрителей. Постепенно отхлынули от дверей. Рассаживаются. Спектакль продолжается под обстрелом.

— Молодцы! — говорит какой-то военный, так же как и я, жмущийся к спасительной колонне.— Выдержка! Я вот все смотрю на ту малышку в кудряшках... Девочка... А хоть бы голос дрогнул.

Мне вспоминается вдруг чье-то романтическое стихотворение. Его любили декламировать в первые послереволюционные годы. Пожар в театре, но оркестр, продолжая играть на пылающей сцене, спасает публику от огня и его последствий... Действительно, молодцы. После спектакля пробираюсь на сцену. Жму руки старым знакомым... Актриса Вероника Васильева, похожая на куколку, должно быть, и есть та «малышка», которой восхищался военный.

— А вы знаете, как я боялась,— по-детски признается она.

Уметь во имя дела подавить свой страх — это, наверное, и есть высшее проявление храбрости.

В отличном настроении возвращаюсь «домой». Нет, право же, стоило побывать в адъютантах у своего шофера и столь бессовестно обмануть комендантские власти.

Цель, несомненно, оправдала средства.

Но, получив неожиданно столь щедрую порцию эстетического наслаждения там, в театре, я прозевал, вернее, полупрозевал другое, не менее интересное.

Когда наша «пегашка» подрулила к знакомой хатке, где гнездятся правдисты, мы увидели возле нее несколько машин, прикрытых бодыльями кукурузы. Что за раут?

Осторожно вошел в хату и уже в сенях услышал характерный, певучий голос Александра Петровича Довженко, который никогда и ни с чьим не спутаешь. Он что-то читал. Читал на разные голоса. И как! Точно бы все время перевоплощался из одной жизни в другую.

Ну да, мы же его приглашали почитать его новую пьесу! Ну кто бы мог подумать, что знаменитый кинорежиссер, фильмами которого я бредил еще в юности своей, окажется таким отзывчивым? Тихонько открываю дверь и останавливаюсь на пороге. В хате полутемно. Александр Петрович сидит у стола, покрытого расшитой скатертью. На столе, под керосиновой лампой, тетрадь. Читает он

порой по памяти, не заглядывая в текст. Читает взволнованно. И все в нем живет — и голос, и руки, и это скуластое вдохновенное лицо, и выпуклые глаза, которые в эту минуту так выразительны!

«Украина в огне» — называется пьеса. В ней и гнев, и боль, и призыв. В ней кипение страстей, столкновение мощных характеров. И для автора все это очень свое, прочувствованное, органическое, не придуманное, не сочиненное, а вырвавшееся из глубины сердца.

Здорово! Очень здорово! Не знаю уж, что там потом напишут строгие критики, ибо порою пути критической мысли неисповедимы, но вижу, как пьеса воспринимается тут вот, в первом чтении, в полутемной хатке.

Взволнованный автор то и дело вытирает глаза. Плачет хозяйка, стоя у печи в извечной позе бабьего горя, подпирая щеку ладонью. Плачет рослая девушка-солдат, забежавшая занести телеграмму да так и застывшая в дверях, завороженная чтением. Откровенно хлюпает носом великий и непобедимый Яков Рюмкин, человек вулканического темперамента, из которого выжать слезы, как кажется, может лишь коллега, «обштопавший» его с каким-нибудь «гениальным» снимком.

Понемногу в хор переживающих втягиваюсь и я.

Сильная пьеса! Что там ни говори. Все мы спешим сообщить об этом автору, взволнованному и растроганному не меньше нас, грешных.

Потом мы выходим с ним на улицу. Лунная ночь. Белеют хатки. Уходят в небо кисточки тополей. Из-за плетней перевешиваются рыжие головы подсолнухов. И такой урожай звезд, что небосклон кажется изрешеченным.

— Так вам пьеса понравилась?

— Очень...

Автор стоит у порога, скрестив руки на груди, в энергичной, скульптурной позе. Ни дать ни взять — монумент. И вдруг говорит:

— Я уже несколько ночей не сплю. Я думаю о космосе. Космос!.. Вы можете представить себе бесконечность?

— Признаюсь, что не могу. Я из мира, где все ограничено, все имеет свое начало и конец.

— А я стараюсь. Кольцо бесконечно. Это просто. Это уразумели еще древние... А вот беспредельность... Давайте помолчим и представим беспредельность...

Стоим молчим. Еще слышна стрельба. Над Харьковом поднимается багровое зарево... Украина еще в огне...

Украина в огне, но Харьков, ее вторая столица, уже свободен. С узла связи принесли телеграмму полковника Лазарева: «Срочно свяжитесь с командующим, добудьте заключительные абзацы к вашей статье об освобождении Харькова. Харькову даем полосу и передовую».

«Срочно свяжитесь!» Легко ему командовать там, в редакции. Вездеходы генерала Конева только что пронеслись по улице мимо наших окон: он возвращался с мжинского рубежа, где сейчас идут яростные бои. Наверное, и умыться не успел с дороги. Но я уже не новичок в «Правде» и знаю, что означают эти «срочно», «немедленно».

Иду и, к удивлению моему, сталкиваюсь с командующим в сенях его хаты. Он возвращается к себе с полотенцем через плечо и с мыльницей в руке.

— Ну заходите, раз пришли,— весело говорит он.— Все. Харьков наш! Так и запишите в своем блокноте. 23 августа 1943 года — день освобождения Харькова... Неплохая операция была, а? Как?

Командующий в приподнятом настроении. Таким я его еще не видал.

— Только что докладывал по ВЧ самому. Разбудить его даже для этого пришлось — он ведь по ночам работает, а в это время отдыхает... Поздравляю, говорит. Славная операция, говорит. Ворота на Украину раскрыли, говорит. Салютовать, говорит, будем по первому разряду... Нет, нет, этого не записывайте, это на потом, это для мемуаров...

Я посмотрел на часы: значит, в Москве скоро загрохочет большой салют. Здорово, очень здорово. Такого емкого и интересного дня, кажется, еще не было в моей корреспондентской жизни.

ПОД КРОВЛЕЙ ПИФАГОРА

Как и всегда, после большой операции наступила пауза, необходимая для отдыха и перегруппировки частей. Линия немецкого фронта, отброшенная от Харькова, установилась южнее его, близ железнодорожной линии

Люботин — Мерефа, и упирается теперь в речку Мжа, на которой еще задолго до боев за Харьков командование неприятеля, по рассказам пленных и местных жителей, создало довольно сильный запасной рубеж.

Подполковник Вилюга встречает являющихся на ежедневную пресс-конференцию журналистов неизменным заявлением:

— Ну сегодня, товарищи, я ничем вас порадовать не могу.— И добавляет в утешение: — Ничего, все будет в свое время — не раньше и не позже.

Штаб фронта перебазировался в небольшое красивое дачное местечко под самым Харьковом, куда в мирное время харьковчане с семьями выезжали отдыхать на лето.

Мы поселились в емком каменном домике, принадлежащем директору местной средней школы, украинцу с плохо запоминающимся именем и сложным отчеством. Это маленький человек, с неторопливой походкой, с тихим, приглушенным голосом. Он математик, любит потолковать о своем предмете, показывает то тому, то другому из нас тетради своих лучших учеников, ныне инженеров, изобретателей, астрономов, хвастает их успехами.

За эту страсть к математике Рюмкин, единственный из нас, кто может подолгу выдерживать лекции о разных остроумных способах доказательства сложных теорем, прозвал его Пифагором.

Пифагор привык к шумной компании журналистов, как-то сроднился с нами, да и мы искренне привязались к этому тихому, деликатному человеку. По вечерам в его столовой, под старинной круглой висячей лампой, к которой Петрович приспособил аккумуляторное освещение, собирается весь журналистский корпус.

Редкое в нашей жизни затишье.

Фотокорреспонденты делают подписи к новым снимкам. Литераторы наперебой рассказывают разные «случаи из жизни», один затейливее другого. Когда кто-нибудь слишком уж начинает завираться, все незаметно для него повертывают фуражки и пилотки звездой назад. Но это безобидный «брех», без всякой претензии на ячество и собственное возвеличение. А в общем-то, все это люди бывалые, храбрые, за шутливым отношением к себе и своим делам скрывающие большой опыт, скромную солдатскую храбрость, подчас подлинную, настоящую отвагу. Кто знает, по скольку раз иным из них доводилось рис-

ковать головой, чтобы на передовой или в далеком партизанском лесу, в море или в воздухе найти материал для очередной своей корреспонденции или сделать снимок и вовремя доставить в редакцию.

Генерал Конев не без иронии говорил о Пьере Безухове, наблюдавшем войну штатскими глазами. Есть, конечно, у нас и Пьеры. Один такой Пьер, предпочитающий к тому же, в отличие от Пьера Безухова, быть подальше от фронта, наблюдать войну в авиационных полках и никогда не приближающийся к передовой ближе позиции дальнобойной артиллерии, даже охамил военных журналистов в своем весьма нашумевшем опусе. Но Пьеров немного. Мы знаем их наперечет. А в основном... Нет, сейчас не время, пусть уж после войны кто-нибудь напишет правдивую повесть о советском военном корреспонденте...

Сидя по вечерам в старомодной столовой нашего Пифагора, мы частенько поем под гитарный аккомпанемент корреспондента Совинформбюро Лило Лилояна песенку военных корреспондентов, написанную по одной версии Симоновым, по другой — Сурковым и уже ставшую чем-то вроде фронтового фольклора. Говорят, у нее, у этой песни, есть какой-то официальный, сочиненный композитором мотив. Но мы его не знаем. Мы поем на любой подходящий.

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли.
С «лейкой» и блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь жару и стужу мы прошли...

Запевает Лило, и все дружно рубят припев:

Жив ты или помер,
Главное, чтоб в номер
Матерьял успел ты передать,
И чтоб, между прочим,
Был «фитиль» всем прочим,
А на остальное наплевать...

И опять, поднимая ввысь свои выразительные армянские глаза, представитель Совинформбюро выводит с цыганским придыханием:

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет — не беда.

Но на «эмке» драной
Мы с одним наганом
Первыми врывались в города...*

Хор стремительно подпевает, вкладывая в это не столько умение, сколько усердие и мощь своих легких. Напарник Лилояна Миша Власов, которому, несмотря на фронтовое затишье, сегодня все равно посылать сообщение, умоляет:

— Господа офицеры, поимейте совесть! Дайте дописать...

В один из таких вечеров, не помню уж по какому поводу, корреспондентский корпус особенно ударился в вокал, и, когда за старыми комсомольскими, за народными русскими песнями стали петь задумчивые украинские, наше пение вдруг прервалось приглушенными рыданиями. Это, уткнув голову в пыльную портьеру, плакал наш хозяин.

И тут мы узнали о трагедии нашего дорогого Пифагора. У него была жена, тоже учительница, и две дочери-студентки. Однажды, в дни первого нашего наступления на Харьков, была воздушная тревога. Мать с дочерьми скрылись в щели, что отрыта была на огороде. Учитель остался дома. Небольшая бомба угодила рядом со щелью. Щель сдвинуло. Жена и дочери оказались раздавленными и погребенными.

В одно мгновение человек осиротел. Он оставил сплющенные тела близких в этой глубокой могиле под старой яблоней. Теперь над ней цветут какие-то мелкие синенькие цветы.

С этого дня мы больше не пели украинские песни и Рюмкин перестал именовать нашего хозяина, даже за глаза, Пифагором.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

— Тяжелые бои... Тяжелые бои... Тяжелые бои...— вот стереотипная фраза, которой нас каждое утро встречает в последние дни подполковник Вилюга.

Впрочем, мы и сами это знаем, так как южный ветер вместе с запахом спеющей в полях кукурузы все время

* Теперь-то мы точно знаем, что песенка эта написана Константином Симоновым; музыку к ней написал композитор М. Блантер.

доносит до нас глухой рокот отдаленного артиллерийского боя на мжинском рубеже. Противник вцепился в эту свою новую оборонительную линию, и сильные атаки, предпринимаемые нашими войсками на Мже, до сегодняшнего дня не имели успеха.

Сегодня, после семидневных боев, мжинский рубеж наконец прорван. Войска Степного фронта, возглавляемые И. С. Коневым, нанесли противнику еще один новый серьезный удар, последствия которого сейчас трудно предугадать.

Об этом событии стоит написать подробней.

На рассвете, когда порывистый западный ветер гнал над полями низкие угрюмые тучи и моросил мелкий, унылый дождь, группа журналистов тихо пробралась по изрытым снарядами балкам на наблюдательный пункт командира пехотного полка, устроенный в полуразбитой силосной башне. Силоса в ней уже давно не было, но тяжелый запах прели сохранился и был так густ, что от него кружилась голова. Зато башня эта находилась на горке, в полутора километрах от немецких окопов, и из нее можно было наблюдать даже невооруженным глазом артиллерийское наступление. О, его надо видеть! В нем, пожалуй, лучше всего, во всяком случае, зримей и весомей, как мне кажется, отражается непрерывно нарастающая мощь нашей армии.

Наступление это началось внезапным огневым налетом в тот час, когда противник меньше всего мог его ожидать. Огонь открыли сразу более тысячи орудий — от противотанковых пушек до жабообразных мортир бóльшой мощности, от ротных минометов до «катюш». Затем с закрытых позиций ударила артиллерия крупных калибров, она разрушила заранее разведанные дзоты, блиндажи, пулеметные гнезда, блиндированные позиции, артиллерийские и минометные батареи, лощинки, овраги, опушки леса, накрывая врага всюду, где только он мог сосредоточиться.

Это продолжалось около полутора часов.

Гром орудий сливался в сплошной грохочущий гул, напоминавший грохот горного обвала. Огневой смерч, не затухая, гулял над вражескими позициями, и столбы разрывов гигантским бурым лесом, покачиваясь, стояли над неприятельскими укреплениями. Потом мощь артиллерийского шквала усилилась, и в этот момент пехота

пошла в атаку, прикрытая грохочущим артиллерийским валом.

По мере того как передовые цепи штурмовых батальонов, перепрыгивая через воронки в перепаханных артиллерией немецких укреплениях, приближались к вражеским позициям, стена нашего огня, стоявшая перед ними, стала медленно отползать за Мжу, к холму, у которого пылали две ветряные мельницы, постепенно обрабатывая сначала предполье, потом первые, вторые, третьи траншеи...

В то время как артиллерия крупных калибров продолжала вести отсечный огонь, не подпуская немецкие подкрепления к траншеям, в которых наши пехотинцы завязали уже рукопашный бой с остатками немецкого гарнизона, полковые артиллеристы уже выкатили свои пушки на открытые позиции и тянули их за пехотой.

Это было отлично видно в пролом силосной башни.

Вот на перекрестке дорог артиллеристы выкатили свою пушку перед залегшими пехотными цепями. Командир полка, выругав по телефону командира отставшего батальона, с восхищением добавил об артиллеристах:

— Вот у кого учись... Черти! Им к пушкам только штыки приделать — и хоть в атаку иди!

Это восхищение пехотного командира, который, судя по трем ленточкам за ранения и четырем орденам, был офицером боевым, артиллеристы действительно заслужили. Когда к полудню в пробитые артиллерией ворота вслед за пехотой устремились танки, центр боя сразу отодвинулся к югу на несколько километров.

Мы осмотрели то, что можно назвать, пожалуй, воротами прорыва. Такой, вероятно, бывает местность после сильного землетрясения. Даже узкая Мжа местами изменила свое русло, обходя нагромождения земли и деревьев.

Когда вечером, полные впечатлений, мы вернулись под кров нашего Пифагора, канонада была уже еле слышна. Зато у всех звенело в ушах, кружилась голова. До ночи все строчили статьи об артиллерийском наступлении.

Сегодня еще раз с полным блеском оправдала себя тактика нашего командования, применяемая после прорыва белгородских укреплений: не «размазывать» артиллерию по фронту, а собирать ее в гигантские кулаки на главном направлении, у точек наиболее яростного сопро-

тивления и наносить здесь удары такой внезапности и силы, чтобы враг не мог опомниться, прийти в себя, закрепиться на промежуточных рубежах.

На войне гадать не полагается. Даже самая лучшая разведка не может предусмотреть всех замыслов противника, особенно находящегося в движении. Но почему-то у всех у нас ощущение, что этот прорыв сулит большие и радостные для нас события.

Поработаем!

РАЗГРЫЗАНИЕ «ОРЕХОВ»

Наступление, возобновившееся с прорывом у Мжи, развивается с нарастающей силой. Вчера мы долго сидели с подполковником Вилюгой над оперативной картой. Как и предполагалось, после прорыва противник откатился к югу на восемнадцать, а кое-где и на двадцать километров. Но в его отступающие, обескровленные части уже влились подведенные из тыла маршевые батальоны, и он снова предпринял отчаянные попытки удержаться.

Как докладывают разведчики, у неприятеля после потери мжинского рубежа до самой Ворсклы нет укрепленных линий. Но сопротивление не стало менее яростным. Противник только изменил тактику. Теперь он пытается цепляться за отдельные населенные пункты, быстро приспосабливая их к круговой обороне. Эти пункты они называют в своих приказах «нус», то есть «орех», и эти самые «орехи» выставляют как основные препятствия на пути нашего продвижения. На расстоянии пятнадцати километров мы насчитали девятнадцать таких «орехов». И несмотря на это, наши части идут вперед.

— Мы эти «орешки» научились ловко разгрызать, и зубы при этом не ломаем,— шутит подполковник.— Если хочешь написать о новом характере боев и посмотреть разгрызание «орешка», поезжай вот сюда, на правый фланг. Дивизия тут действует гвардейская, боевая, будет что поглядеть.

Острием красного карандаша он указал на черную точку, стоящую в центре как бы сходящихся спиралей, обозначавших высотный характер местности. Под точкой значилось: «Клещевка» и цифра «14», отмечавшая высоту.

К вечеру мы подъехали к железнодорожной будке, где помещался штаб полка. Командир, гвардии полковник Селиверстов, человек небольшого роста, хриплоголосый, с обветренным лицом, познакомил меня с командиром второго батальона, гвардии капитаном Сорокиным, отрекомендовав его большим специалистом по «разгрызанию орехов». Капитан был полной противоположностью своему начальнику. Он был высок, строен, бледен, и голос у него был звучный, приятный. Деловито, но с большой неохотой, которую он и не пытался скрыть, он пояснил, что Клещевка — сильный укрепленный узел, что уже третий день возле него топчется соседний полк, но сейчас, когда по новой разгранлинии Клещевка перешла к ним, он надеется ночью ее все-таки взять. Бой ожидался серьезный, и неожиданное появление «прессы» не нравилось гвардии капитану. Он явно боится, что незваные гости потребуют особых забот и отвлекут его. Убедившись, однако, что гости — ребята вроде бы ничего, забот не потребуется, он сменил гнев на милость и после некоторого колебания разрешил идти к нему на наблюдательный пункт.

Когда стемнело, мы поползли с ним по руслу высохшего ручья, а потом поднялись на высокий берег оврага, охватывавшего полукольцом небольшую деревню Клещевку. При свете ущербной луны отсюда, с крутого косогора, можно было без труда различить белые пятна хат, утопавших в садах, деревенскую площадь, шпиль колокольни, разбитое снарядами приземистое здание — вероятно, школу. Минутами все это почти исчезало в серебристой мгле, а потом вдруг резко выступало из нее в судорожном белесом мерцании немецких ракет. До деревеньки, должно быть, не было и километра.

— Прошлой ночью из деревни приходили два старика,— тихо сказал капитан.— Придется повозиться. Окопы тут рыло население четырех деревень. Вон видите кусты — проволока в три кола, а вон там, около деревенской околицы, дзоты с пулеметами — вон один, второй, а левее третий, его не видно. Всего пять. Овраг, да, говорят, и ручей минированы. Словом, «орешек» крупный, что и говорить!

Капитан достал папироску, покрутил в пальцах, понюхал табак и, вздохнув, убрал обратно в портсигар. Курить было нельзя.

Мы отползли назад, туда, где в лощине, в густых кустах, прямо на земле, на разостланных плащ-палатках под украинским с крупными звездами небом располагался штаб батальона. Гвардии капитан в двух словах изложил офицерам план штурма. В прошлом учитель математики, он и в военное дело вносил свойственную математику точность и аккуратность. Пулеметному взводу он приказал окопаться на косогоре и по сигналу открыть огонь. Бить в лоб, оттуда, откуда враг мог ожидать удара. Пулеметчики должны приковать к себе внимание гарнизона. Ротам под командованием старших лейтенантов Капустина и Фролова охватить деревню справа и слева; молча, по возможности незаметно пройти через овраг, по кустам подобраться к деревне, а когда неприятельский гарнизон втянется в схватку с пулеметчиками, атаковать с флангов. Взвод автоматчиков под командованием гвардии младшего лейтенанта Ивана Щегла идет в обход в тыл и делает засаду на дороге, по которой противник предположительно будет отступать.

Мы опять ползем на косогор, где саперы уже выкопали траншеи для наблюдательного пункта. Ветерок стал холоднее, тянет предутренней свежестью, лягушки в пруду орут не так оглушительно, и по лощине, цепляясь за заросли кукурузы, медленно ползет седой клочковатый туман.

Капитан нервно смотрит на часы и начинает жевать папиросу.

— Сейчас,— глухо говорит он.

Проходит несколько томительных минут, над леском взвивается красная ракета, и косогор ощетинивается огнями работающих пулеметов. Лежа на земле, не двигаясь из своих гнезд, пулеметчики начинают кричать «ура». Капитан усмехается. Молодцы! «Ура», прорываясь сквозь выстрелы, звучит негромко, но внушительно.

Десятки ракет озаряют небо трассирующим мертвым светом и как бы приподнимают тьму над деревней. Почти светло. И в это мгновение вражеские пулеметы, минометы, автоматы обрушивают свой огонь на пустой косогор, где несколько пулеметчиков, сидя в глубоких щелях, стреляют и кричат «ура». Откуда-то из глубины начинает бить немецкая батарея. Снаряды перелетают через нас и рвутся позади, в кукурузе.

— Ага! Клюнули, голубчики!— не выпуская папиросы из стиснутых зубов, говорит капитан, нетерпеливо

вглядываясь во тьму, туда, где в это время без выстрела, без звука должны подползать к деревне роты Капустина и Фролова.

Вдруг выстрелы и «ура» раздаются где-то в глубине деревни.

— Молодцы! Ух Капустин! — кричит капитан, нетерпеливо выпрыгивая из окопчика.— Где же Фролов? Где Фролов, куда он, дьявол, делся? Связной! Немедленно к гвардии старшему лейтенанту Фролову. Нет... отставить! И он пошел, слышите?.. Ну ладно! Теперь будут дела.

Выстрелы слышатся справа, слева, чуть позади Клещевки. Должно быть, наступающие уже укрепились в крайних хатах и поливают огнем врагов, сидящих в укреплениях, откуда-то сзади.

Огонь из неприятельских укреплений еще слышен, но уже беспорядочен и понемногу стихает. Вероятно, немцы отходят. Почему? Ясно, что они могли еще долго сопротивляться. Ведь Клещевка приспособлена к круговой обороне. Объяснение одно: наши взяли деревню в полуклещи, а противник после Сталинграда, Курской дуги, Харькова больше всего на свете боится выстрелов за спиной. Ай да математик! Здорово рассчитал! Где он? Его тенор слышится откуда-то с самого косогора. Крики «ура» точно скатываются в лощину. Пошла на штурм рота, стоявшая в резерве.

Из тьмы возникает комбат. Он опускается на бруствер окопчика и вытирает лицо, лоб и шею рукавом гимнастерки. Глаза его восторженно горят настоящим вдохновением.

— Слышите, слышите за деревней? Ай да Щегол! Перехватывает! Вот те и скрипач, славно играет!

Капитан исчезает, и на этот раз надолго. Шум боя в деревне стих. Светает. Откуда-то из-за кустов появляется усатая физиономия ординарца капитана. Я слышу, как он спрашивает телефониста:

— Эй, служба! Которые корреспонденты? Эти? Не врешь?

Потом, вытянувшись и щелкнув каблуками, он докладывает, что гвардии капитан просит корреспондентов вниз, в деревню. Мы сходим с косогора. Впереди идет посыльный с фонариком и показывает дорожку, очищенную от мин.

Мы проходим по окопам, вырытым, как говорится, по ниточке, минуем развороченный блиндаж с торчащими

во все стороны бревнами и несколько совершенно целых дзотов. Рваная проволока. Добротная, хотя явно скороспелая работа. И все это не пригодилось. Боевая хитрость и мастерство русского офицера, бывшего учителя математики, превратили все эти заботливо созданные укрепления в ловушку. Здесь не видно ни одного трупа.

Зато на улице деревни в свете серенького утра виднеется несколько темных силуэтов, застывших в самых странных позах.

Входим в чистенькую хатку, возле которой стоит часовой. Пожилая женщина суетится в горнице, с причитаниями развешивая по стенам извлеченные из каких-то тайников расшитые рушники. В комнате уже установлен телефон, и гвардии капитан, стоя у окна, докладывает, очевидно, в штаб полка:

— Точно так, товарищ подполковник. Наша. Ну да, я говорю из самой Клещевки. Быстро? Ну что за быстро! Всю ночь бились, крепкий «орешек» был. Трофеи выясняют. Убитых? Не буду врать — не считали. Вот развиднеется, посчитаем... Потери? И потери есть. Шестнадцать. Да, трое из них ранены... Даете отдых? Вот за это, товарищ подполковник, спасибо! Хоть отоспимся малость, нам отдых — лучшая награда...

Тем временем хозяйка накрывает на стол. Скатерть сырая, в рыжих потеках, от нее так и несет подвальной прелью. Хозяйка извиняется: все зарывали в землю, прятали. Но кто из нас обращает внимание на скатерти! За неимением других, более подходящих к торжественному случаю напитков, пьем из глиняных кружек жгучий, крепкий, отдающий запахом сырости буряковый самогон. Всем становится весело, особенно после того как в хате появляется благообразный старец, который по обычаю торжественно преподносит гвардии капитану круглый каравай белого хлеба и деревянную солонку с солью. Каравай свежий, теплый, только что из печки. Он отдает его капитану вместе с богато вышитым рушником.

Старик садится с нами за стол, чинно пьет, всякий раз вытирая ладонью усы, и, прислушиваясь к недалекой канонаде, все спрашивает:

— А вин не вэрнэться?

После завтрака хозяйка стелет нам на печи, на свежей яровой соломе, пахнущей полем, солнцем, зерном. Как хорошо, расстегнув ремни, сняв отсыревшие сапоги,

растянуться во весь рост! Но сна нет. Слишком много впечатлений, думаю, что в разгрызании клещевского «орешка» главным была смелая тактическая мысль нашего офицера.

Отказ от лобового штурма укреплений, обход, удар по флангам, клещи, охватывающие обороняющийся гарнизон. Идея подвижной войны, охвата, маневра дошла до батальона.

Вот он, стиль этого нашего нового наступления! И в этом, как мне кажется, секрет его успеха.

...Ну как тут заснешь!

Гвардии капитан собрал у себя командиров рот, своих сподвижников по ночному штурму, и сейчас я могу их хорошо рассмотреть со своей печи.

Старший лейтенант Капустин, плотный, смуглый брюнет с сизыми щеками, щеголеват и молчалив. Спросил у капитана разрешения курить и ни на минуту не выпускает изо рта маленькую кривую трубочку. Отвечает на вопросы коротко и как-то необычайно. Назовет фамилию или цифры, покажет ногтем на схеме место расположения своей роты и замолчит, окутавшись сизым дымом. А ведь этого молчальника вся рота носит на руках!

Зато старший лейтенант Фролов, веселый, суматошный, суетливый человек, трещит без умолку, и, когда замолкает, лицо его становится вдруг старше лет на десять. Он мог бы показаться болтуном, но по тому, как он ловко доложил об обстановке, о ротных делах, назвал по фамилии раненых и убитых, с настоящей скорбью в голосе помянул какого-то рядового Голованова, которого он посмертно представлял к ордену Красного Знамени, становится понятно, что и он человек деловой и роту ведет, должно быть, неплохо.

Но больше всего понравился мне лейтенант Иван Щегол, невидный и некрасивый, в плохо пригнанной форме, но с такими живыми, умными глазами, которые сразу же заставляют забывать его заурядную внешность. Быстрый, сметливый, он с юношеским увлечением не докладывал, а рассказывал о том, как ночью его ребята поползли за ручей, как преднамеренно дали большой крюк, как достигли дороги предполагаемого отступления и вовремя успели замаскироваться вдоль нее по кустам.

Потом, когда мы уже познакомились, лейтенант Щегол рассказал много интересного о своих солдатах, о своем отце — старом флейтисте Ленинградского оперного театра, погибшем от голода в позапрошлую зиму. Флейтист до последнего дня своей жизни ходил по госпиталям со своим нежным инструментом. Он играл раненым лучшие свои вещи и умер на пороге дома, не имея сил подняться по лестнице в свою квартиру после одного из таких концертов.

Лейтенант достал из бумажника тщательно завернутое в целлофан, уже пожелтевшее последнее письмо старика. Оно дошло к сыну на фронт на третий месяц после смерти отца. «Воюй, Ваня, так же талантливо, как ты играл когда-то на скрипке»,— напутствовал флейтист своего сына.

В разгаре разговора лейтенант вдруг спохватился:

— Позвольте, вас это должно заинтересовать... В моем взводе есть автоматчик Василий Гнатенко. Он здешний, из этих мест, понимаете? Тут, в двух шагах, его хутор. Мы должны его брать. Разве это не здорово? Человек воюет всю войну, был в Сталинграде, с нами идет от самого Белгорода. И вдруг на пути его хуторок Лиховидовка. А там у него жена и две девочки. Мне кажется, очень хорошо это можно описать.

СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

Разве может быть лучшая награда солдату за его боевые труды, чем возвращение домой, которое ожидает этого Гнатенко? Ну и Щегол! Понимает наши журналистские души!

И хотя всем нам хотелось поскорей передать в свои редакции корреспонденции о событиях прошлой ночи, посовещавшись, мы решили остаться, познакомиться с Василием Гнатенко и подождать освобождения хутора Лиховидовка.

Вечером мы пошли с лейтенантом Щеглом на окраину деревеньки, где в лощине, в развалинах скотного двора, сидели у костров автоматчики его взвода. Подошли к крайнему костру. Три автоматчика и среди них широколицый гигант, настолько большой, что для него, вероятно, трудно было подобрать обмундирование, при нашем приближении вскочили.

— Сидите, сидите,— сказал лейтенант и, показав на гиганта, прибавал: — А вот Василь Гнатенко. Самый счастливый человек в роте. Познакомьтесь.

Гнатенко широко и простодушно улыбался и так крепко пожал мне руку, что слиплись пальцы.

— Ну, Гнатенко,— сказал лейтенант,— ты уже считай, что домой добрался.

— Совсем близко, товарищ лейтенант. Отпуск-то мне обещанный дадите?

— Дам, дам, на десять дней отпущу, я с комбатом уже договорился. Только ведь еще за хутор-то биться надо,— сказал лейтенант.

Василий Гнатенко, видимо весь поглощенный мыслью о возвращении на хутор, о близкой встрече с родными, мечтательно глядя на ярко мерцавшие звезды, подумал вслух:

— А якый хутор у нас гарный! Хаткы биленькп-биленьки и уси у зелени. А сады! Садив скилькы! У кожний хатцы сад: яблунь штук по двадцать, вышень, слыв. А яка у нас скотына, яки волы, яки свыни!.. Як до дому прыйду — усих, усю роту прошу до своей хаты. Кабанчыка забью. Якым борщэм, якымы галушками жинка нас вгостить!

Он мечтал вслух, этот громадный парень, двадцать восемь месяцев воевавший в болотах Смоленщины, в степях у Сталинграда, в плавнях Кубани, трижды раненный и снова возвращавшийся в строй.

Перед рассветом атаковали хутор и после короткого жестокого боя выбили оттуда противника и погнали дальше по дороге к Ворскле. Лейтенант Щегол рассказал мне потом, что перед атакой на родной хутор Василий Гнатенко бесшумно прополз по бурьяну к вражеской позиции, руками задушил неприятельского пулеметчика, повернул пулемет в обратную сторону и, когда началась атака, бил по противнику из его же пулемета. А когда рота, продолжая наступать, втянулась на хуторскую улочку, он схватил пулемет с дисками, оврагом добрался на другой конец хутора, установил пулемет у дороги, по которой отходил противник, и в упор расстреливал бегущих.

Но когда уже днем я встретил Гнатенко на улице отвоеванного хутора, он не походил на человека, столь

отличившегося в только что отгремевшем бою. Гигант брел, еле переставляя ноги, глядя перед собой ничего не видящими глазами. Окликнули его, спросили, в чем дело. Он молча обвел рукой вокруг себя.

Мы стояли на сельской площади, в самом центре сожженного хутора. Едкий, горький дым стлался над кирпичными грудами взорванной школы. За ней, за наполовину вырубленным садом, торчали одни пеньки, виднелись развалины больших, совершенно разрушенных или сгоревших построек — должно быть, скотных дворов фермы. Среди заросшей травой площади только по известковому фундаменту, уже поросшему крапивой, можно было угадать место, где когда-то была церковь. Ее взорвали и потом разобрали: на строительство дороги понадобился битый кирпич.

Запах гари, тяжелый, навязчивый, отравлял воздух. Признаться, я смотрел на этот стертый с лица земли хутор без особого удивления. Мало ли таких селений довелось видеть за годы наших наступлений? Но для Василия Гнатенко это был не просто очередной населенный пункт, освобожденный нашими войсками. Здесь с детства была ему знакома каждая хата, каждое дерево росло на его глазах.

— А семья? Что с семьей?

Он только махнул рукой, и по морщинам загорелых щек потекли крупные слезы.

Жену свою Пелагею он нашел с дочерью Аней в яме на огородах. Она провожала его молодой женщиной, в полном расцвете сил. Сейчас перед ним была старуха. От горя она даже не поздоровалась с мужем. Взяв на руки дочь Аню, она повела мужа в сад, и он, сто раз видевший смерть в лицо, зажмурился. На земле лежал труп его дочери, Лизы, девочки четырнадцати лет. Соседки рассказали историю гибели дочери. Еще вчера офицер, командир группы самоходных пушек, перед отступлением пьянствовал в его хате. Напившись, он потребовал женщину. Денщик вытащил из ямы, где скрывалась семья Гнатенко, Лизу. Соседи слышали, как Лиза кричала и звала на помощь. Отбиваясь, она укусила офицера за щеку. Офицер застрелил девочку. И чтобы скрыть преступление, он приказал выбросить ее труп во двор, полить бензином, сжечь. В соседней яме скрывалась семья крестьян Решетниковых. Две девочки Решетниковы,

пятилетняя Тоня и шестилетняя Светлана, вылезли из ямы и, увидев лежащее тело, дико закричали. Денщик испугался этих криков, схватил одну из малюток, меньшую, и бросил ее в страшный, полыхавший среди двора костер.

— Ироды,— скрипя зубами и сжимая огромные волосатые кулаки, прохрипел Гнатенко.— Ну погоди, поквитаемся, ироды!

Потом он проводил нас туда, где над обгоревшим трупом Лизы стояла с девочкой на руках молчаливая и бледная жена Пелагея. Он стал рядом с ней, положив руку на приклад автомата. Рюмкин уже пристроился с аппаратом и «нашел ракурс». Семья не обращала на него внимания. И он заснял семью Гнатенко над трупом дочери, отдельно полуобгоревший труп Лизы и маленькое тело девочки Решетниковой, лежавшее в сторонке, у землянки, на полосатом половичке.

Здесь слов не надо. Я пошлю в «Правду» только снимки. Я сделаю к ним подписи и озаглавлю их тем самым словом, которое повторяет бродящий вокруг пожарища Василий: «Ироды»...

Когда мы зашли проститься к Ивану Щеглу, он сказал, что у него только что был Гнатенко. Солдат просил отменить отпуск и сказал, что не надо отпусков, пока оккупант еще ходит по украинской земле.

Уже «дома» я пишу эти строки. Ночь. Богатырски храпит Рюмкин, во сне убеждая кого-то доставить обязательно пленку в «Правду» срочно, немедленно... Ветер встряхивает ставни забитых окон, холодные сквозняки гуляют по комнатам, шевелят черные ленты негативов, развешанные для просушки. Пишу и думаю о Гнатенко, об этом гиганте, который скрипел зубами над трупом дочери, о его остановившихся глазах, о слове «ироды», которое он не произносил, а как-то выдыхал из глубины души.

Не поздоровится оккупанту, который встретится с ним в бою!

Так рождается ненависть к фашизму, которая укрепляет нашу армию, делает самых мирных людей воинами, не знающими усталости и страха, рождается святая ненависть народа, отстаивающего свою свободу и честь всего человечества.

КРАСНОГРАД НАШ!

Сегодняшний день начался бумом в журналистском «корпусе».

Рано утром, когда еще все досматривали самые вкусные, предрассветные сны, в дом влетел исчезавший куда-то Рюмкин и принялся энергично расталкивать своего шофера Костю, самого невозмутимого и медлительного шофера не только на нашем фронте, но, наверное, и во всей Красной Армии.

— На аэродром! Быстро! — командовал фоторепортер, пока его водитель протирал глаза.

— Красноград наш! — объявил он наконец во всеуслышание.

Признаться, я принял эту новость критически. Со слов наших разведчиков, среди которых у меня много друзей, я знал, что Красноград превращен противником в серьезный форпост на Левобережной Украине, с мощными укреплениями, прикрывавшими Ворсклу. Здесь соединяются четыре железнодорожных и семь грунтовых магистралей. Если оккупанты лишатся их, то это сразу скует их в маневре и ухудшит положение всех их армий, находящихся в этом районе.

Только вчера офицер разведки, со слов пленных и перебежчиков, говорил о сильных укреплениях, воздвигнутых на подступах к городу. Наконец, всего несколько дней назад мы были на Мже, в шестидети пяти километрах от Краснограда.

Неужели наши части после тяжелых боев на Мже могли совершить за несколько дней этот богатырский марш и с ходу выбить у опытнейшего гитлеровского генерала — фон Манштейна важнейший его козырь в борьбе за реку Ворсклу, в борьбе за подступы к Днепру!

Подполковник Вилюга не утверждает, но и не отрицает сообщенную Рюмкиным новость. Ночью он получил сообщение, что передовые танковые бригады, обойдя укрепленные линии с юга, ворвались в город и завязали бой за вокзал. Связи нет. Утром подтверждений не получено. Послан самолет, но не вернулся. Можно только гадать. Неужели Красноград наш? И научились же мы наступать!

Вилюга советует подождать. Речь идет о нескольких часах. Но разве это журналистское дело, ждать? Во весь опор несемся по отполированным шинами наступающих

моточастей степным грейдерам и в 14.45 с полного хода въезжаем в Красноград. Он пуст и объят пламенем. Целы немецкие указатели. Валяются на мостовой трупы. На улицах не видно еще даже саперов с миноискателями — первый признак того, что город только что занят. Наступающие части, преследуя врага, проскочили через Красноград, проследовали дальше. Тылы их еще не подошли. Не у кого спросить, как это произошло. Поэтому весь экипаж моей «пегашки» жадно набрасывается на какого-то старца, который, опасливо оглядываясь, вылезает из бурьяна у развалин домика. От него мы узнаем, что бой кончился в полдень и «нимцы, кажись, втэклы». Мне становилось не по себе: ведь Рюмкин вылетел на самолете утром. Где он? Что с ним? Он ведь не из тех, кто умеет ждать или вести себя тихо. В таких вот ситуациях он обычно так суетится, что люди, не знающие его, могут подумать, что у нас не один, а два или три Рюмкина.

На скорости, за которую в Москве Петровича давно лишили бы шоферских прав, проносимся по улицам Краснограда. Дымно, жарко. Штукатурка, щебень, битое стекло. Немецкие танки и тракторы сгрудились у станции погрузки. Некоторые так и застыли на мостках, проложенных к платформам стоящего эшелона, на самих платформах.

Пылающие склады. Золотая пшеница просыпана на железнодорожных путях. Труп женщины в пестром летнем платье, прижимающей к груди мертвого ребенка. Трупы врагов, уже покрытые пылью и копотью. Все это с фотографической точностью фиксируется в памяти. Расспрашивать некого, да и некогда. Скорей назад, на телеграф. «Правда» должна своевременно получить материал об этой новой и довольно, признаюсь, неожиданной победе.

На выезде из города видим в кукурузе обгоревший самолет «У-2». Неужели Рюмкин? Бежим к самолету... Среди покореженного металла и груды пепла не видно людей, потерпевших катастрофу. Если их и сбили, то они, вероятно, все же успели спастись. А может быть, захвачены в плен?.. Но что гадать! Ведь все равно ничем уже им не поможешь.

Торопимся обратно. Солнце, склоняющееся к западу, застыло на горизонте, за темными кисточками пирамидальных тополей. Оно тускло и красно из-за пыли, повисшей над степью. По всем дорогам на юг, на юго-за-

пад движутся непрерывные потоки войск, техники. Пыль кругом, пыль, тяжело висящая в жарком воздухе.

На минутку заезжаем «домой». В садике стоит незнакомая машина. «Пикап», пыльный и грязный. Его кузов странно приподнят сзади. Он почему-то напоминает человека, вставшего на цыпочки.

В комнате поражает запах фруктов. Из-за стола, заваленного грудой сизых слив, матовыми гроздьями винограда, прозрачными яблоками и продолговатыми, с замшевыми корками, дынями, добродушно улыбаясь, поднимается русоволосый, широкоплечий майор, смахивающий обличьем своим на этакого Добрыню Никитича. Это военный корреспондент Союзрадио, мой старый товарищ по трудным боям у Ржева, на далеком Калининском фронте Павел Кованов.

Ого! В нашем полку прибыло. Да как! Какое пополнение-то! Обнимаемся. Награждаем друг друга тумаками. Рука у него — дай бог, и от тумака его на ногах не устоишь.

Кованов примчался сюда, на горячий участок, с Черноморья, сразу же после взятия Новороссийска. В шинах его машины еще воздух Кавказа, а фруктовые богатства, лежащие на столе,— вступительный взнос журналистскому содружеству нашего фронта.

— Было и вино — «Салхино». Да не удержались, распили по дороге,— несколько сконфуженно говорит он.— Жалко, очень жалко. Но, честно говоря, не люблю людей, которые подолгу могут хранить вино.

Но дружба дружбой, а дело делом.

— Павел, на этой кровати ты дома. Располагайся. Я на телеграф.

Красноград, приезд Кованова — все это отлично. Но судьба Рюмкина не выходит из головы. Что с ним? Неужели сбили?

Передать материал удалось только к ночи. Когда я вернулся, все уже спали. Электрический фонарик осветил знакомые фигуры, лежавшие под шинелями на кроватях, на диване, на полу. На столе валялись сливовые косточки, огрызки яблок, дынные корки — все, что осталось от роскошного ковановского приношения. Заспанный Петрович вынул из-под подушки половину дыньки, очистил ее ножом от приставшего пуха и протянул мне.

— Тут лейтенант Рюмкин вернулся и все доел. Это я уже для вас спрятал,— пояснил он.

Рюмкин спал, не раздеваясь, свернувшись клубочком на диване. Вокруг него валялись обрывки черной бумаги, куски фотопленки, бачки с фиксажами — следы спешного проявления.

Случилось так, как мы и думали. Желая первым попасть в освобожденный город, он прилетел в Красноград утром, когда в городе еще шел бой. Самолет обстреляли зенитки. Рюмкин отлетел от города километров на десять, приземлился, погрелся на солнышке, а когда шум боя стал стихать, снова поднялся, прилетел обратно и на этот раз предусмотрительно опустился на северной окраине.

Снимки у него получились отличные. Но если бы читатели «Правды» знали, как добыта хотя бы вот та фотография пылающего, окутанного черным дымом города, над которым, как пятна, расплываются дымки шрапнельных разрывов.

У РВОВ СМЕРТИ

Государственная комиссия по расследованию фашистских злодеяний начала в Харькове эксгумацию массовых могил. Сегодня утром мы с Ковановым там побывали.

На войне чувства притупляются. Невольно привыкаешь к виду смерти и разрушений, начинаешь не то чтобы равнодушно, но как-то спокойно рассматривать и воспринимать самый факт смерти. Но то, что мы увидели, все-таки потрясло и нас.

Огромные противотанковые рвы заполнены месивом человеческих тел. Трупы даже не сложены, а свалены как попало. Их, должно быть, как дрова, сбрасывали с грузовиков. Так и было.

После массовой бойни у Харьковского тракторного завода, когда в два дня было уничтожено столько мирных людей, что из них можно было бы составить население небольшого города, вереницы грузовиков подходили к этим ямам и, открыв борта у края рва, скидывали в него тех, кто еще час тому назад жил, думал, любил и ненавидел. Эти машины, вероятно, шли колоннами. Легко ли перевезти столько трупов! Кроме того, ежедневно в положенные часы «душегубки» подвозили сюда свой свежий груз, результат, так сказать, «текущей деятельности» гестапо.

Я видел, как опытные военные врачи и суровые судебные эксперты волновались при виде гигантских могил. Немолодой украинский поэт, человек, как я знал, большого мужества, плакал, как женщина.

Потом мы поехали на знакомую уже мне улицу, где в выгоревших госпитальных корпусах видел я недавно скелеты с гипсовыми повязками. Уже не было волейбольной площадки. Не было клумбы. Посреди двора зияли ямы, а в них в страшных позах лежали трупы в истлевших халатах.

Около могил толпились члены Государственной комиссии. Писатель Алексей Толстой — большой человек, медлительный, лобастый — сидел на скамейке, подавленный всем увиденным.

— Трудно охарактеризовать это,— сказал он и, помолчав, добавил:— Это фашизм.

Толстой попыхивает трубкой, окутывается облаком синеватого душистого дыма. Думает вслух:

— Много было писателей с большой фантазией. Данте, например... А что его ад по сравнению вот с этим,— ткнул дымящейся трубкой в сторону груд человеческих костей в сгнившем госпитальном тряпье.—Его ад — дом отдыха, курорт... А это, не повидав, и вообразить невозможно. Какой-нибудь американец из штата Айова, который слыхал выстрелы разве что на охоте, прочтет в газетах и не поверит. Неправдоподобно, в уме не укладывается!

Глядя на массивную фигуру писателя, на его большую голову, покрытую черным широким беретом, на тяжелую трубку, которую он то и дело посасывает, можно ожидать, что у него бас. А говорит он хрипловатым тенорком самых мальчишеских интонаций, явно стилизуя под старорусскую речь. И глаза живые и быстрые, как мышки из норы, выглядывающие из-под приспущенных век.

Обернулся к нам и вдруг спросил:

— Знаете, что такое фашизм? Это препарат из подлости, жадности, глупости, властолюбия и трусости. Да, трусости. Такие вещи можно делать только из трусости, из опасения, что тебя вдруг перестанут бояться и что узнают, что ты не гигант, играющий народами, а самый обыкновенный, дрянной, истеричный человечишка, случайно взмывший на гребне грязной, вонючей волны.

Подробно расспрашивал нас о фронтовых делах, о последних боях, о жизни корреспондентской братии. Он

тучен, нетороплив в движениях, любит пересыпать свою быструю речь весьма солеными словечками.

— Я ведь в первую мировую войну тоже был военным корреспондентом,— говорил он, снова и снова окутываясь трубочным дымом.— И водку из фляги пил, и по передовым с биноклем бегал. И за сестрами милосердия из санитарного поезда императрицы Марии приударял. Еще как! Все было... И скажу я вам, братия, тоже жестокая война была... Но такого,— он тычет трубкой в сторону раскрытых могил, где лежат скелеты с гипсовыми повязками,— такого не было... Кайзеровские немцы такого не допускали. Это новое, это уже от Гитлера... Немцы сами когда-нибудь будут блевать, вспоминая об этом...

Потом вдруг спрашивает:

— Ну а в своих корреспонденциях много врете? Нет? Ну а в ту мировую было дело, подвирали. Еще как! Среди нас был брат Владимира Ивановича Немировича-Данченко, ну того самого, мхатовского. Талантливый был журналист. Лихо писал. Так вот в писаньях своих такие финты давал, что мы его звали Невмерувральченко...— Посерьезнев, опять показал трубкой на скелеты с загипсованными повязками.— Понимаю вас. Зачем вам выдумывать? Вот как такое опишешь, если ты не Данте и не Эдгар По?..

Да, описать это трудно...

— ...А Сергей Есенин в ту войну был братом милосердия. Не знаете? Ну вы много чего не знаете... Добровольцем пошел. По-тогдашнему вольноопределяющийся... И был хорошим братом. Видел его в форме — голубые глаза, кудри из-под фуражки — херувим, смерть сестричкам... Но это внешне. А старые лекаря о нем нам говорили: самоотверженнейший господин. Ночи возле тяжелораненого сидеть умел, разговорами развлекал, стихи свои читал... Так-то-с... Но такого,— он снова показал тростью в сторону костей с гипсовыми повязками,— о таком нам тогда и не снилось. Фашизм — проклятейшая идеология... Вот где сатана-то правит свой бал...

Ошеломленные, молча возвращались мы назад, и только вид оживающего Харькова несколько рассеивал гнетущее впечатление. Мелькают новые вывески — маленькие, неказистые, наспех намалеванные на фанере и на полотне, а то и просто на куске картона или на стене, но родные, советские. Женщины в пестрых летних плать-

ях спешат куда-то по солнечной стороне улиц. Группа молодежи чинит мостовую. Монтеры тянут медный провод. Говорят, к Октябрьским торжествам харьковчане пустят трамвай по основным линиям.

Раненые в халатах и пижамах греются в садике на солнышке. Огромные афиши извещают о гастролях Ивана Семеновича Козловского. Маленькие рукописные листочки по-русски и по-украински объявляют студентам о начале занятий в медицинском, металлургическом, электромеханическом и каких-то других институтах.

Заводской район, который тогда, в день освобождения, поразил нас своей мертвой тишиной, особенно оживлен. На узких кривых улицах много народу. На каждом шагу фанерные щиты — различные строительные и промышленные организации объявляют о наборе рабочей силы. Эти щиты наперебой зовут слесарей, сварщиков, плотников, штукатуров, каменщиков. Самое перечисление этих профессий говорит о возрождающейся здесь жизни.

В проходной будке Харьковского тракторного, сделанной из огромной бочки,— усатый старик в очках, с трофейной немецкой винтовкой. Уже охрана. Значит, есть что охранять. Долго ходим среди гигантских развалин, среди бетонного и кирпичного хаоса, из которого торчат посиневшие от огня, скрюченные, как стружки, железные швеллеры.

Но вот среди этой мертвой каменоломни мы увидели рабочего. Он нес на плече доску, и свежезолотистая эта доска вздрагивала и сгибалась в такт его шагам. Подойдя к Петровичу, попросил огоньку, закурил и потом скрылся за бетонными развалинами силового цеха.

Очень запомнился мне этот человек с доской. Значит, в этих развалинах уже возрождается жизнь! Он приладит свою доску где-то тут, в кирпичном хаосе, к ней прибьют вторую, третью... десятую. Потом... Кто знает, может быть, возвращаясь с Петровичем домой из-под Бухареста, или Будапешта, или бог знает еще из каких далеких краев, проезжая через Харьков, мы увидим этот завод еще более могучим, чем раньше.

ВОСКРЕШЕНИЕ ГИГАНТА

Через полчаса мы увидели уже настоящий работающий заводик, организованный в одном из цехов разрушенного паровозостроительного гиганта. Он вступил в строй и выпускал продукцию для фронта. Его директор, совсем еще молодой человек, потерявший руку в сражениях у Сталинграда, показал нам свое возрождающееся хозяйство. От здания сохранились одни стены. Станки стояли под открытым небом, и только наспех организованная формовка в литейном была покрыта брезентом. Но завод работал и в вёдро и в дождь, и, хотя иной раз в цехе бушевал настоящий ливень, рабочие не отходили от своих станков. Впрочем, крышу уже начали покрывать стеклом. По стальной паутине потолочных ферм ползали стекольщики, похожие снизу на паучков.

Когда мы проходили с инженером по токарному цеху, мы заметили вихрастого мальчугана, стоявшего у станка-автомата. Он был так мал, что не смог бы дотянуться до станка, если бы ему под ноги не подставили деревянный ящик. Курчавая синяя стружка веселой лентой завивалась под резцом, и мальчуган, весь поглощенный работой, должно быть, даже и не замечал нас. Мы несколько минут постояли у него за спиной, любуясь тем, как умно, уверенно, ловко маленькие замасленные руки управлялись со станком, убавляя и прибавляя ток воды, регулируя зазоры, меняя ход.

Начальник цеха сказал, что этому мальчику пятнадцать лет, что он круглый сирота — отец погиб на фронте, мать убита при бомбежке, сестра угнана в Германию. Мальчуган настоял, чтобы его взяли на завод. Он прилежно учился и сейчас один из лучших токарей.

В цехе работало много подростков, но этот бледненький привлекал к себе почему-то особое внимание. Уж очень он был поглощен своим делом. Поглощен настолько, что, даже отложив обточенный корпус в аккуратную стопочку и быстро заправив новую заготовку, он не оглянулся на незнакомых людей, которые вот уже несколько минут стояли возле него.

— Как тебя звать? — спросил я.

— Петр,— отозвался он, не оглядываясь.

— А фамилия?

— Та Скляренко,— ответил он сердито.

— Тебе сколько лет?

— Та пятнадцать же...

В голосе его было уже раздражение, но и теперь он не обернулся, следя за тем, как с ровным хрипом снимает резец с чугунной болванки вьющуюся стружку.

— Ты давно тут работаешь?

Тут он обернулся, и на глазах его мы увидели крупные сердитые слезы.

— Чего вы ко мне прицепились? Я ж, видите, работаю. Мы соревнуемся вон с ним,— он кивнул головой на пожилого рабочего в железных очках, неодобрительно косившегося на нас и на инженера и с такой же сосредоточенностью, как и этот мальчуган, следившего за станком.— Вчера он обогнал меня на семь корпусов, а вы мне мешаете!

Мы уезжали из Харькова вечером. Косые, уже негреющие лучи солнца сверкали в стеклах домов на Холодной Горе и красным пламенем обливали развалины завода «Новая Бавария». Со смены возвращались рабочие. Где-то вдали играл духовой оркестр. На высокой ноте звенела циркульная пила. На скамеечках, под розовеющими буками бульвара, сидели парочки.

Подъезжая к дому, мы поделились с Павлом впечатлениями.

— Тебе что больше запомнилось?

— Бледненький мальчуган,— ответил он.

— А мне — доска...

— Какая доска?

— А та, на тракторном...

Действительно, эта свежая, гибкая золотистая доска, вздрагивающая на плече рабочего, на фоне заводских развалин символизировала оживающий Харьков, возрождение жизни, неиссякаемость творческой энергии народа.

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА

Вот уже несколько дней не раскрывал дневника. События на фронте развертываются с кинематографической быстротой. Ездить приходится столько, что перестали считать дни. Не прошло и недели, как на прощанье сфотографировались всей журналистской братией на крылечке дома с нашим Пифагором, а кажется, что это было уже давным-давно.

Давно ли мы слушали гром артиллерийской музыки на мжинском рубеже? А вчера мы чуть было не опозда-

ли ко взятию Полтавы, находящейся более чем в ста двадцати километрах от Мжи, за широкой и полноводной Ворсклой.

После Мжи противник несколько раз пробовал закрепиться, используя для этого «орешки» и серьезные рубежи на реке Ольховатке, по руслам ручьев Мерчик, Орель и других. Он пытался если не остановить, то хотя бы измотать части нашего фронта, замедлить их стремительное продвижение в долину Ворсклы. Но и это не удалось. Наши наступали неудержимо быстро. Следя за развитием сражения на Полтавском плацдарме, характерного смелостью тактических ходов, быстротой перегруппировок, маневром, стремительностью, большим напряжением и быстротечностью боев, мы видели, как в оборону противника все время врезаются то тут, то там наши клинья. Знакомый почерк генерала Конева, применявшего эти маневренные приемы еще в трагические дни лета 1941 года на Западном фронте.

Чтобы не дать противнику остановиться и закопаться в землю, подвижные части Красной Армии, как кинжалы, вонзаются в его расположения, смело двигаются дальше в глубину отступающих немецких частей, отсекая им пути отхода. Это расстраивает отступление, ослабляет силу сопротивления, вынуждает бросать технику и имущество — признак назревающей паники.

Преследуя отходящие войска, наши части прорвались в зеленую, поросшую кудрявым ракитником долину Ворсклы — историческую долину, где русская армия под водительством Петра Великого в дни своей ратной юности разбила и уничтожила армию шведов, считавшуюся в то время сильнейшей и непобедимой. Про эту битву Фридрих Энгельс писал: «Карл XII сделал попытку вторгнуться в Россию; этим он погубил Швецию и воочию показал неприступность России». А вот Адольф Гитлер повторил эту попытку и, кажется, с тем же результатом, хотя о результатах, конечно, трудно еще говорить.

Никогда не забуду, как мы с Ковановым и моим новым коллегой по «Правде», капитаном Аркадием Ростковым, на ковановской машине, странном гибриде из полуторатонки, от которой взяты задние колеса и ходовые части, и старенького «газика»-фаэтона, от которого остались передние колеса и кузов, неслись к Полтаве, стараясь поспеть к финалу этой второй исторической Полтавской битвы.

Сама дорога, по которой мы неслись, свидетельствовала о стремительности нашего наступления. Навстречу тянулся многоверстный человеческий поток. Шли юноши, девушки, мужчины, женщины; они шли усталые, голодные, в разбитой обуви, в ветхой одежде. Это были люди, которых фашисты гнали в Германию и которых наши подвижные части отбили где-то в районе Валков.

У деревни Хромово мы видели брошенные противником гужевые обозы, вереницы телег, доверху груженных зерном, солдатскими посылками, скарбом. Кто-то распорол несколько таких посылок: оттуда выглянули старые женские кофты, спидницы, плахты, вышитые рушники и даже детская кукла — недоставленный подарок папаши-грабителя.

На станции Валки стоят длинные эшелоны с мукой, зерном, солью. У товарных платформ толпятся трофейные машины. Их не успели даже сжечь. Бензин в баках. Садись и поезжай.

Под вечер, притушив фары, мы подъехали к северному пригороду Полтавы. Бой в разгаре. Огонь обеих сторон жесток, обстановка настолько неясная, что мы, прежде чем двигаться дальше, решили заехать на командный пункт гвардейской дивизии.

В земляной норе, вырытой в песчаном холме, начальник оперативного отдела, бледный и сердитый майор, коротко, но толково рассказал об обстановке. Дивизия, захватив восточный пригород Полтавы, прорвалась к реке и завязала бой за переправу. Соседи справа и слева уже переправились через Ворсклу южнее и севернее города. Сейчас зажимают противника в клещи.

Оккупанты сопротивляются. Их батареи засыпают снарядами подступы к переправам, а танковые группы, непрерывно бросаясь в новые и новые атаки, стараются отбить концы протянувшихся через Ворсклу клещей.

Неожиданно майор опустил голову на карту и через мгновение крепко спал, не успев ответить на наши вопросы. Мы вышли из землянки. Ночь была на исходе. В предрассветных сумерках менее яркими казались вспышки выстрелов и разрывов, походившие на те осенние зарницы, что, по народному преданию, «вызоривают» поспевающие овсы. И вдруг повеяло чем-то родным, напоминающим детство. Не сразу понял я, откуда взялось это ощущение, но, вдохнув поглубже, догадался — сосны.

Сосны глухо шумели вершинами. Их стволы при свете

луны казались медными. Вершины наклонялись друг к другу, будто бы перешептывались. Сколько времени я не видел этого дерева моих родных краев!

Я сел на песчаный холмик, и сейчас же два голоса, доносившиеся из ночной тьмы, привлекли внимание. Один, низкий, хрипловатый, взволнованно говорил:

— А ей-богу, товарищ майор, он, генерал Конев! Провалиться мне вот здесь — Конев! Я его вот так, как вас, видел. Как только он пришел к нам, на батарею, сразу и заметил— высокий, плотный такой, в плаще. За ним автоматчики. Ну, думаю, не иначе большое начальство. И, как полагается, рубаю: так и так, батарея легких минометов под командованием старшего сержанта Кулакова ведет огонь по позициям противника; убит командир батареи лейтенант Савушкин и трое бойцов, ранено четыре. Принял командование на себя. Он спрашивает: «Где цель, как противник?» Я ему все выкладываю по порядку. Он говорит: «Молодец, Кулаков, спасибо за службу...» Вот, ей-богу, так и сказал: «Спасибо за службу». А немец тем временем по нашему холмику опять снарядами плевать начал. Рвутся они, а он, Конев-то, и глазом не ведет. Офицеры там с ним были, засуетились. Генерал один говорит: «Товарищ командующий, пойдемте!» Так и так, тут, дескать, небезопасно. А он без внимания, спрашивает меня: давно ли служу, воевал ли в империалистическую? Тут снарядишко один возле хлопнул, песком по нем полыхнуло. Ну говорит он мне: «Прощай, солдат!» — и руку подал. «Смотри,— говорит,— стреляй лучше». Я что ж: «Рад,—говорю,— стараться!» Ну он и ушел. И заметил я — с лица спокойный; шаг ровный такой, словно бы по улице гулял.

— А откуда ты все-таки знаешь, что именно Конев? — с сомнением спросил другой голос.

— А когда они уходили, один майор с ним был, маленький такой, белявый, подошел мою фамилию записать; спрашиваю его: кто они, дескать, будут-то, товарищ майор? А он говорит: «Чудак, не видишь, сам командующий фронтом товарищ Конев...»

Между тем огневой бой за рекой стал не то чтобы стихать, а как-то отодвигаться вглубь. В городе запылало несколько больших пожаров. Зарева, поднявшиеся в разных его концах, скоро слились в одно, большое. Белесый, тусклый рассвет занимался и над Полтавой, уже

обозначившейся на холмах за густым приречным туманом.

В оперативном отделе дивизии подтвердили сообщение, что два полка перебрались через реку. Обстрел восточного берега и переправ прекратился. Бой идет на дальней западной окраине.

Пора! Мы едем по шоссе в восточный пригород, сильно пострадавший от сегодняшней канонады. Улицы загромождены упавшими телеграфными столбами, завитками проволоки. Ехать приходится медленно, осторожно, но, как и всегда бывает в зоне обстрела, хочется нестись сломя голову. По сбивчивым и противоречивым сведениям, полученным от встречных офицеров, где-то южнее города уже наведен мост. Где-то! Это слишком неопределенно. Его может и не быть, а канонада уже стихает.

Простившись со спутниками, отправившимися искать переправу, я бегу к реке. Здесь, у обрушенного в воду железнодорожного моста, толпа. Пожилой сапер с забинтованной головой перевозит военных на резиновой лодке. Берет он по три человека. Среди ожидающих шум, споры. Каждый отстаивает свое право первым попасть в город. Пожилой военный в очках кричит, что там его ждут раненые. Молоденький лейтенант машет запечатанным пакетом: «От командующего». Два пехотинца, относившие в тыл раненого офицера, жалобно засматривают в глаза окружающим, убеждают:

— Невозможно ж нам, братцы, ждать, там наши бьются. А мы, выходит, вроде сачкуем.

Я достаю красную сафьяновую книжечку с тисненым словом «Правда». Как и всегда, это производит магическое действие. Со следующей лодкой отплываем — врач, лейтенант с пакетом и я. Нас провожают такими взглядами, будто лодка везет нас в обетованную землю, а не в пылающий город, на улицах которого еще рвутся мины. Впрочем, выстрелы звучат уже редко и беспорядочно. Это агония. Стреляют батареи прикрытия, а основные вражеские силы, по-видимому, уже ушли и пробиваются сквозь смыкающиеся клещи. Битва за Полтаву выиграна. Солнце, поднимающееся из-за зеленых холмов, озаряет освобожденный город.

На узких улицах предместья Подол еще пусто, люди только начинают робко выглядывать из-за приоткрытых ставней, калиток, из подворотен. Человек десять автоматчиков в пятнистых маскировочных комбинезонах, уста-

лые, небритые, с черными от копоти лицами, идут вдоль улицы. На них смотрят и точно не верят глазам. Два года хозяйничанья оккупантов, должно быть, отучили полтавчан улыбаться. Но вот несколько женщин выскакивают из садика, бросаются к автоматчикам, обнимают их. Ребята оказываются в центре толпы, смущенные, взволнованные. Их долго не отпускают. А потом, когда они идут дальше, толпа двигается вместе с ними.

Жители Полтавы окончательно убедились, что вернулись свои. Домохозяева поспешно опустошают свои сады. Пожилые женщины, девушки, ребятишки бегут за военными с пышными осенними букетами. Я никогда еще не видел столько цветов. Они привязаны к штыкам двигающейся пехоты, добрые руки украсили ими сбруи кавалерийских коней, цветы бросают даже под колеса пушек, а на орудие головного танка надет венок из красных астр. С охапкой букетов проходит по улице молодой генерал, командир одной из дивизий, взявших Полтаву. Его встречают криками «ура». Толпа идет вслед за ним. Генерал смущен. Он едва успевает отвечать на поклоны, не зная, что делать с такой уймой цветов — бросить нельзя, нести неудобно.

С десяток добровольцев вызвались проводить меня по незнакомому городу, и каждый наперебой старается рассказать все, что накопилось у него на сердце за два страшных года.

Сначала они ведут меня к городской бане, возле которой стоят молчаливые люди. Нас пропускают. В вестибюле тридцать четыре трупа — мужчины, юноши, девушки.

Их сложили рядком, прикрыли простынями. Эсэсовцы, по-видимому, рассчитывали сжечь эти трупы вместе с баней, но отсыревшие стены ее не занялись. Пожар прекратился, и злодейство, которое они пытались спрятать в огне, открылось.

У каждого пулей пробит затылок. Кто эти несчастные?

Иван Андреевич Зубенко рассказал нам их историю. Это жители окрестных улиц — рабочие, служащие, домашние хозяйки. Позавчера каждый из них получил извещение, что ему надлежит к шести утра явиться в здание бывшей бани для отправки в Германию. Они не пошли. Команда эсэсовцев нашла их, привела на пункт вербовки. Тут же была учинена расправа. Пуля в затылок, и все.

В последние недели жизнь в Полтаве стала кошмаром. Видя, что наше наступление не остановить, фашистские военные власти стали угонять население. Началась охота на людей, охота настоящая, с ружьями, с собаками.

Сотни людей были убиты в Полтаве во время этих облав, много семей осиротело.

Но самое отвратительное совершилось в последнюю ночь, в ту, которая только что закончилась. В маленьких домиках на Клетской и Острогорской улицах, где жители оказывали особенно упорное сопротивление попыткам вывезти их, в каждом доме можно найти один, два, а то и три трупа. Расстреливали без разбору. Пенсионерка Екатерина Михайловна Суходольская, у которой один из эсэсовцев жил на квартире, рассказала, что он заявил ей:

— Мужчин мы уничтожаем для того, чтобы они против нас потом не воевали; женщин — чтобы они потом не настраивали мужчин против Германии, а детей потому, что, когда они вырастут, они захотят нам мстить и будут нашими врагами.

Логика!

На Мироносицкой улице, на выезде из города, мы увидели такую картину: между двумя глухими заборами лежали люди, раздавленные гусеницами танка. Спасшийся от этой участи рабочий мельзавода, Карп Дмитриенко, рассказал, что это те, кого под конвоем уже гнали в Германию. По дороге они пытались бежать. Конвоиры открыли стрельбу. Люди, которым свобода была дороже жизни на чужбине, побежали еще быстрее. Тогда шедшие сзади два танка ринулись на них и, двигаясь зигзагами вдоль улицы, стали давить их гусеницами.

Перед зданием краеведческого музея, на тротуаре, лежат обугленные тела. Среди них — молодая женщина и белокурая девочка лет десяти. Это неизвестные пока герои, пытавшиеся потушить подожженный музей.

Памятник Шевченко вандалы также не пощадили. Они повредили монумент. Но глаза на лице поэта сохранились. Они смотрят сурово и гневно. Тарас Шевченко словно повторяет своим взглядом:

І вражою злою кровію волю окропіте.

Эти слова прямо обращены к нашим войскам, движущимся по улицам города вслед за врагом, на запад, к Днепру.

Блокнот исписан, нужно подумать о том, как добраться до телеграфа. Путь без малого восемьдесят километров. Иду в центральный сквер к обелиску Славы. Уже выставлены караулы и на постамент возложены венки. Журналистам нипочем не миновать этого памятника. Расчет оправдывается. Вот быстро несется через сквер украшенный цветами вездеход. На плоском капоте машины стоит со своей «лейкой» возбужденный Рюмкин. Соскочив с машины, он двумя аппаратами снимает памятник, часовых у памятника, толпу. Его товарищ, фоторепортер Озерский, снимает, не слезая с машины. Это странно. Темперамент Озерского мне отлично известен.

Сажусь в их машину. Вместе едем по улицам. Тут выясняется, что вчера вечером Рюмкин и Озерский, пробравшиеся к самой Ворскле, попали под обстрел. Их проводник был убит. Озерский ранен в ногу осколком мины. Рюмкин взвалил товарища на плечи и вынес его из зоны обстрела. Потом, когда на полковом перевязочном пункте Озерскому разрезали сапог и забинтовали ногу, он отказался ложиться в госпиталь или эвакуироваться в тыл. Ведь Полтаву вот-вот возьмут. Разве можно возвращаться без полтавских фотографий? Утром шофер и Рюмкин посадили его в машину, подперли подушками, и вот они здесь, снимают город.

БАБУШКА ГАННА И ДРУГИЕ

Опять днем и ночью мы слышим близкий орудийный гром.

Генерал армии Конев перенес свой командный пункт далеко за Полтаву, в поселок Решетиловку, славившуюся до войны на весь мир своими народными вышивками, которые так и назывались — решетиловскими. Это своеобразный, сложившийся в веках украинский палех, и решетиловские мастерицы известны, говорят, были и во времена Богдана Хмельницкого. Искусство тончайшей вышивки, искусство подбора цветных ниток и искусство составления красок, которыми эти нитки окрашивались, передавалось из поколения в поколение, шло от прабабок к правнучкам, постепенно совершенствуясь и не теряя своей самобытности.

Мы живем в маленькой беленькой хатке, в крохотной, напоминающей шкатулку комнатке, стены которой богато украшены старинными, вышитыми красными и чер-

ными крестиками рушниками и салфетками. Искусная рука изобразила на них цветы и травы вечной, неувядающей красоты. Все это, при оккупантах зарытое в землю под печкой, наша хозяйка — бабушка Ганна — извлекла теперь на свет божий, развесила по стенам: пусть глаз людей радует.

Все мы сходимся на том, что за долгие годы фронтовых скитаний у нас еще никогда не было такого хорошего жилья. Бабушка Ганна — мать четырех сынов-красноармейцев. Дочь ее, Настя, и внуки сразу же подружились с чадолюбивым Петровичем. С рассветом бабушка Ганна — маленькая, быстрая, проворная, в чулках, чтобы не будить нас, начинает хлопотать у печки. Она ревниво следит за тем, чтобы ее постояльцам, как она называет офицеров и солдат, жилось хорошо. Утром, одеваясь, мы неожиданно обнаруживаем, что вернувшиеся из стирки носки заштопаны, пуговицы на шинелях пришиты, петли подкреплены. А отправляясь в поездку, вдруг обнаруживаем в карманах запасы жареных подсолнухов или тыквенных семечек. Можно, конечно, поразному относиться к этим лакомствам, но такая забота хоть кого растрогает.

Сегодня произошел конфузный инцидент. Мы решили расплатиться с нашей хозяйкой за все, что она для нас делает, и дали деньги ее дочери. Через полчаса вошла сама бабушка, сердитая, обиженная. Она положила деньги на стол и сказала с сердцем:

— Нехорошо, товарищи командиры, я к вам всей душой, а вы мне деньги. Почто старую обижаете?

Думая об этом маленьком инциденте, я решил записать несколько примеров героизма наших женщин, о которых пришлось слышать в дни этого нового большого наступления.

Жительница города Люботина, домашняя хозяйка Вера Васильевна Сахно, копая вечером свой огород, стала свидетельницей неравного воздушного боя. Увлекшись преследованием вражеских бомбардировщиков, один наш «ястребок» залетел далеко на оккупированную территорию. Его перехватили три «мессера». Он принял бой. Отважно дрался один против троих, ловко увертываясь от их наскоков, и сам нападал. Вера Васильевна, опершись на лопату, с замирающим сердцем следила за этим боем. Вот один «мессер» был сбит. Факелом полетел он

к земле. Но тут и «ястребок» задымился, накренился вправо и, медленно перевертываясь через крыло, полетел вниз. Через мгновение от него отделилась черная точка, и над ней вспыхнуло маленькое облачко. Оно превратилось в парашют, летчик, качаясь на стропах, стал медленно опускаться, и несло его, как казалось со стороны, на самые городские крыши. Он приземлился на огороде, возле Веры Васильевны, стукнулся о землю и неподвижно застыл на грядках.

Женщина знала, что с земли, наверное, следили за ним и дружеские и вражеские глаза, что, вероятно, видели, где он упал. Она знала, что начнутся поиски и гебитскомендатура перевернет все вверх дном, чтобы его найти. Знала она также, что гестаповцы могут замучить любого, кто спрячет советского воина. И все же ей в голову не пришло в момент, когда летчик, раненный, неподвижно лежал перед нею на грядках, хотя бы засомневаться в том, как ей надо поступать. Стараясь привести его в чувство, она уже думала, как и где ей его укрыть. В такие минуты даже слабые, неопытные люди становятся сильными, сообразительными. С силой, для нее просто невероятной, эта немолодая уже женщина подняла дюжего парня, поволокла его в сарайчик на огороде, уложила в свежее сено, укрыла, загородила досками, а на доски набросала всякого хлама. Потом она собрала и сожгла парашют, а следы падения перекопала. И когда мотоциклы жандармов, по очереди обшаривавших каждый дом, затрещали у ее ворот, она была на кухне и как ни в чем не бывало встретила немцев с картофелиной и ножиком в руках.

Конечно, из дома она никуда не выходила, никакого летчика не видела. Радушно пригласила жандармов осмотреть и дом, и сад, и огород. Даже предложила напиться чаю. Те, все осмотрев и ничего не найдя, отправились к соседям. Вера Васильевна побежала к «своему» летчику и с того дня почти две недели кормила его, поила, меняла повязки. Нашелся врач, который украдкой посещал раненого. Нашлась медицинская сестра, снабжавшая Веру Васильевну медикаментами. Все они, рискуя собственной жизнью, спасали жизнь летчика, помогая ему подняться на ноги.

Между тем оккупанты бесновались. Сотни глаз видели, как летчик приземлился, даже место, где это произошло. Но следы исчезали на окраинной улочке, точно

растаяли где-то среди садов. Гебитскомендант взял заложников, пригрозил: если в трехдневный срок летчик не обнаружится, заложников расстреляют. Тому, кто выдаст летчика, была обещана награда.

Летчика не выдали. Истекал третий день. Вся улица, затаив дыхание, ждала мести. Но гебитскоменданту не удалось осуществить угрозу: Советская Армия вступила в Люботин.

На одной из улиц города нашу разведку встретила пожилая женщина. Стоя возле своей калитки, она поддерживала спасенного ею лейтенанта Киреева.

Село Дары Харьковской области было еще в глубоком тылу неприятеля, сюда лишь едва доносились отдаленные звуки наших дальнобойных орудий, когда однажды под вечер перед двумя крестьянками этого села — Екатериной Петровной Вакуленко и ее дочерью Дуней — из шелестящих зарослей кукурузы неожиданно предстало несколько красноармейцев. Женщины не поверили глазам. Они ждали, конечно, Красную Армию, но бои-то вон еще где, а тут перед ними бойцы в форме, со всеми знаками различия и оружием. Некоторое время женщины и красноармейцы молча изучали друг друга, потом один из бойцов сказал:

— Мать, мы разведчики, понимаешь? — И когда та, вскрикнув, бросилась к нему, он приложил палец к губам.— Тише, у нас важное поручение. Надо действовать бесшумно.

Это была разведывательная группа сержанта Тимощука. В дом разведчики не пошли. Устроились в кукурузе. Женщины принесли туда еду, рассказали, сколько и где стоит немцев, где у них пушки, где они замаскировали танки, в каких хатах живут офицеры. Словом, ответили на все вопросы.

Всего, разумеется, они так вот сразу вспомнить не могли, и Дуня несколько раз бегала по деревне уточнять свои сведения. Под вечер разведчики уже знали все, что им было нужно. Но сержант Тимощук вошел во вкус: не худо бы захватить «языка». Дуня вызвалась и тут помочь. Она знала, что скоро немцы пойдут на ужин, и указала место, где можно их подкараулить. Больше того, она пошла навстречу немцам, выбрала из них солдата, который был поменьше ростом, рассудив, что такого будет легче и удобней тащить, и затеяла с ним ко-

кетливую беседу. Солдат отстал от других. Разведчики набросились на него, заткнули ему рот, связали ремнями, затащили в хату и спрятали на горище, как в здешних краях называют чердаки.

Решено было дождаться ночи, а когда падет осенний, густой в этих краях туман, двинуться в обратный путь. Но тут и была допущена ошибка. Пропавшего хватились, начались поиски, вспомнили, что он останавливался с какой-то девушкой, пошли по хатам.

Дошли и до хаты Вакуленко, где разведчики прятались на чердаке вместе со своим живым трофеем. Мать и дочь не растерялись, притворились гостеприимными хозяйками, напоили солдат молоком, угостили лепешками. Девушка, в которой, вероятно, жила непроявившаяся актриса, с величайшей готовностью принимала участие в поисках: выскакивала во двор, звала пропавшего по имени.

Связанный немец все слышал. Пытался как-нибудь посигналить, но его крепко держали. Ночью, когда все успокоились, Дуня повела разведчиков обходными полевыми тропами в обратный путь и, выведя за посты охраны немцев, пожелала им скорого возвращения.

А Софья Николаевна Кривчинова из деревни Клейменово показала благородство своей души в еще более трудных условиях. В эту деревню передовая рота наступающих частей ворвалась внезапно. Но закрепиться не сумела и после короткой стычки была выбита вражескими танками. Она отошла, оставив нескольких раненых. Двое из них — сержант Павел Веслов и рядовой Александр Скрынин — остались лежать в подсолнухах за домом Кривчиновых. Софья Николаевна решила их спасти. Она перевела их в дом, уложила в чуланчике на пуховике и завалила вход всякой рухлядью.

На беду, вечером именно в этот дом квартирьер привел экипаж одного из танков.

Раненые лежали за стеной, каждый шорох мог возбудить подозрение. По ночам, когда танкисты спали, Софья Николаевна проникала к раненым, приносила пищу, делала перевязки. Все шло вроде бы неплохо, и она привыкла, как говорится, ходить по острию бритвы.

Но случилось так, что кто-то поджег склад с боеприпасами, а может, он и сам загорелся от неосторожного обращения с огнем. Оккупанты взбесились. Нескольких мужчин, первых, кто попал под руку, тут же расстреля-

ли. Остальным жителям было приказано убираться из деревни. Уходя, Софья Николаевна успела подбросить своим раненым ковригу хлеба, кусок сала, огурцы, соленые помидоры. Уже когда были за деревней, она вдруг вспомнила, что не оставила им воды. Вспомнила и пришла в ужас. И вот ночью эта немолодая уже женщина поползла по канавам, по огородам в занятую врагом и уже очищенную от жителей деревню, прокралась к своей хате и через слуховое окошко передала кринку с водой. Ей грозила верная смерть. Смерть ждала всех, кто самовольно возвращался в так называемую «мертвую зону». Но о своей жизни Софья Николаевна, по-видимому, не думала, а может быть, думала о своем сыне Сергее, который тоже — кто знает? — в эту минуту нуждался в чьей-то помощи.

Как бы там ни было, снабдив своих раненых водой, она пробралась через линию фронта, попросила отвести ее к командиру, рассказала ему положение дела и стала убеждать его скорее отбить деревню.

Это входило в планы наступления. Командир мог обещать осуществить это немедленно. Софья Николаевна подробно рассказала, как деревня укреплена, где стоят танки, в каких хатах живут офицеры. Утром она сама провела батальон к околице.

Еще шел бой, еще свистели пули и взрывы потрясали хаты, а женщина уже добралась до заветного чулана, отбросила рухлядь, загромождавшую вход, раскрыла настежь дверь, и впервые за долгое время раненые получили возможность глубоко вдохнуть свежий воздух.

То, что совершила эта женщина, в сущности, повседневность. Это были народной войны. И когда, луща по пути семечки, заботливо положенные бабушкой Ганной на дорогу в карман шинели, думаешь обо всем этом, как-то с особой силой ощущаешь, как же широко и благородно женское сердце.

ВОКРУГ ЗНАМЕНИ

Сегодня знакомый офицер в штабе танковых войск рассказал нам историю о том, как крестьянская семья два года сохраняла от немцев знамя разбитого в этих краях танкового полка.

Случай не новый. Вокруг знамен, превратностями

военной судьбы оказавшихся на территории, занятой противником, развертывалось немало героических историй. Но этот случай особенный. Подробности его настолько интересны, что мы с Павлом Ковановым решили немедленно же выехать на место — в деревню Попивку, где все это совершилось. Как раз сегодня туда направляется заместитель командующего бронетанковых войск для торжественной церемонии принятия спасенного знамени. Мы ориентировались по его карте и отправились в путь.

Долго колесили по полям, разыскивая эту самую Попивку, которая, как оказалось впоследствии, значилась по карте как Поповка, и на церемонию опоздали. Но генерал показал нам знамя, уже охранявшееся почетным караулом, а потом от свидетелей и очевидцев мы узнали его историю.

...Вот он, этот кусок тяжелого шелка, знамя восемнадцатого танкового полка, за которое почти два года шла глухая, но жестокая и героическая борьба. В ней участвовало много людей. Но главными героинями этой борьбы были пожилая колхозница с усталым, изборожденным морщинами, умным, суровым лицом— Ульяна Михайловна Белогруд и ее дочь Марийка, семнадцатилетняя девушка, типичная украинская красавица, всем обликом своим напоминающая портреты кисти юного Тараса Шевченко.

Борьба за знамя началась в сентябре 1941 года тут, на Полтавщине. Бронированные армии генерала Клейста, форсировав Днепр, рвались тогда к Харькову. Жестокие бои развертывались на этих бескрайних равнинах, на неубранных пшеничных полях. Остатки танкового полка, отрезанные от своих частей и оказавшиеся в глубоком тылу неприятельских армий, не сдавались и продолжали вести борьбу. Танкисты устраивали засады на дорогах, нападали на немецкие обозы, старались по мере своих очень небольших уже сил дезорганизовать вражеские тылы.

Давно кончился бензин. Боевые машины заправляли в окрестных МТС. Боеприпасы брали с подбитых танков и продолжали воевать.

В этих неравных боях теряли машину за машиной. Наконец двадцать пятого сентября в бою у Оржицы, где танкисты неожиданно наскочили на артиллерийскую засаду, были потеряны последние две машины. От полка осталось восемь человек — старший лейтенант Василий Шамриха, политрук Степан Шаповаленко, лейтенант

Леонид Якута, старшина Григорий Лысенко, рядовые Никита Яковлев, Лев Насонов, Николай Ожерелов и Александр Савельев. Это были танкисты без танков, очутившиеся в глубине оккупированной территории.

Но они и не думали сдаваться. Ночью в болоте у Оржицы, в шелестящих зарослях камыша, Василий Шамриха сделал привал. Он достал из-за пазухи завернутое в рубашку полковое знамя, развернул его, прижал к сердцу скользкий шелк и сказал торжественно и решительно:

— Пока мы все восемь держим оружие, пока у нас это знамя, наш полк не побежден, он существует. Он воюет. Поклянемся, товарищи, перед этим вот знаменем, что оружия не сложим и, пока живы, не кончим воевать!

И, опустившись на колено, он поцеловал угол полотнища. За ним дали клятву его товарищи. Шамриха сложил знамя. Его зашили в подкладку ватной куртки, которую он носил.

Произошло то, что так характерно для этой войны, Великой Отечественной войны моего народа: воины, отрезанные от своей армии, не перестали быть воинами. Они превратились в партизан.

Может быть, когда фашистские армии будут разбиты, кто-нибудь из оставшихся в живых участников этой группы подсчитает, сколько им удалось в ту осень сжечь немецких машин, сколько уничтожить транспортов, сколько организовать в степи засад. Тогда им было не до подсчетов. Они действовали, они воевали. Лучшей оценкой их деятельности были, пожалуй, расклеенные немецкими гебитскомендатурами по Великокринскому, Кобелякскому и Решетиловскому районам Полтавщины объявления о появлении в этих местах «десантников в танкистских шлемах». Предписывалась крайняя осторожность при передвижении по степи. Местным жителям сулили премии и всяческие блага, если они помогут напасть на след этих таинственных «десантников» или приведут хотя бы одного из них.

Начались массовые облавы, слежки, аресты. Были вызваны даже эсэсовцы-кавалеристы, которые шныряли по степи. И хотя поля в этих местах голые, гладкие, как колено, и зимой на снегу можно заметить человека за несколько километров, партизаны из группы Шамрихи были неуловимы.

Теперь, конечно, можно выдать секрет их неуловимости. Он довольно прост. В окрестных деревнях танкисты завели надежных друзей. Когда полевая жандармерия окружала их в деревне, блокировав все входы и выходы, они и не думали убегать. Мог ли немецкий полевой жандарм заподозрить в шорнике, который исправлял упряжь лошадей, или в бондаре, клепавшем бочку, одного из таинственных партизан в черном шлеме. Могли, конечно, если бы лучше знали наш народ. Но они, должно быть, так и не научились в нем разбираться. А у партизан был обычный, не бросающийся в глаза облик.

Знамя хранили как зеницу ока. Когда группа шла на операцию, оно вместе с курткой перекочевывало к тому, кто оставался дома и не подвергался опасности. Но один из танкистов допустил оплошность. В минуту откровенности, мечтая о будущем, он похвастался какой-то сельской красавице, что у них хранится знамя танкового полка. Каким путем эта весть доползла до комендатуры, осталось невыясненным, но поиски усилились. За захваченное знамя, как говорят, в войсках противника полагается Рыцарский крест, чин офицера и месячный отпуск на родину. Было ради чего постараться. После долгих поисков немцам удалось напасть на след.

Однажды зимней ночью отряд окружил дом, где ночевал с группой партизан Шамриха. Жандармы ворвались в хату, арестовали Шамриху и вместе с ним Шаповаленко, Якуту и Лысенко. Их раздели донага. Вспороли всю одежду, изрезали ее на клочки. Знамени не нашли.

— Где знамя? — спрашивали у них.

Танкисты молчали.

Их начали пытать. Их выгнали на мороз, окатывали из ведра холодной водой и спрашивали:

— Где знамя?

Танкисты заживо превращались в ледяные статуи. Они замерзали и, замерзая, молчали.

А знамя между тем находилось под подкладкой тужурки бойца Ожерелова. Вместе с Насоновым и Яковлевым он сидел в избе крестьянина села Попивки, Павла Трофимовича Белогруда, обсуждая с ним, как теперь, когда каждому из них ежеминутно грозит арест, сберечь полковую святыню. Решено было, что три бойца пойдут партизанить в дальние районы, а знамя оставят на сохранение Павлу Трофимовичу.

Вечером Павел Трофимович собрал семью. Закрыл дверь на крючок, на засов, на щеколду, развернул на столе знамя и показал жене и дочери. Потом велел Марийке аккуратно сложить его и зашить в сатиновую наволочку. Сам он сколотил небольшой фанерный ящик, положил в него сверток со знаменем и прикрепил к тыльной части широкой скамьи в красном углу хаты.

— В случае что со мной произойдет, любой из вас, кто жив останется, храните знамя это свято и нерушимо до самого прихода советских частей. И когда наши придут, передайте то знамя самому главному из военных. Если же кого из вас о знамени пытать будут, пусть язык вырвут, очи выколют, душу вынут, ничего про него не говорить.

Старому Белогруду первому в семье пришлось выполнить этот свой наказ. Комендатура дозналась, что Шамриха бывал в Попивке у Белогрудов. Схватили Павла Трофимовича, брата его, Андрея Трофимовича, и еще одиннадцать попивских граждан и отвезли их в великокринскую тюрьму. Когда старому Белогруду вязали на спине руки, он успел шепнуть Ульяне Михайловне:

— Что бы ни случилось, о том ни гугу. Пуще глаза береги.

Арестованных крестьян в застенке ждала страшная пытка. Стремясь во что бы то ни стало узнать, где спрятано знамя, гестаповцы жгли братьев Белогрудов паяльными лампами, отрезали им уши, по одному выкололи глаза. Ослепленный, окровавленный, еле живой Белогруд хрипел:

— Не бачу... Не бачу, бисовы сыны... Не бачу, чтоб вы пропали!

С тем и умер украинский крестьянин Павло Белогруд, не выдав своей тайны, и тайна эта всей тяжестью легла на плечи его жены. Трудно сказать почему — сорвалось ли у кого-нибудь под пытками неосторожное слово или нашелся предатель,— но фашисты почему-то были твердо уверены, что знамя спрятано у Белогрудов, и всеми способами старались выведать тайну. Ульяне Михайловне сулили подарки, если она скажет, где спрятан оставленный партизанами сверток. Грозили пожаром, расстрелом, пытками. Подобно мужу, она упрямо отвечала: «Не знаю». А по ночам, когда в хате стихало, она сползала с печи, босиком кралась в передний угол и проверяла, тут ли оно, это знамя.

Тогда схватили трех ее детей: дочь Любу, сыновей Петра и Ивана, заперли их в сарае, сказали, что отправят в Германию. Ульяна Михайловна побежала в комендатуру выручать детей, но комендант только крикнул:

— Выдай то, что оставили партизаны. Детей вернем.

Всю ночь и день, и еще ночь проплакали, сидя обнявшись, Ульяна Михайловна и Марийка. Жаль было Любу. Горестно прощаться с сыновьями, так похожими на покойного Павла Трофимовича. Моментами мать колебалась. То и дело вставала она, шатающейся походкой подходила к красному углу — тут оно? Убеждалась, что тут, и опять подсаживалась к дочери, плакала и думала, как быть. Когда настало утро и переводчик опять спросил ее, отдаст ли она партизанский сверток, она встала, бледная, еле державшаяся на ногах, подняла на него исплаканные, ненавидящие глаза и ответила:

— Нема у меня никакого свертка. Не знаю я никаких партизан.

Так хранили мать и дочь еще год и семь месяцев полковое знамя, уверенные, что пройдут лихие времена и сбудутся слова покойного Павла Белогруда: настанет счастливый день, и по зеленой улице Попивки пройдут свои, которым она отдаст с такой мукой сохраненное знамя.

День этот начал приближаться. По большаку к Днепру потянулись немецкие обозы. Усталые, небритые, злые отступавшие палками погоняли истощенных волов и кляч. Гремели пыльные машины, груженные зерном, железом, станками. Ульяна Михайловна поняла: уходят. Но тут ее ждало еще одно испытание. Обгоняя отступавших оккупантов, по Полтавщине ползли слухи о том, что, отходя, они лютуют, все жгут, угоняют скот, людей. Зарево пожаров по ночам вставало над степью. Ульяна Михайловна думала: а знамя? Оно может сгореть вместе с хатой. Посоветовалась с дочерью и решила: знамя нужно держать при себе. Вынула его, вспорола наволочку, завернула в чистую холстину и этой холстиной обмотала себя. Так и ходила, не расставаясь с ним.

Фронт был уже близко. Части, квартировавшие в Попивке, ночью ворвались и начали жечь деревню. Уже под утро к хате Белогрудов подъехал на мотоцикле местный, уже знакомый гебитскомендант. Подошел к Ульяне Михайловне:

— Последний раз говорю: отдай нам этот сверток. Хату оставим, корову оставим, хлеб оставим, отдай.

— Нэ разумию я, про що вы такэ балакаетэ,— устало сказала женщина, прижавшись к забору.

Она смотрела, как солдаты обливали керосином ее просторную, крепкую хату, как поднимались языки огня по камышовой крыше, как огонь лизал резные голубые наличники и ставни, которые за год до войны с такой любовью вырезали ее муж с сыновьями.

И только когда оккупанты ушли, она упала на землю и залилась слезами возле пылающего дома.

— Мамо! Наши! Наши через Псёл перешли,— кричала Марийка, тряся за плечи бесчувственную Ульяну Михайловну.

Только эта весть привела ее в себя. Мать встала, сняла с себя холстину, и дочь увидела знамя, обернутое вокруг ее тела. Мать и дочь разгладили полотнище и пошли с ним через пылающую деревню к реке, от которой уже поднимались по дороге усталые, запыленные бойцы...

Вот история этого знамени, рассказанная нам Белогрудами, их соседями и партизанами Ожереловым, Яковлевым и Насоновым, которые снова стали танкистами и теперь вот приехали в Попивку для того, чтобы принять участие в церемонии.

Мы с Ковановым записали удивительную эту историю с протокольной точностью, ибо случай этот, при всей своей необычайности, является, как нам кажется, типичным штрихом борьбы нашего народа *.

Из Попивки мы выехали поздно. Ночь стояла над сожженной деревней. Псёл лениво катил полные и тихие воды в невысоких своих берегах, прикрытых старыми осокорями. Осколок луны сверкал над белыми хатками, над рядами тополей и отражался в воде зелеными отблесками. В тишине протяжно дергал коростель, оглушительно верещали в подсыхающей траве кузнечики, пахло степью, и странным казалось, что тут, на фоне этого тихого, гоголевского пейзажа, разыгралась драма вокруг

---

* После войны на основе этих старых фронтовых записей я написал рассказ «Знамя полка», вышедший в сборнике «Мы — советские люди». Вслед за этим незнакомые украинские читатели прислали мне газеты со статьями о трудовых подвигах Ульяны и Марии Белогруд. Получил я также письмо от Льва Николаевича Насонова, который, демобилизовавшись после войны, окончил медицинский институт и теперь работает врачом в Башкирии.

боевого знамени, стоившая жизни стольким людям, драма, в которой дух двух простых украинских женщин восторжествовал над всеми постигшими их бедами и испытаниями.

Да, никогда не устанешь удивляться величию духа нашего народа.

НА ДНЕПРЕ

Уже октябрь. Днем совсем тепло, но грязь непролазная.

Вчера я подобрал две немецкие листовки, которыми в последние дни нас стали забрасывать по ночам немецкие самолеты. Солдаты в наступлении находят этим листовкам преотличное применение гигиенического порядка. Но иногда, если научиться читать между строк, из листовок можно узнать любопытные вещи.

В одной из этих листовок, зеленой, говорится: «Западный берег Днепра германские инженеры одели в бетон и оковали железом. Мы создали неприступный Восточный вал, подобный Западному валу, созданному нами на Атлантическом побережье. Солдаты! Комиссары гонят вас на смерть. Смерть ждет вас на Днепре. Остановитесь, пока не поздно! Мы не хотим вашей крови». На обратной стороне листовки изображен бетонный каземат, окруженный цветущими подсолнухами, и два молодцеватого вида гитлеровца у орудия большого калибра.

На второй листовке «Восточный вал» изображен как рубикон смерти. Листовка вопит: «Остановитесь, безумные!»

Мы знаем цену сочинениям доктора Иозефа Геббельса. Но все же, несомненно, укрепления за Днепром есть, и, судя по всему, сильные. Я видел снимки фоторазведки, сделанные с самолета. Высокий крутой берег, уже сам по себе представляющий сильное прикрытие водной преграды, изрыт узорами окопов, по углам которых заметны замаскированные бугорки. Такими же узорами источены прибрежные холмы, находящиеся подальше от берега. Да и от перебежчиков с той стороны, которых в последнее время становится все больше, приходится слышать, что, начиная с весны, партии рабочих пригонялись на Днепр из глубинных районов Правобережной Украины. Несколько месяцев они что-то копали, строили, но что именно, держалось в строжайшей тайне. Местные жители были

отселены, и рабочим вообще запрещалось разговаривать с населением. Сейчас рабочих куда-то увезли под строгим конвоем.

Что представляет собой этот «Восточный вал»? Насколько он силен? Может ли он задержать наше наступление? Эти вопросы мы задали сегодня командующему фронта, принявшему нас, военных корреспондентов. Он еще больше загорел. Нос у него лупится, чувствуется, что много времени генерал проводит в частях. В острых голубых глазах его все время горит какой-то озорной огонек.

— На свете нет укреплений, которые смелый и умелый солдат не мог бы взять. Это, я надеюсь, вам известно? — ответил И. С. Конев.— Линия Мажино, стоившая французам много миллиардов, целые подземные бетонные города, которые они там понастроили за много лет и которые уже стало принято считать неприступными, как известно, не задержали немецкую армию. Мощно укрепленные районы превращались для французов просто в ловушки. Их блокировали, а подвижные части продолжали наступление, оставляя их в своем тылу.

Все дело в тщательной подготовке, в умении и в боевом духе,— резко подчеркивает он.— Боевого духа у нас сейчас не занимать, а умения... Посмотрим. Думается, что в ближайшие дни наши войска сумеют ответить вам на этот вопрос.

Из светелки, заменявшей командующему кабинет, я выходил последним. Он задержал меня...

— Мне кажется, что противник не очень-то надеется на этот свой пресловутый «Восточный вал». Что-то уж очень много сейчас они о нем трещат. А ведь когда так пугают, это признак того, что сами очень напуганы. Знаете: «Пес, чего лаешь?» — «Волков пугаю».— «А чего хвост поджал?» — «Волков боюсь»... Ведь тут, на Днепре, решается успех нашего наступления...

А Днепр рядом. Передовые наши части уже подступают к Кременчугу...

События наплывают одно на другое. Даже записывать не успеваешь. И все так значительно, что жалко, если что-нибудь забудется, затеряется в памяти.

Вот сейчас выдалась свободная ночка, и попробую-ка я записать по порядку события последних дней. Во-первых, части нашего Степного фронта взяли Кременчуг, тот самый город, который фон Манштейн назвал в

своем перехваченном нами приказе «городом-мостом» и который гитлеровская ставка решила удерживать как ворота для обратного наступления в степи Левобережной Украины.

Вероятно, поэтому сопротивление в Кременчуге было столь упорным, а битва за этот город стала действительно самой ожесточенной после сражения за Харьков. В ней держала испытание вражеская стойкость в обороне. И не выдержала. Впрочем, что там говорить, не для сегодняшнего дня записываю, сопротивлялись они здорово. Проявили редкую стойкость. Мы с самого Харькова не видели столько трупов и разбитой техники, сколько лежит сейчас в приднепровских полях, на подступах к Кременчугу.

Именно с улицы пылающего, полуразрушенного Кременчуга и увидел я впервые в моей жизни великий Днепр. Разглядывать долго не пришлось. Немцы на той стороне, в предместье Кременчуга — Крюкове. Их снайперы держат на прицеле все ближайшие улицы. Только покажешься — и начинает над головой посвистывать. Поэтому, чтобы осмотреть город, пришлось подождать темноты.

Днепр образует здесь некрутую извилину, и в его посеребренных луною водах кое-где просвечивают продолговатые отмели. Оборванное кружево моста провисло на высоких быках. На одном из сохранившихся пролетов можно при свете луны рассмотреть две фигуры. Они так и лежат, вцепившись друг в друга. Должно быть, дрались яростно, дрались, пока оба не истекли кровью. И теперь вот лежат — немец и наш боец, сжимая друг друга в последнем объятии, лежат как символ бушевавшего здесь сражения.

Снайперы стреляют и на звук. Поэтому, стараясь не шуметь, спускаемся к реке. Большая заводь, отделенная от стремнины песчаной косой, густо забита чем-то бесформенным, темным. Только очень приглядевшись, можно различить в этой массе отдельные фигуры.

Бойцы, сидящие под прикрытием гранитного быка, возле костерика, замаскированного железными листами, словоохотливо поясняют:

— Тут их в заводи богато понапихано. Быстрина-то за мостом сюда сворачивает, вот их в заводь течение и гонит. Изрядно их потонуло, плавать не умеют, что ли, или вода для них холодна.

Ночью, должно быть, подтянув артиллерию, противник начинает обстрел Кременчуга. С точки зрения военной, это совершенно нелепо, так как его командование не может не знать, что наши части в наступлении никогда не располагаются в только что занятых городах. Просто, вероятно, мстят беззащитному городу, желая отравить его жителям радость освобождения. Другого объяснения не придумаешь.

На обратном пути мы обгоняем человеческий поток. Сотни, тысячи людей с мешками, с рюкзаками, с узлами, с чемоданами и баулами вереницами бредут по обочинам дороги. У них измученный, истощенный и все же счастливый вид. Это несчастные из пеших партий, которых оккупанты, отступая, гнали в Германию.

Наши танковые и мотомеханизированные части, отрезав дороги, не дали возможность угнать их за Днепр. И вот теперь даже глухой ночью спешат эти люди в родные места, где, может быть, их уже и оплакали как покойников.

У «ВОСТОЧНОГО ВАЛА»

Уже под утро, сдав на телеграф корреспонденции об очищении Кременчугского плацдарма, мы с Павлом Ковановым добираемся наконец до нашей хаты. Усталые, запыленные, голодные.

В сенях встречает озабоченный Петрович.

— Наконец-то. Тут ваш друг, Вилюга, предпоследними словами вас поминал, куда вы делись?

Вызываю номер Вилюги.

Голос подполковника устал и брюзглив.

— Ну что же ты, брат, зеваешь? В Кременчуге был... Да что там Кременчуг! Мы форсировали Днепр, понимаешь? Да, да, а вы там по Кременчугам болтаетесь!

Весь корреспондентский корпус взбудоражен. Никто не спит. Все на ногах. «Пегашка» Петровича заправлена и готова в дорогу. Кроме обычных пассажиров, принимаем на борт корреспондента Совинформбюро, лейтенанта Лилояна, и несемся назад к Днепру, туда, где в него впадает река Новый Орлик и где, как нам сказали, на том,

на правом,— ведь это подумать только! — на правом берегу захвачен уже настоящий устойчивый плацдарм.

Рассвет застает нас в пути. Красивый украинский рассвет. Сначала на востоке чуть светлеет небо и постепенно прорисовывается ровный горизонт. Потом он розовеет, высвечиваются облака, отливающие перламутром. Наконец брызжут солнечные лучи, и вслед за ними над степью, еще седой от тумана, встает и само солнце— багровое, огромное, веселое, умытое холодной росой.

Дорога бежит по полям, на которых то там, то тут, будто струпья язв, сереет пепел сожженных стогов, мимо выгоревших сел, мимо пожелтевших яблонь, на которых висят сморщенные, спекшиеся плоды, мимо валяющихся в кюветах раздутых туш коров и лошадей.

Когда глаз привыкает к печальной панораме пожарищ и разрушений, как-то совсем неожиданно из-за крутого поворота дороги появляется вдруг большое, богатое, совершенно сохранившееся село, а меж хатами, в просветах вишневых садочков мы видим широкую водную гладь.

Днепр! Тут, на берегу великой реки, есть о чем подумать нам, советским людям. Ведь вот этим нашим сегодняшним днем и сейчас, и после войны, и, вероятно, много лет спустя будут заниматься историки, ища разгадку того, как Красная Армия за короткие часы, как говорится, с ходу форсировала эту величайшую из водных преград, стоящую на пути ее победного наступления.

Поднимут архивы, будут изучать приказы, оперативно-тактические карты, мемуары участников этого славного дела. Кажется, Наполеон, что ли, сказал: «Никто так не врет, как очевидцы». Ведь действительно, человеку, пережившему какое-то очень яркое историческое событие, всегда кажется, что он был на самом горячем участке, что тут-то и решилась судьба всего дела. Поэтому запишу-ка я сейчас то, что мы видели и пережили, чтобы со временем не превратиться в такого очевидца и не наговорить «бочку арестантов», как изволит выражаться Петрович.

Попробую набросать картину такой, какая сложилась у меня в голове. Там, на берегу Днепра, из рассказов участников форсирования.

Ой, Днипро, Днипро!
Ты широк, могуч.
Над тобой летят журавли.

Эту песню, суровую, как гимн, мы пели, помнится, еще у Харькова, в нашей хате, после того как Александр Довженко растревожил наши души своей новой пьесой. И что вы думаете? Когда мы на рассвете стояли над Днепром, журавли-то ведь действительно летели. Курлыкая, тянулись большим косяком над дорогами наступления, над сожженными селами, над измятыми, затоптанными полями и над прекрасной гладью Днепра.

Я понимаю майора Плешакова, опытного, осторожного воина, который, как рассказали нам по крайней мере уже с десяток людей, вчера вечером, прорвавшись со своими бойцами на этот вот низкий песчаный берег, бросился к реке, зачерпнул каской днепровскую воду и на глазах вражеских артиллеристов, бивших с того берега, медленно и жадно пил ее.

Конечно, картинно. Когда-то это, может быть, будет изображено на плакате, все превратится в красивую выдумку. А ведь было! И я понимаю движение души этого человека, столько уже повоевавшего, отступавшего, наступавшего, дважды раненного, потерявшего много товарищей, когда тут, у Днепра, куда прорвался его полк, он вдруг почувствовал себя древним витязем.

А может быть, и не почувствовал. Просто было жарко, хотелось пить, а руки были грязные, да и скоро ли утолишь жажду из пригоршни. Но как бы там ни было, на историю он явно не рассчитывал, и когда наши бурнопламенные деятели объектива стали упрашивать его повторить это «именно для истории», он в сердцах послал их туда, куда им идти явно не хотелось.

Я понимаю святое нетерпение саперов из батальона военного инженера Гильдулина, которые, пройдя в этот знойный день сорок пять километров, усталые, в сбитых сапогах, в гимнастерках, спины которых белы от соли, увидев Днепр, не отдыхая, бросились к стоявшим в ракитнике челнам и лодчонкам, вывели эту юркую флотилию в основное русло и стали переправлять пехоту на лесистый остров, лежащий у правого берега.

Впрочем, в этот знаменательный день каждый, должно быть, превосходил себя и без труда совершал то, что вчера бы и ему самому казалось невероятным.

Старые рыбаки, седобородые «диды» плакали от радости, вновь увидев красноармейцев на родном берегу. Они, знавшие на реке каждую косу, каждую мель, подтверждали, что «поганые» (так по-старинному они имепуют

фашистов) имеют сильные укрепления там, где места особенно удобны для переправ, где испокон века ходили паромы, а здесь, в широком, изобилующем косами и мелями месте, враг атаки не ждет, и у них на том берегу только батарея да заслоны на острове. Рыбаки обещали в сумерки тихо, незаметно провести челны с десантом на остров. Они клялись, бросали оземь шапки, всячески доказывая, что тут можно переправиться без потерь.

Командира роты саперов, гвардии капитана Николая Максименко долго уговаривать не надо было. Он сказал рыбакам «добре», и люди его по совету тех же рыбаков и по опыту, практиковавшемуся, как говорят, еще запорожцами, обмотали тряпьем весла и, двигаясь бесшумно, подвели челны к берегу и приняли на них первую группу автоматчиков.

— С богом,— сказал старый рыбак Степан Трофимович Невенчанный, севший на носу первого челна, и перекрестился на темный восток.

— Вперед! — скомандовал майор Плешаков.

Челны оторвались от берега, исчезли в белом тумане, тянувшемся над водной гладью. На перекатах плескалась щука, плакали кулики, волна шелестела у берега, да где-то далеко гремела канонада.

Внизу у кустов зашуршал песок. Хрипловатый, взволнованный голос доложил:

— Подчалили благополучно, выгрузились на косе, окапываются.

Так, в темноте, в молчании, флотилия рыбачьих челнов совершила несколько рейсов и на утлых суденышках перебросила через основное русло стрелковый батальон на остров Глино-Бородаевский. Подоспевшие понтонеры надули свои лодки и переправили вслед четыре легкие пушки.

Переправившись, люди маскировались за кустарником, окапывались. И все бесшумно, без огонька папироски, без громкого слова. Когда бойцы окопались на острове, майор дал две команды — «Огонь!» артиллеристам и пулеметчикам, а пехоте: «За мной, в атаку!»

Гром выстрелов и разрывов, неожиданно оборвавших речную тишину в самый глухой час ночи, и воинственные крики, вырвавшиеся разом из сотен грудей, бегущие стрелки, возникшие из седого тумана, ошеломили немногочисленный гарнизон острова, который в эту пору, естественно, спал.

Противник бросил окопы, блиндажи и обратился в бегство, оставив пулеметы, ящики с патронами и гранатами и даже кухни с варящимся к утру завтраком.

Почти не отстреливаясь, он отступал к западной части острова. Солдаты на ходу сбрасывали гимнастерки, пилотки, сапоги, кидались в воду, перебегая узкое горло последней протоки. В то время как наши пулеметчики, уже закрепившиеся на берегу, били по вылезавшим из воды солдатам, автоматчики преследовали их вброд. Проскочив низкую часть берега, немцы стали карабкаться по глиняным лесенкам, вырубленным в крутом и высоком правом берегу.

Теперь все решала быстрота. С неприступных круч несколько неприятельских пулеметчиков могли бы без труда отразить штурм целого полка. Командир прекрасно это понимал. Он знал, что, как только вражеское командование поймет возникшую угрозу и бросит сюда подкрепление, нечего будет и думать о том, чтобы форсировать в этом месте реку. В сущности, это понимали, вероятно, все. Поэтому, несмотря на крайнюю усталость, мокрые и даже босые бойцы по пятам отступающих карабкались на крутоярье, заняли подходы к лестницам и постепенно, накапливаясь наверху, захватили прибрежную часть села Домоткань и принялись окапываться на выходящем к берегу баштане.

Противник, конечно, тоже понимал, как велика для него опасность, хотя переправились еще очень небольшие силы. Русские за Днепром! Красная Армия преодолела великий водный барьер! Это нешуточные новости. Поэтому немецкая пехота, поддерживаемая артиллерией, принялась тотчас же и очень энергично контратаковать. Одновременно сильный неприятельский десант был высажен в северной части острова, получив задачу — не допустить подход наших подкреплений.

Но наши саперы уже подвели к острову паром. Подоспели основные силы понтонеров со своим парком. На воде колыхались резиновые баркасы, поднимавшие по целому взводу. Связь с островом становилась все более устойчивой. Через Днепр перетянули орудия. Эти силы ударили по вражескому десанту на острове, без труда отбросили его, прижали к воде и, вероятно, уничтожили значительную его часть.

Теперь вражеское командование, стянув силы, яростно било по переправе и по маленькому кусочку земли,

захваченному нами на правобережье. Немецкие танки вели огонь с окрестных высот, налетала авиация. Словом, дело разгорелось нешуточное...

Мы приехали на переправу в разгар боя. Оба берега грохотали и вздрагивали от непрерывных разрывов. Снаряды падали в воду, взметывали вверх зеленые фонтаны брызг. Мины, перелетая реку, зарывались в прибрежном песке. И все-таки переправа работала, с перебоями, с потерями, но работала. Мы увидели, как на сцепленных между собою помостом бревнах покачивается танк. Трактор трудолюбиво пыхтел на острове, таща орудие. А на той стороне, над деревней, в прозрачном осеннем воздухе стояли поднятые разрывом столбы пыли.

Гром канонады перекатывался по водной глади.

— Может быть, вам, корреспондентам, будет интересно узнать,— сказал нам полковник Мутовин, имеющий девять ранений в эту войну, человек крепко сложенный и на редкость красивый.— Саперы, копая ровики, нашли вот это.— Он показал нам эфес старой шпаги, ржавой, но до странности хорошо сохранившейся.— Должно быть, не мы первые форсируем здесь реку?

Полковник сам участвовал в переправе через Днепр, побывал на том берегу. Там его легко контузило. Он вынужден был форсировать реку в обратном направлении, и это явно огорчает его.

Рассказав историю переправы, показав ее нам, он категорически запретил перебираться днем на тот берег. И действительно, это было сейчас трудно. Над гладью Днепра высоко подпрыгивали стеклянные столбики разрывов, обрушиваясь потом вниз радужными брызгами. Паром, подвалив под защиту того берега, замер. Надувные лодки и челны, как утки, попрятались в камышах. Мелководный, изрезанный косами Днепр, сверкающий на солнце, был пустынен. Война как бы поднялась над рекой. Там плыли бомбардировщики, сражались истребители. Нет, здесь, конечно, не переправишься. Но не один же этот участок форсирован?

— Нет, не один. Говорят, перешли в нескольких местах, но это пока что ОБС — одна баба сказала. Верить не советую. Но о том, что реку перешел мой сосед слева, это точно известно,— говорит полковник и добавляет: — И как только ухитрился? Понтонов-то у него вовсе нет.

КАК ЭТО «НА ПОДСОБНЫХ СРЕДСТВАХ»?

Мы едем к «соседу» и тут узнаем такое, во что бедным военным историкам будущего, к которым мы всегда адресуемся в своих публицистических статьях, вероятно, действительно трудно будет поверить. Соседняя дивизия, двигаясь столь же стремительно, как говорят военные, «наступая на пятки неприятелю», прорвалась на участок берега, густо заросший камышом. Огромные шелестящие заросли весною, вероятно, совершенно непроходимы. Но сейчас осень, сухо. Батальоны двигались прямо по камышу, протаптывая в нем широкие дороги. Сопротивления неприятеля тут не было, ибо поблизости не было переправ. Сам Днепр здесь уже, чем перед селом Домоткань, а течение его, естественно, быстрее. Но разве могли солдаты, увидев перед собой реку, к которой в помыслах своих вслед за ними устремлялись все советские люди, остановиться, ждать подхода понтонеров и инженерных частей?

И вот тут-то и началась «переправа на подсобных средствах», так сказать, в чистом виде, вещь в общем-то военной науке известная, но вряд ли когда-либо после запорожских времен применявшаяся на такой широкой и полноводной реке, да еще при современных средствах обороны и наступления.

Рыбачьи челны в этой маленькой деревне, спрятанной в камышах, немцы, опасаясь партизан, давно уже не то порубили, не то пожгли. Вот тогда-то и были пущены в ход «подсобные средства» — ворота сараев, двери, плотики из связанных веревками плетней, бочки. Не умевшие плавать делали себе поплавки из снопов соломы или пучков камыша. Словом, придумывали кто что мог. Когда на реку спустился густой сивый туман, все это двинулось через Днепр, от мели к мели.

Разведку течение унесло вниз примерно на километр. Но, переправившись, она дала прямой наводкой по воде две зеленые ракеты, что означало: можно, высадились, окапываемся.

И тогда начался уже массовый переплыв.

— Так вот и форсировали, как наши предки при Владимире Красное Солнышко,— шутят офицеры, у которых, несмотря на усталость, прекрасное настроение.

Ходят разговоры, что переправились уже в пяти и даже будто бы в восьми местах. Но это пока лишь слухи, а вот две переправы мы видели собственными глазами.

И все это совершилось не стихийно. «Боевой порыв», «энтузиазм», «ярость мщения» и прочие такие нематериалистические факторы, которыми мы оснащаем свои корреспонденции, все они, конечно, были. Но не это решило успех. Генерал Конев не зря столько времени вместе с начальником штаба, генералом М. В. Захаровым, просидели над картой днепровской поймы. Понятно и то, за что в эти дни столько наших разведчиков получили боевые ордена. Вся эта операция, должно быть включая и переправу на воротах, бочках и снопах, была продумана и разработана во всех деталях, а оба берега тщательно разведаны и с воздуха и с реки.

А вот сейчас, когда мы уезжаем, артиллеристы занимают позиции в камышах на этом левом, пойменном берегу. Им предстоит прикрывать своим огнем пока еще маленькие плацдармики правобережья. Пока «пятачки». Командир батареи показал мне точную карту с указанием ориентиров и целей.

— Культурненько воевать стали,—сказал он.

Обратный путь ведет нас через огромный совхозный сад, на много километров растянувшийся по днепровской пойме. Сад запущен, зарос, но все же тенист и прекрасен. Какие-то девушки с большими корзинами собирают яблоки. Притормозив машину, попросили угостить. В ответ много рук стало бросать в спущенные окна щедрые пригоршни тяжелых, красивых, налитых соком яблок. Все мы вдруг вспомнили, что по-волчьи голодны, и яблоки эти нам заменили и позабытый завтрак, и несостоявшийся обед.

Прикатив с Днепра на телеграф с корреспонденциями, которые уже жили в голове, но которые еще нужно было писать, мы узнали, что, увы, не первые здесь с этими вестями. Есть у нас здесь два «варяжских гостя», приехавших к нам из Москвы «на эту операцию», неплохие в общем-то ребята, знатоки своего дела, но как раз из тех самых Пьеров, о которых не без сарказма говорил командующий. Когда к хате телеграфа причалил ковановский автогибрид, их машина, чистенькая, блещущая лаком, стояла под тополями на задворках. Один из ее владельцев, как нам сообщил шофер, уже «отбомбился», то есть передал в свою редакцию корреспонденцию о форсировании Днепра, составленную по добытым

«в опере», то есть в оперативном отделе, сведениям и дополненную собственным могучим воображением. Его уже отвезли отдыхать. Другой еще проталкивал свой очерк, где, конечно же, правый фланг наступал справа, левый стремительно двигался слева, а выброшенная вперед десантная группа расстраивала коммуникации противника.

А мне ДС, то есть дежурный связи,—славный, розовощекий старший лейтенант, поклонник литературы и друг военных корреспондентов, со смущенным видом вручил телеграмму из Москвы. Грозную телеграмму, где мой начальник ревниво извещал, что такая-то и такая газеты уже получили подробное описание форсирования Днепра, и требовал дать редколлегии объяснение, почему я до сих пор храню непонятное молчание... Молчание!

Гм-гм! Ну ничего! Переживем! И хотя, честно говоря, мне очень хотелось по-мальчишески дать по шее второму из Пьеров, еще суетившемуся в аппаратной, я только саркастически спросил:

— Ну как же там, за Днепром? Жарко? Стреляют?

Он не понял иронии и очень авторитетно подтвердил:

— Да, да, вы правы, обстановка очень сложная, очень...

В полночь, убедившись, что редакции наши получили первое сообщение с днепровской переправы, мы отправились назад. Противник все еще был рядом. Его минометы обстреливали причалы правобережья. Самолеты снова и снова принимались бомбить паромы и подходы к ним. Но переправа действовала уже регулярно.

ЧЕРЕЗ «ВОСТОЧНЫЙ ВАЛ»

Пока мы отписывались, инженерные войска, оказывается, успели организовать в заводи своеобразную верфь.

Тут чинили разбитые челны, подраненные паромы. Не успевали залатать пару лодок или резиновых поплавков, как с Днепра гнали уже новые, пробитые, а иногда и изрешеченные пулеметной очередью. Но переправы работали, работали регулярно.

Потоптавшись в кустах, преодолев в себе тягучую нерешительность, мы с Павлом Кովановым, стараясь идти как можно увереннее и беззаботнее, зашагали по скрипучему песку к наскоро сколоченным кладям причала. Скоро подвалил паром. С группой гвардейцев-автоматчи-

ков мы прыгнули на его помост, и он, солидно покачиваясь на прозрачной волне, медленно отвалил от берега.

И сразу мне вдруг живо припомнилась другая славная битва на другой великой реке. Вспомнился город-герой, многострадальный Сталинград, вспомнились его грохочущие дни, его багровые, немеркнущие ночи, несмолкаемый гул канонады, дома-бастионы, переправы, столь здорово описанные Константином Симоновым в его книге «Дни и ночи».

Вспомнился высокий волжский берег и узкая щель, выдолбленная в глине напротив развалин Сталинградского тракторного. Вспомнились носилки, лежащий на них обожженный танкист, перевязанный бинтами, его сверкающие из-под бинтов глаза, его бредовый шепот·

— Та чого вы мэнэ держытэ? Пустить. Дайте побачыть ридный Днипро. Чого вона в Днипри така мутна водыця...

На берегу русской Волги он бредил о далеком украинском Днепре, а когда приходил в сознание, долго смотрел на серо-желтую хмурую водную гладь, на стремительные водяные смерчи, возникавшие и падавшие в местах разрывов снарядов, на стеклянные гвоздики, подпрыгивавшие над водой, когда ее били пули, смотрел и мечтательно говорил:

— Сестрычка, а в Днипри вода не така — свитлая, як тая сльозыночка! Як бы швидше Днипро побачить, дийти бы до Днипра танками, тоди б и померты не страшно.— И, обращаясь к сестре, поддерживающей его, к раненому подполковнику, ожидавшему переправы, все спрашивал:— А скажить, скоро мы нимцив за Днипро спыхнемо?..

Ой, Днипро, Днипро,
Ты течешь вдали,
И вода твоя
Как слеза...

Как пели тогда эту песню! А давно ли это было?

И вот мы опять на Днепре. Плещется голубая его волна, облизывая бока резиновых шлюпок. Над головой изредка в обе стороны с шуршащим шелестом летят снаряды и рвутся, встряхивая берега.

Паромщик легкой переправы, гвардии рядовой Семен Щебенко, усмехается:

— Ишь лютует... А что тут вечером делал! Что твой град над рекой шел. Аж вода кипела. Лютует. Все

спихнуть нас с того берега хочет, уж так хочет, что и сказать не могу... Ан нет. На-кось выкуси!

Снаряд падает неподалеку. Всех нас обдает водой. Столб бурого дыма и водяная пыль взметываются высоко вверх, паром подпрыгивает и начинает тревожно качаться на волне.

— Тяжелыми жалует, не жалеет угощения,—усмехается паромщик, стирая широкой ладонью воду с лица и перебирая канат.— Чудак он, немец. Разве нас теперь спихнешь? Мы сейчас на ногах стоим, как дубы. Если мы вперед пошли, не остановишь. Раз красноармеец на берег встал — все, пяться, ноги уноси, коль живым хочешь быть.

Я не люблю хвастовства. Многих горьких дней стоило нам наше довоенное шапкозакидательство, все эти фильмы и песенки. Но тут другое. Тут глубоко пережитое. Тут подкрепленное жизненным опытом. Тут итог этих трех нечеловечески тяжких лет. Не хвастовство, нет. Просто житейский вывод.

Паром пересек быстрину, миновал основное русло, прошел мимо лесистого островка, облитого золотом и багрянцем осенней листвы, особенно яркой в лучах уже спустившегося к горизонту солнца, и беззвучно приткнулся к берегу.

Как-то не верится даже, что всего сутки назад под покровом ночи сюда вот, в густые, шуршащие заросли камыша, подходили первые рыбачьи челны с автоматчиками, вызвавшимися на операцию по собственной охоте. Воспользовавшись растерянностью противника, автоматчики передового батальона захватили вот тут, на правом берегу, всего небольшой клочок земли — баштан, кукурузник, зацепились за окраину деревни. Этот клочок был настолько мал, что насквозь простреливался в любом направлении. Но все-таки его было достаточно, чтобы укрепить на правобережье тросы парома, утвердить очень неустойчивые переправы и по ним под грохот перестрелки начать накапливание сил для расширения плацдарма.

Горстка смелых, закаленных солдат на куске земли площадью около гектара! Что это может означать по сравнению с укреплениями «Восточного вала», их гарнизонами, столь широко разрекламированными неутомимым

доктором Геббельсом. Так подумает, возможно, тот, кто когда-нибудь после войны, может быть, прочтет эти строчки. А между тем именно из этого семечка, а вернее, из этих нескольких семян и вырастает наша новая победа за Днепром. На этом примере жизнь еще раз доказывает, что умело примененная внезапность, помноженная на боевое мастерство солдат и распорядительность командиров, возведенная в степень идейной одухотворенности высоким боевым духом, может опрокинуть все арифметические расчеты.

Во всяком случае, так было тут, у села Домоткань.

Жертвы? Конечно же, были жертвы, и большие. Мертвых здесь пока что некогда и некому хоронить. Они так и лежат еще в зарослях камыша и на песке, у речной кромки, куда их выносит волна. Да, жертвы есть. Только Пьеры, воюющие по штабным картам, наступают без жертв, с громкими криками «ура», которые, кстати, в современной войне редко-редко услышишь и которые я лично в этом большом наступлении слышал один раз. Но как бы там ни было, переправа и под огнем работала, батальон вырос в полк, полк— в дивизию, и под ее нажимом стали по-настоящему трещать обручи «Восточного вала». Наш все увеличивающийся заднепровский гарнизон на этом участке уже заметно раздвигает и раздвинул границы первоначального «пятачка».

Сойдя с парома, мы поднялись было на глиняную кручу, чтобы прямиком идти на командный пункт, но часовой, возникший из ровика на баштане, среди разноцветных пузатых тыкв, остановил и посоветовал идти вкруговую, по оврагу, путем несколько более длинным, зато верным: с курганов противник отлично просматривал степь и бил даже по небольшим группам...

Да, не случайно все время приходит мне на память сравнение битвы, развертывающейся сейчас в Заднепровье, со Сталинградом. Масштабы, конечно, разные, но они похожи и по концентрации сил обеих сторон на узком участке, и по плотности артогня, и по количеству введенной в бой техники, и по яростной борьбе, которая тут тоже идет не за километры, а за метры.

Наш путь лежит через большое село Домоткань, местами совершенно разрушенное, местами совсем уцелевшее. Целые улицы — это цепи куч глины. Тополя,

стоявшие перед домами, срублены, сады за плетнями выкошены артиллерийским огнем. Эта часть села за сутки переходила шесть раз из рук в руки. Стремясь вырвать у нас этот заднепровский «пятачок», неприятель в общей сложности предпринял восемнадцать контратак пехотой и танками. Говорят, он положил у околицы села около двух с половиной тысяч стрелков. Впрочем, кто их под огнем считал? Ясно лишь, что положили много.

А вот танки, подбитые на деревенской улице, на огородах и дороге и на ближайших высотках, подсчитали мы сами, и вышло — двадцать один танк, три самоходные пушки, сгоревшие и разбитые. Эти наши подсчеты подтвердил лейтенант Коваль, сотрудник дивизионной газеты, большой любитель цифр. Он сказал также, что еще больше сокрушенной вражеской техники валяется за деревней во рву. Это тоже напомнило Сталинград, где бой за каждую улицу стоил сотен убитых и десятки машин.

Но как бы там ни было, Домоткань, стоящая на рокадной дороге, протянутой противником по правому берегу вдоль Днепра, осталась за нами. Сообщение прервано, и он лишен возможности маневрировать крупными силами. На этой дороге мы видели металлический верстовой столб. Верхняя часть его казалась просто пористой. Мы насчитали на нем восемнадцать пулевых вмятин и две рваные осколочные пробоины. На одном столбе!

Много «юнкерсов» висит над степью. Это все нацелено на наши переправы. Машины плывут высоко, последовательными волнами, четко соблюдая строй. Темный ряд зенитных разрывов мгновенно покрывает небо. «Юнкерсы» обходят переправы широким полукругом и начинают, басовито гудя моторами, подползать к передовым частям. Вот головные машины соскальзывают в пологое пике, мчатся на цель.

Но тут происходит такое, что мы как-то не сразу даже поняли: четкий строй «юнкерсов» вдруг расщепился, распался, машины заметались, разлетаясь в разные стороны. Вглядевшись, мы увидели, что с востока, со стороны солнца, на них бросились в атаку маленькие «Ла», у которых «под клювом» еле заметно посверкивают багровые огоньки.

Воздух заполняется короткими тресками, как будто кто-то рвет полотно. Звуки эти снизу слышатся совершенно безобидными. Но вот кувыркнулся и стал падать горящий бомбардировщик. Второй... Третий...

Остановился вдруг в воздухе маленький «ястребок» и стремительно кувыркнулся вниз. Черная точка отделилась от него. За ней выросло облачко. Летчик на парашюте. Наш летчик.

А между тем первая волна «юнкерсов», рассыпавшись, повернула назад, смяла строй второй. Все смешалось, бомбардировщики явно уходили, а юркие «Ла», нагоняя, клевали их сверху. Откуда-то уже издали стал доноситься густой, раскатистый гул.

— Ага, на своих разгружаются,— торжествующе кричит боец с забинтованной головой.

Вместе с нами он, морщась от боли, следит из земляного ровика, куда нас загнал налет, за исходом воздушной схватки.

Двигаемся медленно. Не столько двигаемся, сколько отлеживаемся в окопчиках. Несколько сот метров кажутся верстами.

Наблюдательный пункт полка находится на песчаном холме. Отсюда открывается широкий вид на поля, на село, на сверкающую ленту Днепра и на тот холм, что западнее, где сейчас идет бой. Этот бой можно наблюдать и простым глазом, а в стереотрубу без труда различалась зигзагообразная линия окопов на скате, широкое изумрудное поле озими и двигающиеся по нему вражеские танки, а за ними — пехота.

Все это настолько близко, что порою ветер доносит не только выстрелы, но и лязг гусениц.

Танки, кажется, уже подошли к подножию холма, а он по-прежнему тих. Что такое? И тут грянул артиллерийский залп, слитый, короткий, резкий. Орудий не было видно, но по тому, как запрыгали между танками облака разрывов, стало понятно, что немецкие машины зажаты в огненные клещи. Вспыхнул и сразу взорвался головной танк, потом в средине колонны второй, завертелся третий. У него, должно быть, подбили гусеницу. По полю раскатился взрыв: взорвался огромный «тигр», в котором загорелись боеприпасы. Прошло несколько мгновений, и на зеленом бархате озими запылали чадные костры.

Танки остановились. Передние стали толчками пятиться, продолжая стрелять на ходу. Задние торопливо разворачивались. Строй спутался. Но передние машины

прикрывали отступление. Вспыхнул еще один танк. Тогда, должно быть, нервы танкистов не выдержали, передние тоже стали развертываться. И вот уже вся колонна отступала. За танками, напоминая облачко, гонимое ветром, густо тянулась пехота. Она и не пыталась задерживаться. И правильно, «катюши» из лощины уже дважды «проиграли» вослед.

Теперь уже в атаку пошли наши стрелки-гвардейцы. Это наступление отнюдь не представляло собой величественную картину катящегося живого вала, какие видишь иногда в кино. Просто тут и там мелькали темные фигурки да как бы вспыхивали сизые дымки.

И все. Да артиллерия через наши головы будто цепами обмолачивала холм.

Через час начальник штаба, уточнив обстановку, отметил на карте еще три высоты на запад от Днепра. Он закрасил их красным карандашом и протянул от них пять стрел... Все глубже и глубже входят эти стрелы в приднепровский укрепленный район, который враг называет «Восточным валом».

А канонада с обеих сторон нарастает. Бой идет впереди, справа, слева, снаряды рвутся за спиной. Как же это похоже на Сталинград!

Вечером, когда солнце уже опустилось к полыхавшему на горизонте селу, полковнику Мутовину доложили: «Только что гвардейцы отбили колхоз «Коммунар». На улице найдены заколотые штыками советские военнопленные, по-видимому, работавшие у врага на фортификационных стройках».

— Опять,— весь как-то каменея, произнес полковник.

— Пошли,— говорит Кованов.

И мы идем по направлению к освобожденному колхозу, и ведет нас красноармеец, только что докладывавший в штабе об этом новом случае фашистских зверств.

По балочке, заросшей вишенником, изодранным теперь снарядами, где среди деревьев, в открытых капонирах уже стоят танки и пушки, замаскированные соломой и камышом, добираемся до колхоза «Коммунар». Боец приводит нас к воронке от снаряда, снесшего взрывом несколько хат. В ней — тела в грязных, изодранных гимнастерках, без ремней, босые. Невдалеке аккуратной

кучкой сложены саперные лопаты. Что здесь произошло, об этом можно только догадываться. Попытались ли бедняги, услышав, что свои уже переправились через Днепр, бежать из-под конвоя или их, обессиленных, уничтожили, чтобы с ними не возиться, а может быть?.. Но что гадать?

Ведь знаем же, знаем, как они обращаются с нашими военнопленными. Сколько раз слышали об этом от тех, кому удалось бежать и добраться до своих. Сколько раз видели людей в рваных гимнастерках и шароварах в эксгумированных могилах и рвах. Сколько слышали рассказов местных жителей. А вот привыкнуть к этому нельзя. Невозможно. Это лежит где-то за пределами разумного.

И ох как трудно после таких вот зрелищ политработникам сдерживать наших бойцов, когда они видят пленных немцев. А ведь это уже проблема: пленных становится все больше и больше.

Что же все-таки произошло здесь? Может быть, на них, безоружных, выместили злость поражения? Это уж мы, вероятно, никогда не узнаем. Да и к чему?

Наши бойцы хмуро останавливаются у воронки, стаскивают пилотки.

— Лютует фашист. Ох, неохота ему с Днепра убираться! — говорит один из гвардейцев, стоящий над ямой.

— Погоди, ужо сочтемся,— отвечает ему другой и, поправив на плече ремень винтовки, бежит догонять свою роту, спешащую на подкрепление к тем, кто сражается за холмом.

НЕМНОГО СТРАТЕГИИ

Ночью у переправы встречаем начальника седьмого отдела Политуправления подполковника Зусмановича — Зуса, как для краткости называем его мы. Он старый мой друг еще по Калининскому фронту, впрочем, не только мой, а и всех журналистов. Сей замечательный Зус отличается тем, что хорошо понимает тонкость нашей профессии, и еще тем, что у него в запасе всегда парочка интересных новостей.

Он приехал сюда, за Днепр, допрашивать пленных офицеров. Некоторые из них оказались из дивизий, пере-

брошенных с Запада и до сих пор не значившихся на наших разведкартах.

— Здорово им тут попало, если уж из Западной Европы сюда потянули,— говорит Зус и, хитро прищурившись, спрашивает: — А вы, братья-писатели, знаете, в скольких местах одновременно наш фронт форсировал Днепр?

Наслаждаясь нашим незнанием и возможностью ликвидировать это невежество, он развертывает карту.

— Отстали от жизни. Уже во многих местах. Вот.

Этому трудно поверить, но плацдармики за Днепром нанесены на его карту. Их несколько. Много.

Вот это новость! Не в том ли и замысел нашего командования?

В землянке у днепровской переправы, где мы ждем обратный паром, возникает интересная беседа.

Подполковник, который по роду своих обязанностей возится с военнопленными, человек, умеющий трезво оценивать обстановку на основе изучения многочисленных допросов и очень богатой теперь трофейной документации, рисует картину так: уже после Сталинграда противник начал строить на Днепре то, что получило потом у него название «Восточный вал». Строил на всякий случай, предполагая при осложнении военных обстоятельств отсидеться за этими днепровскими укреплениями.

В самом деле, здесь все — и широкая, более чем полукилометровая гладь реки, и низкий песчаный левый берег, на котором за много километров можно увидеть идущего человека, берег, с которого так трудно атаковать,— все это могло сделать укрепления действительно неприступными.

Немецкие фортификаторы укрепили крутой берег, обтянули его проволокой, источили сетью окопов, устроили на высотках дзоты, стрелковые площадки, пушечные и пулеметные точки. В последнее время, когда фронт придвинулся, на островах и во всех удобных для форсирования местах были поставлены гарнизоны.

За спиной этих укреплений командование противника протянуло вдоль Днепра рокадную дорогу, по которой к месту прорыва можно подбросить с соседних участков значительные силы. Сталь и бетон заднепровских укреплений, конечно, как выяснилось, следует отнести за счет буйной фантазии господина Геббельса, но «Восточный вал» и без бетона и стали — могущественный рубеж.

И вот этот вал на участке нашего фронта прорван одновременно в нескольких местах. Как? Это загадка, которая, по словам Зуса, имеющего сводки иностранного радио, теперь волнует военных обозревателей мира.

— В чем же секрет?

Зус обобщает то, что мы, в сущности, уже видели. Дело все в том, что по плану нашего командования «Восточный вал» должен быть прорван не единым массированным ударом большой массы войск, в каком-то удобном для форсирования направлении, а малыми подвижными группами на большом пространстве и в неудобных, а потому плохо охраняемых местах. Прорван группами смельчаков, которые на подручных средствах, ночью, незаметно пересекут водную стремнину и нанесут неожиданный удар по гарнизонам, отвоевывая тут и там небольшие «пятачки» земли.

За одну ночь на шестидесяти километрах правобережья оказалось вдруг несколько таких «пятачков», к которым тотчас же потянулись нити переправ. Правда, переправы эти ненадежны, а отвоеванные клочки так малы, что простреливаются вдоль и поперек из автомата. Но их много, и оборонительные резервы немцев оказались расщепленными, скованными, лишенными маневра.

Враг не знает, где наносится главный удар. Он старается угадать. Маневренные силы его без особой пользы снуют сейчас туда и сюда по рокадной дороге.

Тем временем эти «пятачки» укрепляются, начинают расширяться. На подкрепление автоматчикам подбрасывают пулеметы — легкие, затем тяжелые, затем артиллерию, а потом понемногу, с подходом понтонных частей, и танки. И хотя, как это мы собственными глазами видели сегодня, неприятель яростно контратакует, каждая отбитая атака, каждый новый бой прибавляют к этим «пятачкам» метры земли.

Интересно, как в ходе этой днепровской эпопеи сбылись и подтвердились слова И. В. Сталина о дефектности немецко-фашистской стратегии. Согласно своим уставным положениям противник ждал, конечно, концентрированного удара через Днепр, удара большой массы войск, техники и был готов отразить этот удар. Наши полководцы поставили противника в обстановку, совершенно не соответствующую этим предположениям. И опять, верные своей стратегии, немцы рассчитывали, что если где-нибудь нам и удастся форсировать реку небольшими сила-

ми, скажем, с помощью активно действующих на правом берегу партизан, то эти силы легко разбить или сбросить обратно в воду. Поэтому третьего дня и вчера с нашими десантами сражались только гарнизоны «Восточного вала», и силы их были распылены на пространстве шестидесяти километров берега.

Сейчас эти ошибки, конечно, противником поняты. Со свойственными немцам энергией, организованностью они срочно подвозят к Днепру свои части. Говорят, даже перебрасывают самолетами. Но, думается, поздно. Время проиграно, а каждый час в горячем сражении, ей-богу, стоит дивизии.

Ждем очень долго. Все паромы застряли на той стороне. Поднявшаяся луна залила фосфорическим зеленоватым светом водную гладь. Парчовая дорожка зыбится на темной, точно бы стеклянной, поверхности.

Некрутой изгиб берегов. Продолговатые тени островков и песчаных мелей - все это вдруг становится похожим на известную картину Куинджи. Только мельницы не хватает вон там, на косогоре, да нет бархатного покоя в небе, освещенном багровым отсветом.

Наконец из шевелящегося, пока еще негустого тумана слышится плеск. Начинается суета у причала. Приглушенно пофыркивают моторы, и, прогрохотав по бревенчатым кладям гусеницами, на берег медленно выплывают и тотчас же уходят в балочку приземистые танки.

— Ротмистров перебирается,— поясняет Зус, свертывая свою карту.

И он оказывается прав. Это начинают форсировать Днепр передовые эшелоны танковой армии генерала П. А. Ротмистрова.

— А где командующий?— спрашиваю я давнего своего знакомого, полковника, руководящего переправой.

— О, вот где встретились! — удивляется он, ибо последний раз виделись мы с ним на Курской дуге в горячий момент боев у Прохоровки.— А командующий тут, говорят, вражескую танковую атаку наблюдал. Противника изучает... Все своими глазами хочет видеть. Знаете ведь его?

Да, Павла Алексеевича Ротмистрова я знаю, по военному счету, давно. С трагического сорок первого года. Знаю по Калининскому фронту, по той удивительной

операции, когда он, потеряв в боях большую часть своей техники, маневрируя десятком оставшихся у него танков по Ленинградскому шоссе, все-таки отбил атаки авангардов танковой группы генерала Гота и не дал ей вклиниться в расположение молодого, только что начинавшего оперяться фронта.

Ротмистров здесь — это хорошо. Как репортер я уже привык: где он, там интересные новости. Привык и к тому, что в боевые часы этого генерала разыскать невозможно, поэтому не стал и разыскивать.

Без приключений, очень тихо, я бы даже сказал, комфортабельно переправляемся через Днепр обратно. Паром бесшумно тычется резиновой грудью о невидимый уже в тумане помост. Сначала кажется, что берег пуст, безлюден, но вот глаз начинает различать в кустах какое-то движение, ухо слышит приглушенное тарахтение и покряхтывание моторов. Машины, будто огромные животные, одна за другой выходят из балок и тянутся к причалу. Ни шума, ни крика, только ровное это дыхание моторов, удушающий запах солярки. Он перебивает аромат полыни, чебреца, спеющих яблок и близкой реки, которым насыщена эта ночь. Почерк генерал-полковника Ротмистрова тоже нам хорошо известен. Он передвигает свое огромное и сложное хозяйство в примерном порядке.

Отыскиваем ковановскую гибрид-машину, которую мы оставляли под крылышком у понтонеров. Павел садится за руль. Едем в тыл. И долго еще навстречу нам тянутся к переправам вереницы танков, артиллерия, целые караваны огромных машин с боеприпасами. Нетрудно угадать смысл происходящего. Уже там, за рекой, сжимается снова огромный стальной кулак.

Мы едем и от избытка чувств поем. Поем песни, которые певали когда-то на Калининском фронте, г трудные, очень трудные дни:

Меж крутых бережков
Волга-речка течет.

Ведет Кованов своим мягким баритоном, а остальные не очень стройно, зато громко поддерживают:

А по ней, по волнам
Быстро лодка плывет.

ВОЗДУХ, НАСЫЩЕННЫЙ ГЕРОИЗМОМ

Сегодня из дивизий, форсировавших Днепр, пришли реляции — описания подвигов людей, которых командование фронта представляет к званию Героя Советского Союза. Вот несколько примеров, взятых из этих документов. Сопоставление их дает картину того, как люди форсировали Днепр на одном из участков великой реки.

Осенним вечером передовые пехотные части вырвались на Днепр. Разведчики подошли к реке. Холодная и темная гладь поблескивала за камышами, и поперек нее серебрился лунный столб, упираясь в кручи того берега. А там, в темноте, виднелись огни: вражеские часовые грелись у костров, и в ночной тиши по воде доносились обрывки их говора.

Сержант Василий Сибирцев получил приказ вплавь добраться до острова, темневшего посредине реки, и разведать силы гарнизона. Сибирцев связал ремнем пучок сухого очерета, разделся и, толкая перед собой этот поплавок, тихо поплыл к острову. При свете луны вражеские посты видели, наверное, лишь кучку тростника, которую течением медленно несло вниз.

Осмотрев остров, сержант обнаружил только два поста. Можно было возвращаться обратно, но ему захотелось побывать на том берегу, высмотреть позиции. Через несколько минут волна прибила пучок очерета к глиняной круче. Дрожа от холода, собирая силы, чтобы не стучать зубами, сержант пополз вдоль берега, от костра к костру, стараясь запомнить расположение позиций.

Было мучительно трудно снова входить в ледяную воду. Приплыв обратно, он не смог встать — его сковали холод и усталость. Товарищи дали ему чарку водки и закутали шинелями. Придя в себя, он подробно доложил командиру об обстановке и указал цели артиллеристам. Кроме того, он сказал, что на том берегу в кустах спрятано много понтонных челнов...

На войне нет силы могущественней, чем сила примера. Подвиг одного вызывает подвиги многих. Челноки на той стороне! Их надо добыть. Ведь не дожидаться же, когда подвезут понтоны! И вот старший сержант Петр Кириченко раздевается, лезет в холодную воду и,

пользуясь тем, что на Днепр пал туман, широко отмеривая руками саженки, переплывает полукилометровую реку. Он находит челны, перерубает веревки, выстраивает челны гуськом, привязывает один к другому, садится на передний и начинает что есть силы грести, таща за собой эту флотилию.

К концу ночи на этих лодках устанавливают паром. Штурмовые батальоны открывают переправу. А сколько нужно мужества, веры в себя и в боевых товарищей, чтобы вот так переправиться на занятый врагом берег с горсточкой людей, остаться тут отрезанными от своих коммуникаций, стоять намертво, не делая ни шагу назад!..

Старший сержант Владимир Беляев вместе со своим взводом, не дожидаясь переправ, форсировал Днепр вплавь. Бойцы плыли на тех самых «подручных средствах», о которых я уже говорил. В просторечье это означало, толкая перед собой бревна, доски, перевернутые столы, двери, все плавучее, что нашлось под рукой. На досках и бревнах лежали свернутая одежда, автоматы, патроны, штурмовые ножи. Когда достигли камышей правого берега, сержант приказал бойцам одеться, проверить оружие и двинуться вдоль берега.

Вдруг они услышали немецкую речь. Пригляделись. В холодном свете луны виднелись окопы и батарея, стоящая на высокой земляной площадке над Днепром. Рядом у костра грелись артиллеристы. Бойцы ползком приблизились к костру и по короткому сигналу сержанта молча, с ножами, выскочили из тьмы...

Через несколько минут яростной и молчаливой схватки, во время которой слышались только рычание, стоны, ругательства и тяжелое дыхание сражающихся, батарея была захвачена. В начале войны, до первого ранения, Беляев был артиллеристом. Он приказал бойцам повернуть пушки на запад, сам зарядил их, и первый залп по врагу грянул за рекой. Услышав его, Беляев не сдержал своей радости. Он выскочил на бруствер занятого окопа и закричал в полную силу голоса за Днепр своим:

— Эгей! Давай переправляйтесь! Давай живее!

Новые и новые залпы обрушивались на немцев. Пушки били недружно. Чувствовалось, что заряжают и наводят их неумелые руки. Может быть, это и помогло

противнику понять, с кем он имеет дело, и оправиться от удивления.

Поняли немцы и какую опасность таит для них захват этой батареи. Начали контратаковать теми небольшими подразделениями, которые тут оказались. Завязался бой. Силы в нем были несоизмеримы. Беляев бил по атакующим их же картечью. Он бегал от орудия к орудию, заряжал, стрелял. Бойцы подавали снаряды, отстреливались из автоматов. Один из них возился у трофейного пулемета, стараясь разгадать тайну незнакомого механизма. А немцы все наседали. А тут еще осколок мины ранил Беляева. Ранил несильно, и он вгорячах даже не обратил на рану внимания.

Но бить из орудия не было смысла. Враг был рядом. Тогда Беляев подбежал к пулемету. Участник Сталинградской обороны, он знал трофейную технику, и через мгновение пулемет заработал. С холма при свете холодной луны было видно, как контратакующие поползли назад. Но вот и лента кончилась. Пулемет смолк.

Немного выждав, противник опять бросился на батарею. Теперь у ее защитников остались лишь автоматы с полупустыми обоймами. Бойцы готовились уже встретить неприятеля прикладами и погибнуть в рукопашной схватке, когда из-за Днепра подошли подкрепления. Десантники не знали, что под шум боя к берегу причалили баркасы. Не слышали, как, тяжело дыша, автоматчики карабкаются по глиняной круче. Увидели их лишь тогда, когда они вышли из-за земляного горба и тут же включились в схватку. Подкрепления решили исход боя. Кусок земли, занятый Владимиром Беляевым, был удержан. За него и зацепились переправы.

Человеку, не побывавшему на Днепре в дни горячей битвы, трудно даже представить себе, что значит переправа, действовавшая под непрерывным прицельным огнем пушек, пулеметов и порой автоматов. Если самолету даже на большой высоте рискованно летать над вражескими позициями, прикрытыми зенитной артиллерией, то парому или баркасу, которые переправляются через реку неизмеримо медленнее самолета, двигаться под прицельным огнем во много раз опаснее. А паромы двигаются, и двигаются регулярно.

Старшим на одном из таких десантных паромов был узбек Камал Джамалов. Он три дня работал на пароме под огнем и совершил тридцать восемь «ездок». Особенно запомнилась ему третья ездка, когда немцы, взяв медленно двигавшийся паром на артиллерийский прицел, стали класть возле него снаряд за снарядом. Разрывы медленно приближались к парому. Вот один упал справа, другой слева. Оба обдали водой. Вилка! А паром все шел вперед. Вот тяжелая мина разорвалась совсем близко, ранила бойца.

Паром вздрогнул, вода с шумом хлынула в пробоину. Джамалов снял с себя пилотку и заткнул самую большую дыру, остальные дырки, поменьше, заткнул обрывками гимнастерки. До берега оставалось метров пятьдесят, когда паром опять подбросило. Неразорвавшийся снаряд пробил металлическую стенку и, прошив оба борта, ушел в воду. Одна пробоина была выше ватерлинии, а в другую, в большую, с развороченными краями, хлынула вода. Она быстро наполняла лодку. Тогда Джамалов просто сел на эту дыру, заткнув собою пробоину, и, упершись ногами в распорки, удерживал воду. Так паром с этой живой «заплаткой» и подошел к берегу.

Это эпизод работы понтонеров.

Сколько же здесь было героев! Единицы попали в эти реляции, десятки, возможно, попадут. А героизм-то тут явление массовое. Героев надо считать на сотни. Героизмом насыщен воздух. Он стал бытом этих заднепровских сражений.

НЕУЖЕЛИ НАСТОЯЩИЙ ЛИРНИК?

Живем в Кишеньках — большом украинском селе, широко раскинувшемся на Днепре. В округе это село одно из немногих, что сохранилось и от артогня, и от фашистских факельщиков, выжигавших все при отступлении. До правого берега от села рукой подать. Оттуда день и ночь несутся звуки канонады. Горшки и макитры все время звенят на полках. Из вмазанного в стену крохотного окошка чуланчика, где Петрович оборудовал для себя фотолабораторию, отлично видны дымки разрывов над приднепровскими холмами, а по утрам, умываясь из глиняного рукомойника системы «здравствуйте-про-

щайте», мы можем наблюдать с крыльца и налеты немецкой авиации на наши переправы, и воздушные бои. Вот где достигается непосредственность впечатлений! Даже двум Пьерам, которые что-то зажились у нас, есть на что поглядеть.

Хата наша хороша и тем, что перед ней на лужайке сложены бревна. Это излюбленное место сельских девчат. Сейчас, когда в село вернулись свои, они собираются сюда со всех концов и до утра поют молодыми голосами украинские песни. Поют с той жадностью, с какой насыщается долго не евший человек, попав наконец за обильный, гостеприимный стол. Хорошо поют. Мы засыпаем под эти концерты.

Сегодня, оставшись без света вследствие каких-то неполадок в аккумуляторном хозяйстве Петровича, лишенный возможности работать, я открыл окошко и впервые по-настоящему прислушался к пению. Странное дело — на мотивы известных песен девушки пели какие-то другие, новые, рожденные, очевидно, в немецкой неволе слова.

Засветил карманный фонарик и стал записывать. Удалось записать целиком песню, рисующую картину отправки мобилизованных в Германию. Ее пели на мотив старой матросской песни «Раскинулось море широко», а слова были вот какие:

Раскинулась площадь вокзала,
На ней эшелоны стоят.
Они с Украины вывозят
В неметчину наших девчат.
И видим мы матерей слезы
И хмурые лица отцов,
Которые нас провожают,
Как будто живых мертвецов.
В вагоне меня запирают,
А мать все поклоны мне шлет.
— Ой, что я скажу, дорогая,
Как с фронта родной брат придет?
Не плачь, не грусти, моя мамо,
Прошу, позабудьте меня;
Родному ты брату расскажешь,
Что жизнь уж пропала моя.
Прощайте, зеленые рощи,
Мне больше по ним не гулять,
Я еду в прокляту Германию
Свой век молодой доживать.

Горькие эти слова девушки пели с такой грустью и столько в них слышалось тоски по погибшим в немец-

чине подругам, что без волнения невозможно было слушать.

Потом они пели то, что в наших краях зовут частушками, а тут — байками, и среди них были гневные, злые, ядовитые:

Чи ты чуешь, Украино-маты,
Чи ты чуешь, гай!
Палять наши хаты,
Жгуть нашых людэй.

Или:

Говорила у поля картошка:
— Ось почекаетэ трошкы,
Будуть менэ выкапуваты,
А поганого фрыца закапуваты.

Я записал десяток таких песенок, и «темный вечер» не пропал даром.

Потом сын нашей хозяйки, Василь, подросток, и Петрович, ходившие на бревнышки «до дивчат», вернулись домой. Я спросил у Василя, кто сочиняет эти песни?

— Та я не знаю. Дивчата гуторять, начэ якыйсь дид Левко их спивав. Начэ лирнык такый був, чы партызан, чы що, начэ на очи тэмный и з посохом ходыв...

Дид Левко? Вот бы напасть на след этого партизана-лирника!

Впрочем, сейчас не до лирника, хотя я кое-что о нем узнал. Четыре дня не был дома и ничего не передавал с такого «горячего» фронта. Запоздал с сообщением о взятии крупного железнодорожного узла Пятихатки.

На узле связи лежит несколько недоуменных телеграмм из редакции, и среди них опять одна вежливо-саркастическая: «Сообщите, как вы проводите свои досуги?»

На такую телеграмму можно ответить только делом. Я посылаю одну за другой корреспонденции о развитии нашего прорыва за Днепром, о танковом ударе от Днепра на Криворожье и о том, как между делом мне удалось разгадать тайну этого самого «дида Левка». Но об этом после. Сейчас, очутившись в наших Кишеньках, постараюсь записать все по порядку.

В ГЛУБЬ ЗАДНЕПРОВЬЯ

Танковый удар, зарождение которого мы недавно наблюдали на днепровских переправах, нанесен. Все три пояса «Восточного вала» прорваны. Генералы Ротмистров

и Дубовой со своими стальными армадами прорвались в степи Правобережной Украины и движутся все дальше, в глубь Криворожья, знаменитого Криворожья, где под ногами, под небольшим слоем земли огромные залежи богатейшей железной руды.

Самое интересное, пожалуй, в этом прорыве — переправа через Днепр крупнейших танковых соединений, совершенная под носом у врага, в условиях и в сроки, которые могут показаться невероятными.

Я уже писал, как под покровом осеннего тумана тяжелые боевые машины на плотах, укрепленных на надувных понтонах, пересекали реку. И это было сделано незаметно для противника, который, по показаниям пленных офицеров, до самого танкового удара считал, что за рекой он имеет дело лишь с пехотой и мелкими калибрами артиллерии.

Зато, когда утром на заре танковые части рванулись в бой, удар их был так внезапен и ошеломляющ, что в первые же часы оборона была пробита и танковые клинья прошли в нее на всю глубину.

У Днепра, в будочке бакенщика, мы участвовали в допросе пленного капитана, маленького рыжеволосого человечка с вытянутым вперед красным, обветренным лицом. Он много, нервно курит.

— Ваш удар грянул, как гром в рождественский день. Мы, конечно, знали, что Красная Армия подтягивает за реку значительные силы. Но точно знали, что у вас нет жестких переправ. Мы были уверены, что речь идет о пехоте, и логично было думать, что артиллерией крупных калибров вы рисковать не будете, так как ваши небольшие плацдармы надежно прикрывает артиллерия из-за реки. Пехота же ваша нас не очень беспокоила. Мы располагали здесь достаточным количеством войск и знали, что из города Днепропетровска сюда идут подкрепления.

— Разве вы не предполагали возможности танкового прорыва?

Капитан пожимает плечами.

— Я назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы мне, что в таких условиях можно переправлять средние и тяжелые танки, да еще скрытно.

Смотрю на этого маленького офицерика. Чистюля. Хорошо выбрит. Жесткий подворотничок. Показания дает охотно, будто оперативный доклад делает. О, это немец

совершенно нового типа. Даже под Сталинградом, после гигантского разгрома, мы таких не видели. Зус, вероятно, не без оснований подозревает даже, что и обстановку, и ход сражения он рисует слишком уж комплиментарно для нас. Не такие уж они дураки, и не так-то легко дались нам эти победы. Это-то мы знаем.

Как бы там ни было, но ясно одно, что сильный бронетанковый удар обрушился на них неожиданно.

Пробив бреши, танковые армады хлынули в степи Криворожья, и, следуя за ними по разбитым гусеницами дорогам, мы все время видели результаты тактики стремительного концентрированного наступления.

Если прибрежные села — Домоткань, Мишурин Рог, Калошино — разрушены и сожжены, то дальше, за прибрежной десятикилометровой зоной, мы увидели непривычное для нас зрелище — деревни, где в окнах не повреждены даже стекла. А ведь они лежали на основной дороге вражеского отступления. Объяснение одно: враг отходил здесь так быстро, что не осталось времени ни взрывать, ни поджигать, ни даже увозить награбленное.

Чем дальше вела нас дорога наступления, тем красноречивее были следы этого поспешного отхода. Батарея, брошенная в кустах, тут же зарядные ящики: прислуга обрубила постромки и ускакала на конях,— все исправно, хоть сейчас заряжай и открывай огонь... Вереница возов с пшеницей, запряженных волами: волы свернули с дороги и флегматично жуют кукурузу, а золотая пшеница из прорванных мешков сыплется в грязь...

У Пятихаток начали попадаться брошенные машины, а сами Пятихатки — гигантский гараж. Машины всех европейских марок и систем, даже наши трехтонные «ЗИСы», побывавшие в плену, стоят рядами на улицах, в вишневых садочках, во дворах. Автомобильная выставка! От гигантских семитонных «демагов», в кузовах которых смонтированы целые мастерские, до крошечных трехколесных грузовичков «рено». От роскошного «хорька», еще пахнущего внутри генеральским бриолином, до скромного, старенького, совершенно изъезженного «ситроена», изготовленного на заре автомобилестроения. Все они окрашены в какой-то пятнистый «щучий» цвет и достались нам целыми и невредимыми.

На станции вереница эшелонов с мукой, пшеницей, солью, с боеприпасами, танками и даже бензином. На элеваторе под погрузкой длиннющий состав, на вагонах

мелом написаны адреса: «Франкфурт», «Кельн», «Тильзит». Пути охраняются нашими часовыми.

— Придется переадресовывать,— посмеивается представитель железнодорожных войск, прилетевший сюда из-за Днепра, как он выражается, «принимать от немцев хозяйство».

В пригороде, возле маленького домика, в котором помещалось какое-то учреждение, видим несколько танков с торчащими антеннами. Угадываем: здесь штаб. И действительно, здесь разместился штаб Ротмистрова. Самого генерала мы находим на улице, возле машины с высоким штырем антенны.

— Дорогие мои, мое неизменное уважение к прессе я не однажды доказывал. Это может подтвердить мой старый знакомый.— Генерал показывает на меня.— А сейчас, извините, некогда. Некогда с большой буквы: в наступлении минута дня стоит. Там, в штабе, офицеры помогут вам разобраться в делах.

Подтверждается, конечно, что Пятихатки — это только этап. Главное — Криворожье, куда рвутся сейчас танки. Обстановка меняется каждую минуту. Смотришь на оперативную карту, на все эти овалы с цифрами, нарисованные, стертые, вновь нарисованные, на красные стрелы, которые, вероятно, удлиняются по нескольку раз в день, и кажется, можно видеть, как линия фронта отползает на юго-запад.

И все же победы даются нелегко. Противник отбивается здесь с упрямым бешенством. Не жалея ни сил, ни техники, он бросает в бой все, что есть у него в резерве, все, что он может снять с соседних участков. Танкисты подчеркивают, что среди захваченных машин уже попадаются окрашенные в желтый цвет. Видимо, их готовили к войне в Африке, но пришлось переадресовать сюда, так и не успев перекрасить.

Штабники танковой армии хорошо ориентировали нас в обстановке. Сейчас немецкое командование стремится подрубить наш заднепровский клин под самое основание. Пять дивизий бьют по этому клину справа, шесть, в том числе четыре танковые, и среди них широкоизвестная «Великая Германия»,— слева. Контратаки следуют одна за другой. В бой идут порою сразу один-два полка — сто — сто пятьдесят танков. Но мы уже, кажется,

закрепили основание клина такими артиллерийскими заслонами, что каждый раз, когда контратакующие откатываются, мы получаем возможность, преследуя их, расширить клин еще на один-два километра.

За Пятихатками мы видели первые отбитые у немцев рудники Криворожья. На воротах висели вывески «Концерн Восток». Это предприятия знаменитой грабительской фирмы «Герман Геринг Верке». Но это вывески. За вывесками мертвые копры, пустые рудничные дворы. Не далась, должно быть, Герману Герингу украинская руда. Здесь, отступая, противник не успел ничего разрушить. В поселке Недайвода работал даже немецкий радиоузел.

На обратном пути мне удалось сесть на попутный самолет, возивший к Ротмистрову офицера связи из штаба фронта. Летчик лейтенант Алексей Мерзляков, маленький, некрасивый, с удивительно веселыми глазами и чудесными зубами, не очень охотно принял пассажира.

— Товарищ майор, мы ж старые знакомые. Сколько раз уж летали, но сегодня, право, не стоит. Уж очень «мессера» на реке катуют.

Впрочем, обычный в таких случаях аргумент, что «Правда» может остаться без срочного и важного материала, безотказно действует и на этот раз. Я получаю от Мерзлякова задание внимательно следить за воздухом, и мы летим, прижимаясь к земле, так низко, что кажется, будто бы с бешеной скоростью несемся наверху двухэтажного троллейбуса-«слона», какие сейчас ходят в Москве по Ленинградскому шоссе.

День ветреный, но ясный. Следя за небом, я все время вижу в темнеющем предвечернем воздухе справа, слева и позади нас льнущие к земле бурые облака, пронзаемые темно-красными искрами. Это немецкие дивизии, пытаясь пресечь наш путь к Кривому Рогу, опять рубят основания клина.

Когда, багровея в лучах заката, перед нами распростерлась гладь Днепра и внизу замелькали отлично видные сверху зубчатые полукруглые линии вражеских окопов, я тронул летчика за плечо и запиской попросил его пролететь вдоль реки с тем, чтобы получше рассмотреть укрепления «Восточного вала». Действительно, чтобы по-настоящему уразуметь системы приднепровских укреплений, нужно видеть их с птичьего полета. Вот изрытые,

источенные прибрежные холмы, будто целое племя гигантских кротов выбрало этот район для своего местожительства. У реки линия окопов с земляными фортиками и огневыми точками, обращенными к реке. Тоненькие ходы сообщения, змейкой вьющиеся в рыжей траве, связывают окопы первой линии с окопами второй, третьей, а за рокадной дорогой, с вышины, походящей на серую ленту, укрепленные высоты, очевидно, взаимодействующие между собой при организованном огне...

Я так увлекся созерцанием этих укреплений, что позабыл про воздух, про строгий наказ лейтенанта и заметил два «мессера», барражировавших над переправой, когда до них не оставалось и километра. К счастью, летчик был более предусмотрителен. Круто изменив курс, он прижал машину к земле, бросил ее в широкую балку, и мы полетели ниже уровня полей, повторяя все изгибы оврага, а когда вынырнули из него, не было уже видно ни «мессеров», ни переправы, ни самого Днепра.

Тогда летчик выключил мотор, и в легком свисте винта, крутящегося вхолостую, я услышал насмешливое:

— Майор, передаю по буквам: Жорж, Ольга, Петр, Аркадий!

Мне не осталось ничего другого, как не расслышать или не разгадать этот несложный шифр.

Потом мы почти бесшумно снизились у какой-то незнакомой деревеньки и, как потом утверждал Мерзляков, на последних граммах горючего подрулили к пустому зданию школы. Оказывается, из-за моего ротозейства пришлось делать изрядный крюк, горючее кончилось, и мы рисковали будто бы не дотянуть до аэродрома. Впрочем, кто его знает, этого маленького, юркого парня с веселыми глазами. В горючем ли дело? Ибо, как потом выяснилось, возле школы этой, в маленькой хатке жила смуглая молоденькая учительница повышенной привлекательности, оказавшаяся знакомой летчика.

И ВСЕ-ТАКИ ЛИРНИКИ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕЩЕ ЕСТЬ

Впрочем, как это иногда случается в нашем беспокойном журналистском деле, неудача привела к удаче. Учительница была гостеприимной хозяйкой, и, прежде чем лейтенанту Мерзлякову удалось целиком завладеть ее вниманием, я узнал от нее интереснейшую вещь.

Здесь выяснилось наконец, кто же был этот таинственный лирник, «дид Левко». Узнать, что он действительно жил, а не является порождением народной фантазии и персонажем нового эпоса этой войны, зачатки которого можно слышать уже и сейчас по деревням.

Дед Левко действительно жил, воевал, слагал и пел песни. Наша смуглая хозяюшка сама знала старика и обещала утром сводить к нему на могилу. Собственно, кто он был, она тоже не знала. Но все же рассказала много интересного.

Старик появился в приднепровских деревнях через несколько недель после того, как край этот был оккупирован. Ему было лет под семьдесят. Он был слеп, одевался картинно, как теперь уже здесь и не ходят: в рваную свитку, домотканые порты, ходил, нащупывая себе дорогу длинным липовым дрючком. На голове у него был большой соломенный брыль, за плечами висела бандура, по-местному лира, такая же старая, как и он сам, и холщовый мешок, куда он складывал подаяние. Лицо было суровое, морщинистое. Бороду он брил, но носил усы, длинные, пожелтевшие от табака.

Придя в деревню, старик садился у крайней хаты и начинал бренчать на своей бандуре. Собирался народ, тогда он ударял по струнам и начинал надтреснутым голосом петь старые думки и песни, а между ними песенки своего сочинения про немецкую неволю, про проклятых фашистов, про героев-партизан. Людей собиралось много. Песни старика, открыто смеявшегося над оккупантами даже в деревнях, где стояли их гарнизоны, насмешливые песенки про Гитлера, приправленные соленым народным словцом, крепко запоминались. Они рождали ненависть к захватчикам, укрепляли надежду на скорое освобождение. Они утешали и звали на борьбу. Они западали в память, а потом по невидимым путям начинали перепархивать из села в село.

Всюду у старика появились доброжелатели, которые предупреждали, когда в толпу слушателей затесывался полицай, староста или просто ненадежный человек. Деда кормили, поили, снаряжали в дорогу. Но интересно было то, что от поводырей слепец всегда отказывался и уходил один, нащупывая палкой дорогу. Уходил так же неожиданно, как и появлялся.

Куда он уходит, никто не знал. Однако внимательные люди приметили, что иногда после его появления у ок-

купантов случалась какая-нибудь неприятность: то гранату кто-то бросит в дом комендатуры, то неведомая рука казнит предателя, а однажды даже взлетел на воздух мост на оживленной магистрали.

Около года кочевал этот старик по приднепровским деревням. Песни его пели уже тысячи людей. Его ждали, как друга, встречали, как отца. Гебитскоменданты смотрели на него сквозь пальцы — мало ли нищих кочует по степи, добывая себе кров и пищу безобидными песнями о старых бывальщинах.

Но кто-то его выследил и донес. Старика схватили в пути у деревни Жовтень, у той самой, где мы заночевали. В мельничном сарае его пытали, надеясь выведать что-то о партизанах, но он ничего не сказал. Тогда его повесили за деревней, у сарая, прикрепив на груди надпись: «Партизан».

Ночью кто-то, перерезав веревку, снял тело. Оно исчезло. А наутро на развилке дорог, где Кременчугский тракт разделяется на два направления, идущих на Полтаву и Царичанку, под дубом появилась могилка, которую потом обнесли оградкой и увенчали крестом. Тут и был похоронен старый лирник, фамилию которого так никто и не узнал. И, по словам нашей хозяйки Лидии Юрьевны, которую из-за молодости ее лет язык не поворачивается называть по отчеству, с самой ранней весны когда на лугах появляются первые синенькие цветы, и до глубокой осени, когда в палисадниках красным пламенем догорают мальвы, не переводятся цветы на этой могилке.

Лида передала мне тетрадку, куда она записывала песни и частушки старого лирника, и взяла с меня слово, что я передам эту тетрадку в Москве в «соответствующую организацию», чтобы не было забыто людьми наивное творчество этого смелого старика.

А утром, пока лейтенант Мерзляков заправлял в баки бензин из запасных канистр, Лида отвела меня на могилку. Под шатром развесистого дерева, позолоченного поднимавшимся солнцем, маленький холмик тоже казался золотым. Крест пообветрился, а на нем висел совсем уже старый соломенный брыль. Но на могилке лежал свежий венок из красных кленовых листьев.

Возвращаясь в свою хату, я мечтал сделать массу полезных вещей: написать несколько несрочных корреспонденций, сходить в баню, вторично посмотреть идущую

с большим шумом в офицерском клубе штаба веселую и глупенькую английскую комедию «Джордж из Динки-джаза», пользующуюся в войсках большим успехом, и, конечно же, хорошо выспаться. И все не удалось. Начал я со сна, но, как мне показалось, стоило лишь закрыть глаза, как меня кто-то сильно затряс.

— Да проснись же ты, наконец, Кривой Рог проспишь!

Это кричал Павел Кованов, Большой майор, как зовет его наша старушка хозяйка, в отличие от майора Маленького, то есть меня, хотя у меня рост 180 сантиметров.

Он только что вернулся из оперативного отдела и пояснил: взята Лозоватка, огромное село перед Кривым Рогом. Наши танки рвутся в предместье города.

Разложили на столе карту. На ней мы мысленно каждый для себя отмечаем продвижение наших войск. Я прикинул — в одной из наступающих колонн находится мой напарник по «Правде» капитан Аркадий Ростков, танкист по военной профессии. Конечно же, он даст необходимую информацию. Мне можно было бы повернуться на другой бок и продолжать спать. Но разве тут заснешь?

И вот опять посадочная площадка эскадрильи связи, и мы с Павлом упрашиваем летчика взять нас обоих. Летчик с сомнением посматривает на нас: два здоровенных дяди. Поместимся ли мы на пассажирском сиденье, рассчитанном на одного человека. Оказывается, все-таки можно поместиться. Вторая проблема — оторвется ли эта маленькая стрекоза с таким сверхгрузом? Оказывается, отрывается. Летим.

К танкистам, стоявшим в балочке под Лозоваткой, мы попадаем совсем не вовремя. Две свежие немецкие танковые дивизии, неожиданно для них появившиеся здесь, атакуют их со стороны Кривого Рога. Кончилось горючее. К концу подходят боеприпасы. Связь то и дело рвется. На нашем самолете сейчас же отправляют в тыл тяжело раненного командира бригады, а мы остаемся с танкистами, которые продолжают бой с превосходящими их силами противника.

— Не сказал бы, что обстановка творческая,— почесав в затылке, говорит Кованов, узнав обо всем этом.

Впрочем, он, как и всегда, не теряется. Раздобывает у кого-то два трофейных автомата. Суем в карманы за-

пасные обоймы и, вооружившись таким образом, оседаем на дне карьера, где временно разместился штаб танковой бригады.

Встречают нас, мягко говоря, не очень любезно. До журналистов ли, когда вражеские танки уже вышли на коммуникации? Но если журналистов с майорскими погонами считать рядовыми автоматчиками, с ними можно смириться. И с нами смиряются и даже без аттестатов зачисляют на довольствие, во всяком случае хорошо кормят.

Времени у нас предостаточно. Сидим на камне и философски, по свисту бомбы, стараемся угадать, где упадет: эта вправо, а эта влево, а эта? И чувствуем, как тягостно холодеет тело и как хочется совсем втиснуться в сырую скользкую глину. Впрочем, и к этому постепенно привыкаем. Начинаем приглядываться к тому, что происходит.

Штаб работает на дне песчаного карьера под открытым небом. Не успевает осесть кислая гарь разрыва, как уже слышится щелканье пишущей машинки. Зуммерят телефоны. Сорванный, сиплый голос телефонистки повторяет:

— Лебедь, Лебедь, Лебедь. Я — Чайка, я — Чайка. Лебедь, ты куда провалился? Лебедь, тебя совсем не слышу, черт тебя побери!

Подъезжают мотоциклисты с донесениями. Прямо скатываются в овраг. Начальник оперативного отдела сгибается над картой. Даже где-то верещит старый патефон, ей-богу! И голос Клавдии Шульженко поет со зловещими придыханиями что-то весьма сердцещипательное...

Нет, мы в самом деле не хуже других. И, освоившись с обстановкой, чтобы не терять попусту время, начинаем писать свои корреспонденции. Пишем и по листку складываем в планшеты. Когда-то они попадут в редакцию и суждено ли им туда попасть? Очень беспокоюсь о Росткове. Ведь он в той самой бригаде, что прорвалась под Кривой Рог. Связи с ней нет. Плохо.

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

К вечеру канонада у нас за спиной прекращается. Это может означать только одно: немцев остановили, их попытка прорваться к Пятихаткам не удалась.

Мы пешком отправляемся к Днепру в надежде перехватить попутный грузовик. Но движется только встречный поток машин. Идут орудия, танки, боеприпасы. Идем всю ночь, ругая степное безлюдье. К утру добираемся до рудника Желтая Река и вваливаемся в первый попавшийся домик. Вваливаемся и, к удивлению хозяйки, отправившейся набить соломой тюфяки, засыпаем прямо на полу.

Утром узнаем, что рудник, находящийся в шести километрах от линии фронта, уже начал возвращаться к жизни и даже будто бы скоро будут выданы на-гора первые тонны руды.

Вот это новость! Оказывается, Криворожье сверхбогато не только рудами, но и темами.

Наскоро позавтракав печеной картошкой, единственным, что оказалось в доме у нашей хозяйки, спешим на рудник. В самом деле, хоть пуст еще шахтный двор и наверху, на эстакаде, ржавеют, должно быть, очень давно соскочившие с путей вагонетки, здесь чувствуется жизнь. Пыхает дизелек, где-то молотком колотят по железу, на вершине копра медленно поворачивается колесико, значит, кто-то вручную лебедкой вытаскивает клеть.

Директора рудника, молодого, очень бледного человека в ватнике, в ватных стеганых штанах, мы застаем в кабинете, где почему-то гораздо холоднее, чем на дворе. Он занят тем, что безуспешно пытается разжечь маленькую железную печурку, труба которой, изгибаясь, высовывается в окно. Прежде чем познакомиться, мы даем ему несколько советов, которые ни к чему не приводят, ибо уголь упорно не разгорается. Повозившись около печки, он подходит к нам и с тыловой тщательностью, которая кажется нам немножечко смешным анахронизмом, проверяет наши документы. Убедившись, что они в полном порядке и мы те самые, за кого себя выдаем, он возвращает их и говорит ворчливо:

— Ну скоро вы освободите Кривой Рог? Нам энергия нужна. А этот наш движок, слышите. Он еле тянет. Тарахтелка, чихалка, тарантас... Впрочем, садитесь, пожалуйста.

Мы долго сидим у него. Он и директор, и главный инженер, и маркшейдер — единственный администратор, пришедший сюда на рудник из-за Днепра с вещевым мешком за плечами. Остальных он отыскивает уже здесь, среди старожилов. Урывками, между делом, рассказывает, что этот рудник оккупанты захватили целым, что

дважды они объявляли в газетах о его пуске и что все же им не удалось поднять на-гора ни одной вагонетки с рудой. А сейчас вот, через неделю после освобождения, рудник может работать, если, конечно, будет энергия.

— Эх, поскорей бы Кривой Рог освободили!

Распахивается дверь, и в комнату входит седой, всклокоченный, очень сердитого вида старик.

— Ну что же это такое, Василий Федорович?— кричит он с порога.— Куда это годится? — И тут, увидев незнакомых военных, умолкает.

— Рекомендую, здешний старожил Кущевой. Горный мастер. Единственный в своем роде товарищ. Коллега Иисуса Христа. Он, видите ли, у нас воскрес из мертвых,— совершенно серьезно говорит директор.

— И к чему эти насмешки?— хмурится «коллега Иисуса».— Я вам серьезно, как мы с канатом будем? Ведь уж говорено, переговорено. У вас, поди вон, уши опухли слушать.

Захваченные хозяйственными заботами, они совсем забывают о нас. По уходе старика мы атакуем директора вопросами насчет этого «Христова коллеги», и он рассказывает нам историю этого старого рудокопа, которая является, по существу, и историей рудника в дни оккупации.

Происшествие действительно странное. Настолько странное, что в свое время даже всевидящее гестапо, свирепствовавшее здесь, оказалось бессильным докопаться до его корней, а старушки из окрестных сел были склонны объяснить его вмешательством сверхъестественных сил и даже перстом божьим.

Оккупанты в своих газетах, издающихся на Украине, разрекламировали, что 1 января 1943 года восстановленный ими мощный железный рудник даст на-гора для рейха первые тонны руды. Руда здесь первоклассная. Для хищников из концерна «Герман Геринг Верке», захвативших Криворожье, это было звонким событием. Ну как же, акционеры наконец получат возможность убедиться, что капитал, вложенный ими «в восточное дело», даст первый доход.

Знаменитый, известный всем металлургам мира железорудный бассейн бездействовал, несмотря на все усилия оккупационной администрации пустить в ход хотя бы самые маленькие шахты. Оборудование было вывезено на восток, рабочие и инженеры в большинстве своем

вместе с семьями уехали в глубь страны. Те, кто не эвакуировался, разбрелись по окрестным деревням, подальше от своих шахт, предпочитая лучше копаться в земле, а то и питаться подаянием, чем работать на захватчиков. Гебитскомендатуры устраивали по деревням облавы, хватали шахтеров, под конвоем гнали на рудники, пытались заставить работать. Угрожали. Были среди задержанных и инженеры, и техники, и мастера подземного труда. Но получалось так, что все они называли себя чернорабочими. Вот почему восстановление и пуск этого рудника, приуроченные к Новому году, решено было отметить с такой помпой, и немецкие газеты Эриха Коха расписывали на все лады этот рождественский подарок «третьей империи».

В новогоднюю ночь рудник осветили прожекторами. Пригнанные под конвоем военнопленные под надзором надсмотрщиков заканчивали последние приготовления к завтрашнему дню: убирали мусор, чистили двор, сколачивали мостки, по которым высокие гости из Берлина должны были пройти от подъездных путей к шахте. Работавшие были все народом пришлым. Среди них был лишь один местный житель, тот самый горный мастер Алексей Никитич Кущевой. В поселке говорили о нем нехорошо. Он сам предложил свои услуги и за это пользовался у оккупантов большим доверием. Поселок тихо ненавидел его. С ним не разговаривали. Когда он шел на рудник, боялся поднять и глаза, так глядели на него шахтерские жинки.

В ту ночь Кущевой и руководил уборкой двора. Некоторые из работавших видели, как он в одиннадцать часов подошел к директору рудника Иоганну Эберту и сказал, что не худо бы опуститься в шахту и посмотреть — все ли там готово. Эберт был в прекрасном настроении. Он ждал наград. Ведь ему, первому из здешних администраторов, удалось все-таки подготовить к пуску этот проклятый рудник. О, за это он, конечно, получит благодарность украинского наместника Эриха Коха, а может быть, самого Геринга, столь заинтересованного в процветании концерна. Немец похлопал Кущевого по плечу, угостил сигаретой.

Клеть со старым мастером ушла под землю. Спустившись, Кущевой осмотрел устье штрека, накричал на рабочих, разбросавших доски, придирчиво осмотрел своды и ушел в глубь шахты.

Часовой, карауливший у ствола, рассказывал потом, что видел, как старик, насвистывая, уходил в глубь штольни и как понемножку удалялся его фонарик. Но он, конечно, не мог видеть, как Кущевой, неторопливо дойдя до поворота, бросился бежать во весь дух. Он остановился там, где галерея проходила как раз под протекавшим по степи ручьем. Здесь стенки штрека были укреплены с особой тщательностью. Тогда он вынул спрятанный под пиджаком топор и начал вышибать подпорки. Он работал яростно, не давая себе остановиться.

Наконец, когда подрубленные устои рухнули, потолок стал оседать и в шахту просочилась мутная пенистая вода, Кущевой бросился, но не к выходу, а дальше. Он падал, вскакивал, вновь бежал, а вода, которой становилось все больше, нагоняла его.

На стыке дальних штреков старик отыскал запрятанный между бревнами пакет с толом, поджег шнур и побежал еще быстрее.

Раздался такой взрыв, что гул его услышали даже наверху. С водой попробовали бороться, попробовали ее откачивать, но уровень ее все повышался. А утром, когда на рудник пришел поезд с одним вагоном, в котором прибыли германские промышленники и с ними будто бы сам Эрих Кох, торжество не состоялось. Шахта была полузатоплена.

Прошел слух, что директор рудника инженер Эберт застрелился. Так или не так, сказать точно никто не смог. Но все утверждают, что на Криворожье он больше не появлялся.

Оккупанты приписали взрыв шахты несчастному случаю. Местные жители, заметившие исчезновение Кущевого, сразу догадались об истинных причинах происшествия и с раскаянием вспоминали о том, как незаслуженно оскорбляли его, считая предателем. С этого дня имя Кущевого, пожертвовавшего жизнью, чтобы не дать врагу воспользоваться богатством родной земли, произносили с уважением.

Но, по существу, с этого история только и началась.

Когда на днях Красная Армия освободила эти края, из окрестных сел сошлись рудокопы. Был проведен торжественный митинг, посвященный освобождению. Ораторы славили Красную Армию, говорили о стойкости и верности украинского рабочего класса, добром поминали имя Кущевого и даже почтили его память вставанием.

Каково же было удивление, когда среди участников митинга где-то в задних рядах обнаружился человек, поразительно похожий на Алексея Кущевого. Правда, он был без бороды, без усов, но скуластое лицо очень походило на лицо старого горного мастера. Он молча стоял на митинге, тоже почтил вставанием память погибшего героя. А на следующий день поселок был поражен, ибо люди узнали, что он и был сам Кущевой.

Оказалось, что, осуществив замысел, ради которого он и пошел на работу к оккупантам, старый мастер, спустив в шахту воду и произведя взрыв, поднялся наверх по вентиляционному ходу, а оттуда, не заходя домой, ушел из поселка, скитался по селам и занимался чеботарством — профессией, которую он постиг еще в юношеские дни. Когда же Красная Армия пришла на рудник, он и «воскрес» из мертвых и вот теперь деятельным образом участвует в восстановлении шахты, которую сам и разрушил.

Возвращаясь из конторы, мы увидели старика на рудничном дворе. Он был полон энергии и отпускал такие высокохудожественные ругательства в адрес неумелых парней, поднимавших на копер какое-то колесо, что можно было заслушаться. Мы присели с ним на опрокинутой вагонетке. Попыхивала та самая чихалка, на которую так досадовал директор, повизгивали шестерни лебедки, журчал трос.

— Все хорошо, товарищи майоры, а вот жить мне сейчас негде,— ворчливо начал старик свое интервью с военными корреспондентами.— Хату-то мою наши же, черт их забодай, спалили в порядке народной мести. Вот теперь с женой да с девчонкой в сараюшке чужой приткнулся, а холода-то, вон они! Директор говорит — воскресший из мертвых... Иисусу-то Христу худо ли было? Он вон по морям босиком шлепал, как попы говорят. А я человек, эдак-то вот не могу. На митинге вон память мою вставанием почтили, а вот о живом человеке позаботиться — кишка тонка.

АЛЕКСЕЙ СЕМИВОЛОС

На ночлег нас направляют в так называемое административное общежитие, попросту говоря, в недавнюю квартиру директора рудника Иоганна Эберта, звезда которого закатилась здесь столь печально. До войны в этом

здании помещались детские ясли, но герр директор выбросил детскую мебель и обставил квартиру всем, что ему понравилось в брошенных квартирах инженеров рудника.

Сюда, в этот небольшой домик, примыкающий к рудничному двору, съехался сейчас цвет криворожских инженеров и хозяйственников. Все они много работали в тылу в дни эвакуации. Многие из них отмечены правительственными наградами, но сердце их оставалось здесь, в Криворожье. И вот когда первые наши части прорвались в эти места и в газетах появились сообщения о форсировании Днепра, они оставили семьи и съехались сюда, где их ждут тяжелые условия работы, неустроенный быт, трудности бивачного существования. Но это все их нисколечко не беспокоит. Одно беспокоит:

— Как с Кривым Рогом? Скоро вы его освободите? Ну скажите, чего там задержка? Ведь нам же работать нужно.

Среди этих старожилов Криворожья и знаменитый криворожский рудокоп Алексей Семиволос.

Кряжистый украинец с широким скуластым лицом и с необычайно живыми глазами. Он тоже смотрит на нас испытующе.

— Так почему же заминка в наступлении?.. Какие тут у немцев силы?.. А не может случиться, что они тут застрянут надолго?

По тону чувствуем, что этот сильный человек глубоко переживает военные события, развертывающиеся в родных краях. Он приехал сюда с неделю назад и уже успел пешком обойти освобожденные рудники, осмотрел их, потолковал со старыми рудокопами, пережившими немецкую оккупацию. Он отлично знает состояние шахт не только здесь, на территории, которая уже освобождена, но и там, за линией фронта.

— Не подвели землячки, не подмарали, не взял фашист криворожских руд,— с каким-то хозяйским довольством говорит он.

А потом много и интересно рассказывает о яростной борьбе между администрацией концерна «Восток» во главе с личным представителем Геринга в Заднепровье, каким-то доктором Лилихом, и криворожскими рудокопами. В результате этой борьбы, не прекращавшейся все время, а там, за фронтом, не прекращающейся, разумеется, и сейчас, Германия, испытывающая все время

рудный голод, так и не смогла увезти из здешних шахт ни куска руды.

— Крепкий мы народ. Гранит,— довольно говорит знаменитый рудокоп и дважды проводит рукою по лицу, будто разглаживая длинные запорожские усы, хотя и следа усов у него нет.

Семиволос больше всех изнывает от отсутствия возможности немедленно же приступить к делу. Он то и дело поднимается, ходит по комнате, точно лев в клетке, передвигает стол, переставляет стулья, то увеличивает, то уменьшает свет в освещающей комнату шахтерской карбидной лампочке с серебряной пластинкой, на которой выгравировано: «Лауреату Сталинской премии А. Семиволосу на добрую память о совместной работе от уральских друзей».

Кованов заводит с ним разговор об Урале. Семиволос с уважением говорит об уральцах. Выясняется интересное обстоятельство. Работая на уральской шахте и соревнуясь с уральцами, он в новых условиях довел дневную выработку до пятидесяти норм. В течение двухлетнего пребывания на Урале он выполнил десятилетний план.

Семиволос не без удовольствия принимает предложение написать в «Правду» статью об освобожденном Криворожье и, так как других дел нет, сейчас же берется за карандаш.

Проснувшись ночью, я вижу горящую на столе лампу, большую вихрастую голову, упрямо склоненную над столом, и медленно, очень медленно двигающуюся по бумаге руку, бережно держащую карандаш.

КРУШЕНИЕ КОВРА-САМОЛЕТА

Мы дома, то есть в нашей хате, к которой уже привыкли. У порога нас приветствует капитан Ростков — маленький, светловолосый, улыбчивый человек. Он вернулся из рейда с танкистами, отписался, сходил в баню и теперь сияет, как медный, только что вычищенный таз. После объятий и взаимных расспросов он вдруг вскрикивает:

— Пляшите, ребята!

— Письмо из дома?

— Лучше пляшите!

Капитан что-то вынимает из своего бездонного кармана. Это совершенно затрепанные телеграфные бланки. Что же это может быть? Вероятно, действительно что-нибудь интересное, ибо Ростков даже в корреспонденциях своих ничего не преувеличивает. Ну что ж, проделываем несколько диких антраша, и после этого нам с Ковановым вручается два телеграфных бланка: это вызовы наших редакций. За усердную нашу работу нам разрешается провести Октябрьские праздники в Москве...

На следующий день в двенадцать часов мы уже сидим в штабном самолете — двухмоторной легонькой «Щучке», которую летчики называют «дугласенком» и которая пользуется у них весьма сомнительной репутацией. Однажды, летя из Сталинграда, я пережил в таком «дугласенке» жуткие минуты... но черт с ними, с несовершенствами этого самолета. Главное — он несет нас в Москву, и мы чувствуем себя в нем как два Ивана-царевича, которым предстоит предпринять путешествие на волшебном ковре. И в самом деле, разве не странно: в один день, даже, в сущности, за несколько часов, перелететь из пекла заднепровской битвы в Москву, где наши семьи, где, кажется, нет уже и затемнения.

Все пока идет отлично. Оторвавшись от земли, погружаемся в специальный корреспондентский, то есть очень глубокий, сон. И сны видим самые первоклассные, высокохудожественные и высокоидейные.

Просыпаюсь от резкого толчка. Самолет летит как-то странно, будто кто-то схватил его за хвост и тянет в сторону. Он хочет вырваться, а этот кто-то не пускает, и поэтому все это тщедушное крылатое сооружение, как бы наскоро состряпанное из двух «кукурузников», дрожит мелкой дрожью. Еще не понимая, в чем дело, замечаю очень поскучневшее лицо офицера, сидящего против меня, судорожные движения в кабине летчиков. Выглядываю в окошко и ничего не вижу. Его точно бы замазали снаружи чем-то густым, коричневым. Масло?

Кованов проснулся раньше. Вообще-то у него очень живое лицо, но сейчас по его виду никак не угадаешь, что он чувствует. Лицо будто окаменело. Ничего не объясняя, он командует мне спокойным, однако, голосом:

— Привяжись. Привяжись как следует, и потуже, в случае чего голову на колени, на сложенные руки, это смягчит удар.

Теперь понятно. Вспоминается глупейший анекдот. Инструктор-парашютист учит курсанта: «Если не раскрылся основной парашют, дергайте кольцо запасного».— «А если не раскроется и запасной?» — спрашивает курсант. «Тогда отрывайте уши и бросайте их вниз».— «Почему?» — недоумевает наивный курсант. «А потому что они вам больше не пригодятся...»

Когда-то, помнится, я смеялся над этим анекдотом. Теперь не до смеха. Ох, неважно чувствуют себя Иваны-царевичи, когда ковер-самолет вдруг начинает быстро падать вниз. Гул мотора изменил тембр. Машина двигается какими-то зигзагами.

— Да что случилось? — спрашиваю я, скажем прямо, не очень твердым голосом.

— Правый винт оторвался,— философски поясняет Кованов и, как хозяйственный крестьянин у лошади проверяя подпругу, дергает мои ремни.

Вглядевшись в загрязненное окно, я замечаю, что действительно у мотора нет винта. Мы продолжаем идти на одном, быстро теряя высоту. А внизу, под нами, сколько можно разглядеть, голые лиственные леса и болотца, уже затянутые ледком и побелевшие. Нет, черт возьми, я не покажу, что трушу. С трудом выдавливаю на лицо какой-то неестественный зевок и замечаю, как, точно бы в ответ мне, широко и более естественно зевает Павел, а за ним и офицер, сидящий напротив меня.

И вдруг — батюшки! — самолет устремляется вниз уже на тяге одного винта. Смотрим в окно.

Теперь бы только дотянуть. Кованов неподвижен, как гипсовый монумент. И лицо застыло — ни страха, ни волнения. Спит, что ли, с открытыми глазами? Попробую-ка и я.

Тут шасси тяжело ударяется обо что-то, вижу мелькнувшую в окно зелень хвои, натягивая плечами ремни, бросаю голову на колени, на сложенные руки, зажмуриваюсь, жду удара. На мгновение проносятся в сознании лица жены, сына, матери, и... мне становится так стыдно, будто в лицо плеснули горячей водой. Самолет самым нормальным образом пробежал по заиндевевшей траве к березовому леску и уперся кабиной и крыльями в кусты. Уперся мягко и, я бы даже сказал, нежно.

Летчик, капитан Иваненко, с бледным, но спокойным лицом поднимается с сиденья. Руки у него, однако, дрожат, и папироса, которую он хочет взять из коробки,

падает на пол. По посадочной площадке к машине во весь опор несется автомобиль с красным крестом. Напрасно! Все благополучно, как говорится, отделались легким испугом.

Нас, прилетевших с горячего фронта, тут, на перегонной базе, организованной совсем недавно, принимают необыкновенно радушно, тепло. Появляются и горячая пища, и горячительные напитки. Хорошая жизнь! Одна беда, завтра праздник, и все машины у них в разгоне. В гараже только старый грузовичок, никогда никуда за пределы аэродрома у них не выезжающий. Мы долго и настойчиво упрашиваем начальника базы дать нам этот грузовичок до Москвы. Он колеблется.

— Ну куда вам торопиться?.. Вы знаете хоть, где вы сели? Это же самые чеховские из всех чеховских мест. Переночуйте, завтра сам свожу вас туда, а?.. Там все сохранилось. Даже скворечня есть, на которой надпись «Питейный дом». Сам Антон Павлович делал, ну?

Все это, конечно, безумно интересно, и нам, разумеется, хочется посмотреть историческую скворечню.

Но ведь Москва-то рядом. Мы с августа не видели своих жен и сыновей. И как только этому инженер-майору не стыдно держать нас здесь!

— Ну езжайте, что с вами поделаешь! — машет рукой начальник базы.— Только если будете куковать ночь в дороге, я не отвечаю.

Шофер на этом чахлом грузовике — молодая женщина, тоненькая, очень бледная. Еще на базе она признается, что сама боится этой проклятой машины и что от нее, от стервы, всего можно ожидать.

Кованов садится за руль, а шофер, сидя возле него, сейчас же засыпает.

БОЛЬШОЙ САЛЮТ

И вот мы едем. Дрянная машина, но все-таки лучше, чем наш ковер-самолет. Пронзительный ветер порывами бросает в глаза сухую, колючую снежную крупку. Солнце, огромное, рыжее, медленно погружается за горизонт, зыбко освещая озябшие печальные поля. Торопливо сгущаются ранние осенние сумерки. И вдруг на горизонте, там, где Москва, мы видим красноватое мерцание, а потом потемневшее небо оказывается вкривь и вкось перечеркнуто пестрыми разноцветными огнями.

Весь горизонт освещается необыкновенным трепетом прозрачных чистых звезд. Кажется, что какой-то великан приподнимает над столицей густеющую темноту, приподнимает и опускает. Мы уже догадались — это же салют, который впервые доводится видеть.

Кого же приветствует сегодня Москва в канун праздника? Неужели взят Кривой Рог, а мы зеваем это событие?

Считаем залпы. Двадцать второй... двадцать третий... двадцать четвертый... двадцать пятый... Неужели я сбился со счета? Двадцать шестой... двадцать седьмой...

Машина вдруг притормаживает. Из кабины высовывается Кованов. Он тоже удивлен необычным числом залпов. Что взято?

Первый же регулировщик у Подольска вместо обычных слов: «Товарищ майор, разрешите обратиться к водителю»,— говорит совершенно не по-военному:

— Киев! Освободили Киев! Москва стреляла за Киев!

Видно, что ему приятно произносить слово «Киев». Здорово! Вот это подарок! Мы забываем о всех своих бедах — о воздушной аварии, о сыром ветре, о том, что каждый километр с машиной что-нибудь случается и приходится то менять шину, то возиться с мотором, то разгонять по шоссе машину руками, чтобы его завести. Скорее в Москву! В родную предпраздничную сутолоку!

Столица все ближе. Поток машин увеличивается. Праздник чувствуется даже здесь! В предместье, за контрольно-пропускным пунктом, под черной трубой репродуктора стоит толпа. Пока проверяют наши документы, мы слушаем, как из рупора, покрывая все дорожные шумы, течет знакомый, ровный, глуховатый голос, который, раз услышав, узнаешь потом среди тысячи голосов.

— Давно говорит? — спрашивает Кованов, втираясь в толпу.

На него шикают:

— Тише! Не мешайте! Только начал.

Мы замираем. Слышатся слова доклада.

Сейчас солдаты и офицеры наших наступающих армий слушают И. В. Сталина в только что освобожденном Киеве, в степях Криворожья, в лесах Гомельщины, в старинном городе Невеле, в сотнях километров от родной Москвы.

...Мы въезжаем в Москву с чувством глубокого волнения. Темно. Во мраке чернеют громады домов, изредка, когда трамвайная вспышка озаряет небо, мы на мгновение видим причудливый рисунок крыш.

Приглушенные и затененные огни машин светлым пунктиром намечают наш путь. Теперь уже недалеко. Кованов притормаживает, пропуская встречные машины, и сворачивает ко мне на Беговую.

Дома! Несмотря ни на что, дома. Жена бросается навстречу, приникает к грязной шинели и замирает молча. Мама стоит в сторонке и силится не расплакаться. Белокурый кудрявый мальчуган, которому отнюдь не нравится, что на него не обращают внимания, стремится как-нибудь протолкнуться между матерью и отцом.

Дома! И в такой хороший, в такой богатый день...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАШ НОВОГОДНИЙ ТОСТ

На войне жизнь так насыщена, каждый день так богат событиями, большими и малыми, что как-то редко задумываешься над тем, что будет, скажем, через месяц, и совсем уже некогда оглядываться назад.

Сегодня 31 декабря. Последний день 1943 года. Вечером, передав в свои редакции материалы, приуроченные к Новому году, мы с Павлом Кovановым поднялись из глубокого блиндажа, где стучат аппараты военного телеграфа, и к себе домой не пошли, а стали бродить по селу, раздумывая о прошлом годе.

Странная стоит в этих краях сейчас погода. Морозный вечер тих и прозрачен. Ничего не шелохнется. Дымы над хатками поднимаются как лисьи хвосты. А вот третьего дня дул южный ветер, одел все туманом, тянул какую-то водяную пыль. Вот она-то и покрыла за ночь все коркою сверкающего льда: подветренные стены хат, камышовые крыши, деревья, кусты, даже травинки, торчащие из-под снега. Отягченные этим прозрачным грузом, ветви гнутся к земле, и деревья, принявшие шарообразную форму и ставшие похожими на застывшие фонтаны, при малейшем ветре издают мелодичный звук. Стебли трав кажутся стеклянными. Все это сейчас, под луной, голубовато сверкает, и так красиво, что невольно смотришь на небо — не покажется ли там силуэт проказливого украинского черта, воспетого Гоголем, чтобы стащить эту горбушку ясного месяца. Но черта нет. Зато, невидимые, гудят самолеты. Они движутся с севера на юг. Мы знаем — это наши. Они летят бомбить дороги немецкого отступления.

И мы спокойно, удовлетворенно провожаем их гул, а ведь всего год назад в Сталинграде доносящийся с неба вибрирующий звук моторов вызывал совсем иную реакцию, и настроение у горстки офицеров, собравшихся встретить Новый год в гранитном водоводе, на КП у генерала А. И. Родимцева, было совсем не такое, как у нас сейчас...

То было далеко, на Волге. Сейчас мы уже за Днепром, на Правобережной Украине, в разгаре бурных во-

енных событий, на которые едва успеваем откликаться своими корреспонденциями. А ведь фронт в движении, все еще только развертывается, и даже наши доблестные «звездовцы», то есть корреспонденты «Красной звезды», слывущие среди нас стратегами, не решаются предсказывать, как и где это наступление закончится...

Деревенька, где мы сейчас живем, цела. Она как-то оказалась в стороне от войны. Белые, чистенькие хатки с маленькими окошками. Пухлые крыши надвинуты на эти окошки, как папахи на глаза. Дымки над трубами. Плетни. Все это Гоголь заставил нас полюбить еще в детстве. Вот только темны эти хатки. Комендант штаба, майор с живописной фамилией Чертенков, строжайше следит за маскировкой. Лишь изредка увидишь тоненькую полоску света, бросающую расплывчатые блики на обледенелую дорожку. Прислушавшись, улавливаешь в хатах треск пишущих машинок, а приглядевшись, заметишь, что вдоль плетней тянутся провода. А когда идешь по улице, встретишь не блудливого и глупого Голову из «Ночи перед Рождеством», а возникшего из полутьмы крылечка часового:

— Стой! Кто идет? Пропуск.

Сколько километров отделяет наш фронт от Белгорода и от Харькова! Пять месяцев почти непрерывного наступления! Огромные пространства освобожденной земли. Форсированный Днепр. Прорванный «Восточный вал», которым нас так пугал Геббельс.

И вот сейчас, на рубеже года, оглядываясь назад, мы видим не только освобожденные города, отвоеванные пространства, не только трофеи, которые теперь уже подсчитываются на глазок «огуречным счетом», но видим, весомо и зримо видим, как в беспримерном этом наступлении, в непрерывных боях закаляются наши воины, растет и крепнет полководческое мастерство командиров.

— ...Главное,— говорит Павел,— главное и самое характерное, по-моему, в том, что, наступая, мы не слабеем, а крепнем. Армия пополняется. Растет. Разве не так?

Кованов по гражданской своей профессии — деятель советской педагогики. Он больше политик, чем военный. И как человек, склонный к политическому и психологи-

ческому анализу событий, думается мне, действительно отметил самую характерную черту этого нашего наступления.

Может быть, и действительно в истории войн не бывало, чтобы какая-нибудь армия, наступающая с непрерывными тяжелыми боями против сильного, умелого, стойкого и отнюдь еще не деморализованного противника, умеющего использовать любую возможность для контратак, чтобы эта армия не уставала, не обескровливалась, не таяла, а, наоборот, росла. Это с удивлением признают и наши союзники. Об этом с недоумением и даже, как мне кажется, с каким-то суеверным страхом говорят нам наиболее думающие из пленных неприятельских офицеров.

И еще говорим мы о Москве, о наших семьях, которые снова без нас сядут за праздничные столы, о том, как скудны, наверное, эти столы, и гадаем, сколько еще раз придется нам встречать Новый год на фронте, когда и где окончим войну.

С того дня, как я, вылетев в Москву, прервал записи в дневнике, обстановка за Днепром коренным образом изменилась. Части нашего фронта взяли Верхнеднепровск, Крюков, освободили древний украинский город Чигирин, в котором начинал свою деятельность Богдан Хмельницкий. Освобождены Черкассы.

Соседи слева взяли Днепропетровск и Днепродзержинск и углубились в заднепровские степи.

Соседи справа, отдаленные, правда, от нас упирающимся в Днепр клином, который противник называет «смельско-мироновской дугой», вышли далеко за пределы Киевской области.

Последняя наша победа — овладение Знаменкой, большим узлом железных дорог Правобережной Украины.

Наведение железнодорожных мостов через Днепр в районе Крюкова и Черкасс значительно упрочило стратегическое положение войск нашего фронта. Сейчас, когда освобождены Новая Прага, Александрия, Аджамка и другие крупные и мелкие населенные пункты, которыми противник прикрывал правую сторону своей «смельско-мироновской дуги», когда наши части стоят уже у Смелы и ведут бои на Кировоградском плацдарме, можно ожидать нового нашего удара — огромной силы и большого значения.

Где? Трудно пока сказать, но уже по многим признакам видно, что этот подготовляемый удар будет необыкновенно мощным...

...Долго бродим по заснеженным улицам. Так размечтались, что чуть было не опоздали к новогодней встрече.

Еще из сеней слышен хохот. Ну конечно же — разыгрывают капитана Росткова. Он действительно «отколол номер», этот храбрый, но житейски совсем беспомощный капитан: вернулся из наступления, имея на ногах одни голенища и замотав ступни портянками. Оторвавшиеся подошвы принес в кармане шинели и мирно спал потом на печке, пока мы добывали ему новые сапоги.

Стол, поставленный среди хаты, покрыт свежей скатертью, заставлен всяческими украинскими яствами, такими красочными и красивыми, что хоть натюрморт пиши. Лоснятся в тарелках крапчатые, пахнущие смородинным листом огурцы; багровеют маленькие, терпкие на вкус моченые помидоры; в глиняном блюде — вилки кислой капусты. Под полотенцем — горячие пироги. Сочно желтеет соленый бокастый арбуз. А посредине — жестяной бидончик с чудесным старым коньяком, какой не пивали мы с мирных дней. Этот коньяк прислали грузинские колхозники в новогоднем подарке нашему фронту. Чувствуется, что и хлебосольный Петрович, и наша хозяйка, немолодая хромоногая крестьянка тетя Галя, двинули ради такого дня в бой все свои резервы.

Боеприпасов на столе немало, но и войска хватает: майор Кованов и капитан Костин, представляющие Союзрадио, мы с капитаном Ростковым — «Правду», наш гость — совинформбюрист, старший лейтенант Лило Лилоян, наши верные водители и во главе стола тетя Галя, опирающаяся на свой посошок, похожая на боярыню Морозову с известной картины Сурикова.

— За счастливый год, год побед! — возглашает Кованов.

Пьем.

— За то, чтобы он был последним годом войны,— добавляет тишайший Аркадий Ростков.

Пьем.

— За то, чтобы всем нам написать когда-нибудь по хорошей корреспонденции о взятии Берлина,— провозглашает Лилоян и радуется.— А? Плохой тост?

Пьем.

— А ну выпейте-ка за то, чтобы всем вам живым остаться,— говорит тетя Галя.

Наш виночерпий Костин перевернул, потряс бидончик. Увы, он пуст...

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

...В новогоднее утро после сильной артиллерийской подготовки армии центрального сектора нашего Второго Украинского фронта начали наступление на Кировоград.

Этот сравнительно молодой украинский город, лежащий меж пологих высот, в извилине неширокой, но быстрой в этих местах реки Ингула, имеет небольшую, но интересную военную историю.

Он был построен дочерью Петра Великого, Елизаветой, как крепость, чтобы охранять Приднепровье от набегов крымских татар. В первый же год своего существования эта чрезвычайно удачно построенная крепость, прикрытая с юго-запада извилиной реки, а с северо-запада — грядами высот, на которых были сооружены валы и стены, сыграла свою роль. Здесь русские солдаты вместе с ремесленными и торговыми людьми сначала остановили, а потом разгромили конницу крымского хана и тем самым навсегда положили конец его посягательствам на Украину.

И вот сейчас эти места снова стали ареной жестокой битвы.

Мы знаем: гитлеровское командование держит и будет удерживать Кировоград до последней возможности. Ведь это основной бастион, прикрывающий их части, обороняющие так называемую «смельско-мироновскую дугу». Сюда, по разведывательным данным, оно спешно подбрасывает пехоту и танки, чтобы ударить на Знаменку и вырвать ее у нас. Это подтвердили сегодня два пленных немецких летчика, базировавшиеся на кировоградском аэродроме. Догадка эта как будто правильна еще и потому, что атаки на занятую нами Аджамку не прекращаются.

Не выезжая из своей деревеньки, мы слышали сегодня, как целых пятьдесят минут работала наша артиллерия. Мы слушали, стоя на улице, и ликовали: началось! В десять ноль-ноль нам сообщили, что места прорыва расчищены пехотой и в проломы входят танкисты генерала Ротмистрова. В тринадцать ноль-ноль мы

узнали, что враг бросил в контратаку сто пятьдесят танков, стремясь закрыть образовавшуюся брешь. На дальних подступах к Кировограду разгорелся танковый бой. Результаты его к исходу дня остались неуточненными, но, посмотрев на карту, где отмечалось продвижение наших войск, мы увидели, что два острых, но пока еще узких клина — с севера и с востока — врезались в тело вражеской обороны и один из них уже приближался к предместьям города, угрожая перерезать последнюю действующую у врага железную дорогу.

Хатка, в которой мы живем,— крохотная и чистенькая, как сундучок. Она так мала, что, когда Кованов входит в нее в своем широком кожаном пальто, под которым он носит ватник, вдруг всем становится тесно. Хорошо еще, что по случаю наступивших холодов тетя Галя с тремя ребятами живут на печи и не слезают с нее без крайней надобности.

Наша хата имеет два преимущества перед другими. Она находится у самого большака, ведущего на Кировоград, так что мы в любую, даже самую сильную оттепель сможем выехать на большую дорогу и проскочить в освобожденный город. При нынешней капризной зиме это очень удобно. Второе удобство, это хозяйкин внук, годовалый мальчуган Тарас, черноглазый, своенравный и удивительно громогласный. Просыпается он в семь утра и сразу поднимает такой крик, что даже Ростков, предпочитающий горизонтальное положение всем другим возможным, начинает свой трудовой день раньше обыкновенного.

Эти два преимущества спасли нас сегодня от крупного и непростительного промаха, или, на шоферско-журналистском наречии, «прокола». Тарас поднял нас необычайно рано, когда на улице еще не брезжил рассвет. Тетя Галя занялась крикуном, а Кованов тем временем стал звонить в оперативный отдел, чтобы узнать исход начавшегося вчера танкового сражения. Ответ был неожиданный. Осторожный, всегда очень осмотрительный оперативник сказал:

— Пора ехать к Кировограду.

На рассвете, закусывая на ходу, мы уже неслись по шоссе, поднимая колесами целые тучи брызг, потому что вдруг сразу потеплело и дорогу так развезло, что машины в нескольких шагах от большака уже вязли в грязи.

Перед отъездом мы узнали, что во встречном танко-

вом бою ротмистровцы смяли противника, подбили и захватили около пятидесяти машин и, продолжая движение на город, ворвались на северо-западную окраину Кировограда. Они контролируют уже последнюю находящуюся в руках врага железную дорогу. Вторая группа танков от селения Червоный Яр рванулась на запад и перехватила все грунтовые магистрали, питающие кировоградскую группировку.

Таким образом, перехвачены коммуникации, и, так как напор на город нарастает, исход битвы, вероятно, решается часами. Классически завершенный охватывающий маневр! Неужели судьба этого крупного областного города, города-крепости, в районе которого сосредоточено семь пехотных и танковых немецких дивизий, будет решена в несколько дней?

Еще горят дома в селе Аджамке и за селом совсем свежи следы боев. Очевидно, основная борьба шла как раз вокруг магистрали Новая Прага — Кировоград, по которой мы едем, так как снег на полях местами буквально черен от поднятой взрывами земляной пыли и пороховой копоти и весь изборожден ступенчатыми следами танковых гусениц.

В степи, направо и налево от дороги, то в одиночку, то группами застыли подбитые и сгоревшие бурые вражеские танки.

В нескольких километрах от Кировограда нас останавливает дивизионный патруль. Точка. Дальше ехать с этой стороны нельзя. Бой идет как раз на восточной окраине, у аэродрома, и хотя войска наши уже в городе, подъехать к нему можно только кружной дорогой. В эдакую-то грязь! Пробуем убеждать, упрашивать, угрожать. Ничего не действует. Патрульный — девушка, а девушки в шинелях — народ серьезный, не поддающийся ни уговорам, ни убеждениям. Исчерпав все доводы, все комплименты, шутки и улыбки, какие на такой случай в изобилии припасены у Петровича, мы вынуждены сдаться.

Впрочем, действительно, уж очень густая и близкая слышится канонада. Сворачиваем на проселок и с риском увязнуть едем по дороге, проторенной по целине обозом какого-то наступавшего полка. Она вьется меж пологих холмов, то сбегая в заросшие ракитником лощины, где стоят разбитые или брошенные пушки и скрытые в кустах погребки со снарядами, то поднимаясь вверх,

на гребень холма. Тогда на широком, сверкающем снежной голубизной горизонте то справа, то слева видны темнеющие громады сгоревших и подбитых танков. Мы едем по дороге наступления и всюду видим его следы.

У леска, на развилке, усатый сапер-украинец, шаривший по снегу своим миноискателем, показал нам дорогу, а потом, улыбнувшись в свои прокуренные усы, вдруг добавил:

— Нэ бажаете побачыты германьский зверынець? Ось тут нэдалэчко. Дужэ много их вчора тут побылы. Вин у тий балочци, за тэым сэлом.

Лицо у сапера такое хитро-довольное и так ему, видимо, хотелось, чтобы мы «побачили» сей «зверинец», что мы поняли: тут действительно что-то интересное — и свернули с дороги к балочке. В лощине мы увидели картину вчерашнего боя. В кустах молодого ракитничка толпились вражеские танки. Их было одиннадцать — шесть «тигров», три «пантеры» и две маленькие танкетки, из тех, что немцы зовут «кошками». Они расположились полукружием, очевидно, приготовившись к длительной обороне. А из-за них высовывался длинный ствол покосившегося «фердинанда», которому снаряд, попавший точно, разворотил броню, отчего тот стал почему-то похож на физиономию человека, раздутую флюсом.

Сапер хорошо сказал: действительно, это зверинец — целая коллекция стальных хищников, навсегда укрощенных и пригвожденных к месту. Снег, изрытый минами и снарядами, еще хранил следы яростного боя. Видно, захватить эти машины стало возможным лишь в результате большого мастерства наших воинов.

И мне здесь вспомнился вдруг приказ командира вражеской танковой дивизии, захваченный нами в первые дни нашего наступления на Орел.

Обращаясь к солдатам, генерал писал, что германская промышленность дала армии новые чудеса военной техники — танк «тигр», против которого бессильна вся советская артиллерия, самоходное орудие «фердинанд», которое сокрушает любую броню.

Бои показали, что это действительно сильные танки и действительно отличные самоходные пушки. Но в наших частях появились настоящие охотники за «тиграми», хорошо знающие их повадки, их уязвимые места, умеющие хладнокровно подстерегать и поражать их наверняка.

Перед нами наглядная картина фашистского зверинца, укрощенного мощью советской техники и смекалкой советского солдата.

Ближе к дороге — «тигр» с развороченным лбом, грозная броня разнесена снарядом тяжелой пушки. Чуть дальше — груда стальных обломков, разбросанных по снегу. Только по четырехугольной подбашенной площадке, к которой приварена для счастья подкова и на которой нарисована звериная морда с оскаленными зубами, можно догадаться, что это тоже обломки «тигра». Бронебойный снаряд прошил его бортовую броню, зажег бензиновый бак, и взрыв собственных боеприпасов разнес стальное чудовище.

Еще дальше — «тигр» с подбитой гусеницей. Убедившись, должно быть, что танк не спасти и помощи ожидать неоткуда, экипаж пытался бежать, не успел даже зажечь машину. Но ушли они недалеко. Три трупа уже запорошило тонкой пеленой снежка.

Остальные «тигры» бурые. Они сожжены.

Тяжелый снаряд угодил под самый орудийный ствол «фердинанда», и ствол его силой взрыва отбросило на много метров. Другой «фердинанд» стоит, притаившись в кустах: его бросила бежавшая прислуга. «Пантеры» сбились в кучу за спиной «тигров». Залп тяжелых снарядов угодил именно сюда, и танки стоят с развороченными боками, с искалеченными гусеницами. «Кошка» цела: ее попросту бросили. Наши танкисты уже забрались в нее и пробуют завести мотор.

Спасибо саперу. Стоило дать крюк, чтобы посмотреть этот укрощенный зверинец — примечательный штрих нашего нового наступления на Кировоград.

Поколесив и поплутав по обходным дорогам почти весь день, к ранним зимним сумеркам мы добираемся наконец до большака. Впрочем, мы не опоздали, кажется, даже приехали рано, так как канонада в северо-западном секторе города звучит не умолкая. Но уже темнеет. Нужно побывать хотя бы в южной части города. К вечеру бой может закончиться, и Совинформбюро сообщит о взятии Кировограда.

Продолжаем путь.

У города шоссе идет по высокой насыпи и, как предупреждают нас, просматривается и обстреливается со

стороны вокзала прицельным огнем немецких танков. Сплошной поток войск медленно тянется справа под прикрытием насыпи. Включиться в него — значит потерять около часу. Совещаемся, как быть. Но прежде чем мы успеваем взвесить доводы «за» и «против», Петрович дает полный газ, и наша ядовито-зеленая пятнистая «пегашка», разбрызгивая колесами грязь и талый снег, несется по шоссе через опасный отрезок. Мы проскакиваем его и, прежде чем вражеские артиллеристы успевают взять на прицел, оказываемся в городе.

Разрывы грохают уже сзади.

Здесь умудренный войной Петрович сразу сбавляет ход. На улицах бояться нечего — разве шального снаряда, но от этого не убережешься. Падает крупный мокрый снег, покрывая следы недавнего боя, заметая редко попадающиеся тела убитых, брошенные пушки, свежие раны домов. Ни души. Ни следа на чистой снежной пелене. Каждый выстрел стихающей канонады многократно повторяется гулким эхом.

Город цел. Ничего здесь не успели ни сжечь, ни взорвать. Несколько саперов возятся у здания церкви на площади перед рекой. Здесь мы видим первых жителей — человек десять, не больше. Они помогают выводить из церкви короткохвостых упитанных коней. Рябой солдат ворчит, дергая за повод огромного першерона:

— Вот наказание, ни черта по-русски не понимает! Ему «тпру», а он идет, ему «но», а он стоит. Хоть переводчика ищи!

Сапер, возящийся в дверях, предупреждает:

— Осторожней.

Он показывает шнур. Потом ведет вниз и сквозь слуховое окно подвала электрическим фонариком высвечивает заложенные у фундамента, перевязанные проводом пакеты тола. Шнур тянется на улицу. Его не успели поджечь. Такие же фугасы нашли под мостом, под зданием почты, под домом, где помещалось гестапо. Здорово же торопились фашисты, если не успели даже чиркнуть спичкой.

Впрочем, сейчас они, должно быть, опомнились и, укрепившись в северо-западном предместье Лелековки, ведут непрерывные атаки.

Еще раз объехав город, находим крытый двор, въезжаем в него, зажигаем в кабине свет и быстро дописываем концовки статей о начале кировоградской операции.

Уговариваемся так: я везу обе статьи на телеграф и забочусь о передаче их в «Правду» и Союзрадио, а Кованов остается в городе. Завтра утром мы встречаемся с ним у коменданта, который к тому времени уже, вероятно, где-то поднимет свой флаг.

Ночью спать не приходится. Связь поминутно нарушается — где-то между Москвой и Харьковом бушует буран. Радисты тоже почему-то никак не могут войти в связь с центром. Когда наконец, совершенно измученный, но довольный, я выхожу из блиндажа, где ритмично отстукивают телеграфные аппараты, над селом уже бледнеют звезды.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОЛЬШОГО МАЙОРА

Часа через два мы снова едем знакомой дорогой и поспеваем в Кировоград, когда над ним поднимается солнце первого свободного утра.

Кованова я нахожу в задней комнате комендатуры, откуда еще не успели вытряхнуть имущество какого-то торопливо бежавшего немецкого учреждения. Он богатырски храпит, прикрывшись кожаным пальто и положив под голову какие-то папки. Пока удается его разбудить, дежурный по комендатуре успевает рассказать о его ночных похождениях.

Происшествие, в общем-то не очень выдающееся, но поучительно для Пьеров, какие еще имеются в трудолюбивой семье военных корреспондентов нашего фронта. Осматривая район крепости, где фашисты производили массовые расстрелы, корреспондент Союзрадио услышал где-то рядом стрельбу. Оказывается, вражеский пулеметный расчет, засев на насыпи у подножия стены, открыл огонь в самом центре почти очищенного города. Ему удалось даже ранить нескольких жителей.

Сразу сообразив, в чем дело, Кованов остановил каких-то бойцов, бродивших в поисках своей части, забрал у одного из них винтовку и, организовав их в небольшой отряд, повел к крепостному валу. Пока бойцы вели перестрелку, он сам подполз к вражеским пулеметчикам с тыла, а потом, действуя не столько пулей, сколько прикладом, прикончил обоих эсэсовцев. Тем временем остальные его бойцы таким же путем уничтожили еще пятерых гитлеровцев, засевших в блиндаже.

Лейтенант, дежурный комендатуры, с уважением рассказывал о ночных приключениях корреспондента Союзрадио. Сам же Кованов, проснувшись, сразу поинтересовался:

— Ну как, удалось передать? Москва стреляла? Поспел материал к салюту?

Знаю, еще по Калининскому фронту знаю я Павла Кованова. Много с ним исхожено и изъезжено по фронтовым дорогам родного мне Верхневолжья. Сколько раз его храбрость и самообладание проверялись в кюветах и воронках во время бомбежек и артиллерийских обстрелов. Но такого, признаюсь, от недавнего деятеля народного просвещения я не ожидал. Впрочем, ему кажется, что не произошло ничего особенного.

— Ты что, на моем месте так бы не поступил? Зря, что ли, погоны носим?

Умывшись снегом тут же у машины, он, достав блокнот, начинает рассказывать о кировоградских лагерях и тюрьмах, мрачные слухи о которых доходили до нас и через фронт. Потом мы знакомимся с человеком неопределенных лет, по профессии техником — одним из немногих уцелевших очевидцев злодеяний, которого Кованову удалось отыскать.

Это седой человек с отечным, землистого цвета лицом, с трясущейся головой. Он водит нас по страшным местам и дребезжащим голосом рассказывает о том, что творилось здесь еще вчера, когда город был в фашистских руках.

Седому этому человеку, как оказывается, всего двадцать девять лет. Зовут его Виктор К. До войны он работал на заводе, был спортсменом.

Шесть месяцев нацистских лагерей превратили его в старика. Даже теперь вот он не может смотреть на эти стены без содрогания и, рассказывая, поминутно останавливается, кусает губы и смолкает, обрывая фразы, чтобы подавить подкатывающиеся к горлу рыдания.

Переезжаем реку Ингул. К. ведет нас в пустой лагерь, вспоминает все, что ему пришлось пережить и перевидеть. Жуткое место! Кажется, каждый камень здесь дышит страшными воспоминаниями. В противотанковом рву рядами лежат те, кого расстреляли вчера утром эсэсовские части прикрытия.

Затем К. ведет нас через площадь к маленькому домику. Здесь живут три сестры М. Они — свидетельницы расстрелов, происходивших у крепостной стены. Все три старушки садятся рядом на диван и начинают рассказывать, как в течение двух с половиной лет у этой стены трещали выстрелы, а потом из могил будто бы слышались крики недобитых, погребенных заживо людей.

Страшное место!

ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...

Гитлеровские части, выбитые из Кировограда, окружены северо-западнее города и зажаты на маленьком холмистом участке земли вокруг пригородного села Лелековки.

Мы долго идем по узкой улице северной окраины Кировограда — идем потому, что проехать нельзя. Улицы загромождены развалинами, телеграфными столбами, подбитыми танками, остовами сгоревших машин. Тут бои носили особенно упорный характер. Сюда отступали выбитые из центра города и разбитые на подступах остатки вражеской дивизии. Нам сказали, что у Лелековки сосредоточилось сейчас около пяти тысяч пехотинцев, около ста танков и много артиллерии. По ходу сообщения подбираемся к большому четырехэтажному дому, в котором, говорят, жили рабочие-железнодорожники. На верхнем этаже в пустой квартире со следами былого уюта расположился наблюдательный пункт капитана-артиллериста Гусева. Из окна видна вся Лелековка, раскинувшаяся в лощине за отороченным ракитником прудом, и вдали берега реки Ингула. Мы долго наблюдали картину боя. Противник расположил свою оборону полукружием по околице деревни. Сверху отчетливо видны черные зигзаги свежих окопов, пулеметные гнезда. Танки стоят в глубине села, почему-то за стогами соломы. Противник, вероятно, думает, что замаскировался. Но ведь сверху же отлично видны вспышки выстрелов. Говорят, у него здесь много артиллерии. Она бьет откуда-то из-за деревни, но бьет пока осторожно, должно быть опасаясь, что ее могут засечь. Только где тут! Выстрелы и разрывы тонут в непрерывном грохоте нашей канонады. Грязное облако порохового дыма, не опускаясь, стоит над горизонтом. Непрерывно, звеньями, волна за волной со злым ревом

несутся штурмовики «ИЛ-2». «Черная смерть» — зовет их противник. Смерть эта носится сейчас над его головой. Порой самолеты исчезают в клубах порохового дыма, и видны только красноватые вспыхивающие точки реактивных снарядов.

Но почему же все-таки враг не сдается? Почему, даже попав в совершенно безнадежное положение, например, здесь, под Лелековкой, противник предпочитает драться, и, нужно отдать ему справедливость, дерется здорово, буквально до последнего? Почему им так трудно поднять руки?

Пленные, которых становится все больше, отвечают лаконично: «Приказ». Иные, что пооткровеннее, признаются: «Гестапо. Боимся за судьбу семей». И все же складывается мнение, что истинной причины этой стойкости в таких вот явно безнадежных положениях мы не знаем.

В самом деле, почему?

НАКАНУНЕ

Из Москвы неожиданно прибыл полковник И. Г. Лазарев, начальник военного отдела «Правды».

Корреспонденты шутят: есть, мол, примета: появление начальства — к большим событиям. На этот раз шутка оправдывается. Раздавив лелековскую группировку, наше командование быстро перенесло центр удара севернее Кировограда, и сейчас наши танки, прорвав вражескую оборону, устремились по направлению к городу Шполе. Это еще не объявлено, но в штабе говорят, что войска командующего Первым Украинским фронтом генерала Н. Ф. Ватутина, двигающиеся от Белой Церкви, тоже прорвали оборону и успешно наступают в Звенигородке.

Нетрудно понять, что в этом встречном движении есть близкая взаимосвязь, и в этой взаимосвязи идущих друг к другу навстречу танковых армий, вероятно, и заключено стратегическое зерно начавшейся операции.

В последние два дня никому из нас не удается добраться до места сражения. Оттепель. Поля совершенно обнажились и неожиданно вдруг зазеленели бархатными озимями. На дворе по-весеннему пахнет оттаявшим

навозом. Петухи неистовствуют. Озеро за нашим огородом посинело, разлилось, а на дорогах такая грязь, какая может быть только здесь, в хлебороднейшей полосе черноземной Украины.

Машины стоят во дворе, погрузившись в жидкий навоз по самую ступицу. Ни проехать, ни пройти. Отправляясь по утрам за информацией в оперативный отдел, собираемся, как в полярную экспедицию. Словом, скованы по рукам и ногам. А рядом гремят раскаты новой битвы. Мы слышим звуки артиллерийского боя, идущего в воротах прорыва, у деревни Тишковки.

А по ночам, если ночь светлая, можно видеть мерцание ракет и вспышки разрывов, и от всего этого на душе еще тягостнее. Для настоящего журналиста нет муки тяжелее, чем вынужденное сидение в такие вот дни. Все ходят нахохлившиеся, злые, раздражительные, и все бешено завидуют капитану Костину, корреспонденту Союзрадио, который еще в первые дни операции успел присоединиться к наступающей танковой части и вместе с ней сейчас идет на танке в глубь немецкой дуги.

То с офицером связи, то с попутным летчиком, то с ординарцем-конником или какой-нибудь оказией он передает свои корреспонденции, от которых, как кажется, пахнет дыханием боя. Последнюю он дал из только что занятой Шполы и в приписке предупредил, что может проскочить с танками на соседний фронт и что нам не следует о нем беспокоиться, если он на несколько дней исчезнет с горизонта.

КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ ЭСТАФЕТА

Все мы, в том числе и наш гость, полковник Лазарев, передавали друг другу эти четыре листка наспех исписанной бумаги. Вот, черт возьми, повезло человеку! А мне особенно лихо — начальство рядом, и нет никакой возможности отличиться. Даже передать фронтовую хронику и то проблема. Проводная связь то и дело рвется. Телеграфисты-сетевики ходят теперь пешком — пока он доберется до обрыва, пока он его найдет, пока исправит, пока, настраиваясь на Москву, техники «гоняют точки», случается новый обрыв.

Словом, в Москву доходят с фронта только оперативные и разведывательные сводки да политдонесения.

Наши корреспонденции лежат на пюпитрах телеграфисток толстыми подушками. Даже черные очи и обезоруживающая улыбка корреспондента «Красной звезды», майора Вани Агибалова, имеющего на телеграфе шумный успех, даже юмор и вулканическая напористость нашего нового товарища из «Известий», майора Леонида Кудреватых, внушительная внешность и дипломатические способности майора Кованова, всепокоряющий кавказский акцент Лило Лилояна — ничто не может продвинуть в Москву наши волнующие и скоропортящиеся сочинения.

Мне, пожалуй, спокойнее, чем другим. Полковник Лазарев не меньше меня страдает от этой гомерической распутицы. Спрашивать, почему я молчу и как провожу свои досуги, некому. Но, черт возьми, сколько же действительно можно молчать!

И вот сегодня утром меня разбудил телефон. На проводе секретарь Военного совета майор Григорий Романчиков, наш общий друг, губящий, как мне кажется, в военной канцелярии настоящее репортерское дарование и, во всяком случае, добрый журналистский азарт.

— Хлопцы, не зевать! — слышу я в трубке.— В столицу нашей Родины со срочным пакетом от Военного совета вылетает прямым рейсом «Р-5». Стартует через двадцать минут. Рейс важный, если успеете передать ему свою стряпню, завтра весь мир будет потрясен вашими залежавшимися шедеврами. Только не опаздывайте, ждать не будет.

Двадцать минут! За это время надо добежать до телеграфа километра полтора, оттуда до посадочной площадки еще два. И это по грязи, которая хватает за ноги и норовит сдернуть с тебя сапоги. Тут, пожалуй, и сам многокрылый Меркурий спасует.

Меркурий, но не военные корреспонденты. Живем все рядом. Погода не выпускает из дома. Через минуту мы уже вместе. Кудреватых осеняет гениальная мысль: ни у кого у нас в отдельности не хватит на это сил, организуем эстафету. Встанем на участках от узла связи до посадочной площадки. Каждый побежит что есть сил. Потом другой, третий... пятый. Отличная мысль. Захватив вещевой мешок, самый молодой среди нас Лило выбегает на первый маршрут к узлу связи, а остальные занимают свои места. Меня, как не очень крепкого на ноги, но, по характеристике Кудреватых, крепкого на язык, отправляют прямо на летное поле «вкручивать

баки» пилотам, с тем чтобы они все-таки дождались окончания эстафеты и не улетели без наших материалов.

Эта идея очень понравилась полковнику Лазареву.

— Дружно живете,— произносит он и вдруг изъявляет желание принять участие в этой эстафете. Честно говоря, мы испугались: полковничьи погоны, вес, как общественный, так и физический, хромовые сапоги, малоприспособленные к украинским грязям... Нет, пусть лучше за ним останется идейное руководство и наблюдение.

Записывать долго, а вот совершалось все это в считанные минуты. Примерно минут за десять до срока отлета я уже был на посадочной площадке, познакомился с летчиком и бортмехаником. Рассказал им, как важно сейчас для хода войны, чтобы наши корреспонденции попали в редакцию сегодня вечером и были опубликованы завтра, как они подбодрят наш героический тыл и благоприятно подействуют на союзников, подтолкнув их к созданию второго фронта.

— Так давайте. Слово даю: живы долетим, вечером все будет в «Правде»,— заявил пилот.

Пришлось долго и подробно объяснять, что речь идет не только о моих корреспонденциях, а о материалах всей прессы, что их со мной нет, что за ними только пошли, сейчас принесут. Летчик посмотрел на свои ручные часы, которые он по обычаю, почему-то принятому у фронтовых пилотов, носит с тыльной стороны руки.

— Семь минут. Жду семь минут.

Тогда я принялся рассказывать о форсировании Днепра, о «Восточном вале», о героизме солдат, о таинственном деде Левко и даже пытался напеть его песенки. Слушали, хорошо слушали, но на часы все-таки летчик посматривал, и стрелка неумолимо приближалась к роковой цифре... Вдали, у кромки летного поля, маялся, переступая с ноги на ногу, Леонид Кудреватых. У него был последний, завершающий этап, и, как видно, эстафетой еще не пахло.

Тогда я бросил на стол последние козыри: рассказал несколько анекдотов о генеральшах, которые я сам терпеть не могу, продекламировал несколько рифм-ловушек с весьма солеными текстами и еще более солеными подтекстами, которые в те дни гуляли по фронтам, сочиняемые по одной версии Константином Симоновым, а по другой — Алексеем Сурковым. Это, как всегда, имело

огромный успех. Бортмеханик даже принялся было записывать, но летчик неумолимо сказал:

— Потом. В следующий рейс. А сейчас время, товарищ майор. Ничего не поделаешь — время.

Я поглядел на Кудреватых, он даже подпрыгивал от нетерпения, но эстафеты не было. Тогда я пошел просто на авантюру: захотел осмотреть машину. Чудная машина, на всех летал, а вот на ней — нет. Летчик промахнулся и пригласил в открытую кабину. Стал торопливо объяснять — рули высоты, рули глубины, газ.

Я по мере сил проявлял чрезвычайную любознательность: что «то» да что «это». Ведь не может лейтенант вытаскивать майора за шиворот.

Так прошло еще минуты три-четыре.

— Механик, к винту!.. Товарищ майор, прощаемся... Нам пора,— жестко сказал лейтенант.

Ну что ж, такова, видно, судьба, подумал я, будто в замедленной киносъемке, начиная вылезать из машины. В момент, когда прозвучала команда: «От винта!» — я увидел, как, бросив шинель и фуражку, прыгая, точно леопард, к машине несется Леонид Кудреватых с мешком. Я бросился к нему навстречу, вырвал мешок, ринулся к самолету. Летчик, улыбаясь, протягивал руку за грузом.

— А у вас, оказывается, как у нас, у летунов, взаимная выручка,— сказал он, перегибаясь.— Не беспокойтесь, доставим.

А мы с Кудреватых сидели на мокром снегу, смотрели, как разбегается, отрывается от земли, уходит в небо и уменьшается в размерах механическая стрекоза. Сидели и сияли, будто бы нам обоим дали по ордену.

И в самом деле, на следующий день в газетах и по радио залпом прогремели корреспонденции с нашего фронта, причем я даже фигурировал на полосе в двух ипостасях — и как Б. Кампов и как Борис Полевой.

КАЖЕТСЯ, ЗАВЕРШИЛОСЬ

Первый и Второй Украинские фронты между тем наступали навстречу друг другу. Танки генерала Ротмистрова встретились в Звенигородке с танками генерала Кравченко, и этим боевым рукопожатием частей двух фронтов завершилось окружение Корсунь-Шевченковской

группы. «Дуга» превратилась в «котел». Разведчики, явно осторожничая, говорят, что в «котле» этом захлопнуто около десяти дивизий и одна эсэсовская мотобригада «Валония».

Эта операция получила в штабе официальное название Корсунь-Шевченковская — от города того же названия, оказавшегося сейчас в центре обороняемого врагом плацдарма, и первый этап этой операции, по-видимому, уже завершается.

Встретившиеся танковые колонны продолжали свой путь: одна — севернее, другая — южнее. Так образовался как бы коридор, отделивший окруженную неприятельскую группировку от основных сил примерно десятикилометровой перемычкой. Коридор этот сейчас наполняется нашими войсками — пехотой, казачьими частями генерала Селиванова. Стенки его укреплены артиллерийским заслоном, нацеленным и внутрь «котла» и наружу, навстречу тем частям, какие противник, как говорят, уже бросает на выручку окруженным.

— Назревают Канны на Днепре,— говорит, потирая свои небольшие и крепкие руки, полковник Лазарев, любитель исторических аналогий.

— Украинский Сталинград,— обронил сегодня в беседе с нами наш друг, подполковник Вилюга.

Настоящая весна. Февраль еще только завязывается, а днем уже жарко в шинелях. Над зазеленевшими полями вовсю поют жаворонки. Но нам от этого не веселей. Все попытки добраться до образовавшегося коридора в буквальном смысле слова увязают в этой первозданной грязи.

Мототранспорт вообще парализован. Единственная наша надежда — самолеты — третий день не поднимаются с раскисших посадочных площадок. Рюмкин еще чуть свет принимается звонить на аэродром. Это стало для него чем-то ритуальным, вроде утреннего намаза у мусульман. Со всеми дежурными он уже перезнакомился, знает их по именам, осведомлен об их симпатиях, справляется о здоровье, но это, увы, не помогает. Волей-неволей приходится «воевать» по карте.

Но и в невыносимо тяжелых условиях распутицы наступление продолжает развиваться. Бои идут непрерывно, не затихая даже ночью. Боеприпасы в наступаю-

щие части сбрасывают на парашютах, с транспортных самолетов, везут гужом на конях, на волах. И люди, да, именно люди, тащат их на себе во вьюках. Танкисты давно перешли на трофейный бензин. Все наступающие питаются за счет тех вражеских продовольственных складов, какие они захватывают в боях. Трофеи огромные. Бесконечные составы с пшеницей, мороженым мясом, горючим в прямом и с горючим в переносном смысле этого слова. Но все пока лежит там, где взято.

По дорогам не может пробраться ни одна колесная машина. Но, следя по карте, мы видим, как уменьшается, точно обтаивая, площадь, занимаемая немецкой группировкой. Наши части как бы загоняют зубило в тело неприятельской обороны, откалывают от нее одно селение за другим, потом берут это селение под перекрестный огонь и, наконец, подорвав волю к сопротивлению, атакуют иногда даже с четырех сторон. При этом ликвидация отдельных неприятельских гарнизонов планируется штабом, чтобы падение каждого такого форпоста открывало путь к дальнейшему дроблению и расчленению вражеских сил.

Идея оперативного окружения, являющегося наиболее активной формой современного наступательного боя, находит свое отражение в тактике и действиях командиров всех родов оружия, решающих в этой операции частные задачи.

Кольцо окружения сжимается все теснее и теснее.

К МОГИЛЕ ВЕЛИКОГО ТАРАСА

Новость! Радостная новость!

Сегодня освобожден приднепровский город Канев. Враг изгнан с горы Чернечьей, на которой похоронен Тарас Шевченко. Больше терпеть нет сил. Чуть свет мы с Рюмкиным без особой надежды на успех прямо целиной, через раскисшее поле, неся на каждом сапоге по пуду чернозема, бредем на полевой аэродром, причем иногда приходится останавливаться, наклоняться и выволакивать сапоги за ушки.

Палит солнце. Звенят жаворонки. Но нам все кажется темным, мрачным. И вдруг будто молния вспыхивает. Что такое? Знакомый тарахтящий звук. Звук, который нам сейчас дороже, чем пение райской птицы. Звук

мотора «кукурузника», знаменитого самолета «У-2». Через мгновение из-за холма вылетает и он сам — милый, пестрый, неуклюжий и такой дорогой нашему сердцу связной самолет.

Удача! Чертовская удача! Забыв обо всем, бежим, точнее ползем, по полю до самой взлетной площадки.

Командир эскадрильи, капитан Иваненко, тот самый, с которым в холодный ноябрьский вечер мы без одного винта садились на случайную базу по пути к Москве, увидя двух взволнованных корреспондентов, с улыбкой предупреждает все наши вопросы:

— Самолет нужен? Знаю. Очень срочно? Не надо слов — знаю. Начальник штаба приказал? Знаю. Освободили могилу Тараса Шевченко? Тоже, представьте, знаю. И все-таки, товарищи, пока ничего не могу сделать. Ждите.

Умоляем, настаиваем. Даже вежливенько грозим. Капитан непоколебим. Да, он послал самолет на разведку. Поднялся вроде бы неплохо. Вот если сядет благополучно, нас выпустят. Стоя на крыльце полуразрушенного совхозного правления, смотрим с тоской, как солнце набирает высоту. В домике прямо на соломе лежат летчики в унтах, в комбинезонах, в шлемах, тоже истомленные вынужденным бездельем. Нетерпеливый мой собрат выспрашивает у каждого из них отдельно, а потом и у всех вместе, есть ли у нас шансы улететь.

Ему предлагают погадать, и он, изнывая от нетерпения, действительно гадает. Зажмуривает глаза, вертит перед ними пальцы, а потом старается попасть одним в другой и все время попадает, так как при этом смотрит сквозь ресницы.

Я пристраиваюсь на соломе и, опустив уши шапки, дремлю. Вдруг раздаются неистовые крики:

— Самолет! Летим! — Рюмкин пляшет надо мной какой-то дикий танец, «лейки» и контаксы, которыми он обвешан, прыгают у него, как амулеты на беснующемся шамане.

Знакомый уже нам летчик Алеша Мерзляков прокладывает на карте маршрут. Мы потихоньку просим его устроить так, чтобы, улетев на север, сделать круг по кольцу окружения и вернуться с юга, чтобы, таким образом, не только побывать на могиле великого кобзаря, но и осмотреть всю группировку. Он боязливо оглядывается

на Иваненко и молча кивает. Мы уже не раз летали вместе, и его юному сердцу не чужд репортерский азарт.

Долго, мучительно долго тарахтит по раскисшему полю наш самолет, не имеющий силы отклеить от него колеса. Потом тяжело, по определению Рюмкина, как беременная муха, отрывается и летит. Летим, огибая окруженную, продолжающую сопротивляться вражескую группировку вдоль сверкающей вдали выстрелами, разрывами линии фронта, над только что освобожденными деревнями и селами, где не осели еще дымы пожарищ, над неоглядным болотом Большого Ирдына, над дремучим лесом Буды Орловецкой, где и сейчас еще партизаны и крестьяне сражаются с остатками немецких полков.

Под крыльями плывет опаленная, израненная украинская земля. С небольшой высоты с поразительной четкостью видны следы только что отшумевших боев, и по этим следам на земле, на десятки километров исклеванной снарядами, минами, можно прочесть историю недавних сражений, понять, какими упорными они были.

Зеленеющее поле у деревни Кумейки вкривь и вкось, покуда хватает глаз, исчерчено двойными следами танковых гусениц. Танки сходились, расходились, крутились в жестоком бою. Машины, прорвавшись, давили пехотные ячейки, и сверху отлично видно, как их следы, будто карандашом по бумаге, перечеркивали вражеские окопы. Видим дзот, совершенно раздавленный гусеницами развернувшейся на нем стальной громады. Видим, разумеется, не только немецкие, но и наши танки, сгоревшие и подбитые. Да, тут победа нам далась не даром. Немалой ценой заплатили за нее танкисты.

Сверху все это маленькое, игрушечное, и только привычка читать карту помогает понять, как грандиозно все совершающееся сейчас на этом по-весеннему мокром и зеленом клочке украинской земли.

Чем ближе к Днепру, тем чаще и нагляднее следы неприятельского сопротивления. Последние километры мы летим почти над сплошной линией окопов, эскарпов, проволочных заграждений, опутывающих опушки сосновых рощ, песчаные буруны, глубокие морщины оврага, над артиллерийскими позициями, над холмами, над дзотами, увенчивающими вершины приречных курганов.

Вот он, здешний бастион «Восточного вала». Смотришь на него и поражаешься тому, как прав был когда-то командующий, говоря, что в современной войне все

эти «линии» и «валы» сами по себе ничего не решают. Сколько сил, средств, времени затрачено на создание всех этих сооружений, а помогли они противнику, «как мертвому припарки». Маневренные, подвижные войска на большой глубине просто обтекли все эти укрепления, и их гарнизону пришлось уходить, спасаясь от окружения. Это умение маневрировать по раскисшим влажным полям, засасывающим гусеницы машин, само по себе высочайшее искусство и торжество советской техники. Сооружения повернуты к Днепру, а война пришла с противоположной стороны, с тыла. И действительно, разве не так же пала линия Мажино, превратившаяся в бетонные ловушки для своих гарнизонов! И разве Сталинград, огромный город в степи, где не было массивных долговременных укреплений, не превратился волею его защитников в несокрушимую крепость, о которую разбились отборные ударные силы немецко-фашистской армии! И когда смотришь вниз, на эти пустые, заброшенные укрепления «Восточного вала», невольно приходит в голову: а не отжили ли вообще свой век системы укрепленных районов, подземные военные города из бетона и стали? Не являются ли более эффективной защитой глубоко эшелонированная оборона, даже простой, добротно вырытый стрелковый окоп, системы траншей полного профиля, продуманная карта огня и минных полей, а главное, самое главное — стойкий, закаленный воин, верящий в мудрость своего командования, готовый стоять насмерть за родную землю?

А вот и сам Днепр, уже свободный ото льда и раздольно сверкающий на солнце. А там, на горизонте, в глубоких складках крутого берега обозначается невысокая шапка Чернечьей горы, словно бы выступившей вперед, шагнувшей к самой реке из толпы других холмов. На этой горе в серой массе голых деревьев мы уже видим гранитный цоколь с бронзовым изваянием и белое здание музея, краснеющее крышей.

Делаем над горой несколько кругов. Алеша примеривается, где сесть. Он великий мастер таких непредусмотренных посадок. Мне рассказывали даже, что однажды он сел где-то на большом огороде и, чтобы потом подняться, пришлось разбирать плетень. На этот раз он садится на узкой полосе шоссе, тянущегося у подножия горы, по-над Днепром. Мой неистовый фотоколлега выскакивает из машины и вновь пускается в свой шаманский

пляс, но застывает под удивленными взорами бойцов. Группа солдат в ватниках и ушанках нестройной толпой движется к лестнице, ведущей наверх, на гору. Две девушки в военных шинелях несут большой венок, сплетенный из хвои и украшенный цветами, изготовленными из древесных стружек.

Вот он, холм, где, по «Заповиту», похоронили Тараса Шевченко. Ступеньки ведут наверх. Когда-то бесконечный человеческий поток отполировал их ногами. За годы оккупации они заросли бурьяном. На вершине холма могила — черная плита с золотыми буквами. Фигура задумчиво шагнувшего вперед человека, высоко вознесенная над горой. Широкий Днепр привольно изогнулся у подножия горы. Все это — и Днепр, и гора, и бронзовый Тарас — гармонично сливается в могучий образ шири и мощи.

Девушки донесли свой венок. Бережно кладут его на каменную плиту. Солдаты стоят без шапок, они очень устали. Лица у них закопченные, исхудавшие. На сапогах, гимнастерках — глина. Оказывается, это депутация от части, которая утром, взаимодействуя с местными партизанами, заняла этот район, очистив могилу великого поэта. Венок у них сделан наспех, сосновые ветви перевязаны бечевкой. Но думается мне, что за много лет на гору Чернечью, являющуюся местом паломничества всего культурного мира, ни разу еще не приносили такого дорогого венка. Рюмкин тут же «расстреливает» всю пленку и, весь дрожа от нетерпения, начинает менять кассету.

Просторное здание музея пусто. Стекла выбиты, речной ветер гуляет по комнатам. Толстый слой льда на полу.

Маленький чернявый лейтенант, возглавлявший делегацию, вместе с нами бродит по комнатам. Он киевлянин, бывал здесь до войны, видел музей, когда он был полон экскурсантов, и поэтому опустошение, произведенное здесь, особенно угнетает его.

Выходим наружу и присаживаемся на ступеньках. Свежий ветер с Днепра насыщен запахом талого снега и бражным ароматом просыпающейся земли. Трогая пушистые усы, которые кажутся приклеенными к молодому румяному лицу, лейтенант рассказывает о том, как была очищена, или, как он говорит, «освобождена» гора Чернечья.

Фашисты не разрушили могилу. Они осквернили ее. Когда фронт придвинулся вплотную к Днепру и наши части заняли позиции на противоположной стороне реки, они затеяли одну из самых гнусных провокаций. Они вырыли на холмах, соседних с тем, где покоится прах Шевченко, окопы и дзоты, и за самой Чернечьей горой расположили свои батареи, которые с закрытых позиций через гору и били по нашим войскам. С артиллерийской точки зрения позиции были отлично выбраны. С Чернечьей горы противоположный низинный берег просматривался до самого горизонта. Расчет тут был прост: вызвать у нас ответный огонь и заставить нас самих разрушить могилу.

Ежедневно с утра батареи начинали обстрел. Они били с упорством и назойливостью. Неприятельский артиллерийский наблюдатель, ничуть не маскируясь, усаживался в окне музея, из которого все наши подходы к Днепру просматривались десятка на полтора километров, и хладнокровно корректировал стрельбу.

Несколько дней фашисты таким образом испытывали наше терпение. Ни один наш снаряд не упал на Чернечью гору, зато артиллеристы, точно определив звукометрическими приборами местоположение батареи за горой, за один концентрированный налет навесным огнем в пух и прах разнесли немецкие пушки. Затем, когда развернулась Корсунь-Шевченковская битва, наши части, войдя в контакт с отрядами партизан, действовавших в этом районе, искусным фланговым обходом заставили противника быстро и без сопротивления бежать. Таким образом, могила была сохранена.

Еще раз постояв перед могилой, медленно, молча сходим вниз. Каждый думает о своем. Около самолета полно мальчишек. Лейтенант Мерзляков, картинно опираясь на крыло, читает им лекцию о советской авиации.

— Ну так как же, облетим все кольцо? Ты только подумай, ведь ни один летчик не совершил такого облета.

Мерзляков колеблется:

— Боюсь, не хватит бензина.

Убеждаем, что бензина хватит, должно хватить, что очень важно столь наглядно засвидетельствовать перед всем миром, что окружение завершено, и, наконец, не так уж велика беда, если бензина немножко не хватит,— ну сядем у своих на вынужденную, дольем. В первый раз, что ли?

Лейтенант покосился на мальчишек, благоговейно слушавших наш разговор.

— Вот сейчас, орлы, увидите, на что способен этот необыкновенный человек,— подливает масла в огонь Рюмкин.

— Ладно, летим по кругу,— соглашается наконец лейтенант Мерзляков.

Только вот как отсюда подняться — это вопрос. С помощью толпы мальчишек развертываем самолет на шоссе. Страшно треща, он отруливает на старт. Короткая пробежка. Подскок. И мы в воздухе. Восторженно орущие мальчишки, похожая на папаху гора, памятник, поднятый над ней, как палец, крыша музея — все это точно бы разом проваливается и начинает отходить назад.

Летим сначала вверх по Днепру над городом Канев, над каневским мостом, обрушенным в реку, над высоким скалистым правым берегом, поросшим сосною, потом сворачиваем налево и, держась возле линии фронта, которая безошибочно угадывается по дымкам разрывов и пожарищ, обходим кольцо окружения с запада, втягиваемся в перешеек. Теперь мы видим дымы боя справа и слева. Рюмкин с воздуха снимает Звенигородку, Городище, Шполу, и к закату мы благополучно приземляемся на поле, совершив «кругосветный перелет».

Только тут, на земле, все трое вместе почти хором произносим:

— Хорошо, что сегодня не было немецкой авиации.

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОЕ ПОБОИЩЕ

Каждое утро полковник Лазарев, получив последнюю информацию, заштриховывает на своей карте освобожденную территорию. Теперь окруженная группировка сжалась до плацдарма величиной несколько километров. Называют новые и новые цифры трофеев, убитых, пленных. Цифры большие. Они увеличиваются с каждой вновь занятой деревней.

Утром Рюмкину удалось слетать в несколько освобожденных деревень. Он побывал в Городище и в самом Корсунь-Шевченковском. Прилетел оттуда совершенно ошеломленный и, никому ничего не рассказав, бросился проявлять пленки. Проявил, отправил и теперь ходит по дому, все время твердя:

— Вот это разгром! Вот это да! Нет, хлопцы, вы ничего подобного себе представить не можете.

А ведь он тоже был в Сталинграде.

Мы просматривали оставшиеся у него негативы. Несколько лент: и всюду машины, танки, трупы, и в таком количестве, что действительно трудно представить, как все это выглядит в натуре. Длинные вереницы пленных, идущих по степи, по селам, которые они так старательно и, как теперь видят сами, бессмысленно разрушали.

Корсунь-Шевченковское побоище, как называют теперь в войсках эту новую битву на Днепре, близится к концу. Но, сконцентрировав теперь свои силы на небольшом плацдармике, противник продолжает отбиваться с удесятеренной яростью. Генерал-лейтенант от инфантерии Штеммерман вчера вторично отклонил наше предложение о сдаче. Командующий первой немецкой танковой армией генерал-полковник Хубе подвел свои восемь бронированных дивизий к внешней стороне кольца и, сосредоточив сотни танков на двух узких участках, этими стальными бивнями пытается протаранить кольцо окружения.

Наши радисты перехватывают его короткие радиограммы, адресованные Штеммерману. Код расшифрован, разведчики читают их без труда: «Выполняя приказ фюрера, иду на помощь. Хубе». «Держитесь, я близко. Вы слышите меня? Хубе». «Еще сутки, и путь вам будет открыт. Готовьте встречное движение. Хубе».

Пленные офицеры говорят, будто эти телеграммы читают в ротах. Но рассказывают и о другом. Среди офицерского состава участились случаи самоубийства. Есть открыто высказывающиеся за сдачу. Командир эсэсовской бригады «Валония» арестовал нескольких офицеров, бельгийцев по национальности, и судьба их неизвестна. Солдаты из-под полы торгуют нашими листовками-пропусками через фронт. Причем даже сложилась такса: обычная листовка стоит пятнадцать рейхсмарок, или пайку хлеба, или коробку консервированного фарша. Листовка с фотографией председателя союза немецких офицеров генерала фон Зейдлица с воззванием этого союза стоит почему-то дороже — за нее дают двадцать марок, и можно получить перочинный нож, зажигалку и даже флягу...

Это что-то уже совсем новое. Этого не бывало и в Сталинграде. Может быть, в этом находят свое выражение какие-то процессы, начавшиеся в их армии?.. Нет, пожалуй, об этом еще рано говорить, но немецкий солдат задумался — и это уже хорошо.

Во всяком случае подполковник Зус усиливает печатание листовок с пропусками. Теперь ими просто засыпают занятые врагом деревни.

Зима продолжает капризничать и удивлять своими сюрпризами. Утром мы ходили в гимнастерках, а к ночи поднялся буран, да такой густой и бешеный, что не видно вытянутой руки.

Ветер всю ночь неистовствовал в садочке перед домом, где мы живем, качал яблони, ломился в окна, в двери, сотрясал наше жилище до основания. Мы проснулись от холода. На полу, у дверных щелей косячками лежал наметенный снег. С трудом отворили заваленную входную дверь. Косые сугробы лежали в садике и поднимались до самой крыши.

Вот тебе и весна!

Нанесли на карту последнюю обстановку. Сейчас окруженное кольцо сжалось до предела и переместилось на юг, к большому селу Шандеровка, которое неприятель ночью отбил у нас снова. Хубе одним своим клином врезался в нашу оборону. Перемычка, отделявшая его от окруженных, стала тоньше, сузилась километров до шести. Танкам Хубе еще не удалось протаранить ее, но он рвется вперед из района Лисянки, невзирая на потери, которые уже нанесли и продолжают наносить наши артиллерийские заслоны, рвется, расплачиваясь десятками машин и сотнями жизней за каждый отрезок продвижения. Положение создалось острое. Наши танкисты контратакуют его во фланг. Чем это кончится — трудно сказать, пока точно известно, что танкам Хубе нигде еще не удалось пробить дорогу. «Пока что», как сказал нам осторожный подполковник Вилюга...

На очередной информации он был как-то подчеркнуто немногословен и сдержан. Сказал только, что кольцо, замыкающее окруженные дивизии противника, сузилось, что его яростно таранят с двух сторон. На вопрос, есть ли опасность, что противник вырвется из окружения, лаконично ответил:

— Я не господь бог. И не гадалка.

На просьбу показать карту нервно сказал: потом, потом...

Мы поняли, что создалась тяжелая, сложная обстановка, и перестали мучить его вопросами. Однако Лазарев этим не удовлетворился. Мы с ним зашли к начальнику оперативного отдела, генералу Костылеву. Тот оказался разговорчивей. Как-никак к нему пришел член редколлегии «Правды». От него мы узнали, что за разгранлинией фронта, у соседа справа, на кольце окружения создалась острая опасность прорыва кольца. Потеряно несколько населенных пунктов. Перешеек, отделяющий окруженную группировку Штеммермана от танковой армии генерала Хубе, опасно сузился.

— Штеммерман — опытнейший вояка. Сейчас он, конечно, попытается развить этот успех. Разведчики сообщают: он готовит части к прорыву.

— Ну а мы?

— Конев двинул дивизии первого фланга за разгранлинию на помощь соседу...

— Ну и...

— Не имеем пока точных сведений, но, кажется, удалось Штеммермана остановить...

Опять эта неопределенность: кажется.

— Пошли к командующему,— решил Лазарев.

— А его здесь, в Болтышке, уже нет. Он улетел вот сюда,— отточенный красный карандаш указал острием на карте в самое узкое место кольца.

«Деревня Толстое»,— прочли мы.

— Так через это Толстое снаряды с обеих сторон, наверное, летают?

— Точно. Ее можно обстреливать с двух сторон,— подтвердил наш собеседник.— Но вы же знаете нашего командующего.

— Улетел? В такую погоду?.. И долетел?

— Долетел. К нему туда сейчас провод ВЧ тянут, он там свое НП организует.

— И связь с ним есть?

— Была, но и в Толстом его уже нет. Мне сообщили, выехал на место боев. Побывал вот здесь, в Хилках, в Олешанах, в Городище,— красный карандаш показывал деревни у самой передовой.

Когда мы продирались, именно продирались к нашей избе сквозь тучи мокрого, косо летящего липкого снега, полковник Лазарев задумчиво произнес:

— Да, вашему командующему храбрости не занимать... И зачем он так рискует... Это что же, его стиль?

Мне сразу вспомнилось, как Конев не раз говорил офицерам, что перед решающим наступлением военачальник обязан сам «обползать» передовую и не только по карте, а визуально взвесить обстановку.

— Да, это его стиль.

Несмотря на продолжающийся буран, сражение на кольце идет яростное, упорное. Продвижение здесь измеряется метрами. Подтвердилось, что ночью на танке, так как все иные средства передвижения сейчас совершенно бесполезны, командующий фронтом выехал на кольцо, как раз туда, где идет самый ожесточенный бой.

Словом, под пение метели где-то недалеко, в десятке километров от деревни со странным названием Болтышка, доигрывается последний акт Корсунь-Шевченковской битвы. А мы все блокированы метелью. Нет, кажется, никогда у нас не было такого глупого положения.

Утром, едва продрав глаза, все бросились к окнам.

Солнце. Волнистые островерхие сугробы кажутся в его свете голубыми, а тени возле них — синими. Ура! Летный день! Немедленно связываемся по телефону с летчиками-связистами. У них, должно быть, тоже в душе посветлело. Капитан Иваненко необыкновенно любезен. Он соглашается даже прислать самолет с полной заправкой прямо к околице нашей деревни.

В комнату ввалился Кованов. Он ходил на информацию. По дороге завернул на телеграф. Вид у него странный, какой-то грустно-радостный, если вообще можно сочетать на лице два таких противоречивых выражения.

— Корсунь-Шевченковское побоище завершено! — торжественно возглашает он, а потом тихо кладет на стол телеграмму, которой его вызывают в Москву. Срочно. Немедленно.

Оказывается, его ожидает крупное повышение по работе. Вот это-то и расстроило фронтового журналиста, неутомимого охотника за интересными новостями. Нет, он не поедет. Он назначил своему начальству свидание у военного провода и сейчас вот опять ходит по комнате как тигр в клетке, вслух обдумывая неотразимые аргументы, которыми он должен убедить «упрямую Москву» оставить его здесь.

— Не прощаюсь,— говорит он, когда мы с Рюмкиным уходим, спеша к самолету, и даже отводит назад руки. Мы желаем ему от души «стоять насмерть».

Спешим на посадочную площадку. Ломим прямо через сугробы. Самолет преотлично стоит на лыжах, а ведь еще вчера его колеса вязли в грязи.

Маршрут мы с летчиками намечаем такой: пролетим над узловыми пунктами Корсуньского сражения, дадим несколько кругов над Городищем, оттуда вдоль дорог наступления пролетим до Корсунь-Шевченковского. Потом где-нибудь у села Стеблева, где начался последний этап разгрома немецко-фашистской группировки, он меня ссадит, а домой доберусь самостоятельно, уж как бог даст.

Как изменился ландшафт со дня последнего нашего полета в Канев! Всюду, куда хватает глаз, снежные поля. Буран аккуратно прикрыл траншеи, окопы, снарядные воронки, одел всю степь снежной пеленой. Но Корсуньское побоище слишком грандиозно. Его следы неизгладимы.

Уже от Лебедина мы видим на дорогах вмерзшие в землю машины, транспортеры, подводы. Чем дальше в глубь кольца, тем их больше. Улицы громадного села Городище загромождены вереницами трофейной техники. Батареи, орудия и минометы, брошенные в переулках, уже занесены снегом. Даже железнодорожная насыпь, ведущая на Корсунь, забита машинами. Даю знак летчику: не надо делать круг, картина и так ясна.

До самого Корсуня можно лететь, не заглядывая в карту. Вехами служат торчащие из снега машины. А вот наконец и сам Корсунь-Шевченковский — этот становой хребет окруженной группировки. Здесь мы снижаемся до предела и делаем несколько кругов. Так же, как и в Городище, улицы, переулки города забиты танками, пушками, фургонами, машинами — сожженными и совсем целыми. Огромная барахолка. Здесь, в городе, с самолета заметно то, что в поле уже спрятала метель: трупы, много трупов валяется на мостовых, на тротуарах, на перекрестках улиц. Это напоминает мне картины последних дней немецкой обороны в Сталинграде, когда наши части разрезали расположение противника, а потом уже разделывались с каждым из таких кусков в отдельности, уничтожая тех, кто сопротивлялся. Я не разделяю мнение тех моих коллег, что сейчас пишут

о немцах: «бегут», «спасаются», «дезорганизованы», «деморализованы». Нет, немецкий солдат еще стоек. Он умеет выполнять приказ, а вот приказы эти уже не отличаются ни логикой военного мышления, ни остротой военного замысла. И если уж применительно к этой операции и говорить о дезорганизации, о потере мужества, так это относительно командования, причем именно верховного командования, решившего оборонять свой «смельско-мироновский язык» во что бы то ни стало, любой ценой.

За Корсунем большой вражеский аэродром. Должно быть, метель не дала улететь этим тяжелым грузовым самолетам, снабжавшим в последние дни окруженных. Часть из них подбита или перевернулась при взлете. Но некоторые все еще стоят рядами, в шахматном порядке, целенькие. Начал считать, но сбился: много.

У Стеблева, как и договорились, снижаемся и садимся без всяких происшествий.

Оставив самолет в распоряжение Рюмкина, продолжаю путь пешком. Это довольно трудно. Сугробы, а под ними грязь. Не без труда нахожу штаб одной из бригад танковой армии генерала Ротмистрова. Прошу вездеход объехать поле боя. Но разве на вездеходе проедешь по таким сугробам? Дух только что одержанной победы делает танкистов необыкновенно щедрыми: они дают танк Т-34. Его все равно придется отправлять на рембазу.

На танке движемся к Шандеровке. Танк урчит, ревет, дергается, грудью проламывая преградившие дорогу сугробы, но идет быстро. Великолепная машина!

Зимняя дорога вьется, уходя в лес, поднимается на холм, и перед нами открывается поле великой битвы.

У дороги справа, слева, на холме, увенчанном топографической вышкой, и в низине, примыкающей к дороге, далеко, как хватает глаз, видишь обледеневшие тела в серо-зеленых шинелях. А вдоль дороги, вьющейся по направлению к селу,— остовы сгоревших машин, брошенные батареи, зарядные ящики.

Мы долго кружим по полям и дорогам, между Комаровкой и селами Почапинцы и Джурженцы, разглядывая картины побоища. Танкисты довольны, они щедро угощают меня зрелищем, как будто именно они и сотворили

всю эту победу. Кажется, нет возможности счесть потери, которые понес здесь противник, а мимо мертвых по дорогам тянутся живые. Одна из колонн пленных, направляющаяся пешим строем от Шандеровки на Городище, растянулась на несколько километров. Грязные, оборванные, шатающиеся от усталости и истощения, пленные идут, глубоко засунув руки в рукава, вобрав головы в плечи. Бойцы-автоматчики вопреки правилам конвойной службы идут табунком позади колонны, покуривая, беседуя между собой в самом благодушном расположении духа. Это, конечно, не дело. Идти им положено по обе стороны колонны, через определенные интервалы. Но ведь пленные так измучены, набрались такого страха в минувших боях, что вряд ли кому-нибудь из них придет в голову бежать. Да и куда? Из окружения в окружение?

В селе Джурженцы мне показали только что найденный и доставленный сюда с поля боя труп в генеральском мундире. Пожилой лысоватый человек, худое, угловатое, давно не бритое лицо. На голове продолговатый шрам — то ли от раны, полученной на войне, а скорее всего от сабли на студенческой дуэли. Узкие руки с костлявыми узловатыми пальцами. Заношенный мундир. Добротные шевровые сапоги на меху, разбитые, покрытые грязью. В кармане мундира найдены документы на имя генерал-лейтенанта от инфантерии Штеммермана. Разрешение на охоту в заповеднике. Несколько писем из дома, адресованных генералу, семейные фотографии.

Так вот он, командующий Корсунь-Шевченковской группировкой, человек, дважды отвергнувший наше предложение о сдаче, погубивший десятки тысяч солдат, погубивший впустую — не то из доктринерского упрямства, весьма свойственного старой рейхсверовской школе, не то из ложно понимаемой офицерской чести, а скорее всего, как это было уже в Сталинграде, из страха перед Гитлером, умеющим вымещать свою злобу на тех, кто не сумел осуществить его авантюрные, порой вовсе безумные затеи.

Как бы там ни было, он не улетел на самолете, как это сделали некоторые высшие офицеры из его штаба, не бросил своих солдат. Он остался с ними и погиб солдатской смертью. А может быть, это было своеобразное самоубийство — кто знает и кто сможет это когда-нибудь узнать?

Кстати, в штабе войск генерала Трофименко мне сообщили любопытнейший штрих закончившегося, как теперь все говорят, «Корсунь-Шевченковского побоища». Когда похоронные команды отыскали тело генерала Штеммермана, доложили командующему фронтом.

— Вы уверены, что это именно Штеммерман?

— Так свидетельствуют обнаруженные при нем документы.

— Точно?

— Точно. Как поступить, товарищ командующий?

После некоторого молчания последовал приказ:

— Разрешить немецким военнопленным похоронить своего генерала со всеми почестями военного времени. Он не бросил своего войска и умер как настоящий солдат... Он того заслуживает.

Такой ли точно был разговор, проверить пока не удалось. Командующий, как мне сказали еще с вечера, находится у танкистов Ротмистрова. В какой именно части — неизвестно. Но все утверждают, что такой, очень необычный приказ отдан и готовятся к его исполнению.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОБЕД

Захожу в Шандеровскую школу, одно из немногих сохранившихся зданий, где бивачным порядком расположился штаб одной из танковых бригад. Командир бригады, полковник, старый знакомый еще по Калининскому фронту, оказывается гостеприимным хозяином. Трофеев хоть завались, и он закатывает обед в честь командиров остановившихся здесь частей разного рода оружия.

За обедом достигается «полное взаимодействие всех родов войск». Едят и пьют, а потом, как водится среди военных, разговор переключается на только что завершенную операцию. Так как тут собрались активные участники битвы, по их рассказам нетрудно восстановить картину того, что произошло тут, в этом селе, в последние дни.

Позавчера утром окруженный противник, подгоняемый отчаянием, страхом расплаты, отбил у нас это большое село. Закрутившаяся метель, казалось, хотя бы на время защитила его от артиллерийского огня и исключила саму возможность налетов с воздуха.

Страшна была эта последняя ночь окруженной груп-

пировки. Истощенные, подавленные безнадежностью, голодные солдаты врывались в хаты жителей, в кладовые, клуни. Все съестное, что удавалось найти, немедленно уничтожалось. Коров пристреливали, тут же рубили, рвали на части, варили и жарили мясо на разведенных на улицах кострах и даже в пламени пожара, насадив куски на штык. Вокруг пойманных кур развертывались потасовки, у извлеченной из погреба кадушки с кислой капустой устроен был каннибальский пир.

Пока окруженные «отдыхали» подобным образом, генерал Конев, прибыв на танке в деревеньку Маринец, на командный пункт своего старого соратника еще по борьбе за Калинин генерала П. А. Ротмистрова, готовил со своей оперативной группой последний решающий удар. Чтобы не дать генералу Хубе, все еще сохранявшему сильную танковую группу и не терявшему надежды пробиться к окруженным, возобновить атаки, он решил нанести этот удар, не дожидаясь конца метели.

Узкая горловина преграждалась пятью поясами войск — артиллерийскими, пулеметными, огневыми заслонами, развернутыми в обе стороны, пехотными засадами, перед которыми стояла задача, чтобы «и заяц не проскочил» через горловину, и выдвинутыми на фланги ожидаемого прорыва танковыми силами, которые по первому сигналу должны были обрушить решающий удар с обеих сторон. Тут же, в центре горловины, в леске были поставлены казачьи части.

С вечера, когда неприятельские атаки с обеих сторон стихли, началось перемещение наших войск, занимавших новые позиции. Тяжелое перемещение. Артиллеристам приходилось на руках перекатывать пушки. Но согласованные усилия сотен человеческих воль, сплоченных ожиданием близкой победы, сделали то, что бессильны были сделать самые совершенные и мощные тягачи. Пулеметчики копали себе гнезда на опушках, на высотках, долбя лопатами смерзшуюся землю.

В двадцать два часа, когда буран разыгрался в полную силу, генерал армии Конев связался по телефону с командиром легкобомбардировочного комсомольского авиаполка и предложил найти среди летчиков охотников лететь в этот буран на бомбежку противника в Шандеровке.

Метель бушевала. Видимость была нулевая. Белая кипень крутилась над полем.

Летный состав был выстроен у своих машин.

— Кто вызовется добровольно лететь на бомбежку объектов противника — шаг вперед!

Вся шеренга сделала этот шаг. Лететь на бомбежку вызвался весь полк.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ...

Это был комсомольский, как он официально именовался, легкобомбардировочный полк, оснащенный знаменитыми «У-2», которые на разных фронтах в зависимости от климата именовались: на севере — «куропатками», в наших калининских краях — «огородниками», здесь, на Украине,— «кукурузниками», а у противника — «кафе мюлле», то есть «кофейная мельница». Несмотря на эти шутливые прозвища, самолетик этот стал теперь любимцем армии и делает свое дело не хуже других своих братьев самых совершенных моделей.

Он незаменим для связи, для разведки, для полетов по партизанским тылам. Уже в Сталинграде его применяли для ночных бомбежек, и именно он породил в прессе противника слухи о том, что наша армия приняла на вооружение новый самолет, который может застыть в воздухе и чуть ли не «класть бомбы» прямо на окопы. Проверить этот слух противнику долго не удавалось, ибо, будучи сбитой, эта машина из фанеры и перкаля сгорала до основания.

Сейчас на Днепре в составе нашего фронта действуют два таких легкобомбардировочных авиаполка, комсомольский и женский. И вот один из них, а именно комсомольский, и откликнулся так единодушно на приказ начать бомбардировку противника в столь невероятных условиях.

Не знаю уж, что скажут потом специалисты авиационной стратегии. Поверят ли они, что в такую вот метель, при сильном ветре, маленькие самолеты ухитрились не только подняться в воздух, но выйти на цель и начать бомбежку.

Через час сквозь вой метели противник услышал тарахтение моторов над головами. В снежной мгле прогремели разрывы. Огненный столб пожаров разорвал пелену бурана. Над последним прибежищем окруженных как бы

встал светящийся маяк, на который теперь уже безошибочно продолжали лететь самолеты.

Зарево пожара, поднявшегося над селом, было хорошо видно и с земли. Артиллеристы получили ориентир. Теперь не только снежный, но и огненный вихрь бушевал над теми, кто выбегал из хат, одеваясь на ходу. Оставаться в Шандеровке стало невозможным, ибо при огромной скученности каждая пуля могла найти жертву. Потери окруженных все увеличивались.

Генерал Штеммерман приказал построить войска в две громадные многотысячные колонны. Во главе их были поставлены остатки эсэсовской части «Валония». Она должна была как бы служить бивнем, который, как предполагалось, рассечет наши заслоны, пробьет в кольце брешь. За ней в пробоину должна была хлынуть остальная масса войск, и в центре — штабы со всем своим добром.

Генерал Хубе, командовавший войсками, пробивавшимися к окруженным, был уведомлен об этой операции и обещал начать встречные бои.

Перед походом, как показывают солдаты, им выдали четырехдневные порции шнапса.

И вот на исходе ночи две огромные колонны, растянувшись на много километров, тронулись от Шандеровки на юг.

Это был поход отчаяния, и то, что вся эта усталая, изверившаяся, голодная масса людей была двинута в поход компактным строем, было несомненной ошибкой командования неприятеля. Так, по крайней мере, единодушно говорят наши командиры, собравшиеся за столом гостеприимного танкиста.

В самом деле, разве не проще было рассредоточить эти массы, растечься, растаять во мраке метельной ночи, распылиться на десятки и сотни мелких групп, которые могли бы в значительном своем большинстве без особого труда просочиться сквозь заслоны, как вода сквозь решето? Часто с успехом поступали так наши крупные части, оказавшиеся в окружении в первый период войны.

Но так могли действовать лишь солдаты, вооруженные не только хорошей техникой, но высокой идеей. Воины, отстаивающие сознательно честь и независимость родной земли. Штеммерман знал своих солдат, их дисциплинированность, их стойкость, когда офицер стоит у них за спиной и когда на них действует гипноз приказа. Но он

знал, вероятно, и то, что если он рассредоточит остатки своих частей, оставив их без офицеров, без страшного призрака гестапо за спиной, части эти превратятся в стадо и солдаты поднимут руки.

Думаю, что именно это соображение и заставило его двинуть свои части в «поход отчаяния», как называют его сейчас пленные офицеры.

Генералу Коневу тотчас же доложили о начале движения шандеровской группы. Решив пока не трогать свои резервы, он приказал стоящим на передней линии войскам отбивать натиск. Завязался бой. Окруженные дрались отчаянно и так яростно, что наши передние части под их дружным напором несколько подались назад.

Колоннам противника удалось втянуться в лощину. Они, вероятно, вздохнули свободней, ибо действительно горловина, отделявшая их от армии Хубе, была не так широка. Но в этот момент был дан приказ открыть с фронта и с флангов шквальный огонь. В голых лощинах укрыться негде. Огневой вал косил людей, как траву.

Тогда передовые эсэсовские части метнулись на юг, где невдалеке были лески и им казалось возможным спасение. Но и на опушках леса их встретили пулеметным ливнем. Около часа гремела артиллерия, и колонны неприятеля, еще недавно стойкие, дисциплинированные, превращались понемногу в мечущуюся по полю толпу. Многие поднимали руки, сдавались в плен. Их тотчас же отводили в тыл. Но общее сопротивление продолжало оставаться яростным. Приходилось артиллерийским огнем уничтожать упорствующих.

Чтобы сломить последнее организованное сопротивление, генерал Конев ввел в бой кавалерию. Она мало применялась в этой войне. Что там ни говори, в век моторов, в каждом из которых заключено множество лошадиных сил, у коня в общем-то мало возможностей. Уж очень он уязвим при современной плотности огня. Но в этой операции конники оказались на высоте, ибо укреплений, пулеметных гнезд у противника не было. А на главных направлениях вражеских колонн действовали танкисты.

Сеча продолжалась до утра. Когда рассвело, отдельные немецкие офицеры, сплотив вокруг себя боевые группы, все еще пытались организованно пробиваться через лес. Действовали они умело, пробивались яростно, но вряд ли многим из них удалось переступить этот «круг

смерти», как его называют пленные солдаты. Отдельные, конечно, прорвались, но, когда уже с рассветом кавалеристы и автоматчики прочесывали этот небольшой лес, там живых не было. К сумеркам вчерашнего дня Корсунь-Шевченковское побоище было закончено.

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ФРОНТОВОЙ ДОРОГЕ

Танкисты за столом рассказали мне любопытный случай, очень характерный для генерала Конева, ставшего сейчас героем дня. В разгар битвы, когда Хубе своими танками таранил кольцо, командующий фронтом выехал на угрожаемый участок. Он выехал в танке, ибо в тот вьюжный день это был единственный более или менее надежный вид транспорта.

Когда танк командующего остановился в балочке перед ручьем и водитель высунулся из башни, чтобы лучше посмотреть брод, он увидел, что внизу завяз грузовик со снарядами, а за ним в метельной изморози темнеют силуэты других машин застрявшей колонны.

Командир этой колонны, лейтенант, бросился навстречу танку и стал просить у человека в танкистском комбинезоне, поднявшегося из башни, чтобы тот танком вытащил завязшую машину. Человек отрицательно покачал головой: некогда, торопимся. Лейтенант и подоспевшие к нему водители стали убеждать того, кого они принимали за командира танка: помоги, папаша, и тебе при случае помогут. Кто-то посулил пайку табаку, кто-то многозначительно потряс перед носом танкиста увесистой флягой, где булькала жидкость,— дескать, помоги колонне — твое будет.

И все же танкист приказал водителю обходить завязшую машину, искать брод.

— Так ведь мы же снаряды на дугу везем. Наши там последние достреливают. Как ты этого не понимаешь? — в бешенстве закричал лейтенант, вытаскивая пистолет. Человек в башне будто не заметил угрозы. Танк, урча, стал разворачиваться.

Тогда лейтенант бросился перед гусеницами в снег. Шоферы последовали его примеру. Образовался целый заслон из тел, преграждающих путь танку. Машина остановилась. Танкист выпрыгнул из башни и отдал приказание перетащить танком машины колонны.

— Давно бы так, папаша,— по-мальчишески сказал лейтенант, отдавая приказ зацепить трос за крюк танка, и протянул папиросы.— Кури, да бери все, не жалко.

Между тем из нижнего люка выбрался маленький щеголеватый подполковник в новенькой штабной шинели. Разъяренный, он подбежал к лейтенанту.

— Вы с ума спятили! Это же командующий фронтом, генерал армии Конев! — закричал он.

— Отставить. Он прав. Лейтенант, продолжайте работу,— сказал командующий, нетерпеливо похаживая по стежке, уже вытоптанной им в мокром снегу. Ходил, покуривая, нетерпеливо глядел на часы. Когда последняя машина была перетащена, он подозвал к себе начальника колонны. Лейтенант, бледный, возбужденный, откозырял и представился.

— Правильно действовали, лейтенант. Молодец. От лица службы объявляю вам благодарность. Следуйте. Командующий пожал лейтенанту руку и легко, помолодому вскочил в танк. А сейчас, по словам танкистов, когда последняя из неприятельских групп вышла из лесу, командующий все еще в деревушке Маринец у Ротмистрова. Там с ним оперативная группа.

Торжественный обед кончается в сумерки. Хозяин стола, полковник, не церемонясь, встает и благодарит гостей. Тьма еще только сгустилась на улице, но танкисты выступают в полночь, и надо хоть немного поспать.

Штабники укладываются по классам школы. Без особых удобств. Тылы еще не подошли, но спать на полу на шинели все давно уже привыкли. Мы с командиром и еще несколькими офицерами бригады располагаемся в учительской на набитых соломою тюфяках. Он мгновенно засыпает, а ко мне сон не идет. Сажусь в уголке, кладу на стол фонарик и начинаю делать записи. И вдруг без стука, без доклада кто-то врывается в комнату. Этот «кто-то» в темноте. Я его не вижу. Взволнованным девичьим голосом он произносит:

— Товарищ полковник, важное сообщение. Сейчас Москва передает важное сообщение. Цимбалки уже играют «Широка страна моя...».

В соседней комнате включена походная рация. Позывные продолжают торжественно звучать. Потом глубокий голос диктора Юрия Левитана на самых бархатных

нотах отчеканивает приказ Верховного Главнокомандующего, посвященный только что отшумевшей битве. Корсунь-Шевченковская операция именуется вторым Сталинградом на Днепре. «За отличные боевые действия объявляю благодарность всем войскам 2-го Украинского фронта, участвовавшим в боях под Корсунью, а также лично генералу армии Коневу, руководившему операцией по ликвидации окруженных немецких войск»,— говорится в приказе Верховного Главнокомандующего *.

Здорово! Очень здорово!

Можно спать. Но разве после такой вести уснешь? Сидим на своих тюфяках и продолжаем беседу.

— Удалось ли все-таки каким-то частям вырваться из «котла»?

— Частям? — задумчиво переспрашивает полковник.— Частям, пожалуй, нет. Куда тут! Вы же видели, сколько их там лежит.— Но, подумав, продолжает: — Частям — нет, но вот те, кто вопреки приказу этого самого Штеммермана рассредоточился, кто выбирался группками, эти, наверное, просочились. Пленные уверяют, что проскочило сколько-то там танков и бронетранспортеров и на них будто бы ушли штабники.

---

* В газетах 18 февраля 1944 года Совинформбюро об этой битве сообщало: «...как показывают пленные немецкие офицеры из окруженных войск, Гитлер после провала попыток спасти окруженных немцев дал немецким войскам, попавшим в «мешок», еще один приказ, в котором требовал, чтобы окруженные немецкие солдаты и офицеры принесли себя в жертву, дали задержать своим сопротивлением на некоторое время русские дивизии, ибо этого якобы требуют интересы германского фронта. В упомянутом приказе Гитлера содержалась прямая директива о том, чтобы окруженные немецкие солдаты и офицеры кончали жизнь самоубийством, если их положение станет безвыходным. Раненые солдаты и офицеры по приказу немецкого командования умертвлялись и сжигались».

А вот что говорит немецкий историк Курт Типпельскирх об этих событиях в книге «История второй мировой войны»: «Когда к 15 февраля наступательная сила деблокирующих войск истощилась, окруженные корпуса получили приказ пробиваться в южном направлении, откуда навстречу им должен был наступать танковый корпус 1-й танковой армии. Блестяще подготовленный прорыв в ночь с 16 на 17 февраля не привел, однако, к соединению с наступавшим навстречу корпусом, так как продвижение последнего, и без того медленное из-за плохого состояния грунта, было остановлено противником... В конечном итоге эти бои вновь принесли тяжелые потери в живой силе и технике, что еще больше осложнило обстановку на слишком растянутых немецких фронтах».

— М-да, вот интересное это дело,— задумчиво вступает в разговор подполковник с большим, медного цвета лицом, перечеркнутым через бровь и нос багровым шрамом.— Немец в наступлении — сила, в обороне стоит насмерть, но вот если так, как здесь, расстроить управление — стадо баранов без козла. Мечутся туда, сюда... «Хенде хох!», «Гитлер капут!»... Я вот думаю, доберемся мы до их фатерланда, не будет у них партизанской войны, не сумеют... Настрой не тот.

— Фатерланд... Ишь о чем он думает...

— А что? Пора уж. К тому дело идет... Не сумеют они партизанить... А может, и не станут... А у нас вон в Белоруссии каждая сосна по ним стреляет...

— Подполковник у нас по немцам специалист, два раза из окружения выбрался,— рекомендует мне его хозяин дома.

А я в эту минуту вспоминаю историю знамени полка и горсточку танкистов, сражавшихся в степях под Полтавой.

— Идеи у них нет. Бей, жги, грабь — разве это идея? — говорит подполковник со шрамом.— А у нас идея — нам есть что защищать.

Потом разговор заходит о раненых. Здесь, в Шандеровке, немцы оставили госпиталь, размещающийся по хатам. Мне не удалось там побывать, но собеседники говорят, что немецкие врачи и сестры остались на своих местах, и один из них будто бы даже передал письмо генерала Штеммермана, просившего наше командование обращаться с их ранеными с гуманностью, согласно Женевской конвенции. Будто бы нас надо об этом просить! А вот в Джурженцах немецкие раненые были найдены с пулями в затылке.

— Вы понимаете, с пулей в затылке,— волнуется человек со шрамом.— Ведь это же только волки раненых волков приканчивают. Да и то только весною, от голода... Наши девчата-медики ревели, когда увидели эту картину. Ведь это ж подумать только — поднимется у солдата рука немощного товарища застрелить?

— Это не солдаты... Этим у них эсэсовцы занимаются. Те самые голубчики, что вчера стреляли в тех, кто руки поднимал. У меня командир танка говорил — лежат в кустах и садят из пулемета в своих, в тех, что с поднятыми руками. Ну не стерпело ретивое — он и проутюжил танком весь расчет вместе с пулеметом.

В коридоре опять торопливые шаги. Разговор. Слышу, упоминают мою фамилию.

— Разрешите войти,— произносит во тьме молодой голос.

— Разрешаю, тем более что вы уже вошли,— ворчливо говорит полковник.

— Корреспондент майор Полевой здесь? Товарищ полковник, разрешите обратиться к майору.

— Обращайтесь,— говорит полковник и по-богатырски зевает.

— Товарищ майор, маршал бронетанковых войск приказал передать вам привет и просит немедленно заехать к нему.

— Простите, кто? — по-штатски переспрашиваю я, ибо насколько мне известно, военачальника с таким званием «маршал бронетанковых войск» на нашем фронте нет.

Танкист тоже насторожился и удивленно смотрит на офицера.

— Маршал бронетанковых войск Ротмистров.

— Ротмистров? Павел Алексеевич?

— Так точно. По радио передан приказ о присвоении генерал-полковнику Ротмистрову звания маршала бронетанковых войск.

Немая сцена. Все мы смотрим на лейтенанта. А тот, радуясь, что может сообщить нам такую необыкновенную новость, продолжает:

— Не слышали? Командующий Вторым Украинским фронтом генерал армии Конев стал Маршалом Советского Союза.

У МАРШАЛА

Вот новость так новость! Надсадно ревя мотором, удобный немецкий штабной вездеход, в котором еще не выветрился терпкий аромат сигар, месит гусеницами глубокий мокрый снег. В воздухе влажно до духоты. Дорога разбита, машину мотает так, что чувствуешь себя в ней горошиной в погремушке, которую трясет беспокойный ребенок. А перед глазами не эти степи, а розовое, очень морозное утро под родным моим городом Калинином, оккупированном немцами. Разбитая церковь погоста Николы Малицы, бледный, чисто выбритый полковник

с аккуратно подстриженными усиками и красными от бессонницы глазами, хрипло диктующий мне, корреспонденту: «...Третий день веду тяжелый бой на Ленинградском шоссе, на отрезке Горбатый мост, село Медное...»

Штаб, как всегда у Ротмистрова, отлично организован. У командующего большая хата, чистая, светлая, с деревянными полами, с печью, расписанной петухами, жар-птицами и яркими цветами, какие не растут на земле.

Сейчас в этой хате душно, тесно. Полно народу. На стене не хватило деревянных колков для полковничьих и генеральских папах, и они лежат на лавке вместе с кожаными ребристыми танкистскими шлемами и ушанками. Адъютант вполголоса поясняет, что маршал собрал сюда старых своих сослуживцев — генералов, офицеров и просто танкистов. В сени доносятся возбужденные голоса и песня, которую по-украински запевает бархатный баритон:

Розпрягайтэ, хлопци, конэй
Тай лягайтэ почывать...

И нестройный хор мужских голосов ревет с мелодичностью артиллерийского залпа:

А я выйду в сад зэлэный
Крынычэнэчку копать.

Радостный, возбужденный, в расстегнутом кителе, но, как всегда, чисто выбритый, с тщательно подстриженными усиками, П. А. Ротмистров появляется в дверях. Обнимаемся и, прежде чем я успеваю произнести положенное случаю поздравление, говорит:

— А помните, под Калинином?..

Чтобы не мешать этому дружному военному гостеванию, сажусь в уголке и наблюдаю виновника торжества и его боевых друзей. Все это в основном молодые люди, которым в дни Октября было десять — пятнадцать лет. Вряд ли кто-нибудь из них помнит прежнюю русскую армию. А между тем как-то невольно кажется, что все они — настоящая «военная косточка». Чувствуется в них военная культура и даже та особенная, офицерская подтянутость, и я не боюсь употребить этого слова, тот лоск, по которому раньше определяли офицеров, выросших в военных семьях.

В последнее время в связи со стремительными, огромными по масштабам операциями наших танков печать союзников уделяет особое внимание командирам советских

бронетанковых частей. Пишется немало забавного. Ротмистрова обычно почему-то рисуют выходцем из русской аристократической семьи, будто бы даже учившимся еще в царской академии генерального штаба.

— Лейб-гвардии его величества гусар от топора,— пошутил маршал, когда я однажды завел с ним об этом разговор.

В самом деле, «родовитый русский аристократ» — мой земляк, крестьянский сын из лесного Селижаровского района Калининской области. Его прадед, дед и отец — крестьяне-бедняки, работали лесорубами и плотогонами, и он с детства вместе с отцом работал в артели лесорубов. Сперва кипятил чай в артельном котле, потом, когда подрос, валил деревья, сплачивал гонки и сплавлял их по Волге до Твери и Рыбинска. И службу свою он начал красноармейцем в годы гражданской войны.

Да и все эти прославленные теперь командиры, танкисты — люди советской формации, выросшие, а некоторые даже и родившиеся при Советской власти. Недаром на этой дружеской вечеринке, когда хмель уравнял звания, так лихо звучат полузабытые теперь комсомольские песни о кузнецах, кующих счастья ключи, о паровозе, летящем на всех парах вперед к коммуне, и та, что заканчивается повторяющимся рефреном:

Долой, долой, долой
Кровавую войну,
Всех буржуев на ракете
Вышлем на луну.

И тут же между песнями и чарками идут беседы, которые, ей-богу, могут дать немало тем для военно-теоретического журнала. Все это танкисты, танкисты до мозга костей. Они влюблены в свой род оружия и, может быть, даже преувеличивают его значение. Однако они убеждены, что в новой войне бог уже не артиллерия, а танки в сочетании с самоходной артиллерией и пехотными десантами.

— Чем Гитлер в Западной Европе оглушал противника? Внезапностью нападения и стремительностью танковых бросков,— говорит Ротмистров.— Танки рвались вперед, оставляя позади укрепленные линии и превращая их в паршивые мышеловки. Танки прорывались в глубокие тылы, и без выстрела сдавались огромные го-

рода... Они крепко повоевали, эти их танкисты. Но только у нас, только теперь танк нашел настоящего хозяина. Смотрите, хлопцы, что делается! Они не успевают за лопаты взяться, чтобы окопы рыть, а танки уже здесь. В умелых руках танк не знает преграды. Вот увидите — еще реки, озера танком форсировать будем.

В разгаре веселья Ротмистров вдруг встает, официальный, в кителе, застегнутом на все пуговицы.

— Товарищи командиры, двенадцать ноль-ноль... Извините, я должен с вами попрощаться.

И как-то сразу, без переходов настает тишина. За окном рычат машины, увозя разъезжающихся. В закутке, отгороженном занавеской, маршал и начальник штаба уже склонились над картой, как будто всего несколько минут назад и не звенели дружеские чарки, не слышалась песня. Даже в этом мгновенном переключении от веселья к делу сказывается отличная организованность этого штаба танкистов.

Поздно ночью, а может быть, под утро я просыпаюсь на походной раскладушке и слышу в закутке, отгороженном плащ-палаткой, тихий разговор. Говорят, судя по голосам, Ротмистров и, если не ошибаюсь, начальник его штаба.

— ...И я вот тоже раньше все думал: откуда у немцев такая стойкость в бою? — говорит маршал.— Стойкость у нас — иное дело — родная земля, на которую напали, наши великие идеи. За них сражаемся. Социализм, его обороняем. А у них? Германия? А кто ей угрожал? Идеи? Да убейте меня, я уверен, что каждого порядочного немца рвет от этих идей. Дисциплина? Но это же величина производная, а не самодовлеющая.

Прислушиваюсь. Оказывается, и этих высших офицеров, привыкших не только воевать, но и думать о путях военного дела, волнует тот же вопрос.

— Да, в обороне немец стоек, ничего не скажешь,— отвечает собеседник.

— Ну куда ж еще! Под Корсунью сражались как дьяволы, сколько полегло... А вот мне кажется, я таки понял секрет их стойкости... Да,. да, тут вот, под Корсунью, и понял. У них, разумеется, не все нацисты... Больше того, нацистов наверняка численно не так уж и много, но Гитлер как поступал? Он всю армию, всех солдат и офицеров заставлял участвовать в своих злодеяниях... Все эти поджоги городов, деревень, мертвые

зоны, расстрелы мирных людей, душегубки. А эти их приказы по армии, где официально утверждалось, что мы — это унтерменши и общечеловеческие законы войны на нас не распространяются... Теперь каждый чувствует себя соучастником преступлений. Гитлер, как опытный атаман бандитов, сплотил всех кровью жертв, страхом возмездия... Круговая порука... Солдату страшно поднять руки, когда у него за спиной сотни километров выжженной земли, рвы, полные трупов, развалины городов... Он не верит в пощаду, в плен. Он рассуждает: лучше уж погибнуть в бою, чем держать ответ. Вот почему наши листовки, рупоры и всякие там другие штуки плохо действуют.

— Что ж, пожалуй... Но теперь все-таки сдаваться стали, товарищ маршал.

— Умнеют. Если зайца бить, так он спички зажигать научится... Великий народ — мудрый, талантливый, и дал Гитлеру себя так околпачить...

Что же, вероятно, он прав, этот военный большевик, талантливый военачальник. Мне кажется, что я подслушал ответ на вопрос, над которым все мы задумываемся теперь, после Сталинграда, когда уже совершился существенный перелом в ходе войны, и особенно теперь, когда гитлеровский зверь, огрызаясь, отползает, уже не имея силы всерьез нападать.

Сейчас маршал бронетанковых войск Ротмистров развернул свои части на юг и бьет под основание немецкой армии генерала Хубе, еще вытягивающейся в направлении Корсуни.

Танковый клин начал постепенно как бы обтаивать, он теперь уже не такой острый, и мне сказали, что, отступая, Хубе снова оставил на месте боев большое количество техники.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

Очень хочется попасть поскорее на место боев, но даже на вездеходе не доедешь. Движение возобновилось только на фронтовой магистрали, а сверни чуть в сторону — завяз и жди, пока какой-нибудь сердобольный трактор или танк возьмет тебя на буксир.

Решил лететь на самолете, хотя с воздуха, конечно, все не рассмотришь. Летчик — опытный воздушный разведчик танкового корпуса. Договариваемся, что он, поднявшись, покружится над местами скопления битой техники. И не низко, а повыше, чтобы можно было окинуть взглядом картину, посчитать машины.

— Слушаюсь, товарищ майор. Слушаюсь... Слушаюсь,— отвечает он.

Это «слушаюсь» мне как-то не нравится. Иваненко, Мерзляков и другие, с которыми мне обычно приходится летать, к подобного рода заданиям, а вернее просьбам, относятся обычно весьма критически, спорят. Советуют. Но оба они далеко, а в гостях, как говорится, воля не своя. Именно этот самолет предоставили танкисты.

Поднимаемся. Сначала все идет хорошо. Самолет поднялся метров на триста, и я принимаюсь добросовестно считать подбитые танки, пушки. Записываю места их расположения. Летаем часа полтора, и вот тут-то и происходит со мною один из самых неприятнейших за всю войну инцидентов.

Наблюдая больше за дорогой, чем за картой, летчик сбивается с пути. Впереди и под нами оказывается застрявшая колонна артиллерии на механической тяге. Машины буксуют. Солдаты стараются вытащить их. И вдруг, когда мы на изрядной, правда, высоте оказываемся над этой колонной, солдаты, возящиеся у машин, начинают разбегаться по полю и ложиться в кювет.

Это сразу бросается в глаза. Что такое? Ведь наши любят своих «кукурузников» какой-то особой, дружеской любовью и провожают их добродушными шутками. И уж, конечно, даже и необстрелянному новобранцу не придет в голову спасаться при тарахтении их слабенького мотора.

Немцы! Мы залетели к немцам.

Летчик тоже понял это. Он круто развернул машину и, продолжая набирать высоту, ведет ее к лесу, виднеющемуся вдали, в расчете, что над этим лесом мы уже будем в безопасности.

Нам стреляют, так сказать, в спину. Это видно по беспокойным вспышкам пулеметных огоньков и по искристой паутине трасс, повисающей справа и наверху. Вот теперь-то, впервые за всю войну, и замечаешь, что «У-2» такой тихоход. Лес близко. Удрали? И вдруг на опушке в сером лохматом кустарничке зловеще вспыхивают багровые огни. Бьют автоматические зенитки —

эрликоны, знакомые мне еще по Калининскому фронту, по первому запомнившемуся мне полету в качестве стрелка-радиста на штурмовике. Где-то выше и впереди появляется рядок красивых пушистых белых дымков, похожих на распустившиеся коробочки хлопчатника. Промазали?

Но что-то сильное встряхивает в этот момент самолет, бросает меня головой о щиток. На миг все куда-то исчезает, а потом, как в тумане, вижу справа крыло самолета, от которого отодрало изрядный кусок зеленого перкаля, разнесенный вдребезги плексигласовый щиток, затылок летчика без шлема, крепкий стриженый затылок с атлетической складкой на шее. Волосы уже взмокли от крови. Она струйками стекает за воротник кожанки. Но летчик продолжает вести самолет, который быстро теряет высоту, стараясь его выровнять.

Вырываю из планшета индивидуальный пакет, вытягиваю нитку и чувствую, что руки плохо слушаются. В теле какая-то тягостная, связывающая ломота. Пытаюсь перебинтовать раненого, но он отрицательно мотает головой. В зеркальце видно бледное лицо, плотно закушенные губы.

Самолет все еще летит, летит какими-то рывками, все время заворачивая вправо. Мысль работает резко, отчетливо. Хорошо еще, что у нас изрядная высота. Что же теперь? Разобьемся? Это не худшее. Хуже сесть у врага. Лес, как видно, небольшой. В нем не спрячешься, да и мой товарищ, как видно, крепко ранен. Достаю из кобуры пистолет, досылаю патрон, кладу за пазуху, чтобы был под рукой. Мы уже совсем низко. Верхушки сосен хлестнули по фюзеляжу. Мягкий шлепок о снег. Опять на миг все исчезает. Но только на миг. В следующий миг могу оглядеться. Опушка. Небольшая поляна.

На мгновение в глазах мелькают самоходные пушки. «Фердинанды»? Спускаю предохранитель. В левой руке летчика тоже чернеет пистолет.

Но уже в следующее мгновение видим бегущих по снегу к нам людей. Они в серых ушанках, в дубленых полушубках.

Наши!.. Очнулся от жжения во рту и резкого запаха. Дюжий рябой сержант, должно быть, искренне и не без основания веря, что самым целительным из лекарств является спирт, раскрыл мне рот и сунул в него горлышко фляги. Откашлявшись, оглядываюсь. Летчик сидит на

снегу. Какой-то боец в полушубке перевязывает ему голову с той угловатой неловкостью, с какой крупные, сильные люди делают обычно мелкую, непривычную работу.

Оказывается, мы приземлились в расположении полка самоходных орудий Первого Украинского фронта, всего в нескольких километрах от дороги, по которой отступают части генерала Хубе. У летчика разрывом сорвало шлем и осколком поцарапало затылок. Меня слегка контузило. Зато бедный наш самолет превратился в кучу фанеры и рваного перкаля, и, вероятно, никакой, даже самый старательный механик уже не вернет его к жизни.

В ДОМИКЕ ЛЕСНИКА

Сразу, с ходу устанавливаем с самоходчиками, подобравшими нас, самые дружеские отношения. Подполковник, их командир, ведет нас в дом лесника, где, как он выражается, поднят его флаг. Тут неожиданно, точно в старой сказке, к нашим услугам скатерть-самобранка и мягкие постели, даже с перинами.

Все это возникает среди леса точно по волшебству. В довершение волшебства появляется дочь лесника, Клава, красивая девушка в расцвете лет. Клавдия и ее мать — высокая, дородная и, видно, в молодости тоже красивая женщина, ухаживают за нами, как за родными, приехавшими после долгого отсутствия. Еще бы — только вчера вышибли врагов из этого леса!

Хозяйки не знают, как и выразить радость. В домике их трое — мать Анна Ивановна, Клава и маленький Юрик — сын Клавы, задумчивый и серьезный карапуз, только что научившийся ходить и знающий всего одно слово — «мама».

— А муж где? — спрашивает летчик Клаву, которая неторопливо, но ловко хозяйничает за столом.

— А нема мужа,— говорит она и вдруг краснеет до самых ушей.

— А Юрик?

Клава бросает полотенце, подхватывает мальчугана и убегает в соседнюю комнату. Настает долгая, тягостная пауза. Хозяйничает за столом Анна Ивановна. С чисто украинским гостеприимством предлагает она нам все, что есть.

— А где же Клава? — спрашивает летчик, которому молодая хозяйка явно понравилась.

— А там,— кивает Анна Ивановна за переборку.— Смутили вы ее, товарищ командир.

— Ну какое же это смущение — спросили о малыше, и все. Что ж тут для матери стыдного?

— Да нет, девушка она, понимаете? А Юрий-то у нее...

Присев к столу, Анна Ивановна принимается рассказывать нам историю этой лесной красавицы. Когда в этот край ворвались немцы, Клаве шел шестнадцатый год. Оккупанты вскоре начали мобилизацию молодежи на работы в Германию. По деревням были даны жесткие разверстки. Клава, выросшая в лесу, никогда ничего не боявшаяся, ходившая с отцом на волков, решительно заявила матери — лучше в петлю, чем в неметчину.

До войны лесник жил зажиточно. Хотя сейчас он и его сын в армии и где-то воюют, если живы, хозяйственная Анна Ивановна, перед тем как пришли оккупанты, успела закопать свое добро и попрятать скот в лесном сарайчике, где хранилось сено. Заколов свинью, она отвезла ее в село назначенному немцами старосте: только не трогайте дочь. Староста свинью принял, обещал помочь, что-то там поколдовал со списками, и действительно, до осени 1942 года девушку не трогали. Но осенью началась новая мобилизация. Теперь деревни «стригли под гребешок». Партии мобилизованной молодежи под конвоем гнали по дорогам на Христиновку. Теперь уже не разносили повесток. Специальные отряды приезжали в деревню, блокировали ее, устраивали облаву. Всех схваченных тут же бросали в машину и увозили, не дав даже проститься с родными.

Анна Ивановна отвела старосте двух барашков. Тот опять благосклонно принял сей дар, но сказал, что на этот раз помочь он уже не в силах, что сейчас берут и кое-кого без разбору, а Клава вон какая красавица. У него одна голова, чтобы такую скрывать. Впрочем, он посоветовал сходить к писарю гебитскомиссара. Сказал, что комиссар не прочь, чтобы ему через этого писаря «руку позолотили». Ну они как-нибудь там и вычеркнут девушку из списка отправляемых.

Анна Ивановна заколола племенного борова пудов на семь. Отвезла его в Звенигородку. Боров был принят, а на следующий день писарь, он же и переводчик,

сказал, что вычеркнуть кого-нибудь из списка уже нельзя, что списки посланы куда-то, но дал совет — пусть фрейлейн Клава попробует зарегистрировать брак и ребенка, тогда будет возможность оставить ее дома.

Среди своих деревенских нашелся хороший человек — инвалид, который дал согласие обвенчаться для формы. В деревне же, по счастью, нашелся трехмесячный малыш, мать которого умерла от тифа. И вот в гебитскомендатуру были представлены свидетельства о браке и о ребенке. Но не спасло уже и это. Шнырявший по району мобилизационный отряд нагрянул в лесную сторожку и схватил Клаву. Она отбивалась, кусалась. Ее оглушили прикладом и без чувств бросили в кузов грузовика.

Несколько месяцев Анна Ивановна оплакивала дочь и нянчила приемного внука. И вот однажды дверь хатки открылась, и в ней появилась Клава. Мать не узнала ее — такая она была худая, оборванная, черная.

Оказывается, она бежала из эшелона где-то у Бреста. Пешком прошла через Ковель, Шепетовку, Бердичев и добралась до родных краев.

С тех пор в лесной сторожке завели чуткого кобеля. Он предупреждал, когда приближался кто-нибудь посторонний, и Клава пряталась в лесном сарае. Малыш подрос, стал ходить, очень к ней привязался. Зовет «мама», души в ней не чает. И когда Клава, такая юная, с чистым девичьим лицом, держа его на руках, играет с ним, она напоминает богоматерь, какой изображали ее сельские иконописцы, писавшие образа для народа.

А что, сюжет хоть куда! Для этого стоило плюхаться с неба, хотя лучше бы, конечно, этого избежать, ибо контузия, даже самая легкая,— штука скверная: руки онемели, дрожат, все тело покалывает, будто его отлежал, а голова нет-нет да и начинает дрожать.

ЗИМНИЙ МИРАЖ

В общем-то, следовало бы подумать — записывать это происшествие или нет. Ну ничего, запишу. Рассказывать, так уж все, тем более что дневники эти вряд ли когда-нибудь будут опубликованы и в лучшем случае могут послужить основой для каких-нибудь моих послевоенных сочинений.

Поэтому останавливаюсь и на этом смешном эпизоде, хотя отлично отдаю себе отчет, что меня он отнюдь не украшает.

В лесной сторожке мы провели лишь сутки. Наутро самоходчики двинулись преследовать противника. Но перед этим они сообщили на наш фронт, в танковую армию о прискорбном происшествии с самолетом и передали наши координаты. Оттуда поступил по радио приказ: «Ждите». И действительно, примерно в полдень у лесной сторожки остановился трофейный вездеход с юрким, веселым лейтенантом и военным фельдшером.

Погрузились в него и с ревом, воем пошли месить снег с грязью на бесконечно расползшихся по полям дорогах. Лейтенант оказался человеком запасливым. В чемоданчике у него была прихвачена неплохая еда, фляжка и даже маленькие трофейные стаканчики, как-то очень ловко вкладывавшиеся один в другой. Словом, двигались с удобствами и прибыли в штаб танкистов без всяких происшествий и в отличном расположении духа.

Зашел в штаб. Сориентировался в обстановке. Все двигалось в южном направлении. Карта была исчерчена и перечеркнута. Красные стрелы нацелены на юг, на юго-запад и вклиниваются уже очень глубоко в расположение немецких дивизий. Но немцы не оставались в долгу. Тоже отбили у нас на левом фланге несколько деревень, большое село и, как мне сказали, еще пытались развивать свой частичный успех.

Поинтересовался, где штаб фронта.

— Штаб фронта? — равнодушно переспросил оперативник танкистов.— А шут его знает. Кажется, на прежнем месте.— И снова стал говорить о неприятельских контратаках, о том, что этот чертов Хубе еще пыжится, но в общем-то все прекрасно.

Зашел в школу. Знакомый танкист, полковник, был еще там. Мне показалось, что, с тех пор как я их покинул, со стола так и не убирали — столько на нем стояло блюд, пустых бутылок. Но на них никто не обращал внимания. Штаб работал напряженно, а в эту комнату, должно быть, никто не заходил.

Мы с полковником присели, очистив уголок стола. Он уже знал о происшествии с самолетом. На него, боевого офицера, случай этот никакого впечатления не произвел — мало ли что бывает на войне. Зато угощал он меня с необыкновенным старанием, то и дело наполняя

мой стакан. А сам не пил, и у меня было впечатление, что вообще ему не до гостя, что мысль его где-то там, у оперативной карты, а на широком обветренном лице его сквозь доброе радушие, как мне казалось, проглядывало: ну поел, выпил и уезжай, какого черта, не до тебя.

Зато прощался он необыкновенно оживленно, крепко тряс руку, просил не забывать. Улыбчивый ветеран сам довез меня за околицу, к уже ожидающему самолету. Мы с летчиком уточнили место расположения штабной деревни и договорились, что сядет он в поле, у западной окраины и, если будет возможно, подрулит к большому, стоявшему на отлете дому агронома, где со своей канцелярией обитает наш друг — секретарь Военного совета майор Григорий Романчиков. Ну а от него-то я смогу вызвать свою машину.

Недавнее происшествие, должно быть, все-таки подействовало на нервы. Вместо того чтобы тотчас же погрузиться в целительный сон, как это всегда стараюсь делать в пути, я вертелся на сиденье, с опаской смотрел вниз, где по черным, будто тушью вычерченным на ослепительно белом снегу дорогам тянулись войска, глядел наверх, на небо, высокое и совершенно безоблачное. А в голове, что там греха таить, изрядно шумело от только что выпитого, и, хотя самолет шел совершенно ровно, вдруг начинало казаться, что он проваливается, и сердце подкатывает к горлу холодным комом.

Но сели мы благополучно. Заснеженное поле было безукоризненно ровным, и милый наш «кукурузник», покачивая крыльями, добрался почти до самого домика агронома. Простился с летчиком, помог ему развернуть самолет и бодро направился к знакомому крылечку, мечтая о том, что, пока машина за мной едет через большое село, успею подремать на койке у гостеприимного майора.

Вот тут-то и началась чертовщина. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие проводов у плетня и часового у крылечка.

— Да, да,— подтвердила хозяйка, полная, миловидная, не старая еще женщина.— Уехали, все уехали. Сегодня ночью был какой-то звонок, майор вскочил, поднял людей, они тут быстро упаковали бумаги и до рассвета спешно выехали.

Спешно выехали? Что такое? Почему так спешно?

— А немцы сюда не придут? — вдруг спросила хозяйка, и на добром лице ее отразилась тревога.— Нет, вы меня не обманывайте, мы ведь, как наши пришли, все из ям повыкопали — и посуду, и мягкое. Вы уж скажите мне по секрету, а то ведь, если придут, все покрадут, ни с чем ведь не расстаются... Котел у нас цыганский во дворе лежал, так стали уходить — увезли. Зачем он им понадобился? Вы уж скажите — они прорвали фронт? Да?

Как мог, успокоил взволнованную женщину. Как можно спокойнее простился с нею и зашагал через село к месту нашего жительства, находившемуся на другом его конце. Этот большой в отличие от хат деревянный дом построил себе до войны знаменитый в здешних краях тракторист. Он был отведен для нас, корреспондентов, случайно, ибо генерал, которому квартирьеры предназначили его, решил, что ему неудобно жить так далеко от командующего, и перебрался, а мы, к общей зависти, получили это генеральское помещение.

Шагаю, тороплюсь и поражаюсь — всюду следы поспешного отъезда. Провода сняты, часовых нет. Ни одного знакомого, вообще ни одного военного. В центре села, в помещении небольшого сыроваренного заводика, размещалась штабная баня. И бани нет. Колхозники несут обратно какие-то сыродельные формы. Глупейшее положение — не подойдешь же к ним и не спросишь — куда, мол, перебрался штаб. Еще за шпиона примут со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бывали такие случаи. Ну ничего, приду домой, узнаю. Если Кованов и полковник Лазарев переехали, моя-то машина должна ждать. А тут еще, как назло, погода переменилась...

До жилья своего я добрался, когда над селом сгущались быстрые февральские сумерки. Подхожу к забору, что такое? Немецкая речь. Ну это уж мистика! Этого не может быть! Если бы немцы сюда и ворвались, все должно было бы выглядеть по-другому.

Но сквозь сгущающийся туман вижу перед нашим глухим забором две немецкие штабные машины. Ну да, именно немецкие, эдакие четырехугольные железные ящики на колесах, пятнисто покрашенные в цвет щучьей чешуи. Каюсь, душа уходит в пятки. А тут во дворе хлопает дверь, шаги на крыльце. Теперь уже совершенно отчетливо слышу немецкий разговор. Когда-нибудь,

вероятно, мне придется за это краснеть, но тут, честно говоря, просто омываюсь пóтом от страха. Рука как-то сама метнулась к кобуре пистолета, висящего на поясе сзади, но дрожит и никак не может расстегнуть ремешок.

А тем временем калитка распахивается, оттуда выскакивает немецкий лейтенант в полной форме, рывком открывает дверцу машины и застывает возле нее, вытянувшись. А за ним, с кем-то разговаривая, появляется подтянутый, даже, я бы сказал, щеголеватый немецкий генерал в ярко начищенных сапогах, в шинели на меху, в фуражке домиком... «Стало быть, немцы»,— проносится в моем сознании. И почему-то только удивляет, как же это они не обращают внимания на советского майора в грязном полушубке, в преглупой, вероятно, позе застывшего около вкопанной перед калиткой скамейки...

Сколько раз я читал в немецких письмах выражение удивления тем, что советские офицеры, попав к противнику, отстреливаются, пока есть чем стрелять, а последнюю пулю пускают в себя. Ну вот, пришла и моя очередь. Слава богу, кобура расстегнулась. Семь патронов, шесть в них, один... Все это пролетело в голове в одно мгновение. А в следующее я уже вижу выходящего из калитки начальника седьмого отдела подполковника Зуса, продолжающего на ходу беседу с немецким генералом. Он-то сразу заметил меня.

— Ты извини, это председатель союза немецких офицеров генерал фон Зейдлиц. У тебя самая хорошая хата, ну мы его к тебе и завели. Ты не в претензии?

Нет, я не в претензии. Но стоять я уже не могу. Ноги не держат. Опускаюсь на скамейку.

— Если до вечера не уедешь, я вас познакомлю. Мы едем на место побоища и скоро вернемся. Интересный, думающий человек...

Обе машины уезжают, а я бреду в дом. Там только хозяйка. Звать ее Лиза. Она выдающаяся самогонщица, первая на все село и, увы, уже стала жертвой собственной продукции. Бедная Лиза, зовем мы ее. Вот и сейчас она, как говорится, «на взводе» — лицо красное, глаза неестественно блестят.

— Что же это такое, товарищ майор? — с ходу набрасывается она на меня.— Почитай, два года с немцами маялась. Прогнали их, слава богу. Свои пришли, милости просим. Ничего для вас не жаль. Так на — и свои каких-то немцев приволокли... Здравствуйте, пожалуйте.

Говорю им, у меня майор стоит. И не какой-нибудь там, а из центрального органа, из Москвы. Не слушают. А этот вон, подполковник красноносый, говорит: майор мой приятель, он разрешил. Я, говорит, к вам не какого-нибудь зачуханного немца, а генерала фон Задницу, что ли, привезу. А мне — Задница он или не Задница, наплевать... Так подполковник-то пригрозил. Имеет он такое полное право мирному населению грозить?

Чувствую, что, увы, продукция сегодня у хозяйки удалась на славу. Спорить с ней в таком состоянии бесполезно. Надо переводить разговор. Спрашиваю, а где шофер?

— А он в нашем машинном колхозном сарае возится, как механик помогает там сеялки, что ли, ремонтировать.

— А майор Кованов?

— Большой майор? А он в Москву уехал, и полковник уехал, все уехали. Большой-то майор уж больно не хотел, он даже телеграмму туда дал — не поеду, дела тут. А они опять ему телеграммой — выезжай, и никаких разговоров... Очень, очень печалился. Но, должно быть, припугнули его второй-то телеграммой.

Бедная Лиза — умница. Была когда-то участницей Первого съезда колхозников-ударников. Орден имеет, замуж вышла за первого здешнего тракториста. На стене висит фотография: оба они крупные, широколицые, сильные, оба с орденами. Но тракторист ее в первые же дни ушел на войну и пропал без вести, скорее всего был убит в боях за Киев, откуда она получила единственное письмо. А двоих ребят она похоронила в дни оккупации. Вот и научилась самогонничать, и за все время, пока мы живем под ее крышей, ни разу не видели ее трезвой.

По годам она нам сверстница, но относится к нам как-то по-матерински: стирает для нас, попришила все оборвавшиеся пуговицы, иногда поругивает за то, что мы в дом ее, где половицы белым-белы, влезаем в сапогах, заставляет нас разуваться у порога, и продукция ее не переводится на нашем столе, хотя и распределяется в такой пропорции — графинчик автору и графинчик всем нам, военным.

— Вот вам Большой майор наследство оставил,— говорит она, передавая мне стопку бумаги, пачку карандашей и конверт с запиской.

Из записки узнаю, что Кованова вызвали в ЦК партии, что ждет его большая работа, но что он еще не потерял надежды вернуться к нам на фронт. И хотя об этом ни слова в записке нет, по рассказу Лизы угадываю, что корреспондентская душа Большого майора с болью отрывалась от нашего горячего фронта.

Ну что же, счастливо тебе, Большой майор. Пустовато будет без тебя на душе. Постараюсь получше использовать бумагу и карандаши, унаследованные после тебя.

ЗА СТОЛОМ С НЕМЕЦКИМ ГЕНЕРАЛОМ

Беспокойная моя профессия не раз уже сводила меня не только с мертвыми, но и с живыми немецкими генералами. Видел, как, выйдя из подземелья под разрушенным универмагом на одной из площадей Сталинграда, фельдмаршал Паулюс отдавал свой пистолет советскому офицеру. Участвовал в допросах немецких генералов. А однажды присутствовал даже на смешной генеральской вечеринке, устроенной там же, в Сталинграде, в нашем офицерском клубе, где один из пленников после второй или третьей чарки пытался спеть на русском языке «Шумел, горел пожар московский» и заслужил общие аплодисменты, пропев раскаянные слова Наполеона:

Зачем я шел к тебе, Россия,
Европу всю держа в руках.

В советской прессе вечеринка эта, естественно, отражена не была, и организаторам ее крепко попало.

На этом мое знакомство с немецкими высшими офицерами не кончилось. Однажды мой друг, один из деятелей комитета «Свободная Германия», немецкий драматург-антифашист Фридрих Вольф, познакомил меня с пленным графом фон Эйнзиделем, внуком Бисмарка. Мы побеседовали. Молодой граф, которого, впрочем, кроме отсвета славы его деда, ничто не выделяло из общей, не очень-то интеллектуальной немецкой офицерской массы, грассируя, сказал:

— Я очень сожалею, что Адольф Гитлер нарушил золотое правило моего деда — не нападать одновременно на Россию и на Запад.

Кроме этой заученной фразы, ничего путного мне из этого потомка выжать не удалось, и я постеснялся

передать это интервью даже просто для сведения редакции.

О союзе немецких офицеров, организовавшемся, кажется, в прошлом году, уже в дни, когда мы перешагнули Днепр, я мало что знаю. О его главе тоже. Фон Зейдлиц — фамилия знакомая в связи со Сталинградом. Не тот ли это офицер, который выступил когда-то против приказа Паулюса держаться до последнего и энергично высказался за разумную капитуляцию, когда положение стало там безнадежным? Об этом, помнится, что-то говорили тогда.

— Вот тут вам еще Большой майор оставил,— говорит Лиза, ставя на стол бутылку портвейна.— Проводы ему ваши устроили. Все корреспонденты собрались. Ну а он со стола бутылку взял, мне передал. Это, говорит, для моего друга, другого майора, для вас, стало быть.

Является водитель. Он весь с головы до ног в ржавчине. Руки по локти в масле. Веселый, оживленный. Он всегда такой, когда ему удается вволю поработать, повозиться с механизмами, полежать под машиной. Собственно, по профессии он не шофер, а механик в гараже «Правды». Механизмы любит больше, чем шоферское дело, которое презрительно именует извозчичьим, настоящего механика недостойным.

— Ну как, сохранилось там что у нас? — интересуется Лиза, поливая ему над деревянной бадейкой.

— Утильсырье,— отвечает Петрович, густо намыливая руки и шею. — Но две сеялки из четырех сварганили.

Кроме механизмов, у Петровича есть еще одна, очень пагубная для нас страсть — он любит кухарничать и угощать, как он выражается, «понимающих людей». В силу этой страсти иногда за один вечер пускает на ветер наши недельные пайки: основные и дополнительные офицерские, и потом приходится грызть сухари и питаться от щедрот хозяек. Эта страсть угостить в нем неистребима. Вот и сейчас у него появилась идея шикануть перед нашим незваным гостем — немецким генералом. Ну как же, это ведь диковинка — генерал-антифашист. Полковник Лазарев и майор Кованов отбыли в Москву, образовался небольшой запасец продуктов. Ну разве ж Петровича удержишь? Он тотчас же берется за дело.

Бедная Лиза, женщина сердечная, состоящая с Петровичем в самых дружественных отношениях, на этот раз оказывается непреклонной: знать не хочу никакого

немецкого генерала. Чтоб они попропадали, все немцы. Тонуть будут, пальца не протяну. Хватит, поизмывались!

— Так он же особенный, он же против Гитлера, как ты этого, Лизонька, не поймешь,— сладчайшим голосом убеждает Петрович.— Он же листовки пишет, давайте, камрады, поскорее хенде хох!

— Воны мого чоловика вбыли? Вбыли. Через ных диты мои померлы? Померлы. Воны колхоз наш зныщылы? Зныщылы... Ничего не дам, и скатэрты нэ дам, и посуду нэ дам. Нэ дам — та й всэ.

Под этот спор я и засыпаю на теплой печке, в лежанку которой вмонтирован знаменитый самогонный аппарат. Появляется порученец подполковника Зусмановича, зажигается идеей Петровича, они быстро находят общий язык. Сквозь сон слышу, как стучит посуда, которую они выпросили у соседей, вокруг бутылки портвейна, который, кстати сказать, я терпеть не могу и который поэтому без сожалений пожертвовал на дипломатические нужды; начинает формироваться пиршественный стол. Сплю беспокойным сном и, проснувшись, никак не могу понять, что же случилось? Запах одеколона, немецкая речь. Тоненько поскрипывают в светелке чьи-то сапоги... Ах да, генерал фон Зейдлиц! Слезаю с печки, критически осматриваю себя в зеркало. Да, видик! Запаршивели мы в этом грандиозном и непрерывном наступлении. Спина и локти у гимнастерки потемнели и лоснятся. Форменные шаровары давно, как говорят немцы, плюсквамперфектум — разлездись на коленях и сзади, и я щеголяю в ватных штанах. Только вот сапоги ничего, да и те трофейные. Впрочем, какого же черта, являюсь же я в таком виде перед Маршалом Советского Союза, а тут какой-то немецкий генерал-лейтенант.

Нас знакомят. Нет, он не такой высокий, как показалось мне со страху там, за калиткой. Среднего роста. Плотный, подтянутый. Руку тряхнул крепко. Четко отрекомендовался:

— Вальтер фон Зейдлиц.

А стол-то! Ну и постарались хлопцы. Не знаю уж, удалось ли им убедить непримиримую нашу Лизу помочь им в этом антифашистском действе или они обошлись без нее, только на столе в глиняных мисках румянеют соленые помидоры, аппетитнейшим образом благоухают чесноком и смородинным листом пупырчатые огурцы,

белеют тугими боками соленые грузди, и селедка, это фирменное блюдо Петровича, таращит посредине стола глупые глаза, и изо рта у нее, как сигара у Черчилля, торчит маленький огурчик. И возле — изрядный графин с продукцией бедной Лизы — свекольным самогоном, который здесь зовут «Коньяк Марии Демченко — три буряка».

Фон Зейдлиц сдержан, молчалив. Он отдает дань всем этим яствам. Пьет, но не становится разговорчивей. Он ездил сегодня по дорогам последней битвы. Даже на него, участника Сталинградского сражения с той, с вражеской стороны, вид этих полей, загроможденных техникой и еще не везде убранными трупами, подействовал угнетающе.

Да, он очень неразговорчив. Только то обстоятельство, что я был в Сталинграде и был свидетелем пленения Паулюса, несколько выводит его из состояния тяжелого молчания.

— О, фельдмаршал — хороший солдат!

— Почему же он не прислушался к разумным советам, которые дали ему вы и генерал Шлемер, и, несмотря на полную безнадежность положения, отверг наше предложение о капитуляции, отказался вступить с нами в переговоры?.. Он бы мог сохранить жизни десяткам тысяч солдат.

— А вы знаете об этом нашем предложении? — несколько оживляется генерал.— Да, сталинградская трагедия могла бы быть для нас менее ужасной,— говорит он, но и эту тему не развивает.

— В Корсунь-Шевченковской был учтен сталинградский опыт, группе генерала Штеммермана ваша ставка все-таки разрешила в конце концов пытаться выбиться из окружения.

— Это разрешение пришло поздно. Слишком поздно. Я знаю Штеммермана еще по офицерской школе. Генерал Штеммерман тоже хороший солдат. Он отлично знал, что на войне можно, что полезно, что вредно и что нельзя... Все так кончилось потому, что приказ, разрешающий выход из окружения, опоздал.

— А не потому ли, что два фронта Красной Армии зажали группировку в двойное, непробиваемое кольцо?

— Этого могло бы не быть. Наша разведка, как и ваша, работает неплохо. Полагаю, что бедный Вальтер Штеммерман был связан по рукам и ногам приказом ставки.

— Гитлера?

— Да, ефрейтора Адольфа Шикльгрубера,— на лице генерала появляется брезгливая гримаса. Появляется и тотчас же исчезает.

Эту тему он тоже не хочет развивать. Ну что же, его дело. Его, пожалуй, можно понять. Страшная картина, которую он видел в степных балках за Шандеровкой, где погибло столько его соотечественников, где стоит, завязнув в снегу, столько немецкой техники, вряд ли располагает к разговорчивости. Скорее к задумчивости.

...Выезжаем на рассвете. Бедная Лиза выходит нас провожать за ворота.

— Бейте уж их там. Лупите в хвост и в гриву, а потом, на обратном пути, заезжайте. Осенью кавуны у нас добрые и дыньки «колхозница». Дыньки небольшие, но сладкие, как мед. Приезжайте, накормлю... Может, и мой к тому времени отыщется.

Сегодня она «сухая». Синие глаза смотрят умно и печально. Обещаем бить, и лупить, и гнать, и на обратном пути заехать отведать чудесной дыньки. Заедем ли? Вряд ли. Военные дороги всегда ведут только в одном направлении, и редко человек в шинели проходит снова по знакомым местам...

Боже мой, во что превратились дороги! Движемся со скоростью «девятый день десяту версту». Появилась сейчас на фронте такая пословица, довольно образно определяющая темп продвижения по чудовищно глубокой грязи. Только к вечеру, едва проделав двадцать километров, прибываем в новое расположение штаба. Ориентируемся в обстановке. Всюду грязь. Огромная. Жирная, непролазная. А оттепель все нарастает.

Грузовики врастают в грязь по радиатор. Шоферы, уже не пытаясь даже их вытянуть до прибытия мощных тракторов с тросом, отходят с дороги в поле и располагаются на биваках...

ИНТЕРВЬЮ НА МАРШЕ

И вот необыкновенно повезло. Где-то посреди этой разливанной украинской грязи видим машины командующего. Даже его вездеходы застряли. Пока его шофер,

которого командующий зовет своим боевым другом, кряжистый донской казак Губатенко, организует их вызволение из грязевого плена, маршал нетерпеливо шагает взад и вперед по сухой бровке кювета.

Я не видел его с финала битвы, которую теперь в войсках называют по-старинному Корсунь-Шевченковским побоищем. Он загорел, осунулся, но все такой же собранный, полный энергии и сейчас вот, вынужденно выключенный из активной жизни, отшагивает сердито, как лев в клетке. На плечах его дорожного комбинезона золотеют новенькие погоны с большими маршальскими звездами. Я еще и не поздравил его с новым званием. Подошел, приготовился произнести поздравление по всем воинским правилам, но он рассеянно посмотрел на меня.

— А, вы...— И, видимо, продолжая какой-то внутренний монолог: — Грязь, грязь-то какая. Тут не только колеса, гусеницы и те застрянут.

— А помните, какая грязь была осенью под Ржевом? — ни с того ни с сего произнес я, понимая, что поздравления будут совсем не к месту.

— Ну что там под Ржевом. Под Ржевом по сравнению с этим был паркет.— И, увидев, что я достал из планшета блокнот, усмехнулся.— А ваш брат, я вижу, атакует тоже в любых условиях.

— Товарищ Маршал Советского Союза, всего несколько слов о Корсунь-Шевченковском побоище.

— Побоище. Придумали тоже. А ведь это неплохо по-старинному — побоище.— И, показав на разливы липкой грязи, простирающейся до самого горизонта, усмехнулся.— Оригинальная обстановочка для этого, как вы любите выражаться, для интервью.

— Всего несколько слов. О самом важном. Как нам все-таки удалось задержать группировку Штеммермана, пробивающуюся из окружения?

— Как? Да нелегко. Очень нелегко, товарищ писатель. От пленных офицеров, а их уже немало, да и не только, разумеется, от них, но и по данным воздушной и агентурной разведок мы знали, что Штеммерман получил приказ Гитлера, очень, разумеется, запоздалый приказ — во что бы то ни стало, не жалея ни людей, ни техники, выбиваться из котла... Они ведь после Сталинграда этих котлов как черт ладана боятся. Знали мы и о том, что в районе Шандеровки Штеммерман создает ударный кулак, и нетрудно было разгадать, что он, пользуясь погод-

ными условиями, вернее непогодой, помните, что тогда творилось, вероятно, предпримет отчаянную попытку прорваться. Словом, мы это знали... Успеваете записывать?

Кругом черноземные, напитанные влагой поля, истолченные гусеницами, колесами, ногами. Воют, надрываясь, моторы машин, бранятся шоферы. В небе звенят какие-то очень ранние здешние жаворонки. Но маршал, привыкший отключать себя от окружающего и работать в любой обстановке, работать сосредоточенно, методично, продолжает диктовать, как диктовал он мне когда-то свою статью в заметенной снегом избе об освобождении моего родного Калинина.

— Мы ведь знали, что этот Штеммерман опытнейший вояка еще рейхсверовской школы. Не нужно быть особенно догадливым, чтобы понять, что он все-все продумает. Мы, перехватив приказ выбиваться из кольца любой ценой, поняли, что, вероятно, он будет таранить кольцо, сведя войска в концентрированный клин и согласуя свои действия с танковой армией Хубе, который одновременно будет таранить и тоже концентрированными силами это наше кольцо с нашей стороны. И так как времени у них остается мало, так как все это надо сделать, может быть, за одну ночь, они постараются пробиваться сосредоточенно. Ну а где именно, в каком месте, уже нетрудно было угадать, взглянув на карту. Очень неглупо у них все это было задумано.

— Но...

— Что но? Нам удалось разгадать их намерение и принять соответствующие меры. Вот и все.

— Какие именно?

— Такие вопросы обычно военачальникам не задают. Но теперь это все плюсквамперфект. Ведь так, кажется, говорят немцы? Давно прошедшее время. А меры такие: мы на основе разведданных и своих догадок, построенных на этих данных, которые в общем оказались правильными, соответственно расположили на этом участке свои силы, создав на кольце четыре полосы обороны — две с внутренней стороны против войск группировки Штеммермана и две с внешней — против дивизий Хубе. А в центре кольца организовали противотанковый район, сосредоточили истребительную артиллерию... Записали? Пробить это кольцо, как вы уже видели, товарищ корреспондент, не удалось ни Штеммерману, ни Хубе.

— Товарищ Маршал Советского Союза, все в порядке. Можно продолжать следование,— доложил маленький белокурый адъютант командующего, тоже с особым усердием отчеканивая новое, еще не обжитое звание командующего.

И пока маршал шел к освобожденным из грязи машинам, он успел сказать вполголоса, что сам Верховный по телефону благодарил его, поздравил, как он выразился, «со вторым Сталинградом», устроенным противнику на Днепре, и что его заместитель, маршал Г. К. Жуков, специальным самолетом прислал Коневу те самые погоны, которые сейчас у него на плечах.

МЫ СТАНОВИМСЯ ПЕШКОРАМИ

После корсуньского разгрома наступление замедлилось, и противник создал в холмистых долинах южнее Звенигородки новый и, по-видимому, довольно сильный в инженерном отношении оборонительный рубеж на речке Гнилой Тикич. Но основную ставку он здесь делает не на жесткую оборону, а все на ту же распутицу, исключающую, как ему кажется, всякую возможность наступления. Так говорят пленные. Их опять уже довольно много.

Но наши войска наступают и в этих нечеловечески трудных условиях.

Мощным артиллерийским ударом вражеская оборона на Гнилом Тикиче была вчера проломлена сразу в пяти местах. Наши подвижные части, оседлав основные дороги, уже втягиваются в эти бреши. За ними по дорожкам, протоптанным гусеницами танков и тягачей, двигается пехота, а лесками и прямо по полям, целиной, устремляется кавалерия. Этот новый прорыв, совершенный в таких тяжелых условиях, был так внезапен и так силен, что противник, как мне кажется, до сих пор не смог очухаться. Его дивизии, сидевшие на оборонительной линии по Гнилому Тикичу, расчленены, окружены и выходят из окружения уже не организованно, а вроссыпь. Вот теперь, пожалуй, можно, не впадая в публицистические гиперболы, сказать, что на этом участке немцы сдаются и бегут, бросив в грязи все, что нельзя унести.

Стрелки на картах наступления нацелены на юг. Вместе с наступающими частями движемся и мы — коррес-

понденты. Моя машина с хлопотуном Петровичем, да не только моя, а все корреспондентские машины засели в грязи где-то за Смелой. Весь корреспондентский корпус, как говорится, спешился, передвигается с наступающими войсками на своих двоих.

Как улитки, мы носим на себе весь наш «дом» — вещевой мешок со склянкой чернил, сменой белья, ножом, ложкой, банкой консервов, парой сухарей и запасными носовыми платками. В отличие же от немоторизованной пехоты, наступающей примерно с такой же выкладкой, нам приходится делать двойные концы: передовые— телеграф — передовые.

Кое-кто из нас разжился трофейными верховыми конями. Но ездят не очень лихо. Конечно, сидеть в седле приятнее, чем месить грязь ногами, таща за спиной вещевой мешок, именуемый у нас «сидором». Но зато к концу перехода наши кавалеристы набивают на очень важном для каждого работника умственного труда месте такие волчки, что не могут сидеть на стуле и ходят, расставляя ноги, как моряки по палубе. Нет, подальше от соблазна. Я объявил себя принципиальным пешкором: лучше ходить собственными ногами, чем ездить на коне, а потом писать стоя и спать лежа на животе.

Вчера нам предстояло совершить до села Кирилловки — родины Тараса Шевченко — пеший переход в сорок пять километров. Решили выйти на заре. С вечера сложили вещевые мешки, закрутили телеграфной проволокой отстающие подошвы на давно не высыхающих сапогах и залегли спать пораньше, чтобы подкопить силы. Ночью нас разбудил стук в оконницу. Известинец майор Кудреватых сообщил, что отыскал в нашей деревне двух подводчиков из казачьей части. Они завтра выезжают, и мы сможем совершить на тачанке две трети нашего пути.

С первыми лучами солнца мы были уже у тачанок, запряженных тройками. Кони были отличные, но повозочные вчера, видать, изрядно погостевали у добрых хозяек и имели довольно плачевный вид. На нашей тачанке место на облучке занял поэтому корреспондент Союзрадио капитан Костин, бывший кавалерист-пограничник. Он лихо гикнул на коней, ожег их кнутом, и мы понеслись со скоростью... едва ли превышающей пять километров в час.

Последнюю треть пути пришлось двигаться пешком. И двигались, помогая друг другу выбираться из грязи, вытаскивая за ушки слезающие с ног сапоги. Вот тут-то и познали мы вполне беспримерный солдатский труд этого нового, необычного наступления, о котором много приходилось писать. Грязь хватала нас за ноги своими липкими ладонями, приставала к подошвам, делала сапоги более тяжелыми, чем колодки или кандалы. Путь мы считали не десятками километров, даже не километрами, а пролетами между телеграфными столбами. По очереди тащили рюкзак выбившегося из сил фоторепортера Пети Бернштейна с аппаратурой и проявителями, а потом и набрякшие влагой шинели тех, кто начинал сдавать.

Но когда наконец добрались до места, то, даже не переобуваясь, отправились «в оперу», как мы называли оперативный отдел, за сведениями, а потом при свете фитилька, опущенного в бачок для проявления, все дружно писали, позабыв дорожные невзгоды и усталость. Утром из штаба фронта в Москву уходил самолет, и можно было послать с ним корреспонденции о начале наступления на Умань.

МАРШАЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Следующий день мы хотели посвятить ознакомлению с этой исторической деревней, где родился и рос великий украинец. Но до утра даже спать не пришлось. Ночью мы узнали новость: наступающие части, быстро двигаясь на юг, разгромили на дальних подступах к Умани несколько танковых дивизий. В треугольнике сел Маньковка — Помойники — Дзенгеловка на дорогах захвачено большое количество неприятельских машин, танков, артиллерии.

На станции Поташ, как нам сказали, оставила все свое вооружение, только что полученное из Германии, зловеще знаменитая танковая дивизия СС «Адольф Гитлер».

Из армии поступают цифры трофеев, поистине небывалые. Целый день мы мыкаемся по отделам штаба. Беседуем с только что приведенными пленными офицерами, а вечером договариваемся с капитаном Иваненко о самолете, чтобы утром попробовать вылететь в Поташ.

Ну вот мы с Рюмкиным и вернулись, побывав на местах последних боев.

Нужно подробнее описать то, что мы видели сегодня, так как этот разгром еще одной мощной вражеской группировки, несомненно, будет иметь далеко идущие последствия.

Как только наш самолет поравнялся с вражеской оборонительной линией на Гнилом Тикиче, сразу же стало понятно, что речь идет о разгроме. Мы пролетели примерно с десять километров над этой линией с запада на восток. По язвинам в черноземе, уже залитым вешней водой, по зеленым озимям, изрытым окопами, разодранным и исчерченным танковыми гусеницами, было легко угадать место прорыва. Но не только здесь, где прорвались наши войска, но и на совершенно целых, не разрушенных укреплениях мы видели брошенные батареи, горки боеприпасов, пушки, врытые в землю, пушки в капонирах, пушки, брошенные на дорогах. И чем дальше летел наш самолет вдоль этих расплывшихся на целые километры дорог, тем больше видели мы вросшей в грязь трофейной техники. На некрутом подъеме, ведущем к селу Маньковке, машины стояли длинной колонной, подпирая друг друга радиаторами.

В Маньковке запружены все довольно широкие улицы: ни проехать, ни пройти. Офицеры, уже ознакомившись с обстановкой, показывают нам склады с боеприпасами, с продовольствием, с амуницией. Все это аккуратнейшим образом разложено на стеллажах в высоких сараях.

Жители рассказывают, что, когда наши танки ворвались в село, никто из оккупантов ничего не подозревал, водители возились у машин, офицеры отсыпались в хатах после почти трехсуточного отступления. Работали военные пекарни. Молола мельница, снабжавшая мукой войска в этом краю. Директор мельницы, некий Герман Шлипп, убежал из своего кабинета, когда танки уже выскочили на сельскую площадь. Нам показали его зеленую шляпу с перышком, брошенный в проходе портфель с бумагами. На столе и сейчас валяется его рабочий комбинезон, а под столом отыскали несколько аккуратных посылочек с адресом, выведенным чернильным карандашом: «Дрезден. Кайзерштрассе, 12/8, Кларе Шлипп». В посылках аккуратно уложены бруски свиного сала.

Все увиденное нами и рассказанное жителями очень наглядно показывает стиль «маршальской операции», как называют этот новый могучий рывок войск 2-го Украинского фронта в связи с получением его командующим И. С. Коневым звания Маршала Советского Союза.

За Маньковкой все три дороги, ведущие на Поташ, на Помойники и на Дзенгеловку, также запружены машинами. Здесь они стоят в две шеренги. Скопища их застыли в лощинах, в низинных местах, а на большаке Помойники — Умань, где «драп» принял характер настоящей паники, брошенная техника стоит уже в четыре ряда. Такое мне доводилось видеть разве что в степях за Сталинградом.

Еще более интересная картина развернулась перед нами, когда мы подлетели к небольшой станции Поташ, окутанной сизыми дымами. Горели склады пшеницы. Только это и сумели сделать оккупанты, удирая.

В остальном степная станция, которую командование противника превратило в станцию питания всей своей танковой группировки, досталась нам целой и невредимой со складами, пакгаузами и составом цистерн с бензином.

И все же не это главное. Главное — танки. Вокруг станции, на улицах поселка, на северной и южной его окраинах стоят новые «тигры», «пантеры», Т-4 — «кошки», стоят самоходки-«фердинанды» и маленькие автоматические пушки «максы». На башнях вензеля — «АГ», тавро знаменитой своими разбоями в Европе и у нас дивизии «Адольф Гитлер». Ее привезли сюда поездами — полнокровную, пополненную, с задачей, как рассказывали мне вчера пленные офицеры из этой дивизии, ударить по нашим войскам, рвущимся к Умани. Дивизия сошла с платформ и с ходу начала развертываться веером на север. А удар она получила с тыла, с юга, от повернувшейся в сторону от Помойников группы танковых войск. Большинство брошенных машин так и осталось стволами орудий на север, и только несколько десятков успели, видимо, в последнюю минуту развернуться.

Любопытно, что многие орудия, как показывает произведенный нами осмотр стволов, не сделали здесь ни одного выстрела.

На обратном пути мы все время обгоняем колонны пленных, месящих грязь в направлении куда-то на Корсунь.

В УМАНИ

Умань взята! Это событие первейшей важности. Теперь нам открыты основные дороги на Южный Буг.

Умань — старинный украинский город, где жили и прославились бойцы за независимость украинского народа Гонта и Железняк, увековеченные Тарасом Шевченко, чудесный город, известный своими зелеными улицами, садами, редчайшим парком «Софиевка» и старейшим на Украине сельскохозяйственным институтом. Этот город встретил нас, как бы забранный в траурную рамку дымов.

Все улицы — от центра к югу — представляют собой нечто вроде выставки трофейного вооружения, подобной той, какую я видел в один из приездов в Москву в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь можно, вероятно, видеть все виды немецкой новейшей техники — от огромного «тигра», проткнувшего своей пушкой маленький домик в переулке да так там и застрявшего, до «кошек», целая стая которых притаилась в овраге у речки; от семитонного «демага», на котором смонтирована походная мастерская, до крохотных, напоминающих жучков малолитражек «шкода»; от похожей на гигантскую жабу гаубицы, застрявшей на косогоре вместе со своими тремя платформами, на которых ее везли, до скромной противотанковой пушчонки; от шестиствольных минометов, получивших в наших войсках ироническое название, не предназначенное для женского уха, до пресловутых фаустпатронов, целые ящики которых так и лежат в брошенных машинах.

Эту выставку можно обходить целый день, но для обозрения она не очень удобна, так как экспонаты местами стоят так густо, что загромождают улицы, и, чтобы продвинуться вперед, приходится карабкаться прямо через них.

А на аэродроме целая стая самолетов и целых, и побитых, и сожженных. Тут и старые знакомые «Ю-87», «Ю-88». И двухфюзеляжный разведчик, именуемый в наших войсках «Фриц с оглоблями», весьма неприятный

экспонат, когда он часами висит в воздухе, будто прицепившись к облаку. И металлический остов какого-то сгоревшего транспортного гиганта, каких мне не доводилось еще видеть, который сам похож на остов ангара.

Все это, как и тела убитых, еще валяющиеся на улицах, в особенности у окраин,— признак того, что здесь, на рубеже Умань — Христиновка, враги предприняли еще одну отчаянную попытку задержаться. И опять, как это в последнее время мы наблюдали уже не раз на пути от Харькова, части 2-го Украинского фронта, обойдя город, зажали его в клещи, и врагу оставалось только бежать по единственной, еще сохраненной им дороге.

Решил провести в Умани несколько дней.

Здесь базируется теперь тот самый легкобомбардировочный комсомольский полк, который в буран бомбил Шандеровку в ночь Корсуньского побоища. Чудесные ребята, а ведь с ними я еще как следует и не познакомился. И есть у меня еще одна тайная задумка. Встреча с безногим летчиком под Орлом не дает мне покоя. Ведь в «Правде» ни строки о нем так и не появилось. Только Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Засяду-ка вот в Умани на несколько дней и набросаю план брошюры о чудесном этом парне, пока не выветрились из головы подробности его рассказа, благо тетрадка, в которой я его записал, все еще лежит у меня в подсумке.

И чтобы дисциплинировать себя, положил я на стол лист бумаги и написал на нем заглавие брошюры: «Русский воин Алексей Маресьев».

Ночевать пришлось в комендатуре, в просторном помещении, где пару дней назад находилась какая-то канцелярия германского министерства пропаганды. Спать расположился на полу, на пачках немецких листовок. Вероятно, поэтому стоило сомкнуть глаза, как сразу начинала мне сниться какая-то несусветная чушь, и глаза сами раскрывались.

Но из кабинета коменданта, что находится по соседству, врывается такая интересная жизнь, что невольно прислушиваешься.

Вот несколько женщин, судя по голосам, молодых, притащили прятавшегося в дровах переодетого немецкого

офицера. Они стрекочут, как сороки, а офицер бормочет, как заведенный: «Кригс нихт гут...», «Гитлер капут», полагая, вероятно, что эти две фразы спасут его от коготков голосистых украинских жинок.

Затем явилась какая-то, судя по голосу, старушка. Весьма громким шепотом она сообщает коменданту, что в подвале ее дома уже пятый день сидят несколько «чи немцев, чи румынцев, пес их разберет. Только все чернявые». Хотят сдаться и боятся выходить. А люди вроде ничего, забрались в погреб, чтобы их свои с собой не уволокли, а теперь боятся, как бы наши, приняв за шпионов, не подстрелили. Вот старушку и послали в качестве парламентера к «главному офицеру».

Приходит какой-то гражданин. В его квартире жили немцы. Сейчас он вернулся и обнаружил там целый склад награбленных вещей: пальто, платья, костюмы, белье. Как быть? Куда девать? Боится — не подумали бы на него и не пошла бы о нем дурная слава.

Только под утро я ненадолго задремал. Разбудил порученец коменданта и пригласил пить чай. Первое свободное утро поднялось над Уманью. Пожары погасли, свежим снежком прикрыло копоть и гарь. На улицах много жителей. Они еще по привычке робко, с оглядкой, стараясь быть тише и незаметней, идут по тротуарам. Военных почти не видно. Фронт ушел уже так далеко, что в городе не слышно канонады.

Весь день провел в комсомольском полку у летчиков. Преотличные ребята. А вечером сидели с комендантом в комнатушке за его кабинетом и предавались его любимому занятию: пили чай.

Комендант, пожилой человек, сибиряк, офицер из партийных работников. Он молчалив, как камень, и любит пить чай. Пьет его, ей-богу, стаканов по десять. Пьет с блюдца, в которое он дует, чтобы чай остыл. Пьет вприкуску, сладкий чай презирает: бурда.

Ох и канительная эта служба — быть комендантом. Он еле держится на ногах, и стоит разговору на мгновение оборваться, как он засыпает. Столько больших и малых дел свалилось на его бедную голову! В особенности пленные. Их привозят все больше и больше, выуживают из подвалов, ловят на чердаках. Они выходят из лесу. Кстати, одного эсэсовского офицера вытащили даже

из выгребной ямы, где он чуть не задохнулся, и приволокли в комендатуру в совершенно очаровательном виде.

Всех надо взять на довольствие, законвоировать, а главное, кормить. А с передовой прибывают новые и новые партии. Конвойных не хватает. На улице я видел картину, знакомую по дням Сталинграда. Тянется колонна немецких пленных, а впереди бодро шагает пленный же румынский офицер, назначенный ответственным за этап. Сзади бредет пожилой солдат в шинели третьего срока. Идет покуривая, как пастух за стадом.

У коменданта забота — накормить всю эту ораву.

— Хорошо, гитлеровцы будто это дело предусмотрели. Богато побросали продовольствия. А то бы мне совсем капут,— дуя в блюдце, серьезно говорит он.

А у меня в голове назревает тема: «Столько-то дней в военной комендатуре». Кажется, на эту тему никто еще не писал. А как тут интересно! Какие картины открываются!

Нет, теперь уже твердо — поживу у сибиряка несколько дней, вымоюсь в бане, переменю белье. Почувствую себя человеком. Будет время понаблюдать, подумать. Ведь есть же, есть над чем думать, и враг уже не тот, и мы не прежние. В этом наступлении даже у самых «зачуханных» наших солдатиков будто крылья вырастают, и другой, совсем другой становится война.

ЧЕРЕЗ БУГ

Пожил. Понаблюдал. Подумал. Черта лысого! На рассвете разбудил меня милейший сибиряк. Подал телеграмму из штаба фронта: «Наши форсируют Южный Буг. Не зевайте. Капитан Костин».

Буг! Мать честная! Уже Буг! Да, это прозевать нельзя. Спасибо капитану Костину. Скомкав все свои планы, прошу коменданта снарядить на Буг вездеход. Долго упрашивать не приходится. Весь город — гараж трофейных машин. Выбирай, какая нравится. Вот только как с водителем... Но и водитель находится — местный, уманский. Тракторист и шофер МТС. Он только что мобилизован, еще как следует не обмундировался, но машину, несомненно, знает и даже, как я потом убедился, мастер своего дела.

Карта моя кончилась. Мы едва успеваем сейчас менять карты, но комендант временно дает свою. Вместе

с шофером наносим маршрут и едем. По дороге я достаю из подсумка немецкую военную газету «Ди вохе», из которой вчера переводчик комендатуры, младший лейтенант, мобилизованный из студентов, умный и милый парень, будто предвидя события, перевел одну статейку. Перевел и говорит, что скоро пригодится.

Газета от 2 марта. Она вышла за два дня до бегства неприятеля из Умани. Передовая, подписанная лейтенантом Лютце, посвящена как раз немецкому драпу, который вежливо именуется в ней «событиями последних дней».

«Даже среди людей, носящих военные мундиры германской армии, есть такие, которые пытаются в силу своей трусости неправильно истолковать события последних дней... В соответствии с приказом командования мы оставляем некоторые, не имеющие для нас значения территории и спрямляем линию фронта. С точки зрения наших больших интересов эта перегруппировка ничего не значит. Впереди у нас Буг, сильнейший водный рубеж, который мы укрепили и о который разобьются русские армии. Мы прочно встанем на Буге и, когда штурмующие нас истекут кровью, нанесем им еще один неповторимый удар, какими богата для нас эта война».

Ну вот, господин Лютце, и стали вы «уже прочно». Но неужели действительно форсирован Буг? Даже как-то не верится. Уж очень что-то быстро.

Сердце сжимается, когда едешь по этой дороге на юг, к Бугу. Время немецкого хозяйничанья было для изобильного края как бы временем непрерывной тяжелой болезни. Мы уже знаем, что Южный Буг являлся «границей немецких интересов». Забужье Гитлер отдал на разграбление своему дружку, румынскому диктатору Иону Антонеску. А тот, чтобы легче проглотить этот лакомый кусочек, поторопился объявить его румынской провинцией. По обе стороны реки были установлены пограничные посты. Впрочем, не в постах дело. И немецкие нацисты, и румынские железногвардейцы с одинаковой жадностью грабили Прибужье, вывозили оттуда все, что можно было вывезти, до последнего зерна, до последнего куска сала, до последнего барана. И вот теперь здесь, где когда-то, по рассказам моего водителя, местного человека, закрома и клуни ломились от запасов, мы встречаем людей, тихо бредущих и спотыкающихся от голода.

Немного подсохло. Вездеход — громоздкая, неуклюжая и почему-то очень шумная машина, раскидывая гусеницами комья грязи, несет нас точно на юг. Это тоже дорога немецкого отступления, но нету, почти не видать застрявших машин и увязших в грязи танков. Здесь неприятели бежали в пешем строю. Им нечего было оставлять. А там, где вспыхивал бой, валяются на поле каски, противогазы и даже ранцы, с которыми солдаты почти никогда не расстаются.

Должно быть, у отступающих здесь начал уже развиваться психоз преследования. Нам говорили, что в одной деревне, желая спасти корову, крестьянин закричал: «Рус, рус идет!» — и группа вооруженных оккупантов бросила добычу и побежала. Конечно, неправильно изображать путь вражеского отступления за Уманью как сплошное бегство. Судя по всему, немецкому командованию удалось все-таки сколотить сильные арьергардные группы, которые тут и там бросались в контратаки. Но инерция наступления была уже так сильна, что заслоны эти после короткого боя сбивались без особого труда, а главное, видимо, и без больших потерь.

Проезжаем большое село. Сады охвачены торжественной предвесенней тишиной. Село оказывается целым, в хлевах мычат коровы, голосисто перекликаются петухи. Машина поднимается на горную часть села, и вот перед нами развертывается ослепительно сверкающая на солнце голубоватая лента. Здравствуй, Буг! Здравствуй, река изобилия и плодородия! Никогда не будешь ты чужой рекой, и воды твои всегда будут орошать поля Советской Украины.

Все, все в движении. Не найти ни одного штаба, чтобы ориентироваться в событиях. У самого Буга, на переправе,— следы схватки, тела убитых еще темнеют на песчаной косе.

Дороги стали легче, войска, преследуя противника, идут основными магистралями. Сверни чуть в сторону от дороги — и не встретишь ни одного солдата. Заезжаем в большое село Александровку. Кавалеристы, освободившие его утром, давно прошли. На улице нашу машину останавливает пожилой, интеллигентного вида мужчина с

красной повязкой на рукаве. При нашем приближении он срывает с плеча винтовку и, нацеливая ее прямо мне в лоб, неистово кричит: «Стой, стрелять буду!»

Опасаясь, что этот старательный старец влепит пулю прежде, чем выяснит, кто мы такие, останавливаем машину. Оказывается, войска прошли, а гражданские власти еще не прибыли. Партизаны, собрав сельский актив, назначили людей, которым и поручили временно охрану порядка. Столь горячий прием объясняется тем, что мы ввалились в село на трофейной машине, на которой сохранился и войсковой номер вермахта, и изображенная почему-то кошачья морда.

Нас приняли за переодетых немцев. Что ж, хорошее предупреждение. И пока я разговариваю со стариком, шофер сдирает номер и грязью замазывает на борту машины усатого кота.

Узнав, кто мы, патрульный не сразу оттаивает. Он долго изучает мои документы, смотрит на фотографию, на оригинал, снова на фотографию и наконец, убедившись, что все, кажется, в порядке, берет под мышку винтовку и вдруг говорит:

— Разрешите вас обнять, товарищ.

Номер «Правды» пятидневной давности, случайно оказавшийся у меня в кармане, окончательно делает нас друзьями. Патрульный — врач Георгий Алексеевич Коваль. Он берет, нет, не берет, а выхватывает «Правду». Для него это не старая газета, а как бы символ возвращения того, о чем все это время, два с половиной года, он не переставал мечтать. Он приглашает нас к себе в дом, и тут я вдруг узнаю, что я в... «Транснистрии».

— Вы не понимаете этого слова? — спрашивает врач.— Я тоже не понимаю. Его нельзя понять. Это нонсенс. Это слово придумал Антонеску. Сей грабитель назвал так область Украины, расположенную в междуречье Буга и Днестра.

Врач бросает на стол книжку.

— Вот полюбуйтесь. Можете взять себе. Вы поймете, это на русском языке. Это для Транснистрии.

В руках у меня букварь. «Настоящий букварь напечатан заботами господина профессора Алексяну, первого губернатора Транснистрии при короле Михае I и при вожде Румынского государства Ионе Антонеску в год от Р. Х. 1942».

Бегло перелистываю этот букварь, предназначенный для обучения детей грамоте. В нем рука врача мстительно подчеркнула сорок восемь грамматических ошибок и несчетное количество смысловых и стилистических нелепостей.

Врач рассказывает, как румынские оккупанты дрожали от страха все эти последние дни. Стоило грохнуть случайному выстрелу, как все они, сколько их ни было в деревне, открывали дикую стрельбу. Отступая из деревни, командир стоявшей здесь стрелковой роты явился к местному учителю и, пригрозив ему пистолетом, заставил написать расписку в том, что его отряд, находясь на постое, ничего не крал, не жег, никого не обижал и все сельское хозяйство оставил в полном порядке. Расписку он потребовал заверить школьной печатью.

Невероятно, но факт.

Георгий Алексеевич интересно рассказывает о последних днях бегства немецко-фашистских частей через Забужье. Среди отступавших вдруг распространился слух, что дорога на Бершадь перерезана советским воздушным десантом. Даже не проверив это известие, весь поток отступающих свернул на другую, малоезжую дорогу, идущую как раз через это село. Солдаты брели пешком, опираясь на палки. Одну лошадь использовали одновременно трое: один счастливчик ехал в седле, а двое брели сзади, поделив конский хвост пополам и держась каждый за свою часть. Какой-то генерал, по словам врача, ехал, сидя в беседке колесного трактора. У него было небритое, но очень надменное лицо, и потому выглядел он особенно курьезно. Врачу это напоминало картину Верещагина, изображающую бегство французов. Ну что ж, история повторяется!

В этот день мне здорово везет. В чистенькой квартире Георгия Алексеевича я одним духом написал корреспонденцию «Здравствуй, Буг!», и она не осталась у меня в планшете. Выбежав в поле на треск самолетного мотора, я застал там знакомого летчика из штаба фронта, готовящегося к взлету. Помог ему развернуть машину, раскрутить винт. Он дал мне слово, что сейчас же передаст корреспонденцию на телеграф. Вечером, сидя у танкистов и слушая по рации московский салют в честь форсирования Южного Буга, я убедился, что летчик выполнил свое слово. После салюта эту корреспонденцию из завтрашнего номера читали по радио.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ «ПРОКОЛА»

Буг Бугом, а от других событий, происходящих на фронте, я оторвался. Войска наступают таким темпом, что за ними не поспеть и корреспонденту.

Уже вчера вечером узнал у танкистов, что правый фланг фронта, осуществив стремительный рывок, придвинулся вплотную к Новоукраинке и Помошной. Это важные в тактическом отношении, да и немаленькие города, тоже достойные московского салюта. А может ли быть для военного корреспондента более тягостный «прокол», чем прозевать салют и не прокомментировать его хотя бы небольшой заметкой.

Посмотрел на карту. До этих городов словно бы и не очень далеко, километров сто пятьдесят. Но, выполняя слово, данное уманскому коменданту, вездеход его я отправил обратно. Все в движении. Все движется на юг. Мало, очень мало шансов разжиться машиной на обратное направление.

И все-таки с рассветом я вышел в путь, надеясь на корреспондентское счастье. Сначала ехал на коне с транспортом артиллерийских лошадей, которых перегоняли в тыл. Потом на пустом бензозаправщике. Потом, подобно отступающему немецкому генералу, в беседке какого-то трактора, тащившего в тыл пару трофейных «скрипух» неизвестной конструкции. И наконец, в санитарной машине с ранеными. Только к вечеру, совершенно измученный, добрался до штаба большого танкового соединения. И тут узнал, что Новоукраинка взята и Москва за нее стреляла.

Совершенно непростительный «прокол»! Я легко представил себе, как строгий полковник Лазарев хмурит брови, сердито покашливает и какими именно словами поминают меня сейчас в редакции. Стало нехорошо. Так промазать! Но после драки кулаками не машут. Сделал лучшее, что мог,— лег спать, а утром командир, оказавший гостеприимство, пригласил к рации послушать московское радио. Рядом с хатой под развесистой грушей, в кроне которой неистово орали грачи, стоял командирский танк. Рация была включена на репродуктор, и группа бойцов, несколько женщин и какой-то лысый дед слушали знакомые дикторские голоса, исходящие из чрева танка. Шел как раз обзор утренних газет, и я вдруг

услышал, как мелодичный голос Ольги Высоцкой совершенно отчетливо произнес:

— Передаем напечатанную сегодня в «Правде» корреспонденцию Бориса Полевого о том, как была взята Новоукраинка.

У меня даже дух перехватило. Что такое? Не писал, не передавал я такой корреспонденции. И в тоже время ее уже читают. Больше того, мне казалось, что в тексте я узнаю какие-то свои обычные словца, обороты, свою манеру, за которую меня не раз критиковали на редакционной летучке.

Так откуда же она взялась, эта моя корреспонденция, мною не написанная? В «Правде» нравы строгие. Нельзя даже допустить, чтобы кто-нибудь там мог сфабриковать по тассовским сообщениям заметку за осрамившегося корреспондента. Но ведь ее же читают, черт возьми!

За спиной стоял танкист, только что искренне-простодушно утешавший меня и доказывающий, что зевок не беда, что впереди нас ждет еще столько салютов. Теперь он смотрел на меня как на обманщика.

Как же это, в самом деле, могло произойти?

Только через сутки, добравшись до квартиры, я решил эту загадку. Оказывается, увидев, что я где-то застрял, поняв, что у меня назревает обширный «прокол», капитан Костин, успевший побывать в освобожденном городе и передать об этом в свое Союзрадио, решил выручить товарища. Он написал корреспонденцию, вместе с Леонидом Кудреватых они подправили ее «под Полевого», вставили туда мои любимые словечки и обороты, а потом сидели на телеграфе, пока не убедились, что Москва ее получила.

Вот дух, каким живет наш корреспондентский корпус. Когда я, очень всем этим растроганный, стал благодарить друзей, они даже удивленно посмотрели на меня.

— Ну а ты что же, не сделал бы этого, оказавшись на нашем месте?

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

Отписавшись, я снова наладил было в Забужье, но утром был вызван начальником штаба фронта генерал-полковником Матвеем Васильевичем Захаровым. Отлично образованный, широко эрудированный, великолепный

организатор и выдающийся начальник штаба, он страдает, по моему мнению, одним существенным недостатком — не любит нашего брата военного корреспондента. Не то чтобы не любит в житейском смысле. Он человек вежливый, слова грубого никто из нас от него не слышал, но, когда с ним беседуешь, все время кажется, что где-то в глубине его глаз живет эдакая усмешечка — дескать, не знаю я такого рода войск, военные корреспонденты, и говорить мне с вами некогда, да и не о чем.

Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, но так или иначе генерала этого я, честно говоря, побаиваюсь. Так вот перед ним я и предстал.

— Вот что, товарищ майор,— сказал он, катая пальцем по карте цветной карандаш.— Из Москвы телеграмма.— Он поднял лежавший на столе листок и приблизил его к глазам.— Так вот, к нам вылетел президент англо-американской ассоциации журналистов Александр Верт. Просят помочь ему посмотреть освобожденные города правобережья Днепра, рассказать обстановку... Что вы на это скажете?

Я пожал плечами.

— Что бы вы ему показали? Что может быть особенно интересно вашему брату корреспонденту?

— Ну, по-моему, прежде всего сам плацдарм Корсунь-Шевченковского побоища. Поташ, Умань... Умань обязательно.

— Отлично. Вот вы все это ему и покажете.

— Я?

— Именно вы.

— Но я корреспондент «Правды».

— И майор Красной Армии... Кстати, у вас двойная фамилия. Ну вот и будет ему все показывать и объяснять не корреспондент «Правды» Борис Полевой, а офицер штаба фронта майор Кампов.

Генерал встал. У него это здорово получается. Встал — значит все, разговор окончен. Он критически оглядел мое обмундирование.

— М-да... У вас что же, лучше ничего и нету?

Я попробовал пошутить:

— Смокинг и крахмальный пластрон остались в Москве.

— М-да...— еще раз протянул генерал.— Ну да ладно, сойдет. Знают ведь, что нелегко воюем... Если что будет

нужно, сообщайте. К вам для связи прикомандировываем лейтенанта с самолетом.

И вот вместо Забужья лечу назад, в далекую уже Ротмистровку. За нашим самолетом в кильватере летит самолет с крохотным салончиком. Это для президента, или как его там, словом, для гостей. Разные, очень разные доводилось мне за войну выполнять поручения, помимо моей корреспондентской работы, но такое... Успокаиваю себя воспоминаниями — ездил же Илья Эренбург к нам на Калининский фронт под Ржев с каким-то американцем. Но то Эренбург, столько лет проживший за границей, разговаривающий по-французски как по-русски, а я до войны из своего города Калинина и в Москву-то не часто выезжал. А к тому же наступление-то развертывается. Ох-хо-хо!

Приземляемся на знакомом аэродроме. Гостей еще нет, но летчики о них уже знают. Ждут. В офицерской столовой остывает специально приготовленный обед. Разговариваем о госте. Отношение к англичанам у нас сейчас прохладное. Уж больно долго они там «пришивают эту самую последнюю пуговицу к своей амуниции». Где он, их второй фронт? Война в Африке?.. Итальянские события? Да что это по сравнению хотя бы с Корсунь-Шевченковским побоищем, не говоря уже о Сталинграде, Курской дуге.

И какой-то он, этот Александр Верт? Я ведь иностранных коллег видел только в кинофильмах. Явится какой-нибудь дядя с переводчицей и секретаршей, возись с ним. Наконец появляется самолет. Делает круги, садится, совершает пробег. Откидывается плексигласовый верх. Оттуда вылезает плотный брюнет в серой форме Наркомата иностранных дел, за ним какой-то высокий дядя неброского вида, да к тому же еще и хромой. Должно быть, переводчик. Где же он, этот самый президент ассоциации? Потеряли они его, что ли?

Здороваемся. Представляюсь. Вопросительно посматриваю в черные глаза дипломата, который, судя по смушковой папахе, человек в немалых чинах.

— Здравствуйте, майор. Александр Верт,— рекомендуется хромой, да на таком хорошем, чистом русском языке, что мне ничего не остается, как смущенно покраснеть и сунуть ему руку. Все мои представления об иностранных корреспондентах летят кувырком. Мы, выражаясь воен-

ным языком, с ходу входим в контакт и начинаем понимать друг друга.

— Что бы вы хотели видеть? — спрашиваю я его за столом.— У меня приказ показать вам все, что вас интересует.

— Ах вот как, такой приказ? Ну так я желаю посмотреть все, что вы считаете нужным показать.

Прослушав мои предложения, он согласно кивает. О, он слышал о Корсунь-Шевченковской операции. Если возможно, охотно посмотрит и Умань.

Может быть, можно будет съездить и по направлению к Бугу?

— Можно и за Буг,— угощаю я гостя.

— То есть, позвольте, как это — за Буг?

— Очень просто. Я был там не дальше как вчера.

Немая сцена. Гость отодвигает столовый прибор, раскрывает блокнот, но тотчас же сует его обратно в карман. Просит показать карту. Быстренько освобождаем стол от различной еды и с полчаса ползаем по карте. Причем гость обнаруживает великолепную осведомленность в военных делах и знание таких деталей операции, что своими вопросами порою ставит в тупик и меня.

В первый же день вечером, когда я, вдоволь налетавшись, наездившись на вездеходах, нашагавшись пешком, валюсь с ног на ночлеге, заморский гость, которому из-за хромоты двигаться куда труднее, садится в соседней комнате за машинку, и я засыпаю под ее треск.

М-да, черт возьми, неплохая школа. А главное, на слово не верит. Все просит показать. Не ленится подсчитывать трофейную технику, немецкие самолеты, захваченные на аэродроме, сожженные и целые, и все записывает, записывает. С дипломатом мы уже подружились. Несмотря на свою высокую папаху, он оказался расчудесным жизнерадостным человеком, совершенно опрокинувшим во мне все представления о сотрудниках Наркомата иностранных дел. Говорят, главное достоинство дипломата уметь молчать. А он не умеет. Наоборот, очень разговорчив, так и сыплет анекдотами, да и в газетном деле понимает толк.

Вдоволь наездившись по дорогам Корсунь-Шевченковской битвы, мы прилетели в Умань, где мне мечталось пожить, подумать и даже начать книгу про моего безногого летчика. Здесь мало что изменилось. Мой друг

сибиряк отвел под наш постой дом, где жил сам гитлеровский гебитскомиссар. Он набил в небольшой особнячок массу ценной мебели, которую, должно быть, натаскали для него из квартир всего города. Есть даже великолепное пианино без крышки. Заморский гость, увидев его, тотчас же присел на стульчик и отгрохал нам какую-то лихую полечку.

За ужином разговорился, и выяснилось, что он яростный антифашист и что жена и ребенок у него остались в оккупированной немцами Праге и он за них теперь очень боится.

Нет, в самом деле, славный парень, этот английский коллега. Вот только не нравится одна его манера. Возьмет за рукав своей худой рукой и, глядя прямо в глаза, спрашивает:

— Майор, только честно: вы очень злитесь на нас за то, что мы так волыним с открытием второго фронта?

Или:

— Очень лихо было в Сталинграде?

Или:

— Я, конечно, знаю, что все вы интернационалисты. Ваши символы веры мне известны. Но вот вы, лично вы, неужели вы не ненавидите немцев как нацию? Вы говорите, что у вас убит брат, погибли два брата вашей жены, и вы сейчас так вот спокойно смотрите на всех этих пленных фрицев?

Или:

— А Черчилль вас очень раздражает? Старый лис, не правда ли? Говорите, говорите, не стесняйтесь!.. Я об этом писать не буду.

Такие вопросы он задает не только мне, но и другим офицерам и солдатам, с которыми знакомится. Не скрою, они смущают, иногда настораживают, даже раздражают. Но, думается мне, ничего дурного в них нет. Просто ему хочется, кроме цифр и совершенно очевидных и зримых картин этого нашего наступления, как бы проникнуть в душу советского солдата, стать на его точку зрения, его глазами посмотреть на войну, на ход событий. Он даже спросил меня как-то:

— Вот вы говорите: выходили из окружения под Ржевом, воевали среди партизан. Неужели у вас ни разу не появилось там ощущение, что все кончено, что немцев не сломить, что это сила, которую не остановишь, и не возникало желания приспособиться? А?

Хочешь заглянуть в наши души, ну что ж, это, может быть, и ускорит процесс пришивания последней пуговицы и приблизит открытие второго фронта. Тут уж лучше говорить начистоту.

— Мистер Верт,— спрашиваю я его, переходя в контратаку.— А у вас, у англичан, нет теперь опасения, что мы справимся в одиночку с Гитлером и его компанией и сами освободим оккупированные страны?

Гость смеется.

— Такая мысль сейчас появляется,— говорит он.— И кое-кого на Западе она уже беспокоит. А что вы сами об этом думаете?

Что думает об этом майор Кампов? Ну что ж, говорить так говорить. А думает он, что хребет фашистскому зверю мы уже сломали под Сталинградом, что на Курской дуге он, этот зверь, уже лишился возможности серьезно наступать, что теперь он, этот зверь, яростно огрызаясь, откатывается под нашими ударами. Он еще не лишен сил. Он еще будет страшно сопротивляться. У него еще есть резервы и для того, чтобы тут или там наносить нам серьезные раны, и что где-то у своего логова он еще будет драться с невиданной яростью. Но судьба его уже решена, вернее, предрешена, и предрешили ее мы, советские люди.

— Конечно, мы очень благодарны нашим союзникам за ленд-лиз, за самолеты, машины, алюминий, за свиную тушенку, за дела в Африке, Италии, но... Но,— говорю я с убеждением, которое укрепилось во мне за эти последние месяцы наступления,— но если второго фронта не будет, все будет решено на первом. В этом я не сомневаюсь. Не сомневался и раньше, а теперь уже для сомнений нет никаких оснований.

Выпалил я это все и закусил язык. Не сболтнул ли лишнего? И вообще, хреновый получился из меня дипломат... А у гостя лицо такое — улыбается, и все. И пойми, что он там думает.

УМАНСКИЙ ЖУРФИКС

Мой друг комендант-сибиряк просто умница. За эти несколько дней комендатура его уже обросла гражданским активом из местной интеллигенции. Он многих знает, и все знают его. Сегодня, когда наш заморский гость изъявил желание познакомиться и поговорить по

душам с интеллигенцией города, комендант без труда помог собрать интересных людей.

Решено было встретиться за обедом. Обед получился на славу. Трофеев много. Повар местного ресторана, участвовавший, как оказывается, в городской подпольной группе, изголодался по своему делу. Ему не терпится взяться за него. Он принялся жарить и парить, и, когда мы вернулись из очередной поездки, весь дом был насыщен такими вкусными ароматами, что хоть слюнки подбирай. Сам комендант на беседу прийти отказался: к чему, какая же я местная интеллигенция? Вы уж тут хлебосольствуйте, а я в одиночку чайку попью.

Собралось человек десять. Среди гостей председатель Уманского горсовета, пока, до выборов, назначенный комендантом Он бывший банковский работник из Молдавии, прославившийся в этом краю как партизан дядя Митя, и обладатель огромной курчавой бороды. Бороду он сбрил. Одет в обычную пиджачную тройку, явно не на него шитую, и тройка эта буквально трещит на нем по швам. Там, где была борода, кожа выделяется белизной, и это очень контрастирует с остальной бронзово-загорелой частью лица. Пришла учительница, болезненная женщина с грустными глазами, в которых еще живет испуг. Пришел врач с маленькой чеховской бородкой. Тихий человек, спасший, как выяснилось, жизнь нескольким раненым партизанам.

Но самой колоритной фигурой за столом оказывается архиерей таганрогский — красивый, дородный мужчина с румяным лицом, обрамленным светлой курчавой бородой, которую он все время поглаживает и холит своей полной бабьей рукой.

Все они, и особенно председатель горсовета, человек много повидавший и переживший, рассказывают о днях оккупации, о борьбе партизан, о немецких свирепствах, грабежах, угоне населения. Наш заморский гость засыпает их вопросами и записывает ответы, как мне кажется, с протокольной точностью. В середине обеда мы с дипломатом покидаем стол, выходим на улицу. Пусть поговорят, тем более что гость отлично владеет русским и в переводчиках не нуждается.

Когда мы вернулись, я понял, что совершил оплошность. Наш таганрогский архиерей, как говорится, явно уже «перебрал». Глаза его светятся, говорит он один, не давая никому раскрыть рта. Учительница, врач и быв-

ший дядя Митя осуждающе смотрят на него. Дядя Митя, как глава гражданской администрации, пробует даже остановить поток его красноречия. Куда там!

— Эти басурманы трижды пытались заставить меня отказаться от патриарха всея Руси, пресвятейшего Сергия и признать митрополита берлинского Серафима,— гудит он, будто с амвона, хорошо поставленным баритоном.— Я им так и отвечал: никакого я вашего Серафима не знаю, чтоб его вши заели. Я признаю только главу православной церкви пресвятейшего патриарха Сергия, светлого человека... Шестьдесят шесть дней провел я у них в темнице, переживая глад и хлад, но не подчинился... Врешь, не на того напали.

Он, этот архиерей, походит на подгулявшего запорожца с репинской картины. Председатель горсовета делает новые безуспешные попытки остановить его.

— Владыко, вы хоть бога побойтесь.

— Да, да, конечно,— спохватывается тот, но тут же взывает: — Одну минуточку,— достает откуда-то из-за пазухи усыпанную крупными бриллиантами панагию на толстой золотой цепи.— Вот, мистер Верт, глядите и сообщите нашим британским союзникам: от самого патриарха получил как знак расположения святейшего... Сто тысяч довоенными стоит. Хранил и скрывал святыню, не отдал в басурманские руки. А этот их гебитскомиссар, он за один этот бриллиант на руках бы по главной улице прошелся... Как же, отдал я им эту святыню. Это они, гитлеровцы, от меня видели? — И он показывает огромный кукиш.

— Товарищ майор, ну что я с ним сделаю? — шепчет безнадежным голосом председатель горсовета.— А еще духовный пастырь. Да в таком чине... Скажите хоть вы ему.

Защита религии и авторитета духовенства не входит в мои обязанности, тем более что я уже убедился, что заморский гость обладает достаточным юмором и во всем разобрался сам.

Тут архиерей наш возглашает своим благородным баритоном:

— Святая церковь не поощряет принятия сего зелья, однако же и не запрещает. Прошу всех наполнить чаши и выпить за нашу защитницу и спасительницу Красную Армию, очищающую от басурман святые православные земли.

Одним махом плеснул он в рот содержимое стакана и вдруг наклонился и поцеловал мой погон.

— Сие лобызание нашей армии, нашему воинству адресовано. Не возражаете, майор? Дайте я еще раз поцелую...

Не знаю уж, что там напишет Александр Верт о развеселом этом архиерее, но думаю, что со временем от патриарха Сергия, которого он явно побаивается, ему за эти возлияния и разглагольствования здорово влетит. Слышал, что мужчина он строгий. Но при всем том, по свидетельству подпольщиков, сей разгулявшийся пастырь вел себя при немцах вполне прилично, помогал, чем мог, партизанам, а местному гебитскомиссару, в бывшем жилье которого и происходила эта встреча, так и не удалось ни кнутом, ни пряником уломать его служить молебен за победу германского воинства и признать какого-то там берлинского Серафима, что, несомненно, было с его стороны проявлением гражданского мужества...

Потом наш гость захотел встретиться с «остарбайтер», то есть с уманчанами, которых гитлеровцы угоняли силком в рабство и которым разными способами удалось вырваться и бежать домой. В Умани, как и в любом другом освобожденном нами украинском городе, такие люди есть. Председатель горсовета пригласил нескольких девушек, вернувшихся из неметчины, и молодую женщину, очень хорошенькую и очень болезненную...

Я уехал смотреть знаменитый парк «Софиевку», который, к счастью, сохранился, а когда вернулся, Верт уже стучал на машинке.

— Ну как, интересные были беседы?

— Ужасные... Нет, конечно, интересные, но рассказывали такие вещи...— И английский коллега махнул рукой.

Машинка его молчала. Он думал, рассеянно водя тонким пальцем по клавишам.

— Нацизм... Как он мог появиться, этот нацизм?

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

С заморским гостем мы расстаемся друзьями. Помахав вслед его самолету, сам я лечу на Запад, в Бершадь, маленький городок, куда уже перебазировался наш штаб

Городок этот необычен тем, что около него, оказывается, был большой концентрационный лагерь, и взят он был нами, так сказать, с ходу — никого не успели ни убить, ни вывезти.

Это первый концентрационный лагерь на пути нашего наступления, в котором сохранились живые жертвы фашизма.

Без меня Костин поселился в избе крестьянина-старовера. Он русский. Изба у него русская, рубленная из бревен, с деревянным тесаным полом, со светелкой, с огромной печью, на которой и спит сейчас корреспондентская братия.

Хозяин — огромный пожилой человек. Руки как грабли, борода лопатой. Ему под стать хозяйка, такая же массивная и сильная. И дочери — высокие, статные, русоволосые, все в отца. В этой избе все большое, крепкое, прочное. И бревна, из которых она срублена, и лавки, на которых можно спать без риска свалиться, и громадные черноликие иконы, и лампадка красного стекла размером в миску, подвешенная на толстых цепочках.

Здесь у каждого своя чашка, своя ложка, и, когда один из нас случайно воспользовался чем-то хозяйским, вся посуда исчезла из шкафа. Ее стали прятать...

Так вот, угостив нас отличной русской баней, из которой мы выбрались еле живы, ползком, малоречивый хозяин наш за чайным столом стал рассказывать историю этого концентрационного лагеря. Страшную, но, в общем-то, знакомую историю. За ручьем с давних времен было несколько улиц, на которых по традиции жило еврейское население города. Так вот этот район оккупанты окольцевали стеной из колючей проволоки и в дополнение к уже жившим там евреям привезли из Черновцов и замкнули там множество еврейских семей, в сущности предоставив им возможность постепенно умирать от голода.

У выходов стояли часовые с пулеметами, никого из-за проволоки не пропускали. Русским, украинцам было строжайше запрещено общаться с обитателями этого гетто. Администрация лагеря развела там небезвыгодную коммерцию. Заключенным втридорога продавали продукты, разную гниль и заваль и брали за нее и советскими рублями, и румынскими леями, и немецкими марками, и польскими злотыми. Меняли продукты на одежду, обувь и особенно охотно на драгоценности и золотые вещи.

Тем, у кого было на что покупать и менять, первое время еще жилось сносно, но беднота, а она-то и составляла основную массу лагеря, просто вымирала. Каждый день под конвоем часовых раскрывались решетчатые ворота и оттуда выезжали фуры с мертвыми. Их хоронили в общих могилах.

— Дети там, как та травиночка. Одни косточки да еще глаза,— рассказывает хозяйка.

— Ну а вы что ж, так им и не помогали? — несколько наивно спрашивает один из нас.

— А как им поможешь? К проволоке и близко подходить запрещалось. Чуть пойдешь, а часовой в тебя с вышки целит: назад! Помогали, однако. Люди ж. По праздникам и в туманные дни через проволоку кое-чего кидали. У нас тут двоих через это часовые подстрелили. Девчонку подранили, а отрока насмерть. И еще одну тетку судить хотели, но откупилась, барашком откупилась... С этими румынцами можно: не то что гитлеровцы.

Сегодня мы, корреспонденты, коллективно сходили за ручей. Страшное это место. Между нормальными домиками прежней постройки, будто друзы каких-то грязных кристаллов, теснятся целые массивы развалюх, кое-как сколоченных из фанеры, старых досок, железных листов и бог знает еще из чего. Хибары лепятся одна к другой, местами сплошняком, и все они буквально набиты людьми, истощенными до крайней степени.

Вспоминаются слова староверки: «Одни косточки да еще глаза». Это она про детей сказала, а ведь и все тут такие. Тени людей, облаченных в лохмотья, в отрепья некогда добротной одежды. Двигаются осторожно, точно по тонкому льду. В огромных глазах, кажется, однажды и навсегда застыли тоска и страх.

У афиши, возвещающей на украинском и на еврейском языках о том, что сегодня с наступлением темноты на площади перед синагогой будет демонстрироваться историко-революционный фильм «Ленин в Октябре», большая молчаливая толпа. До темноты еще далеко, но стоят, смотрят на афишу и не расходятся. Мне думается, что после всего перенесенного само созерцание этой афиши, любовно написанной на куске обоев, доставляет им удовольствие.

Командование направило сюда большую группу военных врачей. Организовано шесть медицинских пунктов.

На перекрестках улиц дымят трофейные автокухни. Перед ними очереди людей с бидончиками, с мисками, с консервными банками на веревочках. На пустырях раскинуты улицы из трофейных палаток. Сюда переселили особенно бедствующие семьи.

Мне кажется, что несчастные еще не пришли в себя, еще не до конца поверили в свое освобождение. Испуг, тоска еще не угасли в глазах, и любая беседа, о чем ни заговоришь со стариком или юношей, даже с ребенком, непременно закончится робким вопросом:

— Думаете, мы не верим в силы Красной Армии? Конечно, мы верим. Доблестная Красная Армия, она так гонит врагов... Но все-таки, будьте ласковы, скажите прямо — они больше не вернутся? Вы их сюда не пустите?

Не существует уже оплетенных колючей проволокой ворот. Сторожевые будки свалены, распилены и уже ушли на топливо. Каждый может идти куда хочет. Об этом говорят объявления, это разъясняют военные. А вот не уходят, теснятся на улицах у развалюх.

Только юноши и мужчины призывного возраста гурьбой пошли на призывной пункт. Но в армию приняли лишь немногих. Большинство были взяты на учет и отправлены восвояси. У них дистрофия, нервное истощение и всякие иные недуги. Когда же те, кого приняли, через день явились прощаться в новом обмундировании, за ними ходили люди, всем хотелось посмотреть на своих красноармейцев.

Начальник одного из действующих здесь медпунктов, майор медслужбы, женщина-врач, рассказывала, что ей пришлось переодеться в штатское, ибо при виде ее собирались целые толпы, часами теснились возле палатки где она вела прием. Дожидались, чтобы только посмотреть на еврейку с майорскими погонами.

Покидали мы этот лагерь под вечер. Горласто перекликались какие-то петухи. По улицам бродили люди-тени, среди них попадались старцы в черных длинных пальто, в калошах, в ермолках, из-под которых на щеки выбивались эдакие завитые пряди волос, и, хотя вечер был ясный, в руках у них были почему-то свернутые зонтики.

По обе стороны уже не существующих ворот стояли две длинные горластые очереди. Одна перед кухней, расположенной на автомашине. Дюжий усатый солдат, подпоясанный по шинели засаленным фартуком, наливал

черпаком в судки, миски, ведерки, консервные банки что-то вкусно пахнущее жареным луком. Напротив лейтенант и две молоденькие девушки раздавали маленькую газетку на еврейском языке, изданную политотделом какой-то части. Перед ними тоже теснилась очередь. Иные перебегали из одной очереди в другую. Это-то и вызывает шум. Между этими очередями медленно движутся дроги. На них — гроб, за гробом идут родственники и знакомые, одетые в траур. Несмотря на все принятые меры, трудно поднять на ноги тех, кто одной ногой уже стоит в могиле. Люди здесь продолжают умирать.

ПУТЬ НА ДНЕСТР

События на фронте развертываются так быстро, что нам, журналистам, приходится их догонять в буквальном смысле слова. Пешком поспеть за наступающими частями невозможно. Машины наши все еще торчат в грязи, где-то в нескольких сотнях километров позади нас. Самолет сейчас, когда на аэродромах горючее отмеряется чуть ли не на граммы, выпросить трудно. Мы с капитаном Костиным решаем двигаться дальше привычным путем голосования.

Вышли на дорогу, стали на видном месте и, подняв руки, остановили первый же «студебеккер», двигавшийся к Днестру с грузом сухарей. Куда он идет, мы даже не спросили. Опыт подсказывал, что поток машин чаще всего выносит к наиболее активным участкам наступлений. Так и вышло. Машина шла на Ямполь — городок на самом берегу Днестра.

Медленно тянулась раскисшая в грязи дорога. Огромный, похожий на слона грузовик напрягал все свои могучие силы. Когда какая-нибудь из машин колонны застревала в грязи, все шоферы и случайные пассажиры, сидевшие в кузовах, спрыгивали в грязь и сообща коекак выталкивали ее.

В кузове нашей машины на мешках с сухарями, кроме нас с капитаном, сидели еще четверо—молодой парнишка-казак, возвращавшийся из госпиталя, сержант средних лет, по всему видать, бывалый, разбитной, с небольшой трофейной гармошкой, и две девушки — Настя и Оля — санинструкторы, бывшие «на гражданке» ткачихами из города Шуи.

Обе они отчаянно кокетничали с казаком, а тот солидно отмалчивался, отделываясь короткими фразами и явно изображая из себя рубаку-фронтовика, которому, так сказать, не до баб. Зато сержант с гармошкой из кожи лез, чтобы завладеть вниманием девушек. Он все время и притом действительно хорошо играл на гармошке и пел небольшим сипловатым, сорванным голосом песни, которых знал много. Сначала наши спутники стеснялись нас как начальства, но, после того как на одной из стоянок мы устроили общий завтрак, а сержант, испросив разрешения, достал трофейную флягу, все оживились, повеселели, и мы, ей-богу, не пожалели, что распутица заставила нас вместо «эмки» взгромоздиться на этого автослона.

Пели хором, пели дуэтом, трио. Пели русские и украинские песни. Сержант, который до войны исколесил страну и перепробовал не одну профессию, от коллектора изыскательской партии геологов до колхозного парикмахера, пел и соло. Девушки обратили наконец на него благосклонное внимание и стали заказывать. И сначала, конечно, заказали «Катюшу», а потом «Землянку».

Впрочем, «Землянку» допели уже все вместе. Поэт Алексей Сурков написал ее в самую тяжелую пору войны, в дни нашего отступления. Стихи напечатала «Правда», но, кажется, еще до того как они были опубликованы, изустная молва неведомыми путями разнесла ее буквально по всем фронтам. Солдаты запели ее, как говорится, от Белого до Черного моря. С тех пор не помню ни одной фронтовой вечеринки и ни одного офицерского «выпивона», чтобы не зазвучала «Землянка». Должно быть, что-то очень близкое, дорогое каждому советскому человеку, одетому в шинель, заключено в ее простых, бесхитростных словах.

Поют, и каждый думает о своем, о своей, вспоминает и мечтает. Да, обязательно мечтает. И хотя до смерти порой действительно четыре шага, человек ведь всегда думает о лучшем. Вот и сейчас и шуйские девчата, и казачок, и разбитной сержант, и капитан Костин, которого бог, наградив всеми человеческими достоинствами — и мужеством, и трудолюбием, и чувством товарищества, совершенно обидел голосом и слухом, все поют протяжно, задумчиво под надрывный вой буксующих грузовиков, и каждый думает о своем. И у каждого своя мечта о счастье, которую не могут убить никакие военные испытания

Я дремлю, прикрывшись рогожей, если вообще физически можно дремать, когда тебя одновременно и толкает, и подбрасывает, и трясет.

И сквозь дрему думаю: если бы Сурков, этот славный поэт-солдат, которого так любят фронтовики, написал всего только одну эту коротенькую песню, он все же навсегда остался бы в русской поэзии как один из ее мастеров...

Холодная, набухшая весенней влагой степь медленно проползает мимо. На высокой ноте поют моторы. С жирным чавканьем плещется под колесами жидкая грязь Стаи небольших каких-то птиц ходят кругами в похолодевшем, уже синеющем небе. Серые кобчики с сенаторскими бакенбардами сидят на проводах и большими круглыми глазами надменно следят за проходящими машинами.

В одном месте мы обгоняем процессию, движущуюся по обочинам дороги. По тропам, проторенным прямо через изумрудную озимь, гуськом движутся две длинные вереницы людей с мешками, перекинутыми через плечо. Впереди, опираясь на палку, шагает старик. За ним тянутся женщины, подростки. Из мешков торчат головки снарядов.

Это какое-то село помогает наступающим частям.

Сколько сейчас бывает таких случаев, когда без приказа, даже без зова, без всякой организации освобожденное население приходит на помощь Красной Армии.

Уманский комендант рассказывал мне, как жители так же вот, по собственному почину, за один день восстановили два взорванных моста... Железнодорожники станции Христиновка в день прихода Красной Армии на митинге призвали желающих, не дожидаясь железнодорожных частей, своими силами восстановить этот важный узел.

Шесть тысяч человек работали день и ночь. Когда командованию сообщили, что узел готов принять поезда, этому даже не сразу поверили.

К ночи стало пробирать до костей. Примолкшие девушки свернулись калачиком среди жестких, угловатых мешков, прижались друг к другу и заснули. Мы прикрыли их рогожками, а сами всю ночь клевали носами, слыша сквозь сон хлюпанье грязи и напряженное урчание моторов.

Рассвело как-то сразу, или, может быть, мы проспали рассвет. Наш автослон быстро бежал по ровной дороге, и мимо мелькали чистенькие, крепенькие домики приземистых хаток Украины. Эти домики были длинные, с входом посредине и с некоторым подобием терраски вдоль фасада вместо наших русских или украинских крылечек. А на балясинках терраски висели гроздья кукурузных початков, желтых, красноватых и вовсе красных. Стены были окрашены в рыжий, серый, синий цвета и кое-где украшены простеньким орнаментом в виде выпуклых каемок, а то и барельефов из звездочек и кружков.

Но особенно бросалось в глаза обилие самых разнообразных надписей на этих стенах. Этот вид «литературы» стал появляться на дорогах примерно за Уманью, где наше наступление стало развиваться особенно бурно. Тылы отстают от наступающих частей, найти кого-нибудь в этом непрерывном перемещении чрезвычайно трудно. Вот и пишут на стенах. Здесь эта «литература», как видно, достигла полного расцвета.

«Кучеренко! Мы в Ямполе. Въезжай скорей, хозяин ругается».

«Сидоров и Зубков! Мы здесь в третьей хате у колодца».

«Савин с сыновьями у Днестра! Торопитесь, черти!..»

«Роза и Деготь в селе Березовке, сворачивайте направо!»

«Везущие огурцы! Зайдите в крайнюю хату на выезде».

Наконец, на самом крайнем доме углем:

«Кучеренко, черт, сколько можно ждать? Майор тебе всыплет».

В МОЛДАВИИ

Минуем Ямполь. Маленький, раскинутый по берегам скалистых оврагов городок, который сейчас вот горит в нескольких местах в безветренной тишине прохладного весеннего утра. Вероятно, он был красивым. Сейчас в нем пусто и как-то тягостно. По некоторым улицам из-за пожаров нельзя проехать, и регулировщицы заворачивают наши грузовики на окраину. И вот из-за черных дымов, будто выхваченная из ножен шашка, сверкнул

на солнце Днестр. Вторая большая река, берегов которой мы достигли за эти знаменательные десять дней.

За Днестром — серые высокие скалы. Зеленые холмы, и среди них белеет чистенький город Сороки. Там уже Молдавия. Не терпится скорее туда. Но переправа разбомблена налетом, продолжавшимся, как говорят, больше часу.

На днестровской круче, где военная дорога, петляя между серыми скалами, осторожно сползает к реке, где колонны грузовиков сворачивают в прибрежный лесок в целях маскировки, в ожидании своей очереди на переправе я услышал у костра интересный солдатский разговор.

К костру, на котором солдаты маршевой роты жарили по местному обычаю куски холодной мамалыги, подошли двое раненых. Один высокий, загорелый, пожилой и усатый, с забинтованным плечом, другой — с перевязанной рукой, тоже высокий, но стройный, тонкий. Явный кавалерист. Чуб пшеничного цвета лихо выпущен у него на лоб из-под кубанки. Раненым, как водится, уступили место у костра с наветренной стороны, чтобы дым не ел им глаза, угостили их мамалыжкой, этим новым для нас блюдом, изготовление которого тут только что начали осваивать. Для парня с раненой рукой чьи-то пальцы ловко скрутили толстую папиросу.

— Где ранены, ребята? — завел разговор сержант из маршевой роты.

— А вон там, за Днестром,— ответил чубатый.— Ох и всыпали мы там ему! Он было уперся, ну как же, неохота ему, сукину сыну, такие земли отдавать... Ну мы ему и показали, почем сотня гребешков... Так дали, что, пока жив, помнить будет.

— М-да, всыпали изрядно,— подтверждает скупой на слова усач, жадно глотая махорочный дым.— Только вот досада — ранило, так сказать, в самое интересное время. Ведь только-только наступать разогнались.

— Ну а что там за народ, за Днестром? Какие они, эти молдаванцы? — спрашивает сержант, хозяйничающий у костра.

И по тому, как сдвинулись бойцы, как наклонились головы, стало ясно, что вопрос этот интересует всех, что бойцам маршевой роты, двигающейся на пополнение частей, сражающихся за Днестром, хочется поскорее узнать о Молдавии и молдаванах.

— Народ? Что ж, народ ничего. Народ подходящий,— задумчиво взвешивая слова, говорит усатый.— Они ведь,

бессарабцы, с нами только год и прожили, а по всему видать — родные. Даром что по-русски ни бум-бум. А как встречают! Все, что есть в печи,— все на стол мечи. Только, видать, бедные. Должно быть, не то немецкий фашист, не то румынский бояр из них все повыжал. Сапогов на них не увидишь, тапки какие-то из сыромятины, а то и вовсе босиком. И одежонка — в каких-то подштанниках из домотканины ходят — ей-бо! А добры — последний кусок пополам переломит и на тебе — ешь. А не возьмешь, обижаются.

— А ты что ж, так и не брал, так и отказывался? — острит кто-то.

— Ну и что? И отказывался. Вот увидите, как их немец облупил. Тут, брат, за их стол садиться-то оглянешься. Политику нужно соблюдать.

— Когда наш полк Днестр форсировал, вон там, недалечко, направо,— начинает рассказывать молодой,— они ведь что сделали? Еще бой идет, положение, можно сказать, неопределенное, врага-то только от берега отшибли, а он по нас с высотки из артиллерии шпарит, а у нас артиллерия еще на переправе, откликаться нечем... Да, а они, эти бессарабцы, нам навстречу идут, к берегу — бабы, ребятишки, старики, а впереди поп с какими-то там ихними божьими знаменами. А враг что? Видит, конечно, что это мирные. Но ведь досадно ему, что нас так встречают, так он, гад, сверху по толпе осколочными. Ну тут коих, конечно, и поубивало. Наш эскадронный не стерпел, кровь у него загорелась, шашку вырвал, на стременах встал. «За убитых,— кричит,— за баб, за ребятишек малых!» Ну и дернули мы лощиной. Холм тот на рысях обошли да с тыла на батарею: «Ура!» Ну и кои были при батарее, хоть иные и руки подняли,— всех в капусту.

Усач смолкает, морщится. Большой рукой тихонько вытирает повлажневшие глаза, делая вид, что подавился махорочным дымом.

У костра становится тихо. Чубатый хлопец достал из кармана гимнастерки вышитый платочек, который он бережно завернул в бумагу.

— А вот мне там одна подарила. Молдаваночка. Марой звать. Имя-то какое — Мара.

— Эй, раненые, машина на Умань! — кричит с дороги регулировщица.

Раненые поднимаются, неторопливо прощаются.

— Спасибо за компанию.

У костра некоторое время молчат, наблюдая, как они лезут в кузов. Грузовик подрагивает, тяжело переваливаясь, медленно везет их в тыл.

Под впечатлением рассказа раненых, который мне удается записать почти дословно, особенно захотелось поскорее попасть за Днестр. Но переправа повреждена серьезно. Раньше полудня ее поправить не обещают. Начальник переправы снисходит к нашему нетерпению и предлагает маленькую трофейную надувную лодочку.

Ну что ж, лодка так лодка. Лишь бы поскорее. Но с лодкой выходит неприятность. Оба гребца отвезены в госпиталь. Нас везут неопытные новички. Бурная, клокочущая водоворотами река на стремнине подхватывает нашу легкую посудину и несет ее вниз по течению все дальше и дальше от Ямполя, который вскоре и скрывается за скалистым обрывом. Несет, судя по всему, прямо к немцам. Изо всех сил помогаем грести руками, досками от сидений. Наконец, вырвавшись из стремнины, пристаем к подножию какого-то старинного средневекового замка, угрюмо нависающего над Днестром.

Первыми, кого мы встречаем, ступив на берег, оказываются несколько парней из партизанского патруля, помогающего нашему коменданту наводить порядок. Простодушнейшие ребята в высоких барашковых шапках, со старыми охотничьими ружьями.

По обветшалым полуразрушенным лестницам, как бы врубленным в толщу громадных стен, мы поднимаемся наверх в одну из круглых тяжелых башен замка. Размытый дождями известняк сыплется из-под ног, комьями катится вниз. Летучие мыши, гроздьями висящие в темных углах, вспархивают от шума обвалов. Проход делается все уже, мы нагибаемся, потом чуть ли не становимся на четвереньки, и вот в отверстие наверху проглядывает кусочек голубого неба, и свежий речной ветер побеждает вековую затхлость. Еще усилие — и мы на башне замка, высоко над Днестром.

На мгновение невольно застываешь — так хорош открывшийся вид, так прекрасен Днестр, огибающий замок величавой извилиной, и так чисто голубое весеннее небо.

Среди партизан, что встретили нас на берегу, учитель Сорокской средней школы. Звать его Андрей. С учительской старательностью он рассказывает нам историю этого старого замка, сыгравшего, оказывается, оригинальную роль и в этой войне. Его построил один из героев молдавского народа, именовавшийся Стефаном Великим. Этот воин и государственный муж, проведший свою жизнь в походах против турок и татар, хорошо знал, оказывается, в чем счастье его народа, и старался упрочить связи Молдавии с Россией, укрепить дружбу с великим северным соседом.

И этот замок, задуманный и построенный как бастион для защиты верховья Днестра от татар и от турок, в последние годы служил убежищем для молдавских партизан. Отлично зная расположение замковых помещений, его малоизвестные ходы и тайники, партизаны держали в нем оружие, устраивали иногда здесь свои сборы и скрывались от преследования. Военная история замка была, таким образом, обновлена, в нее вписали несколько новых интересных страниц.

Нас ведут в полуразвалившийся сводчатый погреб. Не зная плана замка, по-моему, почти невозможно найти сюда вход. Вот в этом погребе и хранилось оружие и боеприпасы партизанского отряда, здесь одно время был даже госпиталь, где лечились партизаны, раненные в боях при нападении на обозы румынских оккупантов. На башне, где мы стояли, помещался партизанский секрет. И все это недалеко от большого города, где хозяйничала жандармерия оккупантов.

— Неужели вас здесь ни разу не накрыли?

Учитель усмехается. На обветренном лице сверкают зубы.

— Во-первых, мы здесь бывали не всегда. Только когда это вызывалось необходимостью. Во-вторых, среди молдаван не нашлось, по-видимому, предателя, который бы нас выдал, а даже если кто-нибудь захотел бы выдать, он бы побоялся это сделать, ибо знал, что с нами шутки плохи. В-третьих, у нас было столько доброжелателей, что нас обычно предупреждали о всех намерениях румынских жандармов. А в-четвертых,— тут учитель делает изрядную паузу, как бы взвешивая, стоит ли говорить об этом советским офицерам, но наконец решается и говорит: — Ну а в-четвертых, не очень хотелось им, румынам, рисковать головой в этой немецкой войне.

— Немецкой войне?

— Ну так некоторые из них говорили. Те, что пооткровеннее.

Потом партизаны наперебой рассказывают, а учитель едва успевает переводить о том, что в этом краю страх оккупантов перед молдавскими партизанами был так велик, что были районы, где они приказывали возле дорог вырубать лес, сводить сады, запрещали сеять кукурузу, чтобы не давать партизанам приближаться к дороге. Были селения, в которых немецко-румынские фашисты решались показываться только днем.

— Весна! — говорит учитель, задумчиво смотря на разлив мутного Днестра, на сады, уже розовеющие зацветающими абрикосами, на ласточек, с писком ремонтирующих свои гнезда в массивных стенах замка.— Для нас это особая весна, весна возвращения к жизни.

ПОЛОВОДЬЕ

Одно из самых больших зданий города — румынские военные казармы — отведено сейчас под лагерь военнопленных. Эти казармы уже оказались тесными, столько сдалось на этом участке румын. А прибывают все новые партии. Комендант лагеря, массивный украинец, хватается за голову.

— Хоть бы пообождали сдаваться, черти, куда я их дену!

И тут мне вспоминаются слова учителя-партизана, должно быть, точно определившего, что румыны не хотят участвовать в этой чужой, немецкой, а точнее говоря, гитлеровской войне.

Войска нашего фронта продвинулись далеко в глубь Молдавии, взяли город Флорешты, крупнейший в Бессарабии железнодорожный узел Бельцы и широким фронтом рвутся к Пруту.

— Почему даже здесь, на Днестре, где массивные серые скалы берега представляют собой естественную и действительно неприступную крепость, вы даже не пытались всерьез сдержать наступление? — спрашиваю я капитана румынской армии, взятого в плен тут, в Сороках, стройного молодого человека с подбритыми бровями и с черными ногтями, носящими, однако, следы маникюра.

У него открытое, почти мальчишеское лицо, и, если бы не эти подбритые брови и не остаток маникюра, он выглядел бы, ей-богу, очень симпатичным малым.

— После того как остатки немецких дивизий покатились с Украины в Транснистрию, виноват, в Молдавию, наш полк, стоявший на границе Трансильвании, спешно перебросили в этот район,— охотно рассказывает он, будто докладывая начальству о ходе передислокации.— Наша дивизия была сильная, хорошо укомплектованная, но, выдвинутые на водный рубеж, мы увидели стольких немцев без оружия, в беспорядке переправляющихся через реку, что всем стало ясно: война проиграна. У нас в Румынии есть пословица: «Человеку не дано остановить половодье». Глупо было бы пытаться делать это. Наши солдаты — храбрые солдаты, это всем известно, и наши офицеры — храбрые офицеры, это тоже всем известно. Но скажите, зачем и во имя чего мы стали бы спасать этих немцев, которые бегут? Мы все всегда любили прекрасную Францию. Наш Бухарест — это маленький Париж. Но немцы — фу, немцы никогда не были нам по душе.

Мы ночуем в большом селе, недалеко от Прута.

Хозяин, пожилой сивоусый молдавский крестьянин, принял нас с величайшим радушием, вообще, кажется, действительно свойственным людям этого края. Войска уже придвинулись к Пруту. В селе не осталось даже коменданта. Мы двое — единственные советские военные, и вечером к терраске нашего домика сходится чуть ли не все мужское население села. Присаживаемся на ступеньках. Ведем разговор. Сначала он ведется только жестами, выражающими взаимную приязнь.

Хозяин куда-то исчезает и возвращается в сопровождении бородатого старика в такой же, как у всех здесь, высокой барашковой шапке, в такой же, как и у большинства, коричневой свитке. Но старик этот отличается своей бравой выправкой и какой-то молодцеватостью. Поверх свитки у него на груди на георгиевской ленте висит медаль, царская русская медаль.

Подойдя к терраске, он снимает шапку, прижимает ее к себе левой согнутой рукой, весь подтягивается, подбирается.

— Григорий Жуляй, отставной рядовой Тверского драгунского полка,— четко, на чистейшем русском языке рубит он, даже пристукнув ногой об ногу.

Ему лет семьдесят пять. Он участник первой мировой войны. Сейчас, на склоне лет, в дни немецко-румынской оккупации он не сидел сложа руки. У него на хуторке, вдали от дороги, прятались партизаны. В часы нашего наступления он подбил село выйти навстречу Красной Армии и сам, нацепив старинную свою медаль, бог знает сколько времени пролежавшую на дне сундука, преподнес командиру головного танка хлеб-соль при въезде в деревню. Три его сына — Ион, Григорий и Степан — уже ушли в Красную Армию. Комендант села посоветовал старому молдаванину активно налаживать в селе жизнь. Сейчас он со своей медалью ходит по селу и дает всем руководящие указания. Догадываюсь, что их, эти указания, здесь не очень-то всерьез принимают. Но дела в селе, судя по всему, идут неплохо, большинство хозяев уже вышли на яровой сев.

Старый солдат служит нам переводчиком. Через него мы узнаем от крестьян много интересного и поучительного. До воссоединения Бессарабии вся земля в окрестностях находилась в руках некоего полурусского, полурумына Сергея Поповича. У него было около сотни гектаров. Средний крестьянский надел был гектар. У многих земли вовсе не было, только домик.

Попович вел хозяйство на широкую ногу. Он отдавал крестьянам землю в аренду «исполу», то есть крестьянин-арендатор обрабатывал землю, засевал ее своими семенами, а урожай делился пополам — половина крестьянину, половина землевладельцу. Крестьянин мог пользоваться хозяйскими машинами, но за это он тоже платил деньгами или натурой из своей доли. После воссоединения Бессарабии с Советским Союзом земли Поповича были поделены между крестьянами, а недалеко от села была создана МТС. Появились советские тракторы и машины.

Когда из-за Прута пришли оккупанты, в обозе их приехал и Сергей Попович. Земля, которую уже засеяли крестьяне, вновь перешла к нему. Советские тракторы и машины угнали куда-то в Румынию. Попович так ограбил село, что в этом прежде изобильном крае несколько семей вынуждены были заколотить свои домики, сняться и уйти, чтобы не умереть с голоду.

Когда во время разговора звучит имя Поповича, загорелые, обветренные лица крестьян каменеют. Они не вспоминают его без ругательств. Сейчас Попович бежал за Прут, земли его вновь поделены, и, если удастся раздобыть горючее, будут работать и брошенные Поповичем машины.

Вечером крестьяне показывают нам свое хозяйство, конюшни, машины. Все в порядке. В порядке и старый помещичий дом, приземистый и мрачноватый. Мы ходим по гулким комнатам с невысокими потолками. Интересно, что даже личных вещей бежавшего помещика никто не тронул. Его халат валяется на пианино, под вешалкой стоят болотные сапоги.

— Вот бережем дом. Школу здесь думаем открыть, а не то клуб, по вашему примеру,— хозяйственно говорит старый солдат и озабоченно осведомляется: — Разрешат, как вы думаете?

Окна раскрыты настежь, за деревьями, на которых набухают почки, серебрится пруд, в воздухе и на земле чувствуется весна, южная, буйная весна.

Нам снова повезло — в штабе танкового соединения я встретил знакомого офицера связи. Он отправлял порожний самолет назад, в штаб фронта. На нем мы летим домой, к телеграфу. Я лечу с твердым решением не задерживаться в штабе, отписаться как можно скорее, передать корреспонденции в «Правду» и возвращаться сюда. Не сегодня-завтра наши войска выйдут на Прут — на государственную границу Советского Союза.

НЕУДАЧА

Раздобыть самолет в собственное пользование не удается. Но капитан Иваненко говорит, что назавтра одна машина занаряжена за офицером разведки. Вот если я договорюсь с ним и мы оба втиснемся на одно заднее сиденье, тогда он не возражает перебросить в армию генерала Богданова лишнего пассажира. Знакомлюсь с этим офицером. Жизнерадостный человек, одессит со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одна беда —

толстоват. Как мы с ним уместимся на заднем сиденье, не знаю. Но он, как истый гражданин своего веселого города, оптимистически переиначивает известную евангельскую пословицу: «Там, где верблюд не пройдет через игольное ушко, одессит проскочит». С тем и расстаемся до утра.

А утром действительно, оказывается, ухитряемся втиснуться в открытую кабину, предназначенную для одного человека. Вылетаем с рассветом. Поднявшись, пилот делает прощальный круг над могилой летчика Алеши Мерзлякова, о котором я уже писал. Красиво погиб на днях этот храбрый парень, выполняя боевое задание уже тут, в Бессарабии. Раненный с «мессера» пулей навылет, он все же сумел посадить самолет и этим спас жизнь своего пассажира, офицера связи. А когда тот выскочил из кабины, Алеша был уже мертв. Его похоронили на вершине зеленого, оплетенного виноградником холма. И установили в полку обычай: вылетая на боевое задание, летчики делают над этой могилой круг.

Могила была хорошо видна сверху. Рядом с пропеллером, воткнутым в продолговатый холмик, кто-то, наверное крестьяне, поставили небольшой крытый крест. Я вспомнил, как мы с Алешей, прощаясь, облетали у Днепра могилу старого лирника деда Левко, вспомнил, как удирали от «мессеров», вспомнил выразительное словечко, которое он мне передал по буквам из своей кабины. Много вспомнил и сказал вслух, будто бы он мог меня слышать:

— Прощай, Алеша. Прощай, хороший советский парень!

Летим. Мой сосед-одессит напевает известную песенку о развеселом своем городе. Я сквозь тарахтенье мотора различаю слова: «Поговорим за берега твои, любимая моя Одесса-мама». Все идет отлично в этот ясный весенний день, и даже в голову не приходит, что скоро повторится все, что случилось с лейтенантом Мерзляковым.

Наш самолет ведет незнакомый летчик, только что переведенный на связь из комсомольского полка, веселый и, видимо, озорной паренек. Должно быть, испытывая нас, он как бы невзначай делает горки и виражи, но, честно говоря, мне не до его фокусов. Лишь бы долететь скорее. Лишь бы не опоздать к такому событию, как форсирование Прута и переход через государственную границу.

Когда перелетаем через Днестр, я снова вспоминаю о том, как тогда, с Мерзляковым, наблюдали мы с воздуха преодоление днепровских укреплений так называемого «Восточного вала». Тут все вырыто наспех, нечеткие линии окопов, пулеметные гнезда, разбросанные по речной пойме, да несколько несерьезных дзотов, плохо замаскированных в прибрежных скалах. В отличие от «Восточного вала» укрепленная линия идет здесь по обоим берегам — и по пойменному и по крутому. Но и она оказалась бессильной хоть сколько-нибудь задержать наше наступление. Невольно вспоминаются слова маршала Конева, сказанные где-то в начале этого нашего наступления: «Для храбрых и умелых солдат непреодолимых укреплений не существует». Теперь хочется только дополнить: «Для храбрых и умелых солдат, руководимых смелыми, талантливыми, предусмотрительными полководцами».

Потом мы летим над пологими холмами, и нам не нравится, что идем мы слишком высоко. На фронте осторожность дела не портит, и сила нашего маленького «кукурузничка» именно в том, что он может летать, чуть ли не касаясь колесами травы. Но такой уж, по-видимому, темперамент у этого сорванца из комсомольского полка. Вскоре опасения наши оправдываются. Судя по карте, где-то уже недалеко от Прута мы видим двух немецких воздушных охотников. Мы высоко. Не заметить наш самолет они просто не могут. И они замечают и начинают заходить нам в лоб. Летчик снижается. Он переводит машину в пике, но уже поздно, они несутся нам навстречу, строча из всех пулеметов. Тут надо отдать должное нашему сорванцу. Влипнув в скверную историю, он не теряется. Самолет круто развертывается, и все же пулеметная очередь прошила оперение хвоста и, как выясняется впоследствии, перебила шасси. Но мы еще летим, самолет жив, а это главное.

Но и «мессеры» не дураки, чтобы так легко упустить безобидный «кукурузничек», хотя он уже и подранен. Ну да, вон они пошли на новый заход. Летчик резко снижает машину, и мы почти падаем в балочку. Трещат подламывающиеся шасси, и наш «кукурузник» застывает. Задрав хвост и сунувшись в грязь винтом, самолет остается торчать в этой глупой позе. Мы с одесситом,

как мешки с картошкой, вываливаемся из кабины и шлепаемся в болото. Но летчик почему-то не вылез, хотя ему, вероятно, чертовски трудно сидеть, вернее, лежать грудью на приборах в самолете, торчащем почти вертикально.

Ранен? Убит? Бросаемся к машине. Выдергиваем пилота из кабины. Торопливо относим его, неподвижного, в сторону, в виноградник. И вовремя. Ревя моторами, проносятся один за другим «мессера». Нестрашно, будто швейные машины, трещат их пулеметы. В следующее мгновение самолет вспыхивает ярким пламенем. Третьим заходом «мессеры» угодили в бензобаки несчастной машины.

Скверно очутиться вот эдак в пешем строю в незнакомом месте с раненым на руках. Да еще неизвестно где, потому что, удирая от охотников, летчик, разумеется, перестал следить за картой.

Майор-одессит, как истый разведчик, первый оценивает плачевную эту ситуацию. Он поручает мне летчика, а сам отправляется за помощью. Стаскиваю с летчика комбинезон. Осматриваю, ощупываю. Что за черт — ран нет. Почему же он без сознания? Догадываюсь: вероятно, контужен. Как его привести в чувство, не знаю и поэтому прибегаю к испытанному мальчишескому средству — начинаю крепко тереть ему ладонями уши. И что же — приходит в себя. Одессит оказывается молодцом. Он появляется в сопровождении женщины-врача и двух санитарок с носилками. Оказывается, на хуторе расположилась санчасть танкистов. Им и сдаем летчика.

Мы же вы ираемся на большак, до которого тоже недалеко. Голосуем, и первая же фронтовая машина довозит нас до Фалешт. А через полчаса удобный штабной вездеход везет нас на Прут, к селению Баронешты, куда уже прорвались танкисты генерала Богданова.

По дороге узнаем от шофера новость: утром передовые части форсировали Прут и, перейдя государственную границу Советского Союза, уже углубились на территорию Румынии. Не сдержавшись, я обнимаю этого чумазого белобрысого парня. Он смотрит на меня с недоумением и опаской — уж не рехнулся ли майор, падая с неба?

Авиация неприятеля сегодня зверствует. На двенадцатикилометровом участке до реки нам приходится раз

пять выскакивать из машины и отлеживаться в придорожном кювете. Видимо, фашисты здорово обозлены. Они, должно быть, перебросили сюда какую-то крупную авиачасть, и сейчас их штурмовики и «мессеры» не слезают с неба, гоняясь даже за отдельными машинами, как это было в сорок первом году. Вероятно, стараются этим если и не остановить Красную Армию, то хотя бы задержать ее.

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Вездеход с ревом, на отчаянной скорости влетает в село Баронешты. Я прошу шофера, прежде чем ехать в штаб, помещающийся где-то на северной окраине, дать нам глянуть на Прут. Теперь он понимает наше волнение. Мы несемся по узенькой кривой улице, меж заборов, сколоченных не по-нашему — из длинных толстых, прибитых параллельно земле досок, делает поворот, еще поворот. Машина выскакивает на холм и останавливается, как осаженный на полном ходу конь, пронзительно взвизгнув тормозами.

Мы на краю высокого, крутого, точно бы отпиленного глинистого берега. Внизу Прут, медленно извивающийся и ослепительно сверкающий в лучах полуденного солнца.

Вот она — граница моей великой страны. А за нею видны зеленые долины Румынии. Шум артиллерийского боя доносится уже оттуда, из-за Прута, не с нашей, а с чужой земли, куда Красная Армия перенесла теперь огонь войны.

Начальник штаба танкового соединения знакомит меня с обстоятельствами перехода границы здесь, у села Баронешты...

По приказу маршала граница была взята как бы с ходу. Бой продолжался всего около двух часов.

— Разве перед этой войной кто-нибудь мог предполагать, что танкисты с ходу будут форсировать такие реки? — говорит генерал.

— Разве до войны могли думать, что вообще государственные границы будут форсировать с ходу? — уточняю я.

Вспоминаю, с каким волнением осенью прошлого года переезжали мы Северный Донец в районе Белгорода, когда наступление нашего фронта, именовавшегося тогда Степным, еще только развертывалось. Эта река была тогда рубежом, отделявшим наши войска от немцев. Перейдя этот рубеж, наша армия начала наступление, продолжавшееся более полугода и еще не кончившееся, очень большое, очень трудное наступление. С волнением, похожим на то, которое охватило меня тогда на берегу Северного Донца, стою на взгорье над широко разлившимся Прутом, у околицы села Баронешты. Именно здесь, в этом месте, сегодня на заре войска 2-го Украинского фронта впервые перенесли огонь войны за рубежи Родины, на неприятельскую землю. Уже не фронтовой рубеж разделяет наши войска от неприятельских, а рубеж государственной границы.

Причем переход его был совершен с блестящей стремительностью, хотя с точки зрения военно-оперативной и не представляет собой чего-то особо выдающегося. До этого были Ворскла, Днепр, Южный Буг, Днестр — водные преграды посерьезнее Прута. Но политически то, что произошло в весеннюю прозрачную, полную звезд и соловьиных трелей ночь, вот тут, у молдаванского села, имеет огромное значение. Все долгие годы войны советские люди мечтали об этом событии. Солдат Сталинграда, зарывшись в мерзлую землю средь закопченных руин, ленинградская мать, кормившая истощенных ребятишек супом, сваренным из кусочка столярного клея, все мы, куда бы ни заносила нас военная судьба в ту трудную пору, мечтали о часе, когда огонь войны, до сих пор опустошавший нашу землю, будет переброшен на территорию противника.

У армий, с боями двигавшихся сюда через Украину и Молдавию, позади тысячи километров обожженной земли, разрушенные города, несчетные пепелища деревень, забурьяненные поля, рвы, полные трупов. И вот война со всеми ее ужасами изгоняется за порог нашего дома. С холма, на вершине которого стоит старое распятие, я вижу Прут, а за ним темнеют пойменные берега, и дальше, будто стайка овец, карабкаются на холм белые маленькие домики, предводительствуемые приземистой церквушкой. Это Румыния Антонеску...

НА РУМЫНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Не дождавшись, пока саперы спустят на воду подвезенные десантные мотоботы, прыгаем на ветхий сельский паром, куда предприимчивые артиллеристы уже успели взгромоздить противотанковую пушечку. Бывалые солдаты — загорелые, обросшие в этом стремительном наступлении — заметно взволнованы. Обычное боевое напряжение у них усиливается все тем же ощущением, что здесь, на этой переправе, они становятся участниками чего-то еще небывалого. Они не только гонят противника, к чему за последние месяцы все уже привыкли, но гонят с родной земли саму войну.

— Румыния,— хрипловатым голосом говорит какой-то усач, быть может, участвовавший в гражданской войне.

— Даешь Румынию! — кричит озорной автоматчик в клеенчатой трофейной куртке и даже топчется на настиле от нетерпения.

Вместе со всеми я нетерпеливо перебираю мокрый, липкий от смолы канат и уже мысленно составляю корреспонденцию, которую, если повезет, отстучу сегодня вечером по военному телеграфу в «Правду». Уже придумывается заголовок: «На земле врага». На земле врага — это должно здорово прозвучать под большой салют, который грянет сегодня в Москве в честь долгожданного события.

Паром мягко подходит к мосткам. Но еще до этого мгновения все прыгают — кто на мостки, кто на берег, а кто прямо в воду. На берегу в камышах несколько брошенных пушек и «пантер», карауливших, должно быть, в засаде. Ветер разносит разноцветные бумажки какой-то штабной канцелярии. Но все это неинтересно. Мы жадно смотрим кругом. Подумать только — ведь это уже Румыния. Мы на земле врага.

Но врага ли?

Уже тут, на берегу, закрадывается сомнение — так ли уж хорош придуманный мною заголовок для корреспонденции, посвященной этому выдающемуся событию?

Первые румынские деревни на пути наступления наших частей оказываются пустыми. Люди спешно их покинули, как кажется, ничего с собою даже не забрав, уведя только скот. За дощатыми заборами мечутся голодные псы. На стенах белых домиков с затейливыми террасками и с обязательными гроздьями кукурузных початков пестреют уже навязшие нам в зубах плакаты

немецкого изготовления, на этот раз на румынском языке. Чубатый казак, дико хохоча, поднял на пику голенького младенца... Пьяные бородатые люди со звериными лицами и огромными красными звездами на мохнатых папахах волокут куда-то кричащую девчонку, отталкивая старую женщину, цепляющуюся за их сапоги... Те же бородачи, так же дико хохоча, вешают священника на перекладине церковных ворот... Тот же священник и еще какие-то интеллигентного вида люди распяты на заборах, и офицеры со звездами и множеством орденов стреляют в них, как в мишени... Все эти художества давно уже намозолили нам глаза на пути нашего наступления. По-видимому, безбрежная фантазия у доктора Иозефа Геббельса начинает иссякать. Для Румынии он так ничего нового и не придумал, а просто перевел то, что мы видели на Украине и в Молдавии, на румынский язык. Плакаты эти настолько очевидно нелепы, что там, за Прутом, их ленились даже срывать. Они никого не убеждали... Но эти пустые деревни. Неужели столь очевидно бездарные фальшивки на кого-то могли подействовать?

В конце деревни с непривычным для нас названием, кончающимся на «шты», в одном из домиков обнаружен древний дед в длинной белой рубахе, в белых же коротких портах, из которых, как корни, торчат его худые загорелые ноги. На голове у него шляпа. Я подошел к нему вместе с добровольным переводчиком — чернявым солдатиком из молдаван. Первое, что сделал дед, увидев мои офицерские погоны, это попытался поцеловать руку. Предупредив, я сам поцеловал его в шершавую колючую щеку, и он остолбенело посмотрел на меня, будто произошло что-то сверхъестественное. Потом дед заговорил, и мы узнали, что не дурацкие эти плакаты, а более сильные аргументы заставили жителей покинуть село. Вчера на заре сюда пришли железногвардейцы и приказали всем грузить на подводы самое необходимое и уходить в глубь страны. Сказано было, что ослушников расстреляют, а дома их сожгут. И вот ночью, когда завязался бой на переправе, а железногвардейцы, вовсе не стремившиеся помериться силой с русской разведкой, уже переправившейся на надувных лодках, исчезли, крестьяне нашли третий выход — они не пошли в глубь страны и не остались дома, они ушли в плавни, забрав с собой самое ценное и скот.

— Старый Николае остался,— дребезжал старик,

именуя себя почему-то в третьем лице.— Чем может напугать железногвардейский головорез старого Николае, который, слава богоматери, достаточно пожил на белом свете? Ружье? Так что старому Николае его ружье, если год назад он уже сколотил себе гроб. Домнулу красный офицер может верить старику, что его односельчане вернутся, обязательно вернутся, как только узнают, что русские никого не трогают.

Старик снисходительно принял от переводчика нашу папиросу, удивленно повертел ее в руках, но курить не стал. Видимо, так и не поняв назначение длинного картонного мундштука, он сунул ее за ухо.

Таков был первый представитель мирного румынского населения, у которого мне удалось взять интервью. Правду ли он говорит или, может быть, лжет, боясь, как бы с ним чего не сделали?

Скоро выяснилось, что он нас не обманывает. Из камышовых зарослей в деревню потянулись люди — мужчины в высоких бараньих шапках, худощавые смуглые женщины, шустрые ребятишки. Будто возвращаясь с пастбища, неторопливо пощипывая на обочинах траву, брели коровы. Мелко семеня ножками, двигались небольшие кучки овец.

Деревня оживала просто на глазах. Уже вились над крышами серые уютные дымки. Босые молодицы, стоя на террасках, с опасливым любопытством разглядывали двигавшиеся через деревню запыленные пушки, солдат с лицами, покрытыми зеленоватыми масками пыли. Мальчишки окружали танкистов, разминавшихся около своих машин. Те, что посмелее, выпрашивали у них монетки, форменные пуговицы, спичечные коробки и прочие немудрящие русские сувениры, а когда на склоне дня мы, утомленные и измученные, добрели до переправы, там, где под защитою песчаных откосов, прикрытые от солнца ветвями, еще лежали рядком трупы, мы увидели недалеко совсем уже мирную картину. Дюжий танкист, спустив ноги с подбитого «фердинанда», разводил мехи своего облупленного, видавшего виды баяна, и какие-то ребята из инженерной части, должно быть, из той, что наводила уже жесткую переправу, задорно поглядывая на иноземных девчат, толпившихся в сторонке застенчивой стайкой, откалывали такие плясовые колена, какие, может быть, и не видала эта певучая, издревле охочая до танцев страна.

А подальше, у блиндажа перевозчиков, на истоптанной траве, подобрав под себя ноги, обутые в постолы, сидели румыны, из тех, что пришли помогать нашим солдатам строить переправу. Они неторопливо курили русские папиросы.

Что увидел я, военный журналист, которому скоро предстояло передавать в Москву корреспонденцию о первых часах, проведенных за Прутом, на их обветренных усталых лицах? Удивление? Безусловно! Даже недоумение. Любопытство? Конечно, и очень жгучее. Затаенный страх? Нет, страха, пожалуй, не было. Ненависть? Нет, нет и нет!

В этот день мне удивительно везло, что не часто случается в беспокойной корреспондентской нашей жизни. И в Румынии побывал, и с населением поговорил, и отыскал даже героев переправы, первыми высадившихся на чужой берег. Несмотря на неистовство немецкой авиации, которая сегодня, черт ее подери, не слезает с неба, без хлопот и опасности переправился на наш берег, нашел армейский телеграф, написал и передал корреспонденцию. Только заголовок был у нее уже иной, не тот, что мне надумался по пути в Румынию. «На румынской земле» называлась эта корреспонденция.

НОВОЕ ПОЛОВОДЬЕ

Все эти дни хворал. Никогда еще проклятый ревматизм, приобретенный в окопах Сталинграда, не казался таким тягостным, как в эти дни, до краев наполненные интереснейшими событиями. Наше наступление сейчас в полном разливе. Войска движутся энергично, напористо. Противника не спасают ни реки, преграждающие нам путь, ни свежие дивизии, которые он перетягивает сюда с Балкан, даже с Адриатики, ни пресловутый воздушный корпус «Рихтгофен», укомплектованный из отборных асов и переброшенный сюда из Европы.

Уже форсированы Серет, Молдова, Сучава, взяты города Батошаны, Стефанешты, Радоуцы, Фелтичены, крупные железнодорожные узлы Дермешты, Варешты, Долгасэ, Пошканы... Со Скулянских гор бойцы передовых отрядов уже видят Яссы. Казаки и подвижные части ведут бои в предгорьях Карпат. Для меня эта большая

борьба доходит в отголосках. Прилетали и приезжали из-за Прута полные впечатлений журналисты, фотокорреспонденты, кинооператоры. Заходили и рассказывали. И это не утоляло, а лишь разжигало жажду видеть все это собственными глазами.

Зато теперь я, кажется, возьму реванш. Мне удалось получить у нового командующего фронтом самолет с полной заправкой и без маршрута. Будем приземляться где захотим, где сможем и сидеть сколько нужно.

Первую посадку делаем у Прута, около уже знакомого нам села Баронешты. За эти дни оно стало тылом. По зеленым его улицам бродят раненые в халатах и пижамах. Здесь разместился армейский госпиталь.

Сколько интересного, живого, яркого, подмеченного острым глазом бывалого солдата, можно услышать здесь, на крутоярье, над рекой, если посидеть часок-другой у костра среди солдат, ожидающих своей очереди у переправы.

Маленький танкист рассказывает о недавно бушевавших здесь боях. Он широко размахивает рукой, с которой, видно, так и не отмывается машинное масло, то и дело поправляет сползающий на нос шлем.

К костру подходят солдаты, раненные уже где-то в предгорьях Карпат. Все горды тем, что принимали участие в переходе границы и перенесли войну за реку.

Молоденький пехотинец, бережно покачивающий лежащую на дощечке и подвешенную на бинте загипсованную руку, весело говорит:

— Догнали мы вчера немцев у железной дороги, кричим: «Хенде хох, а то капут». Стреляют. Ну мы их и покрошили.

Он издает восторженный гортанный звук и, подбросив в костер смолистых веток, довольный, наблюдает, как пламя охватывает их.

— А чудно там, в Румынии. Сначала все прятались. Войдешь в деревню — никого, одни петухи поют. Потом помаленьку выползают из оврагов. Возле одной деревни два старика нам навстречу вышли. Идут, а руки подняты, что-то лопочут, а переводчик переводит: «Стреляйте сразу, только не мучайте!» Ну а потом с нами в деревню вернулись.

Регулировщица кричит на дороге:

— Воздух!

Машины, как муравьи, расползаются в разные стороны. Загораются дымовые шашки. Плотное сизое облако, клубясь, ползет над водой, окутывая все зеленоватым туманом.

Пикировщики, выскользнув из-за облаков, будто с горы на салазках, гуськом устремляются прямо на переправу. С севера наперерез им несутся наши «ястребки». Некоторое время в воздушной драке трудно что-нибудь разобрать. Только слышится короткий сухой треск авиапушек и пулеметов. Но вот подбитый пикировщик плюхается в воду. Оставляя за собой дымный хвост, тянет на север наш подожженный «ястребок».

— Одиннадцатого сегодня сбили,— говорит солдат с переправы.

— Да, это не то, что бывало в Сталинграде. Там они в небе хозяйничали,— откликается другой.

— А что, под Сталинградом мало, что ли, их самолетов погибло? Сам видел у третьего обвода на аэродроме ихних машин видимо-невидимо, одно сплошное утильсырье.

— Я не про аэродром, а про воздух,— отвечает первый.— Их там иной раз как комаров в майский день над нашими переправами висело.

— Да, скис Гитлер... Иная война пошла.

Но снова кто-то стучит в рельс, и сквозь нарастающий вибрирующий гул доносится женский голос:

— Воздух! Эй, у костра, оглохли?!

— Вот тебе и скис! — усмехается один из спорщиков. Но в щель никто не прячется, все сидят, запрокинув головы.

Это новая волна пикировщиков «Ю-87». «Лаптежники» — так зовут их в наших войсках за то, что шасси у них не убираются, толстые колеса торчат, и снизу кажется, что из брюха самолета спущены ноги, обутые в лапти. Где-то в крыльях вделаны сирены. Пикируя, они страшно, душераздирающе воют. Что там греха таить, когда-то, под Калинином, в дни немецкого наступления на Москву этот пронзительно нарастающий звук прямо-таки леденил кровь. Тут, у костра возле Прута, этот механический вопль никого уже не пугает. Конечно, бомбы, отделяющиеся от крыльев пикировщика, не конфеты, но опытный солдатский глаз точно определяет, куда они полетят, а так как явно летят они на ту сторону, на этой никто уже и ухом не ведет.

Тут становимся свидетелями примечательной сцены. У переправы суетятся трое военных. У самой воды, у причала что-то сверкает у них в руках. Что такое? Что они делают?

— Киношники. Кино крутят,— поясняет бывалый солдат, тот, что воевал в Сталинграде.

Ба! Да конечно же, это кинооператоры. Вон снимают очередной пикирующий бомбардировщик, провожают объективом летящие вниз бомбы. Удар. Они на миг скрылись, должно быть присев в укрытие. Но вот уже опять появились и снимают черные султаны разрывов, взметнувшиеся вверх. Мне не раз приходилось встречаться с нашими собратьями из кинохроники. Мы везде дружим с этими храбрыми ребятами, которым в силу особенностей их искусства нельзя, скажем, наблюдать бой из блиндажа на командном пункте, а приходится идти с солдатами среди наступающих.

Вот и тут, когда оба берега замерли перед новым налетом, они снимают сам налет, снимают, многим рискуя, ибо летящая вниз бомба не станет перед киноаппаратом позировать, улыбаться и делать приятное лицо.

С первым же паромом переправляюсь на ту сторону. Да это же Роман Кармен со своими хлопцами! Я уже немного знаком с этим прославившимся еще на испанской войне оператором, стройным, подтянутым офицером с юношески румяным лицом и седеющей шевелюрой.

— Снимаю Румынию,— говорит он, поздоровавшись.— Сюжет — переправа. Немцы, как видите, чудесно подыгрывают... Стойте, слышите, кажется, опять летят. Эх, жаль, подходят со стороны солнца. Ну что бы им взять левее!

Успевает сказать еще, что в их машине канистра с хорошим здешним вином. И отличный сыр. Но это уже в следующий раз. Такие кадры, разве можно пропустить...

Бухают бомбы, трясется земля, жужжат киноаппараты.

ВИЗИТ В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ

Потом мы берем курс на юго-запад к городу Батошаны. Даже с самолета видно, что жизнь тут возродилась, налаживается. На полосатых, уже буйно зеленеющих полях крестьяне ходят за плугом. На виноградниках, точно

паутиной покрывающих склоны холмов, пестреют платки крестьянок. В низинах у плотин, к которым жмутся сельские мельницы, толпятся подводы. На залитых солнцем улицах городка Стефанешты, над которым мы пролетаем чуть ли не на уровне крыш, много жителей.

Дымят трубы какого-то завода, мальчишки машут руками, провожая самолет.

Но больше всего поражает, что на путях железнодорожного узла Пашканы, недавно взятого, мы видим передвигающиеся составы. Узел работает. Работает уже на нашу армию.

Ну вот и Батошаны — уездный центр северной Румынии. Городу повезло. Фронт миновал его быстро. Остатки дивизий противника отступали так поспешно, что перед отходом не успели ни сжечь, ни разграбить город, ни угнать население.

И вот Батошаны, сразу оказавшись в глубоком тылу, продолжают жить своей пестрой, шумной жизнью, полной самых разительных противоречий и контрастов. В развалинах скотобойни еще торчат обломки разбитых немецких батарей, а на улице Регина Кароля, пронзив своей длинной головастой пушкой фанерную лимонадную палатку, стоит немецкая «пантера», брошенная экипажем. На афишных тумбах лохмотья уже известных нам геббельсовских плакатов и воззваний Иона Антонеску, призывающего население уходить в центр страны, спасаясь от большевистских зверств. А рядом небольшие афишки каких-то казино, сулящих, судя по рисункам полуобнаженных дам, какие-то особо пикантные зрелища.

Как странно после всего, что мы видели на пути большого, длившегося около полугода непрерывного наступления, после руин, пепелищ увидеть этот тихий благополучный город, точно бы волшебством сохраненный среди бед и ужасов войны. Просто кажется, что наш скромный «кукурузничек» превратился в уэллсовскую машину времени и перенес меня куда-то в далекое прошлое, дореволюционную Одессу, так сочно и вкусно описанную Валентином Катаевым.

Дворники метут мостовые. Садовники подрезают вдоль тротуаров кусты. В домах электрический свет. Старики извозчики в высоких барашковых шапках и традиционных меховых безрукавках восседают на козлах дребезжащих пролеток с факелами у облучка. За обесцененные леи они готовы хоть целый день возить вас по городу.

В положенный час тягуче перекликаются колокола. Девушки в пестрых платьях и высоких прическах гуляют по солнечной стороне, стреляя глазами в сторону проходящих офицеров. Киоски бойко торгуют прохладительными напитками, и везде, куда ни повернись, на тротуарах смуглые мальчуганы со щетками и суконками нетерпеливо отбивают по ящичкам дробь в ожидании клиента. Их столько, что можно подумать, что жители Батошан только тем и заняты, что с утра до вечера чистят ботинки.

Я уже записывал, что первый же встреченный мною за Прутом румын крестьянин поразил меня странным контрастом своей одежды — он был бос и в шляпе, а ведь еще было холодно. В лощинах лежал снег.

Тут, в городе, эти контрасты еще резче.

На окраинах маленькие домики живописно лепятся один к другому. Они так малы и кривобоки, что просто поражаешься, как их не унесет первый же ветер. А совсем недалеко особняки новой постройки в виде плоских бетонных коробочек, окрашенных в желтый или белый цвет. Они утопают в зелени уже распускающихся садов. Красивая ограда отгораживает их от уличного шума и пыли.

По окраинам даже сейчас, в погожую пору, трудно пройти из-за невысыхающей грязи. Там помои выливают прямо за калитку. Смуглые ребятишки играют среди зловонных ям. На центральной же улице мостовую моют мокрой шваброй.

В лучшей местной гостинице нас встретил портье, похожий на старого дипломата,— в строгом смокинге и высоком оскар-уайльдовском воротничке. Зато в номере, в красной плюшевой мебели оказалось столько блох, что нам с летчиком еле удалось заснуть даже после шумного, наполненного событиями дня.

Везде сочетание вопиющей бедности с какой-то крикливой роскошью, явно продиктованной желанием обставить все так, «как в лучших домах Парижа». Эту фразу мы сегодня слышали уже неоднократно.

Решаем провести в Батошанах еще ночь, но как-нибудь обойтись без блох. Звоню дежурному военной комендатуры. Усталый голос объясняет, что в военной

гостинице все занято. Лежат в коридорах и на лестничных клетках.

— А нельзя ли переночевать у вас в комендатуре? Мы люди без претензий.

— Да в этом нет никакой надобности, товарищ майор. Зайдите в полицию, на улицу Регина Кароля, 9, вас поставят на хорошую частную квартиру. У нас с ними твердая договоренность. Там говорят по-русски.

— Куда? В полицию? — я невольно растягиваю этот вопрос.— Я не ослышался?

— Нет, нет. Именно в полицию. Примар — это по-нашему председатель горсовета — приказал полиции заниматься этим делом. Вы не беспокойтесь, я им сейчас туда позвоню.

К полиции у меня отношение студенческое. От одного этого слова, как говорится, шерсть поднимается дыбом. Но война уже перешла через границу, и придется, как видно, приспосабливаться к новым ее условиям. Ну, в полицию так в полицию. Хотя, честно говоря, никогда не думал, что мне придется иметь дело с этим учреждением.

Выясняется, что, когда наши части вошли в город, полицейские попрятались. Когда вернувшийся к исполнению своих обязанностей городской голова, или, по-местному, примар, приказал полицейским занять свои посты, они долго отнекивались.

Но потом, убедившись, что Красная Армия не вмешивается в дела гражданского управления, наконец облачились в свою форму и приступили к исполнению обязанностей.

Днем на главной улице я уже видел, как несколько таких полицейских в фуражках с тульями неоглядной ширины, в перчатках, глядя на которые можно только догадываться, что они были когда-то белыми, свистками, жестами, криками, всей своей фигурой и мимикой старательно регулировали движение подвод к базару.

Ну что ж, познакомимся теперь с полицейскими офицерами. Дежурный полицейский чиновник чрезвычайно учтив и предупредителен.

— Да, да, мне уже передано распоряжение господина коменданта. Я направляю вас, господин майор, в прекрасный дом домнулу Стефанеску. Он, конечно, не родовой боярин, но весьма почтенный землевладелец. Человек приятный, понимающий.

— А нельзя ли куда-нибудь попроще?

— Нет, нет, что вы, как можно? Мы рады быть полезными офицеру доблестной армии-победительницы.

В красивом, современной постройки особняке мне отводят комнату с огромным мягким ковром, с просторной кроватью, с удобствами, от которых мы совершенно отвыкли на войне.

Вечером в дверь осторожно постучали. Вошел старый слуга в бакенбардах котлетками и стал жестами приглашать куда-то, скаля вставные зубы и поминутно кланяясь.

В большой столовой за чайным столом сидел полный красивый господин с копной седеющих волос, с усами. Он встал и очень чисто сказал по-русски:

— Тудор Стефанеску. Землевладелец. Прошу называть по-русски — Федор Иванович. Я поклонник русских обычаев. Кончил курс университета в России. Эх, Одесса, Одесса! Прекрасный город, а какие женщины! О-ла-ла!.. Умереть можно!.. Я в последние годы все собирался съездить в Одессу. Говорят, там было очень мило и даже ходил трамвай...

Спохватившись, хозяин бурно краснеет, переводит разговор на литературу. Толстой, Достоевский, Чехов — прелесть, прелесть! А стихи Саши Черного? А песенки Лещенко!.. Се манифик... О, пардон, миль пардон! Лещенко, конечно, тут ни при чем...

Перед сном старый слуга торжественно внес ко мне в комнату таз, кувшин с теплой водой и полотенце. Умывшись, жду, стараясь понять, чего это он топчется и не уходит. Потом, когда я сажусь на кровать, он вдруг припадает на колено и начинает стаскивать с меня сапог. Оказывается, он собрался помочь мне раздеться. Мне кажется таким диким, чтобы меня раздевал человек, который вдвое старше меня. Ему же, вероятно, кажется странным, за что на него сердятся и энергично, хотя и мягко, стараются выдворить его за дверь. Наконец он вздыхает и, вернувшись к кровати, открывает тумбочку, многозначительно показывает на фарфоровую ночную посудину. После этого, почтительно, но с достоинством поклонившись, наконец удаляется.

Вот в какие условия, оказывается, может перенести советского человека скромный трудяга «кукурузник», превратившись в машину времени.

На следующий день я встречаюсь с представителями

румынской интеллигенции. Все, с кем мне пришлось говорить,— и старый врач городской больницы, и инженер-железнодорожник, и священник отец Ион, немножко говорящий по-русски,— все подчеркивают дисциплинированность и безукоризненное поведение наших войск. Сразу же с приходом наших частей в городе установился порядок — ни одного грабежа, ни одного серьезного уличного инцидента. А ведь совсем недавно, когда здесь стояли немцы, по ночам слышалась стрельба и раздавались крики женщин.

— Ваши солдаты вообще не похожи на солдат. Они ведут себя по-рыцарски,— говорит врач, посматривая на меня хитрыми глазами из-за толстых стекол очков в черной черепаховой оправе.

Не знаю уж, сколь искренни эти слова. Кое о каких неприятных инцидентах мне комендант рассказывал, но вот что солдаты наши не видят в румынах врагов и что у них с населением, во всяком случае с трудящейся его частью, установились дружеские отношения, это несомненно.

Думается, что и гитлеровцы тут «поработали» на нас. Они так осточертели населению, что само слово «немец», или, как здесь говорят, «германец», служит символом наглости и хамства.

МОСКОВСКАЯ ГОСТЬЯ

Когда, изрядно устав, я вернулся из-за Прута, то увидел в свете занимавшейся зари в тени абрикосового садочка покрытую пылью, очень странную машину. При ближайшем рассмотрении она оказалась обычной «эмочкой», верх которой был срезан, и она была превращена в ландо, оказавшееся... набитым сеном. Этакий поповский тарантас с мотором.

Оказывается, «Правда» прислала мне напарника, моего друга еще по Калининскому фронту, майора Павла Кузнецова, с шофером Костей, невозмутимым, медлительным увальнем, человеком недюжинной физической силы и изобретательного трудолюбия. Это его стараниями и была осуществлена столь странная метаморфоза машины.

Вместе с Кузнецовым прибыла в гости «посмотреть войну» и наше фронтовое житье-бытье очеркистка Елена Кононенко.

Кононенко! Ну кто ж из читателей «Правды», да и вообще в стране не знает это имя. Ее очерки на острые моральные темы, ее рассказы о людях советского тыла, ее портреты героических наших женщин, немного наивные, немного сентиментальные, но всегда искренние, чистые, читаются, перечитываются, вырезаются из газет на память. В дни войны они пользуются особым успехом. И когда у витрины со свежей газетой видишь стайку женщин, можно почти наверное угадать — сегодня в «Правде» Кононенко.

Мы живем в Москве в одном доме, даже в одном подъезде. Нежданная гостья привезла мне целую пачку писем от жены, от мамы и даже от сына Андрея, который почерком бабушки сообщал мне, что он уже научился сам одеваться и даже умеет уже натягивать чулочки.

Мой приятель капитан Костин, корреспондент Союзрадио, хорошо встретил гостей, удобно расположил их на наших лавках в крохотной, увешанной пестрыми молдавскими коврами хатке и угостил так щедро, что для меня остались только хлеб да сахарный песок. Не тревожа гостей, спавших с дороги, я сел на галерейке и, макая зачерствелую кукурузную краюшку в сахарный песок, принялся читать письма из дома.

Так как старуха полевая почта весьма нетороплива и порой рассеянна, жена старается посылать письма с редкой оказией и поэтому с начала войны их нумерует. Последний номер из привезенных Еленой Викторовной был 83. 83 письма за войну! Неплохо.

Так вот я еще не успел дочитать этого восемьдесят третьего письма, когда на крылечке появилась Елена Викторовна, закутанная в пестрый стенной молдавский коврик. Появилась и, даже не поздоровавшись, принялась извиняться:

— Полевой, мне страшно неудобно, я заняла вашу скамью. Заняла только потому, что меня уверили, что вы не приедете. Словом, я ее освободила, идите спите, а я устроюсь где-нибудь в другом месте.

— Что вы, бог с вами, солнце вот-вот подымется, какой тут сон.

— Нет, нет, пожалуйста, без разговоров. Я себе этого никогда не прощу. Заняла место человека, только что прибывшего с передовой из опасной поездки. Ужасно, ужасно.

Напрасно я говорил, что приехал вовсе не с передовой, что прошедшую ночь спал с невероятным комфортом, что фронт наш так далеко ушел в Карпаты, что пушки слышно лишь в тихую погоду. Ничего не действовало.

— Нет, Полевой. Я этого себе никогда не прощу. Оставила вас без ночлега... Кстати, почему вы едите хлеб с сахаром? Вы так любите? Удивительный у вас вкус.

Трудно было сдержать улыбку. Но на круглом, немолодом уже лице собеседницы были такие наивные детские глаза, и в глазах этих отражалось такое искреннее волнение, что усилием воли улыбку эту я спрятал подальше в карман и, чтобы не возбуждать в гостье угрызений совести, отправился дочитывать свои письма в сарайчик, набитый золотыми початками нелущеной кукурузы.

Впрочем, на следующий день Петрович повез московскую гостью за Прут в Карпаты, где на промежуточном рубеже закрепились наши наступающие части. Через сутки она уже писала корреспонденцию, писала на узеньких полосках бумаги, аккуратно окуная ученическую ручку в чернильницу-невыливайку и при этом каждый раз снимая что-то с кончика пера, от чего на пальцах у нее оставались совсем школьные чернильные пятна.

— Вот видите, смолю,— сказала она, отрывая от бумаги свои детские глаза.— «Смолю», правда, смешное слово... Я сначала его даже не поняла, как это «смолю». Потом Костин мне пояснил, что это у вас значит писать, трудиться... Что, так на всех фронтах корреспонденты говорят или это вы здесь придумали?

Я пояснил гостье, что военные корреспонденты так говорят, вероятно, на всех фронтах, и, устроившись на другом конце стола, тоже принялся «смолить» свой очередной опус.

ХОЖДЕНИЕ ВО ГРАД КИТЕЖ

Сегодня на переправе через Прут в гуще препротивной дорожной пробки, растянувшейся на добрый километр, встретил капитана Шлейпака, того самого развеселого одессита, с которым когда-то мы падали с неба носом в болотце вместе с подбитым самолетом.

Он загорел, густо оброс бородой, стал похожим на какого-то жюль-верновского персонажа, и вид у него при этом был значительный и весьма таинственный. Зная, что профессия военного разведчика позволяет ему видеть много интересного, того, чего и не увидишь, я поинтересовался:

— Откуда?

— Из града Китежа,— совершенно серьезно ответил он. И, с шиком вычеркнув о подошву спичку, принялся раскуривать трубку.

— Китеж? Это что же, новый шифр, что ли? Или в Румынии действительно есть город с таким названием?

— Я тебе серьезно. Настоящий град Китеж... Тот самый, который согласно легенде ушел под воду и скрылся от глаз людских. Оказывается, легенда не точна. Он вовсе не опускался под воду, он, так сказать, рассредоточился на отдельные деревни и села и расположился в этих краях в Дунайских плавнях.

Сохраняя серьезный, даже деловой вид, капитан извлек из планшета карту и показал мне тот ее край, где толстая синяя вена Дуная на подступах к Черному морю разбегалась на много ветвей и как бы прорастала сквозь сплошную серую штриховку болот.

— Вот он здесь и располагается, рассредоточенный град Китеж: там все как в опере — и расшитые косоворотки, и сарафаны, и бороды по пояс, и кокошники у женщин.— Он подмигнул хитрющим глазом.— И красавицу деву Февронию можешь встретить, если получше поищешь, если повезет.

Розыгрыш несколько затягивался, становился скучным. Да к тому же пробка слегка зашевелилась, заревели моторы, над переправой поднялась пыль.

— Хватит трепаться, знаю я твои одесские штучки.

Но Шлейпак все еще наслаждался моим недоумением.

— Нет, я серьезно. Там, в Дунайских гирлах, есть русские и украинские деревни. При Екатерине Второй люди туда переселились, живут как в консервной банке, не меняясь, по старым обычаям. Советую познакомиться с ними. Интересно.

И, уже сидя в машине, крикнул:

— Будешь там — поцелуй за меня деву Февронию. Мне не удалось, некогда было.

Теперь я уже понимал, что это не шутка развеселого одессита. Дельта Дуная находится за разгранлинией нашего фронта. Но солдатская молва уже принесла оттуда какие-то неясные слухи о странных российских людях, живущих среди камышовых зарослей, занимающихся рыболовством и охотой. А что — поскольку наступление наше за Прутом затормозилось и происходит передислокация сил, не махнуть ли туда, взглянуть на этот «рассредоточенный» Китеж, полюбоваться девой Февронией.

Маршал Конев покинул нас. Он принял командование соседним, Первым Украинским фронтом, где, судя по всему, назревают большие события. Наш фронт принял Родион Яковлевич Малиновский, тоже опытный воин, очень симпатичный, культурный, обходительный военачальник, с пониманием относящийся к нам, военным корреспондентам. Спросил его при беседе: могу я без ущерба для корреспондентских дел отлучиться на несколько дней?

— Можете. Но ненадолго.— И даже дал разрешение воспользоваться для этого штабным самолетом.

И вот летим в город Тульча, что в низовьях Дуная. Со мной румынский офицер-перебежчик, уже давно работающий в седьмом отделе у Зуса. Он русский румын, или, как он себя называет, липованец, из тех самых таинственных людей, что уже не первый век скрываются в Дунайских плавнях, отгороженные от остального мира, от забот, радостей и бедствий беспокойного века десятками, сотнями километров болот и гигантских камышовых зарослей.

Это невысокий, кряжистый молодой человек с пшеничной шевелюрой, небесно-голубыми глазами, рокочущим голосом и чудесной русской речью, в которой сохранились многие старинные красивые, звучные, но уже утерянные в современном языке слова. Зовут его Мефодий, а фамилия Заяц. Не Зайцев и не какой-нибудь там Зайчану, а именно Заяц. Он филолог. Учился в Бухарестском университете и, судя по всему, человек образованный. Но в русском своем разговоре ни дать ни взять крестьянин пушкинских времен.

Тульча — город многонациональный. Здесь живут румыны, греки, турки, липованцы, украинцы — потомки запорожцев, пестрый человеческий конгломерат. Пестрота эта отразилась и в странной архитектуре небольшого чистенького, очень живописного городка. В военной

комендатуре нам дают моторку. Заяц, потомок многих поколений рыбаков, или, как он говорит, рыбалок, сам садится за мотор, и юркая лодчонка, конфискованная комендатурой у местного рыбного прасола, несет нас в глубь дельты.

Сквозь тарахтенье мотора спутник ведет рассказ на певучем своем наречии о своем странном народе, о своих делах. И рассказ этого филолога звучит будто монолог из старинной пьесы.

— Строгости у нас в божественном страсть какие. Чтоб наша девка за румынца или за какого другого басурмана замуж вышла — этого не моги... И кустюмы у нас особые. У баб шубки с такими рукавами, что в каждом человек схорониться может, расшитый сарафан, на голове кичка, а на праздник кокошник, а мужеский пол — тот в церкву идет в черном, в суконных чуйках и чтоб без шапок. Другой раз на рождество Христово мороз, аж ухи трещат, а шапку надеть не моги, уставом не положено. От как... Мы в вере крепки. У каждого рыбака в лодке на носу под особым навесиком Никола-угодник. И ежели лов щедр, тому угоднику рыбалка свечу яра воска ставит. А кто побогаче, молебен служит. Ну а коли лодку о скалы расшибет или злой ветер-свистограй сети утащит, бранит рыбалка своего Николу, как тупака и бездельника.

— Ну а война? Как ваши люди вели себя в войну?

— А что война? Люди наши всегда за росейцев были. И в ту и в эту войну. В действующую армию нас румынцы опасались посылать. В тылу робили, дороги строили, в госпиталях те, которые покультурнее. Однажды над камышами нашего летчика сбили. С парашютом он сел. Ну, укрыли мы его, а потом малое время спустя на лодке его к нашим и переправили... За нами не заржавеет, когда надо российскому человеку помочь...

Мефодий Заяц родился и прожил в Румынии всю жизнь, но про румын говорит «они», а про Советский Союз — «мы» и «наши». Чувствуется, что не без гордости работает он в седьмом отделе и носит нашу форму без знаков различия. И в то же время влюблен в свой своеобразный, ни на какой другой не похожий мир.

До того, как моторка дошла до села, которое носит странное, прямо-таки джек-лондоновское название «Двадцать восьмая миля», представляющего собой в этом краю что-то вроде волости, где мне предстоит выполнить

кое-какие штабные поручения, мы прошли несколько небольших рыбачьих деревенек с крохотными бревенчатыми домиками, с баньками-коробочками у воды. На берегу видели босую девушку в голубом сарафане, поднимающуюся в село с ведрами на коромысле. Шла она державно-прямо, как будто тяжелая русая коса оттягивала ее голову назад. В другом месте женщины чинили сети и пели. Далеко по воде разносился такой русский мотив:

...Ох ты, калинка моя,
Ты малинка моя,
Ты не стой, не стой
На горе крутой.

Мой спутник оказался человеком энергичным, сообразительным, быстрым на дела. С его помощью я выполнил поручения штаба, а на ночлег он привел меня к своему приятелю и «однокашнику», местному священнику, в чистенький крохотный домик у маленькой церкви. Обрамленные резным кружевом наличников, его окошки смотрели прямо в воду.

Отец Зосима встретил нас на огороде босой, в расхристанной рубахе, с ремешком на голове, чтобы волосы не падали на лицо во время работы. Он окучивал картошку. Извинился, ушел, переоделся и вышел к нам, приобретя, как он сообщил, «божеский вид». Зосима тоже оказался человеком любопытным. В одной из двух комнат его домика на книжных полках я увидел немало русской литературы — наши классики дореволюционных изданий. И тут же «Цемент» Ф. Гладкова, «Бруски» Панферова, «Разгром» Фадеева.

Приход у Зосимы крохотный. Румынские власти жалованье ему не платят, и живет он тем, что сам заработает в рыбачьей артели, да еще держит пчел: с десяток пестрых домиков в шахматном порядке стоят в его садике над рекой.

— В хорошее лето по сорок килограмм на семью бог меду посылает. Румыны — сластены, мед любят. Ну и рыбу нашу тоже. А матушка у меня рукодельница. Румынским узором салфетки вышивает. Не бедствую — жить можно.

Он даже не прочь пофилософствовать, этот отец Зосима из града Китежа. Он тоже про Советский Союз говорит — «там у нас», а про Румынию — «у них тут». Интересуется жизнью нашей страны. Принес старенькую зачитанную «Азбуку «Коммунизма», неведомо когда и

кем занесенную в эту глушь, и затеял философский разговор.

— ...В ранние-то времена христиане коммунистами были. И первый коммунист сам Иисус Христос... Ну как же, разве в Писании не речено «легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное». И еще: «Отдай живот свой за друзи своя». И далее: «Возлюби ближнего, как самого себя»... И ино...

Мы ели свежий сотовый мед, который он принес с пасеки. Запивали его парным молоком, который молодая миловидная круглоликая попадья наливала нам из глиняной кринки...

— Я еще так полагаю, что у пчел коммунизм: все за одного и один за всех. И потому даже медведь и тот на пасеку нос сунуть боится. Ко мне тут весной один шатун забрел. Крышу с улея сбил. Так они его так облепили, в воду со страху бросился. Удирал, как Гитлер от вас. И на траве вонючий след оставил...

Мы на заре распростились с хозяином и, когда моторка наша, рассыпая треск выхлопов по воде, пошла против течения, увидели отца Зосиму у маленькой игрушечной колоколенки. Он дергал за веревку единственного колокола, и старческий дребезжащий звон этого колокола, раскатываясь по воде, вспугивал в зарослях камыша стаи пеликанов, этих диковинных птиц, тоже, как эти липованские деревеньки, скрывающиеся в камышах от суеты, страстей и опасностей бурного и беспокойного двадцатого века.

КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ ПРОЩАЛЬНАЯ

Весна в разгаре. Наша чистенькая хатка окружена теперь розовой, густо взбитой пеной цветущих абрикосовых деревьев. Под ними рядом с нашей видавшей виды «пегашкой», вместе с Петровичем, облаченным в черный франтоватый трофейный танкистский комбинезон, возится наш старый друг Петр Васильевич Галахо, шофер корреспондента «Комсомольской правды» Сергея Крушинского.

Петр Васильевич слывет по всем фронтам как самая положительная фигура беспокойного шоферского мира. Мы обнялись, и я даже не стал спрашивать, кого он

привез. Не называя фамилии, он сказал, что капитан сразу же по прибытии сюда приказал ему тщательно осмотреть машину после дальней дороги, а сам на попутной рванул на Прут.

С телеграфа пришел запыленный Кузнецов.

— Там вам от полковника Лазарева телеграмма,— говорит он.— Добрая весть, вам дают отдых. Догадываюсь: хотят перекантовать вас куда-то, а меня вам на замену.

Такая телеграмма? Дают отдых? Отлично! Наконец-то увижусь со своими. Страшно по ним соскучился. Переводят? Гм-м... Трудно сказать, хорошая или плохая это новость. Куда переводят? Телеграмма добрейшего Ивана Григорьевича Лазарева этого не разъясняет. Вот она: «Материал Румынии получили вовремя. Дана хорошая оценка редакцией. Путешествие в град Китеж не пойдет. Тесно. Благодарим. Возвращайтесь Москву машиной. Возможно новое назначение. Полковник Лазарев».

Ну что ж, новое так новое. Не привыкать.

— Петрович, как там у нас машина? В порядке?

— Так точно. Заправил под завяз. На сто литров на дорогу талоны добыл.

Чувствовалось, что столица нашей Родины влечет моего верного водителя не меньше, чем меня.

— Отлично,— тут командирский голос мой сразу же приобретает нежные, просительные интонации.— Понимаешь, Петрович, хорошо бы тебе сейчас доехать до «Иванторга», добыть винца, ну и еще что-нибудь пожевать. Надо же нам с тобой с людьми проститься.

Каюсь, мне легче иметь дело с самыми высокими представителями генералитета, чем с деятелями военторга. Тут я как-то всегда теряюсь, превращаюсь в робкого просителя и потому не имею успеха. Петрович же наоборот. Он слывет в штабе фронта авторитетнейшим консультантом по трофейным автомобильным моторам. Кроме того, он, как я уже писал, фотограф-любитель и обладает счастливым умением запечатлевать военторговских и интендантских деятелей в великолепных позах Суворова, Нахимова и даже Наполеона. Поэтому, когда речь идет об общении с этой сложной организацией, весь корреспондентский корпус бьет Петровичу челом.

В ответ на мою робкую просьбу Петрович эффектно спрашивает:

— Канистры вина и целого барана нам хватит?

О-о-о, чувствую, что тут все уже обдумано, а может быть, и сделано за меня.

— Разумеется, разумеется,— лепечу я.— Что же, писать записку?

— Кому? — гордо удивляется Петрович.— Все уже здесь... В кредит отпустили. Давайте команду.

За командой дело, разумеется, не стало. Мы усаживаемся с Павлом Кузнецовым на крылечке и, греясь на солнышке, обмениваемся правдистскими новостями. Хорошие, интересные новости. На всех, даже на самых скромных фронтах — победные бои. Есть о чем писать. Есть что печатать. Не то что когда-то... Вспоминаем Калининский фронт, труднейшую зиму сорок второго года, вспоминаем товарищей, живых и погибших, вспоминаем болотистую реку Ловать, на которой нас обоих однажды вражеские пушки заставили больше часу лежать зарывшись в снег при сорокаградусном морозе, вспоминаем майора Ерохина, корреспондента «Красной звезды», бывшего правдиста, которого мы недосчитались в тот день в своих рядах. Многое вспоминаем. И думать об этом на границе Румынии, под абрикосами в розовом цвету, в которых гудят пчелы, одновременно грустно и радостно.

Под вечер на какой-то полуторатонке подкатил пропыленный до костей Сергей Крушинский. Подготовка к вечеринке была в разгаре. На столах, составленных во внутреннем дворике, уже стояли глиняные кувшины с вином, миски с крупно нарезанным сыром и хлебом, лежали зеленые косицы лука и чеснока. Нежный аромат цветущих абрикосов забивал жирный запах баранины, жарящейся на открытом огне. Крушинский шумно втянул носом аромат и сбросил с плеч рюкзак. Там оказалось лукошко... с крутыми яйцами и бидон с вином. Торопливо поставив бидон на стол вместе с лукошком, Крушинский сказал:

— Отличное вино. Монастырское. Вы такого не пили. Яйца тоже хорошие, будто гусиные. Пейте и ешьте, разговоры после. А сейчас писать, писать, писать.

И, вбежав в дом, он тут же согнулся над пишущей машинкой.

Все мы знаем Сергея Крушинского. Знаем его умение сразу отключиться от всего и вся, целиком погрузиться в работу и писать, что бы вокруг ни происходило. До

того как в конце рукописи не будет поставлена последняя жирная точка, никакие соблазны не могут его от этого отвлечь.

Вечереет. Надвигаются сумерки. Корреспонденты и их водители уже расселись под абрикосами. Все вздыхают, потягивая носом аромат давно уже поджарившегося шашлыка. Чтобы как-то скрасить ожидание, Лило Лилоян, картинно закатывая свои темные глаза, аккомпанируя себе ударами пальцев о медный таз, поет шуточные песни родной Армении. Но в доме неутомимо и безостановочно щелкает машинка Крушинского. По очереди мы подходим к самодельному мангалу, смотрим баранину, которая уже начинает явно пережариваться.

Ну что он так долго? Наконец мы не выдерживаем, садимся за стол, выпиваем по первой, и по второй, и по третьей кружке. Шутим, поем песни, а машинка все стучит. Наконец солиста Лило сменяет нестройный, но дружный корреспондентский хор — и тогда машинка стихает. На крыльце — капитан Крушинский с озабоченным лицом. В руках у него листки только что отстуканной корреспонденции.

— Петр Васильевич,— говорит он своему водителю,— я прошу вас срочно отвезти меня на узел связи, быстро. Немедленно.

— Товарищ капитан, вы садитесь покушайте. Я вашу писанину заброшу и послежу, чтобы передали,— отвечает ему шофер, обсасывая баранью косточку и утирая губы.

— Нет, нет,— сухо говорит Крушинский,— сегодня это должно быть в Москве. Я должен проследить.— Подходит к столу, показывает на лукошко.— Ешьте, чудные яйца, и вино пейте. Дивное монастырское вино, многолетнее. Я вам потом о нем целую новеллу расскажу, вот только передам статью. Поехали, Петр Васильевич.

Его предложение встречает смущенное молчание. Дело в том, что вино его, оказавшееся действительно чудесным, уже выпито, а от столь же великолепных яиц остались одни скорлупки. Но он не огорчается. Возвратившись через некоторое время с узла связи, Сергей Крушинский рассказывает нам историю столь бессовестно выпитого нами без него вина.

А история действительно интересная. Одна танковая наша часть расположилась на стоянку во дворе женского монастыря. Танкисты вели себя весьма сдержанно, но

по вечерам, отдыхая, не очень шумно пели. На их песни приходила местная молодежь. Понемногу стали появляться и молоденькие монахини. И вот случился конфуз, который пока еще не предусмотрен ни одним из параграфов устава комендантской службы. Молоденькой хорошенькой монахине приглянулся наш лейтенант. Приглянулся со взаимностью. Да и в самом деле, когда сияет неистовая здешняя луна, цветут абрикосы, молодому сердцу разве устоять? А тут еще девушка понимала по-русски, и выяснилось, что родные запрятали ее в монастырь против воли, будто бы по какому-то родительскому обету, а на самом деле для того, чтобы завладеть ее долей наследства. Короче говоря, эта юная Христова невеста послала своего небесного жениха ко всем чертям, сбросила черный клобук и укатила с лейтенантом за Прут, на советскую территорию, а лейтенант запросил у командования рапортом разрешение жениться. Командование встало в тупик: во-первых, невеста — иностранная гражданка, во-вторых — из монашек, в-третьих — лейтенант несет воинскую службу и находится в боевых условиях, в-четвертых... в-пятых... и т. д.

Словом, плененный этой необычной ситуацией, Крушинский ринулся в монастырь, чтобы выяснить на месте все детали происшествия. Он был ласково принят игуменьей, потолковал с ней на богословские темы, все выяснил и, видимо, завоевав симпатии этой достойной старухи, получил в подарок на дорогу бидончик чудесного вина, с которым мы так безбожно расправились. О вине Крушинский не пожалел, но очень загоревал, когда все наше бывалое общество заявило ему, что сюжет о побеге молодой монахини, по нашему общему мнению, во-первых, уже использован неким Дени Дидро, а во-вторых, вряд ли вообще подойдет для «Комсомольской правды». Впрочем, корреспонденцию из Румынии он уже отправил, а монахиня — что ж, монахиня действительно может подождать до после войны, тем более что у нее нет другого выхода.

— Достойный друг, у меня тоже прокол, отвергнут отличный шлягер.

Я рассказал ему о своем путешествии во град Китеж и о жестокой вести, что материал не пойдет, принесенной сегодня телеграфом. Это как будто немного успокоило Крушинского.

Неистово, будто зажженная немцами осветительная

ракета, сияет на бархатном небе мордастая луница. Где-то недалеко взапуски орут голосистые здешние лягушки, и так же взапуски, не очень стройно, но старательно выкрикиваем мы наши корреспондентские песенки:

Погиб репортер в многодневном бою
От Буга в пути к Приднепровью.
Послал перед смертью в газету свою
Статью, обагренную кровью.

И Приднепровье и Буг — все это давно уже пройдено нами в обратном направлении. Буг — это глубокий тыл. Перед нами Прут, Молдова, Серет, Дунай... Много пройдено, а сколько еще идти? И где каждый из нас закончит войну?

Товарищ редактор статью прочитал
И вызвал сотрудницу Зину,
Подумал, за ухом пером почесал
И вымолвил: «Бросьте в корзину»...

— Нет, ребята, к чертям эту тягомотину! — кричит Лило.

— Правильно. Давайте-ка про веселого репортера грянем,— поддерживает Леонид Кудреватых — крупный жизнерадостный человек с лицом Гаргантюа.

Оружием обвешан, прокравшись по тропе,
Неукротим и бешен, он штурмом взял КП.
Был командирский ужин им съеден до конца,
Полковник был разбужен и побледнел с лица.

Запевают песню, как всегда у нас, голосистый Лило и скромный, тихий, деловитый корреспондент ТАСС Александр Малибашев, а припев рубим мы все вместе:

И вышли без задержки в то утро, как всегда,
И «Правда», и «Известия», и «Красная звезда».

Эта веселая песня о веселом репортере, в сущности, очень печальна. Есть там строфа «Под Купянском в июле, в полынь, в степной простор упал, сраженный пулей, веселый репортер». И человек, которому эта песня посвящена, фотокорреспондент Миша Бернштейн, большинству из нас был известен, был нашим другом *. Но как-то так получилось, что его необыкновенная жизнерадостность перекочевала и в эту печальную песню, и поется она всегда в бодром, бравурном темпе. Ведь и в

* Этого храброго парня вывел впоследствии Константин Симонов в романе «Живые и мертвые» под другой фамилией.

самом деле, что бы с каждым из нас ни случилось, выйдут без задержки в то утро, как всегда, все наши газеты, и ТАСС сообщит, и радио скажет.

Не знаю уж, как это чудо произошло, но под столом обнаруживаем еще один непочатый кувшин вина. Его немедленно же разливают по кружкам.

— Ну, а эту выпьем за то, чтобы когда-нибудь всем нам написать корреспонденции из Берлина,— провозглашает майор Малибашев *.

Молча пьем за это.

...Москва! Москва! Великолепно. И все-таки не хочется уезжать. Как же я сжился со всеми вами, друзья мои, и как мне дорого это не признающее ни званий, ни чинов, ни наград, ценящее лишь человеческое сердце да настоящую работу военно-корреспондентское братство.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫЕЗД

С утра представляюсь по случаю отъезда фронтовому начальству — начальнику Политуправления, членам Военного совета, начальнику штаба, командующему — Р. Я. Малиновскому.

Теперь, когда официальные визиты нанесены, хочется как бы попрощаться с фронтом. Выезжаем за Прут на машине. Хозяйственный Петрович залил под завяз не только главный, но и дополнительные баки. Машина идет тяжело и осторожно, как беременная женщина. Но дороги хорошие. В отличном состоянии. Перегрузка не страшна.

Переезжаем через узкую и бурную Сучаву, рыжие воды которой мчатся в извилистых берегах через медлительный Серет, тихо ползущий в зелени пойменных лугов, через торопливую Молдову, в воде которой уже отражаются пологие вершины Карпатских предгорий.

Добираюсь до самой юго-западной точки нашего наступления. Здесь знакомлюсь с командиром полка майором Макаровым. Сегодня утром его передовые подразде-

---

* Четверо из нас — подполковник Агибалов, майор Кудреватых, капитан Крушинский и я действительно впоследствии дали корреспонденции о штурме Берлина. Лило Лилоян погиб и похоронен на одной из площадей Белграда, а Александр Малибашев был смертельно ранен в один из последних дней войны, уже на подступах к Берлину.

ления обходным маневром заняли две горы, и он только что перенес свой командный пункт в стены старого монастыря, стоящего в зеленом распадке у бурной горной речки.

Дорога идет то лощиной вдоль каменного русла, то петлями вверх, и тогда машина попадает в зеленый тенистый тоннель. Растительность так богата и густа, что порою верхушки деревьев смыкаются над дорогой. Изредка то наверху, то внизу мелькают хижины. На лугах пасутся стада лохматых овец. Пастух в высокой барашковой шапке, в длинной белой рубахе, в надетой поверх нее меховой душегрейке стоит, опираясь подбородком на высокую палку, взглядом провожает машину. Майор Макаров сам сидит у руля. Машина несется мягко на большой скорости, а впереди маячат, все ясней и ясней вырисовываясь, причудливые изгибы горного хребта.

— Карпаты,— говорит майор.

— Да, Карпаты.

И в самом деле, уже Карпаты, думаю я и вдруг почти физически ощущаю огромность пути, который мы прошли за эти восемь месяцев в этом большом, почти непрерывном наступлении.

Вечером долго сидим на пороге большой монастырской сторожки, куда втиснулся почти весь штаб полка. Вечер так хорош, что и говорить не хочется. Из открытой двери церкви слышатся звуки неторопливой службы — то голос священника, то протяжное пение. В кустах, точно настраиваясь, редко пощелкивает соловей. Сумерки уже окутали горы. Монастырь утонул в легком тумане, и только на репчатой его колокольне да на вершине горы еще сверкают отсветы последних солнечных лучей.

— Карпаты,— повторяет задумчиво майор Макаров.

— Да, Карпаты,— отзываюсь я.

В это время где-то за оградой монастыря, на скате горы повыше нас, где расположилась охрана штаба, кто-то на балалайке затренькал «Во саду ли, в огороде...». Потом балалайка смолкла, и немного спустя три голоса согласно запели «Землянку». Слова песни таяли в вечерней тишине, но кто же не знает их? И майор начал подпевать:

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

Простой мотив звучит как-то особенно близко и мило в этих чужих горах, под чужими деревьями, у стен старого монастыря. Откуда, из каких краев, через сколько испытаний пронесли мы его сюда, в Румынию!

И опять как-то весомо, вещественно ощущается величие пройденного за этот год пути. Майор Макаров думает, видно, о том же.

— Далеко забрались,— говорит он.— А знаете, я с Белгорода три пары сапог истрепал. Честное слово. Будто горели на ногах сапоги, когда мы наступали. А ведь еще сколько идти-то — ох-хо-хо!

Из-за горы тихо, осторожно выбиралась луна, и горы выступают из ночной мглы, большие, причудливо очерченные сзади желтоватым светом.

2-й Украинский фронт,
1943—1944 гг.
Москва, 1945—1946 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ПОЛЕВОЙ

Собрание сочинений

Том седьмой

Редактор **З. Батурина**. Художественный редактор **Е. Ененко**. Технический редактор **Т. Фатюхина**. Корректоры **С. Стародубцева** и **М. Чупрова**.

ИБ № 3041

Сдано в набор 18.01.84. Подписано к печати А-13941, 20.09.84. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,5. Усл. кр.-отт. 31,5. Уч.-изд. л. 33,62. Тираж 35 000 экз. Изд. № III-700. Зак. № 248. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва Б-78, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано в Ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193144, Ленинград, ул. Моисеенко, 10, с матриц Ленинградской типографии № 2, головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

2р. 80к.